



Annotation

В девятнадцатый том Собрания сочинений Эмиля Золя (1840–1902) вошел роман «Париж» из серии «Три города». Под общей редакцией И. Анисимова, Д. Обломиевского, А. Пузикова.

- [Эмиль Золя](#)
 - [КНИГА ПЕРВАЯ](#)
 - [КНИГА ВТОРАЯ](#)
 - [КНИГА ТРЕТЬЯ](#)
 - [КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [КНИГА ПЯТАЯ](#)
 - [КОММЕНТАРИИ](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
-

Эмиль Золя
Париж

КНИГА ПЕРВАЯ

I

В один из январских дней, в конце месяца, аббат Пьер Фроман, которому предстояло отслужить мессу в соборе Сердца Иисусова на Монмартре, уже в восемь часов утра стоял на вершине холма перед собором. Прежде чем войти, он бросил взгляд на Париж, раскинувшийся внизу, подобно безбрежному морю.

После двух месяцев жестоких морозов, снегов и льда наступила оттепель, и Париж тонул в угрюмой зябкой мгле. С неоглядного свинцового неба траурным вуалем спускался густой туман. Восточная часть города, кварталы нищеты и труда, была застлана рыжеватым дымом, в котором угадывалось дыхание верфей и заводов; а на западе, над кварталами роскоши и довольства, расползавшийся туман светлел, превращаясь в тонкую неподвижную пелену. Округлая линия горизонта была еле различима. Со всех сторон громоздились дома беспредельным каменным хаосом, среди которого там и сям виднелись лужи белесой, словно мыльной, воды; а над ними вырисовывались черные, как сажа, гребни зданий и контуры высоко расположенных улиц. Париж, полный тайн, накрытый тучами, словно погребенный под пеплом после какой-то катастрофы, исчезал во мгле, погружаясь в бездну страданий и позора.

Пьер, худой и мрачный, одетый в тонкую сутану, созерцал город, когда к нему подошел аббат Роз, который, как видно, подстерегал его, спрятавшись на паперти за колонной.

— А! Наконец-то вы пришли, дорогой мой мальчик! Я хочу кое о чем вас попросить.

Аббат казался смущенным, обеспокоенным. Опасливо оглядевшись по сторонам, он удостоверился, что кругом нет ни души. Но безлюдье, очевидно, не успокоило его, и он отвел Пьера еще подальше, словно не замечая ледяного северного ветра.

— Вот что, мне говорили об одном бедняке, это бывший маляр, семидесятилетний старик, который, понятно, не может работать и умирает с голоду в конуре на улице Вётел... И тогда, дорогой мой мальчик, я подумал о вас, — надеюсь, вы согласитесь передать ему от меня три франка, их хватит на несколько дней хотя бы на хлеб.

— Но почему вы сами не отнесете ему подаяние?

Аббат Роз снова взволновался и встревожился, в глазах его отразились испуг и смущение.

— Ах нет, нет! Я не могу этого сделать после всех неприятностей, какие обрушились на меня. Вы же знаете, за мною следят, и меня опять будут распекать, если увидят, что я раздаю милостыню вот так, не слишком-то зная кому. По правде говоря, мне пришлось кое-что продать, чтобы раздобыть эти три франка... Умоляю вас, дорогой мой мальчик, окажите мне эту услугу.



С болью в сердце Пьер смотрел на доброго священника, на его седые волосы, широкое улыбающееся лицо, ясные детские глаза и крупный добродушный рот. Ему вспомнилась история этого любовника нищеты, и душу захлестнула волна горечи: этот праведник, исполненный

милосердия, своей святой доверчивостью навлек на себя немилость. Его тесная квартирка на первом этаже, на улице Шаронн, превращенная им в убежище для всех бедняков округа, в конце концов стала предметом скандальных пересудов. Наивностью и простодушием аббата жестоко злоупотребляли, и он даже не подозревал, что в его доме совершаются всякие грязные дела. Туда шли уличные девицы, не нашедшие себе мужчин на ночь. Там происходили гнусные свидания, там царил чудовищный разврат. И вот однажды ночью туда нагрянула полиция и арестовала тринадцатилетнюю девочку, обвиненную в убийстве собственного ребенка. Потрясенные этим событием епархиальные власти принудили аббата Роза закрыть убежище и перевели его из церкви св. Маргариты в собор св. Петра на Монмартре, где он опять занял должность викария. Это не было опалой, — аббата просто удалили с прежнего места. Ему сделали строгий выговор; как он и сам говорил, за ним наблюдали, ему было очень больно и стыдно, что теперь приходится давать милостыню лишь тайком, уподобляясь безрассудному моту, краснеющему за свои проступки.

Пьер взял три франка.

— С великой радостью исполню ваше поручение, мой друг, — обещаю это вам.

— Вы пойдете туда после вашей мессы, правда? Его зовут Лавев, он живет на улице Вётел, в доме в глубине двора, почти на углу улицы Маркаде. Его легко найти. И, надеюсь, вы будете так добры, что придете рассказать мне об этом посещении сегодня вечером, к пяти часам, в церковь Мадлен, где я буду слушать проповедь монсеньера Март *a*. Он был так добр ко мне!.. Может быть, и вы зайдете туда его послушать?

Пьер ответил неопределенным жестом. Монсеньер Март *a*, епископ Персеполийский, приобрел огромное влияние в архиепископской епархии после того, как своими поистине гениальными проповедями удесятирил пожертвования на собор Сердца Иисусова; он действительно поддержал аббата Роза, добившись, чтобы старика оставили в Париже, переместив в храм св. Петра на Монмартре.

— Право, не знаю, попаду ли я на проповедь, — отвечал Пьер. — Во всяком случае, я непременно вас там найду.

Дул северный ветер, пронизывая их обоих до костей промозглым холодом на этой безлюдной вершине, в тумане, превращавшем гигантский город в океан мглы. Но вот послышались шаги, и аббат Роз, охваченный тревогой, увидел, как мимо них прошел мужчина, очень высокого роста, широкоплечий, в какой-то обуви, похожей на галоши, с

непокрытой головой и густыми, коротко остриженными седыми волосами.

— Скажите, это ваш брат? — спросил старый священник.

Пьер не шелохнулся.

— Это действительно мой брат Гильом, — отвечал он спокойным голосом. — С тех пор как я стал бывать в соборе Сердца Иисусова, я снова его увидел. Здесь неподалеку у него собственный дом, где он живет, кажется, уже более двадцати лет. Когда мы с ним встречаемся, то пожимаем друг другу руки. Но я даже ни разу к нему не зашел... Ах, между нами все кончено, у нас больше нет ничего общего, нас разделяет пропасть.

На губах аббата Роза снова появилась нежная улыбка, и он сделал движение рукой, как бы говоря, что никогда не следует сомневаться в силе любви. Гильом Фроман, ученый, человек глубокого ума, химик, бунтарь, живший в уединении, теперь принадлежал к его приходу, и, уж конечно, аббат мечтал о том, чтобы вернуть его в лоно церкви. Эта мысль овладевала им всякий раз, как он проходил мимо дома, где Гильом жил со своими тремя взрослыми сыновьями и где кипел неусыпный труд.

— Но, дорогой мой мальчик, — продолжал аббат, — я задерживаю вас здесь, на этом пронизывающем ветру, и вы, наверное, замерзли... Ступайте служите мессу. До вечера, в церкви Мадлен.

Потом, снова убедившись, что их никто не подслушивает, он добавил умоляющим тоном, с видом провинившегося ребенка:

— Но смотрите, никому ни слова о моем маленьком поручении. А то еще будут говорить, что я не умею себя вести.

Пьер провожал глазами старого аббата, удалявшегося по направлению к улице Корто, где он жил на первом этаже в сырой квартире с окнами в садик. Мгла словно сгустилась под порывами ледяного ветра, зловещий пепел, погребавший Париж, стал еще непроницаемей. Наконец Пьер с опустошенным сердцем вошел в собор; в нем всколыхнулась вся накопившаяся горечь, когда он снова пережил эту историю: банкротство милосердия, злую иронию судьбы, наказавшей святого человека за его щедрость и вынуждавшей его давать милостыню тайком. Жгучую боль открывшейся в его сердце раны не могли успокоить ни теплота и мир, царившие в храме, ни торжественное безмолвие обширного и глубокого нефа с голыми, свежоштукатуренными стенами, лишенными икон и каких-либо украшений, нефа, наполовину перегороженного лесами, закрывавшими еще не достроенный купол собора. В этот утренний час, при сером свете, лившемся из высоких и

узких прорезей окон, в нескольких приделах уже были отслужены молебны, и в глубине абсиды горело множество свечей. Пьер поспешил в ризницу, чтобы облачиться в священные одеяния и отслужить мессу в приделе Сен-Венсан-де-Поль.

Но воспоминания нахлынули на него, и он весь отдался своей скорби, машинально выполняя ритуал, совершая установленные жесты. После своего возвращения из Рима уже три года он жил во власти самого жестокого отчаяния, какое может испытывать человеческое сердце. Сначала, стремясь вновь обрести утерянное религиозное чувство, он сделал первую попытку — отправился в Лурд на поиски наивной веры ребенка, на поиски примитивной веры еще незрелых народов, склоняющихся в страхе перед неведомым. Но еще больший протест вызвало в нем прославление абсурда, поругание здравого смысла, ибо он был убежден, что ребяческий отказ от рассудка в наши дни не принесет человечеству спасения и мира. Потом им снова овладела потребность любви, и, повинувшись властным требованиям разума, он предпринял вторую попытку, рискуя навеки утратить душевный мир, — поехал в Рим посмотреть, способен ли католицизм возродиться, вновь проникнуться духом раннего христианства, стать религией демократии, той верой, которую ожидает потрясенный и близкий к гибели современный мир, надеясь обрести в ней покой и новую жизнь; но Пьер увидел только развалины, прогнивший внутри ствол дерева, неспособного выбросить весной новые побеги, он слышал, как зловеще трещит ветхое социальное здание, вот-вот готовое рухнуть. Тогда, обуреваемый глубокими сомнениями, придя к отрицанию всего, он вернулся в Париж, куда его призывал аббат Роз во имя бедных, вернулся, желая забыться, принести себя в жертву, поверить в свое служение беднякам, ибо теперь у него оставались они одни со своими ужасающими страданиями; и в течение трех лет он неизменно встречался с крушением, с банкротством самой доброты, этого смехотворного милосердия, милосердия ненужного и всеми осмеянного.

Уже три года Пьер находился в состоянии все возрастающей тревоги, до конца подтопившей корень его жизни. Вера его навеки умерла, умерла даже и надежда использовать веру толпы для всеобщего спасения. Он все отрицал, теперь он ожидал только неизбежной конечной катастрофы, восстания, кровавой расправы, пожара, которые должны были разрушить преступный и обреченный мир. Утративший веру священник оберегал веру других, честно, безупречно выполнял свои обязанности, испытывая печальное удовлетворение при мысли о том, что он не отрекся от разума,

как отрекся от радостей любви и от мечты о спасении человечества, и он твердо стоял на ногах, одинокий в своем суровом величии. И этот безудержный отрицатель, впавший в бездну отчаяния, внушал такое уважение своим строгим и серьезным видом, был проникнут такой возвышенной добротой, что в своем приходе Нейи приобрел славу святого, стяжавшего благоволение божье и творившего чудеса своей молитвой. Будучи образцом для всех, он лишь внешне сохранял оболочку священника, оболочку, лишенную бессмертной души, и уподоблялся пустой гробнице, где не сохранилось даже пепла надежды; скорбящие женщины, проливающие слезы прихожанки, боготворили его и целовали его сутану. Одна несчастная мать, у которой грудной ребенок лежал при смерти, умолила его просить исцеления у Иисуса, не сомневаясь, что Иисус услышит молитву аббата в святилище Монмартра, где сияло его чудесное сердце, пламенеющее любовью.

И вот Пьер, облачившись в священные одеяния, вошел в придел Сен-Венсан-де-Поль. Поднявшись по ступеням в алтарь, он начал мессу, и когда он повернулся к молящимся, воздев руки для благословения, они увидели его впалые щеки, скорбно изогнутые тонкие губы нежного рта, излучающие любовь глаза, расширенные от страдания и казавшиеся черными. Как непохож был он на юного священника, с лицом, воспламененным любовью, отправлявшегося в Лурд; непохож и на священника, с вдохновенным лицом апостола, ехавшего в Рим. Он был наделен противоречивой наследственностью: отец, даровавший ему крутой, как неприступная башня, лоб, и мать, подарившая нежные, жаждущие любви губы, продолжали борьбу в недрах его существа, это была глубоко человеческая война между чувством и рассудком; в минуты забвения в его искаженных чертах отражался весь его душевный хаос. Его губы еще выдавали ненасытную жажду любви, самопожертвования и жизни, жажду, которую он считал себя не вправе утолить; а могучая крепость лба, где разыгрывалась его трагедия, упорно не желала сдаваться, отражая натиск заблуждений. Он напрягал все свои силы и, затаив ужас, терзавший его опустошенную душу, торжественно, величаво делал нужные жесты, произносил установленные слова. И мать, стоявшая на коленях среди других женщин, мать, ожидавшая от него заступничества перед высшей силой, полагая, что он умоляет Иисуса о спасении ее ребенка, видела сквозь слезы, что его лицо сияет небесной красотой, как лицо ангела, вестника божественного милосердия.

После проскомидии, когда Пьер снял покров с чаши, он вдруг почувствовал презрение к самому себе. Он был слишком потрясен, и

мысли его возвращались все к тому же предмету. Каким ребячеством было с его стороны предпринимать эти две попытки, поездки в Лурд и Рим! Как был он наивен и жалок в своем отчаянном, безумном стремлении к любви и к вере! И он воображал, что его разум, оснащенный всеми современными знаниями, примирится с верой, которая процветала восемьсот лет тому назад! А главное, он, Пьер, имел глупость надеяться, что ему, ничтожному священнику, удастся вразумить папу, убедить его, что он должен стать святым и изменить лицо вселенной! Пьер испытывал острый стыд: можно себе представить, как над ним потешались! И тут же он краснел, вспоминая о своей идее раскола. Он снова увидел себя в Риме; в то время он мечтал написать книгу, в которой собирался резко отколоться от католицизма и проповедовать новую религию демократии, Евангелие очищенное, человеческое и живое. Какое смехотворное безумие! Раскол! Пьер был знаком в Париже с одним аббатом, человеком горячего сердца и незаурядного ума, который попытался осуществить этот пресловутый раскол, уже возмеченный и ожидаемый. О несчастный, какой плачевной и смешной оказалась его роль: он встретил всеобщее безверие, ледяное равнодушие одних, насмешки и оскорбления других! Если бы Лютер вновь пришел в наши дни, он окончил бы жизнь где-нибудь в Батиньоле на пятом этаже, изголодавшийся и всеми позабытый. Раскол не будет поддержан народом, утратившим веру, остывшим к церкви и возлагающим надежду совсем на другое. Католицизм, более того, христианство в целом будут упразднены, так как Евангелие, если не считать нескольких изречений нравственного характера, уже не может быть кодексом общественной морали. Эта уверенность усиливала муки Пьера в дни, когда сутана нестерпимой тяжестью давила на его плечи, когда он презирал себя за то, что, совершая святое таинство мессы, выполняет ритуал мертвой религии.

Наполнив чашу до половины вином из сосуда, Пьер вымыл руки и снова увидел мать, лицо которой выражало пламенную мольбу. И Пьер подумал, что ведь это для нее, движимый милосердием и связанный обетом, он остается на посту священника, священника без веры в сердце, питающего хлебом иллюзий веру других. Он замкнулся в гордой героической решимости, выполняя свой долг, но это не избавляет его от смертельной, все возрастающей тоски. Разве элементарная честность не требует, чтобы он сбросил сутану и вернулся в мир людей? Временами Пьер остро сознавал всю сложность своего положения, ему становился противен его бесплодный героизм, и он спрашивал себя, не гнусно ли и не опасно ли поддерживать в толпе ее суеверия? Правда, в течение долгих

веков ложь о боге, справедливом и пекущемся о людях, ложь о будущей жизни и рае, где получают награду за все мучения, пережитые на земле, была необходима для бедствующего человечества. Но какая ловкая приманка, как тиранически эксплуатировались народные массы, и насколько благороднее было бы круто повернуть человечество, призвав его к реальной жизни и внушив ему мужество для перенесения страданий! Ведь если в наши дни народы отвращаются от христианства, не значит ли это, что они испытывают потребность в более человеческом идеале, в религии здоровой и радостной, которая придет на смену религии смерти? В день, когда потерпит окончательный крах идея милосердия, вместе с ней рухнет и здание христианства, ибо оно базируется на идее божественного милосердия, исправляющего роковую несправедливость, обещающего воздаяние тому, кто страдал в этой жизни. И здание христианства постепенно разрушается, бедняки уже потеряли веру, негодуя на этот обманчивый рай, вера в который так долго заставляла их терпеть, они требуют своей доли счастья здесь, а не в потустороннем мире. Из всех уст раздается крик — люди взывают о справедливости здесь, на земле, о справедливости для всех голодных, которых за восемнадцать веков господства евангельского учения милосердие так и не могло спасти от нищеты и которые по-прежнему не имеют куска хлеба.

Когда, опершись локтями о престол, Пьер преломил облатку и осушил чашу, он почувствовал еще большее отчаяние. Итак, он предпринял третью попытку, началась решающая борьба между справедливостью и милосердием, на этот раз схватка рассудка с сердцем произойдет в огромном Париже, погребенном под пеплом и полном грозной неизвестности. В душе Пьера потребность в боге все еще боролась с властительным разумом. Возможно ли будет когда-нибудь утолить жажду тайны, присущую толпе? Сможет ли наука, став достоянием народных масс, удовлетворить их желания, утешить их в горе, осуществить их заветные мечты? И что ожидает его самого, когда обнаружится полное банкротство милосердия, которое одно держало его последние три года, занимая все его время, внушая ему иллюзию, что он преданно служит людям и полезен им? Внезапно почва стала уходить у него из-под ног, ему послышался грозный крик народа, этого великого немого, ропщущего, требующего справедливости, угрожающего завладеть своей долей счастья, которой его лишили насилием и хитростью. Теперь уже ничто не может задержать надвигающуюся неизбежную катастрофу, братоубийственную войну классов, которая уничтожит старый мир,

обреченный погибнуть под громадой своих преступлений. Каждый час Пьер с безумной тоской ожидал этого крушения, ему мерещился Париж, залитый кровью, Париж, объятый пламенем. Испытывая леденящий ужас перед насилием, он не знал, где ему почерпнуть новую веру, которая могла бы отвратить смертельную опасность, и в то же время понимал, что социальная проблема тесно связана с религиозной, что ею только и живет Париж, занятый грандиозным повседневным трудом; но сам он был так взбудоражен, так истерзан сомнениями и сознанием своего бессилия и так далек от жизни благодаря своему сану, что не мог сказать, где же были правда, здоровье, жизнь. О, если бы ему быть здоровым, жить, дать наконец удовлетворение разуму и сердцу, испытывать душевный мир, выполняя какую-нибудь работу, простую и честную, для чего и явился на землю человек!

Месса закончилась, и Пьер спускался из алтаря, когда плачущая мать, мимо которой он проходил, схватила дрожащими руками край его ризы и благоговейно поцеловала, — так прикладываются к мощам святого, от которого ждут спасения. Она благодарила его за чудо, которое он должен был совершить, уверенная, что найдет своего ребенка исцеленным. Пьер был глубоко тронут этой любовью, этой пламенной верой, но внезапно им овладела ужасная скорбь при мысли, что он совсем не тот высокий служитель божий, способный отогнать смерть, в которого верила эта женщина. Но все же она ушла от него утешенная, обнадеженная, и он воззвал к неведомой разумной Силе, горячо умоляя ее, если только она существует, помочь несчастному созданию. Потом Пьер разоблачился в ризнице и, выйдя из собора, остановился на паперти; ледяной ветер прохватывал до костей и, дрожа смертельной холодной дрожью, он старался разглядеть в тумане Париж: не разразилась ли уже катастрофа, которая должна его поглотить однажды утром? Не смел ли его с лица земли ураган гнева и справедливого мщения, оставив под свинцовым небом среди болота лишь груды зачумленных развалин...

Пьер решил тут же исполнить поручение аббата Роза. Он направился по улице Норвен, проходящей по гребню Монмартра, затем стал спускаться по улице Вётел, круто сбегающей вниз между замшелыми стенами, и очутился на другой стороне Парижа. Три франка, которые он нащупывал рукой в кармане сутаны, умиляли его и вместе с тем возбуждали глухой гнев против бесполезного милосердия. Когда он спускался по крутому склону, с площадки на площадку, по бесконечным лестницам, ему бросались в глаза картины нищеты, и сердце его сжималось от беспредельной жалости. После грандиозных работ по

сооружению собора Сердца Иисусова целый квартал стал застраиваться новыми зданиями, и образовались широкие улицы. Высокие, предназначавшиеся для зажиточных людей дома уже вставали среди пустырей и разрытых садов, еще обнесенных изгородями. И рядом с этими богато разукрашенными, блистающими свежей белизной постройками еще мрачнее и омерзительнее казались уцелевшие до сих пор ветхие, пошатнувшиеся лачуги, гнусные притоны с кроваво-красными стенами, кварталы горькой нищеты, где теснились закопченные, почерневшие лачуги, загоны, битком набитые человеческим скотом. В этот день небо низко нависло над городом, развороченная колесами подвод мостовая была покрыта слякотью, стены домов пропитались леденящей сыростью, и при виде всей этой грязи и убожества в душе поднималась волна едкой печали.

Пьер дошел до улицы Маркаде, повернул назад, на улицу Вётел, и уверенно вошел во двор, с трех сторон обставленный неправильной формы зданиями, напоминавшими казармы или больничные корпуса. Этот двор был сущей клоакой, там накопились кучи нечистот, выбрасывавшихся в течение трех месяцев жестоких морозов; теперь все это растаяло, и нестерпимое зловоние поднималось над озером отвратительной жидкой грязи. В полуразвалившихся домах были выломаны наружные двери, и входы зияли, словно отверстия погребов; пыльные разбитые стекла были как попало залеплены полосками бумаги, всюду висели мерзкие лохмотья, как знамена смерти. Заглянув в каморку, где должна была находиться консьержка, Пьер увидел калеку, кутавшегося в какое-то неопишное тряпье, обрывки старой попоны.

— У вас здесь живет старик рабочий по имени Лавев. На какой это лестнице и на каком этаже?

Человек ничего не ответил, только с идиотским видом ошалело выпучил глаза. Очевидно, консьержка куда-то отлучилась. С минуту священник выжидал, потом заметил в глубине двора маленькую девочку и, набравшись храбрости, ступая на носках, перебрался через клоаку.

— Дитя мое! Не знаешь ли ты у вас в доме старика рабочего, которого зовут Лавев?

Малютка вся дрожала на ветру, ее худенькое тело было прикрыто розовым холщовым платьем, превратившимся в лохмотья, руки обморожены. Она подняла голову, и Пьер увидел тонкое, хорошенькое личико, посиневшее от холода.

— Лавев? Нет, не знаю, не знаю...

И бессознательно, жестом нищенки, она протянула жалкую ручонку, окоченелую, всю в ссадинах. И когда Пьер дал ей блестящую монетку, она принялась скакать по грязи, как резвящийся козленок, припевая пронзительным голоском:

— Не знаю, не знаю, не знаю...

Он решил последовать за девочкой. Она исчезла в одном из зияющих входов, и вслед за ней Пьер стал подниматься по темной зловонной лестнице с выщербленными ступенями, которые были до того скользкими от валявшихся на них очистков овощей, что ему пришлось воспользоваться засаленной веревкой, служившей перилами. Но все двери были заперты; Пьер стучал в одну за другой, не получая ответа, и только за самой последней дверью ему послышалось глухое ворчанье, как будто там было заперто какое-то замученное животное. Спустившись во двор, некоторое время он стоял в нерешительности, затем направился по другой лестнице. На этот раз он был оглушен пронзительными воплями ребенка, который кричал так, будто его резали. Двигаясь навстречу крикам, он поднялся наверх и очутился перед распахнутой настежь дверью.

В комнате сидел ребенок, которого привязали к стульчику, чтобы он не упал, и оставили одного; он вопил что есть мочи. Пьер снова спустился вниз, потрясенный до глубины души видом такой нищеты, такой заброшенности.

Но тут он встретил женщину, которая возвращалась домой, неся в переднике три картофелины; он стал ее расспрашивать, и она подозрительно покосилась на его сутану.

— Лавев, Лавев, в первый раз слышу. Будь тут консьержка, она может быть, и сказала бы вам... Понимаете, здесь целых пять лестниц, и далеко не все у нас знают друг друга, а потом, жильцы так часто меняются. Посмотрите все-таки вон на той лестнице.



Находившаяся в глубине коридора лестница оказалась еще отвратительней других, ступеньки разъехались, а стены были влажные и липкие, словно покрытые предсмертным потом. На каждой площадке тянуло тошнотворной вонью из отхожих мест, из каждого жилья доносились жалобы, ругань. Распахнулась дверь, и на пороге появился мужчина, он волочил за волосы женщину, а трое крошек горько плакали. На следующем этаже Пьер успел разглядеть в приоткрытую дверь худенькую молодую женщину с уже увядшей грудью, которая кашляла и в отчаянии, что у нее пропало молоко, с ожесточением качала на руках плачущего младенца. В соседнем помещении Пьер увидел душераздирающую картину: трое существ без пола и возраста, еле прикрытые лохмотьями, сидели в совершенно пустой комнате и жадно хлебали из одной миски какое-то месиво, от которого отвернулась бы

собака. Они едва подняли голову и что-то проворчали, не отвечая на вопросы.

Пьер хотел было спуститься, но на самом верху, в начале коридора, решил в последний раз постучаться в первую же дверь. Ему открыла женщина с растрепанными волосами, которые уже начали сесть, хотя ей было не больше сорока; ее желтое лицо, бледные губы и ввалившиеся глаза выражали крайнюю усталость и постоянную тревогу, казалось, она пришиблена жестокой нищетой. Увидав сутану, она смутилась и беспокойно пробормотала:

— Входите, входите, господин аббат.

Но тут мужчина, которого Пьер сперва не заметил, сделал гневный жест, словно угрожая выбросить священника за дверь. Это был рабочий лет сорока, высокий, сухощавый, облысевший, с редкими рыжеватыми усами и бородой. Но он быстро овладел собой и сел возле хромоногого стола, повернувшись спиной к вошедшему. В комнате находилась еще белокурая девчурка лет одиннадцати — двенадцати, с кротким продолговатым лицом и умненькими глазками, не по летам серьезная, как все дети, выросшие в суровой нужде. Отец подозвал ее и поставил между колен, как бы защищая от сутаны.

У Пьера сжалось сердце от такого приема. Убогая каморка, голая, без огня в камине, и мрачные, скорбные лица трех ее обитателей выдавали беспросветную бедность. Однако он отважился задать вопрос:

— Сударыня, не знаете ли вы в вашем доме старика рабочего по фамилии Лавев?

Женщина дрожала от страха, видя, что, впустив священника, вызвала недовольство мужа, но все же она робко попыталась уладить дело.

— Лавев, Лавев... нет... Слышишь, Сальва? Ты не знаешь такого?

Сальва только пожал плечами в ответ. Но у девочки чесался язычок.

— Послушай, мама Теодора... Может быть, это Философ?

— Это бывший маляр, — добавил Пьер, — больной старик, который больше не может работать.

Госпожу Теодору сразу осенило.

— Ну да, это он, конечно, он... Мы зовем его Философом, такую кличку дали ему у нас в квартале. Но почему бы ему не зваться Лавевом?

Сальва поднял кулак, словно грозя ужасному миру и богу, который допускает, чтобы престарелые рабочие подыхали с голоду, как разбитые на ноги клячи. Но он не произнес ни звука и снова погрузился в угрюмое, тяжелое молчание, отдавшись своим безотрадным думам, прерванным приходом Пьера. Он был механик и смотрел, не отрывая глаз, на мешок с

инструментом, лежавший на столе, кожаный мешок, который сбоку оттопырился, вероятно, там лежал какой-то предмет, сделанный на заказ. Должно быть, он думал о затянувшейся безработице, о двух последних месяцах суровой зимы, в течение которой он напрасно искал какого-нибудь заработка. Или, может быть, он помышлял о грядущем кровавом восстании бедняков, отдаваясь бунтарским мечтам, от которых вспыхивали его большок жгучие синие глаза с блуждающим странным взглядом. Внезапно он заметил, что дочка схватила мешок и пытается его открыть, чтобы посмотреть, что там внутри. Он вздрогнул, побледнел от волнения и сказал, глядя на ребенка с какой-то горькой нежностью:

— Селина, сейчас же оставь! Я запретил тебе трогать инструменты!

Он схватил мешок и с чрезвычайной осторожностью прислонил его к стене.

— Так, значит, сударыня, — спросил Пьер, — Лавев живет на этом этаже?

Госпожа Теодора устремила на Сальва боязливый вопросительный взгляд. Ей вовсе не хотелось, чтобы грубо обращались со священником, который удостоил их своим посещением, ведь от него можно иногда получить несколько су. Увидев, что Сальва опять погрузился в мрачное раздумье и предоставляет ей свободу действий, она сразу же пришла на помощь Пьеру.

— Если вам угодно, господин аббат, то я могу вас проводить. Это в самом конце коридора. Но надо знать дорогу, потому что придется одолеть еще несколько ступенек.

Зажатая между коленями отца Селина, обрадовавшись развлечению, вырвалась из плена и побежала тоже провожать Пьера. Сальва остался один в комнате, где царили нищета и страдания, возмущение и гнев, он сидел, продрогший и голодный, во власти своей пламенной мечты, по-прежнему неотрывно глядя на мешок, как будто там, вместе с инструментами, было спрятано средство для исцеления мира.

Действительно, пришлось подняться еще на несколько ступенек, и, следуя за г-жой Теодорой и Селиной, Пьер очутился в каком-то узком чулане в несколько квадратных метров, на чердаке, под самой крышей, где даже нельзя было выпрямиться во весь рост. Свет проникал туда только сквозь слуховое окно на крыше, но стекло было залеплено снегом, и пришлось оставить дверь открытой настежь, чтобы было светлее. Зато в каморку проникала сырость, — была оттепель, таял снег, и вода капля за каплей стекала вниз, заливая пол. После долгих недель сурового холода промозглая мгла окутала все кругом. И здесь, в пустом чулане, где не

было даже стула, даже доски, простой скамейки, прямо на полу, на куче неопишимо грязного тряпья лежал Лавев, как животное, издыхающее на груди нечистот.

— Смотрите же! — сказала Селина своим певучим голоском. — Вот он. Это Философ!

Госпожа Теодора наклонилась, прислушиваясь к дыханию старика: жив ли он еще?

— Да, он дышит, мне кажется, он спит. О, если бы ему есть каждый день, он чувствовал бы себя молодцом. Но что поделаешь? У него не осталось никого на свете, и когда человеку перевалит за семьдесят, то, пожалуй, лучше всего ему утопиться. Он маляр, а эти рабочие после пятидесяти лет по большей части уже не могут работать, стоя на стремянке. Сначала он еще находил кое-какую работенку, которую можно было делать, стоя на земле. Потом ему подвезло, его наняли караулить лесной склад. А теперь ему крышка; его рассчитали, никуда не берут, и вот уже два месяца, как он свалился в этом углу и ждет смерти. Хозяин дома пока еще не осмеливается вышвырнуть его на улицу, хотя у него уже давно руки чешутся это сделать. Ну а мы — что с нас взять? Иной раз занесешь ему капельку винца да корочку хлеба. Но ведь когда самим нечего есть, не больно-то накормишь других!

Пьер с ужасом смотрел на жалкую развалину; во что превратили нищета и социальная несправедливость человека, проработавшего пятьдесят лет! Постепенно он разглядел седую голову, изможденное, плоское, изуродованное лицо. Беспросветный труд и крушение всех надежд наложили печать на черты этого человека. До самых глаз лицо заросло бородой и напоминало морду старой клячи, которую перестали подстригать, с перекосившейся беззубой челюстью. Глаза остекленели, нос смыкался с подбородком. А главное, это сходство с клячей, искалеченной непосильным трудом, охромевшей, свалившейся на землю и годной только на живодерню.

— Ах, бедняга! — прошептал, содрогаясь, священник. — И его оставили умирать тут с голоду, одного, без всякой помощи! Его не приняли ни в одну больницу, ни в один приют!

— Полноте! — сказала г-жа Теодора жалобным и покорным голосом. — Больницы для больных, а он вовсе не болен, он попросту кончается от истощения сил. А потом, с ним не больно-то столкнешься; еще на этих днях приходили за ним, хотели взять его в приют, но он не желает жить под замком, огрызается, когда его спрашивают, да

вдобавок известно, что он любит выпить и ругает буржуа... Но, слава богу, скоро придет ему избавление!

Пьер наклонился над стариком и, видя, что тот открыл глаза, ласково с ним заговорил, рассказал, что от имени своего друга принес ему немного денег, чтобы он купил себе самое необходимое. Сперва при виде сутаны старик забормотал бранные слова. Но несмотря на крайнюю слабость, в нем проснулась насмешливость рабочего-парижанина.

— Ну, что ж, я охотно выпил бы стаканчик, — проговорил он вполне внятно, — и заел бы кусочком хлеба, если бы мне дали, а то уже целых два дня я его и не нюхал.

Селина предложила свои услуги, и г-жа Теодора послала ее купить хлеба и литр вина на деньги аббата Роза. Тем временем она рассказала Пьеру, что Лавева должны были принять в приют для инвалидов труда, благотворительное учреждение, находящееся под опекой дам-патронесс, во главе которых стоит баронесса Дювильяр; но обычное обследование, несомненно, привело к такому докладу, что дело не выгорело.

— Баронесса Дювильяр! Я ее знаю и сегодня же схожу к ней! — воскликнул Пьер, у которого сердце обливалось кровью. — Нельзя же оставить человека в таком положении!

Но вот Селина вернулась с хлебом и литром вина. Они втроем приподняли Лавева, усадили его на гряде тряпья, дали ему выпить и поесть, потом оставили возле него бутылку с недопитым вином и хлеб, большой четырехфунтовый каравай, и посоветовали ему не доедать его сразу, если он не хочет подавиться.

— Вы бы дали мне свой адрес, господин аббат, на случай, если мне придется вам кое о чем сообщить, — сказала г-жа Теодора, подходя к своей двери.

У Пьера не оказалось визитной карточки, и все трое снова вошли в комнату. Но теперь Сальва был уже не один. Он стоял и разговаривал вполголоса, очень быстро и почти лицом к лицу с молодым человеком лет двадцати. Это был тщедушный брюнет с коротко остриженными волосами и еле пробивающейся бородкой. На его бледном, усеянном редкими веснушками, живом и умном лице выделялись светлые глаза, прямой нос и тонкие губы. Он дрожал от холода в своей потрепанной куртке, высокий лоб его говорил о твердости и упрямстве.

— Господин аббат хочет мне оставить свой адрес, так как он интересуется Философом, — тихонько пояснила г-жа Теодора, которую раздосадовало появление постороннего лица.

Собеседники взглянули на священника, затем переглянулись со зловещим видом. Они резко оборвали разговор, и в пронизанной сыростью комнате воцарилось молчание.

Сальва с величайшей осторожностью поднял мешок с инструментом, прислоненный к стене.

— Так ты уходишь, ты опять идешь искать работу?

Муж не отвечал, но у него вырвался гневный жест, как будто он хотел сказать, что не намерен бегать за работой, раз она уже с которых пор убегает от него.

— Все-таки постарайся что-нибудь раздобыть, ты же знаешь, дома ничего нет... В котором часу ты вернешься?

Сальва в ответ снова махнул рукой, как бы говоря, что он вернется, когда придет время, а может, и никогда. И несмотря на героические усилия воли, его синие блуждающие глаза, горевшие беспокойным огнем, внезапно увлажнились. Он схватил в объятия свою дочку Селину, порывисто, иступленно ее поцеловал и вышел из комнаты с мешком под мышкой в сопровождении молодого товарища.

— Селина, — опять заговорила г-жа Теодора, — дай твой карандаш господину аббату. Прошу вас, сударь, садитесь вот сюда, здесь вам будет удобнее писать.

Когда Пьер уселся перед столом на стуле, который недавно занимал Сальва, она прибавила, как бы извиняясь за невежливость мужа:

— Он у меня не злой, но у него в жизни было столько невзгод, что он стал немного взбалмошный. Совсем как молодой человек, которого вы сейчас видели, Виктор Матис, вот уж тоже не из счастливых. Это очень хорошо воспитанный, очень образованный молодой человек, и он с матерью, вдовой, перебивается с хлеба на воду. Ну, понятное дело, оба они свихнулись и только толкуют о том, что нужно взорвать весь мир. Я не сочувствую их взглядам, но прощаю им, от всей души прощаю.

Пьер был взволнован, окружавшая его атмосфера жуткой тайны пробудила в нем любопытство, он не спешил писать свой адрес и слушал г-жу Теодору, вызывая ее на откровенность.

— Ах, если бы вы знали, господин аббат, какой он несчастный, этот Сальва! Подкидыш, без отца, без матери, он с малых лет скитался по свету и, чтобы не умереть с голоду, брался за любую работу. Потом он стал механиком. Он очень хороший мастер, уверяю вас, уж такой ловкий, такой работающий! Но он уже набрался разных там идей, начал ссориться, подстрекать товарищей, так что нигде не мог удержаться на работе. И вот, когда ему стукнуло тридцать, он сдуру отправился в Америку с одним

изобретателем, который выжимал из него все соки, так что через шесть лет он вернулся оттуда больной и без гроша в кармане... Надо вам сказать, что он женился на моей младшей сестре Леонии, а она умерла еще до его отъезда в Америку, и у него на руках осталась годовалая Селина. А я тогда жила со своим мужем Теодором Лабитом, каменщиком. Хвалиться не хочу, но я день и ночь корпела над шитьем, портила себе глаза; а он бил меня смертным боем. Под конец он меня бросил и удрал с девчонкой двадцати лет, а я скорее обрадовалась, чем огорчилась... Так вот, когда Сальва вернулся из Америки, я жила одна с маленькой Селиной, — он поручил мне ее перед отъездом, и она меня звала мамой. Ну, ясное дело, мы волей-неволей с ним сошлись. Мы не венчаны, но правда ведь, господин аббат, это то же самое?

Однако она испытывала некоторое смущение и продолжала, желая показать, что у нее приличная родня:

— Мне-то не слишком повезло, а вот у меня есть сестра Гортензия, так она вышла замуж за чиновника, мосье Кретьенно, они живут в прекрасной квартире на бульваре Рошешуар. Нас было трое от второго брака: Гортензия самая младшая, потом покойная Леония, а я старшая, меня зовут Полина... От первого брака у нас есть еще брат Эжен Туссен, старше меня на десять лет, он тоже слесарь и работает после войны все на том же заводе Грандидье, это в ста шагах от нас, на улице Маркаде. На беду, недавно его хватил удар. Ну, а я потеряла зрение, вконец погубила глаза, работая иглой по десять часов в день. И стоит приняться за починку, как слезы застилают мне глаза. Я искала место приходящей прислуги, но не нашла, судьба немилосердно нас бьет. И вот у нас в доме нет ничего, можно сказать, черная нищета, иной раз два-три дня сидим без хлеба, живем собачьей жизнью, хорошо, если изредка удастся перехватить кусок; а в эти последние два месяца, когда стояли такие холода, мы до того мерзли, что порой думали, нам и не проснуться поутру... Что поделаешь? Я никогда не знала счастья, сперва меня колотили, а теперь я конченный человек, заброшена в этот угол и даже не знаю, зачем живу.

Голос у нее начал дрожать, воспаленные глаза подернулись слезами, и Пьер понял, что перед ним женщина, проплакавшая всю свою жизнь, доброе, но безвольное существо, уже почти вычеркнутое из списка живых, не знавшее в замужестве любви и покорившееся обстоятельствам.

— О, я не жалею на Сальва, — снова заговорила она. — Это хороший человек, он только и думает что о всеобщем счастье, он не пьет, трудится, когда подвернется работа... Только если бы он поменьше занимался политикой, он наверняка больше бы работал. Разве можно

вести споры с товарищами, ходить на собрания и работать в мастерской? Ясное дело, тут он сам виноват... И все-таки у него есть основания быть недовольным. Вы и представить себе не можете, сколько напастей на него свалилось, как упорно преследуют его несчастья, он прямо-таки раздавлен жизнью. Тут и святой потерял бы рассудок, и понятное дело, бедняк, горький неудачник, вконец озлобляется... За эти два месяца он повстречал только одного доброго человека, это ученый, он живет вон там, высоко на холме, мосье Гильом Фроман. Он дает мужу кое-какую работу, так что иной раз нам хватает и на суп.

Пьер чрезвычайно удивился, услышав имя своего брата, и ему захотелось ее расспросить, но его удержало странное чувство какой-то неловкости и смутного страха. Он посмотрел на худенькую девочку, которая все время слушала, стоя перед ним с серьезным видом. И г-жа Теодора, видя, что он улыбается ребенку, в заключение сказала:

— Знаете, он прямо выходит из себя, как только подумает об этой малютке. Он обожает ее и готов укукошить всех на свете, когда видит, что она ложится спать без ужина. Она у нас такая славная и так хорошо училась в коммунальной школе. А теперь у нее нет даже кофтенки, чтобы туда ходить.

Между тем Пьер написал свой адрес, тихонько сунул девочке в руку пятифранковую монету и, не желая слушать слова благодарности, поспешно сказал:

— Теперь вы знаете, где меня найти, в случае, если я понадобится для Лавева. Во второй половине дня я займусь его делом и очень надеюсь, что за ним приедут сегодня же вечером.

Госпожа Теодора не слушала Пьера, она призывала благословение на его голову, а Селина, восторженно глядя на монету в сто су, прошептала:

— Ах, бедный папа! Он пошел охотиться за денежками! А если побежать за ним и сказать ему, что сегодня у нас есть на что жить?

И священник, уже в коридоре услышал, как женщина ей ответила:

— Он, верно, уже далеко ушел. Может быть, он вернется.

Когда Пьер вырвался наконец из ужасного дома, полного скорби, у него шумело в голове и сердце разрывалось от боли; к своему удивлению, он увидел Сальва и Виктора Матиса, стоявших в уголке грязного двора, где веяло чумным дыханием клоаки. Они сошли туда и продолжали прерванный разговор. По-прежнему они говорили лихорадочным шепотом, сблизив головы, и глаза их горели яростным пламенем. Но вот они услышали звук шагов и узнали аббата; внезапно успокоившись, не произнеся ни звука, они крепко пожали друг другу руки. Виктор стал

подниматься на Монмартр. Сальва с минуту стоял в нерешительности, как человек, вопрошающий судьбу, затем этот усталый, худой, изголодавшийся рабочий выпрямил спину, повернул на улицу Маркаде и зашагал по направлению к Парижу, навстречу суровой случайности, зажав под мышкой мешок с инструментами.

На мгновение у Пьера возникло желание побежать за ним, крикнуть ему, что дочурка зовет его домой. Но тут он снова ощутил неловкость, боязнь и смутную уверенность, что судьбу ничем не отворотить. Пьер уже не испытывал, как утром, леденящего спокойствия и безнадежной тоски. Очутившись вновь на улице, в промозглом тумане, он почувствовал, как им снова овладел лихорадочный пыл, как в сердце его вновь разгорелось пламя милосердия при виде ужасающей нищеты. Нет, нет! Довольно страданий! Ему опять захотелось бороться, спасти Лавева, подарить крупицу радости еще многим несчастным. Он предпримет новую попытку в этом Париже, который он увидел сегодня под покровом пепла, в этом таинственном и волнующем городе, над которым нависла угроза неизбежного возмездия. И Пьер стал мечтать о могучем солнце, которое принесет людям здоровье, изобилие и превратит город в огромное плодоносное поле, где возникнет мир прекрасного будущего.

II

В этот день, как обычно, у Дювильяров завтракало запросто несколько друзей, которые приходили, не ожидая приглашения. Холодным туманным утром в великолепном особняке на улице Годо-де-Моруа, возле бульвара Мадлен, цвели самые редкостные цветы, к которым питала страсть баронесса, превращавшая высокие, роскошные комнаты, полные всяких чудес, в теплые благоухающие оранжереи, где бледный, унылый свет парижского дня становился невыразимо мягким и ласкающим.

Обширные покои, предназначенные для приема гостей, были расположены на первом этаже и выходили окнами в просторный двор, к которому примыкал небольшой зимний сад, своего рода застекленный вестибюль, где всегда дежурили двое лакеев в ярко-зеленых с золотом ливреях. Всю северную часть дома занимала знаменитая картинная галерея, которая оценивалась в несколько миллионов. Парадная лестница, также убранная со сказочной роскошью, вела в комнаты, обычно занимаемые членами семьи; это были: большая красная гостиная, маленькая гостиная голубая с серебром, рабочий кабинет со стенами,

обитыми старинной кожей, светло-зеленая столовая, обставленная в английском вкусе, а также спальни и будуары. Построенный при Людовике XIV особняк еще не утратил своего аристократического величия, хотя был завоеван и поработан жадной до наслаждений, торжествующей буржуазией, воцарившейся сто лет тому назад и положившей начало всемогущей власти капитала.

Еще не пробило двенадцати, когда барон Дювильяр, против обыкновения, вошел первым в маленькую голубую с серебром гостиную. Это был мужчина шестидесяти лет, рослый и плотный, с крупным носом, мясистыми щеками и широким чувственным ртом, где уцелели крепкие волчьи зубы. Он рано облысел и красил остатки волос, а с тех пор, как поседела борода, сбрасывал всю растительность на лице. Его серые глаза дерзко смотрели на мир, в его смехе звучало торжество. Лицо его выражало гордость победителя, беззастенчивость властелина, который наслаждается, свободно пользуясь властью, похищенной и удержанной его кастой.

Сделав несколько шагов, он остановился перед корзиной с чудесными орхидеями, стоявшей у окна. На камине и на столе разливали аромат букеты фиалок. Барон развалился в голубом атласном кресле, затканном серебром, среди усыпляющего благоухания цветов и теплой тишины, которую словно излучала шелковая обивка гостиной. Он вынул из кармана газету и стал перечитывать какую-то статью. Вся обстановка особняка красноречиво говорила о несметном богатстве и самодержавной власти его хозяина, повествуя историю века, вознесшего его на высоту. Дед его, Жером Дювильяр, сын незначительного адвоката из Пуату, в 1788 году, восемнадцати лет от роду, приехал в Париж и начал свою карьеру клерком у нотариуса. Этот суровый, умный, ненасытный делец нажил первые три миллиона, сперва — спекулируя национальным имуществом, затем — делая поставки императорской армии. Отец его, Грегуар Дювильяр, сын Жерома, родившийся в 1805 году, крупнейшая фигура в их роде, первым воцарился на улице Годо-де-Моруа, после того как король Луи-Филипп пожаловал ему титул барона. Он стал одним из героев современного финансового мира и в дин Июльской монархии, и при Второй империи скандально наживался, участвуя во всех знаменитых грабительских авантюрах и спекуляциях, имея дело с угольными копиями, железными дорогами и Суэцким каналом. А он, Анри Дювильяр, родившийся в 1836 году, начал серьезно заниматься делами только в тридцатилетнем возрасте, после окончания войны, когда умер барон Грегуар, но проявил такой бешеный аппетит, что за четверть века удвоил

свое состояние. Он губил и пожирал, развращал и поглощал всех и все вокруг себя. Это был соблазнитель, покупавший всякую продажную совесть, глубоко постигший дух времени и хорошо раскусивший демократию, столь же алчную и нетерпеливую. Во многих отношениях он уступал отцу и деду, так как чересчур гонялся за радостями жизни и добыча была ему милей победы, по все же это был страшный человек, разжиревший, торжествующий завоеватель. Он действовал наверняка, подобно банкомету, то и дело загребая лопаточкой миллионы, был на равной ноге с членами правительства и вполне мог упрятать в карман если не всю Францию, то, по крайней мере, министерство. На протяжении исторического столетия, как представитель третьего поколения, он воплощал королевскую власть, уже находившуюся под угрозой, уже слегка поколебленную предвестниками грядущей бури. Но временами его образ как бы вырастал, принимал гигантские размеры и становился олицетворением буржуазии, той самой, которая во время дележа 1789 года всем завладела и, разжирев за счет четвертого сословия, ничего не желала возвращать.

Барона явно интересовала статья, которую он читал в грошовой газетке «Голос народа» — так именовался бойкий листок, который, под предлогом защиты оскорбленной справедливости и морали, каждое утро раздувал очередной скандал, в надежде повысить свой тираж. И этим утром там красовался заголовок, набранный крупным шрифтом: «Дело Африканских железных дорог! Взятка в пять миллионов! Подкуплено двое министров. Скомпрометировано тридцать человек депутатов и сенаторов». Затем в статье, написанной с отвратительной наглостью, главный редактор, всем известный Санье, заявлял, что он намерен опубликовать имеющийся у него список тридцати двух членов парламента, голоса которых купил барон Дювильяр, когда в палатах ставился на голосование вопрос об Африканских железных дорогах. Ко всему этому была приплетена целая романтическая история о похождениях некоего Гюнтера, которого барон использовал как вербовщика и который потом бежал. Сохраняя спокойствие, барон перечитывал фразу за фразой, взвешивал каждое слово, и хотя в комнате никого не было, он пожал плечами и сказал вслух спокойным тоном, как человек, уверенный в своей безопасности и слишком могущественный, чтобы тревожиться:

— Вот болван! Ведь он еще многого не знает.

Но тут вошел первый гость, молодой человек лет тридцати с небольшим, элегантно одетый красивый брюнет со смеющимися глазами,

правильным носом и вьющимися волосами и бородкой; вид у него был легкомысленный, и он чем-то напоминал порхающую птичку. Но в это утро он как-то необычно нервничал и растерянно улыбался.

— А, это вы, Дютейль, — произнес барон, поднимаясь. — Читали?

И он показал гостю «Голос народа», который складывал, собираясь сунуть в карман.

— Ну да, читал. Какое безумие!.. Где мог Санье раздобыть список имен? Неужели нашелся предатель?

Барон невозмутимо взирал на Дютейля, его забавляло явное волнение молодого человека. Сын нотариуса из Ангулема, отнюдь не богатого и весьма честного, он был еще совсем юным направлен в качестве депутата от этого города в Париж; этим он был обязан высокой репутации отца. В столице зажил в свое удовольствие, предаваясь лени и развлекаясь, так же как и в дни своего студенчества. Однако уютная холостая квартирка на улице Сюрен и успехи этого красавца, вечно окруженного роем женщин, дорого ему обходились, и с веселой беззаботностью, не связывая себя никакой моралью, он скользнул на путь всевозможных компромиссов, на путь постыдных падений; он проделывал это с легкомысленной небрежностью, с видом превосходства: казалось, этот очаровательный ветрогон не придавал ни малейшего значения подобным пустякам.

— Ба! — снова заговорил барон. — Да есть ли в самом деле список у Санье? Сомневаюсь, какие там списки! Гюнтер не так глуп, чтобы их заводить... И потом, что тут особенного? Это самая обыкновенная история, было сделано только то, что всегда делают в подобных случаях.

Испытывая первый раз в жизни тревогу, Дютейль слушал барона, надеясь, что тот его успокоит.

— Правда? — воскликнул он. — Я так и думал. Стоит ли расстраиваться, — это все равно что кошку выбросить в окошко!

Дютейль натянуто улыбался; будучи замешан в эту авантюру, он не мог припомнить, под каким предлогом получил десять тысяч — то ли в виде какого-то займа, то ли для уплаты газетам за якобы помещенные публикации, — ведь Гюнтер проявлял необычайный такт и умел щадить чужую совесть, даже самую запятнанную.

— Кошку в окошко? — повторил Дювильяр, которого явно забавляло беспокойство Дютейля. — А известно ли вам, милый друг, что кошка, падая, всегда становится на все четыре лапы?.. Вы видели Сильвиану?

— Я только что от нее, она ужасно на вас сердится... Сегодня утром она узнала, что в Комедии ее дело лопнуло.

Внезапно лицо барона побагровело от гнева. Этот человек, так спокойно и насмешливо встретивший угрозу скандала с Африканскими железными дорогами, потерял самообладание и вскипел, едва дело коснулось предмета его последней бурной страсти.

— То есть как это лопнуло? Да ведь еще третьего дня в департаменте изящных искусств мне дали чуть ли не формальное обещание!

Речь шла о настойчивой прихоти Сильвианы д'Онэ. Имея до сих пор успех в театре только благодаря своей красоте, она решила теперь попасть в труппу Французской Комедии, чтобы дебютировать там в роли Полины в «Полиевкте», — эту роль Сильвиана разучивала уже несколько месяцев. Весь Париж смеялся над этим безумием, так как мадемуазель славилась ужасной развращенностью, обладала всеми пороками и всеми изменными склонностями. Однако она держалась высокомерно, выставляла себя напоказ и требовала роль, уверенная в победе.

— Этого не захотел министр, — пояснил Дютейль.

Барон задышался.

— Министр! министр! О! Я его вышвырну, этого министра!

Ему пришлось замолчать, в гостиную вошла баронесса Дювильяр. В сорок шесть лет она еще сохранила красоту. Это была светлая блондинка, высокая, немного располневшая, с прелестными плечами и руками и безупречной атласной кожей, — только лицо у нее слегка поблекло, и кое-где на нем выступили красные пятнышки, что тревожило баронессу и занимало все ее мысли. Чуть удлиненный овал лица, своеобразное очарование и голубые глаза, нежные и томные, выдавали ее еврейское происхождение. Ленивая, как восточная рабыня, всецело поглощенная своей внешностью, она не любила двигаться, ходить, даже говорить и, казалось, была создана для гарема. На этот раз она появилась в белом шелковом платье, изящном и подчеркнуто простом.

Дютейль с восхищенным видом поцеловал ей руку и отпустил комплимент:

— Ах, сударыня, от вас на меня прямо повеяло весной. Сегодня Париж такой черный и грязный.

Но вот вошел второй гость, высокий красивый мужчина лет тридцати пяти, и терзаемый страстью барон воспользовался этим случаем, чтобы ускользнуть. Он увлек Дютейля в свой кабинет, находившийся рядом с гостиной.

— Пойдемте, дорогой друг, мне надо еще сказать вам два слова об этом деле... Господин де Кенсак займет пока мою жену.

Оставшись наедине с новым гостем, который также почтительно поцеловал ей руку, баронесса долго молча глядела на него, и ее прекрасные, с поволокой, глаза наполнялись слезами. Наконец она прервала затянувшееся неловкое молчание, проговорив почти шепотом:

— О, Жерар, как я счастлива, что хоть минуту могу побыть с вами наедине! Вот уже месяц, как вы не доставляли мне такой радости.

История женитьбы Анри Дювильяра на младшей дочери крупного еврейского банкира Юста Штейнбергера носила легендарный характер. Подобно братьям Ротшильдам, четверо братьев Штейнбергеров одновременно начали свою карьеру — Юст в Париже, остальные трое — в Берлине, Вене и Лондоне. Эта тайная деловая компания приобрела страшную силу, интернациональное могущество и оказывала решающее влияние на все европейские биржи. Между тем Юст был наименее богатым из четырех братьев и в лице барона Грегуара имел опасного противника, с которым ему приходилось бороться, оспаривая каждую крупную добычу. И вот после ужасной схватки с Дювильяром, при яростном дележе наживы, ему запала в душу мысль выдать свою младшую дочь Еву за Анри, сына барона, и тем самым подложить мину сопернику. До сего времени все считали Анри приятным молодым человеком, любителем лошадей, завсегдатаем клубов, и, без сомнения, Юст рассчитывал после кончины грозного барона, уже неизлечимо больного, без труда одолев своего зятя, прибрать к рукам банк соперника. А тут как раз Анри воспылал бешеной страстью к белокурой Еве, находившейся в полном расцвете красоты. Он решил на ней жениться, и старик, знавший, что за человек его сын, дал согласие, втайне потешаясь над коварным замыслом Юста. Действительно, затея обернулась против старого банкира, когда Анри, сделавшись преемником отца, сбросил личину прожигателя жизни и наружу выпянул хищник, который начал отхватывать жирные куски, пользуясь разнузданными аппетитами буржуазной демократии, наконец дорвавшейся до власти. Еве отнюдь не удалось полотить Анри, ставшего, в свою очередь, всемогущим банкиром, бароном Дювильяром, повелителем биржи, напротив, это он поглотил состояние Евы за каких-нибудь четыре года. Подарив ей одного за другим двух детей, дочку и сына, он внезапно отдалился от нее еще во время второй беременности, как будто после пылких радостей обладания начал испытывать к ней отвращение; так бросают плод, пресытившись его сладостью. Сперва Ева была потрясена и глубоко опечалена, узнав, что муж вернулся к своей холостой жизни и завел любовные интриги. Потом, без тени упрёка, без всякой злобы, даже не пытаясь вернуть себе мужа,

она тоже завела любовника. Она не могла жить без любви, она родилась на свет, чтобы проводить дни в атмосфере обожания, в объятиях и ласках. Ева прожила пятнадцать лет с любовником, которого выбрала себе еще в двадцатилетнем возрасте, и сохраняла ему безупречную верность, как была бы верна супругу. И когда он умер, это было для нее тяжелым горем, она переживала настоящее вдовство. Но через полгода, встретив графа Жерара де Кенсака, она ему отдалась, не в силах противостоять властной потребности в любви.

— Скажите, милый Жерар, — продолжала она материнским и одновременно влюбленным тоном, видя замешательство молодого человека, — вы были нездоровы? Может быть, вы скрываете от меня какую-нибудь неприятность?

Ева была на десять лет старше его; и на этот раз она с отчаянием цеплялась за последнюю любовь, вкладывая в свое чувство к этому красавцу весь пыл женщины, боящейся состариться, готовой бороться, чтобы сохранить любовника наперекор всему.

— Да нет, уверяю вас, я ничего не скрываю, — отвечал граф. — Все эти дни моя мать удерживала меня возле себя.

Она продолжала смотреть на него беспокожно и страстно, — ей так нравилась его представительная и благородная внешность — правильные черты, темные выхоленные усы и шевелюра. Он принадлежал к одному из самых древних французских родов и жил со своей матерью — вдовой, которую разорил муж, склонный к авантюрам. Она старалась держаться соответственно своему рангу и ухитрялась прожить на каких-нибудь пятнадцать тысяч, снимая квартиру в первом этаже на улице Сен-Доминик. А Жерар всю свою жизнь ничего не делал, отслужив по необходимости один год и отказавшись от дальнейшей военной карьеры, как отказался от карьеры дипломата, единственной, соответствующей его достоинству. Он целые дни проводил в том деятельном безделье, в котором живет большинство светских молодых парижан. Его мать, особа чопорная и высокомерная, по-видимому, не винила его в этом, она как будто считала, что при республиканском строе человек столь высокого происхождения из протеста должен держаться в стороне. Но, без сомнения, для такой снисходительности у нее имелись куда более интимные и волнующие причины. В семилетнем возрасте он чуть не умер от воспаления мозга. Восемнадцати лет он стал жаловаться на сердце, и врачи посоветовали беречь его во всех отношениях.

Она, стало быть, знала, что породистая внешность сына, высокий рост и гордая осанка — не более как обманчивая декорация. Он мог

ежеминутно превратиться в прах, ему постоянно угрожала болезнь и гибель.

С виду мужественный, по натуре он был податлив, как девушка; это было слабовольное и добродушное существо, не умевшее сопротивляться соблазнам. Жерар увидел Еву в первый раз в приюте для инвалидов труда, куда приехал с матерью, отличавшейся строгим благочестием. Отдавшись ему, Ева им завладела. Встречи их продолжались, он все еще испытывал к ней влечение, да и не знал средства порвать с нею, а мать закрывала глаза на эту «преступную» связь с представительницей презируемого ею общества, — она уже не раз закрывала их на безрассудные выходки сына, прощая ему, как больному ребенку. Но вскоре Ева одержала решительную победу, изумив весь высший свет своим поступком. Внезапно распространился слух, что монсеньер Март *a* обратил ее в католичество. То, в чем она отказала законному мужу, она сделала, чтобы обеспечить себе навсегда привязанность любовника. И весь Париж был взволнован великолепным зрелищем, имевшим место в церкви Мадлен, где было совершено крещение сорокапятилетней еврейки, красота и слезы которой потрясли все сердца.

Жерару льстила эта великая, трогательная любовь. Но им уже овладевала усталость, он пытался порвать с баронессой, всячески увиливая от свиданий, и прекрасно понимал, о чем молили ее глаза.

— Уверяю вас, — повторил он, уже слабея, — матушка все эти дни не отпускала меня ни на шаг. Но, разумеется, я был бы так счастлив...

Не произнося ни слова, она продолжала его умолять, и глаза ее увлажнились слезами. Уже целый месяц он не назначал ей свидания в маленькой комнате, в глубине двора, на улице Матиньон, где они встречались. Мягкосердечный и слабый, как и сама баронесса, он горько досадовал, что их на несколько минут оставили вдвоем, и наконец сдался, не в силах ей отказать.

— Ну, хорошо! Если вам угодно, то сегодня днем. Как обычно, в четыре часа.

Он говорил вполголоса, но, услышав легкий шорох, быстро повернул голову и вздрогнул, как человек, застигнутый на месте преступления. То вошла Камилла, дочь баронессы. Она ничего не слышала, но по улыбкам любовников, по страстному трепету, разлитому в воздухе, все поняла: еще одно свидание все на той же улице, относительно которой у нее были подозрения, и как раз в этот день. Произошло замешательство. Женщины обменялись тревожными и недобрыми взглядами.

Двадцатитрехлетняя Камилла была миниатюрной очень смуглой брюнеткой, немного кривобокой: левое плечо выше правого. Она отнюдь не походила ни на отца, ни на мать: это был один из тех непредвиденных капризов наследственности, которые порой вызывают полное недоумение. Единственной ее гордостью были прекрасные черные глаза и великолепные черные волосы, которые при ее маленьком росте могли, по ее словам, укрыть ее с головы до ног. Но резкие черты, чуть перекошенное на левую сторону лицо, длинный нос и острый подбородок, тонкие умные недобрые губы говорили о досаде и едкой злобе, которые накопились в душе у этой дурнушки, приходившей в ярость от своего уродства. Несомненно, больше всех на свете она ненавидела свою мать, эту пылкую любовницу, лишенную материнских чувств, которая никогда не любила ее, никогда ею не интересовалась и еще в грудном возрасте бросила на попечение няnek. Между матерью и дочерью возникла ненависть, с годами все возраставшая, немая и холодная — у одной, горячая и страстная — у другой. Камилла терпеть не могла своей матери, потому что находила ее красивой, и злилась, что она не передала ей своей красоты, той красоты, которая теперь ее так подавляла. Ее каждодневные страдания объяснялись тем, что она никому не нравилась, в то время как мать до сих пор еще была полна обаяния. У Камиллы был злой язычок, ее слушали, она вызывала смех, но все мужчины, даже самые молодые, — да именно самые молодые! — вскоре опять устремляли взгляд на ее торжествующую мать, не желавшую стареть. Тогда-то она и приняла жестокое решение отнять у матери последнего любовника, женить на себе Жерара, зная, что эта потеря непременно убьет ее мать. Благодаря пятимиллионному приданому у нее не было недостатка в претендентах, но это не слишком ей льстило, и она говорила, ехидно посмеиваясь: «Черт возьми, да за пять миллионов они пойдут за невестой даже в Сальпетриер».

Потом она полюбила Жерара, который по доброте душевной был ласков с этой полуженщицей. Он жалел ее, видя, что она никому не нужна, испытывал к ней симпатию и встречал с ее стороны нежную благодарность. Этому красавцу нравилось быть в роли божества, иметь рабыню. Пытаясь порвать с матерью, любовь которой его тяготила, он смутно мечтал о том, что не худо бы позволить дочери женить его на себе и таким образом положить приятный конец этой связи. Но пока он еще стыдился себе в этом признаться, помышляя о своем громком имени, о всевозможных осложнениях и о слезах, которые будут пролиты.

Все трое молчали. Острым взглядом, убийственным, как удар ножа, Камилла дала понять матери, что она все знает; потом устремила на Жерара скорбный взгляд, взывая к его состраданию. Чтобы умиротворить соперниц, граф не нашел ничего лучшего, как прибегнуть к комплименту:

— Здравствуйте, Камилла... Ах, это прелестное платье табачного цвета! Удивительно, до чего вам к лицу темноватые тона!

Камилла взглянула на белое платье матери, потом на свое темное платье, почти без выреза и с длинными рукавами.

— Да, — отвечала она, смеясь, — у меня только тогда сносная внешность, когда я не наряжаюсь, как молодая девушка.

Испытывая неловкость, с тревогой чувствуя, что дочь становится ее соперницей, но все еще не желая этому верить, Ева переменяла тему разговора:

— Что же я не вижу твоего брата?

— Он идет, мы спустились с ним вместе.

Вошел Гиацинт и усталым жестом пожал руку Жерару. Ему было двадцать лет, он унаследовал от матери белокурые волосы и удлиненное лицо, носившее отпечаток какой-то восточной томности, а от отца серые глаза и чувственные губы, говорившие о бесстыдной жадности к удовольствиям. Он отвратительно учился, решив ничего не делать, и питал одинаковое презрение ко всем профессиям. Этот баловень отца интересовался поэзией и музыкой и жил в причудливом мирке, окруженный артистами и низкопробными девицами, сумасбродами и негодяями, похваляясь своими пороками и преступлениями, делая вид, что ему омерзительны женщины, исповедуя самую дрянную философию и самые сомнительные социальные идеи, вечно впадая в крайности, поочередно разыгрывая роль то коллективиста, то индивидуалиста, то анархиста, то пессимиста, то символиста, то... содомита и при этом оставаясь католиком, как того требовали правила хорошего тона. В сущности, это был пустой и глуповатый малый. В четвертом поколении могучая алчная кровь Дювильяров после трех ярко выраженных хищников вдруг сразу потеряла жизненную силу, словно истощившись, и вот появился на свет этот выродец, этот гермафродит, даже неспособный на крупные преступления и на разврат большого размаха.

Камилла была слишком умна, чтобы не замечать, какое ничтожество ее братец, и вечно поднимала его на смех. И сейчас, взглянув на его преувеличенно длинный, падавший складками сюртук, сшитый по возродившейся моде эпохи романтизма, она произнесла:

— Мама тебя спрашивала, Гиацинт... Покажи-ка ей свою юбку... Знаешь, ты был бы очень мил в женском платье.

Но он отошел, ничего не ответив. Он смутно опасался старшей сестрицы, хотя они постоянно откровенничали, называя вещи своими именами, рассказывая об извращенных вкусах и напрасно стараясь удивить друг друга. Он бросил презрительный взгляд на корзину с великолепными орхидеями, уже вышедшими из моды и оказавшимися по вкусу буржуа. Он пережил увлечение лилиями и теперь предпочитал анемону, цветок крови.

Два последних гостя появились почти одновременно. Сначала вошел Амадье, судебный следователь, близкий друг семьи, маленький человечек лет сорока пяти, выдвинувшийся на недавнем процессе анархистов. У него было лицо чиновника, плоское и правильное, и длинные светлые бакенбарды; чтобы подчеркнуть свою проницательность, он носил монокль, сквозь который поблескивал его глаз. Впрочем, он отличался светскостью, будучи тонким психологом, принадлежал к новейшей школе криминалистов и написал книгу, обличающую ошибки судебной медицины. Обладая огромным честолюбием, он жаждал известности и все время стремился принять участие в каком-нибудь громком деле и прославиться. Наконец, появился генерал де Бозонне, дядюшка Жерара с материнской стороны, высокий худощавый старик с орлиным носом, из-за ревматизма недавно вынужденный подать в отставку. Он был произведен в полковники после войны в награду за доблесть, проявленную в битве при Сен-Прива, и сохранял верность Наполеону III, несмотря на свои ультрароялистские связи. Старика военному в его среде прощали этот бонапартизм за ту горечь, с какой он обвинял республику в уничтожении армии. Этот добряк обожал свою сестру, г-жу де Кенсак, и, казалось, исполнял ее тайное желание, принимая приглашения баронессы и тем самым как бы оправдывая постоянное присутствие племянника Жерара в ее доме.

Между тем из кабинета вышли барон и Дютейль, они смеялись чересчур громко, наигранным смехом, конечно, желая показать, в каком они превосходном настроении. Вся компания проследовала в столовую, где в камине ярко пылал веселый огонь, подобно лучам весеннего солнца, бросая отблески на изящную мебель светлого красного дерева в английском стиле, на серебряную посуду и хрусталь. В бледном дневном свете нежно-зеленая комната, цвета мха, дышала уютом и сдержанным очарованием; на стоявшем посередине столе с роскошными приборами, с белоснежной скатертью, обшитой венецианским кружевом, словно

каким-то чудом расцвели крупные чайные розы, необычные для этого времени года и струившие тонкий аромат.

Баронесса справа от себя посадила генерала, а слева — Амадье. Барон сел между Дютейлем и Жераром. Затем по концам стола уселись брат и сестра, Камилла — между генералом и Жераром, а Гиацинт — между Дютейлем и Амадье. И как только подали взбитые яйца с трюфелями, завязался разговор, веселый и непринужденный, обычная беседа парижан за завтраком, где обсуждают крупные и мелкие события вчерашнего дня и сегодняшнего утра, где сменяют друг друга правда и ложь о представителях всех слоев общества, финансовый крах, политическая авантюра, только что вышедший в свет роман, последний спектакль, где истории, которые можно передавать только на ухо, рассказываются во всеуслышание. Развязностью, показной беззаботностью и звучащим фальшиво смехом каждый прикрывает свои тревоги, свое душевное смятение и горе, а порой — смертельную тоску.

Со свойственным ему бесстыдством и отвагой барон первый заговорил о статье в «Голосе народа».

— Скажите, вы читали сегодня утром статью Санье? Это одна из его лучших статей, он не лишен воображения, но какой опасный безумец!

Все вздохнули с облегчением; если бы никто не упомянул о статье, мысль о ней отравила бы завтрак.

— Затевадается новая Панама! — воскликнул Дютейль. — Ну нет! Довольно с нас!

— Дело Африканских железных дорог, — продолжал барон, — да тут все ясно как день! Все лица, которым угрожает Санье, могут спать спокойно. Нет, это, видите ли, удар, направленный на Барру, попытка сбросить его с министерского поста. Очевидно, в ближайшее время в парламенте будет сделан запрос, — ну и шум поднимется!

— Эта пресса, падкая на диффамации и скандалы, — внушительно изрек Амадье, — развращающе действует на общество и погубит Францию. Тут необходимы новые законы.

У генерала вырвался гневный жест.

— Законы? А на что они, когда не хватает мужества их применять!

На минуту все замолчали. Тихонько ступая, лакей разносил жареную султанку. В теплой благоуханной комнате слуги двигались так беззвучно, что царила полная тишина, не слышно было даже звона посуды. И вдруг как-то само собой разговор перешел на другую тему. Кто-то спросил:

— Значит, в ближайшее время пьеса не будет возобновлена?

— Да, — отвечал Жерар, — сегодня утром я узнал, что «Полиевкт» будет поставлен не раньше апреля.

Камилла, которая до сих пор молчала, обдумывая, как бы ей снова завладеть молодым человеком, метнула на мать и на отца сверкающий взгляд. Речь шла о постановке, где Сильвиана упорно хотела дебютировать. Однако барон и баронесса сохраняли олимпийское спокойствие, они уже давно все знали друг о друге. Ева была так счастлива, что ей удалось добиться свидания сегодня! Она помышляла только о предстоящем блаженстве и мысленно переносилась туда, в гнездышко любви, бессознательно улыбаясь своим сотрапезникам. А барон сосредоточенно думал о том, какие новые шаги он предпримет в департаменте изящных искусств, какую бурю поднимет там, чтобы силой вырвать этот ангажемент. Он сказал как бы вскользь:

— Да разве они могут там, в Комедии, возобновлять пьесы? Ведь у них нет ни одной актрисы.

— О, — как ни в чем не бывало отозвалась баронесса, — вчера в театре Водевиль в этой пьесе на Дельфине Виньо было восхитительное платье; никто лучше ее не умеет делать прическу.

Тут Дютейль рассказал, несколько смягчая краски ввиду присутствия Камиллы, о похождениях Дельфины с одним хорошо известным сенатором. Потом новое громкое событие: смерть одной особы, близкой знакомой Дювильяров, которой хирург сделал неудачную операцию; это дело едва не попало в руки Амадье. Здесь в разговор вмешался генерал, без всякого перехода начав свои горестные излияния, как обычно, нападая на дурацкую организацию современной армии.

Старое бордоское сверкало, как алая кровь, в бокалах тонкого хрустала, поданное на стол филе косули с трюфелями распространяло чуть терпкий аромат, который смешивался с благоуханием умирающих роз, когда появилась ранняя парниковая спаржа, некогда такая редкость, а сейчас уже никого не удивляющая.

— Теперь спаржу можно есть всю зиму, — с пренебрежительным жестом сказал барон.

— Так это сегодня, — тут же спросил Жерар, — утренний прием у принцессы де Гарт?

— Да, сегодня днем. Вы пойдете? — быстро вмешалась Камила.

— Да нет, не собираюсь, я занят... — смущенно пробормотал молодой человек.

— Ах, эта маленькая принцесса! — воскликнул Дютейль. — У нее, право же, не все дома! Вы знаете, что она выдает себя за вдову. А на

самом деле ее муж, настоящий принц королевской крови и писанный красавец, разъезжает по свету с какой-то певичкой. И вот принцесса, у которой, не правда ли, физиономия уличного мальчишки, предпочла царить в Париже в своем особняке на улице Клебер. Это, я вам скажу, ноев ковчег, где самым невероятным образом перемешаны все национальности.

— Уймитесь, вы, злой язык, — мягко прервала его баронесса. — Все мы очень любим Роземонду, это очаровательная женщина.

— Ну конечно, — снова заговорила Камилла, — ведь она нас пригласила, и мы поедem к ней скоро, правда, мама?

Чтобы избежать ответа, баронесса сделала вид, что не расслышала слова дочери. А Дютейль, как видно, прекрасно осведомленный, продолжал прохаживаться насчет принцессы, высмеивая ее утренний прием, где она обещала показать гостям испанских танцовщиц в такой сладострастной пантомиме, что у нее, уж конечно, будет толпиться весь Париж.

— Вы знаете, — прибавил он, — она бросила живопись и занимается химией. Теперь ее салон битком набит анархистами... Мне показалось, что она вас преследует, дорогой Гиацинт.

До сих пор Гиацинт не размыкал губ, словно ничем не интересуясь.

— О, она мне так докучает, — благоволил он ответить, — если я пойду на ее прием, то лишь потому, что надеюсь встретить там моего приятеля, молодого лорда Эльсона, он написал мне из Лондона и назначил там свидание. Признаюсь, это единственный салон, где еще есть с кем поговорить.

— Так, значит, — не без иронии спросил Амадье, — вы теперь ударились в анархизм?

Гиацинт с невозмутимым видом, изящно позируя, изложил свои убеждения:

— Знаете, сударь, мне кажется, что в наш подлый, развращенный век всякий хоть сколько-нибудь порядочный человек не может не быть анархистом.

Все за столом засмеялись. Гиацинта баловали, находили его весьма забавным. Барон от души веселился при мысли о том, что его сын, его собственный сын — анархист; а генерал лишь в минуты раздражения заявлял, что надо разнести в пух и прах общество, которое позволяет каким-то сорванцам водить себя за нос. Только судебный следователь, который специализировался на процессах анархистов, дал отпор Гиацинту; он начал защищать находившуюся под угрозой цивилизацию и

дал ужасающую характеристику ее врагам, именуя их «армией громил и головорезов». Но остальные гости по-прежнему улыбались, смакуя восхитительный паштет из утиной печени, поданный лакеем. На свете столько нужды, все это надо понять, но со временем все уладится. Тут барон сказал примирительным тоном:

— Разумеется, можно кое-что сделать. Но что именно? Никто не может в точности сказать. Что до разумных требований, — о! я охотно их принимаю. Например, улучшить участь рабочих, создать благотворительные учреждения, ну хотя бы вроде нашего приюта для инвалидов труда, мы им вполне можем гордиться. Но нельзя же требовать от нас невозможного!

За десертом на минуту внезапно наступило молчание. Казалось, после праздной болтовни у этих людей, старавшихся отвлечься от мрачных мыслей за обильным завтраком, вдруг тоска и тревога сжали сердце, и все это отразилось на их растерянных лицах. В глазах Дютейля сквозила тревога и страх перед доносом, по глазам барона было видно, что он разгневан, взволнован и думает, как бы удовлетворить каприз Сильвианы. Всемогущий барон питал к ней неистовую страсть, и этот тайный недуг грозил со временем подточить его и сломить. На лицах баронессы и Камиллы особенно ярко отразилась переживаемая ими жестокая драма, взаимная ненависть матери и дочери, ревниво оспаривающих друг у друга любимого человека. Все осторожно очищали фрукты позолоченными ножами. В вазах золотились гроздья на редкость свежего винограда, конфеты, пирожные и всевозможные сладости дразнили уже пресыщенный аппетит.

Когда подали чашки для полоскания, лакей подошел к баронессе и, наклонившись, что-то шепнул ей на ухо, она ответила вполголоса:

— Ну что ж, введите его в гостиную. Я сейчас к нему приду. — Потом громко гостям: — Тут пришел господин аббат Фроман и очень просит, чтобы его приняли. Он нас не стеснит, мне кажется, вы все его хорошо знаете. О, это настоящий святой, я питаю к нему глубокую симпатию!

Гости, еще несколько минут просидев за десертом, покинули столовую, где витали ароматы изысканных кушаний, вин, фруктов и роз, где в камине, разливая тепло, догорали толстые поленья, рассыпавшиеся углями, где на столе царил веселый беспорядок и в бледном свете дня поблескивали серебро и хрусталь сдвинутых с мест приборов.

Пьер стоял посреди маленькой голубой с серебром гостиной. Глядя на стол, где на подносе были поданы кофе и ликеры, он сожалел, что

добился приема. Его смущение еще возросло, когда вошли гости, громко разговаривая, раздумывая, с блестящими глазами. Но в душе его с такой силой разгорелось пламя любви к ближнему, что он поборол чувство неловкости. Правда, ему было еще не по себе, так как предстояло в этой гостиной, такой роскошной, светлой, теплой и благоухающей, переполненной бесполезными, излишними вещами, поведать перед лицом этих людей, с виду таких веселых после превосходного завтрака, об ужасных впечатлениях этого утра, о встрече с нищетой, о холоде и голоде, о беспросветной темноте и грязи.

Баронесса тотчас же подошла к Пьеру в сопровождении Жерара, мать которого Пьер знал и который представил его Дювильярам в дни пресловутого обращения Евы. Пьер поспешил извиниться, что пришел в неурочное время.

— Что вы, господин аббат, — сказала баронесса, — мы всегда рады вас видеть... Позвольте мне сейчас заняться моими гостями, через минуту я буду в вашем распоряжении.

Она приблизилась к столу и принялась с помощью дочери разливать кофе и ликеры. Жерар остался рядом с Пьером и заговорил с ним как раз о приюте для инвалидов труда, где они недавно встретились на церемонии закладки нового корпуса, — барон Дювильяр великодушно пожертвовал учреждению сто тысяч франков на его постройку. До сих пор приют состоял всего из четырех корпусов, но в первоначальном проекте предусматривалось двенадцать на обширной территории, подаренной городом на полуострове Женвилье. Поэтому сбор пожертвований продолжался, и был поднят немалый шум по поводу сего акта милосердия, это послужило громкой, энергичной отповедью смутьянам, обвинявшим пресыщенную буржуазию, что она ничего не делает для рабочих. На самом же деле великолепная часовня, воздвигнутая в центре этого участка, поглотила две трети собранных средств. Дамы-патронессы из всех слоев общества, баронесса Дювильяр, графиня де Кенсак, принцесса Роземонда де Гарт и еще двадцать других взяли доставать средства этому учреждению путем сборов и устройства благотворительных базаров. Но особенно блестящих результатов достигли, когда возникла счастливая мысль избавить этих дам от тяжелых организационных хлопот, назначив старшим администратором главного редактора «Глобуса», депутата Фонсега, замечательного дельца. «Глобус» непрестанно вел пропаганду, отвечал на нападки революционеров, восхваляя неистощимое милосердие правящих классов, и во время

последних выборов это благотворительное учреждение оказалось весьма выигрышным козырем.

Камилла расхаживала по комнате с дымящейся чашечкой в руках.

— Господин аббат, угодно ли вам кофе?

— Нет, благодарю вас, мадемуазель.

— Тогда, может быть, рюмочку шартреза?

— Нет, благодарю.

Разлив всем кофе, баронесса вернулась и любезно спросила:

— Так чего же вы от меня хотите, господин аббат?



Пьер заговорил вполголоса, от волнения у него учащенно билось сердце и перехватывало дыхание.

— Сударыня, я обращаюсь к вашей великой доброте. Сегодня утром я видел в ужасном доме на улице Вётел, позади Монмартра, картину, которая потрясла меня до глубины души... Вы и представить себе не можете такой нищеты и страданий. Целые семьи без топлива, без хлеба, мужчины обречены на безработицу, матери, у которых пропало молоко и им нечем кормить своих младенцев, кашляющие и дрожащие от холода полураздетые дети... Много я видел там ужасов, но больше всего меня потряс старик рабочий, дряхлый и беспомощный, умирающий с голоду на груди лохмотьев в конуре, из которой убежала бы и собака.

Он старался говорить в самом сдержанном тоне, его самого ужасали вырывавшиеся у него слова, все, о чем он рассказывал в обстановке роскоши и благоденствия этим счастливым, обладавшим всеми благами жизни; он чувствовал, каким нестерпимым диссонансом звучит здесь его рассказ. Что за нелепая мысль была прийти в час, когда заканчивается завтрак, когда аромат горячего кофе приятно щекочет ноздри людей, переваривающих вкусные блюда.

Тем не менее Пьер продолжал, он даже повысил голос, поддаваясь чувству возмущения, и закончил свой ужасный рассказ; он назвал Лавева жертвой несправедливости и во имя милосердия и человечности просил о помощи и поддержке. Все подошли к аббату и слушали его; он видел перед собой барона, Дютейля и Амадье, пивших кофе маленькими глотками, молча, без единого жеста.

— И вот, сударыня, — закончил он, — я подумал, что больше нельзя ни одного часа оставлять этого старика в таком ужасном положении и что сегодня же вечером вы по своей великой доброте поместите его в приют для инвалидов труда, где ему давно уже место.

Слёзы увлажнили прекрасные глаза Евы. Она была очень расстроена этой печальной историей, которая омрачала радость, ожидавшую ее в этот день. Вялая, лишённая инициативы, чересчур занятая своей особой, она согласилась стать председательницей комитета лишь при условии, что все административные обязанности будут переложены на Фонсега.

— Ах, господин аббат, — пробормотала она, — у меня прямо разрывается сердце. Но я ничем не могу помочь, решительно ничем, уверяю вас... К тому же этот Лавев... мне кажется, мы уже рассматривали его дело. Вам известно, что мы принимаем в приют только после тщательного обследования. Назначается специальное лицо, которое и собирает для нас сведения... Ведь это, кажется, вы, мосье Дютейль, занимались Лавевом?

Депутат допивал рюмочку шартреза.

— Ну да, это я... Господин аббат, этот молодчик разыгрывал вам комедию... Он вовсе не болен, и если вы ему оставили денег, он наверняка после вашего ухода отправился их пропивать. Это горький пьяница и вдобавок отъявленный бунтарь; с утра до ночи он ругает буржуа и кричит, что если бы он еще владел руками, то взорвал бы эту лавочку... К тому же он вовсе не желает поступать в приют, он говорит, что это настоящая тюрьма, где находишься под надзором ханжей, которые заставляют тебя слушать мессу, что это мерзкий монастырь, где запирают двери в девять часов вечера! И сколько таких, как он, предпочитают сохранять свободу, мерзнуть и умирать с голоду!.. Пусть же эти Лавевы подышают на мостовой, раз они не хотят быть с нами, жить в тепле и сытости в наших приютах!

Генерал и Амадье одобрили его слова кивком головы. Но Дювилляр проявил больше великодушия.

— Нет, нет, человек остается человеком, надо оказать ему помощь, хотя бы и против его воли.

Ева, с отчаянием помышлявшая, что это дело может отнять у нее весь день, начала отговариваться, придумывая благовидные предлоги.

— Уверяю вас, у меня руки связаны. Надеюсь, вы, господин аббат, не сомневаетесь в моих чувствах и в моем добром желании. Но разве я могу сейчас же созвать наш комитет? На это потребуется несколько дней, а без согласия наших дам я не имею права принимать никакого решения, тем более о деле уже рассмотренном.

Но внезапно ее осенило:

— Вот что я вам посоветую предпринять, господин аббат, — немедленно же отправляйтесь к нашему администратору, господину Фонсегу. В экстренных случаях он может действовать самостоятельно, ведь он знает, что наши дамы питают к нему безграничное доверие и одобряют все, что он предпримет.

— Вы застанете Фонсега в парламенте, — с улыбкой добавил Дютейль. — Только заседание обещает быть бурным, и я сомневаюсь, что вам удастся спокойно с ним поговорить.

Пьер, у которого болезненно сжималось сердце, больше не настаивал. Он решил немедленно повидаться с Фонсегом и во что бы то ни стало в этот же день устроить в приют беднягу, страшный образ которого его преследовал. Он пробыл еще несколько минут в салоне, удержанный Жераром, который любезно советовал ему, что лучше всего убедить депутата, указав, какое скверное впечатление произведет эта история, если о ней раструбят революционные газеты. Между тем гости

начали расходиться. Генерал перед уходом спросил племянника, увидит ли он его вечером у его матери, г-жи де Кенсак, которая принимала в этот день, на что молодой человек отвечал лишь уклончивым жестом, заметив, что на него смотрят Ева и Камилла. Затем, в свою очередь, ускользнул Амадье, заявив, что спешит по важному делу в суд. Вскоре за ним последовал Дютейль, направлявшийся в парламент.

— Между четырьмя и пятью у Сильвианы, не так ли? — сказал провожавший его барон. — Приходите туда рассказать, какой отзвук будет иметь в парламенте гнусная статья Санье. Все же мне необходимо это знать... Я отправляюсь в департамент изящных искусств договориться насчет Комедии. А потом мне предстоит поехать по городу, повидаться с подрядчиками и уладить одно важное дело общественного значения.

— Хорошо, как всегда, между четырьмя и пятью у Сильвианы, — отвечал депутат и вышел, вновь испытывая тягостное чувство тревоги, опасаясь за исход этой скверной истории с Африканскими железными Дорогами.

Все уже забыли несчастного умирающего Лавева и разбежались во все стороны, подхлестываемые заботами и страстями, вновь попадая под зубья машины, под жернова мельницы, поглощенные водоворотом Парижа, подгоняемые лихорадкой, которая сталкивала их в яростной суматохе, где, спеша обогнать друг друга, попирали ногами тела упавших.

— Мама, значит, ты повезешь нас на прием к принцессе? — спросила Камилла, не спуская глаз с матери и Жерара.

— Да, сейчас же... Только я не останусь там с вами, сегодня утром я получила депешу от Сальмона по поводу моего корсета, и мне непременно нужно поехать на примерку к четырем часам.

Голос баронессы слегка дрожал, и девушка была убеждена, что мать лжет.

— Вот как! А я думала, что примерка назначена на завтра... Ну, так мы заедем за тобой в коляске к Сальмону после приема!

— Ну, уж нет, моя дорогая! Разве можно знать заранее, когда освободишься! К тому же, если у меня найдется свободная минута, я заеду к модистке.

В черных глазах Камиллы вспыхнуло пламя сдержанной ярости. Ей было ясно, что назначено свидание. Но она не могла, не осмеливалась продолжать борьбу, хотя ей страстно хотелось придумать новые препятствия. Напрасно умоляла она взглядом Жерара, молодой человек стоял, отвернувшись от нее, собираясь уходить. И Пьер, который посещал

Дювильяров и разбирался в их семейных отношениях, почувствовал по волнению баронессы и Камиллы безмолвную, затаенную драму.

Растянувшись в кресле, Гиацинт смаковал ампулу эфира, единственный ликер, который он признавал.

— А я, — вдруг подал он голос, — еду на выставку в Салон Лилии, где сегодня толпится весь Париж. Главное, там есть одна картина — «Растление души», которую совершенно необходимо посмотреть.

— Ну что ж! — проговорила баронесса. — Я не отказываюсь вас туда свезти. По дороге к принцессе мы можем заглянуть на эту выставку.

— Вот, вот! — с живостью отозвалась Камилла, которая всегда жестоко издевалась над художниками-символистами, но сейчас надеялась задержать на выставке мать, чтобы заставить ее пропустить свидание.

— А вы, мосье Жерар, не отважитесь посетить с нами Салон Лилин?

— Право, не могу! Мне хочется пройти пешком. Я провожу господина аббата Фромана до парламента!

И он простился с матерью и дочерью, поцеловав их обеим руку. Чтобы как-то убить время до четырех часов, он решил на минуту заглянуть к Сильвиане, которая допускала его к себе после того, как однажды он остался у нее на ночь. Выйдя на пустой парадный двор, он сказал священнику:

— Как хорошо немного подышать свежим воздухом! У них слишком жарко натоплено, и запах цветов ударяет в голову.

Пьер шел, оглушенный, с горящими ладонями, подавленный всей этой роскошью. Казалось, ему только что приснился знойный, благоухающий рай, обитель избранных. С какой-то болезненной остротой он снова испытывал потребность творить добро, думал только о том, как добиться от Фонсега согласия поместить Лавева в приют, и не слушал графа, который с нежностью говорил о своей матери. Ворота захлопнулись за ними, и они прошли несколько шагов по улице, как вдруг Пьер увидел... или это ему померещилось? На краю противоположного тротуара стоял рабочий, глядя на монументальные ворота особняка, за которыми скрывались такие сказочные богатства, и словно выжидал, что-то разыскивая глазами. По мешку с инструментом Пьер как будто узнал Сальва, голодного мастерового, отправившегося утром на поиски работы. Священник быстро обернулся, потрясенный контрастом между такой нищетой и таким изобилием земных благ. Но он уже вспугнул рабочего, и тот, быть может, опасаясь, что его заметили, медленно уходил, волоча ноги. Глядя вслед удаляющейся фигуре, Пьер уже начал сомневаться и наконец решил, что обознался.

Войдя в вестибюль Бурбонского дворца, аббат Фроман вдруг вспомнил, что у него нет входного билета, он уже собирался попросту вызвать Фонсега, хотя тот и не знал его, когда заметил Межа, депутата-коллективиста, с которым он объединился в дни, когда в пылу воинствующего сострадания вел кампанию против нищеты в квартале Шаронн.

— Как?! Вы здесь! Уж не собираетесь ли вы проповедовать нам Евангелие?

— Нет, я пришел поговорить с господином Фонсегом по неотложному делу, по поводу одного бедняка, которому надо спешно помочь.

— Фонсег. Не знаю, пришел ли он... Пойдите. — И он остановил молодого человека, маленького брюнета, похожего на пронырливого мышонка.

— Слушайте, Массо, господин аббат Фроман хочет сейчас поговорить с вашим патроном.

— С патроном? Да его здесь нет. Я только что покинул его в редакции, он пробудет там еще добрых четверть часа. Если господину аббату угодно подождать, он наверняка его здесь увидит.

Меж проводил Пьера в зал Потерянных шагов, огромный и холодный, с его бронзовым Лаокооном и Минервой, с голыми стенами, освещенными бледным, печальным светом зимнего дня, который проникал сквозь высокие двери балконной галереи, выходящей в сад. В эту минуту зал был полон народом, и царившее там лихорадочное волнение, казалось, накалило атмосферу; люди сбивались в кучки, сновали туда и сюда в невообразимой суматохе. Тут были, главным образом, депутаты, а также журналисты и просто любопытные. Голоса сливались в оглушительный гул; слышались обрывки тихих и яростных споров, громкие восклицания, смех. Все эти господа бурно жестикулировали.

Когда Меж снова окунулся в эту сумятицу, гомон, казалось, еще усилился. Высокий, сухощавый, Меж чем-то напоминал апостола, был довольно неопрятен, казался истасканным и куда старше своих сорока пяти лет, только глаза сверкали молодым блеском за стеклами пенсне, никогда не покидавшего его тонкого носа, похожего на птичий клюв. Его горячую отрывистую речь все время прерывал кашель, и ему давало силы

к жизни лишь страстное желание жить и осуществить заветную мечту о перестройке общества. Сын бедного врача из северного городка, он совсем юным очутился на мостовой Парижа, первое время он существовал газетным заработком в полной безвестности; лотом стал выступать на публичных митингах и стяжал славу оратора. После войны он сделался главой партии коллективистов. Пламенно веря в свои идеи, обладая незаурядным темпераментом борца, он развил кипучую деятельность, и, наконец, ему удалось стать депутатом парламента. Чрезвычайно осведомленный, он боролся там за свои убеждения с отчаянной энергией и упорством, как доктринер, уже мысленно перекроивший весь мир согласно своим догматам и разработанной по пунктам программе коллективизма. Теперь, когда он получал жалованье как депутат, рядовые социалисты считали его краснобаем с замашками диктатора, уверяя, что он стремится переделать людей на свой лад и обратить их в свою веру, чтобы властвовать над ними.

— Вы знаете, что сейчас происходит? — спросил он Пьера. — А? Еще одна хорошенькая авантюра!.. Что поделаешь! Мы сидим в грязи по самые уши!

В свое время он проникся искренней симпатией к этому священнику, который проявлял такое милосердие к страждущим и мечтал о преобразовании общественного строя. А священник тоже под конец заинтересовался этим деспотическим мечтателем, который твердо решил осчастливить человечество против его воли. Пьер знал, что Меж очень беден, избегает говорить о себе и живет с женой и четырьмя детьми, которых обожает.

— Вы, конечно, понимаете, что я не разделяю мнения Санье, — продолжал он. — Но поскольку он выступил сегодня утром, угрожая опубликовать список всех подкупленных, я не желаю, чтобы нас считали сообщниками. Все уже давно подозревают, что грязные махинации с Африканскими железными дорогами были предлогом для гнусных афер. Хуже всего то, что взяты под обстрел двое членов теперешнего кабинета, ведь три года назад, когда в парламенте обсуждался вопрос о предприятии Дювильяра, Барру был министром внутренних дел, а Монферран — министром общественных работ. А теперь, когда они снова в кабинете, — Монферран — министр внутренних дел, а Барру — министр финансов и одновременно председатель совета министров, — неужели нельзя заставить этих господ в их собственных интересах дать объяснения их тогдашнего образа действий?.. Нет, нет, они не могут больше молчать, я уже заявил, что сегодня же подаю запрос.

Известие о запросе Межа вызвало смятение в кулуарах, уже взбудораженных свирепой статьей в «Голосе народа». Вся эта история несколько ошеломила Пьера, который до сих пор был всецело поглощен мыслью о том, как бы спасти несчастного старика от голода и смерти. И он слушал страстные разъяснения депутата-социалиста, не слишком понимая, в чем дело, между тем шум в зале все усиливался, и раздававшиеся вокруг смешки говорили об удивлении, вызванном беседой депутата со священником.

— Ну и дурачье! — пробормотал Меж с презрительным видом. — Неужели они думают, что я каждое утро за завтраком съедаю по священнику?.. Прошу прощения, дорогой мосье Фроман. Вот что! Садитесь-ка на эту скамью и поджидайте Фонсега.

И он устремился в человеческий водоворот. Пьер сообразил, что ему лучше всего, в самом деле, спокойно сесть и ждать; все окружающее приковывало его внимание, возбуждало любопытство, и он уже начал забывать Лавева, заразившись волнением, царившим в зале в связи с парламентским кризисом, свидетелем которого он вдруг оказался. Едва закончилась чудовищная авантюра с Панамским каналом, — Пьер с острой тревогой следил за развитием этой драмы, как человек, который каждый вечер ожидает, что грянет набат и возвестит о последнем часе одряхлевшего общества, переживающего свою агонию. И вот начинается еще одна маленькая Панама; опять слышится треск обветшавшего здания. Испокон веков в парламентах разыгрывались такие бури, когда вставал вопрос о крупном денежном предприятии, но этот случай в связи с обстановкой, создавшейся в стране, приобретал роковое значение. Эта история с Африканскими железными дорогами, эта обнаруженная куча грязи, издававшая подозрительный запах, внезапно вызвала в парламенте необычное волнение, страхи и злобу, но, в сущности, то был лишь предлог для политической борьбы, почва для схватки жадных до наживы групп, и в действительности речь шла лишь о том, чтобы свергнуть одно министерство и заменить его другим. Однако злосчастной жертвой этой всеобщей свалки, этой непрерывной борьбы честолубий оказывался страдающий и погрязший в нищете народ.

Пьер заметил, что рядом с ним на скамью уселся Массо, маленький Массо, как его называли. Этот быстроглазый человечек, всегда настороже, всегда подмечавший все происходящее вокруг, пробиравшийся повсюду с ловкостью хорька, был тут не в качестве парламентского хроникера, он просто почуял бурное заседание и явился в надежде подцепить тему для

какой-нибудь статейки. Несомненно, его заинтересовал и этот священник, затерявшийся в шумном сборище.

— Наберитесь терпения, господин аббат, — проговорил он с любезной веселостью человека, для которого нет ничего святого. Мой патрон непременно придет, он знает, какая здесь заварится каша... Скажите, ведь вы принадлежите к числу его избирателей из Кореца?

— Нет, нет, я из Парижа и пришел по поводу одного бедняка, которого необходимо немедленно поместить в приют для инвалидов труда.

— А! Очень хорошо! Я тоже дитя Парижа.

И он засмеялся. Да, уж поистине дитя Парижа: сын аптекаря из квартала Сен-Дени, бывший ученик лицея Карла Великого, неисправимый лентяй, даже не закончивший курса. Ему никуда не удалось пристроиться, и восемнадцати лет он стал сотрудником прессы, еле-еле научившись грамотно писать. Уже двенадцать лет он, по его выражению, таскался по свету, исповедуя одних, разгадывая других. Он всего насмотрелся, во всем разочаровался, больше не верил в великих людей, утверждал, что на свете нет правды, и давно примирился со злобою и плустью человеческой. Разумеется, он не обладал ни малейшим литературным честолюбием, он даже уверял, что имеет все основания презирать литературу. Впрочем, он был далеко не глуп и строчил все что угодно, в какой угодно газете, не имея ни веры, ни убеждений, заявляя с невозмутимым видом, что вправе решительно обо всем говорить публике, лишь бы ее позабавить или чем-нибудь удивить.

— Так вы знакомы с Межем, господин аббат? А? Вот замечательный тип! Это большой ребенок, мечтатель-утопист в шкуре самого свирепого из сектантов! О, я часто бывал у него и давно его раскусил... Вы знаете, он живет в постоянной уверенности, что не пройдет и полгода, как захватит власть и в один день осуществит свой пресловутый коллективистский строй, который придет на смену капиталистическому строю, как утро приходит на смену ночи. И вот сегодня, делая свой запрос, он убежден, что, свергнув министерство Барру, ускорит свой приход к власти. Это его система — уничтожить своих противников. Сколько раз он при мне строил свои планы: вот он уничтожит этого, потом того, затем еще одного и, наконец, сам захватит власть! И всякий раз не позже, чем через полгода... Но беда в том, что он то и дело спихивает других, а его черед так и не приходит.

Маленький Массо весело расхохотался. Потом продолжал, понизив голос.

— А Санье вы знаете? Нет? Видите этого рыжего мужчину с бычьей шеей, который смахивает на мясника? Вон тот, что разлагольствует среди кучки потрепанных сюртуков.

Наконец Пьер его разглядел. У Санье были огромные оттопыренные уши, толстые губы, крупный нос и большие тусклые глаза навывкате.

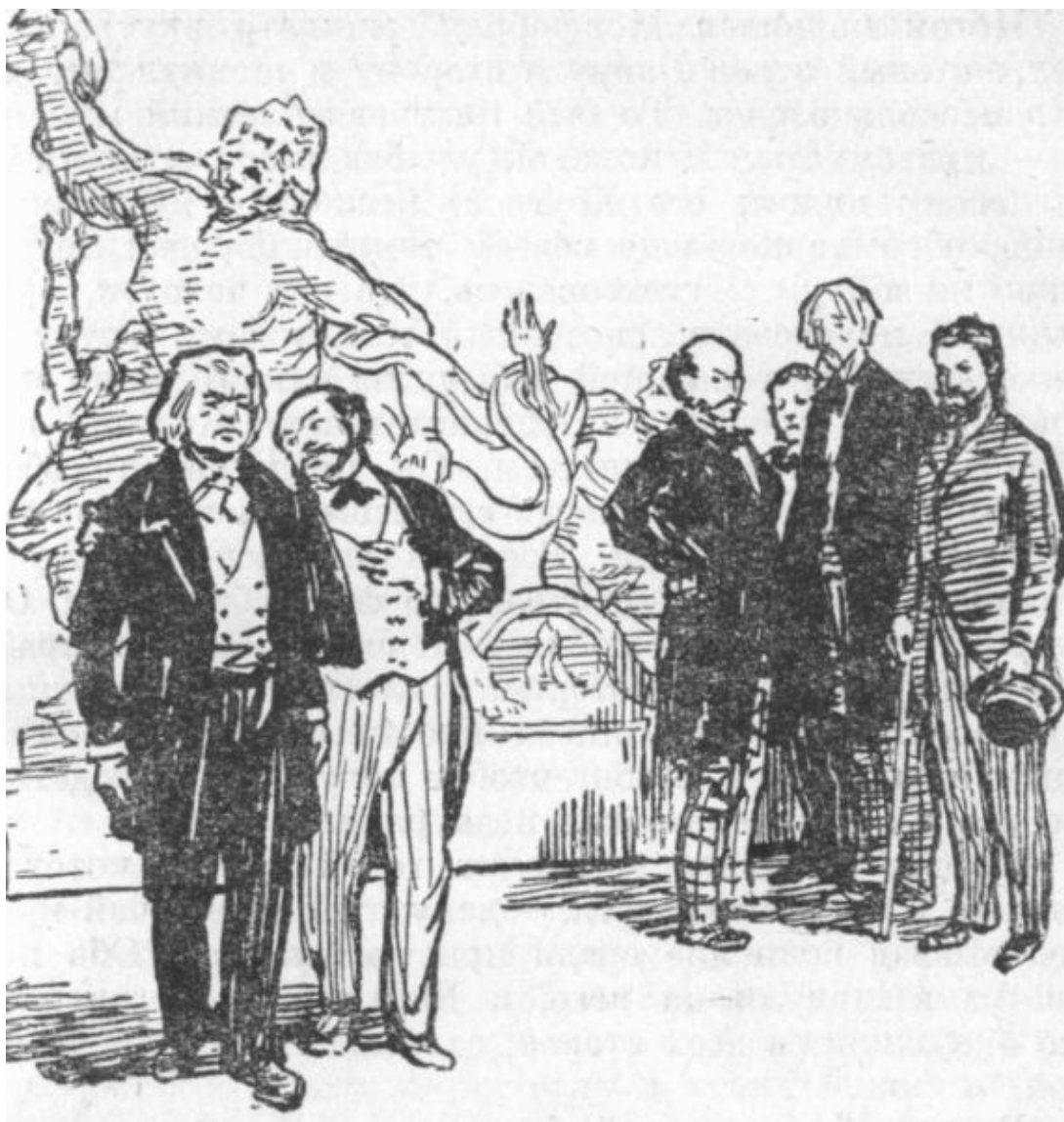
— Вот этого я тоже, можно сказать, раскусил. Я работал с ним в «Голосе народа», до того, как перешел в «Глобус» к Фонсегу... Никто толком не знает, откуда он взялся. Долгое время он прозябал, сотрудничая в самых низкопробных газетках, заурядный журналист с бешеным честолюбием и необузданным аппетитом. Вы, может быть, помните первую вызванную им шумиху, довольно-таки нечистоплотную историю с новоявленным Людовиком Семнадцатым, которого он попытался ввести в моду, показав себя отчаянным роялистом, он и теперь не изменил своих убеждений. Потом он вздумал стать мстителем за народ, провозгласил какой-то радикальный католический социализм, ополчился на свободомыслие и на республику, принялся обличать язвы наших дней, желая исцелить их во имя нравственности и справедливости. Первым делом он дал портреты финансистов: это куча гнусных сплетен, непроверенных и бездоказательных, за которые он должен бы попасть в руки исправительной полиции, а между тем, собранные в книжонке и выпущенные в свет, они, как вам известно, имели сногшибательный успех. И он продолжает все в том же духе, изощряясь на страницах «Голоса народа», который он начал издавать в разгар Панамы, сразу же занявшись доносами и скандальными историями. Сейчас это настоящая сточная труба, извергающая все нечистоты нашего времени; когда они иссякают, он создает их из ничего с единственной целью вызвать побольше шума, ради славы и денег.

Маленький Массо и не думал сердиться, он снова рассмеялся; произнося с беспечным видом эти жестокие слова, он в душе питал уважение к Санье.

— О, это бандит, но все-таки сильный человек! Вы и представить себе не можете, до чего тщеславен этот субъект! Вы бы видели, как он принимал на днях приветствия простонародья, разыгрывая роль короля парижского рынка. Вполне возможно, что он всерьез вошел в роль справедливого судии и поверил, что спасает народ и содействует торжеству добродетели... Но больше всего меня поражает его неистощимая плодовитость по части доносов и скандальных происшествий. Не проходит и дня, чтобы он не обнаружил какую-нибудь новую пакость, не предал новых преступников на растерзание толпы.

Нет! Этот поток грязи никогда не может быть исчерпан, Санье то и дело подваливает туда груды еще никому не ведомых мерзостей и как только заметит, что все это наскучило публике, пресыщенной ужасами, — поднатужится и преподнесет еще более чудовищную сенсацию. Как видите, господин аббат, он прямо-таки гениален, ведь он великолепно знает, что тираж его газеты увеличится, стоит ему бросить угрозу рассказать все, опубликовать имена подкупленных и предателей, как это он сделал сегодня. Это обеспечит ему продажу газеты на несколько дней.

Пьер слушал веселую, насмешливую болтовню Массо, и теперь ему становились понятнее многие факты, подлинный смысл которых до сих пор от него ускользал. И он спросил Массо, удивляясь, почему сейчас, когда происходит заседание, так много депутатов в кулуарах. Ах, какое там заседание! Пусть себе обсуждают хоть самое важное дело на свете, хотя бы закон общегосударственного значения — все члены парламента разбегутся, услышав о неожиданном запросе, который может вызвать падение кабинета. Страсти разбушевались, сдержанный гнев, все возрастающее беспокойство ставленников министров, которые опасаются, что их снимут и придется уступить свое место другим; и внезапно вспыхнувшая надежда, жадное нетерпение приспешников тех лиц, которые завтра же станут во главе кабинета.



Массо показал Пьеру главу кабинета Барру, который взял на себя финансы, область ему чуждую, надеясь, что его безупречное имя и высокая репутация успокоят общественное мнение, взбудораженное панамским крахом. Стоя в стороне, он беседовал с министром народного просвещения, сенатором Табуру. Этот старый профессор с бесцветным лицом и унылым видом был на редкость порядочен, но совершенно не знал Парижа, его откопали в одном из провинциальных университетов. Барру, напротив, обладал весьма представительной, благородной наружностью — высокий, с гладко выбритым красивым лицом, которое слегка портил чересчур короткий нос. Барру было шестьдесят лет. Вьющиеся белоснежные волосы придавали ему несколько театральное величие, и он умел показать себя на трибуне. Происходил он из старинной парижской семьи, обладал большим состоянием, сперва был

адвокатом, а потом, в дни империи, журналистом-республиканцем; к власти он пришел вместе с Гамбеттой, отличался честностью и романтическими вкусами, был громогласен и недалек, но крайне отважен, прямолинеен и пламенно верил в идеалы Великой революции. Этот якобинец отстал от века, становился какой-то живой реликвией, одним из последних столпов буржуазной республики, и над ним уже начинали зло посмеиваться недавно появившиеся молодые зубастые политики. Несмотря на свои величавые повадки и пышное красноречие, это был нерешительный, добродушный человек, который проливал слезы, перечитывая стихи Ламартина.

Потом появился Монферран, министр внутренних дел, который отвел Барру в сторону и шепнул ему на ухо несколько слов. То был пятидесятилетний мужчина — приземистый и полный, улыбавшийся с каким-то отеческим видом; его крупное, несколько вульгарное лицо, обрамленное еще совсем темной бородой, выражало живой ум. Чувствовалось, что это человек, привыкший повелевать, способный к суровому труду и никогда не выпускающий добычу из рук. Бывший мэр Тюлля, он приехал из департамента Кореза, где обладал крупным поместьем. Он представлял собой несомненную силу, и многие с тревогой следили за его упорным восхождением. Говорил он очень просто и спокойно, проявляя удивительную силу убеждения. Он не обнаруживал честолюбия и подчеркивал свое крайнее бескорыстие, под которым таились самые яростные вожделения. Это вор, писал про него Санье, убийца, задушивший двух теток, чтобы получить наследство. Во всяком случае, то был незаурядный убийца.

Но вот появился еще один герой драмы, которая должна была разыгаться, — депутат Виньон, чей приход вызвал волнение среди присутствующих. Оба министра взглянули на него, а Виньон, которого сразу же окружили со всех сторон, ответил им издали улыбкой.

Виньон был светлый блондин лет тридцати пяти, среднего роста, худощавый, с великолепной русой холеной бородой. Чистокровный парижанин, он быстро поднялся по ступенькам административной лестницы, одно время был префектом в Бордо, а теперь воплощал собою молодые силы, будущее парламента, поняв, что на политическую арену должны вступить новые деятели, чтобы осуществить самые насущные и неотложные реформы. Он обладал огромным честолюбием, незаурядным умом, разносторонними познаниями и выработал программу, которую надеялся, хотя бы частично, провести в жизнь. Впрочем, он не обнаруживал поспешности, отличался благоразумием и хитростью,

уверенный, что рано или поздно его час пробьет. Он еще ничем не запятнал себя, и это придавало ему силу и открывало перед ним широкое поле деятельности.

В сущности говоря, то был всего лишь первоклассный администратор с четкой и ясной манерой говорить, и его программа мало чем отличалась от программы Барру, он только подновил кое-какие лозунги, а между тем, если бы Виньон вслед за Барру оказался главой кабинета, это восприняли бы как значительное событие. И это о Виньоне Санье писал, что он метит в президенты республики и готов шагать по колена в крови, лишь бы добраться до Елисейского дворца.

— Боже! — воскликнул Массо. — Весьма вероятно, что на этот раз Санье не солгал и в его руки действительно попала записная книжка Гюнтера, где был список имен. Мне лично уже давно известно, что, когда рассматривался вопрос об Африканских железных дорогах, Гюнтер исполнял роль вербовщика, покупая голоса для Дювильера. Но для того, чтобы разобраться в этом деле, надо знать, к каким приемам он прибегал. Возможно, что он действовал очень ловко, проявлял обходительность и любезность, а это не имеет ничего общего с грубым подкупом, с грязными сделками, о которых многие подозревают. Надо быть Санье, чтобы вообразить, будто парламент какой-то рынок, где можно купить любую совесть, где каждый готов бесстыдно продаться тому, кто больше даст. О! Это произошло совсем по-другому, и всему можно найти объяснение, а кое-кого даже оправдать!.. Например, статья направлена, главным образом, против Барру и Монферрана; правда, они не названы, но их сразу же можно узнать. Вам, конечно, известно, что в момент голосования Барру был министром внутренних дел, а Монферран — министром общественных работ, и вот оба они обвиняются в измене своему долгу, то есть в самом чудовищном из гражданских преступлений. Не знаю, к какой политической группе примыкал тогда Барру, но я готов поклясться, что он ничего не положил себе в карман, потому что это честнейший человек. Другое дело Монферран, этот своего не упустит, но я буду очень удивлен, если узнаю, что он попался в скверной истории. Он действует безошибочно и тем более не способен на такой грубый промах, как дать расписку в получении взятки.

Массо внезапно прервал свою речь и движением головы указал на Дютейля, лихорадочно возбужденного и все же улыбающегося, который стоял в группе людей, окружавших обоих министров.

— Видите того молодого человека, красивого bruneta, которому борода придает такой победоносный вид?

— Я знаком с ним, — сказал Пьер.

— Ах, вы знакомы с Дютейлем. Ну что ж, вот этот наверняка кое-что получил. Настоящая птичка божья! Он явился к нам из Ангулема, всю наслаждается жизнью, и у него не больше совести и чести, чем у хороших зябликов, которые в его краях непрерывно предаются любви. О, для него деньги Гюнтера были прямо манной небесной, и ему даже не пришло в голову, что он пачкает себе руки. Уверю вас, он удивляется, что можно придавать значение такому пустяку.

Тут Массо указал еще на одного депутата, который стоял в той же группе, — человека лет пятидесяти, неряшливо одетого, высокого, как жердь, слегка согбенного под тяжестью головы, с жалобным, растерянным выражением длинного, лошадиного лица. Его волосы, желтоватого оттенка, редкие и плоские, обвисшие усы, вся помятая физиономия выражали безысходную тоску.

— А это Шенье, вы его знаете? Нет... Посмотрите-ка на него, — не кажется ли вам, что этот тоже кое-что получил? Он пожаловал из Арраса. Там он был стряпчим. Когда его направили сюда как депутата, он просто опьянел от того, что ему сулила политика, продал все свое имущество, чтобы искать счастья в Париже, где и водворился с женой и тремя дочками. Можете себе представить, как безалаберна его жизнь, — вокруг него четыре женщины, ужасные особы, помешанные на тряпках, проводящие время в беготне по магазинам, в визитах и в приеме гостей, не говоря уже о безуспешной ловле женихов. Это горький неудачник, на которого каждый день сыплются все новые беды; в простоте душевной он вообразил, что, став депутатом, сможет легко обдѣлывать дела, — и быстро пошел ко дну — Ну как было Шенье не клюнуть — ведь ему всегда не хватает пятисотфранкового билета! Я не думаю, что он был бесчестным человеком. Но он им стал, вот и все.

Массо разошелся, он набрасывал все новые портреты, перебрал всех, о которых одно время мечтал написать статью под заголовком: «Продаются депутаты». Среди них были простаки, поскользнувшиеся и попавшие в яму, оголтелые честолюбцы, подлые душонки, не устоявшие перед соблазном и запусившие руку в казну, зарвавшиеся воротилы, опьяненные запахом миллионов. Однако он охотно признавал, что их было относительно не так много и что во всех парламентах на свете встречаются такие паршивые овцы. Тут снова подвернулось имя Санье, он утверждал, что только Санье изображает наши палаты как воровские притоны.

А Пьера больше всего занимало смятение, вызванное в зале угрозой министерского кризиса. Вокруг Барру и Монферрана толпились не одни только Дютейли и Шенье, бледные от ужаса, терявшие почву под ногами и задававшие себе вопрос, не придется ли им сегодня ночевать в тюрьме Мазас. Тут собрались все приверженцы министров, все те, кто получил благодаря им влияние и место и кому предстояло с их крушением все потерять и самим сойти на нет. Надо было видеть их тревожные взгляды, бледные лица, выражавшие напряженное ожидание; все они перешептывались, передавая друг другу всевозможные слухи и ходячие сплетни. А на другом конце зала вокруг невозмутимо спокойного, улыбающегося Виньона сгрудились его приспешники, выжидавшие только момента, чтобы двинуться на штурм власти, завоевать влияние и видные места. В их взглядах сверкала алчность, радостная надежда и удивление, вызванное внезапным счастливым поворотом событий. Когда друзья ставили вопрос ребром, Виньон уклонялся от ответа, заверяя их, что не намерен вмешиваться в ход событий. Было ясно, что ему на руку запрос Межа, который приведет к падению кабинета; Меж не был ему опасен, и он рассчитывал, что после краха ему останется только подбирать упавшие портфели.

— Ну и Монферран! — разглагольствовал маленький Массо. — Этот молодчик всегда держит нос по ветру! Он был мне известен как заядлый антиклерикал, он, — если вы позволите мне так выразиться, господин аббат, — готов был съесть живьем священника, а теперь, — не думайте только, что я хочу сказать вам приятное, — могу вам сообщить, что он как будто примирился с господом богом... Во всяком случае, мне передавали, что монсеньер Март *a*, сей великий проповедник, неразлучен с ним. Это весьма отрадное явление, характерное для нашего времени, когда наука обнаружила свою несостоятельность и во всех областях, в искусстве, в литературе, даже в обществе, наблюдается религиозное движение, расцвет упоительного мистицизма.

Массо, как всегда, насмехался, но он произнес эту тираду с таким любезным видом, что священнику только и осталось, что поклониться. Между тем в зале началось бурное движение, раздались голоса: «Меж поднимается на трибуну!» — и все депутаты опрометью устремились в зал заседаний. В зале Потерянных шагов остались одни любопытные да несколько журналистов.

— Меня удивляет, — снова заговорил Массо, — что Фонсега все еще нет. Ведь все происходящее должно его интересовать. Но если этот

хитрец не поступает так, как на его месте поступил бы всякий другой, значит, у него есть на то свои основания... Вы его знаете?

И, услышав отрицательный ответ, он продолжал:

— Вот уж голова и настоящая сила!.. О! Я свободно о нем говорю, у меня нет никакой шишки почтения. И, в конце концов, что такое мои патроны? Те же картонные плясуны, хорошо мне известные, и мне доставляет особое удовольствие разбирать их по косточкам... Фонсег также ясно указан в статье Санье. Впрочем, он всегдашний прислужник Дювильяра. Нет ни малейшего сомнения, что он хапнул, потому что он всегда и везде берет. Только у него все шито-крыто, он берет под благовидными предлогами — на оплату реклам или за вполне законную комиссию. И если сегодня он мне показался взволнованным, если он нарочно не спешит сюда, чтобы установить свое моральное алиби, то, значит, он в первый раз в жизни сделал промах.

Массо продолжал выкладывать всю подноготную Фонсега: он тоже родом из Кореза и насмерть поссорился с Монферраном по какому-то неизвестному поводу; был адвокатом в Тюлле, потом приехал в Париж, намереваясь его завоевать, и он его действительно завоевал благодаря видной утренней газете «Глобус», основателем и редактором которой он был. Теперь Фонсег занимает роскошный особняк на авеню Булонского леса и в каждом вновь возникающем предприятии захватывает львиную долю. Он гениальный делец и, пользуясь безграничным влиянием своей газеты, царит на рынке. Но какая тонкая стратегия, как долго и хитро он выжидал, пока наконец приобрел прочную репутацию человека серьезного и авторитетного, руководящего самой высококонравственной и благопристойной из газет! В душе не веря ни в бога, ни в черта, он сделал свою газету оплотом порядка, собственности и семьи, стал республиканцем-консерватором, почуяв, что такая позиция ему на руку, но сохранил верность религии, исповедуя спиритуализм, который успокаивает буржуазию. И, будучи на вершине власти и почета, он запускает руку в каждый мешок.

— Ну что, господин аббат, теперь вы видите, к чему приводит пресса. Вот вам Санье и Фонсег, сравните-ка их! По существу говоря, это собратья, у каждого из них свое оружие, которое они и пускают в ход. Но как различны их тактика и достижения! Листок Санье настоящая сточная труба, и ноток нечистот подхватил ого и неудержимо несет в клоаку. А газета Фонсега — нечто особое, чрезвычайно изысканное, весьма литературное, подлинное лакомство для людей с утонченным вкусом; она

делает честь человеку, его руководящему... И, боже ты мой, в сущности — и здесь и там — тот же самый фарс!

Массо расхохотался, радуясь своей шутке. И тут же воскликнул:

— А! Вот наконец и Фонсег!

И как ни в чем не бывало он, продолжая смеяться, представил священника:

— Это господин аббат Фроман, он уже около получаса поджидает вас, дорогой патрон! Ну, я пойду посмотрю, что там происходит. Вы знаете, что Меж подает запрос?

Фонсега слегка передернуло.

— Запрос, говорите... Хорошо, хорошо! Я туда иду.

Пьер разглядывал вновь вошедшего. Человечек лет пятидесяти, худой и подвижной, моложавый для своих лет, с еще совершенно черной бородой. Сверкающие глаза, губы закрыты густыми усами, но, говорят, с этих губ срываются ужасные слова. При этом дружелюбно-приветливый вид и лицо дышит умом — до самого кончика маленького острого носика, чутко приплюснутая гончей собаки.

— Господин аббат, чем я могу служить?

Тут Пьер в кратких словах изложил свою просьбу, рассказал, как он утром был у Лавева, привел все душераздирающие подробности и попросил, чтобы несчастного немедленно же приняли в приют.

— Лавев? Но разве мы не рассматривали его дело?.. Дютейль сделал нам доклад о нем, и факты были таковы, что оказалось невозможным его принять.

— Уверяю вас, сударь, — настаивал священник, — что, если бы вы были там со мной сегодня утром, у вас сердце разорвалось бы от жалости. Это возмутительно — оставлять хотя бы на один час старика без ухода и надзора! Он должен сегодня ночевать в приюте.

— Что! Сегодня! — воскликнул Фонсег. — Это невозможно, никак невозможно! Необходимо выполнить целый ряд формальностей. К тому же я не могу самолично принимать подобные решения, мне не дано таких полномочий. Ведь я всего лишь администратор и только осуществляю постановления комитета дам-патронесс.

— Но, сударь, меня послала к вам именно баронесса Дювильяр, она уверяла, что вы уполномочены в экстренных случаях самолично разрешать прием.

— Ах, вас посылает баронесса! О, я узнаю ее, она не способна самостоятельно принимать решения и так оберегает свой покой, что никогда не берет на себя ответственности!.. Почему это она возлагает все

заботы на меня одного? Нет, нет, господин аббат, я ни в коем случае не стану нарушать наш устав и не отдам распоряжения, которое может поссорить меня со всеми этими дамами. Вы их не знаете, они становятся прямо свирепыми, как только соберутся вместе.

Фонсег оживился и говорил шутливым тоном, твердо решив ничего не предпринимать. Но вдруг появился Дютейль. Выскочив из зала заседаний, он понесся сломя голову по кулуарам, собирая всех отсутствующих, заинтересованных в важном вопросе, поставленном на обсуждение.

— Как, Фонсег, вы еще здесь? Скорей, скорей, идите на свое место! Дело серьезное!

И он исчез. Однако депутат не слишком спешил, как будто грязное дело, взволновавшее весь зал заседаний, ничуть его не касалось. Он по-прежнему улыбался, только веки его слегка дрогнули.

— Извините меня, господин аббат, вы видите, я сейчас нужен своим друзьям... Повторяю, я решительно ничего не могу сделать для вашего подопечного.

Однако Пьер все еще не хотел признать отказ окончательным.

— Нет, нет, сударь! Идите по своим делам, а я вас тут подожду... Не принимайте решения, пока не обдумаете со всех сторон этот вопрос. Вас торопят, я чувствую, что вам сейчас не до меня. А потом, когда вы вернетесь и сможете всецело заняться мной, я уверен, что вы исполните мою просьбу.

И хотя Фонсег, уходя, еще раз подтвердил, что не изменит своего решения, священник продолжал упорствовать и снова уселся на скамью, готовый просидеть там до самого вечера. Между тем зал Потерянных шагов почти совсем опустел и теперь казался еще угрюмее и холоднее со своими Лаокооном и Минервой и голыми стенами, безличными, как стены вокзала; разыгрывающиеся в нем жаркие схватки даже не согрели высокого потолка. Мертвенно-бледный, бесконечно равнодушный свет вливался в огромные стеклянные двери, за которыми виднелся небольшой оцепеневший сад с чахлой прошлогодней травой. Из соседнего зала, где происходило заседание, где свирепствовали бури, не долетало ни звука. Мертвое молчание царило в величественном зале, но порой туда доносился какой-то неясный рокот, словно отдаленный отзвук скорби, объявшей всю страну.

Вот что занимало теперь мысли Пьера. Перед ним разверзлась застарелая гноящаяся рана, которая распространяла заразу и отравляла атмосферу. Парламент был охвачен медленным тлением, оно охватило

весь общественный организм. Несомненно, за всеми этими низменными интригами, за яростным столкновением личных честолюбий шла великая борьба высоких идей, поступательное движение истории, сметающей прошлое, пытающейся осуществить в будущем больше правды, справедливости и счастья. Но на поверку — какая отвратительная стряпня, какой разгул ненасытных appetitов, какое стремление восторжествовать, задушив соседа! Все эти группы только и делали, что боролись за власть, сулившую им все блага жизни. Левые, правые, католики, республиканцы, социалисты — добрых два десятка партий всевозможных оттенков таили под различными вывесками все то же жгучее желание повелевать и господствовать. Все вопросы сводились к одному: кто из них — этот, тот или вон тот заберет в свои руки Францию, будет широко пользоваться своим могуществом и осыпать милостями клику своих ставленников! И хуже всего было то, что все эти ожесточенные битвы, все потраченные на захват власти тем, другим или третьим дни и недели приводили только к дурацкому топтанию на месте, так как все трое стоили один другого и мало чем отличались: очутившийся у кормила правления так же неряшливо работал, как и его предшественник, и неизменно забывал все свои прежние программы и обещания.

Непроизвольно мысли Пьера возвращались к Лавеву, которого он на минуту забыл, и он содрогался от гнева и смертельного ужаса. Ах, какое дело этому несчастному старику, издыхающему от голода на куче тряпья, до того, свергнет ли Меж кабинет Барру и придет ли к власти кабинет Шиньона? При таком ходе дел понадобится сто и даже двести лет, чтобы появился хлеб на чердаках, где хрипит в предсмертных муках надорвавшаяся, искалеченная рабочая скотина. За спиной Лавева целое море нищеты, целое племя обездоленных бедняков, которые погибают и зывают к справедливости, в то время как члены парламента на решающем заседании с безумным волнением ожидают, кому достанется Франция и кто будет ее пожирать. Поток грязи затоплял берега, бесстыдно обнажалась омерзительная кровоточащая рана, которая медленно расползалась, подобно раку, поражающему орган за органом в своем неуклонном движении к сердцу. Какое отвращение, какую тошноту вызывало это зрелище, и как хотелось, чтобы мстительный нож, совершив расправу, принес здоровье и радость!

Пьер не мог бы сказать, сколько времени он просидел, погруженный в раздумье: но вот оглушительный взрыв голосов снова прокатился по

залу. Люди возвращались, бурно жестикулируя, собираясь в группы. Внезапно маленький Массо крикнул где-то совсем рядом:

— Его еще не свалили, но он все равно обречен. Я не поставил бы на него и гроша!

Он говорил о кабинете. Кроме того, он рассказал о ходе заседания одному из своих братьев, который только что вошел. Меж произнес блестящую речь, с необычайной яростью нападая на разлагающуюся и разлагающую буржуазию, но, как всегда, он хватил через край, напугав парламент своим бешенством. Поэтому, когда Барру взошел на трибуну и попросил отсрочить запрос на месяц, он выразил весьма искреннее негодование, высокомерно гневаясь на известного рода прессу, которая предпринимает гнусные кампании. Неужели нам предстоит пережить позор новой Панамы? Неужели народные представители позволят себя запугать угрозами каких-то новых наветов? Ведь это враги хотят затопить республику потоком гнусностей. Нет, нет! Время не терпит, мы должны дружно сплотиться и мирно работать, не позволяя любителям скандалов нарушать общественное спокойствие. И парламент, под впечатлением его речи, опасаясь, что избирателей в конце концов утомит бесконечное переполаскивание грязного белья, отсрочил запрос на месяц. Но хотя Виньон и уклонился от выступления, вся его группа голосовала против кабинета, так что тот получил большинство всего в два голоса, прямо смехотворное большинство.

— Ну, тогда, — спросил кто-то Массо, — они подадут в отставку?

— Да, ходят слухи. Но все же Барру очень упорен... Во всяком случае, если они будут упрямы, не пройдет и недели, как их сбросят, тем более что разъяренный Санье грозит завтра же опубликовать список имен.

В эту минуту через зал поспешно прошли Барру и Монферран, растерянные и озабоченные, а за ними плелись их испуганные сторонники. Толковали, что кабинет намерен срочно собраться в полном составе, чтобы принять то или иное решение. Потом появился Виньон, окруженный толпой друзей, он так и сиял, хотя старался скрыть свою радость и успокаивал своих приверженцев, не желая заранее торжествовать победу, но у всех его прихвостней сверкали глаза, и они смахивали на свору псов, предвкушающих раздел добычи. Торжествовал и Меж. Только два голоса, и он сверг бы кабинет. Еще один подорван! Он подорвет также кабинет Виньона! Он придет наконец к власти!

— Черт возьми! — прошептал маленький Массо. — Шенье и Дютель похожи на побитых собак. А вот патрон — тот еще держится.

Взгляните-ка на него, не молодец ли наш Фонсег!.. До свидания, я удираю.

Пожав руку своему собрату, он удалился, хотя заседание продолжалось и новый вопрос чрезвычайной важности обсуждался в опустевшем зале.

Шенье с убитым видом облокотился на пьедестал величавой Минервы. Этот горький неудачник еще никогда не переживал такого сокрушительного удара. А Дютейль — тот разглагольствовал среди группы депутатов, стараясь придать себе насмешливый и беззаботный вид, однако нос у него нервно подергивался, губы кривились и красивое лицо было все в поту от страха. Действительно, один только Фонсег сохранял спокойствие; этот маленький подвижной человек по-прежнему держался молодцом, и глаза его, чуть затуманенные тревогой, сверкали умом.

Пьер поднялся, собираясь повторить свою просьбу. Но Фонсег предупредил его, с живостью сказав:

— Нет, нет, господин аббат, повторяю, я решительно отказываюсь нарушать наш устав. Был сделан доклад, вынесено постановление. Разве я могу через него перешагнуть?

— Сударь, — горестно проговорил священник, — речь идет о старике, который голодает, мерзнет и умрет, если ему не окажут помощь.

Редактор «Глобуса» развел руками с безнадежным видом, словно призывая стены в свидетели своего полного бессилия. Без сомнения, он опасался, как бы не подверглась нареканиям его газета, на страницах которой во время предвыборной кампании он в корыстных целях без конца писал о приюте для инвалидов труда. А может быть, в глубине души он был напуган бурным заседанием, и сердце его окаменело.

— Не могу, решительно ничего не могу... Но, конечно, я буду только рад, если вы заставите меня это сделать через дамский комитет. Вы уже заручились согласием баронессы Дювильяр, — так постарайтесь убедить и других.

Пьер решил бороться до конца, и ему захотелось сделать последнюю попытку.

— Я знаю графиню де Кенсак и могу сейчас же пойти к ней.

— Вот-вот! Графиня де Кенсак! Превосходно! Садитесь в коляску и отправляйтесь прямо к ней, а от нее к принцессе де Гарт. Она очень деятельный член комитета и приобретает все большее влияние... Получив согласие этих дам, возвращайтесь к баронессе, добейтесь от нее письма,

снимающего с меня ответственность, и приезжайте ко мне в редакцию. В девять часов ваш старичок ляжет спать в приюте.

Теперь, обезопасив себя от возможных неприятностей, Фонсег прикинулся жизнерадостным добряком и уже не выражал сомнения в успехе. В душе Пьера снова проснулась великая надежда.

— О, благодарю вас, сударь! Вы сделаете поистине благое дело.

— Но ведь мне только этого и хочется. Если бы мы могли одним-единственным словом излечить людей от нужды, от голода и жажды! Торопитесь, не теряйте ни минуты.

Они обменялись рукопожатием, и священник поспешно направился к выходу. Но выбраться из зала было не так-то легко: собравшиеся там группы людей все увеличивались, туда хлынули после заседания охваченные гневом и тревогой депутаты, и кругом царила невообразимая суматоха: так камень, брошенный в глубокую лужу, поднимает со дна тину, и на поверхность всплывает вся гниль. Проталкиваясь сквозь шумную толпу, Пьер читал на лицах у одних откровенную трусость, у других — дерзкий вызов и почти у всех — пороки, неизбежные в этой среде, где люди заражают друг друга. Но у него зародилась надежда, и ему казалось, что, если он в этот день спасет одну жизнь и осчастливит одного человека, это будет началом искупления, он хоть отчасти загладит глупости и ошибки этого политического мирка, жадного и себялюбивого.

В вестибюле еще одно происшествие на минуту задержало Пьера. Там всех взбудоражила стычка какого-то субъекта с привратником, который не пустил его, обнаружив старый пропуск с подчищенной датой. Человек этот сперва грубо требовал, чтобы его пустили, а потом, словно охваченный внезапной робостью, замолчал. И Пьер, к своему удивлению, в этом бедно одетом человеке узнал Сальва, рабочего-слесаря, который утром при нем отправился на поиски работы. Да, это был он, длинный, тощий, изможденный, с мертвенно-бледным, изголодавшимся лицом, на котором горели большие мечтательные глаза. При нем уже не было мешка с инструментом, застегнутая доверху рваная куртка оттопыривалась с левой стороны, куда он, вероятно, засунул кусок хлеба. Когда его вытолкали привратники, он направился к мосту Согласия, поплелся медленно, наугад, как человек, который сам не знает, куда идет.

В старомодной гостиной, с серыми деревянными панелями, с выцветшей мебелью в стиле Людовика XVI, у камина на своем обычном месте сидела графиня де Кенсак. Она была удивительно похожа на сына — то же удлиненное благородное лицо, слегка суровый подбородок и все еще прекрасные глаза, осененные тонкими белоснежными волосами, причесанными по старинной моде ее молодых лет. При всем своем холодном высокомерии она умела быть изысканно любезной и приветливой.

После длительного молчания, сделав легкий жест рукой, она заговорила, обращаясь к маркизу де Мориньи, сидевшему с другой стороны камина в кресле, которое он занимал уже много лет.

— Ах, мой друг, вы совершенно правы, господь бог забыл о нас в эти ужасные времена.

— Да, мы с вами прошли мимо своего счастья, — медленно произнес он, — и это ваша вина, но, конечно, и моя.

С грустной улыбкой она заставила его умолкнуть новым движением руки. И снова воцарилось безмолвие, уличный шум не проникал в это мрачное помещение на первом этаже старого особняка, расположенного в глубине двора, на улице Сен-Доминик, почти на углу улицы Бургонь.

Маркиз был старик семидесяти пяти лет, на девять лет старше графини. Маленький и сухой, с бритым лицом, изрезанным глубокими строгими морщинами, он не лишен был величия. Маркиз принадлежал к одному из самых древних родов Франции и был из последних легитимистов: утратив всякую надежду, после великого крушения, безусловно честный и возвышенно настроенный, он сохранял верность умершей монархии. Его капитал, все еще исчислявшийся в несколько миллионов, был как бы заморожен, ибо маркиз не желал его приумножать, вкладывая в предприятия этого века. Было известно, что он тайно любил г-жу де Кенсак еще при жизни ее супруга и что он просил ее руки после кончины графа, когда вдова, уже сорока с лишним лет, поселилась в этой сырой квартире на первом этаже и жила на ренту в пятнадцать тысяч франков, которую ей с трудом удалось сохранить. Но она обожала своего сына Жерара, хрупкого мальчика, которому шел тогда десятый год. Она пожертвовала ему всем, движимая какой-то особой материнской стыдливостью и суеверным страхом: ей казалось, что она потеряет сына, если разрешит себе другую любовь, возьмет на себя другой жизненный долг. Маркиз покорился ее воле и по-прежнему обожал графиню, ухаживая за ней, как в тот вечер, когда впервые ее

увидал; скромный и предупредительный, он четверть века сохранял ей безупречную верность. Они даже ни разу не обменялись поцелуем.

Уловив грустное выражение ее лица и опасаясь, что она им недовольна, маркиз добавил:

— Я так желал вам счастья, но не сумел его вам дать, и, безусловно, во всем виноват я один. Может быть, вы беспокоитесь о Жераре?

Она молча покачала головой. Потом сказала:

— Пока все обстоит по-прежнему, нам с вами не приходится жаловаться, мой друг, ведь мы приняли все это.

Графиня имела в виду преступную связь Жерара с баронессой Дювильяр. Она питала слабость к своему сыну, которого вырастила с таким трудом; ей одной было известно, что таится за красивой внешностью и гордой осанкой Жерара, последнего отпрыска вымирающего рода. Она прощала ему лень и безделье, погоню за удовольствиями и отказ от военной и дипломатической карьеры, внушавшей ему отвращение. Сколько раз приходилось ей исправлять глупые промахи сына, тайком выплачивать его мелкие долги, отказываясь от денежной помощи маркиза, который даже не решался предлагать ей свои миллионы, видя, что она упорствует в героической решимости жить на остатки своего состояния. Так она и смотрела сквозь пальцы на скандальную связь сына, догадываясь, как это произошло: всему виной его слабование и крайнее легкомыслие, он не может порвать с женщиной, которая за него цепляется и удерживает своими ласками. А маркиз простил эту связь только в тот день, когда Ева стала христианкой.

— Вы знаете, мой друг, — продолжала графиня, — Жерар у меня такой добрый. В этом его сила и его слабость. Ну, скажите, разве я могу его бранить, когда он плачет вместе со мной?.. Эта особа скоро ему надоест.

Маркиз покачал головой.

— Она еще очень хороша собой... А потом, там есть дочь. Хуже будет, если он на ней женится.

— Ах, дочь! Да ведь она калека!

— Вот именно, и вы услышите, как будут говорить: «Граф де Кенсак женился на уродине из-за ее миллионов!»

Оба они до смерти этого боялись. Они знали решительно обо всем, происходившем у Дювильяров, — о волнующей дружбе между обиженной природой Камиллой и красавцем Жераром, об этой трогательной идиллии, за которой скрывалась жесточайшая драма. И они протестовали изо всех сил, пылая негодованием.

— О нет, только не это! Никогда! — воскликнула графиня. — Чтобы мой сын вошел в эту семью! Нет! Никогда не дам своего согласия!

В этот момент вошел генерал де Бозонне. Он обожал свою сестру и в ее приемные дни проводил с ней время, так как кружок завсегдатаев мало-помалу поредел, и лишь немногие преданные друзья еще посещали эту серую, мрачную гостиную, где можно было подумать, что находишься на расстоянии тысяч лье от современного Парижа. С места в карьер, чтобы развеселить графиню, он сообщил, что завтракал у Дювильяров, назвал всех гостей и добавил, что там был и Жерар. Генерал знал, что доставляет удовольствие сестре, посещая этот дом; он оказывал высокую честь семье Дювильяров, несколько облагораживая ее своим присутствием, и приносил оттуда последние новости. Впрочем, он там не скучал, так как уже давно стал истинным сыном века и весьма снисходительно принимал все, что не имело отношения к военному искусству.

— Бедная малютка Камилла прямо обожает Жерара, — заявил он. — За столом она так и пожирала его глазами.

— Вот где опасность, — сурово возразил маркиз де Морины. — Брак между ними совершенно недопустим, со всех точек зрения — это было бы чудовищно!

Казалось, эти слова удивили генерала.

— Почему же? Положим, она не из хорошеньких, но разве женятся только на красивых девушках? К тому же она принесет миллионы, наш дорогой мальчик уж сумеет ими воспользоваться... Правда, тут еще связь с матерью. Но боже ты мой! В наши дни это самая обыкновенная история!

Возмущенный маркиз величавым жестом выразил свое отвращение. К чему спорить, когда все кругом рушится! Что возразить генералу, последнему представителю знаменитого рода Бозонне, который докатился до оправдания мерзких пороков республики, генералу, который отрекся от своего короля, служил империи, связал себя с судьбой Цезаря и свято чтит его память!

Но графиня тоже вознегодовала.

— О, что вы говорите, братец? Никогда в жизни я не дам согласия на такой скандальный брак! Я только что в этом поклялась.

— Не давайте клятвы, сестра! — воскликнул генерал. — Мне хочется видеть нашего Жерара счастливым, вот и все! А ведь согласитесь, от него нельзя ожидать ничего путного. Я понимаю, что он не стал военным, в наши дни это гиблое дело. Но мне трудно понять, почему он не пошел по

дипломатической части, не захотел чем-нибудь заняться. Конечно, можно все валить на новые времена, утверждая, что человек нашего круга не может здесь найти себе честного занятия. Но, по существу говоря, теперь одни лентяи так рассуждают. И единственное оправдание Жерара — это недостаток способностей, безволие и слабое здоровье.

На глаза матери навернулись слезы. Она все время дрожала за сына, зная, насколько обманчива его внеш-поста: он не перенес бы и малейшей простуды, хотя был высок ростом и казался крепким. Не являлся ли он символом всей этой знати, с виду еще такой величавой и гордой, но прогнившей до самого корня?

— В конце концов, — продолжал генерал, — ему тридцать шесть лет, а он все время сидит у вас на шее; надо же положить этому конец.

Тут графиня попросила его замолчать и обратилась к маркизу:

— Друг мой, не правда ли, доверимся воле божьей! Не может быть, чтобы господь не помог мне, ведь я никогда его не оскорбляла.

— Никогда! — ответил маркиз, вложив в это простое слово всю свою печаль, всю свою нежность, все свое обожание, — ведь он уже столько лет боготворил эту женщину, и оба они ни в чем не согрешили.

Вошел еще один друг дома, и разговор принял другое направление. Г-н де Ларомбардьер, товарищ председателя суда, был высокий старик лет шестидесяти пяти, тощий и лысый; на его длинном, гладко выбритом лице белели узкие полоски бакенбард. Серые глаза, поджатый рот с необычайно длинной верхней губой и квадратный упрямый подбородок придавали ему весьма суровое выражение. Трагедия его жизни состояла в том, что он как-то по-детски шепелявил и не мог проявить своих дарований в прокуратуре, а между тем он считал себя великим оратором. Эти тайные терзания были причиной его мрачности. Он воплощал в своем лице старую Францию, преданную королю и ворчливую, нехотя принявшую республику, магистратуру старинного склада, строгую, не склонную совершенствоваться и воспринимать по-новому вещи и людей. Он дослужился до дворянства, был легитимистом, преданным Орлеанскому дому, любил блеснуть своим умом и логикой в гостиной графини и очень гордился, что встречается здесь с маркизом.

Поговорили о последних событиях. Но политические темы были быстро исчерпаны, и разговор свелся к ядовитому осуждению людей и порядков. Все трое дружно обличали мерзости республиканского строя, это были живые развалины, обломки старых партий, почти окончательно утративших влияние. Маркиз закоснел в крайней непримиримости, сохраняя верность усопшей монархии, и был одним из последних

представителей еще не разорившейся аристократии, высокомерной и упрямой, готовой скорее умереть, чем сдвинуться с места. Судья, все-таки имевший в запасе претендента, рассчитывал на чудо и доказывал, что оно непременно совершится, если только Франция не пойдет по пути, чреватому ужасными бедами, которые быстро приведут ее к гибели. А генерал сожалел только о великих войнах, которые велись во времена Первой и Второй империй; он не слишком-то надеялся на реставрацию Бонапартов и заявлял, что, покончив с императорской армией, введя всеобщую воинскую повинность и вооружив весь народ, республика убила войну, а заодно и родину.

Когда лакей, подойдя к графине, спросил, не угодно ли ей принять господина аббата Фромана, она выразила некоторое удивление.

— Что ему нужно от меня? Введите его.

Графиня была чрезвычайно набожна, и ей приходилось встречаться с Пьером на поприще благотворительности; она умилялась, видя его рвение, и высоко его ценила, так как прихожанки церкви в Нейи создали вокруг него ореол святости.

Когда лихорадочно возбужденный Пьер переступил порог гостиной, им внезапно овладела робость. Сперва он ничего не мог разглядеть, ему чудилось, что он попал в какую-то обитель скорби, во тьму, где расплывались очертания фигур и тихо шелестели голоса. Потом, когда Пьер узнал находившихся там людей, он еще более смутился; они казались ему столь чуждыми, столь печальными, столь далекими от мира, из которого он пришел и куда должен был возвратиться. И когда графиня усадила его рядом с собой у камина, он поведал ей шепотом печальную историю Лавева и попросил ее поддержки, чтобы устроить старика в приют для инвалидов труда.

— Ах да! это учреждение... сын уговорил меня принять в нем участие... Но я, господин аббат, ни разу не была на заседаниях комитета. Разве я могу быть вам полезной? Ведь я не имею ни малейшего влияния!

Снова перед ее мысленным взором всплыли образы Жерара и Евы, ведь любовники впервые встретились именно в приюте. В ее материнском сердце пробудилась скорбь, и она уже готова была уступить, хотя и раскаивалась, что связала свое имя с одним из громких благотворительных предприятий, руководителей которого обвиняла в корысти и в злоупотреблениях.

— Сударыня, — настаивал Пьер, — речь идет о несчастном старике, который умирает с голоду. Сжальтесь, умоляю вас!

Хотя священник говорил вполголоса, генерал расслышал и подошел к нему.

— Вы все хлопчете об этом старом революционере! Так вам не удалось уговорить администратора?.. Черт возьми, трудноато жалеть молодцов, которые заявляют, что, будь они хозяевами положения, они вымели бы всех нас.

Господин де Ларомбардьер одобрил его слова кивком головы. Последнее время ему везде мерещились заговоры анархистов.

Пьер продолжал свою раздирающую душу защитительную речь. Он рассказал об ужасающей нищете, о жилищах, где вечно голодают, где женщины и дети дрожат от холода, а отцы таскаются зимой по грязным улицам Парижа в поисках куска хлеба. Он просит только об одном, — чтобы графиня написала на визитной карточке несколько благосклонных слов; он немедленно же отнесет карточку баронессе Дювильяр и убедит ее нарушить устав. Голос его дрожал от подавленных рыданий, и слова одно за другим падали в угрюмой тишине гостиной; казалось, они доносились откуда-то издалека и замирали в этом мертвом царстве, не пробудив ни малейшего отзвука.

Госпожа де Кенсак повернулась к господину де Мориньи. Но тот казался безучастным. Он пристально глядел на пламя камина с высокомерным и отчужденным видом, равнодушный к событиям и к людям, в среду которых его по ошибке забросила судьба. Но вот он поднял голову, почувствовав, что на него смотрит обожаемая им женщина, глаза их встретились и засветились бесконечной нежностью, печальной нежностью их героической любви.

— Боже мой, — сказала она, — я знаю, как велики ваши заслуги, господин аббат, и не могу не помочь вам в этом добром деле.

Графиня вышла из гостиной и через минуту вернулась с карточкой, где написала, что она от всей души поддерживает просьбу аббата Фромана. Пьер поблагодарил, у него даже задрожали руки от переполнившей сердце признательности, и удалился в восторге, словно обретя надежду; а после его ухода сумрак и безмолвие, казалось, вновь окутали старую даму и последних хранящих ей верность друзей, сидевших у камелька, — готовый исчезнуть мирок.

Очутившись на улице, Пьер с легким сердцем сел в свой фиакр и приказал везти его к принцессе де Гарт на авеню Клебер. Если он добьется согласия и у этой дамы, то успех обеспечен. Однако мост Согласия был до того загроможден экипажами, что пришлось ехать шагом. На тротуаре Пьер заметил Дютейля. Изящный, безусловно

одетый, беспечный, как птичка, он покуривал сигару и приветливо улыбался, глядя на толпу, радуясь, что окончилось бурное парламентское заседание и можно пройтись по сухой улице под голубым небом. Пьеру бросился в глаза веселый и торжествующий вид Дютейля, и вдруг его осенило: он непременно должен завоевать, привлечь на свою сторону этого молодого человека, чей доклад так повредил Лавеву! В этот момент коляска совсем остановилась, депутат узнал Пьера и улыбнулся ему.

— Куда это вы направляетесь, господин Дютейль?

— Да совсем недалеко, на Елисейские поля.

— Я проеду мимо них и буду очень рад, если вы согласитесь сесть со мной, — мне нужно кое-что вам сказать. Я высажу вас, где вы захотите.

— Охотно, господин аббат. Вы ничего не имеете против, если я докурю сигару?

— О, нисколько!

Фиакр выбрался из затора, пересек площадь и стал подниматься к Елисейским полям. Зная, что в его распоряжении всего несколько минут, Пьер сразу же приступил к делу, решив энергично бороться и убедить Дютейля. Он помнил выпад молодого человека против Лавева в гостиной барона и был весьма удивлен, когда Дютейль прервал его и сказал добродушным тоном, радуясь яркому солнцу, выглянувшему из облаков:

— Ах, это ваш старый пьянчуга! Так вы не уладили это дело с Фонсегом? Чего же вы хотите? Чтобы его сегодня же приняли туда?.. Ну, я, знаете ли, не возражаю.

— А ваш доклад...

— Мой доклад, ну что мой доклад? Вопрос решают по-разному, в зависимости от той или иной точки зрения... И если вы так стоите за Лавева, я не отказываюсь вам помочь!

Пьер смотрел на него, пораженный и очень обрадованный. Ему даже не пришлось больше говорить.

— Вы плохо взялись за дело, — продолжал Дютейль, наклоняясь к Пьеру с доверительным видом. — У себя дома барон полновластный хозяин, вы, конечно, догадываетесь, почему это так, даже, наверное, знаете; баронесса беспрекословно исполняет все его просьбы, и зря вы колесили по городу, — ведь стоило бы вам сегодня утром уговорить его поддержать вас, — а он был в прекрасном настроении, — и она сразу бы сдалась.

Дютейль рассмеялся.

— Знаете, что я намерен предпринять? Ну, так вот: я привлекут на вашу сторону барона. Да, я как раз направляюсь в один дом, где он сейчас

находится, в этом доме его можно ежедневно наверняка застать в этот час... — И он засмеялся еще громче. — Быть может, вы догадываетесь, какой это дом, господин аббат? Если барона о чем-нибудь попросить, когда он там, то он ни за что не откажет. Обещаю вам, я заставлю его поклясться, что сегодня же вечером он потребует у жены зачисления вашего старика. Вот только время будет позднее. — Тут у него явилась новая мысль: — А почему бы вам не пойти туда вместе со мной? Барон даст вам записку, и тотчас же, не теряя ни минуты, вы отправитесь разыскивать баронессу... А, понимаю, вы стесняетесь войти в этот дом. Вы хотите видеть одного барона? Так вы подождете внизу, в маленькой гостиной, а я приведу его к вам.

Эта затея окончательно развеселила Дютейля, а Пьер был огорошен, колебался, и его смущала мысль, что он попадет к Сильвиане д'Онэ. Это было весьма неподобающее для него место. Впрочем, он готов был пойти хоть в преисподнюю и не раз туда заглядывал вместе с аббатом Розом в надежде облегчить страдания какого-нибудь бедняка.

Не разгадавший его мыслей Дютейль понизил голос и сообщил как некое откровение:

— Вы знаете, там вся обстановка куплена на его деньги. О, вы можете войти без всяких опасений.

— Ну конечно же, я иду с вами, — сказал священник, который тоже не мог не улыбнуться.

Небольшой, но роскошный особняк Сильвианы д'Онэ находился на авеню Антен, недалеко от авеню Елисейских полей, и своим изысканным убранством напоминал какой-то модный храм. Свет, проникавший сквозь цветные стекла окон, зажигал лиловатыми отсветами золотую старинную парчу занавесей этого святилища, жрице которого только что минуло двадцать пять лет. Весь Париж знал эту маленькую тонкую брюнетку и восхищался ее прелестным личиком мадонны с нежным удлинненным овалом, тонким носом, крохотным ртом, невинными щечками и детским подбородком; свой низкий лоб она прикрывала черными прядями густых тяжелых волос. Сильвиана прославилась благодаря контрасту ее очаровательно удивленного выражения лица, беспредельной чистоты голубых глаз, невинной стыдливости, которую умела на себя напускать, с ее подлинным существом, — ведь она была отвратительной девкой, извращенной до мозга костей, вошедшей в моду и всеми признанной, из тех, что произрастают на задних дворах больших городов. Рассказывали странные вещи о ее вкусах и причудах. Одни уверяли, что она дочь консьержки, другие — что она дочь врача. Как бы там ни было, она кое-

чему научилась и получила какое-то воспитание, так как при случае могла блеснуть остроумием, изяществом и изысканными манерами. Она уже десять лет подвизалась в театрах, где аплодировали ее красоте, и даже добилась немалого успеха, исполняя роли невинных девушек и молодых женщин, любящих и страдающих от преследований. Но когда встал вопрос о ее вступлении в труппу Французской Комедии, где она мечтала исполнять роль Полины в «Полиевкте», то многие стали возмущаться, а иные — потешаться над ней, — до того это казалось нелепым и даже кощунственным, ибо речь шла о величавой классической трагедии. Но Сильвиана, уверенная, что получит эту роль, с невозмутимым упорством добивалась своего, и добивалась изо всех сил, с напостью девки, которой мужчины ни в чем не могли отказать.

В этот день, около трех, Жерар, не зная, как убить время до свидания с Евой на улице Матиньон, решил заглянуть по соседству к Сильвиане и подождать у нее. Несколько лет назад у него была с ней мимолетная связь, он стал одним из близких друзей в маленьком особняке и порой даже позволял себе кое-какие вольности, развлекая скучающую красотку. Но на этот раз он застал ее в крайнем раздражении, он сидел на правах друга в глубоком кресле в гостиной цвета старого золота и слушал ее жалобы. Она стояла перед Жераром вся в белом, сияя белизной, совсем как Ева за завтраком, говорила с жаром и почти убедила его. Граф поддавался доводам Сильвианы, очарованный ее молодостью и красотой, бессознательно сравнивая ее с другой. Он заранее тяготился предстоящим свиданием и был объят такой нравственной и физической ленью, что предпочел бы весь день сидеть, развалившись в этом глубоком кресле.

— Слышишь, Жерар, — воскликнула Сильвиана, забывшись и переходя на «ты», — больше ни вот столько! Он не получит ни вот столько! Пока не принесет мне бумажку о моем назначении.

Тут вошел барон Дювильяр. Сильвиана мигом превратилась в ледяную статую и приняла его с видом оскорбленной королевы, требующей объяснений, а барон натянуто улыбался, собираясь сообщить ей о новом поражении и предвидя грозу. Она была язвой этого человека, еще крепкого и могущественного, хотя и отмеченного печатью вырождения. Она также была орудием справедливости и кары: она черпала полными пригоршнями накопленное бароном золото и своей жестокостью мстила ему за тех, кто страдал от холода и голода. Жалко было смотреть, как он, которого боялись, которому льстили, перед которым дрожали государства, бледнел от волнения, смиренно склонялся

перед ней и по-детски бессвязно лепетал, охваченный страстью на старости лет.

— Ах, дорогой друг, если бы вы знали, как я набегался! Куча надоедливых дел — встречи с промышленниками, необходимость уладить важное общественное дело. Мне казалось, что я так и не доберусь до вас, чтобы поцеловать вашу ручку.

Он поцеловал ее пальчики, но она с холодным, равнодушным видом уронила руку и молча смотрела на него, ожидая, что он скажет. Взгляд ее приводил его в такое смятение, что он потел, заикался, не находя нужных слов.

— Ну конечно, я занялся и вашим делом. Я отправился в департамент изящных искусств, где мне дали формальное обещание... О, они очень к вам расположены, там, в департаменте... Только, можете себе представить, этот болван министр, этот Табуро, старый провинциальный учитель, совершенно не знающий Парижа, решительно высказался против вашего назначения и заявил, что, пока он у власти, он не допустит, чтобы вы дебютировали в Комедии.

— А дальше?

— Ну, дальше, дорогой друг, я прямо не знаю, что делать... Нельзя же свергнуть кабинет, чтобы вы могли сыграть роль Полины!

— А почему бы и нет?

Он принужденно засмеялся, но лицо его побагровело, и грузное тело содрогалось от волнения.

— Ну же, моя малютка Сильвиана, не надо упрямиться. Вы бываете такой милой, когда захотите... Оставьте мысль о дебюте. Ведь вы ужасно рискуете, — какой это будет для вас удар, если вы провалитесь! Вы выплачете все свои слезы. А потом вы можете просить меня о чем угодно, я буду так счастлив исполнить ваше желание. Ну, скорей, сейчас же говорите, чего бы вы хотели, и вы немедленно это получите.

Заигрывая с ней, он попытался взять ее за руки. Но она отступила назад с непреклонным видом и обратилась к нему на «ты», как только что говорила с Жераром.

— Слышишь, милый мой, больше ни-ни, ни вот столько, пока я не сыграю роль Полины!

Это означало, что альков для него закрыт, что она не позволит ему самых невинных шалостей, даже не даст себя поцеловать в затылок; он уже изучил ее и знал, что она ни за что не подпустит его к себе. У него перехватило дыхание, он пробурчал что-то невнятное, но по-прежнему делал вид, что считает все это шуткой.

— Какая она сегодня злая! — продолжал он, повернувшись к Жерару. — Чем же вы ее так расстроили, что довели до такого состояния?

Но молодой человек, опасавшийся, что его забрызгают грязью, молча сидел, развалившись в кресле.

Тут Сильвиана разъярилась.

— Он меня расстроил? Да он от души пожалел, что мной помыкает такой человек, как вы, такой эгоист, такой равнодушный к оскорблениям, которыми меня осыпают! Почему вы не дали волю своему негодованию? Почему вы не добились, чтобы меня приняли в Комедию? Это значило бы восстановить свою честь! Ведь это удар для вас: если считают меня недостойной, тем самым оскорбляют и вас... Так, выходит, я девка? Ну, говорите прямо: я девка, которую выставляют из приличного дома!

Сильвиана все не унималась, из ее чистых уст, как всегда в минуты гнева, посыпалась ругань, отвратительные слова. Напрасно барон, зная, что стоит ему сказать хоть одну фразу, и поток грязной брани хлынет с удвоенной силой, бросал на графа умоляющие взгляды. Жерар, который раньше из любви к покою не раз их мирил, сейчас сидел не шевелясь, в каком-то сонном оцепенении и не желал вмешиваться. Внезапно она снова перешла на «ты» и нанесла барону последний удар, отсекая всякую надежду:

— Так вот, мой милый! Ты уж там как-нибудь изловчись и устрой мне дебют, а если нет, то ничего не получишь! Слышишь, даже кончика моего мизинца!

— Хорошо, хорошо, — осклабясь, в отчаянии пробормотал Дювильяр, — уж мы это устроим.

В это время вошел лакей и доложил, что пришел господин Дютейль и внизу в курительной ждет господина барона. Дювильяр сперва удивился, так как обычно Дютейль поднимался вверх, как у себя дома. Но тут же он подумал, что депутат, наверное, принес из парламента важные новости, которые хочет немедленно же сообщить ему с глазу на глаз. И он вышел вслед за лакеем, оставив Жерара наедине с Сильвианой.

Сквозь арку с приподнятой портьерой Пьер вслед за Дютейлем прошел из вестибюля в курительную и там поджидал барона, с любопытством оглядываясь по сторонам; оба они стояли. Пьера поражала проникновенная, чуть ли не религиозная торжественность обстановки этой комнаты, расположенной почти у входа: тяжелые занавеси, таинственный свет, лившийся сквозь цветные стекла, старинная мебель, тонувшая в полумраке, разлитый в воздухе аромат мирры и ладана, —

совсем как в часовне. А Дютейль весело постукивал тросточкой по низкому дивану, на котором не только отдыхали, но и предавались любви.

— А недурная у нее мебель?! О, эта девица знает свое дело!

Вошел барон, все еще взволнованный, с тревожным видом. Не замечая священника, он начал расспрашивать Дютейля.

— Что там было? У вас, значит, важные новости?

— Меж подал запрос и требовал немедленно сбросить Барру. Вы представляете себе, что это была за речь.

— Да, да! Против буржуа, против меня, против вас. Все одно и то же... А потом?

— А потом — запрос был отсрочен, но Барру, хотя и превосходно защищался, получил большинство всего в два голоса.

— Два голоса! Черт возьми! Да он положен на обе лопатки, через неделю у нас будет кабинет Виньона.

— В кулуарах об этом толковали.

Барон нахмурил брови, словно соображая, что может принести миру такая перемена, и сердито махнул рукой:

— Кабинет Виньона... Чем он, черт побери, лучше прежнего! Эти молодые демократы делают вид, будто стоят за добродетель, и министерство Виньона тоже не допустит Сильвиану в Комедию.

На первых порах переворот, вызвавший панику в политических кругах, навел барона лишь на такие мысли. Но депутат уже больше не мог скрыть своих опасений.

— Ну, а с нами-то, с нами что будет?!

Эти слова вернули Дювильяра к действительности. Он снова сделал жест, на этот раз величественный, и проговорил с великолепной и дерзкой самоуверенностью:

— С нами? Да мы остаемся самими собой, мне думается, нам до сих пор еще ничто не угрожало! О, я совершенно спокоен, пусть себе Санье публикует свой пресловутый список, если это его забавляет. А мы лишь потому до сих пор не купили Санье и его список, что Барру честнейший человек, а вдобавок я терпеть не могу швырять деньги на ветер... Повторяю, нам решительно нечего бояться.

Тут барон заметил аббата Фромана, стоявшего в тени, и Дютейль объяснил ему, какой услуги ждет от него Пьер. Должно быть, у взволнованного и раненного в самое сердце Дювильяра шевельнулась смутная надежда, что доброе дело принесет ему удачу, так как он сразу же согласился похлопотать за Лавева. Вынув из записной книжки визитную карточку и карандаш, он подошел к окну.

— Все, что вам угодно, господин аббат, с величайшей радостью приму участие в этом добром деле... Вот что я написал: «Дорогая моя, исполните просьбу господина аббата Фромана относительно этого бедняги, наш друг Фонсег ждет только вашего слова, чтобы все устроить».

В этот миг Пьер заметил в отверстии арки Жерара и провожавшую его до вестибюля Сильвиану, которая уже успокоилась и, должно быть, хотела узнать, зачем это явился Дютейль. Пьера поразила внешность молодой женщины, она показалась ему естественной и кроткой в своей непорочной, девственной чистоте. Она была похожа на чарующую, целомудренную лилию, выросшую в райском саду.

— Итак, — продолжал Дювильяр, — если вы хотите немедленно вручить эту карточку моей жене, вы должны поехать к принцессе де Гарт, у которой сейчас утренний прием.

— Я как раз собирался к ней ехать, господин барон.

— Прекрасно... Вы наверняка застанете у нее мою жену, она хотела повезти туда детей.

Тут барон заметил Жерара и позвал его.

— Послушайте, Жерар, ведь моя жена при вас сказала, что поедет на этот прием, как по-вашему, господин аббат застанет ее там?

Молодой человек, наконец решившийся ехать на улицу Матиньон на свидание с Евой, ответил как ни в чем не бывало:

— Если господин аббат поторопится, я полагаю, что он ее там застанет, она должна была действительно поехать к принцессе перед примеркой у Сальмона.

Он поцеловал руку Сильвиане и удалился с равнодушным и ленивым видом красавца, пресыщенного всеми наслаждениями.

Дювильяр представил хозяйке дома слегка смущенного Пьера. Тот молча поклонился, и она безмолвно ответила ему на поклон с такой целомудренной сдержанностью, с таким непогрешимым тактом, какому позавидовала бы любая инженерю, даже из числа актрис Комедии. Барон проводил священника до дверей, а Сильвиана вернулась с Дютейлем в гостиную. Очутившись за портьерой, он обнял ее за талию и хотел поцеловать в губы. Но она не давалась еще, считая его слишком легкомысленным, вдобавок он должен был сначала заслужить ее благосклонность.

Когда Пьер, теперь уже не сомневавшийся в успехе, подъехал все в той же коляске к особняку принцессы де Гарт на улице Клебер, он снова оказался в немалом затруднении. Улица была буквально забита экипажами — столько народу съехалось на музыкальное утро, и двери

особняка, которые по случаю приема осеняло что-то вроде навеса с ламбрекенами из красного бархата, показались Пьеру совершенно недоступными из-за толпы приглашенных, теснившейся у входа. Удастся ли ему войти, а главное, не помешает ли ему сутана повидаться с принцессой и вызвать хоть на минутку баронессу Дювильяр? В своем лихорадочном возбуждении он даже не подумал об этих трудностях. Он уже решил добраться до двери пешком и размышлял, как бы ему незаметно проскользнуть в толпе, когда его заставил обернуться раздавшийся за спиной веселый голос:

— А, господин аббат! Не верю своим глазам! Вы тоже здесь!

Это был маленький Массо. Он повсюду поспевал, в один день мог побывать на десяти спектаклях, на парламентском заседании, на похоронах, на свадьбе, на празднике или на траурном юбилее, когда у него был, как он выражался, «острый приступ хроники».

— Как, господин аббат, вы пришли к нашей очаровательной принцессе посмотреть танцы мавританок?

Он явно шутил, потому что мавританками называли шесть испанских танцовщиц, выступавших в Фоли-Бержер, куда сбегался весь Париж, привлеченный их жгучей, чувственной пляской. Весь смак был в том, что эти девицы исполняли в салонах наиболее вольные танцы с самыми непристойными телодвижениями, каких наверняка не допустили бы в театре. И весь высший свет устремлялся в салоны, хозяйки которых отличались смелостью, эксцентричностью или были иностранками, вроде принцессы, и не чуждались никаких развлечений.

Когда Пьер сообщил маленькому Массо, что он примчался сюда все по тому же делу, тот весьма любезно предложил его проводить. Он знал все закоулки в особняке и провел Пьера в боковую дверь, они прошли по коридору и очутились в углу вестибюля у самого входа в большую гостиную. Вестибюль украшали высокие зеленые растения, за которыми почти можно было спрятаться.

— Пойдите здесь, дорогой аббат. Я пойду и постараюсь из-под земли достать вам принцессу. И вы узнаете, приехала ли уже баронесса Дювильяр.

Пьера удивляло, что окна в особняке плотно занавешены, дневной свет не проникал ни в одну щелку, а во всех комнатах электрические лампы разливали неправдоподобно яркое, ослепительное сияние. Становилось очень жарко, воздух был насыщен одуряющими ароматами цветов и дамских туалетов. Ослепленному, задыхающемуся Пьеру казалось, что он попал в какой-то вертеп разврата, на один из тех

праздников плоти, которыми бредит веселящийся Париж. Поднявшись на цыпочки, он разглядел сквозь открытые двери гостиной спины сидевших там женщин, ряды белокурых и темных затылков. Очевидно, мавританки исполняли свои первый танец. Пьер их не видел, но бурная сладострастная пляска угадывалась по трепету, пробежавшему по рядам зрительниц, головы которых колыхались, как колосья на резком ветру. Потом взрыв смеха, буря аплодисментов, восторженные крики «браво!».

— Невозможно разыскать принцессу, — сказал Массо, подходя к Пьеру, — вам придется еще подождать, Я встретил Янсена, и он обещал мне ее привести... Вы не знакомы с Янсенем?

И Массо принялся сплетничать по профессиональной привычке и из любви к искусству. Принцесса была с ним в приятельских отношениях. Это он написал отчет о ее первом вечере, когда она, год тому назад, обосновавшись в Париже, дебютировала в своем особняке. Но, по правде говоря, он знал о ней не больше, чем можно было узнать. Возможно, она и богата, раз она тратит огромные суммы. По всей вероятности, замужем, причем за чистокровным принцем, и продолжает быть его женой, хотя и выдает себя за вдову, так как почти достоверно известно, что этот принц, прекрасный как архангел, путешествует с какой-то певичкой. Но нет ни малейшего сомнения, что она сумасброда прямо-таки шальная, это давно доказано и всем бросается в глаза. Впрочем, она очень образованна, и у нее то и дело появляются новые прихоти. Она неусидчива, крайне непостоянна и переходит от одного увлечения к другому. Одно время она с упоением занималась живописью, потом горячо заинтересовалась химией. Сейчас она с головой ушла в поэзию.

— Так вы не знаете Янсена?.. Это он познакомил ее с химией, и она стала изучать главным образом взрывчатые вещества. Вы понимаете, конечно, что химия привлекла ее только потому, что ею занимаются анархисты... Мне думается, она австриячка, хотя ее словам не очень-то можно верить. А вот Янсен уверяет, что он русский, но, по-моему, он немец... О, это необычайно скрытный и загадочный человек, у которого нет квартиры, а может быть, и имени. Какой-то опасный господин с неведомым прошлым, о жизни которого ничего не известно. Лично у меня есть основания думать, что он принимал участие в ужасном барселонском покушении. Как бы там ни было, уже около года я встречаю его в Париже, и, уж конечно, за ним следит полиция. Я глубоко убежден, что он согласился стать любовником нашей полоумной принцессы только для того, чтобы сбить с толку сыщиков. Он делает вид, что веселится здесь всюду, приводит сюда самых необычайных типов, анархистов всех

национальностей и всякой масти. Вот, например, Рафанель, — этот круглый веселый человечек, он француз, но его товарищам нужно его остерегаться, а это Бергас, испанец, кажется, темный биржевой спекулянт, у него чувственный рот прожигателя жизни, но какой это зловредный тип! А сколько других, всяких авантюристов, бандитов, собравшихся со всех четырех сторон света... О! Тут есть приезжие из иностранных колоний, несколько незапятнанных славных имен, два-три настоящих богача среди целой кучи всякого сброда!

Таков был салон Роземонды: громкие титулы, подлинные миллиардеры и самая невообразимая смесь проходимцев и подонков всех стран. Пьер размышлял об интернационализме и о космополитизме, о все густеющей туче иностранцев, опускающейся на Париж.

Несомненно, они приезжают повеселиться в этот город приключений и забав, и они же еще больше растлевают его. Неужели великие города, некогда правившие миром, обречены на полный упадок, на прилив всех страстей, всех желаний чужеземцев, стекающихся на этот перегной, принесенный со всех концов земного шара, где распускается во всем блеске красоты и ума цветок цивилизации?..

Но вот подошел Янсен, высокий худощавый молодой человек лет тридцати, светлоусый, с блеклыми серыми холодными глазами, остроконечной бородкой и длинными кудрями, от которых казалось еще длиннее его бледное, словно подернутое туманом, лицо. Он довольно плохо говорил по-французски, глухим голосом и без единого жеста. Янсен сообщил, что по всему дому разыскивал принцессу, но она прямо неуловима. Может быть, она на кого-нибудь обиделась, поднялась к себе в комнату, заперлась и легла спать, предоставив своим гостям веселиться на свободе у нее в доме.

— А, вот и она! — внезапно воскликнул Массо.

Действительно, Роземонда стояла в вестибюле и, казалось, кого-то поджидала. Маленькая, хрупкая, скорее оригинальная, чем хорошенькая, она надела в тот день платье небесно-голубого цвета, усеянное серебряными блестками, серебряные браслеты, серебряный обруч на пепельные волосы, которые, словно на ветру, рассыпались локонами, мелкими кудряшками и капризными прядками; у нее были тонкие черты, глаза цвета морской волны, изящный носик с трепещущими ноздрями и немного полный, чересчур яркий рот, где белели чудесные зубы.

— Все, что вам угодно, господин аббат, — ответила она Пьеру, узнав, зачем он явился. — Если вашего старика не примут в наш приют, присылайте его ко мне, я его возьму и уложу тут где-нибудь.

Она казалась возбужденной и все поглядывала на двери. Когда священник спросил, приехала ли баронесса Дювильяр, она воскликнула:

— Нет, нет! Как видите, меня это очень удивляет. Она должна привезти своих детей... Вчера Гиацинт торжественно обещал мне приехать.

Это была ее новая прихоть. Увлечение химией сменилось горячим интересом к декадентской поэзии символистов в тот самый вечер, когда она, беседуя с Гиацинтом об оккультизме, пленилась его необычайной красотой, астральной красотой странствующей души Нерона. Во всяком случае, она уверяла, что приметы были точные.

Внезапно принцесса отошла от Пьера.

— О, наконец-то! — радостно прошептала она со вздохом облегчения.

И она устремилась к дверям. Входил Гиацинт со своей сестрой Камиллой. Но чуть ли не у самого порога он встретил своего друга, ради которого пришел, юного лорда Эльсона, бледного томного эфеба, с волосами как у девушки, и едва удостоил внимания горячие приветствия Роземонды, так как считал женщину презренной, нечистой тварью, общение с которой пачкает душу и тело. В отчаянии от его холодности, принцесса последовала за молодыми людьми в гостиную, дышавшую живыми ароматами, жаркую и ослепительную, как пылающая печь.

Услужливый Массо остановил Камиллу и подвел ее к Пьеру, но первые же ее слова повергли в отчаяние священника.

— Как! Мадемуазель, ваша матушка не приехала с вами сюда?

Девушка, по обыкновению, была в темном платье цвета павлиньего пера, она нервничала, в глазах мелькали недобрые огоньки, в голосе слышались свистящие нотки. Пылая гневом, она выпрямилась во весь свой маленький рост, и сразу стало заметно, что ее левое плечо значительно выше правого.

— Нет, она не могла... Она спешила на примерку к своему портному. Мы задержались на выставке в Салоне Лилии, а по дороге сюда она велела нам высадить ее у дверей Сальмона.

Камилла очень ловко затянула осмотр выставки, все еще надеясь, что ей удастся помешать свиданию матери с графом на улице Матиньон. И она пришла в ярость, увидав, что баронесса преспокойно ускользнула от нее, сославшись на мнимую примерку.

— А что, если я поеду сейчас же к Сальмону? — простодушно спросил Пьер. — Может быть, мне удастся передать ей карточку?

У девушки вырвался резкий смешок, до того это показалось ей нелепым.

— О, вряд ли вы ее там застанете! Ей предстояло еще одно спешное свидание, и она наверняка уже в другом месте.

— Ах, боже мой, тогда я подожду ее здесь. Ведь она, наверно, придет сюда за вами, правда?

— Придет за нами? О нет! Я же вам сказала, что у нее дела, еще одно очень важное свидание. Мы с братом уедем отсюда в коляске одни.

Ее горькая ирония становилась все более едкой. Неужели же он не понимает, этот священник! Он раздирает ей сердце своими наивными вопросами! А между тем он должен бы знать, ведь это всем известно.

— Ах, какая досада! — вырвалось у Пьера, и от огорчения слезы выступили у него на глазах. — Речь идет о несчастном старике, я о нем хлопочу с самого утра. Ваш отец написал несколько слов, и господин Жерар мне сказал...

Пьер смешался, внезапно ему блеснула истина; поглощенный делами милосердия, он в своей святой наивности плохо разбирался в вещах мира сего.

— Я только что видел вашего отца и господина де Кенсака...

— Знаю, знаю, — проговорила она со скорбно-насмешливым видом, как опытная девушка, которой известно решительно все. — Ну, что ж, господин аббат, если вам удалось поймать папу и если у вас есть от него записка к маме, вам придется подождать, пока мама закончит свои дела... Иной раз она надолго отлучается. Заходите к нам около шести часов, но я сомневаюсь, что она вернется к этому времени, ведь это дело может ее задержать.

В ее глазах сверкала смертельная злоба, и в каждом слове звучала беспощадная насмешка, ей хотелось бы пронзить ими, как ножами, все еще прелестную грудь матери. Еще никогда она не испытывала к матери такой лютой ненависти, завидуя ее красоте, ее радостям и счастью — быть любимой. Эти язвительные слова, слетавшие с ее девственных уст перед неискушенным священником, изливали словно поток грязи, в котором она хотела утопить свою мать.

Но вот влетела Роземонда, как всегда, возбужденная, словно подхваченная порывом ветра. Она увлекла за собой Камиллу.

— Идемте, идемте же, моя дорогая! Они прямо необычайны, чудесны, упоительны!

Янсен и маленький Массо последовали за принцессой. Мужчины сбегались из соседних комнат и, толкая друг друга, устремлялись в

гостиную, услышав, что мавританки снова начали плясать. Это был, как видно, тот бешеный галоп, о котором шептались в Париже; в этом танце они бешено скакали и ржали, как кобылы, подхлестываемые яростной похотью. Пьер увидел, как встрепенулись и заметались головы зрительниц, белокурые и темные затылки, словно по их рядам пронесся бурный ветер. При занавешенных окнах электрические лампы зажгли в зале огромный костер, от которого исходил запах распаленной плоти. Опять взрыв утробного восторга, хохот, крики «браво», неудержимый разлив сладострастия, торжество разврата.

Выйдя на улицу, Пьер с минуту простоял в оцепенении, жмурясь и удивляясь, что вокруг него яркий день. Пробило половину четвертого, ему предстояло прождать еще около двух часов, прежде чем можно будет явиться в особняк на улице Годо-де-Моруа. Чем бы ему сейчас заняться? Он расплатился с фиакром, решив пройти пешком по Елисейским полям, чтобы растянуть время. Быть может, размеренная ходьба успокоит лихорадочное нетерпение, от которого горели ладони, тот страстный порыв милосердия, который постепенно овладевал им с утра, все возрастая с новыми препятствиями. Теперь он стремился лишь к одному — завершить доброе дело, успех которого, думалось ему, обеспечен. И он шагал неторопливо, как на прогулке, по великолепной аллее, уже высохшей на ярком солнце, любуясь веселой толпой, глядя на прояснившееся, прозрачно-голубое весеннее небо.

Он обречен на бездействие в течение двух часов, а между тем бедняга Лавев умирает в своей ледяной конуре на куче тряпья. В душе Пьера поднималась волна негодования, ему хотелось побежать, немедленно разыскать баронессу Дювильяр и добиться от нее спасительного приказа. Пьер не сомневался, что она где-то там, на одной из тихих улочек, и как он волновался, как он пылал бессильным гневом при мысли, что приходится ждать, пока баронесса закончит свои дела, о которых с такой убийственной иронией говорила ее дочь, а ему надо спасти человеческую жизнь. Ему чудилось, что он слышит, как с грохотом рушатся устои буржуазной семьи: отец — у кокотки, мать — в объятиях любовника, сын и дочь знают всю грязную сторону жизни, один ударился в бессмысленный противоестественный разврат, другая бесится, мечтает похитить у матери любовника и сделать его своим мужем. Экипажи быстро неслись по величественной авеню, поток пешеходов катился по боковым аллеям, и казалось, никто из этих оживленных, роскошно одетых, самодовольных людей не подозревал, что где-то впереди зияющая бездна и все они неизбежно упадут в нее и исчезнут.

Когда Пьер поднялся к Летнему цирку, он с удивлением снова увидел Сальва, сидевшего на скамейке. Видно, после долгих бесплодных поисков заработка, изнемогая от усталости и голода, бедняга присел отдохнуть. Куртка у него по-прежнему оттопыривалась, очевидно, он нес кусок хлеба для своих домашних. Откинувшись на спинку скамьи, бессильно уронив руки, он следил мечтательным взглядом за маленькими детьми, которые, работая лопатками, старательно насыпали кучи песку, а потом разрушали их пинком ноги. Его покрасневшие глаза увлажнились слезами, а на мертвенных, бескровных губах блуждала улыбка умиления. На этот раз Пьер встревожился, и ему захотелось заговорить с рабочим, кое о чем его порасспросить. Но Сальва, недоверчиво взглянув на него, встал, направился в сторону цирка, где заканчивался концерт, и стал прохаживаться у дверей этого роскошного здания, где две тысячи счастливых слушали музыку.

V

Дойдя до площади Согласия, Пьер внезапно вспомнил, что он обещал встретиться с аббатом Розом в четыре часа в церкви Мадлен, — в пылу своей деятельности он совсем об этом позабыл. Он опаздывал и ускорил шаги, радуясь, что за беседой незаметно пройдет время.

Войдя в церковь, Пьер удивился, что там уже сгустились сумерки. Лишь кое-где мерцали свечи, неф тонул в тени, и в этом полумраке лились неудержимым потоком звуки высокого звенящего голоса! Многочисленных слушателей вначале нельзя было разглядеть, их неподвижные, внимательные лица слились в одно бледное смутное пятно. Это монсеньер Март *a*, стоя на кафедре, заканчивал третью проповедь на тему о духе нового времени. Две первые его проповеди имели громадный успех. Здесь собрался весь Париж — светские женщины, политические деятели, писатели, искусный оратор пленял их своими пламенными, ловко построенными речами и величавыми жестами трагического актера.

Пьеру не хотелось отвлекать внимания слушателей и нарушать трепетную тишину, в которой звучали лишь слова епископа. Он решил пока не разыскивать аббата Роза и остановился возле колонны. Косые лучи гаснущего солнца, проникая в окно, освещали фигуру проповедника. Он стоял в белоснежном стихаре, высокий и крепко сложенный. В волосах его чуть поблескивала седина, хотя ему уже перевалило за пятьдесят. У Марта *a* было красивое лицо с живыми черными глазами,

орлиным носом, твердо очерченным ртом и подбородком. Но особенно привлекало и покоряло сердца неизменно приветливое, любезное выражение, смягчавшее его властные, суровые черты.

Пьер знал Март *a* еще в те годы, когда тот был священником в церкви св. Клотильды. Вероятно, он был итальянского происхождения, хотя родился в Париже, он блестяще окончил духовную академию Сен-Сюльпис, отличался незаурядным умом, крайним честолюбием и развивал такую деятельность, что это начало беспокоить его начальство. Потом, посвященный в сан епископа Персепольского, он исчез из Парижа и пять лет провел в Риме, но так и осталось неизвестным, чем он все это время там занимался. После своего возвращения он восхищал Париж блестящими проповедями, был занят множеством дел, его очень любили в архиепископской епархии, где он приобрел огромное влияние. Но главное, ему удалось чудесным образом удесятить приток пожертвований на еще не достроенный собор Сердца Иисусова. Он готов был на все — путешествовал, вел духовные беседы, производил сборы, обращался за помощью к министрам и даже к евреям и франкмасонам. В последнее время он еще расширил сферу своей деятельности, возмечтал примирить науку с католицизмом, объединить всех христиан Франции, сделав их республиканцами, и проводил политику папы Льва XIII, имея в виду конечное торжество церкви.



Хотя этот влиятельный и любезный прелат явно благоволил к Пьеру, тот не любил его. Правда, священник был благодарен епископу за то, что он назначил добрейшего аббата Роза викарием храма св. Петра на Монмартре, вероятно, с целью спасти от скандала престарелого аббата, которого хотели наказать за его чрезмерное милосердие. Глядя на епископа, который ораторствовал на прославленной кафедре церкви Мадлен, продолжая свое победоносное наступление, Пьер вспоминал, что видел его прошлой весной у Дювильяров, где он, со свойственной ему ловкостью, добился обращения Евы в католическую веру. Это был самый блестящий его триумф! Крещение происходило в этой самой церкви, необычайно пышная церемония, настоящий парадный спектакль, предложенный публике, не пропускающей ни одного великого события в Париже. Жерар стоял на коленях, растроганный до слез, а барон как

добрый супруг от всей души радовался, что религия наконец водворит идеальную гармонию у него в семье. Присутствующие передавали друг другу, что отец Евы, старый Юстус Штейнбергер, не слишком-то огорчен этим происшествием; будто он говорил, ехидно посмеиваясь, что хорошо знает свою дочку и готов уступить ее злейшему своему врагу. Иные акции банкиры предпочитают дисконтировать у соперничающего с ним банка. Без сомнения, он упорно надеялся, что его единоплеменники восторжествуют, правда, его первоначальные расчеты не оправдались, но он утешал себя мыслью, что такая женщина, как Ева, внесет разложение в христианскую семью и в конечном итоге все капиталы и вся власть перейдут в руки евреев.

Но вот видение исчезло, голос проповедника становился все громче, все звучнее, и по рядам слушателей пробегала восторженная дрожь; епископ прославлял дух нового времени, столь благодетельный для Франции, который принесет ей мир, восстановит ее достоинство и силы. Разве при желании нельзя усмотреть решительно повсюду знамения грядущего возрождения? Дух нового времени — это пробуждение идеала, протест души против низменного материализма; это торжество спиритуализма над пошлостью и грязью литературы; это признание науки, которая, став на свое место, примирится с верой и больше не будет вторгаться в ее священную сферу! К тому же это отеческое принятие в свое лоно демократии, освящение республики, которую церковь также признает своей возлюбленной дочерью. Повеяло идиллией, церковь раскрывает объятия всем своим чадам, отныне повсюду будут царить согласие и довольство, если народ, восприняв дух новых времен, покорится учителю любви, как раньше покорялся своим королям, и признает господу единым верховным владыкой тел и душ.

Теперь Пьер внимательно слушал, спрашивая себя: где ему приходилось слышать подобные слова? Вдруг он вспомнил, — и ему почудилось, что он снова в Риме и слушает монсеньера Нани, с которым имел прощальную беседу. Такова была мечта демократически настроенного папы, отступившегося от обесславленных монархов и стремящегося завоевать народ. Если Цезарь низвергнут, то не удастся ли папе осуществить свои извечные честолюбивые замыслы и стать императором и первосвященником, верховным земным божеством? Об этом же мечтал и сам Пьер, когда он, в своей наивности апостола гуманизма, написал книгу «Новый Рим», но современный Рим грубо отрезвил его. На поверку оказалось, что это все та же политика лицемерия и лжи, ничего больше, цепкая, необычайно гибкая политика

захвата, которую уже много веков ведет Рим, не брезгая никакими средствами. И каков прогресс: церковь обращается к науке, демократии, республике, будучи уверена, что пролотит их, если только ей дадут срок. О да, дух нового времени, все тот же древний дух господства, непрестанно обновляющийся, все та же жажда победы и власти над миром!

Пьеру показалось, что среди слушателей он узнает некоторых депутатов, которых видел в парламенте. Вон тот высокий господин со светлой русой бородой, который внимает проповеди с таким благочестивым видом, уж не ставленник ли он Монфerrана? Говорят, Монфerrан, некогда заклятый враг церкви, теперь заигрывает с духовенством. Церковь уже затронута прогрессом. Приказы Рима передаются из уст в уста, дело идет о том, чтобы объединиться с новым правительством и, внедрившись в него, постепенно его полотить. Франция по-прежнему остается старшей дочерью церкви, это единственная великая страна, которая еще достаточно здорова, сильна и способна в один прекрасный день вернуть папе всю полноту светской власти. Поэтому необходимо ею завладеть, она стоит того, чтобы вступить с ней в брак, хотя и стала республиканской. В жестокой борьбе честолюбий, в схватке дипломатов, епископ опирается на министра, который считает, что ему на руку союз с епископом. Кто же из них пожрет друг друга? И как низко пала религия, ставшая орудием предвыборной борьбы, обеспечивающая большинство голосов и тайком помогающая министру получить и сохранить портфель! Божественного милосердия и в помине нет; печаль овладела Пьером при воспоминании о недавней кончине кардинала Бержеро, последнего чистого духом великого святого, а теперь во французском епископате остались, кажется, одни интриганы и плуццы.

Между тем проповедь подходила к концу. В заключение монсеньер Март *a* вдохновенно изобразил собор Сердца Иисусова высоко над Парижем, на священном холме Мучеников, возносящий в небо крест, символ спасения, он нарисовал картину великого Парижа, вновь ставшего христианским городом, владыкой мира, благодаря моральному авторитету, которым он обязан божественным веяниям духа новых времен. Слушатели не могли аплодировать, но послышался шепот восторженного одобрения: всех радовало это чудесное будущее, обеспечивающее им доходы и душевный покой. Затем монсеньер Март *a* величаво спустился с кафедры, послышался шум отодвигаемых стульев, нарушивший тишину темной церкви, еле озаренной свечами,

мерцавшими там и сям подобно первым звездам на вечернем небе. Толпа неясных шепчущихся теней двинулась к выходу. Вскоре в церкви остались одни женщины, которые молились, преклонив колена.

Пьер, не сходя с места, приподнялся на цыпочки, разыскивая глазами аббата Роза, как вдруг кто-то коснулся его рукой. То был старый священник, который издали разглядел Пьера.

— Я стоял там, у самой кафедры, и прекрасно видел вас, дорогой мой мальчик. Только я решил подождать, так как боялся помешать другим... Какая прекрасная речь! Как чудесно говорил монсеньер!

Старик и вправду казался очень взволнованным. Но печаль гнездилась в уголках его добродушного рта и омрачала ясные детские глаза, которые обычно улыбались, освещая широкое приветливое лицо, обрамленное седыми волосами.

— Я боялся, что вы уйдете, не повидавшись со мной, а мне нужно кое-что вам сказать... Вы знаете, этот несчастный старик, к которому я направил вас сегодня утром и о котором просил позаботиться... Ну, так вот, вернувшись домой, я застал у себя одну даму, которая иногда приносит мне немного денег для моих бедняков. Тут мне подумалось, что от трех франков, что я послал с вами, будет мало толку. Эта мысль так мучила меня, так терзала, что я не выдержал и сегодня днем отправился на улицу Вётел...

Аббат понизил голос из чувства благоговения, боясь нарушить мертвое молчание, царившее в храме. Он говорил бессвязно, так как ему все-таки было стыдно, что он снова согрешил, отдавшись неразумному, слепому милосердию, в котором его обвиняло начальство. Он закончил уже совсем шепотом, нервно вздрагивая.

— Так вот, мой мальчик, можете себе представить мое огорчение... Я собирался передать пять франков этому несчастному и нашел его мертвым.

Пьер вздрогнул от неожиданности. Он не хотел верить.

— Как, умер? Этот старик умер? Лавев умер?

— Да, я нашел его мертвым. И в какой чудовищной нищете! Совсем как старое животное, которое издыхает в каком-нибудь закуте на куче тряпья. Никто из соседей не присутствовал при его кончине, он попросту повернулся лицом к стене. А какая нагота, какой холод, какое одиночество! Как мучительно для человека умирать вот так, без единого слова утешения! О, это меня сразило, и до сих пор еще сердце обливается кровью!

Пьер был потрясен и только жестом выразил свой протест против бессмысленной жестокости общества. Быть может, бедняга после долгого воздержания слишком жадно набросился на хлеб, который положили около него. Или, вернее, наступила роковая развязка, и оборвалась жизнь существа, которое докончили нужда и непосильный труд. А впрочем, зачем искать причину? Пришла смерть и освободила несчастного.

— Я не его жалею, — пробормотал он наконец, — а всех нас, ведь на наших глазах совершаются эти ужасы, и мы во всем виноваты.

Но добрейший аббат Роз уже смирился, ему хотелось всех простить, и он был преисполнен надежды.

— Нет, нет, мой мальчик! Бунтовать грешно! Если мы все виновны, то нам остается только молить бога, чтобы он простил нам наши прегрешения. Я просил вас о встрече, надеясь услышать хорошие новости, и вот я сам сообщил вам об этом ужасе... Принесем покаяние, помолимся.

И старик опустился на колени на каменные плиты у колонны, позади молящихся женщин, черные фигуры которых были еле различимы в полумраке. Он преклонил седую голову и долго молился, каясь в грехах.

Но Пьер не мог молиться, он испытывал бурное негодование. Он даже не преклонил колен и стоял, весь дрожа. Сердце его было изранено, в воспаленных глазах — ни слезинки. Лавев умер и лежал на куче зловонных лохмотьев, словно все еще цепляясь скрюченными руками за жизнь, полную мучений, а он, Пьер, отдавшись порыву милосердия, пылая апостольским рвением, изъездил весь Париж, чтобы обеспечить ему на сегодняшнюю ночь спасительный приют и чистую постель! О, какая жестокая ирония судьбы! Вероятно, он сидел у Дювильяров, в теплом, серебристо-голубом салоне, в то время как старик испускал дух. И ради этого несчастного мертвеца он бегал в парламент, оттуда к г-же де Кенсак, к Сильвиане и, наконец, к Роземонде. И ради этого отпущенника жизни, убежавшего от нищеты, он приставал к людям, досаждал эгоистам, нарушал покой одних, отравлял удовольствие других? Зачем было носиться сломя голову из парламентского балагана в холодную гостиную, где лежала смерзшаяся пыль веков, из притона буржуазного разврата в другой притон, космополитического сумасбродства, ведь он все равно опоздал и хотел спасти человека, который уже умер! Как смешна была его роль! Им снова овладело пламенное милосердие, но этот последний пожар угас и остался лишь пепел! Теперь Пьеру казалось, что он сам умер, его сердце было как пустая гробница.

Ужасная пропасть, разверзшаяся у него в душе этим утром, после мессы, совершенной им в соборе Сердца Иисусова, все углублялась и становилась поистине бездонной. Приходит конец евангельскому и библейскому учению, а вместе с ним и обманчивому бесплодному милосердию. Несмотря на упорные попытки, совершавшиеся на протяжении веков, идея божественного искупления оказалась бесплодной, и мир нуждается в новом спасительном учении, которое удовлетворит страстную жажду справедливости, какую испытывают обманутые, злосчастные народы. Они отвергли обманчивый рай, песню, которой издавна усыпляли негодование обездоленных, они требуют, чтобы здесь, на земле, был разрешен вопрос о всеобщем счастье. Но каким образом? Путем введения какого-то нового культа? Как примирить религиозное чувство с необходимостью почитать жизнь, всемогущую и преизобильную? Тут снова начинались терзания Пьера, вставала мучительная проблема, которую он бессилён был разрешить, он, священник, служитель бессмысленного культа, принеший обет целомудрия и стоявший в стороне от прочих людей.

Но после всех этих размышлений он с ужасом обнаружил, что перестал верить в силу благотворительности: в настоящее время уже недостаточно быть милосердным, необходимо быть справедливым. Прежде всего быть справедливым, и тогда удастся, не прибегая к милосердию, одолеть жестокую нищету. Нельзя сказать, что в Париже, где столько несчастных, мало сострадательных сердец: дела милосердия так же трудно исчислить, как зеленые листья, распускающиеся с первым дыханием весны. Помощь оказывают людям всех возрастов, стремятся предотвратить любую опасность, утолить все страдания. Заботясь о матерях, спасают детей еще до их рождения; затем устраивают ясли, сиротские дома для детей необеспеченных классов; далее, поставив человека на ноги, его опекают в течение всей жизни; особенно же заботятся о нем, когда он состарится, создают все новые приюты, богадельни и убежища. Простирают руку помощи беззащитным, обездоленным, даже преступникам; есть лиги защиты несовершеннолетних, общества борьбы с преступностью, дома, принимающие раскаявшихся грешников. Пропаганда благотворительности, патронаты, попечительства, дома призрения, всевозможные общества, — потребовалось бы немало страниц, чтобы только перечислить все эти побеги на редкость богатой поросли милосердия, пробивающиеся среди камней парижской мостовой, вызванные на свет прекрасным порывом, сердечной добротой, к которой

примешивается светское тщеславие. Впрочем, не все ли равно, чем это порождено? Милосердие все искупает, все очищает. Но какой убийственный вывод: совершенная бесполезность и смехотворность этого милосердия! Христианская благотворительность процветает уже много веков, и за все это время ни одна рана не затянулась, нищета только увеличилась, отравляя души ненавистью. Зло все разрастается, и теперь, когда его невозможно ни исправить, ни уменьшить, уже нельзя ни одного дня терпеть подобную социальную несправедливость! И вдобавок, если хоть один старик умирает от голода и холода, — разве это не подрывает весь общественный строй, одним из устоев которого является благотворительность? Одна-единственная жертва — и всему обществу вынесен смертный приговор.

Душу Пьера захлестнула такая едкая горечь, что он больше не в силах был оставаться в церкви, где медленно сгущался сумрак, окутывая алтари и огромные распятия, на которых белела фигура Христа. Все это скоро утонет во мраке, и он слышал только замирающий шепот, сетования женщин, которые молились, стоя на коленях, слившись с темнотой.

Однако он не решался удалиться, не сказав ни слова аббату Розу, который в своей наивной вере возносил мольбы к невидимому, надеясь, что оно ниспошлет людям счастье и мир. Пьер боялся потревожить старика и хотел было уйти, когда тот поднял голову.

— Ах, мой мальчик, как трудно проявлять разумную доброту! Монсеньер Март *a* опять меня пожурил, и если бы я не уповал на милосердие божье, то отчаялся бы в своем спасении.

С минуту Пьер простоял под портиком церкви Мадлен, за оградой, на широкой паперти, возвышающейся над площадью. Впереди виднелась улица Ройаль, тянувшаяся до самой площади Согласия, где вставал обелиск и били два фонтана, а вдалеке горизонт замыкала еще белевшая колоннада Парламента. Это была величественная панорама. Ясное небо медленно темнело, и в сумерках улицы словно раздвигались, а огромные здания уплывали куда-то вдаль, заволакивались дрожащей дымкой и становились призрачными и словно потусторонними. Ни один город в мире не облачается в такое сказочное торжественное величие, как Париж в тот смутный час, когда, преображенный спускающейся ночью, он становится легким и беспредельным, как видения сна.

Стоя неподвижно и созерцая распахнувшиеся перед ним просторы, Пьер в недоумении, с тоской спрашивал себя, куда ему направиться теперь, когда рухнуло все, к чему он так пылко стремился с самого утра. Уж не пойти ли ему в особняк Дювильяров на улицу Годо-де-Моруа? Он

совсем растерялся. Но вдруг пробудились ядовитые, раздирающие душу воспоминания. Зачем же туда идти, раз Лавев умер? Зачем скитаться по улицам, убивая время до назначенного срока? Ему даже не пришло в голову, что у него есть квартира и проще всего вернуться домой. Пьеру казалось, что он должен выполнить какую-то важную задачу, но какую именно, он не мог бы сказать. Эта цель была как будто близкой и вместе с тем далекой и до того неопределенной и труднодостижимой, что ему, конечно, никогда ее не осуществить. С сумятицей в голове, с трудом передвигая отяжелевшие ноги, он спустился с паперти, и ему вздумалось минуточку-другую походить по цветочному рынку, где ранней весной расцветали первые азалии, зябко вздрагивающие на ветру. Женщины покупали фиалки и розы, привезенные из Ниццы. Пьер смотрел на них, словно пораженный этой хрупкой и ароматной роскошью. Но вдруг ему стало противно, он ушел с рынка и зашагал по бульвару.

Пьер долго шел вперед, сам не зная, куда и зачем. Он удивился, что начинает темнеть, это казалось ему каким-то необычным явлением. Он поднял глаза к небу, и его поразило, что оно побледнело, стало таким нежным и где-то в бесконечной дали прочерчено черными дымками, вылетающими из труб. Неожиданно для себя он обнаружил на всех балконах огромные золотые буквы вывесок, в которых отражались меркнувшие закатные лучи. До сих пор он никогда не замечал пестроты фасадов, цветных стекол, штор, арматуры, кричащих афиш, великолепных магазинов, ярко освещенные витрины которых напоминали гостиные и альковы, бесстыдно выставленные напоказ. А на мостовой и на тротуарах, среди колонн, синих, красных и желтых киосков, какая толкотня, какое движение! Шум проезжающих экипажей напоминал рокот речных волн. Там и сям в поток фиакров врезались тяжелые омнибусы, похожие на сверкающие военные корабли с высокими бортами, а по обеим сторонам улицы катилась несметная толпа пешеходов, они сновали между экипажами, напоминая охваченных воинственным пылом муравьев. Откуда появились все эти люди? Куда направляются эти экипажи? Какая тревога у него в душе и какая тоска!

И Пьер безотчетно шагал все дальше, отдавшись мрачным мыслям. Надвигалась ночь, зажигались первые газовые рожки, был дымчато-серый, сумеречный час, когда темнота еще не сгустилась и электрические шары сияют на фоне гаснущего дня. Со всех сторон сверкали шары ламп, загорались витрины магазинов. Скоро вдоль бульваров ожившими звездами понесутся огоньки экипажей, словно там заструится Млечный Путь, а фонари, гирлянды лампочек и жирандоли, зальют

ослепительными лучами тротуары, создавая иллюзию солнечного дня. И в окриках кучеров, в толкотне пешеходов чувствовалось вечернее лихорадочное возбуждение делового и разгульного Парижа, беспощадная борьба за деньги и за любовь. Трудовой день пришел к концу. Веселящийся Париж ярко освещался, наступала ночь, посвященная удовольствиям. Кафе, винные погребки, рестораны разбрасывали снопы лучей, за огромными зеркальными стеклами виднелись блестящие металлические прилавки и столики, накрытые белыми скатертями, а у дверей были вывешены корзинки с соблазнительными фруктами и устрицами. С первыми вспышками газовых рожков пробуждался ночной Париж, охваченный ненасытной жаждой продажных наслаждений.

Но вот Пьера чуть не сшибли с ног. Целая орава мальчишек ринулась в толпу, выкрикивая названия вечерних газет. Голосистей всех были продавцы последнего выпуска «Голоса народа», эта звонкая шумиха заглушала даже грохот колес. Через каждые полминуты раздавались хриплые голоса: «Покупайте „Голос народа“! Новый скандал с Африканскими железными дорогами! Разгром кабинета! Подкуплены депутаты и сенаторы — тридцать два человека!» Газетами размахивали, как знаменами, и на их страницах бросались в глаза заголовки, напечатанные огромными буквами.



Толпа продолжала свой бег, не обращая особого внимания на газетчиков, давно привыкнув к этому позору, пресытившись мерзостями. Кое-кто из мужчин останавливался и покупал листок, а девицы, вышедшие на улицу в поисках ужина, волочили свои юбки по тротуарам, выжидая случайного любовника, исподтишка поглядывая на террасы кафе. Зловещие крики газетчиков словно обдавали слякотью и хлестали по лицу; эти крики раздавались как погребальный звон, провожающий в могилу день, возвещающий гибель нации на пороге разгульной ночи.

Тут Пьеру снова вспомнились утренние впечатления, ужасный дом на улице Вётел, где гнездились нищета и страдания. Он увидел грязный, похожий на клоаку двор, зловонные лестницы, отвратительные холодные голые квартиры, родителей и детей, вырывавших друг у друга миску с месивом, которого не стали бы есть и бродячие собаки, матерей с

иссохшими грудями, носивших из угла в угол разрывающихся от крика младенцев, стариков, свалившихся, подобно животным, где-то в углу и умирающих с голоду среди нечистот. Потом вспомнился весь прожитой день: роскошь, покой, веселье, царившие в гостиных, какие ему пришлось посетить, наглый блеск Парижа финансистов, Парижа политиков и светского Парижа. И, наконец, в сумерках он очутился в Париже, воскрешавшем Содом и Гоморру, в Париже, который зажигал огни, готовясь встретить ночь, сообщницу его гнусных деяний, медленно рассыпавшую тончайший пепел над морем крыш. И, казалось, оскверненная, поруганная земля вопияла к бледному небу, где загорались первые звезды, чистые и трепещущие.



Пьер невольно содрогнулся, представив себе это море несправедливости и страданий, все, что происходило в низах общества, где люди задушены нищетой и заражены преступностью, все, что совершалось наверху, где люди утопали в роскоши и пороках. Воцарившаяся буржуазия не желала выпускать из своих рук похищенную, нагло украденную власть, а народ, который испокон веков оставался в дураках, этот великий немой, сжимал кулаки и грозно требовал своей законной доли. И так чудовищна была эта несправедливость, что нисходивший на землю сумрак, казалось, был насыщен гневом. Из какой тучи, чреватой мраком, падет молния? Уже много лет он ждал эту карающую молнию, которую возвещали глухие раскаты, громыхавшие со всех сторон. В свое время он написал книгу, где чистосердечно высказал свои упования, он в простоте душевной поехал в Рим лишь для того, чтобы предотвратить этот удар. Но теперь в его сердце умерла последняя надежда, он чувствовал, что молния неизбежно

падет и уже ничто не остановит надвигающуюся катастрофу. И, глядя на бесстыдство баловней судьбы, на ожесточение обездоленных, он, как никогда, ощущал близость развязки. Тучи сгущаются, и гроза должна разразиться над похотливым, нахальным Парижем, который с наступлением темноты раздувает пламя в своей чудовищной печи.

Придя на площадь Оперы, изнемогающий от усталости, растерянный Пьер поднял голову и стал оглядываться. Куда это он попал? Сердце великого города, казалось, билось на этом обширном перекрестке, куда по величавым авеню со всех сторон приливали кровь отдаленных кварталов. Перед ним длинными коридорами уходили вдаль авеню Оперы, улица Четвертого сентября и улица Мира, озаренные последними отблесками дня и уже испещренные бесчисленными огоньками. Бульвар вливался в бурное озеро площади, где скрещивались потоки окрестных улиц, то и дело образуя водовороты в этой опаснейшей из пучин. Напрасно полицейские старались навести хоть какой-нибудь порядок, волны пешеходов захлестывали мостовую, экипажи сцеплялись колесами, лошади взвивались на дыбы под несмолкаемый рокот человеческих волн, оглушительный, как рев бушующего океана. Потом он увидел одинокое здание Оперы, мало-помалу застилаемое тенью, огромное и таинственное, встающее как некий символ, а над ним, на фоне померкшего неба, фигуру Аполлона с лирой в руках, отражавшую последний отблеск вечерней зари. Во всех домах загорались окна, и эти мириады ламп, вспыхивавших одна за другой, создавали праздничное настроение, город облегченно дышал, предвкушая отдых с приходом темноты, а электрические шары разливали яркий свет, как луна в светлую парижскую ночь.

Почему он оказался здесь? Пьер задавал себе этот вопрос с досадой, в полном недоумении. Раз Лавев умер, ему остается только вернуться домой, забиться в угол, запереть наглухо окна и двери и, потеряв всякую веру и надежду, сознавая свою совершенную бесполезность, терпеливо ожидать конца. От площади Оперы до Нейи, где находился его домик, Пьеру предстояло проделать немалый путь. Но несмотря на крайнюю усталость, он не захотел брать фиакр, повернул назад и двинулся пешком по направлению к церкви Мадлен, он снова окунулся в толкотню, в оглушительный грохот экипажей, с каким-то горьким наслаждением беря свою рану, отдаваясь возмущению и гневу. Уж не на углу ли той улицы, в конце бульвара, зияет желанная бездна, куда должен рухнуть старый, прогнивший мир, который трещит по всем швам?

Пьер хотел было перейти через улицу Скриба, но его задержало скопление людей. У дверей роскошного кафе двое долговязых малых, дурно одетых и грязных, предлагая «Голос народа», по очереди кричали о скандале, о продажных депутатах и сенаторах такими зычными голосами, что прохожие невольно останавливались. И вдруг, к своему изумлению, Пьер увидел все того же Сальва. Он стоял, задумчиво слушая крики газетчиков, потом подошел к огромному кафе и стал с нерешительным видом смотреть в окно. Пьер был поражен этой встречей, у него возникли смутные подозрения, и он, в свою очередь, остановился, решив понаблюдать за рабочим. Ему и в голову не приходило, что Сальва войдет в кафе и усядется за столик в теплом, приветливом сиянии ламп, — ведь он такой жалкий, с куском хлеба за пазухой, который выпирал горбом под его старой дырявой курткой.

С минуту Пьер выжидал. Но вот Сальва отошел от окна и медленно, разбитой походкой, поплелся дальше, как будто ему оказалось не по вкусу это почти пустое кафе. Чего же он ищет? Зачем скитается с самого утра, одинокий и настороженный, по богатому и веселящемуся Парижу, подгоняемый неотвязным голодом? Бедняга еле брел, видно было, что он выбился из сил и совсем упал духом. С убитым видом он подошел к киоску и на минуту к нему прислонился. Потом выпрямил спину и зашагал дальше, по-прежнему что-то разыскивая.

Тут произошло нечто еще больше взволновавшее Пьера. Высокий плотный мужчина появился из-за угла улицы Комартен и, увидав Сальва, остановил его. И священник, взглядевшись пристальнее, обнаружил, что этот человек, без малейшего смущения пожимавший руку рабочему, не кто иной, как его брат Гильом. Да, это он, Пьер узнал его густые, коротко остриженные волосы, уже совсем седые в сорок семь лет, и большие темные усы, без единого белого волоска, придававшие энергичное выражение его крупному лицу с высоким, похожим на башню лбом. Подобно Пьеру, он унаследовал от отца этот лоб, говоривший о железной логике, о несокрушимой силе суждения. Однако нижняя часть лица у старшего брата была массивнее, нос крупнее, подбородок квадратный, рот большой и резко очерченный. Бледный шрам, след былой раны, пересекал его левый висок. И это лицо, на первый взгляд такое суровое и замкнутое, принимало выражение мужественной доброты, когда его освещала улыбка, обнажавшая ослепительно белые зубы.



Пьер вспомнил, что ему говорила утром г-жа Теодора. Его брат Гильом, сжалившись над бедственным положением Сальва, на несколько дней взял его к себе на работу. Вот почему он с таким участием о чем-то расспрашивал слесаря, который, видимо, был смущен, озадачен этой встречей и в нетерпении топтался на месте, словно спешил продолжать свой печальный путь. Казалось, Гильом по бессвязным ответам рабочего заметил его замешательство. Однако он отошел от Сальва. Впрочем, тут же обернулся и увидел, что Сальва удаляется своей усталой походкой, упорно пробираясь в толпе. По-видимому, Гильом не на шутку встревожился: он внезапно повернул назад и направился вслед за рабочим, чтобы издали посмотреть, куда тот пойдет.

Пьер наблюдал эту сцену, и беспокойство его все возрастало. Напряженное ожидание какой-то грозной, неведомой напасти, эти

необъяснимые постоянные встречи с Сальва, который начал внушать ему подозрения, тревога за брата, замешанного в загадочную историю, — все это побуждало его разузнать, в чем дело, убедиться своими глазами и, если возможно, предотвратить беду. Он без колебаний осторожно пошел вслед за братом и за Сальва.

Он был снова удивлен, увидав, что рабочий, а за ним и Гильом внезапно повернули на улицу Годо-де-Моруа. Какой рок опять привел его на эту улицу, куда он так пламенно стремился, пока не узнал о смерти Лавева? На минуту он потерял из виду Сальва, потом с изумлением заметил, что рабочий остановился на тротуаре против особняка Дювильяра, на том самом месте, где Пьер видел его утром. Ворота особняка были широко распахнуты, их позабыли закрыть рабочие, чинившие днем в подворотне мостовую, и в этот поздний час огромная арка зияла чернотой. Узкая улица, примыкавшая к залитому огнями бульвару, тонула в синеватой мгле, кое-где пронизанной звездочками газовых рожков. Но вот мимо особняка прошли женщины и заставили Сальва сойти с тротуара. Потом он снова поднялся на тротуар, зажег окурок сигары, подобранной под столиком где-нибудь в кафе, закурил и продолжал неподвижно и терпеливо караулить напротив ворот особняка.

На Пьера нахлынули мрачные подозрения, и он в тревоге спрашивал себя, не заговорить ли ему с этим человеком. Но его остановила мысль, что брат стоит настороже, спрятавшись в соседнем подъезде, тоже готовый вмешаться. И Пьер только следил глазами за Сальва, который по-прежнему стоял на дозоре, устремив взгляд на арку ворот и лишь по временам оглядываясь на бульвар, словно ожидая, что кто-то или что-то оттуда появится. И в самом деле, вскоре показалось ландо Дювильяров, с кучером и лакеем в ярко-зеленых с золотом ливреях, — элегантно ландо, которое везла пара великолепных породистых лошадей.

Обычно к этому часу в коляске возвращались домой мать или отец, но сейчас там сидели только дети — Камилла и Гиацинт. Они ехали с утреннего приема принцессы де Гарт и оживленно болтали, стараясь удивить друг друга хладнокровным бесстыдством.

— Как отвратительны женщины! Тьфу! Один их запах чего стоит! К тому же, имея дело с ними, всегда можно ожидать, что они преподнесут тебе такую мерзость, как ребенка!

— Ну, милый мой, чем они хуже твоего Жоржа Эльсона, которому следовало бы родиться девчонкой. Нечего тебе заноситься, лучше бы ты поладил с принцессой, ей до смерти этого хочется.

— Ах, принцесса! До чего она мне надоела!

Гиацинт напускал на себя томно-разочарованный вид, ругал женщин и мужчин и отрицал все на свете. А Камилла лихорадочно сыпала злыми словами, содрогаясь от бессильной ярости. После минутного молчания она продолжала:

— Ты знаешь, ведь мама там, *с ним*.

Брат с первых же слов понял, о чем речь, они нередко, без малейшего стеснения, говорили на эту тему.

— Вот так примерка у Сальмона! Какой дурак этому поверит?.. Она потихоньку ускользнула в другую дверь и теперь с ним.

— Ну и пускай себе посидит со своим милым дружкой Жераром, — тебе-то что? — спокойно спросил Гиацинт. Заметив, что сестра прямо подскочила на сиденье, он прибавил: — Так ты все еще любишь его, он тебе нужен?

— О да! Он мне нужен, и он будет моим!

В этом крике прозвучала вся ревнивая злоба, вся душевная боль всеми покинутой дурнушки, мать которой, еще блиставшая красотой, похищала у нее счастье.

— Да, он будет твоим, будет твоим, — подхватил Гиацинт, радуясь случаю помучить сестру, которой побаивался, — уж конечно, будет твоим, если только пойдет навстречу твоим желаниям... Ведь он тебя не любит.

— Он любит меня! — воскликнула Камилла вне себя. — Он мил со мной, и мне этого достаточно.

Гиацинт испугался, увидав, как вспыхнули злобой ее глаза, как судорожно сжались пальчики маленьких рук, похожие на коготки. Помолчав немного, он прибавил:

— Ну, а папа что говорит?

— Да что папа! Для него главное от четырех до шести побывать у *той*.

Гиацинт захихикал. Они называли это папиным «полдником». И Камилла от души над этим потешалась; однако в те дни, когда мама тоже полдничала вне дома, ей было не до смеха.

Закрытое ландо повернуло с бульвара на улицу и подъезжало к особняку под звучный топот двух огромных каретных лошадей. В эту минуту маленькая блондинка лет шестнадцати — восемнадцати, служившая на побегушках у модистки, с большой картонкой на руке перебежала через улицу, намереваясь проскользнуть в ворота, прежде чем туда въедет экипаж. Девушка несла шляпку для баронессы; идя вдоль бульвара, она поглядывала по сторонам голубыми, как незабудки, глазами, у нее было очаровательное личико, розовый носик и улыбающийся рот.

Тут Сальва, бросив последний взгляд на ландо, опрометью ринулся под арку. Через миг он выскочил оттуда, швырнул в лужу еще тлевший окурок и не спеша стал удаляться. Вскоре его фигура растаяла в сумраке улицы.

Что произошло потом? Впоследствии Пьер вспомнил, что дорогу ландо перегородил фургон Западной железной дороги и на минуту его задержал, а девушка с картонкой успела прошмыгнуть под арку. Тут Пьер с непостижимым замиранием сердца увидел, как его брат Гильом тоже устремился в ворота особняка, словно его осенила какая-то мысль и он в чем-то убедился. Пьер чувствовал, что сейчас должно произойти нечто ужасное, хотя и не знал, что именно. Он хотел побежать, хотел крикнуть, но его ноги словно приросли к тротуару, а горло сдавила железная рука. Вдруг, словно удар грома, раздался оглушительный взрыв, казалось, разверзлась земля и поплотила разрушенный особняк. Во всех домах по соседству вылетели стекла, и со звоном на мостовую градом посыпались осколки. На миг всю улицу осветило адское пламя, тучи пыли и клубы дыма заволкли все вокруг, и ослепленные прохожие завопили от ужаса, попав в пылающее горнило и считая себя погибшими.



Взрыв все осветил в сознании Пьера. Он догадался, что это бомба лежала в мешке для инструмента, который опустел и стал ненужным в дни безработицы. От нее так вздувалась на груди изодранная куртка рабочего, а он-то думал, что там спрятан кусок хлеба, подобранный возле какой-нибудь тумбы для жены и ребенка. Обойдя с немой угрозой весь счастливый Париж, она взорвалась здесь, вспыхнув, как чудовищная молния, у порога купающихся в золоте буржуа, властителей жизни. В этот миг Пьер, думая только о брате, ринулся под арку, где как будто разверзся кратер вулкана. Сперва он ничего не мог разглядеть, все вокруг было застлано едким дымом. Потом он увидел стены в глубоких трещинах, пробитый верхний этаж, развороченную мостовую, усеянную обломками. Не успевшее въехать в ворота ландо осталось целым, лошади тоже, и даже в кузов не попало ни одного осколка бомбы. Но у ворот лежала навзничь

хорошенькая белокурая девушка на побегушках с разорванным животом. Ее нежное личико не было затронуто, светлые глаза широко раскрыты, а на губах застыла улыбка удивления перед разразившимся вдруг ударом грома. Рядом с ней валялась картонка, крышка ее открылась и выкатилась легкая розовая шляпка, прелестная, как цветок.

Гильом каким-то чудом остался в живых и уже поднялся на ноги. Но левая его рука была залита кровью, осколками поранило ему запястье. Усы у него были опалены, его швырнуло на землю и так ошеломило и потрясло взрывом, что он весь дрожал, словно в страшный мороз. Однако он узнал брата и даже не удивился, увидав здесь Пьера. После катастрофы случайное совпадение нередко воспринимается как перст судьбы. Брат, которого он уже давно потерял из вида, оказался на месте происшествия, потому что он должен был здесь находиться. И Гильом крикнул ему, весь дрожа в жестоком ознобе.

— Уведи меня, уведи меня! К себе, в Нейи! О, уведи меня!

Потом, вместо всякого объяснения, он заговорил о Сальва:

— Я так и думал, что он украл у меня патрон, к счастью, только один, а не то взлетел бы весь квартал!.. Ах, несчастный! Я не успел подбежать и потушить ногой запал.

Пьер вспомнил совершенно отчетливо, как это бывает во время опасности, что в глубине двора есть второй выход на улицу Виньон. Он понял, в какую беду попадет брат, если окажется замешанным в эту историю, и молча, не теряя ни минуты, вывел его на слабо освещенную улицу Виньон, там он повязал ему кисть руки своим носовым платком и велел спрятать руку на груди под курткой.

— Уведи меня, — бормотал Гильом как бы в исступлении, весь охваченный дрожью — ...к себе, в Нейи... Только не домой.

— Да, да, успокойся. Вот постой здесь минутку, сейчас я остановлю коляску.

Он повел брата на бульвар, чтобы поскорей найти фиакр. Но грохот взрыва уже взбудоражил весь квартал, лошади вскидывались на дыбы, люди в панике метались во все стороны. Сбежались полицейские. На улицу Годо-де-Моруа хлынула толпа и запрудила ее. Улица, где погасли все огни, казалась черным бездонным провалом. А на бульваре газетчик упрямо кричал о новом скандале с Африканскими железными дорогами, о тридцати двух продажных депутатах и сенаторах, о близком падении кабинета.

Наконец Пьеру удалось остановить фиакр, в эту минуту он услышал, как один из пробежавших мимо мужчин бросил другому:

— Вот тебе и падение кабинета! Бомба-то, пожалуй, его поддержит.

Братья сели в коляску и поехали в Нейи. А над глухо ворчавшим Парижем уже опустилась черная зловещая ночь. Звезды потонули в тумане, который казался сгустившимся дыханием преступлений и гнева, поднявшимся над крышами домов. Великий голос возмездия звучал над городом, и со всех сторон укрытого мглой горизонта раздавался шелест грозных крыл, шум которых некогда слышали жители Содома и Гоморры.

КНИГА ВТОРАЯ

I

На глухой улице предместья Нейи, становившейся безлюдной с приходом сумерек, маленький домик в этот поздний час спал глубоким сном, и сквозь закрытые жалюзи не пробивалось ни единой полоски света. Примыкавший к нему небольшой сад был пустой, безжизненный и оцепенелый в ледяном дыхании зимы.



Пока они ехали с братом, Пьер испытывал страх, что раненый вот-вот потеряет сознание. Бессильно откинувшись на спинку коляски, Гильом молчал; обоих угнетало это безмолвие, таящее в себе столько вопросов, задавать которые сейчас было бы тягостно и бесполезно! Между тем священника беспокоила рана брата, и он спрашивал себя, к какому бы хирургу обратиться. Видя, как сильно желание брата скрыться подальше от людей, он решил посвятить в их тайну лишь надежного, преданного человека.

До Триумфальной арки они не произнесли ни слова. Но вот Гильом, казалось, стряхнул с себя тягостную дремоту.

— Знаешь, Пьер, — проговорил он, — не надо врача. Мы уж сами как-нибудь с этим справимся.

Пьер хотел было возразить. Однако смолчал и только сделал жест, означавший, что, если понадобится, он поступит по-другому. Какой смысл сейчас спорить? Но его беспокойство все усиливалось, и он испытал истинное облегчение, когда они наконец остановились перед его домом и брат довольно бодро вышел из коляски. Пьер поспешил расплатиться с фиакром, радуясь, что поблизости нет никого из соседей. Он отпер дверь своим ключом и помог раненому подняться по трем ступенькам на крыльцо.

В передней горел подслеповатый ночник. Услышав, как скрипнула дверь, служанка Софи вышла из кухни. Это была шестидесятилетняя старушка, небольшого роста, худощавая и смуглая. Больше тридцати лет прожила она в этом доме и до Пьера служила его матери.

Она видела Гильома юношей. Несомненно, она и теперь его узнала, хотя он уже десять лет не переступал их порога. Но Софи не выразила ни малейшего удивления, словно считала вполне естественным столь несвоевременный приход Гильома, — сдержанность и молчаливость давно стали правилом ее жизни. Она жила затворницей и говорила только в тех случаях, когда необходимо было получить распоряжения по хозяйству.

— Господин аббат, — сказала она, — у вас в кабинете господин Бертеруа, он ждет вас уже с четверть часа.

Гильом сразу оживился.

— Так Бертеруа у тебя бывает?.. О, я буду очень рад его видеть, это один из блестящих умов нашего времени, человек самых широких взглядов. Он до сих пор остается моим учителем.

Бертеруа в свое время был другом их отца, знаменитого химика Мишеля Фромана, а теперь сам стал одним из прославленных ученых Франции. Химия была ему обязана своими замечательными успехами, благодаря которым она заняла первенствующее место среди наук и начала обновлять лицо земли. Этот член Французского института, занимавший ряд постов и осыпанный почестями, сохранил самые нежные чувства к Пьеру и временами заходил к нему перед обедом, чтобы, как он выражался, немного развлечься.

— Ты провела его в кабинет? Хорошо! Мы идем туда, — сказал аббат, обращаясь к служанке, как всегда, на «ты». — Зажги лампу, отнеси ее ко мне в спальню и приготовь постель, мой брат должен сейчас же лечь.

Без тени удивления, не проронив ни слова, Софи отправилась исполнять его приказание, а братья прошли в просторную комнату, служившую некогда лабораторией их отцу и превращенную священником в рабочий кабинет. У Бертеруа вырвался возглас радостного удивления, когда он увидел не только Пьера, но и Гильома, которого вел под руку брат.

— Как! Опять вместе!.. Ах, мои дорогие детки! До чего вы меня обрадовали! Я так часто сожалел, что между вами произошло это проклятое недоразумение!

Бертеруа был семидесятилетний старик, высокий, сухой, с угловатыми чертами. Худое лицо с острыми скулами и выдающимися челюстями было обтянуто пожелтевшей, как пергамент, кожей. Держался он очень просто и напоминал старого аптекаря. Но под гривой седых всклокоченных волос глаза все еще горели молодым огнем и поражал своей красотой его широкий гладкий лоб.

Увидав забинтованную руку, он воскликнул:

— Что с вами, Гильом, вы ранены?

Пьер молчал, предоставляя брату рассказать все, что ему заблагорассудится. Тот сообразил, что нужно говорить просто правду, не вдаваясь в подробности.

— Да, во время взрыва; кажется, у меня сломана кисть.

Бертеруа взглянул на него, заметил опаленные усы и застывший ужас в глазах. Он нахмурился, насторожился, но не стал расспрашивать и вызывать на откровенность.

— Вот как! Взрыв!.. Вы разрешите мне осмотреть рану? Знаете, прежде чем поддаться соблазну химии, я изучал медицину, и в некотором роде я хирург.

У Пьера вырвался радостный возглас:

— Да, да, учитель, посмотрите рану!.. Я очень беспокоился, это такая неожиданная удача, что вы здесь.

Ученый взглянул на Пьера и почувствовал, что от него скрывают какие-то важные обстоятельства. Бледный, ослабевший Гильом с улыбкой согласился на осмотр, но Бертеруа потребовал, чтобы его сначала уложили. Вошедшая служанка сказала, что постель готова; все трое прошли в соседнюю комнату, где раненого раздели и уложили в постель.

— Возьмите лампу, Пьер, осветите мне, и пусть Софи принесет таз с водой и перевязочный материал.

Бертеруа осторожно промыл рану.

— Черт возьми! — воскликнул он. — Кисть не переломлена, но все же это скверная штука... Я боюсь, что кость повреждена... Ведь вам пробило мышцы гвоздями, не правда ли?

Ответа не последовало, и он замолчал. Удивленно его все возрастало. Он с напряженным вниманием осматривал обожженную, почерневшую руку, даже понюхал рукав рубашки, стараясь разобраться, в чем дело. Он догадывался, что катастрофу вызвало одно из тех взрывчатых веществ, над созданием которых он сам поработал больше других. Но сейчас он был сбит с толку, убеждаясь, что имеет дело с каким-то новым, неизвестным ему веществом.

Все же любопытство ученого взяло вверх, и он решился задать вопрос:

— Так, значит, в лаборатории произошел взрыв, который вас так здорово отделал?.. Что же это за чертов порох вы фабриковали?

Жестоко страдавший Гильом, видя, как тщательно Бертеруа исследует его рану, начал проявлять недовольство. Он все больше возбуждался, словно ему непременно хотелось сохранить тайну вещества, при первом же испытании которого он так жестоко пострадал. Чтобы оборвать расспросы, он сказал со сдержанным волнением, глядя на ученого в упор своими честными глазами:

— Прошу вас, учитель, не спрашивайте меня. Я ничего не могу вам сказать... Я знаю, что вы благородная душа и будете по-прежнему меня любить и ухаживать за мной, не вынуждая меня на признания.

— О, конечно, мой друг, — воскликнул Бертеруа, — храните свою тайну! Ваше открытие принадлежит вам, если вы действительно его сделали, и я уверен, что вы употребите его на благо людям. К тому же я полагаю, вам известно, что я страстно стремлюсь к истине и взял за правило никогда не судить о поступках других людей, кто бы они ни были, пока не узнаю, какими они вызваны причинами.

И широким жестом руки он словно поведал о своей глубокой терпимости, о могучем уме, чуждом суеверий и предрассудков, благодаря которому он, при всех своих орденах, ученых степенях и звании профессора и академика, будучи представителем официальной науки, оставался самым смелым, самым свободным мыслителем и, по его же собственным словам, страстно стремился к истине.

У него не было необходимых инструментов, и он мог лишь тщательно перевязать рану, предварительно удостоверившись, что там не осталось ни одного осколка. Затем он удалился, обещав на следующий день прийти с самого утра. Священник проводил Бертеруа до наружной

двери, и тот его успокоил: если кость не слишком глубоко задета, дело пойдет на лад.

Когда Пьер вернулся в спальню, брат все еще сидел на постели. Собрав остаток сил, он решил написать своим домашним, чтобы их успокоить. Пришлось дать ему бумагу и карандаш, взять лампу и посветить. К счастью, Гильом владел правой рукой. Он написал несколько строк, сообщая г-же Леруа, своей теще, что не вернется на ночь домой; она жила в его доме после смерти своей дочери и воспитала трех его сыновей. Пьер также знал, что в их семье живет девушка лет двадцати пяти или двадцати шести, дочь покойного друга Гильома, которую он взял к себе после кончины ее отца и на которой собирался вскоре жениться, несмотря на значительную разницу в возрасте. Но эта волнующая сторона жизни была для священника малопонятной, и он всегда делал вид, что не замечает таких достойных осуждения неурядиц.

— Так ты хочешь, чтобы немедленно отнесли записку на Монмартр?

— Да, немедленно. Сейчас около семи, а она будет там часам к восьми... Надеюсь, ты пошлешь верного человека?

— Лучше всего самой Софи съездить туда в фиакре. Насчет нее можно не беспокоиться, она не станет болтать... Погоди, я сейчас все это устрою.

Он позвал Софи. Она все поняла и обещала, если ее станут расспрашивать, сказать, что г-н Гильом пришел к брату и остался у него ночевать, а почему — ей неизвестно. И, не пускаясь в рассуждения, она удалилась, на прощание попросту сказав:

— Господин аббат, стол к обеду накрыт, вам придется только взять с плиты бульон и рагу.

Когда Пьер вернулся к брату, он увидел, что Гильом лежит навзничь, откинув голову на подушки, ослабевший и мертвенно-бледный, в сильном ознобе. Стоявшая на краю стола лампа разливала мягкий свет, царила такая глубокая тишина, что слышно было, как тикают большие настенные часы в соседней столовой. Несколько мгновений братья не нарушали молчания, оставшись наконец наедине после стольких лет разлуки. Но вот раненый доверчивым жестом протянул руку Пьеру, а священник схватил ее и горячо пожал. И руки братьев долгое время не размыкались.

— Бедненький мой Пьер, — прошептал Гильом, — прости меня, что я так свалился тебе на голову. Я завладел домом, занял твою постель и мешаю тебе обедать...

— Не надо говорить, это тебя утомляет, — прервал его Пьер. — Куда же тебе податься, как не ко мне, когда ты попал в беду?

Больной еще крепче сжал его руку своей горячей рукой, и глаза его увлажнились.

— Спасибо, мой маленький Пьер. Я опять тебя нашел, ты по-прежнему кроткий и нежный... Ах, если бы ты только знал, как это сейчас для меня сладостно!

Глаза священника тоже затуманились. После пережитого бурного волнения братья испытывали отрадное чувство и были так счастливы снова свидеться в доме, где прошло их детство. Здесь умерли их родители: отец погиб от взрыва в лаборатории, а мать, отличавшаяся благочестием, скончалась, как святая. На этой самой кровати после кончины матери лежал смертельно больной Пьер, и Гильом ухаживал за ним. И вот теперь здесь Пьер ухаживает за Гильомом. Все волновало и будоражило душу, пробуждало нежность, — необычайные обстоятельства, при каких произошла их встреча, ужасная катастрофа, окружающая обоих таинственность. И теперь при этом трагическом сближении, после долгих лет разлуки, у братьев просыпались общие воспоминания. Старый дом говорил им о детстве, о покойных родителях, о тех далеких днях, когда они здесь жили, любили и страдали. За окном виднелся сад, обледенелый в эту пору года, а тогда, залитый солнцем, он так и звенел от их шумных игр. Слева находилась лаборатория, большая комната, где отец учил их читать. Справа столовая, где витал образ их матери: они видели, как она намазывает им тартинки, кроткая, с большими глазами, отражающими безысходную тоску верующей души. Сознание, что они здесь одни в поздний час, тихое, дремотное сияние лампы, нерушимое безмолвие пустынного сада и дома, воспоминания минувших лет — все это наполняло душу необычайной отрадой, к которой примешивалась бесконечная горечь.

Им хотелось поговорить, открыть друг другу душу. Но что сказать? Руки братьев были соединены в крепком пожатии, но разве их не разделяла непроходимая бездна? По крайней мере, так им казалось. Гильом был убежден, что Пьер святой человек, глубоко верующий, в душе которого не зарождаются сомнения, священник, у которого нет ничего общего с ним ни во взглядах, ни в образе жизни. Соединявшие их некогда узы были словно разрублены топором, и братья жили в разных мирах. В свою очередь, Пьер воображал, что Гильом какой-то отщепенец, человек предосудительного поведения, ведь он даже не обвенчался с женщиной, от которой имел троих детей, и собирается вновь жениться на слишком

молодой для него девушке, появившейся неведомо откуда. К тому же он придерживается самых крайних научных и революционных убеждений, отрицает все ценности, одобряет самые жестокие меры, быть может, порожденные таящимся в глубине этих теорий чудовищем анархизма. На какой почве могло бы произойти их сближение, когда каждый из братьев превратно воспринимал другого и они как бы стояли на противоположных краях пропасти, через которую невозможно было перебросить мостик? И только их бедные сердца, пылающие братской любовью, сжимались от безысходной печали.

Пьер знал, что Гильом уже чуть было не оказался замешанным в деле анархистов. Он ни о чем не спрашивал брата. Но ему невольно приходило в голову, что Гильом не стал бы так прятаться, если бы ему не угрожал арест. Неужели он и впрямь соучастник Сальва?

И Пьер трепетал от страха: он мог судить обо всем этом лишь на основании слов, вырвавшихся у брата после взрыва: Гильом крикнул, что Сальва украл у него патрон, потом отважно бросился в ворота особняка Дювильяра, намереваясь погасить фитиль. Но как много еще остается невыясненного! Ведь если у Гильома украли патрон с этим ужасным взрывчатым веществом, то, значит, он изготавливал его и оно у него находилось дома! Пусть он даже и не соучастник преступления, но раз у него повреждена кисть и он уже скомпрометирован, ему оставалось только скрыться; он отлично знал, что если его застанут с окровавленной рукой, то ему ни за что не доказать своей невиновности. Итак, все окутано мраком неизвестности, быть может, и впрямь было совершено преступление и брат попал в ужасную историю.

Лежавшая в руке Гильома влажная рука Пьера так дрожала, что ученый начал догадываться о глубоком унынии, овладевшем его несчастным братом, которого сразили сомнения и теперь доконала эта катастрофа. Гробница была пуста, из нее вымели даже пепел.

— Бедненький мой Пьер, — медленно проговорил Гильом, — прости, что я ничего тебе не говорю. Я ничего не могу тебе объяснить... Да и зачем? Ведь мы все равно не пойдем друг друга... Не надо ничего говорить, будем только радоваться, что мы опять вместе и, несмотря ни на что, любим друг друга.

Пьер поднял глаза, взгляды их встретились и долго не отрывались друг от друга.

— О, как это ужасно! — пролепетал он.

Гильом прочел немой вопрос в глазах брата. Он не отвел взгляда, и в его глазах вспыхнуло в ответ пламя чистой, возвышенной души.

— Я ничего не могу тебе сказать, — повторил он. — Но все-таки, маленький мой Пьер, будем любить друг друга.

В этот миг Пьеру стало ясно, что его брат не способен испытывать измененную боязнь, страх преступника, трепещущего перед наказанием, понял, что он страстно стремится к какой-то великой цели и горит благородным желанием спасти важную идею, сберечь свой секрет. И у священника вдруг вспыхнула надежда на какое-то оправдание жизни и на счастливый исход. Но, увы, она быстро рассеялась, и он почувствовал, что вокруг него все рушится, становится сомнительным, внушает подозрение и им с братом никогда не понять друг друга.

Вдруг перед глазами его всплыла душераздирающая картина, и он пробормотал, обезумев от ужаса:

— А ты видел, старший мой брат, видел ты под аркой эту белокурую девочку, которая лежала навзничь с разорванным животом и с такой чудесной удивленной улыбкой?

Гильом вздрогнул.

— Да, да, я ее видел, — отвечал он тихо и горестно. — Ах, бедное маленькое создание! О, как жестока бывает необходимость! Какие страшные ошибки совершает порой карающее правосудие!

Тут Пьер, которого ужасало всякое насилие, потрясенный всем происшедшим, потерял власть над собой. Уронив голову на край кровати, он горько зарыдал, как слабый ребенок; слезы бурно хлынули из глаз. В этом внезапном потоке слез, который, казалось, ничто не могло остановить, прорвались наружу все его мучения, все, что терзало его с самого утра, великая скорбь за всех людей, страдающих от несправедливости. Потрясенный до глубины души, Гильом безмолвно положил руку на голову младшего брата, пытаясь его успокоить; так в былые дни гладил он детскую его головку. Он не находил слов утешения; он считал, что всегда можно ждать извержения вулкана, катастрофы, которая должна ускорить медленную эволюцию, происходящую в природе. Но как ужасна судьба миллиардов жалких существ, загубленных лавой событий! Он молчал, но у него тоже покатались из глаз слезы.

— Пьер, — наконец заговорил он вполголоса, — я хочу, чтобы ты пообедал... Иди, иди обедать. Прикрой чем-нибудь лампу, мне хочется полежать одному с закрытыми глазами. Это будет мне на пользу.

Пьеру пришлось исполнить желание брата. Но он не затворил дверь столовой; ему не хотелось есть, хотя он совсем обессилел от голода. Он стал обедать стоя, чутко прислушиваясь, не раздастся ли стон брата, не

позовет ли тот его. Казалось, тишина еще сгустилась в маленьком домике, овеянном печальными и нежными воспоминаниями былого.

Около половины девятого, когда Софи вернулась с Монмартра, Гильом услышал ее приглушенные шаги. Он взволновался и хотел узнать, с чем она пришла. Пьер поспешил к нему, чтобы обо всем рассказать.

— Не беспокойся. Софи встретила старая дама, которая, прочитав твою записку, попросту сказала, что все сделает. Она даже не задала Софи ни одного вопроса, казалась спокойной и не проявила ни малейшего любопытства.

Чувствуя, что брата удивляет такая невозмутимость его тещи, Гильом сказал тоже самым спокойным тоном:

— О, надо было лишь предупредить Бабушку. Ведь она хорошо знает, что, если я не вернулся домой, значит, не мог вернуться.

Но ему так и не удалось задремать, напрасно затемнили лампу. Гильом то и дело открывал глаза, обводил взглядом комнату и как будто прислушивался, не доносятся ли снаружи, с парижских улиц какие-нибудь звуки. Священнику пришлось позвать служанку и спросить ее, не заметила ли она чего-нибудь необычного на улицах по дороге на Монмартр. Софи с удивленным видом отвечала, что решительно ничего не заметила. Впрочем, фиакр ехал по внешнему кольцу бульваров, которые были почти безлюдны. Легкий туман начал заволакивать город, и улицы дышали промозглой сыростью.

К девяти часам Пьеру стало ясно, что брат так и не заснет, если он не принесет ему никаких новостей. У раненого начинался жар, его терзала тревога, ему страстно хотелось узнать, арестован ли Сальва и не проговорился ли он. Гильом скрывал свои опасения и, казалось, ничуть не боялся лично за себя; без сомнения, это была правда. Но он сильно тревожился за свою тайну, он дрожал при мысли о том, что все его труды, предпринятые с такой возвышенной целью, все его надежды в руках этого одержимого нищетой человека, который мечтает восстановить справедливость при помощи бомб. Напрасно священник втолковывал брату, что сейчас еще ничего нельзя узнать; Гильом все более возбуждался, и его нетерпение было так велико, что Пьер решил предпринять хоть какие-нибудь шаги, чтобы его успокоить.

Но куда пойти? В какую дверь постучаться? Гильом старался угадать, у кого бы мог спрятаться Сальва, между прочим, он назвал Янсена, и Пьер вдруг подумал: уж не послать ли к нему за новостями? Но тут же он сообразил, что если Янсен узнал о взрыве, то, уж конечно, не станет ждать, пока за ним явится полиция.

— Я охотно бы сходил и купил тебе вечерние газеты, — твердил Пьер. — Но там наверняка еще ничего нет... В Нейи я знаю почти всех. Только я не могу назвать ни одного подходящего человека, разве что Баша...

— Так ты знаешь Баша, муниципального советника? — перебил его Гильом.

— Да, мы с ним занимались благотворительными делами в нашем квартале.

— О, Баш мой старый друг, самый падежный на свете человек. Пойди к нему и приведи его сюда, очень тебя прошу.

Спустя четверть часа Пьер привел Баша, жившего на соседней улице. Но с Пьером пришел не один только Баш, так как, к своему удивлению, священник застал у него и Янсена. Как и предполагал Гильом, последний, услышав за обедом у принцессы де Гарт о покушении, и не подумал возвращаться на ночь в свою тесную квартирку на улице Мучеников, где полиция могла устроить засаду. Его связи были известны, Янсен знал, что за ним следят, и он, как анархист и вдобавок иностранец, всегда мог ожидать ареста или высылки из Франции. Поэтому он принял благоразумное решение попросить на несколько дней пристанища у Баша, человека весьма прямодушного и готового к услугам, которому можно спокойно довериться. Он ни за что не остался бы у этой восхитительной сумасбродки Роземонды, которая в бешеной погоне за новыми ощущениями уже месяц как афишировала их связь; он понимал всю пустоту и опасность ее причуд.

Обрадованный появлением Баша и Янсена, Гильом захотел сесть на постели. Но Пьер потребовал, чтобы он спокойно лежал, не поднимая головы с подушек, и как можно меньше говорил. Янсен продолжал молча стоять, а Баш пододвинул стул к кровати, уселся и начал без умолку говорить, выражая дружеское участие. Это был тучный шестидесятилетний мужчина, с широким полным лицом, окладистой белой бородой и длинными седыми волосами. В его маленьких глазах сквозила какая-то нежная мечтательность, а улыбка, блуждавшая на губах крупного рта, выражала надежду на всеобщее благополучие. Отец Баша, ревностный последователь Сен-Симона, воспитал его в новой вере. И он навсегда сохранил уважение к этой доктрине, хотя впоследствии воспринял идеи Фурье, которые были ему близки благодаря его любви к порядку и врожденной религиозности. Таким образом, в его лице как бы сочетались последовательно и в несколько упрощенном виде оба эти учения. К тридцати годам он увлекся спиритизмом. Он обладал

небольшим, но прочным состоянием, и единственным крупным событием в его жизни было участие в Коммуне 1871 года, к которой он примкнул, сам не зная, как и почему. Ему был заочно вынесен смертный приговор, хотя он принадлежал к самым умеренным из коммунаров, и до самой амнистии он проживал в Бельгии. В память этого жителя Нейи избрали его в муниципальный совет, причем они хотели не столько почтить жертву буржуазной реакции, сколько вознаградить милейшего человека, которого любил весь квартал.

Гильом так жаждал новостей, что ему пришлось довериться своим посетителям, рассказать им, как взорвалась бомба, как убежал Сальва, как он сам был ранен, не успев затоптать фитиль. Янсен слушал Гильома, и его худощавое лицо, обрамленное светлорусой бородкой и кудрями и напоминавшее лик Христа, оставалось холодным. Наконец он произнес мягким голосом, медленно, с иностранным акцентом выговаривая слова:

— А! Так это Сальва... А я было подумал: уж не маленький ли Матис? Сальва! Это меня удивляет, ведь он еще не решился.

Когда Гильом с волнением спросил Янсена, не думает ли он, что Сальва способен проговориться, тот воскликнул:

— О нет! О нет!

Но вот в его светлых мечтательных и суровых глазах мелькнуло что-то вроде пренебрежения, и он добавил:

— Впрочем, не знаю... Ведь Сальва сентиментален.

Ошеломленный покушением, Баш стал придумывать, как бы в случае доноса вызволить из беды дорогого его сердцу Гильома. А тот должен был вытерпеть холодное презрение Янсена, который, конечно, думал, что ученый дрожит за свою шкуру. Но что им сказать? Как им объяснить великую, терзавшую его тревогу, не доверив им тайны, которую он скрывал даже от брата?

В этот момент вошла Софи и доложила хозяину, что пришел г-н Теофиль Морен, а с ним еще какой-то господин. Удивленный таким поздним визитом, Пьер вышел в соседнюю комнату принять гостей. Вернувшись из Италии, он познакомился с Мореном и помог ему перевести с французского и приспособить для итальянских учебных заведений превосходное краткое изложение современных наук в объеме университетской программы. Морен был родом из Франш-Конте, сыном часовщика и земляком Прудона, бедствующую семью которого он посещал в Безансоне. Он с детства проникся идеями Прудона, был искренним другом всех обездоленных и испытывал инфинитивную ненависть к богатству и собственности. Впоследствии он приехал в

Париж; там он подвизался в роли школьного учителя, увлекаясь преподаванием, и стал пламенным приверженцем Огюста Конта; но под оболочкой ревностного позитивиста в нем еще был жив последователь Прудона, бунтарь, на своем опыте познавший нищету и боровшийся с ней. Он строго придерживался научного позитивизма и, в своей ненависти ко всяческой мистике, отошел от Конта, когда тот, всем на удивление, в последние годы жизни стал религиозным. В его суровой, однообразной и скучной жизни был только один роман, внезапный порыв страсти, который бросил его в Сицилию, где он сражался под знаменами Гарибальди, участвуя в легендарной «Тысяче». А по возвращении в Париж, он по-прежнему зажил незаметной унылой жизнью школьного учителя.

Вернувшись в спальню, Пьер взволнованно сказал брату:

— Морен привел Бартеса, который вообразил, что ему грозит опасность, и просит у меня гостеприимства.

Гильом загорелся.

— Николя Бартес! Это герой! У него душа древнего римлянина! Я его знаю, люблю и восхищаюсь им... Прими его с распростертыми объятиями.

Баш и Янсен с улыбкой переглянулись. Потом Янсен медленно сказал со свойственной ему холодной иронией:

— Зачем прятаться господину Бартесу? Многие считают его умершим, и этот выходец с того света никому не страшен.

Бартес, которому было семьдесят четыре года, около пятидесяти лет просидел в тюрьмах. Этот вечный заключенный, герой свободы, при всех правительствах переезжал из одной крепости в другую. С юных лет захваченный мечтой о всеобщем братстве, он боролся за идеальную республику, воплощающую правду и справедливость, но всякий раз оказывался в тюрьме, где за тройными засовами продолжал мечтать о спасении человечества. Он был то карбонарием, вчерашним республиканцем, то сенатором-евангелистом, всегда и везде участвовал в заговорах и воевал без устали со всякой властью, какой бы она ни была. А когда провозгласили республику, ту самую республику, отстаивая которую он провел столько лет за решеткой, — Бартеса снова арестовали, и за годами, лишеными солнца, последовали новые годы мрака. Он оставался мучеником свободы, по-прежнему стремился к ней, а она все не приходила.

— Вы ошибаетесь, — возразил Гильом, которого покорибил насмешливый тон Янсена, — и в настоящее время наши политические

деятели хотят избавиться от Бартеса, потому что этот неподкупный и непримиримый борец мешает им, и я вполне одобряю его осторожность.

Вошел Николая Бартес, высокий худой старик с орлиным носом. Его глубоко запавшие глаза молодо сверкали под мохнатыми седыми бровями. Беззубый рот изящных очертаний прятался в белоснежной бороде, а голову осенял ореол серебряных кудрей, волнами падавших на плечи. Позади него со скромным видом шел Теофиль Морен, у которого были серые бакенбарды, серая щетка волос, очки и желтое усталое лицо школьного учителя, изнуренного долголетним преподаванием. Вошедшие ничуть не удивились и не обнаружили любопытства при виде Гильома, лежавшего на кровати с забинтованной рукой. Гостей никому не представляли; знакомые попросту обменялись улыбками.

Бартес наклонился над Гильомом и расцеловал его в обе щеки.

— О! — воскликнул тот почти весело, — вы прямо вливаете в меня бодрость!

Вошедшие кое о чем рассказали. На бульварах царило невообразимое смятение, во всех кафе уже распространился слух о покушении, и люди вырывали друг у друга запоздавший вечерний номер газеты, где рассказывалось о событии крайне неточно, с самыми невероятными подробностями. В общем, до сих пор еще не было известно ничего достоверного.

Заметив, что Гильом резко побледнел, Пьер снова заставил его лечь. Но когда священник захотел увести гостей в соседнюю комнату, раненый тихонько сказал:

— Нет, нет, обещаю тебе, я больше не шелохнусь и не открою рта. Оставайтесь здесь, беседуйте вполголоса. Право же, я с удовольствием вас послушаю, мне не хочется лежать в одиночестве.

И вот при тусклом свете лампы завязалась тихая беседа. Престарелый Бартес заявил, что бросать бомбу было преступно и глупо. Он говорил как герой легендарных битв за свободу, который замешкался в современности и ничего в ней не понимает. Разве этого не достаточно, если наконец будет завоевана свобода? Разве можно о чем-нибудь еще говорить, кроме как о создании подлинной республики? Потом в связи с речью Межа, произнесенной в этот день в палате депутатов, он с горечью обрушился на коллективизм, называя его демократической разновидностью деспотизма. Теофиль Морен тоже высказывался против коллективистского объединения всех социальных сил, но еще яростнее он ненавидел анархистов, сторонников отвратительного насилия; он верил только в эволюцию, и ему было довольно безразлично, какие

политические программы лягут в основу нового общества, построенного на научных началах. Баш, как видно, также недолюбливал анархистов, хотя его пленяли идиллические мечты и надежды на обновление человечества, которые в глубине души лелеяли эти яростные разрушители; он тоже негодовал на Межа, утверждая, что, став членом парламента, он превратился в пустого краснобая, и называл его теоретиком, мечтающим о диктатуре. А Янсен, продолжая стоять, с иронической складкой в уголках рта и ледяным взглядом слушал всех троих, и если время от времени он бросал короткие фразы, отточенные, как стальное лезвие, то лишь для того, чтобы заявить о своей вере в анархию, о бесполезности полумер, о необходимости радикального переворота, о том, что нужно все разрушить, а потом вновь воссоздать!

Сидевший у изголовья брата Пьер слушал все со страстным вниманием. Он переживал крах всех своих верований, страдал от душевной опустошенности, и вот эти люди, принесшие с собой все идеи века, затронули мучительную для него проблему, проблему новой веры, которую будет исповедовать демократия грядущего столетия. Начиная с ближайших предков, Вольтера, Дидро и Руссо, — какой бурный поток идей, следующих друг за другом, непрестанно сталкивающихся, порождающих одна другую, и как разобраться в их невообразимом смешении? Откуда дует ветер? Куда плывет ковчег спасения? К какой гавани направить свой путь? Он уже пришел к мысли, что необходимо подвести итоги умственным достижениям века и, освоив наследие Руссо и других предшественников, познакомиться с идеями Сен-Симона, Фурье, Кабе, Огюста Конта, Прудона и Карла Маркса, чтобы составить себе хотя бы представление о пути, пройденном человечеством, и о том распутье, где оно сейчас находится. Какая удача, что у него в доме случайно сошлись все эти люди, представители современных враждующих течений, которые он собирается изучить!

Но вот, повернувшись к брату, Пьер увидел, что тот лежит мертвенно-бледный, с закрытыми глазами. Быть может, Гильома, несмотря на его веру в науку, тоже смутили все эти противоречивые теории и он впал в отчаяние, наблюдая борьбу за истину, приводящую к еще горшим заблуждениям?

— Тебе очень больно? — тревожно спросил священник.

— Немножко. Я постараюсь заснуть.

Все разошлись, молча обменявшись рукопожатиями. Остался только Никола Бартес, который лег спать в комнате на верхнем этаже, приготовленной для него Софи. Не желая покидать брата, Пьер прилег

вздремнуть на диван. И в одиноком маленьком домике вновь воцарился глубокий покой, безмолвие зимней ночи, пронизанное печальными воспоминаниями детства.

Уже в семь часов утра Пьеру пришлось отправиться за газетами. Гильом дурно спал, у него началась сильнейшая лихорадка. Но все же он заставил брата перечитать ему бесчисленные заметки о покушении. Это была причудливая смесь правды и выдумки, точных сведений и самого нелепого вздора. Особенно бросались в глаза набранные крупным шрифтом заголовки и подзаголовки «Голоса народа», газеты Санье, где на целой странице были как попало напиханы всевозможные сведения. Внезапно Санье решил отложить на будущее опубликование пресловутого списка тридцати двух депутатов и сенаторов, замешанных в дело Африканских железных дорог, и теперь не жалел красок, описывая, как выглядел подъезд особняка Дювильера после взрыва: развороченная мостовая, пробитые своды, сорванные с петель ворота; потом шел рассказ о чуде уцелевших детях барона, о неповрежденном ландо, а о родителях было сказано, что они задержались на замечательной проповеди монсеньера Март *a*. Целый столбец был посвящен единственной жертве взрыва, хорошенькой белокурой девочке на побегушках, лежавшей с разорванным животом, личность которой не удалось точно установить, хотя целый рой репортеров ринулся на авеню Оперы к ее хозяйке, модистке, а затем на окраину предместья Сен-Дени, где, как полагали, жила бабушка покойной. А в «Глобусе» появилась серьезная статья, явно вдохновленная Фонсегом, автор которой, взывая к патриотизму членов парламента, предостерегал их от возможных кризисов кабинета в наши дни, когда страна переживает столь горестные события. Было ясно, что кабинет продержится еще несколько недель, что на какой-то срок ему обеспечено более или менее спокойное существование.

Но Гильома поразило лишь одно обстоятельство: оставалось неизвестным, кто бросил бомбу, и, несомненно, Сальва не только не арестован, но и вне всяких подозрений. Напротив, как видно, полиция пошла по ложному следу: один из соседей клялся, что видел, как перед самым взрывом в ворота особняка вошел прилично одетый господин в перчатках. Гильом как будто немного успокоился. Но вот брат прочитал ему другую газету, где сообщалось, что, по-видимому, роль бомбы сыграла совсем небольшая консервная банка, остатки которой найдены. Он снова взволновался, услышав, что автор статьи удивляется, как такой пустяк мог вызвать столь ужасные разрушения, и подозревает, что было применено какое-то новое взрывчатое вещество невероятной мощности.

В восемь часов появился Бертеруа, в свои семьдесят лет подвижной, как юный студент-медик, который всегда готов помочь приятелю. Он принес ящик с инструментами, бинты и корпию. Увидав, что больной очень возбужден, покраснелся и горит в лихорадке, он рассердился.

— Ах, мой дорогой мальчик, я вижу, что вы ведете себя неблагоприятно. Вы, наверно, слишком много говорили, волновались и выходили из себя.

Осмотрев рану и тщательно ощупав ее зондом, он стал накладывать повязку, причем сказал:

— Имейте в виду, случай серьезный, и я не отвечаю за последствия, если вы не будете вести себя как должно. Любое осложнение делает ампутацию неизбежной.

Пьер содрогнулся, а Гильом пожал плечами, словно хотел сказать, что ничего не имеет против ампутации, раз все кругом рушится. Бертеруа уселся на минуту передохнуть и устремил на братьев пронизательный взгляд. Теперь он знал о покушении и уже сделал соответствующие выводы.

— Дорогой мой мальчик, — заговорил он со свойственной ему прямоотой, — я уверен, что не вы совершили чудовищную глупость на улице Годо-де-Моруа. Но я предполагаю, что вы находились где-нибудь поблизости... Нет, нет, не отвечайте, не оправдывайтесь. Я ничего не знаю и ничего не желаю знать, даже формулу этого дьявольского порошка, который натворил таких бед и следы которого я усмотрел на обшлаге вашей рубашки.

Видя, что братья поражены и, несмотря на его заверения, онемели от испуга, он добавил с широким жестом:

— Ах, друзья мои, если бы вы знали, как я осуждаю такого рода поступки: они не столько преступны, сколько бессмысленны! Я от души презираю всю эту бесплодную политическую возню — и революционеров и консерваторов. Неужели нам недостаточно науки? Зачем торопить бег времени, когда один шаг вперед, сделанный наукой, приближает человечество к царству справедливости и истины больше, чем сто лет занятий политикой и социальными переворотами. Поверьте, только наука сметает догматы, свергает богов, приносит свет и счастье... И единственный подлинный революционер — это я, академик, прекрасно обеспеченный деньгами и весь в орденах.

Бертеруа засмеялся, и Гильом услышал в его смехе добродушную иронию. Он преклонялся перед великим ученым, но до сих пор ему было больно видеть, что тот живет в таком буржуазном благополучии, не

отказываясь от высоких чинов и почестей, сделался республиканцем, когда провозгласили республику, но готов служить науке при любой власти. И вдруг этот оппортунист, этот прославленный и превознесенный жрец науки, этот труженик, принимающий из любых рук богатство и славу, обернулся спокойным, беспощадным эволюционистом, рассчитывающим, что наука, которую он двигает вперед, в свое время разрушит и обновит мир!

Ученый встал и направился к двери.

— Я еще вернусь. Будьте благоразумны и крепко любите друг друга.

Оставшись наедине с братом, Пьер сел у его постели, и руки их снова соединились в горячем пожатии, выразившем их душевное смятение. Сколько еще непонятого, какие опасности вокруг них и в них самих! Серый зимний день заглядывал в окна, в саду чернели голые деревья, и маленький домик был полон настороженного безмолвия. Только над головой раздавался глухой стук. То шагал Николя Бартес, героический любовник свободы, который спал наверху и с рассветом начал расхаживать взад и вперед, как лев в клетке, по старинной привычке, сложившейся в тюрьме. В этот миг братья взглянули на развернутую газету, лежавшую на кровати, и им бросился в глаза неряшливо сделанный набросок, который должен был изображать убитую девочку на побегушках с разорванным животом, распростертую рядом с картонкой и дамской шляпкой. Рисунок был так страшен, так отталкивал своим уродством, что у Пьера из глаз покатались слезы, а тревожный и тоскливый взор Гильома, устремленный куда-то вдаль, пытался разглядеть неведомое будущее.

II

На высотах Монмартра, в тихом маленьком домике, где столько лет жил и работал Гильом со своими родными, все спокойно поджидали его бледным зимним днем.

После завтрака Гильом, удрученный при мысли, что ему из осторожности, пожалуй, придется недели три пробыть вне дома, решил послать Пьера на Монмартр, чтобы тот рассказал его близким обо всем случившемся.

— Слушай, брат, я попрошу тебя об одной услуге. Пойди и скажи моим всю правду, что я лежу у тебя, слегка ранен и очень их прошу не навещать меня, так как за ними могут проследить и обнаружить, где я

нахожусь. После моего вчерашнего письма они начнут беспокоиться, если я им ничего о себе не сообщу.

Потом, поддаваясь тревоге и страху, не покидавшим его со вчерашнего дня и омрачавшим его ясный взгляд, он сказал:

— Знаешь что, пошарь-ка в правом кармане моего жилета... Там найдешь ключик. Так. Ты передашь его госпоже Леруа, моей теще, и скажешь ей, что, если со мной случится несчастье, пусть она сделает все, что необходимо. Этого достаточно, она поймет.

С минуту Пьер стоял в нерешительности. Но, заметив, как утомило брата это небольшое усилие, он поспешил сказать:

— Пожалуйста, молчи и лежи неподвижно. Я пойду и успокою твоих, раз ты хочешь, чтобы я сам это сделал.

Ему было так трудно выполнить поручение брата, что в первый момент он даже подумал, нельзя ли послать Софи. Пробудились все владевшие им предрассудки, и ему казалось, что он идет чуть ли не в логово людоеда. Сколько раз он слышал, как его мать, упоминая о женщине, с которой жил в свободном союзе Гильом, называла ее «этой тварью». Она так и не захотела обнять троих его сыновей, прижитых вне брака; особенно ее возмущало, что другая бабушка, г-жа Леруа, осталась в незаконной семье и посвятила себя воспитанию внучат. И так велика была власть этого воспоминания, что даже теперь, направляясь к собору Сердца Иисусова и проходя мимо домика Гильома, он смотрел на него с недоверием, он сторонился его, как обиталища порока и распутства. Мать троих детей умерла добрых десять лет назад, и теперь ее сыновья были уже взрослыми. Но ведь в этом доме появилась еще одна сомнительная особа, девушка-сирота, которую взял к себе брат и на которой собирается жениться, хотя она моложе его на двадцать лет! Пьеру все это казалось безнравственным, неестественным, оскорбительным, и в его воображении рисовалась семья бунтарей, людей морально и физически опустившихся, которые ведут беспорядочный образ жизни, всегда внушавший ему отвращение.

Гильом снова подозвал брата.

— Скажи госпоже Леруа, что, если я умру, ты ее предупредишь, чтобы она немедленно же сделала все, что необходимо.

— Да, да, успокойся, лежи смирно, я все скажу!.. На случай, если тебе что-нибудь понадобится, Софи будет все время здесь.

И, отдав последние распоряжения служанке, Пьер ушел, он решил сесть на трамвай, намереваясь сойти с него на бульваре Рошешуар и подняться пешком на холм.

Тяжелый вагон плавно скользил по рельсам, и под его мягкое покачивание Пьер вспоминал историю этой семьи, лишь смутно ему знакомую; многие подробности стали ему известны лишь впоследствии. В 1850 году Леруа, молодой учитель, приехавший из Парижа в Монтобан и преподававший в лицее, горячая голова и страстный республиканец, женился на Агате Даньян, самой младшей из пяти дочерей бедных родителей — протестантов, выходцев из Севенн. Молоденькая г-жа Леруа готовилась стать матерью, когда назавтра после переворота ее муж, которому грозил арест за напечатанные им в местной газете яростные статьи, решил бежать за границу и искать пристанища в Женеве; там в 1852 году у них родилась дочь Маргарита, отличавшаяся хрупким здоровьем. Целых семь лет, вплоть до амнистии 1859 года, семья терпела острую нужду, отцу лишь изредка удавалось раздобыть плохо оплачиваемые уроки, а мать была всецело поглощена уходом за дочкой. Вернувшись во Францию, они обосновались в Париже; но и тут их преследовали неудачи, бывший учитель тщетно стучался во все двери, его убеждения были известны, он всюду получал вежливый отказ, и ему снова пришлось бегать по частным урокам. Наконец перед ним распахнулись двери университета. Но тут его постиг последний сокрушительный удар — он был разбит параличом и, потеряв ноги, оказался навеки прикованным к креслу. Надвинулась нищета. Леруа пришлось братья за любую грошовую работу, писать статейки для словарей, переписывать рукописи, надписывать адреса на экземплярах газет, и семья прозябала в маленькой квартирке на улице Мосье-ле-Пренс.

Там и росла Маргарита. Вольнодумец Леруа, озлобленный несправедливостью и страданиями, предсказывал, что вновь восторжествует республика и отомстит за бессмысленные жестокости империи, что воцарится наука и упразднит лживого и жестокого бога, которого проповедует религия. Агата еще в Женеве окончательно потеряла веру, так как ее оттолкнули затхлые, бессмысленные обряды лютеран, но у нее в крови сохранилась древняя закваска их протеста. Она сделалась главой и опорой семьи, ходила на поиски работы, приносила ее домой, выполняла сама большую часть, а вдобавок вела хозяйство, воспитывала и обучала дочку. Маргарита не посещала никакого учебного заведения, все, что она знала, ей дали родители, но, конечно, здесь не было и речи о религиозном воспитании. Получив от предков-протестантов склонность к свободному исследованию истины, г-жа Леруа отвергла веру и, под влиянием мужа, пришла к спокойному безбожию; она усвоила идею долга, верховной человеческой

справедливости, и мужественно ее осуществляла, не считаясь ни с какими общественными условностями и предрассудками. Ее муж долгие годы подвергался несправедливым гонениям, ей самой приходилось безвинно страдать, болея душой за него и за дочку, но все это только выработало в ней изумительную силу сопротивления и безграничную самоотверженность, благодаря которым она стала мудрым судьей, советчицей и моральной опорой своих близких, проявляя неутомимую энергию и высокое благородство.

В этом-то доме на улице Мосье-ле-Пренс и познакомился Гильом после войны с семьей Леруа. Он занимал на том же этаже, как раз против их тесной квартирki, большую комнату, где трудился день и ночь. Первое время они при встрече еле кланялись друг другу; соседи Гильома, люди чрезвычайно гордые и серьезные, держались особняком и всеми силами старались скрыть свою бедность. Потом между ними завязались отношения на почве взаимных услуг, — молодой человек предложил бывшему учителю редактировать кое-какие статьи для новой энциклопедии. Но вдруг разразилась катастрофа, Леруа скончался в кресле, пока дочь перевозила его на ночь от стола к кровати. Женщины обезумели от горя, у них не оказалось денег даже на похороны. В потоке слез выплыла наружу тайна их нищеты. Волей-неволей они предоставили действовать Гильому, и с этого дня он стал для них самым необходимым человеком, другом и поверенным их тайн. И то, что должно было произойти, через некоторое время совершилось самым естественным образом, при пробуждении нежных чувств, с согласия матери, которая, сурово осуждая общество, где достойные люди умирают с голоду, не считала необходимым официальный брак. О венчании не было и речи. В один прекрасный день Гильом, которому минуло двадцать три года, стал мужем двадцатилетней Маргариты; оба красивые, здоровые и сильные, они души не чаяли друг в друге и трудились, с надеждой глядя в будущее.

С этого дня началась новая жизнь. Гильом порвал отношения с матерью, но после смерти отца получал небольшую ежемесячную ренту в размере двухсот франков. Этого хватало на хлеб насущный; но ему удалось удвоить эту сумму благодаря своим работам по химии, анализам, изысканиям и изобретениям, применяемым в производстве. Молодая семья поселилась на самой вершине Монмартрского холма, сняв маленький домик, за который приходилось платить восемьсот франков в год. Особенно соблазнил их узенький садик, где со временем они рассчитывали построить деревянную лабораторию. Г-жа Леруа без всяких колебаний поселилась с дочерью и зятем. Она помогала им в

хозяйстве, избавляя от необходимости брать вторую служанку, и говорила, что делает это в ожидании внуков, которых намерена сама воспитывать. И они стали появляться на свет, каждые два года по сыну — трое сыновей, трое крепышей, сперва Том *a*, затем Франсуа и, наконец, Антуан. И эта женщина, отдававшая все свои силы сперва мужу и дочери, а затем и зятю, целиком посвятила себя воспитанию детей, рожденных от этого счастливого союза. Она стала «Бабушкой», так звали ее в доме все от мала до велика. Она была воплощением благоразумия, мудрости, мужества, бодрствовала над всеми, руководила всеми, всем давала советы, и все им следовали, и она царила в доме как полновластная королева-мать.

В продолжение пятнадцати лет они жили в скромном маленьком домике в суровом труде и во взаимной любви, соблюдая самую строгую экономию и ни в чем не испытывая нужды. Потом скончалась мать Гильома, он получил наследство и мог наконец осуществить свою давнишнюю мечту — купил домик, в котором они ныне жили, и построил в глубине сада просторную лабораторию, кирпичное двухэтажное здание. Но едва они устроились по-новому, полные надежд на будущее, как их постиг новый удар — Маргарита свалилась в тифозной горячке, и через неделю ее не стало. Ей было всего тридцать пять лет, ее старшему сыну Том *a* — всего четырнадцать, и Гильом остался вдовцом в тридцать восемь лет, с тремя сыновьями на руках, вне себя от ужасной потери. Мысль о том, чтобы ввести постороннюю женщину в их замкнутый семейный круг, где всех соединяла нежная любовь, была ему отвратительна и невыносима, и он решил больше не жениться. Он уйдет с головой в работу и заглушит голос плоти и голос сердца. К счастью, Бабушка неизменно оставалась на своем посту, домом по-прежнему правила королева, в ее лице дети имели руководительницу и воспитательницу, прошедшую суровую школу бедности и героизма.

Прошло два года. И вот семья снова увеличилась, там внезапно появилась молодая девушка, Мария Кутюрье, дочь друга Гильома. Этот Кутюрье был изобретатель, гениальный безумец, и растратил свое довольно крупное состояние на самые необычайные фантазии. Его жена, особа весьма набожная, умерла от огорчения. Кутюрье обожал свою дочь, осыпал ласками и задаривал игрушками в тех редких случаях, когда ее видел; он отдал ее в лицей, а потом подбросил своей дальней родственнице. Умирая, он вспомнил о дочери и стал умолять Гильома, чтобы он взял ее к себе и выдал замуж. Дальняя родственница, белошвейка, незадолго перед тем разорилась. Мария осталась без крова и

без гроша девятнадцати лет от роду, обладая лишь основательными знаниями, здоровьем и мужеством. Гильом не захотел, чтобы она бегала по урокам. Он взял ее в дом, чтобы она помогала Бабушке, которая уже не была такой проворной, как прежде. Он сделал это с ее согласия, и она радовалась, что рядом с ней будет молодое жизнерадостное существо, которое внесет луч света в их дом, где стало как-то мрачно после кончины Маргариты. Мария будет старшей сестрой, она настолько старше мальчиков, которые еще в коллеже, что их не будет волновать ее присутствие. Она будет работать в этом доме, где все трудятся. Будет вносить свою долю в общий труд, в ожидании, пока ей встретится хороший юноша, которого она полюбит и за которого выйдет замуж.

Миновало еще пять лет, а Мария и не думала покидать эту счастливую семью. Полученные ею солидные познания упали на хорошую почву: она обладала ясным умом и огромной пытливостью; при цветущем здоровье сохранила душевную чистоту, даже наивность и девственное неведение, благодаря врожденному нравственному чувству; как настоящая женщина, умела принарядиться без всяких затрат, радовалась какому-нибудь пустяку, была всегда веселой и довольной, отличаясь практичностью, была лишена мечтательности и, постоянно занятая какой-нибудь работой, с благодарностью принимала все, что ей давала жизнь, не помышляя о небесной жизни. Она с любовью вспоминала свою благочестивую мать, которая со слезами на глазах присутствовала на ее первом причастии, думая, что дочери отверзлись врата неба. Но, оставшись одна, Мария отошла от религии, против которой восставал ее здравый смысл, не нуждаясь в этом полицейском надзоре над своей совестью и считая, что вера в бессмыслицу опасна, так как подрывает истинное здоровье. Подобно Бабушке, она пришла к спокойному атеизму, правда, не вполне осознанному, так как она не слишком любила рассуждать, а попросту была здоровой, сильной девушкой, долгое время мужественно переносила бедность, надеялась только на свои силы и крепко верила, что обретет счастье, если будет жить нормальной жизнью и проявлять мужество. Отличаясь удивительной уравновешенностью, она всегда принимала правильное решение, всегда обдумывала свои поступки и находила выход из тяжелого положения. Она чутко прислушивалась к голосу инстинкта и с прелестной улыбкой говорила, что это ее лучший советник. Два раза просили ее руки, и она отвечала отказом. Когда же Гильом стал настаивать, чтобы Мария приняла второе предложение, она удивилась и спросила его, уж не хочет ли он от нее избавиться. Она чувствует себя

превосходно у него в доме, оказывает услуги. Зачем же ей уходить? Разве она будет счастлива в другом месте — ведь она никого не любит!

Потом с течением времени родилась мысль о браке между Марией и Гильомом, такой шаг казался разумным и полезным. В самом деле, что могло быть лучше и благоразумней подобного союза? Если Гильом до сих пор не женился вторично, то лишь потому, что его удерживала мысль о сыновьях, он боялся ввести в дом чужую женщину, которая могла отравить радость, нарушить мир и согласие, царившие в семье. И вот теперь нашлась женщина, которая уже прониклась материнскими чувствами к его детям и чья расцветшая юность взволновала его сердце. Гильом был еще полон сил и всегда утверждал, что человеку не должно жить одному. Правда, до сих пор он не слишком тяжело переживал свое вдовство, так как с остервенением работал. Но Гильом был значительно старше Марии и героически отошел бы в сторону, стал бы подыскивать ей молодого жениха, если бы его взрослые сыновья и сама Бабушка не вступили в заговор с целью создать ему счастье: они начали готовить этот союз, который должен был еще крепче связать всех членов семьи и озарить их дом сиянием новой весны. Мария была очень тронута предложением, она видела от Гильома много хорошего за эти пять лет — и сразу же согласилась, поддавшись порыву горячей благодарности, которую приняла за любовь. Да и могла ли она лучше, благоразумнее устроить свою жизнь, где бы еще нашла такое прочное счастье? Брак был обсужден и решен около месяца тому назад, свадьба должна была состояться весной этого года, в конце апреля.

Когда Пьер, сойдя с трамвая, стал подниматься по бесконечным лестницам на вершину холма, где находилась улица Сент-Элефтер, им снова овладело неприятное чувство при мысли, что он скоро окажется в этом подозрительном доме, где, конечно, все будет оскорблять его и раздражать. И, уж наверное, там все взбудоражены и перепуганы запиской, доставленной накануне Софи, в которой отец семейства сообщал, что не вернется ночевать! Но когда, одолевая последние марши лестницы, Пьер с тревогой взглянул вверх, он увидел вдалеке, высоко над головой, маленький домик, удивительно приветливый, сиявший белизной в ярких лучах зимнего солнца, которое выплянуло из облаков словно для того, чтобы нежно его обласкать.

В старой каменной стене сада на улицу Сент-Элефтер выходила узенькая калитка почти напротив широкой дороги к собору Сердца Иисусова, но, чтобы добраться до дома, приходилось делать крюк и подниматься на площадь Тертр, куда был обращен фасад дома и входная

дверь. На площади играли дети. Это была квадратная, обсаженная чахлыми деревьями площадь, какие часто встречаются в провинциальных городках; ее обступили скромные лавочки — фруктовая, бакалейная, булочная. А слева на углу вставал белоснежный фасад дома, выбеленного прошлой весной. Но пять окон, выходивших на площадь, были всегда наглухо закрыты, так как жизнь протекала в комнатах, выходивших в сад, расположенный высоко над необъятным Парижем.

Набравшись смелости, Пьер дернул медную ручку звонка, сверкавшую, как золото. Где-то вдалеке раздался веселый звон. Но некоторое время никто не подходил; он уже собирался вторично позвонить, как дверь широко распахнулась и перед ним открылся коридор, в конце которого виднелось безбрежное море крыш, залитое солнцем. И в рамке двери, на фоне этой бесконечности, стояла девушка лет двадцати шести, в скромном черном шерстяном платье, наполовину закрытом большим синим фартуком. Рукава были засучены выше локтей, и на голых руках блестели капельки воды, которую она не успела вытереть.

На минуту оба замерли, удивленные и смущенные. Прибежавшая с веселой улыбкой девушка вдруг стала серьезной при виде сутаны, таившей в себе что-то враждебное. Тут священник сообразил, что ему надо представиться.

— Я аббат Пьер Фроман.

Тотчас же ее лицо осветилось приветливой улыбкой.

— А! Прошу прощения, сударь... Как это я вас не узнала, ведь я вас видела, — однажды вы, проходя мимо нас, поклонились Гильому.

Она назвала его брата просто Гильомом. Так это Мария. Пьер в изумлении смотрел на девушку и думал, что она совсем не такая, какой он ее себе представлял. Она была невысокая, скорее среднего роста, но очень красивая и безупречно сложенная, с широкими бедрами и плечами, с маленькой и крепкой грудью амазонки. Она двигалась легко, с непринужденной грацией, и чувствовалось, что у нее сильные мускулы, от ее пышно расцветшего тела так и веяло здоровьем. Лицо этой брюнетки поражало своей белизной, а голову увенчивал шлем великолепных черных волос, уложенных довольно небрежно, без особого кокетства. Темные пряди оттеняли чистый, умный лоб, изящно очерченный нос, искрящиеся жизнью и весельем глаза, а нижняя, несколько тяжелая часть лица, полные губы и массивный подбородок, говорили о спокойной доброте. Несомненно, она твердо стояла на земле,

от нее можно было ждать горячей любви и преданности. Спутница жизни.



Но при первой встрече она показалась Пьеру уж чересчур здоровой и спокойно-самоуверенной. Ему бросились в глаза ее роскошные непокорные волосы и красивые руки, простодушно обнаженные. Она ему не понравилась и внушала какое-то тревожное чувство, как существо совсем иного склада и глубоко ему чуждое.

— Меня послал к вам как раз мой брат Гильом.

Улыбка сбежала с ее лица, и оно потемнело. Она поспешно пригласила его войти. Заперев дверь, она сказала:

— Вы пришли кое-что сообщить нам о нем... Простите, что я принимаю вас в таком виде. Наши служанки только что кончили намыливать белье, и я проверяла их работу... Еще раз прошу вас меня

извинить. Пожалуйста, пройдите на минутку вот сюда. Может быть, лучше вам прежде рассказать мне.

Она повела его налево, а комнату, смежную с кухней, служившую прачечной. Там стоял чан с мыльной водой, а на деревянных перекладинах лежало брошенное туда белье, с которого стекала вода.

— Так что же с Гильомом?

Пьер без всяких обиняков сказал ей всю правду: что Гильом был ранен в руку, случайно оказавшись на месте катастрофы, что затем он укрылся у него в Нейи и просит, чтобы ему дали спокойно поправиться и даже не навещали его. Рассказывая, Пьер следил за выражением лица Марии. Сперва он прочел в ее чертах испуг и сострадание, потом увидел, что она пытается овладеть собой и трезво рассуждать. Наконец она сказала:

— Вчера вечером я вся похолодела, прочитав его записку, я была уверена, что стряслось какое-то несчастье. Но ведь надо же быть мужественной и скрывать от других свои опасения... Ранен в руку... Надеюсь, рана не серьезная?

— Нет, но все же она требует весьма тщательного ухода.

Мария смотрела Пьеру в лицо своими большими смелыми глазами, и ее взгляд глубоко проникал ему в душу, выпытывая у него всю правду, хотя она явно сдерживала множество вопросов, которые теснились у нее на устах.

— И это все? Пострадал от взрыва? И больше он ничего не велел вам сказать?

— Нет. Он только просит вас не беспокоиться о нем.

Девушка не стала настаивать, — уважая волю Гильома, она удовлетворилась тем, что он передал для успокоения своей семьи, и не старалась узнать больше. Получив накануне записку, она затаила в сердце тревогу и продолжала свою работу; так и теперь к ней быстро вернулось самообладание, спокойная улыбка, ясный мужественный взгляд, и все ее существо по-прежнему стало излучать спокойную силу.

— Гильом дал мне только одно поручение, — продолжал Пьер, — он просил передать госпоже Леруа маленький ключик.

— Хорошо, — просто ответила Мария. — Бабушка дома. К тому же вы должны повидаться с детьми... Сейчас я вас провожу.

Успокоившись, она стала разглядывать Пьера, причем ей не удавалось скрыть своего любопытства, к которому примешивалась симпатия и какая-то смутная жалость. Ее свежие белые руки, от которых исходил аромат молодости, все еще оставались обнаженными. Не спеша,

целомудренным движением, она спустила рукава. Потом она сняла большой синий фартук, и стала видна ее крепкая стройная фигура, изящество которой подчеркивало скромное черное платье. Священник следил за ее движениями. Она ему решительно не нравилась, и сам не зная почему, он испытывал какой-то протест, видя, какая она естественная, здоровая и мужественная.

— Не угодно ли вам последовать за мной, господин аббат? Надо пройти через сад.

На нижнем этаже с другой стороны коридора против кухни и прачечной были расположены две комнаты, библиотека, с окнами, выходящими на площадь Тертр, и столовая, два окна которой смотрели в сад. В четырех комнатах на втором этаже жили отец и трое сыновей. А сад, который раньше был невелик, теперь, после постройки солидного здания лаборатории, превратился в чистенький, посыпанный песком дворик. Но все же там сохранились два огромных сливовых дерева с шершавыми стволами и раскидистый куст сирени, буйно расцветавший весной. На грядке перед кустом сирени Мария для своего удовольствия посадила розы, левкой и резеду.

Она показала рукой на голые сливовые деревья, на куст сирени и стебли роз, на которых лишь кое-где робко зеленели первые почки. Этот крохотный уголок природы был еще объят зимним сном.

— Скажите Гильому, чтобы он поскорей поправлялся и вернулся домой, когда нальются почки.

Пьер посмотрел на девушку, и вдруг щеки у нее зарделись. Так постоянно с ней бывало — она внезапно краснела даже от самых невинных слов, и это приводило ее в отчаяние. Эта мужественная девушка считала, что смешно и глупо смущаться, подобно маленькой девочке. Но в своей женской чистоте она сохранила утонченную чувствительность и естественную стыдливость, которые непроизвольно давали о себе знать. Скорее всего Мария вспыхнула просто потому, что ей показалось, будто, говоря о весне этому священнику, она тем самым намекнула на предстоящую свадьбу.

— Войдите, пожалуйста, господин аббат. Дети как раз здесь, все трое.

И она ввела его в мастерскую.

Это была просторная комната вышиной в пять метров, с кирпичным полом и голыми стенами, выкрашенными в стальной цвет. Все было окутано тонкой пеленой света, струящийся душ солнечных лучей заливал все уголки, врываясь в огромное окно, обращенное на юг, где виднелся

необъятный Париж. На окне были жалюзи, которые опускались в летние дни, когда солнце палило чересчур жарко. Вся семья жила в этой комнате, с утра до вечера здесь дружно работали люди, спаянные нежной любовью. Каждый устраивался здесь, как ему нравилось, у каждого было свое постоянное место, где он мог с головой уйти в работу. Лаборатория отца занимала добрую половину мастерской — химическая печь, столы для опытов, полки, где стояли всевозможные приборы, застекленные витрины, шкафы, битком набитые пробирками и колбами. В углу старший сын Том *a* устроил свою мастерскую — там находился небольшой кузнечный горн, наковальня, тиски и целый набор инструментов. Сдав экзамен на степень бакалавра, он решил стать простым механиком, чтобы не покидать отца и скромно сотрудничать с ним, помогая ему в некоторых работах. В другом углу великолепно уживались младшие сыновья, Франсуа и Антуан, сидевшие по обеим сторонам широкого стола, где были разбросаны папки и в беспорядке стояли картотеки и вращающиеся этажерки для книг. Франсуа, блестяще окончивший лицей, прошел в числе первых по конкурсу, был принят в Нормальную школу и в настоящее время готовился к экзамену. Антуан уже в третьем классе почувствовал отвращение к классическим наукам, им овладела непреодолимая страсть к рисованию, он сделался гравером по дереву и теперь с увлечением отдавался своему искусству. А возле окна, на самом светлом месте, откуда можно было любоваться необъятным горизонтом, стоял стол, за которым шили и вышивали Бабушка и Мария. Этот уголок с его тканями и легкими вещицами оживлял несколько суровую мастерскую, загроможденную ретортами, рабочим инструментом и толстыми томами.

Но тут Мария крикнула спокойным голосом, явно стараясь, чтобы в нем прозвучали бодрые, веселые нотки:

— Дети, дети! Пришел господин аббат и хочет кое-что рассказать вам об отце.

Дети! Какая нежная, чисто материнская любовь звучала в этом слове, причем девушка называла так рослых молодцов, которых долгое время считала как бы своими младшими братьями.

Том *a* , двадцатитрехлетний гигант, уже обросший бородой, поразительно похожий на отца, с высоким лбом и твердыми чертами, несколько медлительный в движениях и в умственной работе, молчаливый и, пожалуй, нелюдимый, был безгранично предан отцу и радовался, что может, занимаясь ремеслом, быть подручным Гильома и выполнять его распоряжения. Франсуа, младше его на два года, обладал

более тонкими чертами, но таким же могучим лбом и энергичным ртом. Почти одного роста с братом, он был весь — здоровье и сила, и только блеск живых, пронизательных глаз выдавал утонченную умственную жизнь этого ученика Нормальной школы. Самый младший, восемнадцатилетний Антуан, не менее крепкий и красивый, обещавший вскоре сравняться ростом с братьями, отличался от них унаследованными от матери белокурыми волосами и мечтательным взглядом голубых глаз, в которых теплилась беспредельная нежность. Несколько лет тому назад, когда все трое учились в лицее Кондорсе, братьев с трудом различали, их можно было узнать только по росту, поставив рядом по старшинству. Даже теперь их нередко путали, и только когда они стояли друг возле друга, можно было заметить черты отличия, все более проступавшие с годами.

Когда Пьер вошел, все трое усердно трудились и были так поглощены работой, что даже не услышали, как отворилась дверь. И Пьер снова испытал удивление, отметив выдержку и самообладание этих юношей, которые, подобно Марии, несмотря на крайнее беспокойство, принялись за свои обычные занятия. Том *a* в рабочей блузе, стоя у тисков, своими огрубелыми, но ловкими руками выпиливал небольшую медную деталь. Склонившись над пюпитром, Франсуа что-то писал своим крупным, твердым почерком, а на другой стороне стола Антуан с тонким резцом в руках, заканчивал гравюру на дереве для иллюстрированного журнала. Но, услышав звонкий голос Марии, братья подняли голову.

— Дети, новости от отца!

Тут все трое, как по команде, бросили работу и подошли к Пьеру. Перед ним в ряд стояли юноши разного возраста, но удивительно похожие друг на друга, казалось, это были отпрыски какой-то крепкой, могущественной семьи великанов. Как только зашла речь об отце, они слились воедино, и у всех троих в широкой груди билось одно сердце.

В эту минуту отворилась дверь в глубине мастерской, и появилась Бабушка, спустившаяся с верхнего этажа, где она жила, как и Мария, и куда ходила за мотком шерсти. Она пристально смотрела на священника, ничего не понимая.

— Бабушка, — пояснила ей Мария, — это господин аббат Пьер Фроман, брат Гильома, он пришел сюда по его поручению.

Пьер тоже внимательно разглядывал Бабушку, удивляясь, что в семьдесят лет она держится так прямо, полна жизни, умственных сил и энергии. Ее чуть удлинненное лицо, еще носившее следы былой красоты, дышало какой-то величавой прелестью, карие глаза сверкали молодым

блеском, поблекший рот, где сохранились все зубы, не утратил четких очертаний. В прядях черных волос, которые она причесывала по старинной моде, лишь кое-где поблескивали серебряные нити. Высохшие щеки были изрезаны глубокими симметричными морщинами, придававшими ее лицу необыкновенно благородное, властное выражение. Высокая и тонкая, в своем неизменном черном шерстяном платье, даже занимаясь самыми обыденными делами, она походила на королеву-мать.

— Вас послал к нам Гильом, сударь? — спросила она. — Он ранен, не так ли?

Удивляясь, что она догадалась, Пьер повторил свой рассказ.

— Да, ранен в руку. Но особенной опасности нет.

Все трое сыновей дрогнули, Пьер почувствовал, что они всем существом рвутся на помощь, на защиту отца. Пьер подыскивал слова, стараясь их ободрить.

— Он у меня, в Нейи. За ним хороший уход, и, конечно, ему не грозит никаких серьезных осложнений. Он послал меня к вам сказать, чтобы вы не беспокоились о нем.

Бабушка не проявляла ни малейшего волнения. Она слушала с невозмутимым видом, словно рассказывали что-то ей уже известное. Казалось, она даже испытывала облегчение, избавившись от тревоги, которую скрывала от своих близких.

— Если он у вас, сударь, то лучшего нельзя и пожелать, он в полной безопасности... В записке, которую мы получили вчера вечером, он не сообщил, что именно его задержало, это нас удивило, и мы, конечно, вскоре начали бы беспокоиться... Теперь все в порядке.

Подобно Марии, Бабушка и сыновья не стали ни о чем расспрашивать Пьера. На столе он увидел развернутые утренние газеты, где приводилось множество подробностей о взрыве. Наверняка они все прочли и боялись, что их отец замешан в эту ужасную историю. Что было им достоверно известно? Скорее всего они не знают Сальва и не могут восстановить всю цепь непредвиденных событий, закончившихся встречей, а потом взрывом. Без сомнения, Бабушка была больше в курсе дела. Но сыновья и Мария ничего не знают и даже не осмеливаются узнать. Как глубоко они уважают и любят отца, какое безграничное питают к нему доверие, если сразу же все успокоились, услышав, что он просит их не тревожиться о нем!

— Сударыня, — продолжал Пьер, — Гильом велел мне передать вам этот маленький ключик и напомнить, чтобы вы сделали то, что он вам поручил, в случае, если с ним случится несчастье.

Она чуть заметно вздрогнула, принимая от него ключик, но спокойно отвечала, как будто речь шла о самом обыкновенном желании больного.

— Хорошо, скажите ему, что его воля будет исполнена... Но прошу вас, садитесь, сударь.

Пьер до сих пор все время стоял. Но теперь ему волей-неволей пришлось сесть. В этом доме, где, в сущности, он находился среди родных, он все время испытывал неловкость, хотя и старался это скрыть. Мария, не умеющая сидеть сложа руки, снова взялась за вышивание, занявшись тонкой работой, которую она упорно продолжала выполнять для крупной фирмы, выпускавшей приданое для невест и новорожденных; она уверяла, смеясь, что ей хочется заработать на свои мелкие расходы. Бабушка, привыкшая работать даже в присутствии гостей, вернулась к своему всегдашнему занятию — штопке чулок, для чего она и ходила наверх за шерстью. Франсуа и Антуан снова уселись за свой стол, один Том *a* по-прежнему стоял, прислонившись к тискам. Казалось, братья решили дать себе краткую передышку, прежде чем кончить работу. Чувствовалось, что в этой просторной, залитой солнцем комнате всех объединяет нежная, деятельная дружба.

— Значит, завтра мы все пойдем к отцу, — сказал Том *a*.

Мария быстро подняла голову, даже не дав ответить Пьеру.

— Нет, нет, он запрещает его навещать, ведь если за нами проследят, то откроют его убежище... Правда, господин аббат?

— В самом деле, будет благоразумнее, если вы воздержитесь и не обнимете его, пока он не вернется домой. Это дело каких-нибудь двух-трех недель.

Бабушка сразу же выразила свое одобрение.

— Безусловно, так будет разумнее всего.

Сыновья не стали настаивать, хотя и знали, что все это время будут в душе беспокоиться; они мужественно отказывались от посещения, которое доставило бы им великую радость; такова была воля отца, и, быть может, от этого зависело его спасение.

— Господин аббат, — снова заговорил Том *a*, — пожалуйста, скажите отцу, что если работа во время его отсутствия здесь будет прервана, то лучше мне вернуться на завод, там удобнее продолжать те изыскания, которыми мы заняты.

— И, пожалуйста, передайте ему от меня, — в свою очередь, сказал Франсуа, — чтобы он не беспокоился о моем экзамене. Все идет прекрасно. Я почти уверен в успехе.

Пьер обещал все в точности передать. Но Мария с улыбкой смотрела на Антуана, который молчал, глядя куда-то вдаль.

— А ты, малыш, ничего не хочешь ему передать?

Юноша, словно пробудившись от сна, тоже улыбнулся.

— Конечно, хочу. Пусть ему скажут, что ты крепко его любишь и с нетерпением ожидаешь, собираясь подарить ему счастье.

Все засмеялись, в том числе и Мария. Девушка ничуть не смутилась и дышала спокойной радостью, уверенно глядя в будущее. Ее связывала с юношами лишь веселая дружба. И Бабушка тоже улыбнулась поблекшими губами, радуясь близкому счастью, которое обещала им жизнь.

Пьер решил посидеть еще несколько минут. Завязался разговор, и его изумление все возрастало. Он думал, что увидит каких-то отщепенцев, ведущих беспорядочный образ жизни, бунтарей, отвергающих всякую мораль. А между тем он очутился в атмосфере нравственной чистоты и нежности, в семье, где царила строгая, даже несколько суровая, почти монастырская дисциплина, смягченная молодостью и весельем. Просторная мастерская как бы дышала мирным трудом и была пронизана теплыми лучами солнца. Но особенно его поражала благовоспитанность, твердость духа и мужество этих юношей, которые, не выдавая своих личных чувств, не позволяли себе критиковать отца, довольствуясь тем, что он велел им передать, выжидали дальнейших событий и молча, стоически продолжали свою обычную работу. Что может быть проще, достойнее и выше этого? Он обратил внимание и на радостную, героическую решимость Бабушки и Марии, спальни которых находились над лабораторией, где изготовлялись самые ужасные взрывчатые вещества и всегда можно было ожидать взрыва.

Но мужество, дисциплинированность и достоинство этих людей только вызвали удивление Пьера, ничуть его не трогая. Ему не приходилось жаловаться, его встретили вполне вежливо, пожалуй, даже тепло, а ведь он был чужой, вдобавок священник. И, несмотря на все, он был враждебно настроен, чувствуя, что находится среди людей, которые не в состоянии понять его душевных терзаний и даже не подозревают о них. Как могут эти люди, не имеющие никакой религии, кроме веры в науку, жить такой спокойной и счастливой жизнью, постоянно созерцая чудовищный рокошущий Париж, раскинувшийся перед ними подобно бескрайнему морю и таящий в своих недрах столько несправедливости и страданий? Повернувшись к широкому окну, он поглядел на гигантский город, где днем и ночью бурлила неугомонная жизнь. В этот час

опускавшееся к горизонту зимнее солнце рассыпало над Парижем лучезарную пыль. Казалось, какой-то сеятель, не различимый в солнечном ореоле, разбрасывал пригоршнями золотые зерна и они разлетались во все стороны сияющим роем. Необозримый хаос крыш и величавых зданий походил на огромное поле, которое взрезал глубокими бороздами какой-то гигантский плуг. И Пьер, в своем душевном смятении упорно цеплявшийся за надежду, спрашивал себя, не является ли это символом некоего благого посева. Перед ним Париж, засеянный светом божественного солнца для великой жатвы грядущего, жатвы истины и справедливости, в которой он отчаялся.

Наконец Пьер встал и направился к выходу, обещав немедленно же сообщить, если произойдет какое-либо ухудшение. Мария проводила его до наружной двери. И там ею вновь овладело столь ненавистное ей ребяческое смущение, — решив, в свою очередь, передать раненому несколько ласковых слов, она вся зарделась. Но Мария храбро проговорила, глядя священнику в глаза своими веселыми и чистыми глазами:

— До свидания, господин аббат... Скажите Гильому, что я его люблю и жду.

III

Прошло три дня. В маленьком домике предместья Нейи Гильом горел в лихорадке, прикованный к постели, и умирал от нетерпения. Каждое утро, когда приносили газеты, он испытывал жестокую тревогу. Пьер пытался было прятать их от него. Но он увидел, что брат тогда больше волнуется; волей-неволей ему приходилось читать Гильому вслух все, что появлялось на тему о взрыве. Неиссякаемый поток самых невероятных новостей заливал страницы газет.

Это было беспрецедентное половодье сенсаций. Даже «Глобус», обычно столь серьезный и осторожный, не избежал этого, заразившись всеобщими слухами. Стоило посмотреть, до чего доходили газеты, не отличавшиеся принципиальностью, в особенности «Голос народа», который разжигал всеобщую горячку, запугивал публику, доводил ее до умоисступления с целью повысить свой тираж и розничную продажу. Каждое утро преподносилась новая выдумка, чудовищная история, ошеломлявшая читателей. Сообщали, что барон Дювильяр ежедневно получает наглые письма, в которых угрожают убить его жену, дочь и

сына, резать его самого и взорвать особняк; поэтому особняк день и ночь охраняет целая куча агентов в штатском платье. Или потрясающее известие о том, что анархисты якобы проникли в подземные трубы для стока нечистот в районе церкви Мадлен, вкатили туда бочки с порохом и минировали весь квартал, подготовив извержение вулкана, которое уничтожит половину Парижа. Или передавалось, будто обнаружили какой-то грандиозный заговор, протянувший щупальца по всей Европе из недр России до самого сердца Испании, причем сигнал к повсеместному восстанию будет подан из Франции; произойдет трехдневная резня, бульвары будут опустошены картечью, и воды Сены станут красными от крови. Пресса сделала свое прекрасное, разумное дело, — и в городе царил ужас, перепуганные иностранцы один за другим уезжали из гостиниц. Париж превратился в сумасшедший дом, где верили самым бессмысленным, кошмарным небылицам.

Но все это ничуть не беспокоило Гильома. Он по-прежнему тревожился только за Сальва. Сальва еще не был арестован, и, судя по газетным сообщениям, до сих пор не попали на его след. Но однажды Пьер прочел известие, которое заставило раненого побледнеть.

— Слушай! Оказывается, под аркой особняка Дювильяров в куче обломков был найден пробойник, на ручке которого фамилия Грандидье, небезызвестного владельца завода. И сегодня этого Грандидье вызывают к следователю.

Гильом в отчаянии махнул рукой.

— Ну, конец, на этот раз они попали на верный след. Несомненно, этот инструмент уронил Сальва. Он работал у Грандидье, перед тем как на несколько дней пришел ко мне... А у Грандидье они все разузнают, и им останется только разматывать клубок.

Тут Пьер вспомнил, что на Монмартре упоминали про завод Грандидье, где по временам еще работал старший сын, механик Том *a*, прошедший там ученичество. Но Пьер не решался расспрашивать брата, чувствуя, что его тревога слишком серьезна, слишком возвышенна, слишком далека от низкого страха за себя.

— Ты мне как раз говорил, — продолжал Гильом, что Том *a* решил в мое отсутствие поработать на заводе над новым двигателем, который он изобретает и уже почти закончил. И если там будет обыск, ты представляешь себе, что произойдет: его начнут допрашивать, а он откажется отвечать, оберегая свой секрет!.. О, необходимо его предупредить, предупредить немедленно!..

Пьер не дал ему договорить и тут же предложил свои услуги.

— Если хочешь, я сегодня же днем пойду на завод и поговорю с Томом. И заодно я, может быть, встречу Грандидье и узнаю у него, о чем шла речь у следователя и как обстоит дело.

Гильом поблагодарил его взглядом увлажненных глаз и горячим пожатием руки.

— Да, да, братец, сделай так, это будет хорошо и благородно.

— Я и без того собирался сегодня сходить на Монмартр, — продолжал священник. — Я ничего тебе не говорил, но меня все время мучает одна мысль. Если Сальва скрылся, то, значит, он бросил жену и дочку на произвол судьбы. В тот день, когда произошло покушение, я видел их утром, и они в такой нужде, в такой нищете. Как подумаю, что эти несчастные, всеми покинутые существа, быть может, умирают с голоду, у меня прямо сердце разрывается. Если в семье нет мужчины, жена и ребенок погибают...

Гильом, все еще не выпуская руку Пьера, сжал ее еще крепче и сказал дрогнувшим голосом:

— Да, да, это будет хорошо и благородно. Сделай это, братец, сделай это.

Дом на улице Вётел, ужасный дом, где царили нищета и страдания, врезался в память Пьеру и представлялся ему какой-то чудовищной клоакой, где парижская беднота обречена на медленную смерть. И на этот раз, придя туда, он увидел все ту же липкую грязь, двор, полный нечистот, черные лестницы, сырые и зловонные, все ту же заброшенность и нужду. Зимой, когда в центре города в богатых кварталах сухо и чисто, кварталы нищеты остаются такими же мрачными и грязными, потому что там непрестанно топчется злополучное человеческое стадо.

Пьер быстро нашел лестницу, которая вела к Сальва, и стал взбираться по ней. Со всех сторон раздавался рев малышей, но порой крики смолкали, и дом погружался в гробовое молчание. Тут ему вспомнился старый Лавев, который умер где-то в углу, как собака под уличной тумбой, и он весь похолодел от ужаса. Поднявшись наверх, он постучал в дверь и невольно вздрогнул, когда никто не отозвался. Ни звука, ни души...

Он снова постучал и, не услышав ни малейшего шороха, решил, что в комнате никого нет. Может быть, Сальва вернулся домой, захватил с собой жену и ребенка, все трое бежали за границу и спрятались в какой-нибудь норе. Однако это было трудно допустить, — Пьер знал, что бедняки не переезжают с места на место и умирают там, где страдали. И он тихонько постучал в третий раз.

Наконец в глубокой тишине он различил легкий звук, чуть слышный звук маленьких шажков. Потом слабенький детский голос робко спросил:

— Кто там?

— Господин аббат.

Снова тишина, все замерло. Видимо, девочка раздумывала и колебалась.

— Господин аббат, который приходил на днях.

Эти слова положили конец колебаниям. Дверь приоткрылась, и маленькая Селина впустила священника.

— Извините, господин аббат, мама Теодора вышла, а она мне строго-настрого велела, чтобы я никому не открывала.

На мгновение Пьеру пришло в голову, что Сальва здесь. Но он мигом оглядел комнату, где уютилась вся семья. Г-жа Теодора, конечно, боялась, что нагрянет полиция. Виделась ли она с мужем? Знает ли она, где он скрывается? Забежал ли он домой обнять и успокоить жену и дочку?

— А твоего папы, малютка, здесь тоже нет?

— О нет, господин аббат, у него были дела, и он ушел.

— То есть как ушел?

— Да, он не вернулся на ночь, и мы не знаем, где он.

— Может быть, он где-нибудь работает?

— О нет, а то он прислал бы денег.

— Значит, он куда-нибудь поехал?

— Не знаю.

— Наверно, он писал маме Теодоре?

— Не знаю.

Пьер больше ее не расспрашивал, ему стало не по себе при мысли, что он что-то выпытывает у одиннадцатилетней девочки, оказавшись с ней с глазу на глаз. Возможно, что ей и в самом деле ничего не известно, так как Сальва из осторожности не дал о себе знать своим. Белокурая девчушка смотрела на него такими правдивыми глазами и у нее было такое умненькое и нежное личико, не по годам серьезное, как у детей, выросших в крайней нищете.

— Как досадно, что я не застал госпожу Теодору, мне нужно с ней поговорить.

— Тогда, может быть, вы ее подождете, господин аббат... Она отправилась к дяде Гуссену на улицу Маркаде и скоро вернется, ведь уже больше часу как она ушла.

И девочка стряхнула со стула валявшуюся на нем горсть щепок, подобранных на каком-нибудь пустыре.

В камине не было огня, а в комнате, видимо, ни куска хлеба, — голые стены и ледяной холод. Чувствовалось, что отсутствует мужчина, тот, кто воплощает в себе волю и силу, на кого возлагают надежды даже после долгих недель безработицы. Мужчина уходит из дому, скитается по городу и нередко приносит самое необходимое — горбушку хлеба, которую делят между всеми и которая не дает умереть с голоду. Но когда мужчина оставляет семью, приходит черная нужда, жена и ребенок терпят бедствие, лишившись помощи и поддержки.

Пьер сидел и смотрел на несчастную девочку с лучистыми голубыми глазами и крупным ртом, и под конец она начала улыбаться. Он не удержался от вопроса:

— Так ты не ходишь в школу, дитя мое?

Малютка слегка покраснела.

— У меня нет башмаков, как же мне туда ходить?

Тут он заметил, что на девочке старые рваные носки, из которых выглядывали покрасневшие от холода пальчики.

— А потом, — продолжала она, — мама Теодора говорит, что в школу не ходят, когда нечего есть... Мама Теодора хотела работать, но не могла, потому что у нее сразу начинает резать глаза и текут слезы... И вот мы не знаем, что делать, у нас ничего нет со вчерашнего дня, и нам крышка, если дядя Туссен не одолжит ей двадцать су.

Селина бессознательно улыбалась, а на глаза у нее навернулись крупные слезы. Было так ужасно видеть эту малютку, которая сидит, запершись, в пустой комнате и никого не впускает, словно отрезанная от мира счастливых. И в душе священника вновь пробудился яростный протест против нищеты, эта потребность в социальной справедливости, которая владела им теперь безраздельно после крушения всех его верований.

Подождав десять минут, он начал испытывать нетерпение, вспомнив, что ему еще надо пойти на завод Грандидье.

— Это просто удивительно, что мама Теодора не приходит, — повторяла Селина. — Верно, она заболталась.

Тут у нее блеснула мысль.

— Если хотите, господин аббат, я вас провожу к дяде Туссену. Это совсем рядом, только за угол завернуть.

— Но ведь ты без башмаков, дитя мое.

— О, не беда, я и так хожу.

Он поднялся и сказал:

— Ну, что же, так будет лучше, проводи меня. Я куплю тебе башмаки.

Селина густо покраснела. Вслед за Пьером она быстро вышла из комнаты и как хорошая маленькая хозяйка заперла дверь на два оборота ключа, хотя ей нечего было оберегать.

Госпоже Теодоре вздумалось, прежде чем идти за деньгами к своему брату Туссену, попытать счастья у младшей сестры Гортензии, которая была замужем за чиновником, маленьким Кретьенно, и жила в квартире из четырех комнат на бульваре Рошешуар. Но это был очень трудный шаг, и она решилась на него скрепя сердце, только потому, что Селина ничего не ела со вчерашнего дня.

Старшему брату, механику Туссену, было пятьдесят лет. Он был от первого брака. Его отец, овдовев, женился во второй раз на молоденькой портнихе, которая родила ему трех дочерей — Полину, Леонию и Гортензию. Поэтому старшая из них, Полина, была на десять лет моложе Туссена, а младшая, Гортензия, — на целых восемнадцать. Когда отец умер, на руках у Туссена оказались мачеха и три сестры. Хуже всего было то, что юный Туссен уже имел жену и ребенка. К счастью, его мачеха, женщина энергичная и умная, умела устроиться в жизни. Она снова стала работать в швейной мастерской, где уже находилась в обучении Полипа. Потом она устроила туда и Леонию и только младшую Гортензию, самуюмышленную и красивую, которую баловала и успехами которой гордилась, оставила в школе. Впоследствии Полина вышла замуж за каменщика Лабита, а Леония — за механика Сальва. Что до Гортензии, то она поступила продавщицей в кондитерскую на улице Мучеников и познакомилась там с чиновником Кретьенно, который пленился девушкой, но не сумел сделать своей любовницей и женился на ней. Леония умерла в молодых годах, через несколько недель после кончины матери, обе от тифа. Оставленная мужем Полина голодала, живя со своим шурином Сальва, дочь которого звала ее мамой. И одна Гортензия, жена буржуа, щеголяла по воскресеньям в шелковом платье, жила в новом доме, но жизнь ее была сущим адом, полным ужасающих лишений.

Госпожа Теодора прекрасно знала, как туго приходится сестре всякий раз в конце месяца. Поэтому она не без волнения решилась попросить у нее взаймы. К тому же Кретьенно, мало-помалу ожесточившийся в борьбе с лишениями, с тех пор как жена стала увядать, начал винить ее во всех своих жизненных неудачах и не желал видеть ее родных, которых стыдился. У Туссена, по крайней мере, чистое ремесло. Но эта Полина, эта г-жа Теодора, которая живет со своим шурином на

глазах у девочки, этот Сальва, который скитается из мастерской в мастерскую, этот иступленный фанатик, которого чураются все хозяева, весь этот бунт, вся эта нищета, вся эта грязь под конец стали ненавистны маленькому чиновнику, педантичному и тщеславному, озлобленному тяжелой жизнью. И он запретил Гортензии принимать сестру.

И все же, войдя в дом на бульваре Рошешуар и поднимаясь по лестнице, устланной ковром, г-жа Теодора испытывала некоторую гордость при мысли, что ее сестра живет в такой роскоши. Квартира находилась на четвертом этаже, за нее платили семьсот франков в год, и все окна выходили во двор. Служанка уже вернулась, чтобы подать обед, так как было около четырех. Она знала г-жу Теодору и впустила ее, удивляясь и беспокоясь, что та осмелилась появиться у них в таком нищенском виде. Переступив порог маленькой гостиной, г-жа Теодора оцепенела от испуга, увидав, что ее сестра Гортензия горько рыдает, упав ничком на одно из кресел, обитых голубым репсом, которыми она так гордилась.

— Что с тобой? Что случилось?

Гортензия, которой едва исполнилось тридцать два года, уже не была прежней красавицей. Высокая, изящная, она все еще напоминала белокурую куклу прекрасными своими глазами и великолепными волосами. Но она перестала следить за собой, опустила и ходила в халатах сомнительной чистоты; веки у нее покраснели, нежная кожа начинала увядать. Ее красоте сильно повредили роды; она произвела на свет одну за другой двух девочек, которым было теперь девять и семь лет. Тщеславная и эгоистичная, она также считала свой брак неудачным, и ей казалось, что такая красавица, какой она была в юности, должна бы выйти замуж за прекрасного принца, жить во дворце и разъезжать в каретах.

Она была в таком отчаянии, что даже не удивилась появлению сестры.

— Ах, это ты! Ах, если бы ты знала, что на меня свалилось вдобавок ко всем неприятностям!

Госпожа Теодора сразу же подумала, что речь идет о дочках Гортензии, Люсьенне и Марсели.

— Твои девочки больны?

— Нет, нет, соседка гуляет с ними на бульваре... Дорогая моя, представь себе, я опять забеременела! Сперва я надеялась, что это просто задержка, но пошел уже второй месяц. И когда сегодня после завтрака я сказала об этом Кретъенно, он страшно разозлился, наговорил мне всяких

гадостей, кричал, что в этом я сама виновата. Как будто это зависит от меня! Ну и попалась же я, у меня и так хватает горя!

Гортензия снова расплакалась, но продолжала говорить невнятным, прерывающимся голосом. Они с мужем прямо поражены, ведь они готовы на все, лишь бы не иметь третьего ребенка, и уже давно не позволяют себе ничего серьезного, только маленькие шалости. К счастью, муж знал, что она не способна ему изменить, до того она была вялая, мягкотелая и больше всего на свете оберегала свой покой.

— Боже мой! — вырвалось у г-жи Теодоры. — Если явится на свет этот ребенок, вы будете его воспитывать, как и тех, других.

Гортензия так разозлилась, что слезы мигом высохли у нее на глазах. Она вскочила и крикнула:

— Подумаешь, какая добрая! Сразу видно, что ты в моей шкуре не была. На какие это средства мы будем его воспитывать, когда и так еле сводим концы с концами?

И, позабыв свою мещанскую спесь, которая обычно заставляла ее о многом умалчивать или даже лгать, она рассказала о нужде в деньгах, об этой ужасной язве, которая их мучает круглый год. За квартиру приходится платить теперь уже семьсот франков. Муж получает в своей конторе три тысячи франков в год, и они могут тратить всего каких-нибудь двести франков в месяц. И как тут обернешься, когда необходимо питаться им четверым, одеваться и поддерживать свое положение? Муж должен иметь фрак, жена — новое платье, чтобы не уронить себя в глазах общества, на девочек не напасешься башмаков, стаптывают в одни месяц, и вдобавок уйма всяких расходов, которых никак не избежишь. Можно урезать обед на одно блюдо, отказаться от вина, но в иных случаях приходится вечером нанимать экипаж. Дети постоянно вводят в расходы, жена в унынии опустила руки и забросила хозяйство, муж впал в отчаяние, видя, что им никогда не выкрутиться, даже если ему в один прекрасный день, против ожидания, повысят оклад до четырех тысяч. По существу говоря, мелкий чиновник так же страдает от недостатка средств, как рабочий от черной нищеты. Вдобавок лживая роскошь, за обманчивым фасадом скрывается беспорядок и мучительная нужда. И все это люди готовы вытерпеть из тщеславия, лишь бы не работать у станка или на лесах.

— Но как бы там ни было, — снова сказала г-жа Теодора, — вы же не задушите этого малютку?

Гортензия опять упала в кресло.

— Конечно, нет, — но тогда всему конец! Уже двух детей и то было слишком много, а тут еще третий. Что же будет с нами, боже мой! Что же с нами будет?

Она сидела с унылым видом, в растерзанном капоте, и слезы текли ручьями из ее воспаленных глаз.

Досадуя, что она пришла в такой неурочный час, г-жа Теодора все же отважилась попросить займы двадцать су. Тут отчаяние Гортензии прорвалось с новой силой.

— Честное слово, у меня нет ни одного сантима в доме. Я только что заняла у служанки для детей десять су. Третьего дня мне дали в ломбарде за маленькое колечко девять франков. И так всегда бывает в конце месяца... Кретьенно сегодня получает жалованье, он вернется пораньше, и только тогда будет на что пообедать. Постараюсь завтра тебе прислать что-нибудь, если будет возможность.

В этот миг вбежала испуганная служанка, знавшая, что хозяин не переваривает родню жены.

— Ах, сударыня, сударыня! Я услышала на лестнице шаги мосье.

— Скорей, скорей! Уходи! — воскликнула Гортензия. — Он опять закатит мне сцену. Завтра постараюсь, обещаю тебе.

Госпоже Теодоре пришлось спрятаться в кухне, чтобы избежать встречи с Кретьенно. Она видела, как вошел этот маленький человек, как всегда, безупречно одетый, в наглухо застегнутом сюртуке, узколиций, с окладистой выхоленной бородой и желчным, надменным выражением лица. Проработав четырнадцать лет в канцелярии, он очерствел душой, чему помог и кофе, за которым он просиживал долгие часы в соседнем ресторане.

Госпожа Теодора поспешила уйти.

Медленно, с трудом передвигая ноги, она вернулась на улицу Маркаде, где жили Туссены. От брата она тоже не ожидала существенной помощи, зная, какая его постигла беда и какие трудности испытывает семья. Прошлой осенью с Туссеном, которому уже исполнилось пятьдесят лет, случился удар, стал развиваться паралич, и бедняга на пять месяцев оказался прикованным к креслу. Всю свою жизнь он был образцового поведения, усердно работал, не пил и воспитывал троих детей. Дочь вышла замуж за столяра и переехала с ним в Гавр; один из сыновей умер на военной службе в Тонкине; другой, Шарль, вернувшись из армии, стал по-прежнему работать механиком. Но за пять месяцев болезни Туссена была истрачена небольшая сумма, лежавшая в сберегательной кассе, и теперь, когда он встал на ноги и еще не совсем

окреп, ему приходилось начинать жизнь заново, без гроша в кармане, как двадцатилетнему юноше.

Госпожа Теодора застала свою невестку, г-жу Туссен, одну в очень чистенькой комнате, в которой жила вся семья; рядом находилась лишь тесная каморка, где спал Виктор. Г-жа Туссен была тучна и все продолжала полнеть, несмотря на невзгоды и недоедание. На ее круглом, расплывшемся лице блестели маленькие живые глаза. Эта славная женщина любила посудачить, полакомиться, у нее был единственный недостаток — она обожала вкусно готовить. Не успела г-жа Теодора и слова вымолвить, как невестка уже догадалась о цели ее прихода.

— Дорогая моя, вы очень неудачно пришли, у нас полное безденежье. Туссен только третьего дня вернулся на завод, и сегодня вечером ему придется попросить аванс.

Она смотрела на г-жу Теодору без особого сочувствия, с недоверием, пораженная ее жалким видом.

— Что, Сальва все еще ходит без дела?

Без сомнения, г-жа Теодора предвидела этот вопрос, так как она спокойно ответила:

— Его нет в Париже, один приятель обещал ему работу и увез куда-то в сторону Бельгии. Он вскоре должен нам кое-что прислать.

Госпожа Туссен все еще поглядывала на нее с недоверием.

— А! Хорошо, что его нет в Париже, а то мы вспоминали о нем, когда началась заваруха с бомбами, и нам думалось, что у него, мол, хватит безрассудства ввязаться в эту историю.

Гостья и глазом не моргнула. Если у нее и были кое-какие подозрения, она хранила их про себя.

— Ну, а вы, моя дорогая, не находите никакой работы?

— Чем прикажете мне заняться с моими несчастными глазами? Я больше не могу шить.

— Правда ваша. На работе женщина быстро изнашивается. Так вот и я, когда Туссен лежал здесь без ног, хотела было опять взяться за прежнюю свою работу, за стирку. И что бы вы думали! Я только портила белье, ничего у меня не получалось... Вот по хозяйству мы еще можем работать. Почему бы не наняться вам служанкой?

— Я ищу места, да вот не нахожу.

От природы добрая, г-жа Туссен уже начинала жалеть эту несчастную, на которой лежала печать нищеты. Она усадила невестку и сказала, что, если Туссен получит аванс, она что-нибудь ей уделит. Потом дала волю своему языку, радуясь, что нашла слушательницу. Она без

конца пересказывала все ту же волновавшую ее историю о своем сыне Шарле и о служанке из винного погребка, что против них: он имел глупость с ней спутаться, и появился ребенок. Раньше, до военной службы, Шарль был на редкость усердным работником и уж таким нежным сыном, — весь свой заработок отдавал. Ну конечно, он и теперь неплохой работник и славный парень, но все-таки он в армии малость разболтался и отвык от работы. Не сказать, что он жалеет о военной службе, он называет казарму тюрьмой, и все такой же молодец. Только как взялся он за работу, инструмент показался ему тяжеленек.

— Так вот, моя дорогая, хотя Шарль по-прежнему мил с нами, он больше ничем не может нам помочь... Я знала, что он не торопится жениться, не хочет лезть в петлю. Он держал с девицами ухо востро. И надо же было ему так сплутить, подвернулась ему эта Эжени, которая подавала ему вино, когда он заходил в погребок выпить стаканчик... Ясное дело, он не собирался на ней жениться, хоть и приносил ей апельсины, когда ее положили в родильный дом. Грязная уличная девка, которая уже сбежала с другим мужчиной... Ну, а ребенок-то остался. Шарль его усыновил, отдал на воспитание кормилице и платит за него всякий месяц. Сущее разорение, конца не видно расходам. Одним словом, все шишки на нашу голову валяются.

Госпожа Туссен болтала уже добрых полчаса, но внезапно она замолкла, увидав, что невестка побледнела, устав от ожидания.

— Что? Вы, видно, торопитесь? А ведь Туссен не так-то скоро вернется. Хотите, пойдем к нему на завод? Я узнаю, получит ли он сегодня хоть что-нибудь.

Женщины спустились по лестнице и внизу задержались еще на четверть часа, разговаривая с соседкой, только что потерявшей ребенка. Наконец они вышли на улицу. Но вдруг раздался детский голосок:

— Мама! Мама!

Это была маленькая Селина, она шла с сияющим видом в новых башмаках, уписывая сдобную булочку.

— Мама, с тобой хочет поговорить господин аббат, что был у нас на этих днях... Посмотри-ка, что он мне купил!

Госпожа Теодора, бросив взгляд на башмаки и на булочку, сразу поняла, в чем дело. Она задрожала и стала бормотать слова благодарности, когда вслед за девочкой к ней подошел Пьер. Г-жа Туссен поспешила ему представиться, но ни о чем не стала его просить, радуясь, что невестке, которая еще беднее ее, выпала такая удача. Увидев, что священник сунул в руку г-же Теодоре десятифранковую монету, она

сообщила, что охотно бы одолжила невестке денег, да у нее нет ни гроша, и опять стала рассказывать, как с Туссенем случился удар и какая неудача постигла Шарля.

— Слушай, мама, — перебила тетку Селина, — ведь завод, где работал папа, на этой самой улице? Господину аббату нужно туда пойти по делу.

— Завод Грандидье, — подхватила г-жа Туссен, — да мы как раз туда направляемся и охотно проводим господина аббата.

Оставалось пройти какую-нибудь сотню шагов. Сопровождаемый женщинами и девочкой, Пьер замедлил шаги, желая порасспросить г-жу Теодору о Сальва, как он себе наметил. Но та сразу насторожилась. Она давно не видела мужа, он сейчас где-то в Бельгии, куда поехал с одним приятелем на работу. И священник понял, что Сальва не решился вернуться на улицу Вётел, ведь его покушение не удалось, и теперь все рухнуло — прошлое со всеми его трудами и надеждами и настоящее вместе с его ребенком и женой.

— Смотрите, господин аббат, вот и завод, — сказала г-жа Туссен. — Моей невестке больше не приходится ждать, раз вы ей так великодушно помогли... Благодарю вас за нее и за нас.

Госпожа Теодора и Селина тоже благодарили. Они стояли с г-жой Туссен на тротуаре, покрытом липкой грязью, никогда не высыхающей в этом людном квартале. Прохожие толкали их со всех сторон, но они смотрели, как Пьер входил в ворота завода, и толковали о том, что все-таки попадают очень милые священники.

Завод Грандидье занимал обширную территорию. На улицу выходил только кирпичный корпус с узкими окнами и высоким порталом, через который виднелся огромный двор. Далее тянулись жилые флигеля, мастерские, склады и множество всяких построек, над крышами которых поднимались две высокие трубы от паровых котлов. Уже при входе на завод было слышно пыхтение, мерный стук машин, глухие голоса рабочих — там кипел неустанный, лихорадочный труд, целый день не смолкал оплунительный грохот, от которого сотрясалась земля. Струились ручьи черной воды. Над одной из крыш тонкая труба ритмически, со свистом выбрасывала клубы белого пара, и казалось, это дышал гигантский трудовой улей.

Теперь завод, плавным образом, выпускал велосипеды. Когда Грандидье, окончивший в Шалоне политехническое училище, вступил во владение этим предприятием, завод находился в полном упадке, руководство было не на высоте, оборудование устарело и выпускались

только небольшие моторы. Предугадывая будущее, Грандидье вошел в компанию со своим старшим братом, одним из директоров крупных магазинов дешевых товаров, и обязался ему поставлять превосходные велосипеды по сто пятьдесят франков штука. Дело приняло широкий оборот, магазины дешевых товаров вводили в моду общедоступную машину — «Лизетту», велосипедный спорт для всех, как говорилось в объявлениях. Но Грандидье продолжал борьбу, победа еще не была одержана, так как новое оборудование ввело его в огромные долги. Каждый месяц делались новые усилия, вводились усовершенствования, упрощались производственные процессы с целью экономии. Он был все время настороже и теперь мечтал снова выпускать небольшие двигатели, предчувствуя, что вскоре восторжествуют автомобили.

На вопрос священника ответили, что г-н Том *a* Фроман сейчас на заводе, и старый рабочий проводил священника в небольшую дощатую мастерскую. Там он увидел молодого человека, одетого, как простой слесарь, в рабочую блузу, с черными от металлических опилок руками. Он прилаживал какую-то деталь, и, глядя на этого двадцатитрехлетнего гиганта, так внимательно и усердно выполняющего тяжелую работу, никто бы не узнал блестящего ученика лица Кондорсе, где в списке учеников, удостоившихся наград, красовались имена трех братьев, с честью носивших фамилию Фроман. Но он стал ближайшим помощником отца, хотел быть только его рукой, которая кует для него и делает всю подготовительную работу. Он был воздержан, терпелив и несловоохотлив, даже не имел любовницы и говорил, что если когда-нибудь встретит хорошую женщину, то женится на ней.

— Что, отцу стало хуже?

— Нет, нет... Он прочел в газетах о пробойнике, найденном на улице Годо-де-Моруа, и опасается, что полиция сделает здесь обыск.

Том *a* сразу успокоился и даже улыбнулся.

— Скажите ему, что он может спать спокойно. Прежде всего наш маленький мотор, к сожалению, далеко не готов, я до сих пор не добился, чего хотел. А потом, он еще не собран, некоторые части остались у меня дома, и здесь никто даже толком не знает, чем я занимаюсь. Пусть себе полицейские делают обыск, они ничего не обнаружат, наша тайна не подвергается никакой опасности.

Пьер обещал повторить Гильому все это дословно, чтобы его успокоить. Но когда он начал расспрашивать Том *a*, пытаясь узнать, как обстоит дело, что говорят на заводе о находке пробойника и начинают ли подозревать Сальва, юноша проплотил язык и стал отвечать лишь

односложными словами. Так полиция еще не приходила? Нет. Но рабочие, вероятно, называли имя Сальва? Ну конечно, ведь все знают, что он анархист. А что сказал патрон, Грандидье, вернувшись с допроса? Он, Том *a*, ничего не знает, он не видел патрона.

— А вот и он!.. Бедняга, у его жены сегодня утром, наверное, опять был припадок!

Эту печальную историю Пьер уже слышал от Гильома. Грандидье женился по любви на девушке замечательной красоты. Но пять лет назад, потеряв новорожденного сына, она помешалась от горя, чему способствовала и родильная горячка. У мужа не хватило духу поместить ее в психиатрическую больницу, он жил с ней в небольшом флигеле, окна которого, выходящие на двор завода, никогда не открывались. Ее никто не видел, и он ни с кем о ней не говорил. Рассказывали, что она стала как малое дитя, безобидная, кроткая и очень печальная, все еще красивая, с белокурыми волосами, как у принцессы. Но временами у нее бывали ужасающие припадки, ему приходилось с ней бороться и целыми часами крепко держать ее, обхватив обеими руками, чтобы она не разбила себе голову об стену. Слышны были раздирающие крики, потом воцарялось гробовое молчание.

Но вот в мастерскую, где работал Том *a*, вошел Грандидье красивый сорокалетний мужчина, светлоглазый, остриженный бобриком, с энергичным лицом и пышными темными усами. Он очень любил Том *a*, относился к нему как к сыну, чем облегчил ему ученичество. Он позволял ему приходить на завод в любое время и пользоваться всем оборудованием. Зная, что юноша занят проблемой маленьких двигателей, живо интересовавшей его самого, он не проявлял ни малейшего любопытства и терпеливо выжидал, ни о чем не расспрашивая.

Том *a* представил ему священника.

— Это мой дядя, господин аббат Пьер Фроман, он пришел меня проведать.

Обменялись приветствиями. Грандидье, лицо которого всегда выражало грусть, отчего многие считали его строгим и суровым, решил проявить общительность и заговорил веселым тоном:

— Скажите, Том *a*, кажется, я вам еще не рассказывал, как меня допрашивал следователь. Я на хорошем счету, а не то к нам нагрянули бы все ищейки из префектуры... Он допытывался у меня, каким образом этот пробойник с моей маркой очутился на улице Годо-де-Моруа. И я мигом догадался, о чем он думает: он подозревает, что человек, бросивший

бомбу, работал у меня... А мне сразу же пришел на ум Сальва. Но я не имею привычки выдавать людей. Он просмотрел книгу найма рабочих, а когда спросил меня о Сальва, я ответил, что прошлую осень тот три месяца проработал у меня на заводе, а потом куда-то исчез. Ищи ветра в поле!.. Ну уж и следователь! Маленький блондин, очень следит за собой, вид самый светский. Он так и вцепился в это дело, и глаза у него горят, как у кошки.

— Это не Амадье ли? — спросил Пьер.

— Он самый. Видно, этот человек прямо в восторге от подарка, который ему преподнесли эти бандиты анархисты, швырнув бомбу.

Священник слушал с замиранием сердца. Случилось то, чего так боялся его брат, наконец напали на след, нащупав руководящую нить. Он взглянул на Том *a*, стараясь догадаться, взволнован ли тот. Но то ли молодому человеку было неизвестно, какими узами связан Сальва с его отцом, то ли он превосходно владел собой, но он спокойно улыбался, когда хозяин завода описывал следователя.



Потом

Грандидье стал рассматривать деталь, которую заканчивал Том *a*, они начали подробно ее обсуждать. Пьер подошел к открытой двери и увидел перед собой длинный цех, где пыхтели огромные цилиндры и шатуны сверлильных машин ритмически ударили, издавая сухой звук. Мелькали в стремительном движении приводные ремни. Горячая работа кипела в воздухе, насыщенном влажными парами. Множество людей, потных и черных от пыли, все еще трудились. Но день подходил к концу, урочная работа была уже почти выполнена. Трое рабочих подошли умыться руки к крану, близ которого стоял священник, и он прислушался к их разговору.

Особенно он заинтересовался, услышав, как одни из них, рыжий детина, назвал другого Туссенем, а третьего — Шарлем. Это были отец и сын. Туссен — плотный мужчина с квадратными плечами и жилистыми

руками; ему можно было дать пятьдесят лет, лишь взглянув на его крупное, темное, как обожженная глина, лицо, изрезанное морщинами, постаревшее от непосильного труда и обросшее седоватой щетиной, которую он сбривал лишь по воскресеньям; правая его рука после паралича двигалась медленнее левой, когда он жестикулировал. Шарль, двадцатипятилетний парень, живой портрет отца, был в расцвете сил. На его полном лице резко выделялись густые черные усы, на белых руках выступали буграми великолепные мускулы. Они тоже говорили о бомбе, брошенной возле особняка Дювильера, о найденном там пробойнике и о Сальва, которого теперь все подозревали.

— Только бандит способен на такую штуку! — сказал Туссен. — Возмущает меня их анархия, я им не сочувствую. А все-таки мне не жалко буржуа, когда в них бросают бомбы. Сами виноваты, пускай теперь расхлебывают.

Он говорил равнодушным тоном, но чувствовалось, что этот пожилой человек хорошо знаком с нищетой и несправедливостью, устал бороться, больше ни на что не надеется и хочет, чтобы рухнул мир, где потерявшему силы рабочему на старости лет грозит голодная смерть.

— Знаете что, — проговорил Шарль, — я слышал, как они беседовали, эти анархисты, и, право же, они говорили много верного и толкового... Вот ты, отец, работаешь уже больше тридцати лет, а как возмутительно с тобой обошлись! Ведь ты едва стоишь на ногах, как старая кляча: стоит ей заболеть — и ее убивают. Тут, черт возьми, невольно подумаешь о себе самом: неужто и меня ждет такой веселый конец!.. Разрази меня гром! А ведь не худо бы вместе с анархистами разнести все к черту, лишь бы это принесло счастье людям.

Конечно, в этом юноше не было огня, и он сочувствовал анархистам лишь потому, что мечтал о хорошей жизни. Казарма оторвала его от родной среды, на военной службе он проникся мыслью о всеобщем равенстве, о необходимости борьбы за существование и был убежден, что имеет право получить свою долю радостей жизни. Молодое поколение делало роковой шаг вперед: отец разочаровался, обманувшись в республике и всеобщем братстве, подвергал все сомнению и презирал все на свете, а сын мечтал о новой вере и, после очевидного банкротства свободы, уже начинал одобрять самые крайние меры.

Рыжий детина, добряк с виду, выходил из себя, кричал, что, если Сальва швырнул бомбу, его надо схватить и отправить на гильотину, немедленно, без всякого суда, и Туссен в конце концов с ним согласился.

— Да, да. Хоть он был женат на моей сестре, я отступаю от него... А все ж таки это на него не похоже. Вы ведь знаете, он совсем не злой и мухи не обидит.

— Что из того? — возразил Шарль. — Доведут человека до крайности, он и взбесится.

Все трое как следует вымылись под краном. Заметив хозяина, Туссен решил подождать его в цехе и попросить аванса. Но как раз Грандидье, дружески пожав руку Пьеру, сам направился к старому рабочему, к которому питал уважение. Выслушав Туссена, он дал записку к кассиру, хотя был настроен против авансов. Рабочие его недолюбливали, уверяли, что он жестокий человек, и не замечали его доброты, а он просто считал неременным долгом твердо отстаивать свой престиж хозяина и не делал уступок рабочим, опасаясь, что это приведет его к разорению. При существующей капиталистической системе, которая требует непрестанной беспощадной борьбы, при свирепствующей конкуренции, разве можно идти навстречу даже законным требованиям наемных рабочих?

Перед уходом Пьер еще раз сговорился с Том *a* о том, какой ответ ему передать брату. Выйдя во двор, он внезапно испытал острую жалость при виде Грандидье, который, сделав обход, возвращался в наглухо запертый домик, где разыгрывалась раздирающая сердце драма его жизни. Какое неизбывное тайное горе, — человек в битве жизни защищает свое достояние, в разгар свирепой борьбы между капиталом и наемным трудом основывает свою фирму и вечером, возвращаясь на отдых к родному очагу, встречает свою помешанную, тоскующую жену, свою обожаемую жену, превратившуюся в ребенка, умершую для любви! Даже в те дни, когда ему удастся одержать победу, придя домой, он испытывает неизбежное поражение. И, быть может, он гораздо несчастнее, он еще больше заслуживает жалости, чем все эти бедняки, умирающие с голоду, чем все эти унылые рабочие, жертвы непосильного труда, которые ненавидят его и завидуют ему.

Когда Пьер вышел на улицу, он с удивлением увидел двух женщин, г-жу Туссен и г-жу Теодору с маленькой Селиной, стоявших на том же месте по щиколотку в грязи. Их толкали со всех сторон, и они напоминали какие-то обломки крушения в вечном человеческом водовороте. Они судачили без конца, жалуясь на судьбу и стремясь потопить свою скорбь в неудержимом потоке сплетен. И когда Туссен вышел из дверей завода в сопровождении Шарля, радуясь полученному авансу, он застал их все там же. Он рассказал г-же Теодоре о найденном

пробойнике и добавил, что он сам и его товарищи сильно подозревают Сальва в покушении. Г-жа Теодора побледнела, но, не желая выдавать то, что она знала, то, что она думала в глубине души, громко воскликнула:

— Повторяю, я его больше не видела. Он наверняка сейчас в Бельгии. Бомба? Как бы не так! Да вы вот сами говорите, что он добряк и мухи не обидит.

Возвращаясь в трамвае к себе в Нейи, Пьер впал в глубокое раздумье. Он все еще переживал возбуждение, царившее в рабочем квартале, ему слышалось жужжание завода, этого гигантского улья, полного неутомимой деятельности. И впервые под влиянием мучительных встреч этого дня ему пришло в голову, что необходим труд, которому суждено оздоровить человечество и обновить его силы. Вот она, твердая почва, точка опоры, источник спасения! Уж не первые ли это проблески новой веры? Но какая насмешка! Необеспеченный, безнадежный труд, труд, испокон веков несправедливо вознаграждаемый! И нищета вечно подстерегает рабочего, хватая его за плотку, как только он окажется в рядах безработных, а когда приходит старость, его вышвыривают в канаву, как дохлую собаку.

Вернувшись в Нейи, Пьер застал у постели Гильома Бертеруа, который только что сделал ему перевязку. Старый ученый как будто все еще опасался, что рана может дать осложнение.

— Вы никак не можете успокоиться. Всякий раз я застаю вас в волнении, в какой-то ужасной лихорадке. Надо успокоиться, дорогой мой мальчик. О чем вам тревожиться, черт возьми!

Через несколько минут, уходя, он сказал с доброй улыбкой:

— Знаете, тут приходили меня интервьюировать по поводу этой бомбы на улице Годо-де-Моруа! Эти журналисты воображают, что мы знаем все на свете! Я ответил, что буду очень благодарен, если этот журналист сообщит мне, какое было применено взрывчатое вещество... В связи с этим я прочту завтра у себя в лаборатории лекцию о взрывчатых веществах. У меня будет несколько человек. Приходите и вы, Пьер, а потом передадите содержание лекции брату, это будет ему интересно.

Поймав взгляд брата, Пьер согласился. Когда они остались вдвоем, он рассказал брату о событиях этого дня, сообщил, что Сальва подозревают, что следователь напал на след. Гильомом снова овладела лихорадка. Уронив голову на подушку, он лежал с закрытыми глазами и бормотал, словно в бреду:

— Ну, теперь конец... Сальва арестован, Сальва на допросе... О, какой огромный труд пропал даром! Какие надежды рушатся!

В половине второго Пьер был уже на улице Ульм, где Бертеруа жил в большом доме, отведенном ему для государственной научно-исследовательской лаборатории. Весь первый этаж занимал огромный зал, куда знаменитый химик порой допускал избранную публику — своих учеников и почитателей, перед которыми он выступал, показывал опыты, знакомил со своими открытиями и новыми теориями.

В таких случаях ставили несколько стульев перед длинным широким столом, загроможденным склянками и аппаратами. Печь находилась позади стола, комнату окружали застекленные полки, уставленные пузырьками со всевозможными образцами. Публика уже разместилась на стульях, главным образом собратья Бертеруа по науке, несколько молодых людей, две-три дамы и журналисты. Все они чувствовали себя как дома, приветствовали учителя и запросто с ним беседовали.

Заметив Пьера, Бертеруа направился к нему навстречу. Крепко пожав ему руку, он подвел его к столу и усадил рядом с Франсуа Фроманом, который пришел одним из первых. Юноша заканчивал третий год обучения в Нормальной школе, находившейся в двух шагах от дома его учителя, к которому он относился с благоговением, считая его самым могучим умом современности. Пьер очень обрадовался, встретившись с Франсуа. Этот высокий юноша с одухотворенным, умным лицом и живыми глазами произвел на него неотразимое впечатление, когда он приходил на Монмартр. К тому же племянник очень сердечно приветствовал Пьера и подошел к нему с таким юным доверием, радуясь, что сейчас узнает новости об отце.

Бертеруа начал свою лекцию. Он говорил очень просто, очень сжато, останавливаясь в поисках слова. Сперва он сделал краткий обзор своих изысканий, своих значительных трудов в области взрывчатых веществ. Он рассказывал, улыбаясь, что порой имеет дело с порошками, которые могут взорвать весь квартал. Но тут же успокоил своих слушателей: он весьма осторожен. Потом он перешел к бомбе, брошенной на улице Гододе-Моруа, которая уже несколько дней волновала весь Париж. Остатки ее были тщательно исследованы экспертами, ему самому принесли осколок, чтобы узнать его мнение. Как видно, эта бомба была сделана кое-как, начинена кусочками железа и снабжена самым нехитрым зажиганием в виде фитиля. Но при этом поражала колоссальная взрывчатая сила патрона, находившегося внутри бомбы: он был совсем маленький и

вызвал такое страшное разрушение. Невольно задаешь себе вопрос: какой невероятной разрушительной силы можно добиться, увеличив заряд в десять, в сто раз? Но когда ученые пытались определить, какое вещество было применено в данном случае, они наталкивались на непреодолимые трудности; начинались споры, и вопрос все больше и больше запутывался. Из трех экспертов один утверждал, что это попросту динамит, а двое других считали, что это смесь каких-то веществ, но разошлись во мнениях относительно ее состава. Что до него, то он скромно воздержался от высказывания, так как принесенные ему осколки сохранили столь слабые следы этого вещества, что невозможно было произвести анализ. Он ничего не знает и не хочет делать выводов. Но он убежден, что это какое-то новое неизвестное взрывчатое вещество, неизмеримо более сильное, чем все до сих пор известные. Он думает, что его изготовил какой-нибудь ученый, живущий отшельником, или изобретатель-самоучка, которому случайно посчастливилось найти формулу этого вещества. И Бертеруа стал говорить о многочисленных еще неизвестных взрывчатых веществах, о будущих открытиях, которые он предвидел. Он сам в процессе своих изысканий несколько раз нащупывал различные взрывчатые вещества, но у него не было ни возможности, ни времени продолжать работу в данном направлении. Он даже указал, в какой области следует производить исследования, каким путем идти. Он не сомневался, что будущее принадлежит взрывчатым веществам. В заключительной части своего доклада, пространной и красиво построенной, он заявил, что люди до сих пор бесчестили взрывчатые вещества, осуществляя с их помощью бессмысленную месть и производя разрушения. А между тем, быть может, именно они таят в себе ту освободительную силу, которую ищет наука, и этот рычаг перевернет мир и преобразит его, когда человек приручит взрывчатые вещества и они будут ему покорно служить.

Во время доклада, продолжавшегося всего каких-нибудь полтора часа, Пьер чувствовал, как сидящий рядом с ним Франсуа весь трепещет от восторга, созерцая необъятные горизонты, какие раскрывал перед ним учитель. Пьера тоже горячо заинтересовала лекция. От него не ускользнули кое-какие намеки, и он сопоставил все, что здесь слышал, с ужасным волнением Гильома. Теперь он понимал, почему брат так боится, что его секретом завладеет следователь.

Когда они с Франсуа подошли к Бертеруа пожать на прощанье ему руку, Пьер сказал значительно:

— Гильом будет очень жалеть, что не слышал, как вы развивали эти замечательные идеи.

Старый ученый только улыбнулся.

— Что ж! Передайте ему в общих чертах то, что я говорил. Он все поймет, он знает об этом больше меня.

Пьер вышел на улицу вместе с Франсуа. Несколько шагов они прошли в безмолвии, затем юноша, молчавший в присутствии знаменитого химика с видом почтительного ученика, вдруг заявил:

— Какая досада, что человек таких широких взглядов, свободный от суеверий, вольный искатель истины, позволил, чтобы его занесли в официальные списки, наклеили на него этикетку, наградили званиями и засадили в академию! Мы бы его куда больше любили, если бы у него было меньше доходов и если б он не давал связывать себе руки орденскими лентами.

— Что поделаешь! — примирительным тоном сказал Пьер. — Надо же чем-нибудь жить. Потом я думаю, в глубине души он свободен.

В это время они подошли к зданию Нормальной школы, и священник остановился, решив, что его юный спутник туда войдет. Но тот поднял голову и посмотрел на старый дом.

— Нет, нет, сегодня четверг, я свободен... О, здесь у нас очень свободный, слишком свободный режим. И я так счастлив, что могу постоянно ходить на Монмартр, садиться за свой старый ученический столик и заниматься. Там у меня особенно ясно и четко работает мысль.

Франсуа был одновременно допущен в Нормальную школу и в Политехнический институт, но выбрал Школу и, отличившись на экзамене, поступил на научное отделение. Отцу хотелось, чтобы он овладел профессией учителя, которая обеспечит ему независимость и после окончания Школы позволит заниматься научной работой, если жизнь сложится благоприятно. Не по летам развитой, он уже заканчивал третий курс и готовился к последнему экзамену, занимаясь целые дни напролет. Он отдыхал, только когда ходил пешком на Монмартр или часами прогуливался в Люксембургском саду.

Франсуа бессознательно направился к этому саду, и Пьер, продолжая разговор, последовал за ним. Февральский день дышал весенним теплом, солнце обливало неяркими лучами еще голые деревья. В такие прекрасные дни начинают пробиваться первые зеленые ростки сирени. По-прежнему они говорили о Школе.

— Признаюсь, — заметил Пьер, — мне ничуть не нравится господствующий там дух. Конечно, там делают важное дело, и, по-

видимому, единственный способ подготовить учителей — это начинить их соответствующими науками и обучить методам преподавания. Хуже всего то, что далеко не все, получившие педагогическое образование, становятся учителями. Многие бродят по свету, становятся журналистами, играют руководящую роль в искусстве, в литературе и в обществе. И в большинстве случаев они совершенно невыносимы... Прежде они преклонялись перед Вольтером, а теперь ударились в спиритуализм, в мистицизм, который вошел в моду в салонах. К этому примешался дилетантизм и космополитизм. С тех пор как веру в науку стали считать проявлением душевной грубости и дурного тона, они стараются стереть с себя все следы педагогического образования, с милой улыбкой высказывают сомнения и, говоря о своем неведении, прикидываются наивными младенцами. Им до смерти не хочется, чтобы от них пахло Школой; они, видите ли, чистокровные парижане, они выделывают всякие коленца, щеголяют уличным жаргоном и готовы плясать с грацией ученых медведей, лишь бы понравиться публике. Вот они и мечут стрелы своей иронии в науку, воображая, что знают все на свете, и возвращаясь из фатовства к вере убогих, к наивному и трогательному почитанию младенца Иисуса в яслях.

Франсуа засмеялся.

— О! Портрет несколько шаржирован, но это так, именно так.

— Я знавал несколько таких субъектов, — продолжал Пьер, все больше увлекаясь. — И все они безумно боялись, как бы не оказаться в дураках, и потому начинали отвергать все усилия мысли, все труды нашего времени, они ненавидели свободу, сомневались в науке, отрицали будущее. Господин Омэ для них какое-то пугало, нелепейшая фигура, и они так боятся ему уподобиться, что, следуя моде, не желают ни во что верить или верят в невероятное. Что и говорить, господин Омэ смешон, но у него все-таки твердая почва под ногами. И почему бы не пренебрегать ему правилами приличия, изрекая азбучные истины хотя бы самому господину де Лапалис, когда в наше время многие сознательно пренебрегают ими и гордятся этим, преклоняясь перед бессмыслицей? Пусть дважды два четыре — избитая истина, но ведь это неоспоримо. Утверждать это далеко не такая глупость и не такое безумие, как, например, верить в чудеса, происходящие в Лурде.

Франсуа удивленно поглядел на священника. Заметив его взгляд, Пьер умерил свой пыл. Однако он не мог сдержать своей скорби и гнева, изображая мысленно молодежь, как она рисовалась ему в приступе отчаяния. И если ему внушали острую жалость рабочие, умирающие с

голоду там, в кварталах нищеты, то он испытывал столь же острое презрение к молодым умам, которые, испугавшись познания, ищут утешения в лживом спиритуализме, мечтают о вечном блаженстве и восторженно жаждут смерти. Разве не убивают жизнь те, что трусливо от нее убегают и не желают жить ради самой жизни, ради выполнения простого долга перед нею и ради труда? Вечная сосредоточенность на своем «я», вечное стремление завоевать счастье своими силами и для себя. О, как он мечтает увидеть мужественную молодежь, охваченную стремлением к истине, изучающую прошлое лишь для того, чтобы от него освободиться и смело идти в будущее! Как его огорчало, когда она из-за усталости своей и лени попадалась в сети темных метафизических учений! Но, может быть, тут сказывается всеобщее переутомление в конце века, перегруженного делами!

Франсуа снова улыбнулся.

— Вы ошибаетесь, — сказал он, — у нас в Школе далеко не все такие... Мне кажется, вы знакомы только с учащимися отделения искусств. Но вы измените свое мнение, если познакомитесь со студентами отделения наук... Это правда, на отделении литературы очень чувствуется реакция против позитивизма, наши товарищи тоже носят с мыслью о банкротстве науки. До известной степени они попали под влияние своих преподавателей, неоспиритуалистов и краснобаев-догматиков. Но прежде всего они поддались духу времени, моде, которая, как вы хорошо сказали, стремится опорочить научную истину, представить ее в самом непривлекательном, грубом виде, сделать ее неприемлемой для изящных поверхностных умов. Юноша, хоть сколько-нибудь утонченный и желающий нравиться, легко усваивает дух нового времени.

— О, этот дух нового времени! — вырвалось у Пьера. — Это не какая-нибудь преходящая мода — это тактика, и ужасная тактика! Это восстание мрака против света, духа рабства против свободы мысли, против правды и справедливости!

Заметив, что молодой человек смотрит на него уже с явным удивлением, он замолчал. Перед ним встал образ монсеньера Март *a*. Он услышал, как тот проповедует на кафедре в церкви Мадлен, стремясь подчинить Париж влиянию Рима, проводя его политику и насаждая так называемый неокатолицизм, который заимствует все для него приемлемое у демократии и науки с тем, чтобы потом их уничтожить. Шла отчаянная борьба. Именно из этого источника изливался яд, отравляющий молодежь. Пьер знал, какую работу вели религиозные

деятели, способствуя возрождению мистицизма и питая безумную надежду, что им удастся ускорить разгром науки. Говорили, что монсеньер Март *a* прямо всемогущ в католическом университете и внушает своим приближенным, будто потребуются три поколения благомыслящих и покорных студентов, чтобы церковь окончательно восторжествовала во Франции.

— Уверяю вас, вы ошибаетесь относительно нашей Школы, — повторил Франсуа. — У нас, конечно, найдется несколько верующих с узкими взглядами. Но даже на отделении искусств большинство студентов пусть в душе скептики, но, как правило, люди воспитанные и скромные. Это прежде всего учителя, хотя они немножко стыдятся своей профессии. Они прикрывают иронией свой педантизм, заражены критическим духом и не способны создать что-либо самобытное. Право же, меня очень бы удивило, если бы из их среды вышел долгожданный гений. Пожалуй, можно пожелать, чтобы появился какой-нибудь гениальный варвар и без помощи книг, ничего не критикуя, не взвешивая и не различая оттенков, прорубил дверь в будущее, озаренное ослепительным светом истины и подлинной жизни... Что до моих товарищей по отделению наук, то, клянусь вам, их ничуть не волнует неокатолицизм, мистицизм, оккультизм и другие фантастические учения, которые сейчас в моде. Они не собираются превращать науку в религию, они всегда готовы допустить сомнение, но очень многие из них обладают ясным, пронизательным и сильным умом, стремятся к достоверности, охвачены исследовательским пылом и без устали трудятся на обширном поприще человеческих наук. Уж они-то не свихнулись, они остаются убежденными позитивистами, эволюционистами и детерминистами, они твердо верят, что наблюдение и научные опыты помогут человеку восторжествовать над природой!

Франсуа тоже увлекся и красноречиво говорил о своих убеждениях, ступая по тихим, залитым солнцем аллеям сада.

— Ах, молодежь! Да разве ее знают? Мы только смеемся, глядя, как всякие там апостолы оспаривают друг у друга, заманивают к себе молодежь и для вящего торжества своих идей окрашивают ее то в белый, то в черный, то в серый цвет. Настоящую молодежь вы увидите в университетах, в лабораториях, в библиотеках. Именно этой усиленно работающей молодежи и принадлежит будущее, а не той, что подвизается в литературных салонах, выпускает манифесты и творит сумасбродства. Конечно, такая молодежь уж очень кричит о себе, поэтому только ее и слышно. Но если бы вы знали, как усердно, с каким рвением трудятся

другие молодые люди, которые молчат, поглощенные своей работой! Я знаю немало таких, и они идут в ногу с веком, разделяют все его надежды и устремляются навстречу грядущему веку, к дальнейшему свету и правде, решив продолжать дело, начатое их предшественниками. Попробуйте заикнуться им о банкротстве науки, они только пожмут плечами в ответ, ведь они знают, что еще никогда наука не зажигала столько сердец и не достигала таких поразительных успехов. Пусть закроют учебные заведения, лаборатории, библиотеки, пусть в корне изменится жизнь общества — только тогда можно будет опасаться, что пышным цветом расцветет заблуждение, столь дорогое робким сердцам и ограниченным умам!

Но тут восторженная речь юноши была прервана. Высокий светловолосый молодой человек подошел к ним и пожал руку Франсуа. И Пьер с удивлением узнал сына барона Дювильяра, Гиацинта; тот вежливо поклонился ему. Молодые люди были на «ты».

— Как, ты пожаловал в наши глухие края, в эту провинцию?

— Милый друг, я направляюсь вот на ту улицу, что позади обсерватории, к Жон *a* ... Ты не знаком с Жон *a* ? Ах, друг мой, это гениальный скульптор, ему удалось почти упразднить материю. Он создал Женщину, фигурку величиной с палец. Это одна душа, никаких грубых, низменных форм и в то же время Женщина здесь вся целиком, некий исчерпывающий символ. Это замечательно, потрясающе, тут своя эстетика, своя религия!

Франсуа с улыбкой смотрел на молодого человека, который стоял перед ним в длинном, плотно облегающем фигуру сюртуке, весь какой-то искусственный и похожий на андрогина со своими вычурно подстриженными бородкой и волосами.

— Ну а ты? Мне казалось, ты что-то пишешь и собираешься вскоре выпустить в свет небольшую поэму.

— О, мой друг, творчество для меня такая пытка! Мне нужно несколько недель, чтобы создать стихотворную строчку... Да, у меня есть маленькая поэма «Конец женщины». Теперь ты видишь, что меня несправедливо обвиняют в нетерпимости, ведь я восхищаюсь Жон *a* , который еще верит в необходимость женщины. Его еще можно извинить, — скульптура такое грубое, такое материальное искусство. Но в поэзии, — великий боже! — не слишком ли много говорили о женщине. Не пора ли ее оттуда изгнать и вымести нечистоты из храма, который она замарала своими пороками? Какая это грязь — плодородие, материнство и все такое прочее! Если бы мы были поистине чистыми и благородными,

то женщины внушали бы нам отвращение, мы не прикоснулись бы ни к одной из них, и они все умерли бы бесплодными. Не правда ли, это был бы, по крайней мере, пристойный конец!

После этих слов, сказанных со скучающим видом, он удалился, слегка покачивая бедрами, радуясь, что пустил пыль в глаза.

— Так вы его знаете? — спросил Пьер.

— Он учился вместе со мной в Кондорсе, мы с ним одноклассники. О, это презабавный тип, этот отпетый лентяй франтил всюду, носил самые дорогие галстуки, выставляя напоказ миллионы своего папаши Дювильяра, а сам делал вид, что их презирает, разыгрывал из себя революционера, обещал поджечь своей папироской запад бомбы, которая взорвет весь мир. Это какая-то крошка из учений Шопенгауера, Ницше, Толстого и Ибсена. И вы видите, что из него получилось — душевнобольной, а вдобавок шут!

— Как это знаменательно и как ужасно! — прошептал Пьер. — Сыновья счастливых, представителей привилегированного класса, от скуки, от нечего делать, заразившись разрушительным пылом, начинают громить направо и налево!

Франсуа двинулся дальше, спускаясь по дорожке к бассейну, где плавала целая флотилия лодочек, которыми управляли ребяташки.

— Ну, это, положим, комическая фигура... И разве можно принимать всерьез их мистицизм и возрождение спиритуализма, которое возвещают доктринеры, провозгласившие пресловутое банкротство науки, когда за самый короткий срок эти учения привели к таким нелепостям в искусстве и в литературе? Несколько лет шла проповедь этих идей, и вот расцвел сатанизм, оккультизм и другие извращения мысли; не говоря уже о Содоме и Гоморре, с которыми, как уверяют, примирился современный Рим. Не по плодам ли судят о дереве? Тут не какое-нибудь серьезное общественное движение, имеющее целью возродить прошлое; не ясно ли, что это лишь кратковременная реакция, вызванная вполне понятными причинами? Старый мир не желает умирать, он бьется в предсмертных судорогах, и порою кажется, будто он ожил. Но через какой-нибудь час его смоеет и унесет в своих волнах поток положительных наук, который разливается с каждым днем. Там будущее, там новый мир, который создаст настоящая молодежь, та, что трудится, которую никто не знает и не слышит... Но постойте! Прислушайтесь и, может быть, вы ее услышите, ведь она совсем близко, мы сейчас в ее квартале, и в глубокой тишине, царящей вокруг нас, трудятся тысячи молодых людей,

склонившись над рабочим столом; с каждым днем они прочитывают все новые книги, исписывают новые страницы, завоевывают новые истины.

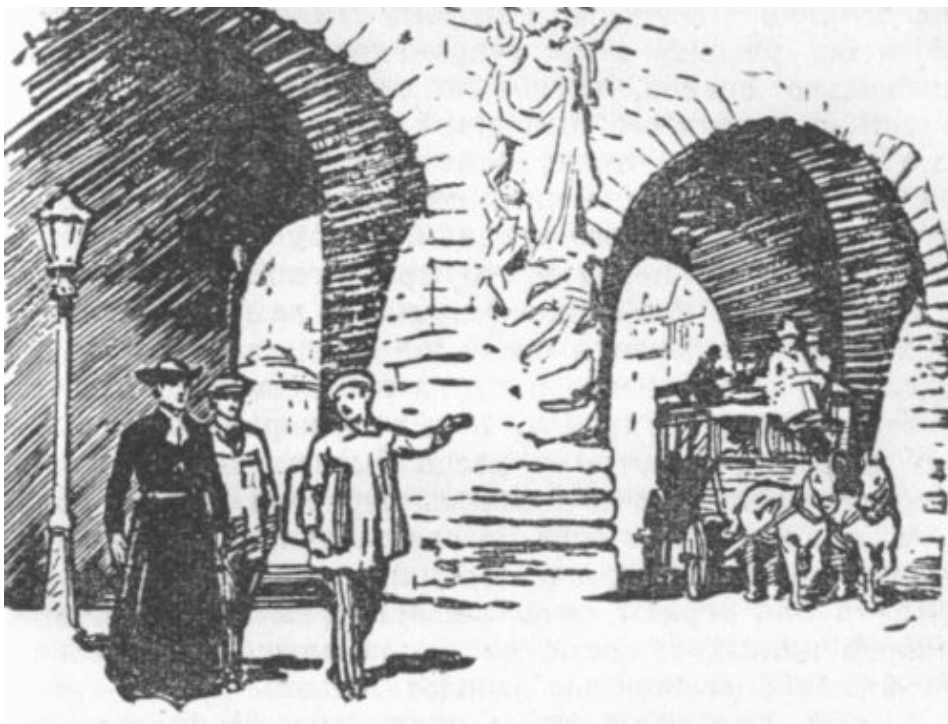
Широким жестом Франсуа указал вдаль, где за пределами Люксембургского сада находились учебные заведения, лицеи, университеты, юридические и медицинские факультеты, Французский институт с его пятью академиями, бесчисленные библиотеки, музеи, все эти владения научной мысли, занимавшие огромную территорию среди необъятного Парижа. Пьер был взволнован, его сомнения были поколеблены, и ему в самом деле показалось, что до него доносится из классов, амфитеатров, лабораторий, читален и простых рабочих комнат приглушенное дыхание всех этих людей, занимающихся напряженным умственным трудом. Это не была лихорадочная дрожь, прерывистые вздохи, грозный ропот, раздававшийся в заводских цехах, где негодовали и тяжело трудились рабочие. Но здесь так же тяжело дышали, так же неустанно работали, так же смертельно уставали. Неужели это правда, что молодежь безмолвно трудится в своей кузне, не теряя никаких надежд, не отказываясь ни от каких завоеваний, и со всей отвагой свободной мысли кует истину и справедливость завтрашнего дня непобедимым молотом наблюдения и опыта?

Франсуа поднял голову и взглянул на большие часы Бурбонского дворца.

— Я иду на Монмартр. Может быть, вы немного проводите меня?

Пьер согласился. Особенно захотелось ему пойти с Франсуа, когда тот прибавил, что по дороге зайдет в Луврский музей и захватит своего брата Антуана. В этот ясный послеполуденный час в почти безлюдных залах музея живописи царил прохладный чарующий покой, особенно поражающий после уличного грохота и толкотни. Там находились только копировщики, работавшие в глубоком молчании, которое нарушалось лишь стуком шагов забредавших в зал иностранцев. Они нашли Антуана в глубине зала примитивов. Весь уйдя в работу, он с величайшим усердием, даже с каким-то благоговением срисовывал этюд Мантеньи — обнаженную фигуру. Он страстно любил примитивов не за мистическую окраску их творений и не за возвышенный идеализм, который усматривали у них модные критики. Напротив, ему была дорога искренность, непосредственность этих реалистов, их уважение и преклонение перед природой, которую они стремились воспроизвести во всех подробностях, как можно правдивее и точнее. Он приходил в музей и просиживал там целыми днями, упорно трудясь, копируя итальянцев, изучая их, стараясь научиться у них точности и чистоте рисунка, усвоить

основные черты возвышенного стиля этих честных и чистых душою художников.



Пьер

поразила, увидав, каким высоким восторгом сияют бледно-голубые глаза юноши, вдохновленного плодотворным трудом. Для белокурого гиганта было характерно выражение кроткой мечтательности. Но сейчас его лицо пылало, зажженное внутренним огнем. Огромный лоб, унаследованный от отца, поднимался как крепость, готовая отстаивать истину и красоту. История этого восемнадцатилетнего юноши была такова. В третьем классе он почувствовал отвращение к классическим наукам, им овладела страсть к рисованию, побудившая отца взять его из лицея, где он не делал особенных успехов. Потом длительные поиски самого себя, попытки обрести глубоко скрытый источник своеобразия, о котором так громко и властно говорил ему внутренний голос. Он испробовал гравюру на меди, офорт. Но вскоре окончательно выбрал гравюру на дереве, остановился на ней, хотя ею начали пренебрегать, так как ее опознали массовые репродукции. Не следует ли восстановить это искусство и развить его? Антуан мечтал о том, как он будет гравировать на дереве свои собственные рисунки, хотел быть творцом и техническим исполнителем и таким путем добиться небывалой свежести и выразительности. Покоряясь воле отца, желавшего, чтобы сыновья владели какой-нибудь профессией, он зарабатывал себе на хлеб, как и прочие граверы, выполняя гравюры на дереве для иллюстрированных изданий. Но наряду с текущей работой он уже успел сделать несколько гравюр. Это были сценки из обыденной жизни, необычайно энергичные и правдивые, сделанные с

натуры в своеобразной манере и с мастерством, неожиданным для такого юного художника.

— Ты хочешь это гравировать? — спросил его Франсуа, когда он укладывал в папку копию рисунка Мантеньи.

— О нет, я только окунулся в этот живительный источник чистоты. Я учусь здесь скромности и искренности... Современная жизнь слишком не похожа на прежнюю.

Выйдя из музея, Пьер пошел с молодыми людьми и так увлекся разговором, что проводил их до Монмартра. Они становились ему все милее. Шагавший рядом с ним Антуан в порыве откровенности поделился с ним своими творческими замыслами, без сомнения, испытывая к нему тайную симпатию и родственную нежность.

— Безусловно, цвет обладает великой силой, могущественным обаянием, и можно утверждать, что без него нельзя добиться полной иллюзии реальности. Но, как это ни странно, я не чувствую необходимости в цвете. Мне думается, я смогу, пользуясь только черным и белым цветами, воссоздать жизнь с такой же энергией и убедительностью. И мне даже кажется, что я сделаю это в более строгой манере, передам самое существенное, не прибегая к бесплому обману, к лживой ласке тонов... Но какая задача! Посмотрите на великий Париж, по которому мы идем. Мне хотелось бы уловить лицо современного города, создать несколько сценок, несколько типов, которые сохранили бы навеки его нынешний облик. И передать все это очень точно, очень наивно, потому что печатью бессмертия отмечены лишь творения художника простодушного и чистого сердцем, в глубоком смирении склоняющегося перед вечно прекрасной природой. Я уже набросал кое-какие фигуры, я вам их покажу... Ах, если б я дерзнул сразу же орудовать резцом, не сделав предварительно рисунка на доске, ведь это так расхолаживает! Впрочем, я делаю карандашом только набросок, а потом у резца бывают свои находки, неожиданная сила и тонкость передачи. Таким образом, я совмещаю в себе рисовальщика и гравера: сам гравирую свои рисунки. Если же их гравирует другой, то они теряют свою жизненность. У художника, творца живых существ, не только мозг, но и пальцы обладают способностью рождать жизнь.

Когда они подошли к подножию Монмартрского холма, Пьер сказал, что собирается сесть на трамвай и ехать в Нейи. Антуан, весь трепеща от возбуждения, спросил его, знает ли он скульптора Жагана, который там, наверху, работает для собора Сердца Иисусова. Получив отрицательный ответ, он продолжал:

— Так давайте поднимемся и заглянем к нему на минутку. У этого человека большое будущее. Вы увидите модель ангела, которую у него не приняли.

Франсуа тоже восторженно отозвался об этом ангеле, и священник решил его посмотреть. На вершине холма, среди бараков, выросших там в связи с постройкой собора, Жагану удалось оборудовать себе мастерскую, застеклив огромный сарай, где он намеревался выполнить гигантскую фигуру заказанного ему ангела. Пьер и его племянники застали Жагана в мастерской. Одетый в рабочую блузу скульптор наблюдал, как двое помощников обтесывали каменную глыбу, из которой должен был родиться ангел. Это был крепкий малый лет тридцати шести, темноволосый и бородатый, с крупным ярким ртом, говорившим о здоровье, и великолепными огненными глазами. Он родился в Париже и прошел через Школу живописи, где постоянно навлекал на себя неприятности своим бурным темпераментом.

— А! Так вы хотите посмотреть моего ангела, того, что был отвергнут в архиепископате... Вот он!

Еще не вполне просохшая глиняная фигура, вышиной в метр, устремлялась в беспредельную высь. В безумном восторге полета трепетали большие, широко раскинутые крылья. Это был почти обнаженный эфеб, тонкий и сильный. Лицо его озаряла радость, казалось, он уносился в сияющий простор неба.

— Они решили, что мой ангел чересчур человечен. И признаться, они правы... Труднее всего на свете представить себе ангела. Даже насчет пола колеблешься: мальчик это или девочка? А потом, когда у тебя не хватает веры, приходится брать первого попавшегося натурщика и лепить с него, а потом коверкать... Создавая этого ангела, я старался представить себе прекрасное дитя, у которого вдруг выросли крылья и, опьяненное полетом, оно уносится все выше, навстречу ликующему солнцу. Это их покорило, и они потребовали чего-нибудь более религиозного. Тогда я сделал вот эту мерзость. Ведь надо чем-нибудь жить.

И он указал рукой на другую модель, которую его помощники уже начали выполнять: благопристойный ангел с симметричными гусиными крыльями, бесполой, с трафаретным лицом, выражающим традиционный, бессмысленный восторг.

— Что поделаешь? — продолжал он. — Религиозное искусство выродилось и стало до тошноты банальным. Вера утрачена. Строят церкви, похожие на казармы, украшают их фигурами господ бога и святой девы, плядя на которые, хочется плакать. Ведь гений расцветает на

той или иной социальной почве, великий художник зажигается верой своего времени. Вот я, внук крестьянина из провинции Бос, вырос в доме отца, приехал в Париж и стал работать полировщиком мрамора в отдаленном квартале улицы Рокот. Первое время я был рабочим, все мое детство прошло среди простого люда, на уличной мостовой, и мне ни разу не пришло в голову заглянуть в церковь... Ну, скажите, какие формы примет искусство в эпоху, когда люди не будут верить не только в бога, но даже в красоту? Необходимо обрести новую веру, и это будет вера в жизнь, в труд, в плодородие, в ту силу, которая зарождает жизнь. Да вот моя статуя плодородия! — воскликнул он. — Я снова над ней работаю и, в общем, ею доволен. Пойдемте, я вам ее покажу.

И он увлек их за собой в свою личную мастерскую, находившуюся неподалеку, немного ниже домика Гильома. Туда надо было идти по улице Голгофы; эта улица расположена бесчисленными уступами и представляет собой крутую лестницу. Дверь мастерской открывалась на небольшую площадку. Поднявшись на несколько ступенек, попадали в просторную светлую комнату с застекленной стеной, заставленную моделями, гипсами, обтесанными глыбами и статуями. То были могучие, обильные плоды его творчества. На скамейке стояла накрытая мокрой простыней статуя Плодородия, над которой работал скульптор. Когда Жаган снял простыню, перед ними предстала фигура женщины с могучими бедрами и чревом, в котором созрел зародыш нового мира; а груди супруги и матери набухли животворным молоком.

— Ну что? — воскликнул он с радостным смехом. — Я думаю, она произведет на свет мальчугана, который будет далеко не таким худосочным, как эстеты наших дней, и, в свою очередь, народит детей.

Антуан и Франсуа с восхищением рассматривали статую. А Пьера особенно заинтересовала девушка, которая открыла им дверь мастерской и с усталым видом уселась у небольшого стола, где перед ней лежала книга. Это была Лиза, сестра Жагана. Девушка была на двадцать лет моложе брата, ей только что минуло шестнадцать, и она жила со своим старшим братом после смерти родителей. У этого хрупкого, болезненного создания было нежное личико, обрамленное чудесными волосами пепельного оттенка, легкими, как облако бледно-золотой пыли. Почти калека, плохо владея ногами, она с трудом передвигалась. Девушка отстала и в своем умственном развитии, оставшись простодушным, наивным ребенком. Сначала это очень печалило брата. Потом он привык к ее ребячливости, к ее вялости. Вечно занятый, в неустанном творческом кипении, захваченный своими замыслами, он не мог уделять внимания

девочке, и, предоставленная самой себе, она жила возле него как маленькая ласковая сестренка.

Пьер заметил, что Лиза встретила Антуана радостно, как любимого брата. И тут он увидел, что юноша, поздравив Жагана с его замечательным достижением, уселся рядом с девушкой, занялся ею, стал ее расспрашивать и посмотрел, какую она читает книгу. Они познакомились полгода назад, и теперь их связывала самая чистая, самая нежная любовь. Отцовский дом стоял высоко на площади Тертр, и, выйдя в садик, Антуан мог разглядеть Лизу в огромном окне мастерской, где протекала ее невинная девическая жизнь. Сперва он заинтересовался девушкой, видя, что она такая одинокая, почти заброшенная; потом при ближайшем знакомстве он пленился ее простодушием и прелестью и загорелся желанием разбудить ее дремлющий ум, призвать ее к жизни своей любовью, отдать ей все силы своего разума и сердца. И вот он сделал для нее то, чего не мог сделать ее брат, удовлетворив потребность в солнце и в любви, какую испытывало это хилое растение. Ему уже удалось научить ее читать, хотя от нее отказались все учительницы. Она слушала его и все понимала. Ее неправильное личико оживлялось, и прекрасные светлые глаза мало-помалу загорались радостью. Это было чудо любви, сотворение женщины, в которую вдохнул жизнь влюбленный юноша, готовый отдать ей свою душу. Правда, девушка была еще очень хрупкой и такого слабого здоровья, что, казалось, малейшее дуновение могло ее унести, и, конечно, она еще не могла ходить, ее ноги далеко не окрепли. Но это была уже не прежняя дикарка, не прежний чахлый весенний цветок.

Жаган, которого поражало происходившее у него на глазах чудо, подошел к молодым людям.

— Ну, что? Ваша ученица делает вам честь. Вы знаете, теперь она бего читает и очень хорошо понимает все, что написано в прекрасных книгах, которые вы ей приносите. Правда, Лиза, ведь теперь по вечерам ты читаешь мне вслух?

Она подняла свои чистые глаза и взглянула на Антуана с улыбкой бесконечной благодарности.

— О, все, чему он захочет меня обучить, я буду знать и буду делать.

Все тихонько засмеялись. Потом посетители направились к выходу, а Франсуа остановился перед моделью, которая, высыхая, дала трещину.

— Это неудавшийся замысел, — сказал скульптор. — Я хотел сделать статую Милосердия для одного благотворительного учреждения. Но, как

я ни бился, у меня получилась такая пошлятина, что я ее бросил. Но все же со временем я думаю опять этим заняться.

Когда они вышли, Пьер решил подняться к собору Сердца Иисусова, надеясь встретить там аббата Роза. Они обошли вокруг холма по улице Габриель и стали подниматься с площадки на площадку по улице Шап. Добравшись доверху, они очутились перед закрытым лесами фасадом храма, поднимавшимся в ясную лазурь. Там они встретились с Том *a*, который возвращался по улице Ламарк с завода, куда он ходил давать указания литейщику.

— Ах, как я рад! — воскликнул в порыве радости Том *a*, обычно столь замкнутый и молчаливый. — Мне кажется, я скоро создам наш маленький двигатель. Скажите отцу, что дело идет на лад, и пусть он поскорей поправляется!

При этих словах Франсуа и Антуан в едином порыве бросились к брату и тесно прижались к нему. Трое юношей образовали героическую группу. У всех троих было одно сердце, и оно трепетало от радости при мысли, что отца подбодрит полученное от них хорошее известие. Теперь Пьер уже знал своих племянников, начинал их любить и высоко ценить. Он поражался, глядя, как эти трое гигантов, с таким нежным сердцем и так похожие друг на друга, сплотились воедино, стали отрядом мужественных борцов, когда вспыхнула ярким пламенем сыновняя любовь.

— Скажите ему, пожалуйста, что мы его ждем и, стоит ему сказать хоть слово, мы прилетим к нему.

Все трое крепко пожали руку священнику. Он смотрел, как они удалялись по направлению к маленькому домику, садик которого виднелся над стеной улицы Сент-Элефтер, и ему показалось, что он увидел тонкий силуэт, белое, разгоревшееся на солнце лицо под шлемом черных волос. Без сомнения, это была Мария, наблюдавшая, как распускается ее сирень. Но в этот вечерний час все кругом было залито таким золотистым светом, что видение исчезло, потонув в солнечном сиянии. Зажмурившись от яркого блеска, он отвернулся и на другом краю неба увидел свежесвыбеленный собор Сердца Иисусова, который вблизи подавлял своей громадой, закрывая часть горизонта.

Некоторое время Пьер стоял неподвижно, обуреваемый самыми противоречивыми чувствами и мыслями, во власти такого смятения, что не в силах был разобраться в самом себе. Но вот он повернулся в сторону города. Огромный Париж раскинулся у его ног. Париж светозарный и легкий, в розовом сиянии весеннего вечера. Необозримое море крыш

вырисовывалось с такой удивительной четкостью, что, казалось, можно было пересчитать все эти миллионы труб и черные крапинки окон. В неподвижном воздухе здания были похожи на бесчисленные корабли, на эскадры, стоящие на якоре, высокие мачты которых сверкали в прощальных солнечных лучах. Пьер еще никогда так ясно себе не представлял различные области этого человеческого океана: там, на востоке и на севере, город физического труда, где гудят и дымят заводы; на юге, на той стороне реки, — город учащихся, где кипит умственный труд, царит тишина и нерушимый покой. Деловая лихорадка свирепствовала повсюду, зарождаясь в центральных кварталах, где бесчисленные прохожие устремлялись вперед, толкая и давя друг друга, под неумолчный грохот колес. А на западе раскинулся город счастливых и богатых — громоздились дворцы, подожженные кровавыми лучами пожара, разгоравшегося в небесах.

И Пьер, погрязший в отрицании, барахтавшийся в пустоте после крушения веры, вдруг почувствовал, как на него пахнуло отрадной свежестью, и смутно ощутил приближение новой веры. Он не мог высказать словами, на что он надеялся. Но уже при виде суровых заводских рабочих он понял, что физический труд необходим и несет обновление миру, несмотря на неразлучные с ним нищету и чудовищное угнетение.

И вот поколение завтрашнего дня, мыслящая молодежь, в которой он разочаровался, считая, что она, испорчена, ударилась в суеверие и заражена тлетворным духом прошлого, внезапно предстала перед ним в новом облике, мужественная, богатая обещаниями, полная решимости продолжать дело отцов и завоевать исключительно силами науки всю правду и всю справедливость.

V

Уже добрый месяц Гильом скрывался у брата в его маленьком домике в Нейи. Он почти совсем поправился после полученного ранения, уже давно встал с постели и проводил целые часы в саду. Но хотя ему и не терпелось вернуться на Монмартр к близким, чтобы продолжать свои работы, известия, которые он читал каждое утро в газетах, тревожили его и заставляли откладывать возвращение. Дело обстояло по-прежнему: подозревали Сальва. Однажды вечером его заметили на Центральном рынке, но полиция потеряла его из виду. Ему ежеминутно грозил арест.

Что же будет с ним? Станет ли он давать показания? Будут ли произведены новые обыски?

Целую неделю пресса занималась только пробойником, найденным под аркой особняка Дювильяров. Все парижские репортеры посетили завод Грандидье, расспрашивали рабочих и хозяина, делали зарисовки. Иные из них даже самолично производили расследование, надеясь изловить преступника. Потешались над бессилием полицейских. С великим азартом охотились за человеком, в газетах появлялись в несметном количестве самые нелепые выдумки. Снова поднялась паника. Говорилось о новых бомбах, о том, что в одно прекрасное утро весь Париж взлетит на воздух. «Голос народа» всякий день преподносил какой-нибудь ужасный сюрприз; подметные письма с угрозами, зажигательные прокламации, таинственные, широко разветвленные заговоры. Еще никогда такая эпидемия глупых и гнусных слухов не свирепствовала в городе.

Проснувшись поутру, Гильом лихорадочно ждал, когда принесут газеты, всякий раз с замиранием сердца ожидая, что прочтет об аресте Сальва. Яростная кампания, которая велась в газетах, очередные бессмыслицы и жестокости выводили его из себя, до такой степени были напряжены его нервы. Арестовали множество сомнительных лиц, случайно попавшихся в сети, всякий сброд, подозреваемый в анархизме, честных рабочих и бандитов, фанатиков и бездельников, и следователь Амадье изо всех сил старался превратить весь этот разношерстный люд в участников огромного злодейского заговора. Как-то утром Гильом даже прочитал свое имя, упомянутое в связи с обыском, произведенным у талантливого журналиста-революционера, с которым он дружил. Его сердце содрогалось от возмущения. Но благоразумие требовало еще посидеть в этом тихом убежище в Нейи, чтобы не подвергнуться опасности ареста, ведь полиция всегда могла нагрянуть в его домик на Монмартре.

День за днем проходили в глухой тревоге. Братья вели самый замкнутый и уединенный образ жизни. Пьер и сам избегал теперь выходить, целые дни он проводил дома. Было начало марта, и в теплом дыхании ранней весны садик уже ласкал глаз юной зеленью. Но Гильом после своего выздоровления почти все время проводил в большой комнате, бывшей лаборатории их отца, превращенной в кабинет для занятий. Там сохранились все бумаги, все книги знаменитого химика, сын обнаружил целый ряд незаконченных трудов и с утра до вечера с увлечением их читал; это занятие помогало ему терпеливо переносить добровольное заключение. Сидя на другом конце большого стола, Пьер

тоже по большей части читал. Но как часто он отрывал глаза от книги и погружался в мрачные размышления, словно проваливаясь в пустоту. Долгие часы братья просиживали так друг против друга, не произнося ни слова, поглощенные своими мыслями, словно зачарованные тишиной. Однако их радовало сознание, что они опять вместе, и они испытывали чувство безопасности, взаимное доверие и нежность. Временами глаза их встречались, они обменивались улыбкой, безмолвно высказывая взаимную любовь, и этого было для них достаточно. Былая привязанность с новой силой возрождалась в их сердцах. Вновь оживал дом, где прошло их детство, где так мирно дышалось и как бы чувствовалось присутствие родителей. Глядевшее в сад окно было обращено в сторону Парижа, и порой, отрываясь от чтения и длительных раздумий, они начинали тревожно прислушиваться к отдаленному гулу, к внезапно усиливавшемуся шуму огромного города.

В иных случаях они прерывали свои занятия, с удивлением слушая неумолкаемый звук шагов, все время раздававшийся у них над головой. Это наверху в раздумье расхаживал по комнате Николя Бартес, которого привел вечером в день взрыва Теофиль Морен с просьбой приютить. Бартес никогда не спускался вниз, редко-редко отваживался пройтись по саду, опасаясь, как бы его не увидели из отдаленного дома, окна которого были закрыты деревьями. Неотвязный страх перед полицией, преследовавший старого заговорщика, мог вызвать улыбку. Там, наверху, как лев в клетке, упорно и неустанно шагал вечный пленник, борец за всеобщую свободу, который провел большую часть своей жизни в заключении и был знаком со всеми тюрьмами Франции. И этот мерный звук, раздававшийся в тишине маленького домика, будил нежную грусть и говорил о чем-то великом и прекрасном, что, конечно, никогда не будет осуществлено на земле.

Изредка кто-нибудь заходил, нарушая одиночество братьев. С тех пор как рана Гильома начала подживать, Бертеруа стал навещать их гораздо реже. Самым постоянным посетителем был Теофиль Морен. Через день вечером, в один и тот же час раздавался его осторожный звонок. Он испытывал перед Бартесом благоговение как перед мучеником, хотя и не разделял его взглядов. Морен поднимался наверх и проводил с ним часок. По-видимому, они говорили мало, так как из их комнаты не долетало ни единого звука. Когда Морен заглядывал на минуту к братьям в лабораторию, Пьера поражал усталый вид преподавателя, его пепельно-серые волосы и борода и потухшее, изможденное лицо. Его глаза, выражавшие покорность судьбе, разгорались, как костры, лишь когда

священник заводил речь об Италии. Однажды, упомянув Об Орландо Прада, великом патриоте, соратнике Морена в победоносной борьбе, участнике легендарного похода «Тысячи», Пьер изумился, увидав, каким пламенным восторгом озарилось мертвенное лицо старика. Но то были лишь краткие вспышки молний. Вскоре вступал в свои права престарелый учитель, и приходилось иметь дело лишь с земляком и другом Прудона, впоследствии ставшим рьяным приверженцем Огюста Конта. От Прудона он унаследовал протест бедняка против богатства и требование справедливого распределения жизненных благ. Однако его как-то ошеломила современная действительность, а убеждения и темперамент не позволяли ему прибегать к крайним революционным мерам. Конт внушил ему также непоколебимую уверенность в разумном строе бытия. Морен всегда руководствовался логикой, придерживаясь ясного и непреложного позитивного метода, располагал все человеческие знания в иерархическом порядке. Он отбрасывал ненужные метафизические гипотезы, глубоко убежденный, что только наука разрешит социальную и религиозную проблему, стоящую перед человечеством. Скромный и покорный судьбе, он сохранил свою веру, но она была окрашена известной горечью, так как в окружающей жизни он нигде не наблюдал разумной целеустремленности. Сам Конт под конец жизни впал в какой-то мрачный мистицизм, даже крупные ученые боялись истины, новые варвары грозили миру, и опять надвигался мрак средневековья. Все это так действовало на Морена, что он стал чуть ли не реакционером и готов был принять диктатора, который навел бы порядок и, развивая науки, ускорил культурное развитие человечества.

Время от времени приходили Баш и Янсен, всегда вдвоем и поздно вечером. Иной раз они засиживались до поздней ночи в большом кабинете, беседуя с Гильомом. Многословней всех был Баш, тучный и слащаво-благодарный бородач с маленькими умильными глазками, еле заметными на заросшем седыми волосами лице. Он без конца разглагольствовал о своих убеждениях, еле слышным и тягучим голосом. Он любезно раскланивался с Сен-Симоном, впервые провозгласившим принцип необходимости труда для каждого человека. Но когда он добирался до Фурье, в его голосе начинали звучать нежные нотки, и он подробно излагал свои религиозные взгляды: Фурье долгожданный мессия нашего времени, спаситель человечества. Этот гений создал высокий общественный идеал, который, несомненно, будет осуществлен в скором времени. Он посеял благие семена, создав картину упорядоченного общества завтрашнего дня, и его идеи, несомненно, будут

проведены в жизнь. Войдет в силу принцип гармонии, освобожденные и разумно использованные страсти будут приводить в движение социальный механизм, легкая приятная работа станет для человека столь же естественной, как дыхание. Баша ничто не смущало: пусть один из округов начнет преобразовываться в фаланстер, его примеру вскоре последует весь департамент, потом соседние департаменты, наконец вся Франция. Он принимал даже учение Кабе, а его «Икарию» отнюдь не считал бессмысленной утопией. Баш напоминал о том, как в 1871 году на одном из заседаний Парижской коммуны он предложил применить теорию Фурье к французской республике. Он был убежден, что войска версальцев, потопив в крови идею Коммуны, отсрочили на добрых полвека торжество коммунизма. Когда упоминали о вертящихся столах, он делал вид, что смеется над ними, но в душе оставался неисправимым спиритом.

С тех пор как он стал муниципальным советником, он перекидывался из одной социалистической секты в другую, усматривая в них сходство со своей былой религией. Он испытывал глубокую потребность в вере, неустанно искал в мире божественное начало и, изгнав бога из церкви, обнаружил его в ножке стола.

Янсен был настолько же молчалив, насколько его приятель Баш словоохотлив. Он выбрасывал лишь короткие фразы, хлесткие, как удары бича, отточенные, как лезвие кинжала. Его идеи и теории были несколько туманны. Вдобавок он с трудом изъяснялся по-французски, и не так-то легко было понять, что он хочет сказать. Он был иностранец, откуда-то издалека, — русский, поляк, австриец, а может быть, и немец, — никто точно не знал, — во всяком случае, он не имел родины и разъезжал из страны в страну, одержимый мечтой о каком-то кровавом братстве. Этот холодный человек, белокурый и бледный, с лицом Христа, говоривший без единого жеста, был беспощаден, и его ужасные слова, как взмахи косы на лугу, несли опустошение. Он считал, что необходимо стереть с лица земли все народы и посеять новое племя, юное и прекрасное. Когда Баш заявлял, что при содействии полиции труд будет упорядочен и станет приятным для всех, что фаланстер будет устроен на манер казармы, что будет введена новая религия, пантеизм или спиритизм, Янсен только пожимал плечами. Что за ребячество? К чему все это лицемерие, попытки что-то починить, когда здание рушится? Если мы хотим быть честными до конца, его необходимо снести до основания и построить из нового материала прочное здание завтрашнего дня. Когда заходила речь о пропаганде действия, то есть о бомбах, он молчал, но легким движением

руки выражал свою глубочайшую надежду. Он явно это одобрял. Никто не знал его прошлого, но оно было окружено ореолом зловещей славы: создалась легенда о том, что он один из участников взрыва в Барселоне. Однажды Баш, рассказывая о своем приятеле Бергасе, подозрительном биржевом дельце, замешанном в каком-то мошенничестве, откровенно назвал его бандитом, но Янсен только усмехнулся и заявил с невозмутимым видом, что воровство не что иное, как восстановление человеческих прав путем насилия. В таинственном прошлом этого образованного и утонченного человека, быть может, и были преступления, но ни одного низкого, бесчестного поступка; чувствовалось, что это беспощадный, упрямый теоретик, готовый поджечь весь мир для торжества своей идеи.

Иной раз Теофиль Морен встречался с Башем и Янсенем, и все трое, увлекшись беседой с Гильомом, засиживались до глубокой ночи. Пьер слушал их с безнадежностью во взгляде, неподвижно сидя в темном уголке и никогда не принимая участия в их спорах. Первое время все это горячо его интересовало, так как он был измучен отрицанием, безумно жаждал истины, хотел подвести итог умственным направлениям века, ознакомиться со всеми господствующими идеями, охватить взглядом весь путь, пройденный человечеством, и, если можно, определить, в чем состоят его достижения. Но очень скоро, прислушиваясь к спорам, он понял, что эти четверо никогда не придут к соглашению, отшатнулся от них и снова впал в отчаяние. Потерпев неудачу в своих поисках живой религии в Лурде и в Риме, он предпринял третью попытку в Париже и прекрасно понимал, что ему надо ознакомиться со всеми передовыми мыслителями, что речь идет о новых истинах, о долгожданном Евангелии, проповедь которого изменит лицо земли. Он жадно бросался на все новое и то и дело переходил от одной веры к другой. Сперва он был позитивистом вместе с Теофилом Мореном, потом стал эволюционистом и детерминистом с братом Гильомом, затем его покорила гуманистический коммунизм Баша, мечты о всеобщем братстве, о грядущем золотом веке. Даже Янсен, этот глубоко убежденный, суровый и гордый теоретик, не надолго заразил его своей абстрактной мечтой о торжестве анархического индивидуализма. Потом Пьер потерял почву под ногами, он стал усматривать только противоречия, непоследовательность, беспорядочные метания человеческого ума в поисках истины. Перед ним вырастала груда шлака, и он не мог там разглядеть ничего ценного. Будучи преемником Сен-Симона, Фурье частично отрицал своего учителя, и если первый забрел в тупик

мистического сенсуализма, то второй пришел к совершенно неприемлемой регламентации общества на военный лад. Прудон разрушал, ничего не созидая взамен. Конт, который разработал позитивный метод и поставил науку на подобающее ей место, утвердив ее верховные права, даже не подозревал о социальном кризисе, грозящем все ниспровергнуть, и кончил проповедью мистической любви, раболепным преклонением перед женщиной. Эти двое мыслителей тоже принимали участие в борьбе, обрушивались на Сен-Симона и Фурье. И так велики были взаимное непонимание и ослепление передовых умов современности, что истины, завоеванные ими сообща, теряли свою ясность и искажались до неузнаваемости. Следствием этого была невероятная неразбериха: Баш, ученик Сен-Симона и Фурье, Теофиль Морен, последователь Прудона и Конта, совсем не понимали Межа, депутата-коллективиста, ненавидели его и громили государственный коллективизм, как они громили все современные социалистические секты, не отдавая себе отчета в том, что все они детища своих учителей. И казалось, холодный, беспощадный Янсен не без оснований заявлял, что здание нельзя починить, что оно прогнило насквозь, вот-вот рухнет в бездну, и необходимо его разрушить.

Как-то раз после ухода завсегдатаев, Пьер, оставшись наедине с Гильомом, увидел, что брат помрачнел и медленно шагает по комнате. Без сомнения, Гильом тоже почувствовал, что все кругом рушится. И он продолжал рассуждать, даже не замечая, что его слушает один лишь брат. Он признался, какой ужас ему внушает государственный коллективизм Межа; государство в роли диктатора, восстанавливающее в полном смысле слова древнее рабство. Все эти социалистические секты готовы пожрать друг друга, грешат произволом в организации труда и приносят индивида в жертву интересам коллектива. Вот почему, стремясь примирить права общества и права личности, в конце концов он уверовал в анархический коммунизм, стал мечтать об анархии, которая освободит личность, позволит ей свободно совершенствоваться на благо себе и всем людям, без малейшего давления извне достигнув полного расцвета. Вот единственная научная теория: единицы сливаются с единицами, атомы, соединяясь, образуют миры, свободная горячая любовь порождает новую жизнь. Угнетающее меньшинство исчезает; перед нами лишь вольная игра творческих энергий, их гармоническое сочетание, непрестанно изменяющееся равновесие активных сил человечества, устремляющегося вперед. Итак, он представлял себе народ, избавленный от опеки государства, без правителя и почти без законов, счастливую страну, где

каждый гражданин свободно развивает все свои способности и вступает в добровольные соглашения со своими соседями, удовлетворяя все свои жизненные потребности; так возникает общество, добровольное объединение, сотни разнообразных объединений, управляющих общественной жизнью, то и дело изменяющихся, противостоящих друг другу, даже враждебных; ведь столкновения и схватки порождают прогресс, и мир возник в результате борьбы противоположных сил. Вот и все. Больше не будет угнетателей, не будет богатых и бедных, земля станет всеобщим достоянием, орудия производства и естественные богатства перейдут к народу, законному их владельцу, который сумеет использовать их справедливо и разумно, когда уже ничто не будет противоестественно задерживать его развития. Только тогда будет осуществлен закон любви, и человеческая солидарность, это проявление закона всемирного тяготения в общественной жизни, войдет в силу, сблизит людей и объединит их в дружную семью. Прекрасная мечта, благородная и возвышенная мечта о совершенной свободе, о свободном человеке в свободном обществе, неизбежно должна была овладеть ученым, человеком огромного ума, когда он раскусил социалистические секты, обнаружив, что все они заражены духом деспотизма. Мечта об анархии, безусловно, самая возвышенная, самая гордая человеческая мечта, и как сладостно питать надежду на гармоническую жизнь, которая сама собой, своими естественными силами принесет людям счастье!

Но вот Гильом замолчал, словно очнувшись от сна, и как-то растерянно поглядел на Пьера, опасаясь, что слишком много наговорил, что он обидел брата. Пьер был взволнован и на какое-то мгновение поддался доводам Гильома. Но вдруг ему пришло в голову ужасное, но вполне естественное возражение, убивающее всякую надежду. Почему же гармония не установилась в самом начале истории, когда только зарождалось человеческое общество? Каким образом восторжествовала тирания, отдав народы во власть угнетателей? И если когда-нибудь удастся разрешить эту неразрешимую проблему, разрушить все до основания и построить заново, кто поручится, что человечество, повинаясь все тем же законам, не пойдет опять по старому пути? Сейчас люди таковы, какими их сделала жизнь, и весьма вероятно, что жизнь снова сделает их такими же. Начать сначала? Да! Но только чтобы создать совсем другое. Однако в природе ли человека это другое? Может быть, нужно изменить самого человека? Итак, возвратиться вспять и затем снова продолжать прерванную эволюцию? Но как медленно она будет совершаться, сколько времени будет потеряно! И как будет ужасно,

если человечество, повернув вспять, на долгие годы окажется в безнадежном тупике, не зная, как ему выбраться из хаоса развалин!

— Идем спать, — сказал ему, улыбаясь, Гильом. — Ну и дурак же я! Толкую о вещах, которые тебя совершенно не касаются, и совсем замучил тебя.

Пьер готов был в горячем порыве открыть свою душу, рассказать, какая ужасная происходит в нем борьба. Но его удержала какая-то стыдливость: ведь брат имеет о нем превратное представление, считает его верующим священником, преданным религии. И, ни слова не говоря, он ушел к себе в комнату.

На другой день, часов около десяти вечера, Гильом и Пьер сидели за чтением в большом кабинете, когда старая служанка доложила, что пришел Янсен с каким-то приятелем. Это оказался Сальва. Его приход объяснился весьма просто.

— Он захотел вас повидать, — сказал Янсен Гильому. — Я встретил его, и когда он узнал, что вы ранены и очень беспокоитесь, то стал меня умолять, чтобы я привел его сюда... Но это очень неосторожно.

Гильом вскочил, удивленный и потрясенный этим вторжением. Пьер, глубоко взволнованный появлением Сальва, смотрел на него, неподвижно сидя на своем стуле.

— Господин Фроман, — наконец заговорил Сальва, стоявший с робким и смущенным видом, — я очень огорчился, когда мне сказали, какую я вам причинил неприятность; ведь я никогда не забуду, как вы были добры ко мне, когда все выталкивали меня за дверь.

Он переминался с ноги на ногу и перекладывал свою истрепанную круглую шляпу из одной руки в другую.

— Тогда я решил, что лучше мне самому прийти к вам. Признаюсь, как-то вечером, когда вы отвернулись, я стащил у вас патрон с вашим порошком, только в этом одном я и раскаиваюсь, потому что это может вам повредить... Но я клянусь, что вам нечего меня бояться, пускай мне хоть двадцать раз снесут голову, я ни за что не назову вашего имени... Вот что лежало у меня на душе.

Он снова замолчал, явно смущенный, глядя на Гильома с каким-то почтительным обожанием глазами преданной собаки, добрыми и мечтательными глазами. Пьер не отрывал от него взгляда; при появлении Сальва перед ним всплыло ужасное видение — злополучная девочка на побегушках, белокурая и прелестная, лежащая с разорванным животом там, в воротах особняка Дювильера. Неужели вправду он здесь, этот безумец, этот убийца, и у него влажные от слез глаза?

Растроганный Гильом подошел к рабочему и пожал ему руку.

— Я знаю, Сальва, вы не злой. Но какую преступную глупость вы сделали, друг мой!

Сальва не рассердился, он только кротко улыбнулся в ответ.

— Ах, господин Фроман, если бы это нужно было, я снова бы сделал то же самое. Ведь вы знаете, это моя идея.

И повторяю, все идет хорошо, я был бы совсем доволен, если бы не ваша рана.



Он не захотел присесть и простоял еще минуту-другую, разговаривая с Гильомом. А Янсен, как будто перестал интересоваться всем происходящим, считая посещение Сальва бесполезным и даже опасным, он уселся за стол и начал перелистывать какую-то книгу с иллюстрациями.

Гильом заставил Сальва рассказать обо всем, что он делал в день покушения, о том, как он бродил по Парижу, словно побитая, обезумевшая от боли собака, и всюду таскал с собой бомбу, сначала в мешке с инструментом, потом под курткой, о том, как он очутился возле особняка Дювильяра, ворота которого были заперты, потом у здания суда, куда его не пустили привратники, затем — возле цирка, который он почему-то не догадался взорвать со всеми находившимися там буржуа, и наконец, опять у особняка Дювильяра, куда он притащился еле живой, словно его привел туда рок. Мешок с инструментом лежал на дне Сены, он швырнул его туда, возненавидев работу, которая даже не могла прокормить его и семью; у него оставалась только бомба, а руки были свободны. Потом он рассказал о своем бегстве: как позади него раздался ужасный взрыв, потрясший весь квартал, и как потом он с радостным удивлением увидел, что находится где-то далеко, на спокойной улице, где еще никто ничего не знал. И вот уже месяц он живет, отдавшись на волю случая, сам не зная, где и как, нередко ночует на улице и ест далеко не каждый день. Как-то вечером маленький Виктор Матис дал ему пять франков. Кое-кто из товарищей ему помогает, его пускают на ночь и при малейшей тревоге дают ему возможность удрать. До сих пор, по молчаливому соглашению, ряд людей спасал его от полиции. Бежать за границу? Это ему приходило на ум, но наверняка повсюду уже сообщены его приметы, его караулят на границе, и пытаться ее перейти — не значит ли ускорить свой арест? Париж — это океан, здесь безопаснее всего. Вдобавок у него не хватило ни воли, ни энергии на бегство. Этот своеобразный фаталист был не в силах покинуть парижскую мостовую и ожидал, пока его там арестуют; жалкий обломок крушения, он носился без руля и без ветрил, увлекаемый людским потоком и подгоняемый неусыпной мечтой.

— А ваша дочка, ваша маленькая Селина? — спросил Гильом. — Вы рискнули зайти домой и повидаться с ней?

Сальва как-то неопределенно махнул рукой.

— Нет, что тут поделаешь! Она с мамой Теодорой. Женщины всегда умеют как-то выкрутиться. Да и зачем это? Я конченный человек и больше никому не нужен. Я как будто уже умер.

Тут слезы выступили у него на глазах.

— Ах, бедная малютка! Уходя, я расцеловал ее от всей души. Если бы она и моя жена не умирали с голоду у меня на глазах, может быть, мне никогда не пришлось бы это в голову.

Потом он откровенно сказал, что готов к смерти. Если он под конец решил подбросить бомбу в особняк банкира Дювильера, то лишь потому, что барон был хорошо ему известен как самый богатый буржуа, чьи предки в дни революции обманули народ, завладев властью и деньгами, а теперь эти буржуа не желают с ними расставаться и поделиться хоть бы грошом. Сальва понимал по-своему революцию, как малограмотный человек, нахватавшийся кое-каких знаний в газетах и на собраниях. И он стал говорить о своей честности, ударяя себя кулаком в грудь. Главное, ему не хотелось, чтобы усомнились в его мужестве, зная, что он убежал.

— Я не какой-нибудь жулик и добровольно не отдамся в руки ищейкам: пускай потрудятся меня разыскать и арестовать. Я знаю, они обо всем догадались как только нашли этот пробойник. И все-таки было бы плуто облегчить им задачу. Но не завтра, так послезавтра меня сцапают. И пусть себе, мне осточертела такая жизнь: травят тебя, как зверя, и живешь изо дня в день как попало.

Янсен перестал перелистывать книгу с иллюстрациями и не без любопытства взглянул на Сальва. В его холодных глазах светилась презрительная усмешка. Он сказал, не слишком уверенно выговаривая французские слова:

— Люди сражаются, защищаются, убивают других и стараются, чтобы их самих не убили. Это война.

Никто не ответил. Сальва даже не слышал Янсена. Он стал бессвязно излагать свой символ веры, нагромождая высокие слова: он готов пожертвовать жизнью, лишь бы нищета исчезла с лица земли; его подвиг послужит примером для других, он уверен, что вслед за ним явятся новые герои и будут продолжать борьбу. Он искренне веровал, с фанатизмом иллюмината отдавался несбыточным мечтам о спасении человечества и с гордостью признавал себя мучеником, радуясь, что станет одним из лучезарных, обожаемых святых новорожденной революционной церкви.

Сальва ушел так же внезапно, как и появился. Его увел Янсен, и казалось, эта ночь, полная тайн, из которой он вынырнул, снова поглотила его. Только тогда Пьер встал, распахнул большое окно кабинета и впустил свежий воздух, вдруг почувствовав, что ему нечем дышать. Была тихая безлунная мартовская ночь. Лишь издали долетал затихающий гул невидимого Парижа.

По своему обыкновению, Гильом начал медленно расхаживать по комнате. Потом он заговорил, по-прежнему забывая, что обращается к священнику, который был его братом.

— Ах, бедняга! Мне так понятен его дикий поступок, от которого он так много ожидал! Если вспомнить о его прошлом, о бесплодном труде, о беспросветной нищете, все становится ясным. Потом еще идейная зараза, многолюдные собрания, где люди опьяняются словами, тайные сборища, где в беседе с товарищами крепнет вера, воспламеняется дух... Вот тебе пример, я, кажется, раскусил этого человека. Он хороший работник, трезвый, честный. Всю жизнь его возмущала несправедливость. Он принялся мечтать о всеобщем счастье и мало-помалу оторвался от реальной жизни, которая под конец стала внушать ему ужас. И как же ему не жить мечтами, мечтами об искуплении путем поджогов и убийств? Когда я сейчас глядел на него, мне казалось, что передо мной один из рабов-христиан в Древнем Риме. Такой раб чувствовал у себя на плечах всю тяжесть несправедливости, царившей в гнилом языческом обществе, обреченном на гибель, утопавшем в роскоши и разврате. Во мраке катакомб он шепотом беседовал со своими несчастными братьями о грядущем освобождении и об искуплении. Он пламенно жаждал мученичества, он плевал в лицо цезарям, оскорблял богов, чтобы с воцарением Иисуса было наконец уничтожено рабство. И он готов был идти на растерзание зверям.

Пьер не сразу ответил. Ему уже бросилось в глаза поразительное сходство воинствующей веры анархистов, их тайной пропаганды, с верой и образом действий христианских сектантов первых веков. И те и другие отдаются веянию новых надежд, ожидают, что обездоленным будет наконец оказана справедливость. Язычество приходит к концу, человечество, пресыщенное наслаждениями плоти, испытывает потребность в чем-то ином, в чистой, возвышенной вере. Эта юная надежда расцвела в известный исторический момент, мечта о христианском рае, об иной жизни, о загробном воздаянии. Теперь, через восемнадцать столетий, когда эта надежда рухнула, когда, после многочисленных попыток, вековечный раб остался в дураках, рабочий мечтает о том, чтобы счастье воцарилось на этой земле, потому что наука с каждым днем все убедительнее доказывает ему, насколько лжива мечта о потустороннем блаженстве. Быть может, и эта мечта на поверку окажется иллюзией, но пусть она возродится с новой силой и надолго завладеет умами, воплощая истину, завоеванную наукой. Перед нами извечная борьба бедняка и богача, извечное стремление осуществить справедливость и уничтожить страдания. Это все тот же заговор отверженных, все то же братское объединение, все та же мистическая

экзальтация, все то же сумасшедшее желание подать пример и пролить свою кровь.

— Но я полагаю, — заговорил наконец Пьер, — что ты не можешь быть заодно с этими бандитами, с этими убийцами, дикая ярость которых приводит меня в ужас. Вчера я долго тебя слушал. Ты мечтал о великом и счастливом народе, об идеальной анархии, при которой все и каждый будут свободны. Но как бурно протестуют рассудок и сердце, когда начинается пропаганда и переходят от теории к практике! Если ты мыслящий разум, то что за гнусная рука проводит в жизнь эти идеи, рука, которая убивает детей, взламывает двери и опустошает ящики! Неужели ты берешь на себя ответственность за все это? Неужели ты, человек, воспитанный и ученый, имеющий за плечами такую длинную цепь культурных предков, не возмущаешься при мысли о грабежах и убийствах?

Гильом, содрогаясь от волнения, остановился перед братом.

— Грабежи, убийства! Нет, нет, я этого не хочу. Но нужно сказать все до конца, нужно правильно восстановить историю, которая предшествовала переживаемой нами тяжелой эпохе. Это какое-то повальное безумие, и, по правде говоря, все было сделано для того, чтобы его раздуть. После первых, еще безобидных, выступлений анархистов началась такая жестокая расправа, полиция так зверски обращалась с беднягами, попавшими ей в лапы, что стал нарастать гнев, который наконец прорвался в чудовищных актах насилия. Подумай только об отцах семейства, избитых и брошенных в тюрьму, о матерях и детях, умирающих с голоду на мостовой, о разъяренных сообщниках, готовых отомстить за каждого анархиста, умирающего на эшафоте. Буржуазный террор породил зверства анархистов. Взять хотя бы этого Сальва, — ты знаешь, чем порождено его преступление? Веками бесстыдства и несправедливости, всеми бедствиями, постигшими человечество, всеми язвами современности, разъедающими нас, они вызваны жадностью к наслаждениям, презрением к слабому, разложением нашего общества, представляющего собой чудовищное зрелище.

Он снова стал медленно шагать по комнате и продолжал, словно размышляя вслух.

— О, какого напряжения мысли, какой борьбы стоили мне те выводы, к каким я наконец пришел! Я был только ученым позитивистом; поглощенный своими наблюдениями и опытами, я не признавал ничего, кроме твердо установленных фактов. Рассматривая общество с научной точки зрения, я допускал естественную, медленную эволюцию, в

результате которой рождается на свет человечество, подобно тому, как рождается отдельный человек. И вот я вынужден был признать, что в историю земного шара, а затем и в историю каждого общества врывается вулкан, внезапный катаклизм, бурное извержение, отмечающее каждый геологический период, каждый исторический период. Таким образом, приходишь к убеждению, что всякий шаг вперед, всякий прогресс осуществляется лишь ценой ужасающей катастрофы. Всякий шаг вперед стоит жизни миллиардам существ. В своем близоруким негодовании мы обвиняем в несправедливости природу, называем ее жестокой матерью, но если мы не оправдываем вулкан, нам как ученым, способным предвидеть события, все же приходится с ним считаться, когда начинается извержение... А потом, а потом, ну да, я, может быть, такой же мечтатель, как и другие, у меня свои идеи.

И он сделал широкий жест, признаваясь, что в нем живет мечтатель-утопист наряду с добросовестным ученым, ведущим систематические исследования и скромно склоняющимся перед явлениями природы. Гильом непрестанно стремился все в мире объяснить научно, и его чрезвычайно огорчало, что он не в силах установить научным путем в природе наличие равенства или хотя бы той справедливости, какую он упорно мечтал водворить в человеческом обществе. Он приходил в отчаяние от того, что ему не удавалось примирить логику ученого с любовью апостола-утописта. При такой раздвоенности его возвышенный разум самостоятельно осуществлял свои задачи, а его сердце ребенка жило надеждами о всеобщем блаженстве, о братстве народов, о счастливой жизни, где больше не будет несправедливости, не будет войн и одна любовь станет владычицей мира.

А Пьер по-прежнему стоял у широко раскрытого окна, глядя в темноту на Париж, откуда в этот хмурый вечерний час доносился замирающий рокот, и его душа была захлестнута сомнениями и отчаяньем. Это уже слишком: брат, свалившийся ему на голову со своими верованиями ученого и апостола, люди, являвшиеся сюда и обсуждавшие все вопросы, порожденные современной мыслью, и, наконец, Сальва, в исступлении совершивший сумасшедший поступок! До сих пор Пьер слушал их молча, без единого жеста, прятался от брата, высокомерно лгал, прикидываясь образцовым священником. Но внезапно в его сердце всколыхнулась волна такой невероятной горечи, что он уже больше не в состоянии был лицемерить. И в бурном порыве гнева и скорби вырвалась наружу его тайна.

— Ах, брат, ты живешь своей мечтой, а у меня в груди язва, которая меня разъедает и опустошает мою душу... Твоя анархия, твоя мечта о справедливости и счастье, которую Сальва стремится осуществить, швыряя бомбы, — да ведь это же роковое безумие, которое все сметет с лица земли. Неужели ты этого не видишь? Конец века принес груды развалин. Вот уже больше месяца, как я слушаю вас: Фурье сокрушил Сен-Симона, Прудон и Конт уничтожили Фурье, все они нагромождают противоречия и несообразности, и нет никакой возможности разобраться в этом хаосе. Кишмя кишат социалистические секты, наиболее разумные из них ведут к диктатуре, остальные только плодят опасные бредни. И весь этот бешеный вихрь идей завершается твоей анархией, твоими взрывами, которые имеют целью прикончить старый мир, превратить его в прах... О! Я ее предвидел, я ожидал ее, эту последнюю катастрофу, этот взрыв братоубийственного безумия, неизбежную борьбу классов, в которой должна погибнуть наша цивилизация. Все ее возвещало: нищета внизу, эгоизм наверху, потрескивание ветхого здания человеческой культуры, готового рухнуть под бременем несчетных преступлений и скорбей. Когда я ехал в Лурд, я надеялся, что бог нищих духом сотворит долгожданное чудо и вернет веру первых веков народу, возмущенному выпавшими ему на долю чрезмерными страданиями. И когда я ехал в Рим, я наивно надеялся найти там новую религию, необходимую для нашей демократии, ту религию, которая одна могла бы умиротворить человечество и возродить братство золотого века. Но какая это была глупость с моей стороны! И здесь и там я провалился в пустоту. Я пламенно мечтал о спасении для других, но кончилось тем, что и сам погиб, подобно кораблю, который сразу идет ко дну и от которого никогда не всплывет ни один обломок. Последние узы связывали еще меня с людьми — милосердие, желание перевязать раны и, быть может в конце концов исцелить недуги, но и этот последний канат был оборван. Я понял, как бесполезно и смехотворно милосердие перед лицом возвышенной справедливости, которая будет осуществлена, торжеству которой теперь уже ничто не может помешать. Кончено. Я пережил ужасную внутреннюю катастрофу, и теперь я только пепел, пустая гробница. Я больше ни во что не верю, ни во что, решительно ни во что!

Пьер встал и развел руками, словно роняя огромную пустоту, воцарившуюся у него в сердце и в сознании. Гильом был потрясен, внезапно обнаружив, что перед ним упорный отрицатель, нигилист, потерявший всякую надежду. Содрогнувшись, он подошел к Пьеру.

— Что ты говоришь, брат? А я-то думал, что ты так спокоен, так тверд в своей вере! Что ты замечательный священник, святой, которого обожают весь приход. Я даже не хотел касаться твоей веры, и вдруг, оказывается, ты все отрицаешь и ни во что не веришь!

Пьер опять протянул руки куда-то в пустоту.

— Ничего нет. Я хотел все познать, но нашел только пустоту, она давит на меня и причиняет чудовищную боль.

— Ах, Пьер, милый мой братец, как же ты страдаешь! Значит, религия еще больше иссушает душу, чем наука, если она так тебя опустошила, а я, старый безумец, еще весь во власти химер!

Он схватил брата за руки, крепко их сжал, испытывая ужас и жалость к этому человеку, исполненному какого-то страха и величия, к этому неверующему священнику, который оберегал чужую веру, честно, безупречно и целомудренно исполнял свои обязанности, испытывая гордую печаль, порожденную своей ложью. Каких же угрызений совести стоила ему эта ложь если он пошел на такую исповедь, поведал о своем полном внутреннем крахе! Еще месяц назад Пьер ни за что бы не сделал подобных признаний, так как он жил в горделивом одиночестве и сердце его как бы иссохло. А теперь он только потому мог заговорить о себе, что за последнее время так много накопело у него на сердце: он пережил примирение с братом, наслушался по вечерам волнующих разговоров, стал свидетелем ужасной драмы, много передумал на тему о борьбе трудящихся с нуждой, и у него возродилась смутная надежда после бесед с мыслящей молодежью, которой принадлежало будущее. Разве самая полнота его отрицания не говорила о какой-то новой зарождавшейся вере?

Гильом догадался об этом, почувствовав, что брат весь дрожит от безмерной жажды нежности после долгих лет сурового молчания. Он усадил Пьера у окна, уселся рядом с ним, по-прежнему держа его за руки.

— Но я не хочу, чтобы ты страдал, братец! Я не расстанусь с тобой, я буду тебя лечить. Ведь я знаю тебя гораздо лучше, чем ты сам. Ты всегда испытывал мучительную борьбу сердца и рассудка и только тогда перестанешь страдать, когда они примирятся и ты полюбишь то, что будет понято тобой до конца. — И, понизив голос, он продолжал с беспредельной нежностью: — Видишь ли, наша бедная мать, наш бедный отец, — ну, да! — они продолжают свою мучительную борьбу в твоей душе. Ты был слишком юн и ничего не понимал. Но я-то знал, как они несчастны: он страдал, зная, что она считает его навеки погибшим, а она страдала из-за него, мучительно переживая его безверие! Когда он погиб,

вот в этой комнате, от страшного взрыва, она решила, что его постигла кара господня, и ей стало чудиться, что его грешная душа бродит по дому. А между тем какой это был честный человек, какой добрый и великодушный, какой труженик, безумно жаждавший истины, мечтавший только о всеобщей любви и счастье!.. С тех пор как мы стали проводить здесь вечера, я чувствую, что он возвращается, его тень нас осеняет, он пробуждается возле нас, в нас. И она тоже возвращается к жизни, святая, печальная женщина, она все время здесь, согревает нас своей любовью, плачет и упорствует в своем непонимании... Быть может, это они так долго меня здесь удерживали, они и сейчас с нами, это они соединили наши руки.

И действительно, Пьеру показалось, что он ощутил веяние неусыпной родительской любви, которую пробудил к жизни Гильом. Все было совсем такое, как прежде, вновь расцветала их юность, и они радостно ее переживали, уединившись здесь после катастрофы. Маленький домик дышал воспоминаниями, бывшее возродилось в нем, пронизанное несказанно нежной грустью и трепетом надежды.

— Слышишь, братец? Ты должен их примирить, потому что они могут примириться только в тебе. У тебя отцовский лоб, могучий и несокрушимый, как башня, и у тебя материнский рот, ее глаза, сияющие неизъяснимой нежностью. Постарайся же их приблизить друг к другу и прежде всего по возможности удовлетвори свою ненасытную жажду любви и жизни, ведь ты погибаешь оттого, что не можешь ее удовлетворить. Вот единственная причина твоих ужасных страданий. Вернись к жизни, полюби, отдайся другому существу, будь мужчиной!

У Пьера вырвался крик отчаяния.

— Нет, нет! Сомнение, как смертоносный вихрь, все иссушило, все истребило во мне, ничто не воскреснет из этого холодного праха. Я совершенно бессилён.

— Но послушай, — возразил Гильом, у которого сердце обливалось кровью, — ты ведь не можешь оставаться при этом полном отрицании. Никто не спускается в эту бездну, даже самый разочарованный человек где-то в глубине души живет химерами и надеждами. Отрицать милосердие, отрицать привязанность, чудо, которое способна сотворить любовь, — нет, признаюсь, я не захожу так далеко. И теперь, когда ты рассказал мне про свою душевную рану, неужели я не могу поведать тебе о своей мечте, о безумной надежде, которая дает мне силы к жизни? Как видно, ученые — это последние мечтатели, взрослые младенцы, и вскоре вера будет процветать только в лаборатории химиков!

Он весь трепетал от волнения; некоторое время в его уме и сердце происходила борьба. Потом, отдавшись порыву сострадания, охваченный горячей нежностью к своему несчастному брату, Гильом снова заговорил. Он обхватил Пьера за плечи, прижал его к своей груди и в этом тесном объятии, в свою очередь, стал изливать свою душу. Он говорил вполголоса, словно боялся, что кто-нибудь подслушает его тайну.

— Почему бы и тебе не знать этого? Это неизвестно даже моим сыновьям. Но ты мужчина, ты мой брат, священник умер в тебе, и я доверяю свою тайну брату. Я тогда еще крепче стану тебя любить, и, быть может, это будет тебе на пользу.

И Гильом рассказал брату о своем изобретении, о новом взрывчатом веществе, о порошке, обладающем такой невероятной силой, что даже невозможно предугадать, какие он произведет разрушения. Это вещество должно применяться для военных целей: особого рода пушки будут стрелять соответствующими бомбами, и армии, снабженной такими орудиями, будет обеспечена молниеносная победа. Враждебное войско будет уничтожено в несколько часов, осажденные города будут разрушены до основания при первой же бомбардировке. Он долгое время искал, сомневался, проверял свои вычисления, производил все новые опыты, но теперь его работа закопчена, найдена точная формула вещества, сделаны чертежи пушки и бомб, и драгоценная папка хранится в надежном месте. После мучительных размышлений, длившихся месяцы, он решил отдать свое изобретение Франции и тем самым обеспечить ей победу в предстоящей войне с Германией. Между тем Гильом не отличался узким патриотизмом, напротив, он был человек весьма широких взглядов и представлял себе будущую цивилизацию как торжество интернационального анархизма. Однако он верил в миссию Франции, считая, что она положит начало новой эре. Главным образом, он верил в Париж, называя его всемирным разумом современности и будущих времен, которому суждено создать подлинные науки и водворить на земле подлинную справедливость. В свое время в Париже, в могучем дыхании революции родилась великая идея свободы и равенства, и со временем гений этого города, его мужество подарят человечеству последнее освобождение. Париж должен одержать победу, чтобы спасти мир.

Пьер все понял, так как он присутствовал на лекции Бертеруа о взрывчатых веществах. Его потрясло величие этого замысла, этой мечты, необычайная судьба, ожидавшая победоносный Париж, озаренный, как молниями, взрывами бомб. Но его поражало также и благородство брата, который целый месяц пребывал в мучительной тревоге. Гильом дрожал

только при мысли, что его изобретение получит опласку после покушения Сальва. Малейшая неосторожность могла все погубить. Не выдаст ли его секрет этот украденный у него маленький патрон, вызвавший удивление ученых? Он хотел сам выбрать время, он понимал, что, когда пробьет его час, придется действовать, соблюдая строгую тайну. До той поры его секрет будет спать в потаенном месте, охранять которое доверено одной Бабушке; ей даны распоряжения, она знает, что предпринять, если он погибнет при внезапной катастрофе. Он полагался на нее, как на самого себя; никому не открыть его секрета, пока она будет бодрствовать над ним, как молчаливый верховный страж.

— Теперь, — прибавил Гильом, — ты знаешь и мои надежды, и мои тревоги. Ты сможешь мне помочь, даже заменить меня, если мне не удастся довести дело до конца. Довести дело до конца, довести до конца! Бывают минуты, когда я перестаю ясно видеть путь перед собой, особенно с тех пор, как я сижу здесь взаперти, все думаю-думаю и умираю от нетерпения и беспокойства! Этот Сальва, этот несчастный, в чьем преступлении повинны мы все и которого травят, как дикого зверя! Эта обезумевшая, ненасытная буржуазия, которая скорей погибнет под развалинами ветхого, подгнившего здания, чем позволит хоть немного его починить. Эта алчная, омерзительная пресса, беспощадная к малым сим, издавающаяся над теми, кто держится особняком, наживающаяся на катастрофах, готовая сеять заразу и раздувать безумие, чтобы увеличить свои тиражи! Где правда? Где справедливость? Где разумный и здравый мститель, которого надо вооружить молниями? Париж-победитель, Париж — владыка мира, станет ли он справедливым судьей, долгожданным спасителем? О! как мучительно сознавать себя властелином судеб человечества, избирать свой путь и принимать решение!

Он поднялся, весь трепеща от гнева и от страха, помышляя о том, что все эти бедствия человечества могут помешать ему осуществить свою мечту. Маленький домик погрузился в мрачное безмолвие, только над головой непрерывно раздавался размеренный стук шагов.

— Да, спасти людей, любить их, мечтать о равенстве и свободе для всех, — с горечью проговорил Пьер. — Слышишь, там, наверху, над головой, шаги Бартеса. Вот тебе ответ: любовь к свободе привела его к пожизненному заключению.

Но Гильом уже овладел собой, к нему вернулась его пламенная вера. Он снова обнял Пьера, помышляя о его спасении, готовый отдать себя целиком младшему брату.

— Нет, нет! Я не прав. Я хочу, чтобы ты был со мной, полный веры и надежды. Ты должен работать, ты должен любить, ты должен возродиться к новой жизни. Только жизнь вернет тебе душевный мир и здоровье.

Слезы вновь увлажнили глаза Пьера, глубоко тронутого и взволнованного горячей любовью брата.

— О, как бы мне хотелось тебе поверить! Как бы хотелось выздороветь! Правда, у меня в душе словно что-то пробудилось. Но воскреснуть — нет! Это невозможно. Священник умер во мне, и сердце мое — пустая гробница.

Тут Пьер так бурно зарыдал, что Гильом вздрогнул от ужаса и слезы хлынули у него из глаз. И братья долго стояли, крепко сжимая друг друга в объятьях, и плакали, плакали. Великая нежность проснулась у них в душе в стенах этого дома, где прошла их юность, где витали милые сердцу тени родителей, в надежде получить примирение и обрести вечный покой в земле. В широко раскрытое окно вливалось темное безмолвие сада, а там вдалеке дремал Париж, окутанный сумраком и тайной, под мирным небом, испещренным звездами.

КНИГА ТРЕТЬЯ

I

Вереду на третьей неделе великого поста в особняке Дювильяров устраивался благотворительный базар в пользу приюта для инвалидов труда. Парадные покои нижнего этажа, три обширные гостиные в стиле Людовика XVI, с окнами, выходящими на внутренний двор, пустой и торжественный, должны были вскоре наполниться шумной толпой покупателей. Как говорили, было разослано пять тысяч пригласительных билетов лицам из различных кругов парижского общества. Это было важное событие и своего рода демонстрация: множество народа приглашалось в особняк, в который была брошена бомба, ворота широко распахнуты, и во двор открыт свободный доступ пешеходам и экипажам. Правда, на ухо передавали друг другу, что улица Годо-де-Моруа и все окрестные улицы охраняются целым роем полицейских агентов.

Эта блистательная идея осенила Дювильяра, и жена, покоровшись его воле, решила терпеть досадную суматоху, раз это на благо заведению, где она с таким изяществом и небрежностью исполняла роль председательницы. Накануне «Глобус», вдохновленный своим издателем Фонсегом, администратором учреждения, опубликовал красноречивую статью, где сообщалось о базаре, организуемом по инициативе баронессы, отдающей свое время, свои деньги, даже свой особняк, и перевозносилось до небес трогательное милосердие, благородство и великодушие, проявленные ею вскоре после чудовищного взрыва, едва не превратившего в прах ее жилище. Разве это не великодушнейший ответ верхов общества на гнусные проявления страстей общественных низов? И какая сокрушительная отповедь тем, кто обвиняет финансовую буржуазию, что она ничего не делает для рабочих, для увечных и утративших трудоспособность представителей наемного труда!

Двери гостиных должны были распахнуться в два часа и затвориться в семь — целых пять часов благотворительного торга! Но в полдень на нижнем этаже еще не были закончены приготовления, рабочие и работницы лихорадочно суетились, украшая прилавки и раскладывая товары. А на втором этаже в это время, как всегда, имел место интимный завтрак, на который приглашено было несколько друзей. Вся семья была

до крайности напугана, так как в утреннем выпуске «Голоса народа» Санье возобновил свою кампанию разоблачений по делу Африканских железных дорог. С ядовитой иронией он задавал вопрос, долго ли еще собираются забавлять доверчивую публику рассказами об этой бомбе и об анархисте, которого почему-то не арестовывает полиция. На этот раз Санье прямо заявлял, что министр Барру получил двести тысяч франков, газета обещала в ближайшее время опубликовать фамилии тридцати двух подкупленных сенаторов и депутатов. Значит, можно было ожидать, что Меж повторит свой запрос, который становился опасным в атмосфере анархистского террора, свирепствующего в Париже. С другой стороны, уверяли, что Виньон и его приспешники решили приложить значительные усилия и, воспользовавшись обстоятельствами, свергнуть кабинет. Назревал кризис, неотвратимый и грозный. К счастью, по средам парламент не заседал, и заседание было перенесено на пятницу, так как четверг на третьей неделе считался праздником. В эти два дня можно было предпринять кое-какие шаги.

В это утро Ева казалась какой-то особенно томной и вялой, бледнее обычного, и в ее великолепных глазах сквозила грустная озабоченность. Она объясняла это чрезвычайной усталостью, вызванной приготовлениями к базару. Но дело было в том, что Жерар, у которого был смущенный вид, уже пять дней, как ее избегал и уклонялся от дальнейших свиданий. Не сомневаясь, что он наконец придет, она снова осмелилась нарядиться в белый шелк, так как этот туалет юной девушки ее молодил. Хотя эта белотелая блондинка была еще очень хороша, обладая превосходной фигурой и благородными прелестными чертами, сорок шесть лет все же досадно сказывались — на лице выступали красные пятнышки, губы слегка поблекли, и привяла нежная кожа на веках и на висках. Камилла, которая, естественно, должна была стать одной из самых бойких продавщиц, ни за что не захотела расстаться со своим обычным туалетом — темным платьем шоколадного тона, столь неподходящим для молодой девушки. «Это мой старушечий наряд», — говорила она с колючим смешком. Но ее злое лицо с тонкими губами, длинное, как мордочка козы, светилось плохо скрываемой радостью, огромные глаза так и искрились умом, она становилась почти красивой, и невольно забывали об ее уродливо вздернутом плече.

Сидя с дочерью в маленькой голубой с серебром гостиной, Ева поджидала сотрапезников и испытала первое разочарование, увидав, что генерал де Бозонне, которого должен был привести Жерар, входит один. Он объяснил, что г-жа де Кенсак в этот день с утра почувствовала легкое

недомогание и Жерар, как любящий сын, решил остаться около нее. Впрочем, сейчас же после завтрака он придет на базар. Ева слушала генерала, стараясь скрыть свою душевную боль и свои опасения, что ей не удастся в нижних комнатах объясниться с Жераром, а Камилла смотрела на нее пронизывающим взглядом. Должно быть, Ева инстинктивно почувствовала во взгляде дочери грозящую ей опасность, потому что она побледнела и с тревогой взглянула на Камиллу.

Потом в комнату, как порыв ветра, ворвалась принцесса Роземонда де Гарт. Ей тоже предстояло исполнять роль продавщицы в киоске баронессы, которая любила ее за живость и неожиданное веселье, какие она всегда приносила с собой. В экстравагантном атласном туалете огненного цвета, вся в кудряшках, худенькая и похожая на мальчишку, она смеялась, рассказывая о том, как ее коляска чуть было не разбилась вдребезги. Но когда появились из своих комнат барон и его сын Гиацинт, как всегда с опозданием, она завладела молодым человеком и стала распекать его за то, что накануне он заставил ее напрасно себя ждать до десяти часов, хотя обещал отвезти ее в монмартрскую таверну, где, как уверяют, можно насмотреться всяких ужасов. Гиацинт отвечал со скучающим видом, что он задержался у друзей на сеансе магии; там вызывали душу святой Терезы, которая, явившись, продекламировала любовный сонет.

Тут вошел Фонсег с женой, высокой худощавой особой, молчаливой и бесцветной, с которой он не любил бывать на людях, предпочитая роль холостяка. На этот раз ему пришлось ее привести, так как она была одной из дам-патронесс приюта, а сам он явился на завтрак как администратор, заинтересованный в успехе базара. Он вошел, как всегда, с веселым видом, суетливый, как все люди маленького роста, еще темноволосый в пятьдесят лет, безукоризненно одетый, с корректным видом дельца, взявшего на себя заботу о душах, блюстителя чести реакционной республики, печатным органом которой был его «Глобус». Однако он учащенно мигал от волнения, что мог бы заметить лишь хорошо знавший его человек, и сразу же бросил вопросительный взгляд на Дювильера, очевидно, желая узнать, как барон переживает нанесенный им этим утром новый удар. Но, увидав, что тот совершенно спокоен, как всегда величав, пышет здоровьем и шутит с Роземондой, он ободрился и вошел в роль счастливого игрока, не знакомого с проигрышем, неизменно побеждающего судьбу, даже в самых отчаянных обстоятельствах. И, подчеркивая широту своих взглядов, Фонсег заговорил с баронессой о делах приюта.

— Удалось ли вам наконец повидаться с господином аббатом Фроманом по поводу этого старика, этого Лавева, которого он нам так горячо рекомендовал? Вы знаете, все формальности уже выполнены, и можно его принять, ведь у нас уже три дня назад освободилась койка.

— Да, это мне известно, но я не знаю, что случилось с аббатом Фроманом, вот уже больше месяца, как он не дает о себе знать. Я вчера решила ему написать и пригласить его на мой сегодняшний базар... Таким образом, я сама сообщу ему эту приятную новость.

— Я не извещал его официально только для того, чтобы доставить вам это удовольствие... Не правда ли, премилый священник?

— О да! Мы очень его любим.

Дювильяр прервал их разговор, сказав, что не надо ждать Дютейля, так как молодого депутата задержало одно неожиданное дело, о чем он и сообщил телеграммой. Беспокойство вновь овладело Фонсегом, и он снова спросил глазами барона. Но тот улыбнулся и успокоил его, сказав вполголоса:

— Ничего серьезного. Я дал ему одно поручение, и он принесет мне ответ через некоторое время. — Потом, отведя его в сторону: — Между прочим, не забудьте поместить заметку, которую я просил вас напечатать.

— Какую заметку? Ах да, об этом вечере, где Сильвиана декламировала стихи... Я хотел с вами об этом поговорить. Это меня немного смущает — там уж чрезмерно ее расхваливают.

Еще минуту назад столь невозмутимо величавый, надменный и самоуверенный Дювильяр побледнел от волнения.

— Но я непременно хочу, чтобы она прошла, дорогой друг! Иначе вы поставите меня в ужасное положение, ведь я обещал Сильвиане, что заметка пройдет.

Растерянный взгляд и дрожащие губы показывали, в каком смятенье этот без памяти влюбленный старик, готовый заплатить любой ценой за удовольствие, которого его лишают.

— Хорошо, хорошо! — проговорил Фонсег, втайне радуясь, что он оказывается сообщником барона. — Раз это так важно, заметка пройдет, даю вам честное слово!

Все гости были уже налицо, поскольку не приходилось ждать ни Жерара, ни Дютейля. И компания направилась в столовую, между тем как снизу, из гостиных, предназначенных для базара, доносились последние удары молотков. Ева сидела между генералом де Бозонне и Фонсегом; Дювильяр между г-жой Фонсег и Роземондой, а дети барона, Камилла и Гиацинт, разместились по концам стола. Завтрак был несколько

поспешный, немного скомканный, так как раза три врывались служанки, сообщая о своих затруднениях и прося указаний. То и дело раздавалось хлопанье дверей; казалось, даже стены отзывались дрожью на царившую в особняке необычную суматоху, вызванную последними приготовлениями к базару. За столом шел самый бессвязный разговор, всеми владело лихорадочное возбуждение. От вчерашнего бала в министерстве внутренних дел перескакивали к народному празднеству, которое ожидалось на следующий день, в четверг на третьей неделе, и неизменно возвращались к навязчивой теме базара: сколько заплачено за товары, за какую цену они будут проданы, какова предполагаемая цифра общей выручки, — и все это пересыпалось необычайными историями, шутками и смехом. Когда генерал упомянул о следователе Амадье, Ева заявила, что она больше не решается приглашать его на завтрак, ведь он так ужасно занят там, в суде, но она все же надеется, что он явится и внесет свою лепту. Фонсег забавлялся, он поддразнивал принцессу Роземонду, прохаживаясь насчет ее огненного атласного платья: уверял, что она уже сейчас горит в адском пламени; это приводило в восторг принцессу, увлекавшуюся сатанизмом, который был ее последней страстью. Дювильяр был весьма корректен и любезен с молчаливой г-жой Фонсег, а Гиацинт, чтобы поразить принцессу, в напыщенных словах рассказывал о магической операции, посредством которой превращают в ангела юношу-девственника, лишив его всех признаков мужественности. А Камилла, ликующая и крайне возбужденная, время от времени бросала испепеляющий взгляд на мать, которая все больше беспокоилась и огорчалась, чувствуя, что дочь вне себя и готова вести с ней открытую и беспощадную войну.

Когда заканчивали десерт, баронесса услышала, как ее дочь сказала звонким, пронзительным голосом, в котором звучал вызов:

— Ах, не говорите мне об этих престарелых дамах, которые делают вид, что все еще играют в куклы, красятся и наряжаются, как к первому причастию. В сущности, все они настоящие людоедки! Они мне прямо омерзительны.

Ева нервно встала и попросила извинения у гостей.

— Простите, что я так вас тороплю. Право же, это даже непохоже на завтрак. Но я боюсь, что нам не дадут выпить кофе... Все-таки пойдемте, немного передохнем.

Кофе был подан в маленькой гостиной, голубой с серебром, где стояла корзина чудесных чайных роз, — баронесса имела пристрастие к цветам, и в ее особняке круглый год цвела весна. Немедленно же

Дювильяр увлек за собой Фонсега, и с дымящимися чашками в руках они удалились в кабинет выкурить сигару за непринужденной беседой. Впрочем, дверь оставалась широко открытой, и оттуда доносились их густые приглушенные голоса. Генерал де Бозонне, радуясь, что в лице г-жи Фонсег обрел серьезную, безропотную слушательницу, никогда не прерывавшую его, рассказывал ей бесконечную историю про какую-то офицерскую жену, которая в войну 1870 года всюду сопровождала мужа и была свидетельницей всех сражений. Гиацинт не пил кофе, с презрением называя его «пойлом для консьержки». Молодой человек ускользнул на минутку от Роземонды, которая пила из рюмочки кюммель, смакуя каждый плоток; подойдя к сестре, он шепнул ей на ухо:

— Знаешь, ты сделала сейчас дурацкий выпад по адресу мамы. Мне, конечно, наплевать. Но, в конце концов, это становится заметным. Имей в виду, что это дурной тон.

Камилла пристально поглядела на него своими черными глазами.

— Слушай, ты, пожалуйста, не вмешивайся в мои дела.

Гиацинт испугался, он почуял, что в воздухе пахнет грозой, и тут же решил повести Роземонду в соседнюю большую красную гостиную, чтобы показать ей новую картину, купленную накануне его отцом. Он пригласил и генерала, который увлек за собой г-жу Фонсег.

Мать и дочь на минуту остались с глазу на глаз. Словно в изнеможении, Ева облокотилась на консоль, при малейшем огорчении она испытывала слабость. Она не сознавала своего беспредельного эгоизма и, отличаясь мягкосердечностью, всегда была готова заплакать. Почему это дочь так ее ненавидит, изо всех сил старается отравить ей последнюю любовь, счастье, за которое она так цепляется? Ева смотрела на девушку с сокрушенным сердцем, испытывая скорее отчаяние, чем гнев. Камила уже собиралась пройти в салон, когда баронессе пришла в голову несчастная мысль задержать дочь и сделать замечание по поводу ее туалета.

— Напрасно, бедное мое дитя, ты упорно одеваешься, как старуха. От этого ты далеко не выигрываешь.

В томном взоре красавицы, привыкшей к ухаживаниям и поклонению, проглядывала искренняя жалость к этому некрасивому, обиженному природой созданию, которое она до сих пор еще не привыкла считать своей дочерью. Вздернутое плечо, руки, длинные, как у горбуны, профиль козы. Неужели ее царственная красота могла породить такое уродство, ее красота, в которую она всю жизнь была влюблена, за которой ревностно ухаживала — единственная религия, которую она

исповедовала? Голос Евы дрожал, до того ей было больно и стыдно, что у нее такая дочь.

Камилла вдруг остановилась, словно ее огрели хлыстом по лицу. Она подошла к матери. И тут произошло бурное объяснение, которое вызвали незначительные слова, сказанные вполголоса.

— Ты находишь, что я дурно одеваюсь... Надо было уделять мне внимание, одевать меня по своему вкусу, открыть твою тайну, как быть всегда красивой.

Ева уже сожалела о том, что задела дочь, она избегала тягостных впечатлений, ненавидела ссоры, во время которых бросают оскорбительные слова. Она решила ускользнуть, тем более что время было горячее и их ждали внизу, чтобы открыть базар.

— Пожалуйста, замолчи, нечего тебе злиться, ведь нас могут услышать... Я тебя любила...

Ее прервал резкий, хотя и сдержанный смешок Камиллы.

— Ты меня любила!.. Бедная моя мама, какую ты сказала несуразицу! Да разве ты кого-нибудь в своей жизни любила? Ты хочешь, чтобы тебя любили, но это другое дело. Да разве ты представляешь себе, как любят своего ребенка, вообще ребенка?.. Я всегда была покинута и заброшена, ты отстраняла меня, считая, что я чересчур некрасива, недостойна тебя; к тому же ты день и ночь любовалась собой и поклонялась своей красоте... И полно тебе лгать, бедная моя мама, ты и сейчас смотришь на меня как на какое-то чудовище, которое внушает тебе отвращение и которым ты тяготишься.

Теперь уже ничто не могло их остановить, и сцена разыгралась до конца, причем слова бросались сквозь зубы, лихорадочным шепотом.

— Я приказываю тебе замолчать, Камилла! Ты не смеешь так со мной говорить.

— И не подумаю молчать, раз ты стараешься меня оскорбить. Если я напрасно одеваюсь, как старуха, то не смешно ли, когда кто-то одевается, как молодая девушка, как новобрачная.

— Как новобрачная? Я не понимаю тебя.

— О, ты прекрасно понимаешь... Но я хочу, чтобы ты знала, что далеко не все находят меня такой некрасивой, какой я тебе почему-то кажусь.

— Если ты некрасива, то лишь потому, что безвкусно одеваешься, — я только это и хотела сказать.

— Я одеваюсь по своему вкусу, и, уж конечно, неплохо, если меня любят такой, какая я есть.

— В самом деле тебя кто-то любит? Так пусть же он сообщит нам об этом и женится на тебе.

— О, непременно, непременно! Не правда ли, ты будешь рада от меня избавиться? И скоро ты увидишь меня невестой.

Сами того не замечая, они повышали голос. Камилла замолчала, перевела дыхание и прибавила глухим свистящим шепотом:

— На этих днях Жерар придет к вам просить моей руки.

Ева побелела, казалось, она не совсем поняла.

— Жерар... Почему ты мне это говоришь?

— Да потому, что Жерар любит меня и хочет на мне жениться... Ты выводишь меня из себя, вечно твердишь мне, что я некрасива, считаешь меня каким-то уродом, которого все пугаются. Так вот я хочу защититься и решила обо всем тебе рассказать, чтобы ты убедилась, что не у всех такой вкус, как у тебя.

Наступило молчание. Казалось, после ужасной правды, внезапно высказанной и вставшей между ними, ссора не может продолжаться. Но теперь это уже не были мать и дочь, а соперницы, которые страдали и яростно боролись.

Ева глубоко вздохнула и в тревоге огляделась, не подслушивает ли их кто-нибудь. Потом сказала решительным тоном:

— Ты не можешь выйти замуж за Жерара.

— Почему это я не могу выйти замуж за Жерара?

— Потому что я этого не хочу, потому что это невозможно.

— Ну разве это причина? Скажи мне настоящую причину!

— Причина та, что этот брак невозможен, вот и все.

— Нет, я скажу тебе настоящую причину, если уж на то пошло... Дело в том, что Жерар твой любовник. Но что из этого? Ведь я об этом знаю и все-таки хочу выйти за него.

А ее сверкающие глаза говорили: «Именно потому-то я и хочу за него выйти!» Камилла столько лет терзалась, сознавая себя калекой, с самого детства с ненавистью наблюдала, как ухаживают за ее красавицей матерью, как ее обожают, и теперь все эти чувства всколыхнулись в ней и вылились в злобной радости мщения. Наконец-то ей удалось похитить его у матери, этого любовника, которого она так долго к ней ревновала.

— Несчастная, — пролепетала Ева, теряя силы, раненная в сердце. — Ты сама не знаешь, что говоришь и какую ты мне причиняешь боль.

Но ей пришлось замолчать, взять себя в руки и улыбнуться, так как из соседней гостиной прибежала Роземонда и крикнула, что ее ждут внизу. Двери особняка должны сейчас распахнуться, и баронессе

необходимо быть за прилавком. Да, да, она сейчас спустится. И чтобы не упасть, Ева оперлась на столик.

— Знаешь, — сказал Гиацинт, подходя к сестре, — это идиотство так ссориться. Лучше бы уж вы спустились вниз.

Камилла резко его одернула:

— Убирайся ты! И уведи других. Нечего им тут торчать.

Гиацинт бросил на мать взгляд, говоривший, что он все понимает и находит это смешным. Но тут же с досадой увидел, что она пасует перед его злобой сестрой, пожал плечами и решил оставить этих сумасшедших и увести вниз гостей. С лестницы доносился смех удаляющейся Роземонды, а генерал спускался с г-жой Фонсег, которой он рассказывал уже новую историю. Но в тот момент, когда матери и дочери показалось, что они одни, они услышали совсем близко голоса Дювильера и Фонсега. Отец находился еще в кабинете и мог их услышать.

Ева чувствовала, что ей следовало бы уйти. Но у нее не хватало сил, да это было и невозможно после слов, брошенных ей в лицо, как пощечина, и пробудивших острый страх потерять любовника.

— Жерар не может жениться на тебе, он не любит тебя.

— Он меня любит.

— Ты вообразила, что он тебя любит, потому что он ласков с тобой, но он просто жалеет тебя, видя, что ты всегда одна... Он не любит тебя.

— Он меня любит... Он меня любит прежде всего потому, что я не так глупа, как другие, а главное, потому, что я молода.

Это был новый удар, нанесенный с насмешливой жестокостью. В словах Камиллы звучала радость, она торжествовала, видя, что красота матери, причинившая ей столько страданий, уже перезрела и начинает увядать.

— Молодость! О, видишь ли, бедная моя мама! Ты уже, верно, забыла, что значит быть молодой. Если я и не красавица, то я молода, от меня исходит приятный запах, у меня чистые глаза, свежие губы. И вдобавок волосы такие густые и такие длинные, что если б я захотела, то могла бы закутаться ими, как плащом... А потом, молодые никогда не бывают некрасивыми. А вот когда женщина состарится, то все кончено, бедная моя мама. Пусть она была в свое время красавицей, пусть она старается сохранить свою красоту — она только развалина, на которую стыдно и противно смотреть.

Это было сказано таким злобным, таким резким тоном, что каждая фраза вонзалась в сердце матери, как нож. Слезы выступили на глазах у несчастной женщины, получившей удар в самое больное место. Да, это

была правда, она была безоружной перед лицом молодости, сознавала в смертельной тоске, что стареет, чувствовала, что любовь уходит от нее, и была похожа на перезрелый плод, упавший с ветки.

— Мать Жерара никогда не позволит ему жениться на тебе.

— Он ее уговорит, это уж его дело... У меня два миллиона, а с двумя миллионами все можно уладить.

— Неужели ты хочешь бросить на него тень, ты говоришь, что он женится на тебе из-за денег!

— Нет, нет! Жерар очень честный и милый человек. Он любит меня и женится на мне потому, что я ему нравлюсь... Ведь ему уже тридцать шесть лет, он не богат, у него нет определенного положения, и он будет очень рад, если жена принесет ему не только счастье, но и богатство... Понимаешь, мама, я подарю ему подлинное счастье: взаимную любовь и обеспеченную будущность!

Они снова очутились лицом к лицу. Отвратительная сцена продолжалась, то и дело прерываемая доносившимися со всех сторон звуками, и казалось, ей не будет конца. Оскорбления выговаривались сдавленными голосами; разыгрывалась под сурдинку настоящая драма, жестокая и убийственная. Ни та, ни другая не хотели уступить, хотя и рисковали, что их услышат, все двери были открыты, мог войти кто-нибудь из слуг, и совсем близко слышался веселый голос отца.

— Он тебя любит, он тебя любит... Это ты говоришь. А он никогда тебе этого не говорил.

— Он говорил мне это двадцать раз, он повторяет мне это всегда, когда мы остаемся одни.

— Ну да, как маленькой девочке, которую хотят позабавить... Он никогда тебе не говорил, что хочет на тебе жениться.

— Он говорил мне об этом еще в последний раз, когда приходил к нам. Дело уже решенное, я надеюсь, что он вскоре уговорит свою мать и сделает предложение.

— О! Ты лжешь, ты лжешь, несчастная! Ты решила меня помучить и лжешь, лжешь!

Ее душевная боль наконец прорвалась наружу в этом крике возмущения. Ева позабыла, что она мать и говорит с дочерью, Сейчас это была только любящая женщина, оскорбленная и доведенная до отчаяния соперницей. И она призналась, рыдая:

— Он любит меня, меня! Прошлый раз он мне поклялся, — слышишь ты! — поклялся честью, что не любит тебя и никогда на тебе не женится.

Камилла рассмеялась своим пронзительным смехом и сказала с насмешливой жалостью:

— Ах, моя бедная мама, мне, право, жаль тебя. Сколько в тебе ребяческого!.. Как! У тебя такой большой опыт, и ты до сих пор еще веришь, когда мужчина что-нибудь отрицает! Он у нас добрый малый, поэтому он дает тебе какие угодно клятвы. В сущности, он немного трусоват и прежде всего хочет сделать тебе удовольствие.

— Ты лжешь, ты лжешь!

— Ну, посуди сама... Он больше к нам не приходит, сегодня он увильнул от завтрака, и все это потому, что ты ему до смерти надоела. Он бросил тебя, бедная моя мама, и ты должна иметь мужество это осознать. Он мил с тобой, потому что он человек благовоспитанный и не знает, как с тобой порвать. Наконец, ему попросту жаль тебя!

— Ты лжешь, ты лжешь!

— А ты расспроси его сама, как добрая мамаша, какой тебе и подобает быть. Объяснись с ним начисто, спроси его по-дружески, что он намерен предпринять. И будь с ним, в свою очередь, мила, пойми, что, если ты его любишь, ты должна сейчас же мне его уступить, так будет лучше для него. Верни ему свободу, и ты увидишь, что он любит именно меня.

— Ты лжешь! Ты лжешь! Ах, скверная девчонка, ты только и хочешь, что терзать меня и убить меня!



И в порыве гневного отчаяния Ева вдруг вспомнила, что она мать, что она должна наказать свою недостойную дочь. Под рукой не оказалось палки, но из корзины чайных роз, опьянявших их своим ароматом, она выхватила несколько цветков с длинными колючими стеблями и хлестнула ими Камиллу по лицу. Капля крови выступила на левом виске у самого глаза.

От этого удара Камилла вся побагровела и в бешенстве ринулась вперед, замахнувшись рукой, готовая, в свою очередь, ударить.

— Берегитесь, мама! Клянусь вам, что я исколочу вас, как последнюю тварь... Зарубите себе это на носу: я хочу выйти за Жерара, и я выйду за Жерара. Я заберу его у вас со скандалом, если вы не дадите его добром!

Обессилевшая от гнева, вне себя, баронесса упала в кресло. Опомнившись, она снова почувствовала ужас перед ссорами, и ей захотелось по-прежнему жить счастливой жизнью, эгоистически принимая ласки, лесть и поклонение. А Камилла выразилась целиком в своих яростных угрозах — проглянула наружу ее черная, черствая, не знающая пощады душа, упоенная своей жестокостью. Воцарилось какое-то давящее молчание, и вновь из кабинета послышался оживленный голос Дювильяра.

Ева тихонько заплакала. В этот момент Гиацинт, бегом поднявшийся по лестнице, ворвался в гостиную. Он взглянул на женщин и сказал с жестом снисходительного презрения:

— Вот как! Вы, я вижу, добились своего. А что я вам говорил? Не лучше ли было сразу спуститься вниз!.. Вы знаете, там все вас спрашивают. Это просто глупо. Я пришел за вами.

Возможно, что Ева и Камилла в смятении чувств и не последовали бы за ним, так как ими овладела потребность наносить оскорбления и мучить себя, но Дювильяр и Фонсег, докурив сигары, вышли из кабинета и направились к лестнице. Слезы высохли на глазах у Евы, ей пришлось встать и улыбнуться, а Камилла, подойдя к зеркалу, поправила прическу и вытерла уголком носового платка капельку крови, алевшую у нее на виске.

Внизу, в трех просторных гостиных, украшенных коврами и живыми растениями, уже собралось множество народа. Прилавки были задрапированы красным шелком, что придавало несравненный блеск и праздничность товарам. Ни один универсальный магазин не мог бы соперничать с этим базаром, где были собраны тысячи предметов. Там можно было найти решительно все, начиная с эскизов крупных мастеров, автографов знаменитых писателей и кончая носками и гребенками. Эта пестрая смесь сама по себе привлекала внимание, не говоря уже о буфете, где изящные белые ручки подавали шампанское, о двух лотереях, об органе и английской колясочке, запряженной пони, в которой можно было прокатиться, приобретя билет у одной из очаровательных девушек, целым роем порхавших в шумной толпе. Но, как и рассчитывал Дювильяр, своим громким успехом базар был обязан прежде всего легкому сладостному трепету, который испытывали нарядные дамы, проезжая под аркой, где взорвалась бомба. Основные восстановительные работы были закончены, стены и потолок починены и местами возведены заново. Но маляры еще не приступали к работе, и виднелись следы ужасных разрушений, шрамы ясно проступали на побеленных стенах под слоем свежей штукатурки.

Головы взволнованных, восхищенных женщин высовывались из экипажей, которые бесконечной вереницей въезжали во двор, стуча колесами по гулким плитам, устилавшим двор. А в трех гостиных у прилавков не было конца разговорам.

— Ах, моя дорогая! Вы видели, это так страшно, так ужасно! Какие следы разрушений! Весь дом чуть не взлетел. И подумать только, что это опять может случиться, пока мы здесь. Право же, нужно большое мужество, чтобы явиться сюда, по это такое богоугодное заведение, речь идет о постройке нового корпуса. И потом, эти чудовища увидят, что мы и не думаем трусить.

Когда баронесса наконец спустилась на первый этаж и заняла место в киоске рядом с дочерью, там уже лихорадочно работали продавщицы под командой принцессы Роземонды, которая в подобных случаях проявляла удивительную хитрость и хищную хватку. Она бесстыдно облапошивала покупателей.

— Ах, вот и вы! — крикнула она. — Будьте начеку, тут целая куча прижимистых особ, которые собираются покупать у нас по дешевке. Я уж их знаю, они выжидают подходящего случая, роются в товарах, надеясь, что у нас закружится голова, мы перестанем соображать и возьмем с них меньше, чем в настоящих магазинах... Уж я их обдеру, вот увидите!

Ева была никуда не годной продавщицей и лишь торжественно восседала в своем киоске, однако ей пришлось оживленно болтать с другими продавщицами. Она сделала вид, что дает вполголоса какие-то указания Камилле, которая выслушала ее, улыбаясь, с покорным видом. Но несчастная женщина изнемогала от душевных терзаний и с тоской думала, что ей придется просидеть здесь до семи часов, скрывая свои переживания от всей этой публики, даже не надеясь с кем-нибудь отвести душу. И она невольно испытала облегчение, заметив аббата Пьера Фромана, который поджидал ее, сидя возле киоска на скамеечке, обитой красным бархатом. У нее подкашивались от слабости ноги, и она уселась рядом с ним.

— Ах, господин аббат, вы получили мое письмо и пришли... У меня для вас хорошая новость, и я думаю, вам будет приятно лично сообщить ее вашему протеже, этому Лавеву, которого вы нам так горячо рекомендовали... Все формальности уже выполнены, завтра вы можете привести его в приют.

Пьер смотрел на нее в полном недоумении.

— Лавев... Да ведь он умер!

В свою очередь, она поразилась.

— Как, он умер! И вы мне ничего не сказали! Если бы вы только знали, сколько тут было хлопот, сколько пришлось изменять и переделывать, а потом, все эти обсуждения и все эти бумаги. Вы уверены, что он умер?

— О да, он умер... Вот уже месяц, как он умер.

— Уже месяц, как умер! И нам ничего не было известно, все это время вы не давали о себе знать... О, боже мой! Какая досада, что он умер, ведь нам придется снова переделывать эти бумаги.

— Он умер, сударыня. Мне, конечно, нужно было вас об этом уведомить. Но что поделаешь!.. Он умер!

Разговор о смерти, мысль о покойнике, о котором она хлопотала добрый месяц, все это леденило ей душу и, казалось, предвещало холодную могилу, куда ее опустят, убитую последней любовью. А Пьер против воли горько усмехался, помышляя о жестокой иронии судьбы. О, это хромоногое милосердие, которое приковыляет со своими дарами, когда человека уже нет в живых!

Священник остался сидеть на скамеечке, когда баронесса поднялась навстречу Амадье. Следовательно торопливо вошел, считая долгом показаться на базаре, купить какой-нибудь пустячок, и поскорее вернуться в здание суда. Но маленький Массо, репортер «Глобуса», неутомимо рыскавший среди прилавков, заметил Амадье и накинулся на него в надежде получить какие-нибудь сведения. Он завладел следователем, забросал его вопросами, желая узнать, как обстоит дело с Сальва, этим слесарем, которого обвиняют в том, что он бросил бомбу во двор особняка. Что это такое, выдумка полиции, как уверяют иные газеты? Или действительно напали на след? Когда же его арестует полиция? Амадье оборонялся, отвечал весьма резонно, что он пока еще не имеет отношения к этому делу, что оно поступит в его ведение, если Сальва будет арестован и если ему, Амадье, поручат вести следствие. Но у этого судейского с безупречными светскими манерами и стальными глазами был какой-то особенно значительный, чуть лукавый вид, и невольно думалось, что он уже знает все подробности и завтра можно ожидать каких-нибудь важных событий. Дамы обступили его со всех сторон, целый поток хорошеньких женщин, сторающих от любопытства; они проталкивались вперед, чтобы услышать страшную историю про злодея, в предвкушении которой их уже пробирала легкая нервная дрожь. Но Амадье быстро ускользнул от них, заплатив принцессе Роземонде двадцать франков за портсигар, которому красная цена была тридцать су.

Увидев Пьера, Массо подошел и пожал ему руку.

— Не правда ли, господин аббат, этот Сальва теперь уже на краю света, если только у него здоровые ноги и он продолжает удирать во все лопатки?.. Меня смешит эта полиция.

Но тут Роземонда подвела к журналисту Гиацинта.

— Господин Массо, вы бываете решительно везде, и я прошу вас быть судьей... Эта Камера ужасов на Монмартре, в таверне, где Легра распевает свои «Цветы, рожденные на мостовой...».

— Чудесный уголок, сударыня. Там, пожалуй, и жандарм покраснеет.

— Довольно шуток, господин Массо, дело весьма серьезное. Как вы думаете, может там появиться порядочная женщина в сопровождении господина? — И, не дожидаясь ответа, она повернулась к Гиацинту: — А вот видите, господин Массо, ничего не говорит против. Вы повезете меня туда сегодня вечером, решено, решено!

И она упорхнула, но вскоре вернулась и продала какой-то старушке пакетик булавок за десять франков. А молодой человек процедил сквозь зубы:

— Она прямо помешалась на этой Камере ужасов.

Массо пожал плечами с глубокомысленным видом.

Почему бы женщине не позабавиться! И только когда Гиацинт удалился и стал прохаживаться с выражением какого-то противоестественного презрения среди хорошеньких девушек, продававших лотерейные билеты, он осмелился сказать вполголоса:

— Хорошо бы, если б какая-нибудь женщина сделала из этого мальчишки человека.

И тут же обратился к Пьеру:

— Смотрите-ка! Дютейль!.. А ведь Санье утром сообщил нам, что Дютейль сегодня ляжет спать в Мазасе.

И в самом деле, Дютейль, оживленный и улыбающийся, быстро протискивался сквозь толпу, направляясь к Дювильяру и Фонсегу, которые продолжали свою беседу и возле киоска баронессы. Войдя в зал, он победоносно махнул рукой, показывая, что ему удалось выполнить возложенное на него щекотливое поручение. Речь шла об одном смелом маневре, который должен был ускорить поступление Сильвианы во Французскую Комедию. Ей пришло в голову, что барон повезет ее обедать в Английское кафе и пригласит туда одного влиятельного критика, который, уверяла она, заставит администрацию раскрыть перед ней двери театра, стоит только ему с ней познакомиться. Но было не так-то легко добиться согласия критика на обед, — у него была репутация ворчуна, человека сурового нрава. Поэтому Дютейль, на первых порах получив

отказ, последние три дня пускал в ход все свои дипломатические способности, используя самые отдаленные связи. Сейчас он сиял, он одержал победу.

— Дорогой барон, сегодня вечером, в половине восьмого. Черт побери, получить его согласие было труднее, чем отменить выпуск выигрышного займа.

И он засмеялся с откровенным бесстыдством любителя веселой жизни. Этот политический деятель не слишком-то считался с моралью, и ему показался забавным собственнй намек на последние разоблачения, сделанные «Голосом народа».

— Не шутите! — шепнул ему Фонсег, хотевший позабавиться его испугом. — Дела из рук вон плохи.

Дютейль побледнел, и ему сразу представились полицейский комиссар и тюрьма Мазас. У него бывали приступы таких страхов, похожие на приступы колик. Но этот легкомысленный человек, совершенно лишенный нравственного чувства, быстро успокаивался и снова начинал улыбаться. Черт возьми! Жизнь все-таки недурная штука!

— Чего там! — весело бросил он, подмигнув в сторону Дювильера. — А хозяин на что!

Барон с довольным видом пожал ему руку и поблагодарил его, заявив, что он славный малый. И тут же повернулся к Фонсегу.

— Скажите, вы ведь будете сегодня вечером? О, это совершенно необходимо, мне хочется, чтобы Сильвиану окружали видные фигуры. Дютейль будет представителем парламента, вы — прессы, я — финансов...

Внезапно он умолк, увидав Жерара, который, сдвинув брови, неторопливо и осторожно пробирался среди юбок. Барон поманил его к себе.

— Жерар, друг мой, я попрошу вас об одной услуге.

И он сообщил графу великую новость: влиятельный критик наконец дал согласие, на обеде решится судьба Сильвианы, и долг всех ее друзей быть сегодня с нею.

— Не могу, — смущенно отвечал молодой человек, — я обедаю с матерью, сегодня утром ей немного нездоровилось.

— Ваша мать женщина весьма рассудительная и, конечно, понимает, что бывают дела исключительной важности. Вернитесь домой и предупредите ее, что не приедете к обеду, наплетите ей что-нибудь, скажите, что речь идет о счастье одного друга. — И, видя, что Жерар сдается, он добавил: — К тому же, мой дорогой, вы мне нужны, мне

необходимо присутствие светского человека. Вы же знаете, свет — это великая сила в театре. Если свет станет на сторону нашей Сильвианы, ей обеспечен триумф.

Жерар согласился. Некоторое время он простоял, беседуя со своим дядей, генералом де Бозонне. Старик очень оживился, очутившись в бурном потоке женщин, где его бросало во все стороны, как ветхий корабль без руля и без ветрил. Он отблагодарил г-жу Фонсег, так любезно слушавшую все его истории, купив у нее за сто франков автограф монсеньера Март *a*, и затерялся в толпе девушек, которые поочередно им завладевали. Потом подошел к племяннику с руками, полными лотерейных билетов.

— Ах, милый мой, советую тебе остерегаться этих молодых особ. Они вырвут у тебя последнее су. Но посмотри-ка, тебя зовет мадемуазель Камилла.

И в самом деле, девушка с нетерпением ожидала, что Жерар к ней подойдет, и улыбалась ему издали. Но вот глаза их встретились. Ему пришлось направиться к ней, хотя в тот же миг он почувствовал, что на него с отчаянием смотрит Ева и тоже призывает умоляющим взглядом. Видя, что мать за ней наблюдает, Камилла сразу же вошла в роль любезной продавщицы и, позволяя себе маленькие вольности, вполне уместные на благотворительном базаре, стала бесцеремонно совать всякие мелкие предметы в карманы Жерара, а вещи покрупнее — прямо ему в руки, причем крепко сжимала их своими ручками, и все это сопровождалось взрывами молодого веселья, звонким свежим смехом, терзавшим сердце ее соперницы.

Ева так исстрадалась, что была уже готова вмешаться и разъединить их. Она направлялась к ним, когда ее остановил Пьер. Он решил, прежде чем уйти, поделиться с ней одной мыслью.

— Сударыня, поскольку умер этот Лавев, для которого вы с таким трудом добились места в приюте, я попрошу вас никого не укладывать на его койку, пока не повидаетесь с нашим почтенным другом, аббатом Розом. Я встречу с ним сегодня вечером, он знает столько бедняков и будет так счастлив, если сможет привести к вам одного из них и облегчить его участь.

— Ну конечно, — пролепетала баронесса. — Я буду очень рада... Если вам так хочется, я немного подожду... Будьте уверены, будьте уверены, господин аббат...

Несчастливая вся содрогалась от душевной боли и уже не сознавала, что говорит. Не в силах совладать со своей страстью, она отошла от

священника и сразу же позабыла о нем, увидав, что Жерар внял скорбному призыву, сквозившему в ее глазах, вырвался из рук дочери и направляется к матери.

— Как редко вы показываетесь у нас, друг мой! — сказала она громко, приветливо улыбаясь. — Вас что-то совсем не видно.

— Дело в том, — отвечал он светским тоном, — что я был нездоров. Да, уверяю вас, я страдаю головной болью.

Он страдал! Она смотрела на него с замиранием сердца и какой-то материнской тревогой. И ей почудилось, что его красивое гордое лицо с правильными чертами несколько побледнело и вся его благородная внешность — только величавый фасад безнадежно обветшавшего здания. В самом деле, этот человек, от природы мягкосердечный, должен был страдать, сознавая, что он никому не приносит пользы, что карьера его не удалась, что он живет на счет своей разорившейся матери и в силу обстоятельств склоняется к женитьбе на этой богатой девушке, этой калекке, к которой он чувствует жалость. Ева поняла, как он слаб, какая буря у него в душе, он показался ей каким-то обломком крушения, и она проговорила с мольбой, забывая, что ее могут услышать:

— Если вы страдаете, то как же я страдаю!.. Жерар, мы должны встретиться, я этого хочу!

Он пробормотал в замешательстве:

— Нет, прошу вас, подождем.

— Жерар, это необходимо. Камилла сказала мне о ваших планах. Вы не можете отказать мне в свидании. Я хочу с вами встретиться.

Он вздрогнул и еще раз попытался уклониться от мучительного объяснения.

— Но ведь там, в прежнем месте, теперь уже невозможно. Адрес стал известен.

— Ну что же, завтра в четыре часа в маленьком ресторане Булонского леса, где мы с вами уже бывали.

Он вынужден был обещать, и они отошли друг от друга, заметив, что Камилла обернулась в их сторону и следит за ними. Целая армия женщин осаждала киоск, и баронесса начала продавать с равнодушным видом, похожая на богиню в полном расцвете красоты. А Жерар подошел к Дювильяру, Фонсегу и Дютейлю, которые взволнованно ожидали вечернего обеда.

Пьер слышал часть этого разговора. Посвященный в интимную жизнь Дювильяров, он знал, какие терзания, какое физическое и нравственное вырождение таится за всем этим блеском, роскошью и

могуществом. Это была неисцелимая язва, гнойная и кровоточащая; злостный недуг медленно подтачивал организм отца, матери, сына, дочери, всех этих людей, утративших связи друг с другом. Когда Пьер выходил из гостиной, была такая сутолока, что его чуть не задавили. Покупательницы бурно выражали свой восторг — базар удался на славу. А где-то там, в ночной темноте, затерянный в недрах Парижа, без устали скитался Сальва. Какой жестокой иронией судьбы была смерть Лавева! Она казалась пощечиной лживой и шумливой благотворительности.

II

Сладостный мир царил в квартире доброго аббата Роза, жившего на первом этаже в домике с узким палисадником на улице Корто. Ни шума экипажей, ни бурного дыхания столицы, грохочущей по ту сторону Монмартрского холма, — нерушимая тишина и сонный покой, как в глухом провинциальном городке.

Пробило семь. Незаметно сгустились сумерки. Пьер сидел в бедно обставленной столовой в ожидании, пока служанка принесет миску с супом. Аббат, встревоженный долгим отсутствием Пьера, прожившего добрый месяц в уединении с братом в Нейи, написал ему накануне, прося прийти к обеду, чтобы спокойно потолковать об их общих делах. Пьер по-прежнему передавал старику деньги для бедных. Потерпев неудачу со своим убежищем на улице Шаронн, они продолжали заниматься благотворительностью, распоряжаясь сообща известными суммами, и время от времени приводили в порядок свои счета. После обеда они обо всем поговорят и подумают, как бы им расширить свою деятельность и принести больше пользы. Добрый священник так и сиял, предвкушая мирный, благодатный вечер, который он проведет в заботах о дорогих его сердцу бедняках. Это было его единственным утешением, единственной отрадой, которой он предавался самозабвенно, как некоей греховной страсти, несмотря на все неприятности, какие до сих пор на него навлекало безрассудное милосердие.

Радуюсь, что может доставить аббату это удовольствие, Пьер немного успокоился, и у него стало легче на душе. Приятно было отдохнуть часок-другой, посидеть за этим скромным обедом, в атмосфере доброты, забывая о жестоком внутреннем разладе, терзавшем его день и ночь. Пьер подумал о свободном месте в приюте для инвалидов труда, вспомнил, что баронесса обещала ему подождать, пока он попросит аббата Роза указать

ему достойного человека, находящегося в крайней нужде, и сказал об этом аббату, перед тем как сесть за стол.

— Достойный человек, в крайней нужде! Ах, дорогой мой мальчик, да ведь они все в такой нужде! Когда речь идет о безработных, особенно о стариках рабочих, то прямо глаза разбегаются, такое их множество, но можно осчастливить только одного, и с болью в сердце спрашиваешь себя, которого из них выбрать, ведь все остальные останутся жить в аду!

Аббат рылся у себя в памяти, волновался и наконец сделал свой выбор, преодолев мучительные сомнения.

— Я нашел то, что вам нужно. Это, безусловно, самый несчастный, самый жалкий и самый смиренный из бедняков — старик семидесяти двух лет, столяр; он уже восемь или десять лет скитается без работы и живет подаяннем. Я не знаю его имени, все зовут его Долговязый Старик. Иногда несколько недель подряд он не приходит ко мне по субботам, когда я раздаю милостыню. Нам придется отправиться на его поиски, раз его надо поспешно устраивать. Мне думается, он временами спит в ночлежке на улице Орсель, а когда там нет места, ложится прямо где-нибудь под забором... Хотите, мы сегодня же вечером сходим на улицу Орсель?

У аббата блеснули глаза. Это был своего рода разврат, запретный плод — посещение убежища черной нищеты, смрадного логова отверженцев, куда, несмотря на свое апостольское рвение и всеобъемлющую любовь, он уже давно не осмеливался заглядывать после упреков и обвинений, выпавших ему на долю.

— Решено, мой мальчик? Только разок! Без этого никак не обойтись, если мы хотим разыскать Долговязого Старика. Вам не отделаться от меня до одиннадцати часов... К тому же мне хотелось вам это показать. Вы увидите такие ужасные страдания! Может быть, нам удастся облегчить участь какого-нибудь несчастного.

Юношеский пыл этого седовласого старца вызвал у Пьера улыбку.

— Хорошо, дорогой аббат. Я буду счастлив провести весь вечер с вами. Это будет мне только на пользу. Что ж, пойдете еще разок, помните, как мы с вами, бывало, возвращались из этих походов, расстроенные и в то же время радостные?

Служанка принесла миску с супом. Священники уже садились за стол, когда раздался робкий звонок. Узнав, что к нему пришла за ответом соседка, г-жа Матис, аббат приказал ее ввести.

— Бедная женщина, — пояснил он Пьеру, — просила у меня взаймы десять франков, чтобы выкупить матрац, но у меня их не было, теперь я

их раздобыл... Она живет в нашем доме и старается скрыть свою нищету — ее доход так ничтожен, что ей не удается сводить концы с концами.

— Скажите, — спросил Пьер, вспомнив молодого человека, которого он встретил у Сальва, — ведь у нее как будто есть взрослый двадцатилетний сын?

— Да, да... Кажется, она родилась в богатой семье, где-то в провинции. Мне говорили, что она вышла замуж за учителя музыки, который давал ей уроки. Дело было в Нанте, он увез ее оттуда, и они поселились в Париже; там он и умер. Как видите, их роман закончился печально. Молодая вдова продала часть мебели, собрала остатки своего состояния, что дало ей около двух тысяч дохода. На эти средства она поместила сына в коллеж и сама жила довольно прилично. Но тут ее доконал новый удар — она потеряла почти весь свой маленький капитал, вложенный в ненадежные процентные бумаги, и теперь у нее не больше восьмисот франков годового дохода. Двести франков она платит за квартиру, и ей остается на жизнь каких-нибудь пятьдесят франков в месяц. Уже полтора года, как сын ушел от нее, не желая быть ей в тягость. Он старается сам заработать себе на хлеб, но кажется, это ему не очень-то удается.

Вошла г-жа Матис, маленькая темноволосая женщина с поблекшим лицом, отмеченным какой-то кроткой грустью. На ней всегда было одно и то же черное платье, говорила она мало и жила уединенно, застенчивая и беспокойная, надломленная житейскими грозами. Когда аббат Роз деликатно передал ей в конверте десять франков, она покраснела, поблагодарила его и обещала вернуть эту сумму, как только получит свою месячную ренту: она не хотела принимать подаяние как нищая, считая, что деньги должны пойти на голодающих.

— А что, ваш сын Виктор нашел себе место? — спросил аббат.

С минуту г-жа Матис помолчала в нерешительности, ведь она сама не знала, чем занимается ее сын, который не заходил к ней уже несколько недель. Наконец она сказала:

— Он очень добрый и нежно меня любит. Какое несчастье, что мы разорились, когда он был еще в лицее. Он не мог держать экзамен в Нормальную школу. А ведь он был такой прилежный, такой способный ученик!

— Вы потеряли мужа, когда вашему сыну было всего десять лет, так ведь?

Она снова покраснела, подумав, что ее история известна обоим священникам.

— Да, моему бедному мужу никогда не везло. Его озлобили постоянные неудачи, а идеи завели его так далеко, что он умер в тюрьме. Во время какого-то сборища, в стычке с полицейскими, он, на свою беду, ранил одного из них и был арестован... В свое время он сражался на стороне коммунаров. А между тем он был очень мягкого характера и прямо обожал меня.

Слезы выступили у нее на глазах. Растроганный аббат Роз ласково простился с г-жой Матис.

— Ну что ж, будем надеяться, что ваш сын порадует вас и щедро оплатит за все, что вы для него сделали.

Госпожа Матис удалилась, безнадежно махнув рукой. Казалось, она растаяла в тени. Она решительно ничего не знала о сыне и трепетала перед неумолимой судьбой.

— По-моему, — проговорил Пьер, когда они остались одни, — бедная женщина не слишком-то может рассчитывать на помощь сына. Я видел этого юношу всего один раз; в его светлых глазах — жестокость, они режут, как ножи.

— Да неужели? — возопил старый наивный добряк. — Он показался мне очень вежливым, может быть, немного жадным до удовольствий. Но ведь нынешняя молодежь вся такая же нетерпеливая... Сядем же наконец за стол, суп уже остывает.

Почти в тот же самый час на другом конце Парижа, на улице Сен-Доминик, медленно погружалась в темноту гостиная графини де Кенсак, тихая мрачная квартира которой находилась на первом этаже старинного особняка. Графиня и ее преданный друг маркиз де Мориньи сидели по углам камина, где дотлевало последнее полено. Горничная еще не внесла лампу, а графиня и не думала звонить, испытывая облегчение при мысли о том, что нахлынувший мрак не даст прочитать на ее усталом лице тревожные чувства, которые она так боялась обнаружить. Только когда в камине погасла последняя искра, она решила заговорить, и голос ее глухо звучал в темной гостиной, где в тишине, не нарушаемой звуками улицы, мирным сном почивало далекое прошлое.

— Да, мой друг, меня беспокоит здоровье Жерара. Сегодня вы его увидите, он обещал мне вернуться пораньше и пообедать со мной. Правда, внешность у него представительная, он высокого роста и кажется крепким. Но ведь я-то его знаю. Сколько бессонных ночей я провела у его изголовья! С каким трудом его вырастила! Стоит ему подхватить малейшую простуду, как он серьезно расхворается... К тому же он ведет такой образ жизни, который вредно отражается на его здоровье.

— Он и не может вести другой образ жизни, — медленно проговорил маркиз де Мориньи. В сумраке уже трудно было разглядеть тонкий профиль строгого величавого старика, способного к таким нежным чувствам. — Если жизнь военного оказалась ему не по силам и если вы сами боитесь, что он будет слишком утомляться на дипломатическом посту, то что же еще ему остается делать?.. Ему волей-неволей придется жить в тени, выжидая, пока окончательно рухнет этот чудовищный строй и придет конец республике, которая увлекает Францию к гибели.

— Вы правы, мой друг. Но меня приводит в ужас эта бездеятельная жизнь. Ведь он мало-помалу губит свое здоровье и теряет моральные силы... Я имею в виду не только его связи, которые мы вынуждены были терпеть. Мне было так трудно принять его последнее увлечение — в силу моих убеждений и верований все во мне протестовало против этой особы. Но потом я стала думать, что она оказывает на него скорее положительное влияние... Однако ему уже пошел тридцать шестой год, и разве он может продолжать жить без всякой цели, без определенных занятий? Может быть, потому-то он так плохо себя чувствует, что ничего не делает и не приносит никакой пользы.

Голос ее снова оборвался.

— К тому же, друг мой, раз уже вы вызвали меня на откровенность, я должна признаться, что мое здоровье тоже расшатано. У меня бывают головокружения, я обращалась к врачу. Не сегодня-завтра я могу уйти из жизни.

Мориньи вздрогнул и наклонился к графине, чтобы схватить ее руки, пользуясь сгустившейся темнотой.

— Друг мой! Неужели я вас потеряю! Ведь вы последняя святыня, которая еще осталась у меня в жизни. На моих глазах рухнул старый мир, с которым я был кровно связан, и теперь я живу только надеждой, что вы закроете мне глаза!

Она стала его умолять, чтобы он не усугублял ее страданий.

— Нет, нет! Не берите моих рук, не целуйте их! Оставайтесь сидеть в полумраке, где я вас едва различаю. Уже столько лет мы любим друг друга, нам нечего стыдиться, не в чем себя упрекнуть, — и с божьей помощью так будет до самой могилы... Если вы меня коснетесь, если вы придвинетесь слишком близко ко мне, я не смогу больше говорить, а ведь я еще не кончила. — Видя, что маркиз замолк и замер на месте, она продолжала: — Жерар думает, что у меня еще остался небольшой капитал, но, умри я завтра, он почти ничего не получит. Мой дорогой

мальчик, кажется, и понятия не имеет, сколько я на него потратила. Конечно, мне следовало бы быть более строгой, более осмотрительной. Но что поделаешь! Я разорилась, потому что всегда проявляла материнскую слабость... Теперь вы понимаете, как ужасно я страдаю при мысли, что в случае моей смерти Жерару не на что будет жить, — он не сумеет так изворачиваться, как я, ведь мне приходится всякий день чуть ли не чудом налаживать нашу жизнь, создавая иллюзию благополучия... Я знаю, какой он беспомощный, какой болезненный, несмотря на свою красивую внешность; ничего-то он не умеет, даже не знает, как себя вести. Что будет с ним? Не грозит ли ему самая страшная нищета?

Тут слезы хлынули у нее из глаз. Сердце ее разрывалось от горя. Она предвидела, какая участь после ее кончины ожидает обожаемого сына, последнего представителя угасающего рода и гибнущего мира. Маркиз сидел неподвижно, сознавая с глубокой скорбью, что он не имеет права предложить ей свое состояние. Внезапно ему стало ясно, какую новую катастрофу повлечет за собой разорение графини.

— Ах, бедный мой друг, — проговорил он наконец голосом, дрожащим от возмущения и боли, — я вижу, вы готовы допустить этот брак, да! эту чудовищную женитьбу на дочери той особы. «Никогда на свете! — клялись вы мне. — Лучше смерть!» И вот вы соглашаетесь, я это чувствую!

Графиня тихо плакала в темной немой гостиной у погасшего камина. Брак Жерара, конечно, был бы счастливым выходом из положения, и она могла бы спокойно умереть, зная, что ее сын богат, любим и наконец нашел свое место в жизни. Но неужели это неизбежно? Ею снова овладело негодование.

— Нет, нет, я не согласна, клянусь вам, что я все еще не согласна. Я сопротивляюсь изо всех сил. О! в моей душе все время происходит борьба, и вы себе представить не можете, какие мучения я испытываю. — Но тут же она откровенно призналась, предвидя свое поражение: — Если я когда-нибудь сдамся, мой друг, все же не сомневайтесь, что я сознаю, так же как и вы, весь ужас подобного брака. Это означает конец нашего рода и гибель нашей чести.

Потрясенный ее признанием, маркиз не мог произнести ни слова. Этот непримиримый католик и высокомерный роялист уже давно ожидал великого крушения. Но как мучительно было думать, что благородная женщина, которую он любил от всего сердца такой чистой любовью, должна столь жестоко пострадать от всеобщей катастрофы. В темноте он осмелился встать перед ней на колени, взять ее руку и поцеловать.

Когда горничная наконец принесла зажженную лампу, появился и Жерар. Гостиная в стиле Людовика XVI с панелями из светлого дерева в мягком освещении снова обрела стародавнюю прелесть. Молодой человек оживленно болтал, стараясь казаться веселым, чтобы мать не слишком огорчилась, узнав, что он не будет с ней обедать. Когда он объяснил ей, что его ждут друзья, она сама отпустила его, радуясь прекрасному настроению сына.

— Ступай, ступай, дитя мое, но смотри не слишком утомляйся... Мориньи пообедает со мной. Генерал и Ларомбардьер должны прийти к десяти часам. Не беспокойся, у меня будут гости, и с ними я не соскучусь.

Жерар для приличия еще несколько минут просидел в гостиной, поговорил с маркизом и быстро ушел, направляясь в Английское кафе.

Когда он туда прибыл, дамы в меховых шубках поднимались по лестнице, оживленная, роскошно одетая публика занимала кабинеты, электрические лампы разливали яркий свет, кафе становилось ареной блестящего светского разврата, и шумная оргия уже сотрясала стены, опалая их своим жгучим дыханьем. Кабинет, отведенный для барона, поражал торжественной роскошью, — великолепные цветы, хрусталь, серебро, как на королевском пиру. Стол был накрыт на шесть персон и так богато убран, что Жерар невольно усмехнулся. Меню обещало прямо чудеса, там красовались названия самых дорогих, редкостных вин и блюд.

— Что? Правда, шикарно? — воскликнула Сильвиана, уже сидевшая в кабинете вместе с Дювильяром, Фонсегом и Дютейлем. — Я хочу его поразить, вашего влиятельного критика. Когда журналиста угощают таким дорогим обедом, ведь правда, он должен отплатить любезностью!

Чтобы покорить критика, Сильвиана появилась в сногшибательном туалете, в желтом атласном платье, покрытом старинными алансонскими кружевами. Она была сильно декольтирована и нацепила на себя все свои драгоценности: в волосах сверкала диадема, на шее брильянтовое кольцо, на плечах золотые аграфы, на руках браслеты и кольца. Пряди гладко зачесанных волос нежно обрамляли ее лицо, дышавшее девственной чистотой, и она напоминала святую деву, царицу небесную, всю увешанную приношениями верующих христиан, как ее изображают в молитвенниках.

— Вы такая хорошенькая, — сказал Жерар, который иногда над ней подтрунивал, — как же тут ему устоять!

— Ладно! — отвечала она, и не думая обижаться. — Я вижу, вы считаете меня мешанкой. По-вашему, я доказала бы свой вкус, если бы

обед был поскромнее, а мой туалет попроще. Ах, милый мой, вы не знаете, как ловят мужчин!

Дювильяр вполне ее одобрял, радуясь, что может показать свою возлюбленную во всем блеске, разукрашенную, как идол. Фонсег рассуждал о брильянтах, уверяя, что они теряют свою ценность, ведь уже изобретена электрическая печь, и в недалеком будущем их станут выделывать на фабриках. А Дютейль с восторженным видом вертелся вокруг молодой женщины, быстрым движением, как горничная, расправляя складку кружева или укладывая непокорный локон.

— Ну, на что это похоже! Ваш хваленый критик невоспитанный человек, он заставляет себя ждать!

Критик явился с опозданием на четверть часа, извинился и тут же выразил сожаление, что ему придется уйти в половине десятого, так как необходимо показаться в маленьком театре на улице Пигаль. Это был крупный мужчина лет пятидесяти, широкоплечий, бородатый, с мясистым лицом. В Нормальной школе он проникся догматизмом, стал педантом до мозга костей, хотя прожил целых двадцать лет в Париже, где вращался в различных общественных кругах, и лез из кожи, стараясь казаться скептиком, напуская на себя легкомыслие. Он получил степень магистра и оставался магистром, вымучивая из себя рискованные образы и предаваясь отважной игре мысли. Не успев войти, он уже начал усиленно восхищаться Сильвианой. Разумеется, он ее уже видел в нескольких ролях и даже очень дурно отозвался о ее игре, посвятив ей пять-шесть пренебрежительных строчек. Но сейчас его волновала эта красивая девушка, разодетая, как королева, представшая перед ним в окружении четырех значительных людей, покровительствовавших ей, и ему пришло в голову, что он покажет себя истинным парижанином и с чисто парижским легкомыслием разделается с педантизмом, если поддержит ее, обнаружив у нее талант.

Между тем компания уселась за стол, и началось роскошное пиршество, причем каждого из обедающих с изысканной предупредительностью обслуживал особый метрдотель, подавая кушанья и наливая вина. На столе, накрытом белоснежной скатертью, благоухали цветы, сверкала серебряная посуда и хрусталь и то и дело появлялись все новые неожиданные утонченные блюда — рыба, доставленная из России, находящаяся под запретом дичь, трюфеля свежего сбора величиной с яйцо, выращенные в парнике овощи, сочные и душистые, как в разгар лета. Все это стоило огромных денег, которые были выброшены без оглядки с единственной целью — полакомиться деликатесами,

недоступными для прочих смертных, и превзойти всех в расточительности. Влиятельный критик был изумлен, хотя и делал вид, что давно привык к подобным пирам. Он стал обнаруживать угодливость, обещал свою поддержку и взял на себя такие обязательства, каким и сам был не рад. Он разошелся, так и сыпал остротами и позволял себе игривые шуточки, показывая, какой он весельчак. Но после жаркого, после бургундского высших марок, когда появилось на сцену шампанское, разгорячившись от возлияний, он больше не мог притворяться, и выступила наружу его истинная природа. Его навели на разговор о «Полиевкте», о роли Полины, которую хотела исполнять Сильвиана, дебютируя во Французской Комедии. То, что неделю назад он с негодованием называл нелепой прихотью, теперь стало ему казаться смелой попыткой, которая, несомненно, увенчается успехом, если Сильвиана послушается его советов. И он начал разглагольствовать, прочел форменную лекцию об этой роли, утверждая, что до сих пор еще ни одна трагическая актриса не понимала ее по-настоящему, что Полина вначале была всего лишь добропорядочной мещаночкой и ее великолепное обращение в конце пьесы объясняется только чудом, воздействием благодати, превратившей ее в какое-то небесное создание. Сильвиана не разделяла его мнения, и с самого начала пьесы Полина казалась ей какой-то идеальной героиней символической легенды. Критик ораторствовал без конца. Сильвиана делала вид, что он ее убедил, и ему очень польстило, что у него такая прелестная и послушная ученица, готовая действовать по его указке. Но когда пробило десять, он внезапно сорвался с места и, покинув благоухающий, залитый светом кабинет, помчался исполнять свои обязанности.

— Ах, дети мои! — вскричала Сильвиана. — Он уморил меня, этот ваш критик! Выдумал тоже! Полина — мещаночка! Уж я бы его отбрила, если бы не нуждалась в нем. Нет, нет, это сущий вздор! Налейте-ка мне бокал шампанского, мне надо очухаться.

Вечер принял интимный характер. Четверо мужчин и сверкающая брильянтами, декольтированная, полуголая девица почувствовали, что им нечего стесняться. Из коридоров и соседних кабинетов слышались раскаты смеха, звуки поцелуев, и дом дрожал от буйного разгула. За окном проносился поток экипажей, по бульвару текла жадная до удовольствий толпа; там бойко торговали любовью.

— Не открывайте, мой дорогой, — сказала Сильвиана, увидав, что Фонсег направляется к окну, — вы меня простудите. Неужели уж вам так жарко? А мне так в самый раз... Дювильяр, друг мой, велите-ка подать

еще шампанского. Удивительное дело, до чего мне хочется пить после вашего критика!

В кабинете было нестерпимо душно от ослепительно сиявших ламп, от благоухания цветов и пряных ароматов вин. Сильвиане хотелось очертя голову кутить, напиться пьяной и забавляться на самый непристойный лад, как в дни, когда она начинала свою карьеру. После нескольких бокалов шампанского она окончательно разошлась и стала хохотать во всю плотку, звонко и вызывающе. Ее поклонники никогда еще не видели ее такой, и она была до того забавна, что они тоже развеселились. Когда уходил Фонсег, которому необходимо было вернуться в редакцию, она поцеловала его; уверяя, что это дочерний поцелуй, который он вполне заслужил, так как всегда ее уважал. Оставшись в компании трех мужчин, она стала позволять себе невероятные вольности, подхлестывая, возбуждая их своими сальными шутками. Пьянея, она становилась все более бесстыдной. Она знала, как остро действует на мужчин контраст между ее девственно чистым, ангельским лицом и повадками развращенной до мозга костей куртизанки. В минуты опьянения она сияла своими невинными голубыми глазами и с улыбкой на чистых устах отмачивала такие шутки, что мужчины сходили с ума.

Дювильяр не мешал Сильвиане пить, даже сам ей подливал, он втайне надеялся, что ему удастся проводить ее до дому и, воспользовавшись ее опьянением, остаться у нее до утра. Но Сильвиана усмехалась, она разгадала его замыслы.

— Я вижу, что у тебя на уме, мой пузанчик. Ты воображаешь, что сегодня вечером я буду сговорчивее, потому что я такая веселая. Ничуть не бывало! Ты ошибаешься, голова у меня крепкая... Ничего ты от меня не получишь, ни вот столечко! — пока не устроишь мне дебют в Комедии!

Дювильяр, которого она уже полтора месяца держала на расстоянии, нехотя засмеялся, но ему все-таки думалось, что он добьется своего, если будет терпеливо выжидать. На долю Жерара, которым она в свое время увлекалась, достались самые нежные взгляды, и слабовольный, безалаберный молодой человек тоже начинал мечтать о блаженной ночи. А Дютель, уже давно выжидавший ее благосклонности, возгорелся надеждой, вообразив, что наконец пришел его черед, и решил не упускать счастливого случая.

Чувствуя, что она возбуждает желания, видя, как мужчины пожирают ее глазами и у них, как она выражалась, «текут слюнки», Сильвиана дала волю своей грязной фантазии и стала выдумывать самые чудовищные

истории. А им казалась восхитительной эта девица, блиставшая драгоценностями, как статуя мадонны. Напившись вволю шампанского, она стала терять рассудок, и вдруг ее осенила идея.

— Слушайте, дети мои, чего это мы здесь торчим, тут подохнешь от скуки! Надо что-нибудь предпринять. Знаете что? Вы повезете меня в Камеру ужасов, и там мы закончим вечер. Мне хочется услышать «Сорочку», песенку Легра, на которую сбегается весь Париж.

На этот раз Дювильяр возмутился:

— Ну, уж нет! Эта песня сущая мерзость. Ни за что на свете не повезу вас в этот отвратительный кабаk.

Казалось, она его не слышала, она вскочила, подошла к зеркалу и, слегка покачиваясь на ногах, стала с улыбкой поправлять волосы.

— К тому же я раньше жила на Монмартре и с удовольствием туда поеду. Потом, мне хочется знать, тот ли это самый Легра, с которым я была знакома, — о, это было давно! Живо, едем!

— Но послушайте, дорогая, мы ведь не можем повезти вас в этот притон в таком туалете. Представьте только себе, как вы входите туда, декольтированная, вся в брильянтах! Нас встретят шиканьем... Жерар, прошу вас, образумьте ее.

Жерар, содрогавшийся при мысли о подобной вылазке, хотел было ее урезонить. Но она зажала ему рот своей ручкой, на которую уже натянула перчатку, и весело, с пьяным упорством твердила свое:

— Цыц! Если нас облают, будет еще забавней... Едем, живо, едем!

Дютейль с улыбкой слушал этот спор, как прожигатель жизни, которого ничто не удивляет и не сердит. Но вот он любезно встал на ее сторону.

— Дорогой барон, да ведь все ходят в эту Камеру ужасов. Я возил туда самых знатных дам, и все они слушали эту «Сорочку», которая, право же, не так уж грязна.

— Слышишь, мой пузанчик, что говорит Дютейль! — торжествующе воскликнула Сильвиана. — А ведь он депутат, лицо уважаемое и не станет себя компрометировать.

Дювильяр все еще сопротивлялся, он боялся нарваться на скандал, появившись с нею в подобном месте. Но его возражения ничуть не рассердили Сильвиану, напротив, она еще пуще развеселилась.

— Ну как хочешь, мой пузанчик! Ты мне не больно-то нужен. Ступай куда хочешь с Жераром, и постарайтесь как-нибудь утешиться. А я еду туда с Дютейлем. Скажите, Дютейль, ведь вы согласны меня сопровождать?

Барон никак не ожидал подобной развязки и пришел в смятение. Волей-неволей он подчинился капризу разнузданной девки, от одного запаха которой терял голову. Все же он искал поддержки в Жераре и ни за что не хотел с ним расставаться. Молодой человек, цепляясь за последние остатки чести, упрямо отказывался ехать с ними. Барон взял его за обе руки, удерживал и повторял каким-то проникновенным тоном, что просит у него дружеской услуги. Любовник жены и жених дочери вынужден был уступить супругу и отцу.

Сильвиана смотрела на графа и хохотала до слез, потешаясь над его смущением. Забывшись, она вдруг обратилась к нему на «ты», как к своему бывшему другу сердца, и намекнула на его связь с баронессой:

— Слушай, ты, дуралей, поезжай с ним, ведь ты обязан это сделать для него.

Дювильяр сделал вид, будто ничего не понимает. Дютейль успокаивал его, уверяя, что в Камере ужасов имеется в уголке нечто вроде ложи, где можно укрыться от взглядов. Экипаж Сильвианы, большое закрытое ландо, как раз стоял у подъезда, и кучер, красивый крепкий малый, ожидал, неподвижно сидя на козлах. Компания отправилась.

Камера ужасов находилась на бульваре Рошешуар, в помещении одного кафе, хозяин которого прогорел. Это был узкий, неправильной формы зал с темными закоулками и низким закопченным потолком, под которым застаивался воздух. Его убранство отличалось крайней примитивностью, — по стенам просто-напросто были расклеены ярко размалеванные афиши, на которых изображены были обнаженные фигуры в самых бесстыдных позах. В глубине находилась небольшая эстрада, где стояло фортепьяно, в кулисах виднелась дверь, закрытая занавеской. В зале ряды простых скамеек без мягких сидений и ковров, а перед ними столики, как в трактире, на которых стаканы оставляли липкие круглые следы. Никакой роскоши, ни малейшего изящества, даже чистоты. Газовые рожки горели без колпачков, ярким пламенем накаляя воздух, где плавали густые облака табачного дыма и человеческих испарений. Сквозь этот туман проплядывали потные багровые лица. Зал был битком набит, острый запах пота действовал возбуждающе, и после каждой песенки публика раздражалась криками. Достаточно было поставить подмости и выступить на них Легра и двум-трем девкам с грязными, омерзительными куплетами, чтобы за три вечера создать успех. Поддавшись на приманку, ополоумев, весь Париж теснился в этом подслеповатом кафе, которое десять лет влачило жалкое существование, так как окрестные мелкие

рантье не находили там других развлечений, кроме ежедневной партии в домино.

Это был разгул бесстыдства. Потoki отвратительных сальностей привлекали веселящийся Париж. Буржуазия, завладевшая деньгами и властью, пресытилась до тошноты всеми благами, но не желала от них отказываться и сбегалась в этот притон, чтобы выслушивать всякие непристойности и брань, которую ей бросали в лицо. Словно загипнотизированная оскорблениями, предчувствуя свой близкий конец, она испытывала наслаждение, когда ей плевали в физиономию. Тут было какое-то зловещее знамение времени: обреченные люди сами бросались в грязь и жадно смаковали гнусности, буржуазия словно стремилась ускорить свое разложение. В этом смрадном вертепе можно было встретить солидных мужчин с превосходной репутацией и хрупких прелестных надушенных женщин, изящных и изысканно-элегантных.



За одним из передних столиков, у самой эстрады, сидела маленькая принцесса де Гарт с сияющим лицом и безумными глазами. Ноздри у нее трепетали, наконец-то она могла удовлетворить свое бешеное любопытство, очутившись на самом дне Парижа. А юный Гиацинт, согласившийся ее сопровождать, корректный, в длинном, плотно облегающем фигуру сюртуке, слушал со снисходительным видом и, как видно, не слишком скучал. Принцесса и ее спутник только что увидели за соседним столиком своего знакомого, некоего испанца по фамилии Бергас, биржевого зайца, который был представлен принцессе Янсенем и обычно посещал ее званые вечера. Впрочем, им почти ничего не было о нем известно, они даже не знали, действительно ли на бирже он добывал деньги, которые временами так щедро разбрасывал. Весьма элегантно одетый, высокий и тонкий, он не лишен был изящества. Ярко-алые губы говорили о ненасытном аппетите к жизни, а светлые глаза искрились хищным блеском. Он слыл отъявленным развратником. В этот вечер он сидел с двумя молодыми людьми. Одни из них был Росси, смуглый итальянец невысокого роста с жесткими волосами, который приехал в Париж, чтобы стать натурщиком, и пошел по дурной дорожке, соблазнившись возможностью легкого заработка; второй — Санфот, чистокровный парижанин, безбородый и бледнолицый, проходимец из Шапель,

порочный и нахальный. Он был причесан, как девушка, на прямой пробор, белокурые локоны обрамляли его впалые щеки.

— О, прошу вас, — взволнованно обратилась Роземонда к Бергасу, — вы, кажется, знакомы со всей этой подозрительной публикой. Покажите же мне каких-нибудь необычайных субъектов, ну, например, известного вора или убийцу!



Испанец

засмеялся своим резким смехом, потешаясь над принцессой.

— Да ведь вам знакома вся эта публика, сударыня... Вот эта миниатюрная женщина, такая нежная, розовая и прелестная — американка, жена консула, который скоро появится у вас. А там, справа, высокая брюнетка с видом королевы, — это графиня; ее экипаж вы каждый день видите в Булонском лесу. А немного поодаль, худощавая особа, у которой глаза горят, как у волчицы, — это подруга одного крупного чиновника, известного своим строгим нравом.

Раздосадованная принцесса прервала его:

— Знаю, знаю... Но другие, люди из низов, те, на которых приезжают смотреть?

Она забрасывала его вопросами, выискивала жуткие, загадочные лица. Наконец ее внимание привлекли двое мужчин, сидевших в углу, один совсем юный с бледным надменным лицом, другой без возраста, в

застегнутом до самого верха потертom пальто и без всяких признаков белья; он надвинул кепку на глаза, и из-под нее выглядывал только клочок бороды. Перед ними стояли пивные кружки, и они медленно, молча их осушали.

— Дорогая моя, — сказал Гиацинт, не сдерживая смеха, — вы попали пальцем в небо, если думаете, что это переодетые бандиты. Этот бледный несчастный малый, который, как видно, не каждый день обедает, учился со мной в Кондорсе.

Бергас удивился:

— Как, вы знали Матиса в Кондорсе! Да, в самом деле, он там учился... Так вы знакомы с Матисом. Этот замечательный юноша погибает от нищеты... А скажите, вы не знаете субъекта, который сидит с ним?

Гиацинт поглядел на человека, спрятавшегося под кепкой, и покачал головой. Но тут Бергас толкнул его локтем, чтобы он молчал, и прибавил шепотом:

— Тише! Вот Рафанель. Я не доверяю ему с некоторых пор. Стоит ему войти, как уже начинает пахнуть полицией.

Рафанель, темный, подозрительный субъект, был одним из анархистов, которых Янсен ввел в салон принцессы, потакая ее страстному увлечению революционными идеями. Этот маленький, круглый, румяный весельчак с крохотным детским носиком, затерявшимся между пухлыми щеками, слыл отчаянным революционером и, выступая на публичных собраниях, громко кричал, что необходимо все сжечь и перебить всех буржуа. Он уже несколько раз серьезно провинился, но, как это ни странно, всегда выходил сухим из воды, хотя товарищи его оставались под замком. Это уже начинало их удивлять.

Он весело пожал руку принцессе, не дожидаясь приглашения, подсел к ее столику и начал ругать этих дрянных буржуа, которые таскаются по таким гнусным местам. Роземонда в полном восторге поддакивала ему, а вокруг них раздавались гневные возгласы. Бергас пристально смотрел на Рафанеля своими светлыми глазами, с недоверчивым видом посмеиваясь себе в усы. Этот страшный человек предоставлял другим разглагольствовать, а сам действовал. По временам он обменивался со своими безмолвными спутниками, Санфотом и Росси, тонким понимающим взглядом. Видно было, что оба они преданы ему душой и телом, вместе с ним занимаются развратом и по его указанию совершают в надлежащее время террористические акты. Они одни умели извлекать выгоды из анархических идей, доводили их до логического конца,

действуя весьма последовательно. А Гиацинт, этот эстет, мечтавший о пороке, но не отваживающийся на него, безумно завидовал локонам Санфота, хотя и прикидывался, будто это ему давно знакомо и уже приелось.

Легра еще не появлялся на эстраде со своими «Цветами с мостовой», но выступили уже две певички, одна за другой, толстенная и тощая; первая пропела несколько дурацких романсов с грязными намеками, вторая яростно хлестала публику, как пощечинами, озорными куплетами. Она вызвала бурю восторженных криков. Но вот развеселившаяся, игриво настроенная публика вновь словно взорвалась. Это Сильвиана вошла в маленькую ложу, находившуюся в глубине зала. Когда она появилась в ярком свете рожков, как некое светило, полуголая, в своем желтом атласном платье, сверкающая брильянтами, поднялся оглушительный шум — хохот, крики, свистки, ропот недовольства вперемежку с бешеными аплодисментами. Скандал разгорелся сильнее, когда позади нее увидели троих мужчин, Дювильяра, Жерара и Дютейля во фраках, в манишках и белых галстуках, важных и корректных; посыпались бранные слова.

— Мы вам говорили, — пробормотал Дювильяр, раздосадованный выходкой Сильвианы, а Жерар поспешил спрятаться в тени.

Но Сильвиана, восторженно улыбаясь, встречала грозу с невинным видом расшалившейся девочки, которая радостно подставляет лицо свежему ветру, налетающему с моря. Она была в своей среде, дышала родным воздухом.

— Ну что? — обратилась она к барону, который хотел заставить ее сесть. — Они веселятся, это очень мило... О, как это меня забавляет!

— Ну конечно, все это очень мило, — заявил Дютейль, который тоже оказался в своей тарелке. — Она права, надо веселиться.

Шум не смолкал, и маленькая принцесса де Гарт, млея от восторга, встала, чтобы получше рассмотреть. Она схватила за руку Гиацинта.

— Стойте! Да ведь это же ваш отец со своей Сильвианой! Посмотрите-ка, посмотрите на них... И как только хватило у него духу показаться здесь с ней!

Гиацинт высвободил свою руку и не захотел смотреть. Это его ничуть не интересует, его отец сущий дурак, ведь только мальчишка может так втюриться в какую-то девку. Его презрение к женщинам оскорбило ее.

— Вы меня изводите, мой дорогой, — сказала Роземонда, усаживаясь чуть ли не на колени к Гиацинту. Она решила, что он непременно

проводит ее до дому и она задержит его у себя, предложив чашку чая. — Это вы мальчишка, вы прикидываетесь, будто не желаете иметь с нами дела... У вашего отца неплохой вкус. Она очень хороша, я нахожу ее прямо восхитительной.

Гиацинт усмехнулся и намекнул на всем известные протivoестественные наклонности Сильвианы.

— Хотите, я скажу ей об этом? Папа познакомит вас с нею, вы подойдете друг другу.

Догадавшись, что он имеет в виду, Роземонда попросту рассмеялась:

— Нет, нет! Правда, я страшно любопытна, но я еще не захожу так далеко.

— Когда-нибудь вы заглянете в эту область, ведь надо все изведать.

— Ах, боже мой! А впрочем, кто знает...

Внезапно все стихло, все расселись по местам, и слышно было только знойное, лихорадочное дыхание толпы. На эстраде появился Легра. Это был плотный малый, в бархатной блузе, бледный, круглолицый, тщательно выбритый, с тяжелым подбородком, как видно из тех самцов, что колотят своих любовниц и внушают им бешеную страсть. В нем чувствовалась одаренность, он пел очень верно, каким-то металлическим голосом, с необычайной проникновенностью и патетической силой. Ему создал славу его репертуар «Цветы с мостовой», песенки, в которых все нечистоты, скопившиеся на дне Парижа, все муки и вопли отверженных, томящихся в этом социальном аду, рычали и извергали свою боль в потоке омерзительных слов, кровавых и жгучих.

Пианист исполнил прелюдию. Легра запел «Сорочку», эту ужасную песенку, слушать которую сбегался весь Париж. Последняя рубашка бедной девушки, обреченной на проституцию, была исполосована ударами бича и сорвана с ее плеч. Песня кричала о ненасытной уличной похоти, гнусной, едкой и ядовитой. И становилось явным преступление буржуазии, когда тело женщины волочили по грязи и швыряли в общую могилу, истерзанное, оскверненное, ничем не прикрытое. Еще чудовищнее слов была манера пения Легра: он бросал жгучие оскорбления в лицо этим богачам, счастливым, красивым дамам, собравшимся сюда его слушать. Под низким потолком, в табачном дыму, в ослепительном пыланье газа он яростно выплевывал строчки стихов, изливая в них свой бурный гнев и презрение. Когда он кончил, зал взревел от восторга. Красавицы буржуазии, и глазом не сморгнув после всех этих ужасных оскорблений, бешено аплодировали. Стены содрогались от

хлопков. Толпа охрипла от криков, с каким-то сладострастием смакуя свой позор.

— Bravo! bravo! — кричала пронзительным голосом маленькая принцесса. — Изумительно! Поразительно! Бесподобно!

Но громче всех хлопала и возбужденно кричала Сильвиана, которая, казалось, совсем опьянела, очутившись в этой раскаленной печи:

— Это он! Это мой Легра! Я должна его расцеловать, он так меня распотешил!

Дювильяр пришел в отчаяние и хотел силком ее увести. Она вцепилась руками в барьер ложи и кричала все громче. Впрочем, она не злилась, ей было по-прежнему весело. Пришлось вступить с ней в переговоры. Она соглашалась уйти, позволяла отвезти себя домой. Но она поклялась, что сперва расцелует Легра, своего старого друга.

— Ступайте все трое и ждите меня в экипаже. Я прибегу к вам сию минуту.

Мало-помалу зал затих, и Роземонда заметила, что ложа опустела. Любопытство ее было удовлетворено, и ей захотелось, чтобы Гиацинт проводил ее домой. Юноша слушал певца со скучающим видом, не аплодировал ему. А теперь он беседовал о Норвегии с Бергасом, который рассказывал ему о своем путешествии на Север. О, фиорды! О, ледяные озера! О, девственно чистые, лилейные снега вечной зимы! Гиацинт уверял, что только там, среди снежных просторов он познает в ледяном поцелуе женщину и любовь.

— Хотите, мы отправимся туда хоть завтра? — воскликнула принцесса со свойственной ей озорной живостью. — Это будет наше свадебное путешествие... Я брошу свой особняк, подсуну ключ под дверь.

Она тут же прибавила, что это, конечно, только шутка. Но Бергас знал, что она способна на подобную выходку. Представив себе, что ее маленький особняк останется запертым и, быть может, без всякой охраны, он быстро переглянулся с Санфотом и Росси, которые по-прежнему молча улыбались. Вот будет славная шутка! Недурно бы захватить в свои руки это народное достояние, похищенное гнусной буржуазией!

Рафанель, шумно выразив одобрение Легра, начал оглядывать зал своими острыми серыми глазками. Его внимание привлекли двое мужчин, Матис и его дурно одетый собутыльник, из-под кепки которого виднелся лишь клоч борода. Они не смеялись, не аплодировали. Казалось, они смертельно устали и отдыхают здесь, решив, что надежнее всего можно спрятаться, замешавшись в толпу.

Вдруг Рафанель повернулся к Бергасу:

— Так это маленький Матис. Кто же с ним сидит?

Бергас сделал неопределенное движение рукой.

Но он не спускал глаз с Рафанеля. Тот делал вид, будто больше не интересуется незнакомцем. Потом он допил свое пиво и простился, сказав, что на соседней станции автобусов его поджидает дама.

Как только Рафанель вышел, Бергас вскочил, перепрыгивая через скамьи, расталкивая всех на своем пути, бегом добрался до маленького Матиса и, наклонившись, что-то шепнул ему на ухо. Молодой человек мигом встал из-за стола и направился к запасному выходу, увлекая за собой товарища, вытолкнул его в дверь и сам вышел вслед за ним. Это произошло так быстро, что никто даже не заметил их исчезновения.

— Что случилось? — спросила принцесса Бергаса, когда тот вернулся и как ни в чем не бывало уселся между Росси и Санфотом.

— Решительно ничего, я просто хотел проститься с Матисом, который уходил.

Роземонда заявила, что последует примеру Матиса. Но она задержалась еще на несколько минут и снова завела речь о Норвегии, заметив, что Гиацинт приходит в восторг при одном упоминании о вечных льдах и об очищающих душу морозах. Он написал тридцать строк поэмы «Конец женщины» и не собирался ее кончать, но в финале хотел изобразить обледенелый ельник. Принцесса поднялась и шутливым тоном заявила, что повезет его к себе на чашку чая и они потолкуют о своей поездке. Но вдруг у Бергаса, который слушал ее, наблюдая уголком глаза за дверью, вырвалось восклицание:

— Мондезир! Так я и знал!

В дверях появился низкорослый, кряжистый человек, с быстрыми нервными движениями, с широким грубым лицом, крутолобый и курносый — типичный солдафон. Он напоминал унтер-офицера, нарядившегося в штатский костюм. Он обшаривал глазами зал с каким-то растерянным и разочарованным видом.

Бергас спохватился и спокойно добавил, поясняя вырвавшиеся у него слова:

— Я же говорил, что пахнет полицией... Смотрите! Вот агент Мондезир, здоровенный парень, у которого были какие-то неприятности на военной службе... Видите, как он принохивается, ни дать, ни взять, легавая, у которой нос не в порядке. Ну что ж, милый мой, если тебе указали дичь, ищи себе на здоровье, только птичка упорхнула.

Гиацинт наконец согласился сопровождать Роземонду, и, выйдя из кафе, они поспешно сели в поджидавшую их двухместную карету. Оба

смеялись, так как увидели ландо Сильвианы, на козлах которого неподвижно и величаво восседал кучер, и троих мужчин — Дювильера, Жерара и Дютейля, которые все еще ждали, стоя на краю тротуара. Уже около двадцати минут они стояли в полумраке на этом окраинном бульваре, где процветала проституция самого низкого разбора и кишели омерзительные пороки кварталов нищеты. Их толкали пьяные, задевали девицы, которые, как тени, скользили взад и вперед и тихонько перешептывались, выслушивая брань сутенеров, получая от них пинки. Какие-то отвратительные парочки прятались в тени деревьев, присаживались на скамейки, забивались в уголки, откуда разило нечистотами. Со всех сторон виднелись подозрительные дома, мерзкие мебелишки, притоны разврата с разбитыми окнами, с кроватями без простынь на тюфьях. Зловонное дыхание порока, который рыщет до утра по грязным закоулкам Парижа, обдавало их ледяным холодом, но ни барон, ни его спутники не хотели уходить. Всем троим придавала силы безумная надежда, каждый мечтал о том, что остальные уйдут раньше его, он поедет с Сильвианой и она достанется ему, так как слишком пьяна, чтобы сопротивляться.

Наконец Дювильяр потерял терпение и обратился к кучеру.

— Жюль, пойдите и узнайте, почему госпожа не выходит.

— Но как же лошади, господин барон?

— Не беспокойтесь, мы присмотрим за ними.

Между тем начал моросить дождик. Трое мужчин продолжали ждать, и им казалось, что этому не будет конца. Но неожиданная встреча на несколько минут отвлекла их внимание. Им показалось, что их задела какая-то худощавая женщина в черной юбке, двигавшаяся беззвучно, как тень. И с удивлением они узнали священника.

— Как! Это вы, господин аббат Фроман! — вскричал Жерар. — В такой час! В таком квартале!

Пьер не выразил удивления, встретив этих господ в подобном месте, не спросил, что они здесь делают. Он ответил, что провел вечер у аббата Роза и они решили посетить один ночлежный дом. О, какая чудовищная нищета гнездится в этих омерзительных спальнях! Там такая нестерпимая вонь, что ему сделалось дурно. Разбитые усталостью и дошедшие до отчаяния люди валялись на полу, как измученные животные, в тупом сне забывая об ужасах жизни. Невообразимая скученность: нищета и болезни, попеременно дети, мужчины, старики, гадкие лохмотья нищих и драные сюртуки добропорядочных бедняков, бездельники, преступники, неудачники, жертвы несправедливости, обломки крушения,

выбрасываемые ежедневно водоворотом Парижа в потоках зловонной пены. Иные спали как убитые, с безжизненным лицом. Другие, лежа на спине с открытым ртом, громко храпели и стонали, как бы сетуя на горькую судьбу. Третьи метались во сне, не зная покоя; их мучили ужасные кошмары, голод, усталость, холод, вызывавшие страшные видения. И все эти несчастные, валявшиеся, как раненые на поле битвы, эти отщепенцы, жизнь которых была отравлена смрадом смерти и разложения, затаили в сердце бешеный гнев и смутно помышляли облаженных альковах, о богачах, которые в этот поздний час предаются любви или отдыхают, лежа на тонких простынях среди кружевных подушек.

Пьер и аббат напрасно разыскивали среди сотен бедняков, лежавших вповалку, Долговязого Старика, бывшего столяра, чтобы вытащить его из этой клоаки и на другой же день поместить в приют для инвалидов труда. Оказывается, он заглядывал в ночлежку вечером, но там было уже битком набито: ведь страшно сказать, но и этот ад — место для избранных. Вероятно, он ночует где-нибудь, прикорнув возле тумбы или растянувшись под забором. Добрейший аббат Роз пришел в отчаяние, но, зная, что невозможно обшарить ночью все трущобы, он вернулся к себе, на улицу Корто, а Пьер стал разыскивать фиакр, чтобы направиться в Нейи.

Дождик все моросил, его мелкие капли становились прямо ледяными. Наконец появился кучер Жюль, прервав священника, который рассказывал барону и его спутникам об ужасе, пережитом в ночлежном доме.

— Ну что, Жюль, где же госпожа? — спросил Дювильяр кучера, с тревогой увидав, что тот возвращается один.

Жюль, как всегда, невозмутимый и почтительный, отвечал бесстрастным голосом, только губы его чуть кривились, выдавая иронию.

— Госпожа велела сказать, что она не вернется и предоставляет господам свой экипаж. Если вам угодно, я отвезу вас домой.

Это было уже слишком, барон вышел из себя. Потакая капризу Сильвианы, приехать в этот притон, ждать ее, надеясь воспользоваться ее опьянением, и вдруг узнать, что она под влиянием винных паров бросилась на шею какого-то Легра! Нет, нет, будет с него! Она дорого заплатит за такую гнусность! Он остановил проезжавший мимо фиакр и втолкнул туда Жерара, бросив ему:

— Вы отвезете меня домой.

— Но постойте, ведь она оставила нам свой экипаж! — крикнул Дютейль; он быстро утешился и в душе потешался над этим приключением. — Идите же сюда, места хватит на троих... Нет? Вы предпочитаете фиакр? Ну, воля ваша!

Он весело уселся в ландо, откинулся на подушки, и две огромные лошади тронулись мягкой рысью. А барон трясся в разбитом фиакре и изливал свой гнев Жерару, который молча сидел в тени, не прерывая его ни единым словом. Она получила от него столько подарков, стоила ему около двух миллионов, и вдруг — так его оскорбить! Его, хозяина жизни, который ворочает капиталами и повелевает людьми! Ну что ж, она сама этого захотела, он вырвался на свободу и вздохнул с облегчением, как человек, бежавший с каторги.

С минуту Пьер смотрел вслед удалявшимся экипажам. Потом он спрятался от дождя под деревьями и стал ожидать, пока подъедет еще фиакр. Его душа, истерзанная внутренней борьбой, как-то вся оледенела; в нее вошел чудовищный ночной Париж со всеми своими страданиями и нищетой. Он думал о том, что проституция высшей марки порой опускается до уровня уличной проституции. А девицы, как бледные призраки, все бродили по бульвару в поисках грошового заработка. Внезапно какая-то тень, скользнув мимо Пьера, шепнула ему на ухо:

— Предупредите своего брата: полиция напала на след Сальва. С минуты на минуту его могут арестовать.

Тень уже сливалась с темнотой, когда в луче газового фонаря Пьер разглядел маленькое бледное надменное лицо с тонкими чертами. Он вздрогнул, ему показалось, что это Виктор Матис. В тот же миг перед ним встала мирная столовая аббата Роза и кроткое лицо г-жи Матис, такой печальной и безропотной, с тревогой помышляющей о судьбе сына, ее последней надежды на земле.

III

В четверг на третьей неделе великого поста, в этот праздничный день, когда пустовали все канцелярии в огромном здании, Монферран, министр внутренних дел, уже с восьми часов утра сидел один у себя в кабинете. Его дверь охранял пристав, а в первой передней дежурили двое служителей.

Монферран, проснувшись поутру, испытал тяжелое потрясение. «Голос народа» еще накануне возобновил кампанию по делу

Африканских железных дорог, обвиняя Барру, министра финансов, в том, что он получил взятку в двести тысяч франков. Скандал все разгорался, и этим утром был опубликован уже давно обещанный список тридцати двух депутатов и сенаторов, которые продали свои голоса Гюнтеру, приспешнику Дювильяра, этому мифическому лицу, занимавшемуся подкупам, но с некоторых пор канувшему в неизвестность и тщетно разыскиваемому. И Монферран увидел свое имя в самом начале списка, причем ему приписывали восемьдесят тысяч. За Фонсегом числилось пятьдесят тысяч. Цифры постепенно снижались: на долю Дютейля выпало десять тысяч, а на долю Шенье — всего три тысячи, его незначительный голос стоил дешевле всего; все остальные оценивались от пяти до двадцати тысяч.

Однако, при всем своем волнении, Монферран не испытывал гнева и не слишком был удивлен. Правда, до сих пор ему не верилось, что Санье в своей бешеной погоне за шумихой так зарвется, что опубликует этот список, который он якобы обнаружил на листке, вырванном из записной книжки Гюнтера. Но ведь самое большее там могли быть какие-нибудь непонятные иероглифы, которые пришлось бы долго расшифровывать и оспаривать, чтобы добраться до истины. За себя министр ничуть не тревожился: он ничего не записал, нигде не оставил своей подписи и прекрасно знал, что всегда можно выйти сухим из воды, обладая достаточной наглостью и ни в чем не признаваясь. Но какой камень в парламентскую лужу! Он сразу же представил себе все неизбежные последствия — падение министерства, сметенного новым ураганом разоблачений и пересудов. К счастью, палата не заседала в этот четверг. Но на следующий же день Меж подаст свой запрос. Виньон и его друзья, воспользовавшись случаем, ринутся на штурм, чтобы завладеть вожделенными портфелями. И Монферран уже видел себя поверженным, изгнанным из кабинета, где так хорошо себя чувствовал эти восемь месяцев. Он был не слишком тщеславен, но с радостью сознавал, что он на своем месте, как государственный муж, способный усмирять непокорных и вести за собой толпу.

Презрительным жестом Монферран отшвырнул в сторону газеты, встал и потянулся с глухим ворчаньем, совсем как лев, которого раздразнили. И он принялся расхаживать взад и вперед по просторной комнате, которая была обставлена роскошно, но с казенной безвкусицей, мебелью красного дерева, обитой выцветшим зеленым дам *a* . Приземистый, широкоплечий, он шагал, заложив руки за спину, и на лице его не было обычной благодушной, чуть простоватой улыбки. Вся его

фигура и черты физиономии выдавали неукротимого борца. Чувственный рот, крупный нос, жесткий блеск глаз — все говорило, что это человек неразборчивый в средствах, со стальной волей, созданный для сурового труда. Что ему предпринять? Неужели он потерпит крушение вместе с честным громогласным Барру? Быть может, лично он сбит с ног не так уж безнадежно? Но как бы ему покинуть товарищей и самому добраться до надежной пристани? Как бы ему выплыть, когда все остальные пойдут ко дну? И он мучительно искал выхода, стараясь разрешить эту тяжелую задачу, придумать какой-нибудь ловкий маневр, страстно желая сохранить за собой власть.

Ему ничего не приходило в голову, и он проклинал дурацкую республику, приверженцы которой проповедуют добродетель, совершенно непригодную, по его мнению, для государственного мужа. И подумать только, подобная ерунда может помешать такому умному и сильному человеку, как он! Попробуйте-ка управлять людьми, когда у вас вырывают из рук деньги, этот царственный скипетр? И он горько посмеивался про себя, — такой нелепой идиллией представлялась ему страна, где можно честно вести большие дела. Он ни на чем не мог остановиться. Но вдруг ему пришло в голову, что умней всего будет переговорить со своим старым знакомцем Дювильяром; ему давно уже следовало бы повидаться с бароном, который сумел бы подкупить Санье и заставить его замолчать. Он хотел было послать барону коротенькую записку со служителем. Но, вспомнив, что документы вещь опасная, решил поговорить по телефону, который для удобства велел поставить на маленький столик рядом со своим бюро.

— Так со мной говорит господин барон Дювильяр? Прекрасно! Да, это я, министр Монферран. Я очень прошу вас сейчас прийти ко мне... Прекрасно! Превосходно! Жду вас.

И он снова стал шагать по кабинету, напряженно раздумывая. Этот Дювильяр тоже малый не промах и, конечно, подаст ему какую-нибудь счастливую мысль. Он строил всевозможные комбинации, когда его прервал пристав, доложив, что г-н Гасконь, начальник сыскной полиции, настоятельно просит разрешения переговорить с господином министром. Монферрану подумалось, что представитель полицейской префектуры пришел спросить его, какие меры предпринимать сегодня в связи с двумя процессиями — прачек и студентов, которые должны в полдень пройти по улицам Парижа, наводненным толпами народа.

— Введите господина Гасконя.

Вошел высокий, худощавый брюнет, похожий на принарядившегося рабочего. Этот с виду холодный человек превосходно изучил всю изнанку жизни Парижа и обладал ясным, точным умом. Но ему несколько вредило профессиональное самомнение, и он был бы умнее, если бы не считал себя таким умником и не воображал, что знает все на свете.

Первым делом он сообщил, что господин префект приносит свои извинения: он не мог лично прийти из-за легкого нездоровья. Но, быть может, даже лучше, что именно он, Гасконь, доложит господину министру о важном деле, которое ему известно до тонкостей. И он сообщил важную новость.

— Я не сомневаюсь, господин министр, что человек, бросивший бомбу на улице Годо-де-Моруа, наконец в наших руках.

Монферран, с нетерпением слушавший полицейского, внезапно оживился. Напрасные поиски полиции, нападки и издевательства прессы каждый день вызывали его раздражение. И он ответил, как всегда, с грубоватым добродушием:

— Ну, что же! Тем лучше для вас, господин Гасконь, ведь вы рисковали потерять свое место... Этот человек арестован?

— Пока еще нет, господин министр. Но ему не ускользнуть от нас, теперь это вопрос нескольких часов.

И он рассказал всю историю: как сыщик Мондезир, предупрежденный тайным агентом, что анархист Сальва находится в кабачке на Монмартре, устремился туда, но опоздал — птичка уже упорхнула. Потом он случайно набрел на Сальва, остановившегося в ста шагах от кабачка, и стал издали его выслеживать. С этой минуты он шел по его следам, надеясь открыть гнездо анархистов и захватить Сальва с его сообщниками. Так Мондезир выслеживал его до ворот Майо. Там Сальва заметил, что за ним гонятся по пятам, пустился наутек и скрылся в Булонском лесу. С двух часов ночи он скитается под дождем, который моросит без конца. Решено было дождаться рассвета, чтобы устроить облаву, как на зверя, которого легко захватить, когда он потеряет силы. Таким образом, с минуты на минуту он должен быть арестован.

— Я знаю, господин министр, как вы заинтересованы в его аресте, и вот прибежал к вам спросить ваших распоряжений. Агент Мондезир находится там, он ведет облаву. Он сожалеет, что не подцепил молодчика на бульваре Рошешуар. Но все-таки очень хорошо, что он решил его выслеживать, и Мондезира можно упрекнуть лишь в том, что он позволил ему скрыться в Булонском лесу.

Арест Сальва, того самого Сальва, о котором газеты кричат вот уже три недели, огромная удача. Это событие наделает немало шума. Монферран слушал, и по сосредоточенному взгляду его больших глаз, по выражению его массивного лица, напоминавшего морду отдыхающего льва, можно было догадаться, что он обдумывает какой-то смелый шаг, что ему блеснула возможность использовать в своих целях этот счастливый случай. Он смутно сознавал, что арест Сальва — новый козырь в его руках, и его можно пустить в ход против Межа, который завтра подаст свой запрос в связи с делом об Африканских железных дорогах и тем самым вызовет падение министерства. И у него уже стал намечаться новый план. Уж не звезда ли его посылает ему желанный выход, возможность выплыть из мутной воды во время предстоящего кризиса?

— Но скажите, господин Гасконь, вы уверены, что это именно Сальва бросил бомбу?

— О да, совершенно уверен, господин министр. Он во всем признается еще в экипаже, по дороге в префектуру.

Монферран снова зашагал по кабинету и стал медленно говорить, обдумывая каждое слово. Ему приходили в голову все новые мысли.

— Вы ждете моих приказаний?.. Так вот. Прежде всего действуйте с величайшей осмотрительностью. Никакого шума. Не привлекайте внимания гуляющих в лесу. Постарайтесь, чтобы арест прошел незамеченным. И если вы добьетесь признаний, сохраняйте все в тайне, ничего не сообщайте репортерам. О, я особенно настаиваю на том, чтобы газеты не были посвящены в это дело. И, конечно, приходите мне сообщить. Мне одному. А для всех это будет секрет, строжайший секрет!

Гасконь склонился перед министром, собираясь уходить. Но тот удержал полицейского и сообщил, что его друг, г-н Леман, прокурор республики, ежедневно получает письма от анархистов, угрожающих взорвать его и его семью, и при всем своем мужестве был вынужден попросить, чтобы его дом охраняли переодетые полицейские. Сыскная полиция уже организовала подобный надзор над домом, где живет следователь Амадье. И если это драгоценный человек, парижанин до мозга костей, психолог, крупный криминалист, отдающий свободные часы литературному труду, то прокурор республики Леман ни в чем не уступает Амадье; это судейский с политическим уклоном, весьма одаренный еврей, из числа тех, что честно трудятся на своем посту, всегда становясь на сторону власти.

— Господин министр, — заговорил, в свою очередь, Гасконь, — тут еще дело Бартеса... Мы ждем ваших распоряжений. Не прикажете ли его арестовать в том маленьком домике в Нейи?

Благодаря одной из тех случайностей, какие порой бывают на руку полицейским и создают им ореол всеведения, ему удалось узнать, что Николя Бартес скрывается в домике аббата Пьера Фромана. Когда в Париже начал свирепствовать анархический террор, был подписан приказ об аресте Бартеса, заподозренного в сношениях с революционерами; но Гасконь не решался без указания свыше наложить на него руку в доме священника, человека святой жизни, которого чтит вся округа. Он просил совета у министра, тот горячо одобрил его бережное отношение к представителю духовенства и обещал сам уладить это дело.

— Нет, господин Гасконь, не трогайте его. Вы знаете мои взгляды на этот счет: священники должны быть с нами, а не против нас... Я велел написать господину аббату Фроману, чтобы он пришел ко мне сегодня утром, когда я никого не жду. Я побеседую с ним. О, это дело вас уже не касается.

Он простался с Гасконом, когда вновь появился пристав и доложил, что пришел господин председатель совета министров.

— Барру!.. Черт возьми! Господин Гасконь, выйдите вот в ту дверь. Мне не хочется, чтобы вас видели у меня, поскольку я решил держать в секрете арест Сальва... Мы с вами уже условились, не так ли? Я один должен знать обо всем. Если произойдет что-нибудь серьезное, сообщите мне по телефону.

Начальник сыскной полиции юркнул в боковую дверь, и в следующий момент пристав уже распахнул дверь в переднюю.

— Господин председатель совета министров.

Монферран встал и двинулся ему навстречу с поспешностью, доказывавшей его почтительность и сердечное расположение. Он радушно протянул руки к Барру, и на лице его заиграла приветливая, благодушная улыбка.

— Ах, дорогой председатель! Ах, зачем вам было так себя утруждать? Если вам надо было спешно со мной повидаться, я и сам бы поехал к вам.

Но Барру нетерпеливым жестом отбросил все церемонии.

— Нет, нет! Я, как обычно, прогуливался утром на Елисейских полях, и меня обуревали мрачные мысли. Вот я и решил прийти к вам... Вы понимаете, мы не можем спокойно ожидать надвигающихся событий.

Завтра заседание совета; в связи с этим необходимо выработать план самообороны, нам есть о чем поговорить с вами с глазу на глаз.

Он опустил в кресло, а Монферран пододвинул себе другое и уселся перед Барру, спиной к свету. Как непохожи были эти два человека! Барру десятью годами старше, седой и величавый, со своим правильным, чисто выбритым лицом и белоснежными бакенбардами, напоминал какого-то романтического члена Конвента, но под его представительной внешностью скрывался заурядный буржуа, глуповатый и добросердечный.

А Монферран, тяжеловесный и с виду простоватый, под маской чистосердечия и прямодушия таил в душе неведомые бездны, был темной личностью, любителем хорошо пожить и деспотом, бессовестным и жестоким.

Взволнованный до глубины души, Барру тяжело дышал; лицо его побагровело, сердце бурно колотилось от негодования и гнева при мысли о тех гнусных оскорблениях, какими утром осыпал его «Голос народа».

— Послушайте, дорогой коллега, надо с этим покончить, надо положить предел этой скандальной кампании... Впрочем, вы сами хорошо знаете, что ждет нас завтра в парламенте. Теперь, когда опубликован пресловутый список, все недовольные обрушатся на нас. Виньон развивает бурную деятельность...

— А, так вы знаете что-нибудь о Виньоне? — спросил Монферран с явно заинтересованным видом.

— Ну конечно. Проходя мимо его дома, я видел у подъезда целую вереницу фиакров. Все его приспешники со вчерашнего дня находятся в величайшем возбуждении, и мне раз двадцать говорили, что эта банда уже делит между собой портфели. Вы, конечно, не сомневаетесь, что прямолинейный и свирепый Меж снова будет чужими руками жар загребать. Одним словом, мы уже убиты, и они собираются похоронить нас в грязи, а потом ссориться из-за нашего достоинства.

Театральным жестом он воздел руки к небу и стал разглагольствовать громко и красноречиво, как будто находился на трибуне. Однако он был не на шутку потрясен, и в его глазах поблескивали слезы.

— Я всю свою жизнь отдал республике! Я ее основал, я ее спасал! И вдруг меня подвергают публичному позору, я вынужден защищаться от возводимых на меня чудовищных обвинений. Это я-то продажная душа? Оказывается, я получил от Гюнтера двести тысяч франков и без зазрения совести сунул их себе в карман!.. Да, действительно у нас был разговор о двухстах тысячах франков. Но ведь нужно знать, что именно он мне

предлагал и при каких обстоятельствах. То же самое было и с вами: ведь он передал вам восемьдесят тысяч франков?..

Монферран прервал его решительным тоном:

— Он не передавал мне ни сантимата.

Барру в крайнем изумлении воззрился на собеседника. Но грубоватое лицо Монферрана оставалось в тени, и нельзя было его разглядеть.

— Вот как! А я-то думал, что вы поддерживали с ним деловые связи и близко его знали.

— Нет, у меня с Гюнтером было только шапочное знакомство. Я даже не подозревал, что он агент барона Дювильера и имеет отношение к делу Африканских железных дорог, мы никогда с ним не говорили на эту тему.

Это было до того невероятно, так противоречило хорошо известным фактам, что Барру опешил, потрясенный столь явной ложью. Но министр быстро овладел собой; он махнул рукой на чужие дела и опять взялся за свое:

— Ну, а ко мне он приходил больше десяти раз. О, он прямо прожужжал мне все уши Африканскими железными дорогами! Это было в тот год, когда в парламенте ставили на голосование выпуск выигрышного займа... Я вижу его, как сейчас. Мы сидели с ним в этом самом кабинете. Ведь вы помните, друг мой, в то время я был министром внутренних дел, а вы только что вступили на пост министра общественных работ. Так вот, я сидел за этим бюро, а Гюнтер передо мной в кресле, в котором я сейчас сижу. В тот день он пришел посоветоваться со мной относительно употребления крупных сумм, которые банк Дювильера решил пожертвовать на общественные нужды. Помню, я еще рассердился, узнав, что эти большие деньги предназначаются для монархических газет, а следовательно, причинят вред республике. В конце концов он предоставил мне распоряжаться этой суммой, и я, в свою очередь, сделал список республиканских газет, дружественных газет, между которыми и были распределены пресловутые двести тысяч франков. Да, они получали деньги через меня... Вот как было дело.

Он встал и, ударяя себя в грудь кулаком, заговорил еще громогласнее.

— Нет, довольно с меня клеветы и лжи! Обо всем этом я расскажу завтра в парламенте. Это и будет моя защита. Честный человек не должен бояться правды.

Монферран тоже встал и воскликнул, выдавая себя с головой:

— Это просто глупо! Разве можно признаваться? Вы этого не сделаете!

Но Барру в прекраснoдушнoм порыве стоял на своем.

— Я это сделаю. И вы увидите, что парламент встретит мое заявление восторженными криками и оправдает старого поклонника свободы.

— Нет! Вас освищут, вы падете и увлечете всех нас за собой.

— Ну, что ж! Мы падем, но честно, с достоинством!

У Монферрана вырвался яростный жест. Но вдруг он успокоился. Ему блеснул луч света, и одолевавшие его с самого утра мучительные сомнения мигом рассеялись: все стало ясно, смутный замысел, возникший у него в связи с предстоящим арестом Сальва, начал принимать отчетливые формы, и в уме его быстро созрел отважный план. Зачем, собственно, ему мешать падению этого взрослого младенца Барру? Ведь для него, Монферрана, самое главное — не рухнуть вместе с ним и как-нибудь отыгаться. Он перестал возражать, лишь мямлил что-то невнятное, и, казалось, его гнев постепенно затихал. Потом он воскликнул со своим обычным грубоватым добродушием:

— Боже мой! В конце концов, вы, пожалуй, правы. Мы должны быть мужественными. К тому же, дорогой председатель, вы наш глава, мы последуем за вами.

Министры снова уселись друг против друга, и беседа продолжалась. Они быстро договорились о том, какую позицию займет кабинет в связи с ожидавшимся на следующий день запросом.

Эту ночь барон Дювильяр провел без сна. Расставшись у своего подъезда с Жераром, он поднялся к себе, быстро улегся в постель и стал изо всех сил призывать сон, надеясь забыться и восстановить свои силы. Но как он ни старался уснуть, это ему не удавалось, и долгие часы он лежал, не смыкая глаз, терзаемый бессонницей. У него все внутри кипело, когда он вспоминал об оскорблении, нанесенном ему Сильвианой.

В самом деле, это чудовищно! Эта девка, которую он осыпал золотом и подарками, так нагло плюет ему в лицо, ему, властелину, который гордится, что забрал в руки Париж и всю республику, который покупает людей, как торговец скупает шерсть или кожу для биржевой спекуляции! Притом он с ужасом сознавал, что Сильвиана — это возмездие: она развращает его, развратившего столько душ. Он старался прогнать эту назойливую мысль, начиная думать о своих делах, о назначенных на завтра свиданиях, о миллионах, которыми он ворочал, раскидывая свои сети во всех частях света, о безграничной силе денег, благодаря которым он вершил судьбы народов. Но Сильвиана упорно вставала перед ним, опаляя его своим тлетворным дыханием. Отчаянным усилием он

попытался сосредоточить свои мысли на крупном деле, к которому уже давно готовился, на пресловутой железной дороге, которая должна пересечь Сахару; в это грандиозное предприятие будут вложены миллиарды, и оно изменит лицо земли... Но тут Сильвиана снова появилась перед ним и хлестнула его по щекам своей маленькой ручкой, испачканной уличной грязью. Перед рассветом он наконец забылся и, засыпая, еще раз поклялся, что никогда больше ее не увидит и отшвырнет ногой, если даже она будет ползать перед ним на коленях.

В семь часов он пробудился, чувствуя себя совсем разбитым, теряя силы в этой постели, влажной от пота, и первая его мысль была о Сильвиане; он едва не поддался гнусной слабости. Ему так захотелось помчаться к ней, узнать, вернулась ли она домой, застать ее спящей, помириться с ней и, когда она расчувствуется, попытаться ею овладеть. Но тут он соскочил с кровати, окатился холодной водой, и к нему снова вернулось мужество. Нет, это сушая негодяйка, и теперь уж он навсегда излечился от своей страсти. И действительно, он позабыл о Сильвиане, как только развернул утренние газеты. Он был потрясен при виде списка, опубликованного в «Голосе народа». До сих пор ему не верилось, что список попал в руки Санье. Быстро пробежав глазами документ, он трезво его оценил, различив крупницы истины в обычном потоке глупостей и лжи. Он понял, что и на этот раз ему ничто не грозит. Он мог опасаться лишь одного, а именно, что арестуют его доверенное лицо Гюнтера, процесс которого поставит его под угрозу. С самоуверенной улыбкой он твердил себе, что им было сделано лишь то, что делают при выпуске акций все банки, которые подкупают представителей прессы, оплачивают тайные услуги маклеров. То была деловая операция, и этим все сказано. Впрочем, он был отважный игрок и отзывался с презрением об одном банкире, который не так давно попал в грязную историю, стал жертвой шантажа, разорился, оказался в безвыходном положении и в отчаянии покончил с собой, воображая, что это положит всему конец. Но печальная драма продолжалась, скандал не потонул в луже кровавой грязи, напротив, он чудовищно разросся, раскинув во все стороны буйные неистребимые побеги. Нет, нет! Надо твердо стоять на ногах, надо бороться, пока не иссякнет энергия.

Часов около девяти зазвонил личный телефон Дювилльяра, стоявший у него на бюро. И снова им овладело безумие, его прожгла мысль, что это Сильвиана. Ей нравилось порой отвлекать его от самых серьезных занятий. Должно быть, она вернулась домой, сообразила, что зашла чересчур далеко, и хочет попросить у него прощения. Но когда он

услышал, что Монферран вызывает его в министерство, у него пробежал по спине холодок, как у человека, которому сильная рука не дала упасть в пропасть. Он тут же потребовал шляпу и трость, решив отправиться пешком, чтобы по дороге как следует поразмыслить на свежем воздухе. И снова он принялся обдумывать во всех подробностях скандальное дело, которое должно было взволновать парламент и весь Париж. Покончить с собой? Ну, нет, это была бы суцкая глупость и трусость! Пусть себе все трепещут от ужаса, — он чувствовал, что у него достаточно мужества, что воля его не сломится ни в каких испытаниях, и решил защищаться, как хозяин жизни, который не намерен отказываться от власти.

Войдя в прихожую министерства, Дювильяр сразу же ощутил бурное дыхание паники. «Голос народа», опубликовав свой ужасный список, нагнал смертельный страх на виновных. Они сбегались со всех сторон, бледные растерянные, чувствуя, что почва колеблется у них под ногами. Первым попался ему Дютейль, который в лихорадочном волнении покусывал свои тонкие усы; лицо его подергивалось, хотя он и пытался улыбаться. Барон побранил молодого человека за то, что тот прибежал сюда разузнать, как обстоит дело; совершенно недопустимо показываться в министерстве с таким перепуганным лицом! Дютейль, ободренный этими суровыми словами, стал оправдываться, поклявшись, что он даже не читал статьи Санье и явился к министру по делу одной дамы, своей близкой знакомой. Барон взял на себя это дело и отослал его, пожелав ему веселого праздника. Но особенную жалость внушил ему Шенье, который весь дрожал и согнулся пополам, словно под тяжестью своей огромной лошадиной головы. Глядя на его замусоленную одежду и скорбное лицо, можно было подумать, что это престарелый нищий. Увидев банкира, он устремился к нему и приветствовал раболепным поклоном.

— Ах, господин барон, как люди злы! Смерть моя пришла, меня убивают! И что станет с моей женой? Что станет с моими тремя дочками? Ведь я их единственная опора!

В этой жалобе прозвучала вся история бесталанного человека, жертвы политики, который имел глупость покинуть Аррас, где он подвизался стряпчим, ради ожидавшей его в Париже блестящей карьеры. Поселившись там со своими четырьмя женщинами (как он любил выражаться), то есть с женой и тремя дочерьми, он стал чем-то вроде лакея и потерял всякое достоинство, раздавленный постоянными неудачами на новом поприще. Честный ли он депутат? Ах, боже мой, он от души хотел бы сохранить честность, но неизбежная нужда и вечная погоня за стофранковым билетом сделали из него продажного депутата!

Этого жалкого субъекта так грызли его четыре женщины, что он готов был добывать для них деньги где угодно и любыми средствами.

— Представьте себе, господин барон, я наконец нашел жениха для старшей дочки. Это первая удача в моей жизни, теперь у меня на шее останутся только три женщины... Но вы сами понимаете, какое ужасное впечатление произведет на родных молодого человека статья, появившаяся сегодня утром. И вот я прибежал к господину министру и буду умолять его устроить моего будущего зятя на место секретаря. Я уже обещал молодому человеку это место, и оно еще может спасти положение.

Он был до того жалок и говорил таким плаксивым голосом, что Дювильяр решил его облагодетельствовать: влиятельный банкир, когда это было ему выгодно, помогал людям, всякий раз рассчитывая получить крупные проценты с затраченных им сумм. Ведь чрезвычайно полезно иметь под рукой всяких неудачников, которые за кусок хлеба становятся вашими слугами и соучастниками любых махинаций. Поэтому он отослал Шенье, взяв на себя его дело, как уже обещал это Дютейлю. Он прибавил, что ждет его завтра, они побеседуют, и он окажет Шенье помощь, поскольку тот выдает одну из дочерей замуж.

Шенье, почуяв, что дело пахнет займом, рассыпался в благодарностях.

— Ах, господин барон, я буду признателен вам по гроб жизни!

Обернувшись, Дювильяр с удивлением заметил в углу прихожей аббата Пьера Фромана, который, как видно, ожидал приема. Этот человек не принадлежал к числу замаранных, но, казалось, был сильно взволнован, хотя делал вид, что спокойно читает газету. Барон подошел к аббату, поздоровался и приветливо с ним заговорил. Пьер сообщил ему, что получил письмо с приглашением явиться к министру. Он не знал, в чем дело, уверял, что это его очень удивляет, и улыбался, скрывая свою тревогу. Он ждет в прихожей уже четверть часа. Лишь бы о нем не позабыли!

Появился пристав и проговорил, подобострастно склонившись:

— Господин министр ждет вас, господин барон. В настоящий момент он беседует с господином председателем совета. Но как только удалится господин председатель, мне приказано вас ввести, господин барон.

Через минуту вышел Барру и, увидев Дювильяра, уже направлявшегося в кабинет, задержал его. Он заговорил с ним о последних событиях с горечью и негодованием, как человек,

подвергшийся гнусной клевете. Неужели Дювильяр не подтвердит при случае, что он, Барру, лично для себя ни разу не получил ни сантима? Забывая, что он говорит с банкиром, что он сам министр финансов, Барру откровенно высказывал свое отвращение к деньгам. О, эти дела! Какая это мутная, зараженная и грязная вода! Но он повторял, что надает пощечин своим оскорбителям и правда, несомненно, восторжествует.

Дювильяр слушал министра, глядя на него. Внезапно он вспомнил о Сильвиане. Эта мысль овладела им с неуправляемой силой, и он даже не пытался ее прогнать. Он подумал о том, что, если бы Барру пошел ему навстречу, когда он просил его помощи, Сильвиана была бы уже теперь в труппе Комедии и печальная история, разыгравшаяся накануне, конечно, не имела бы места. Он уже начинал чувствовать за собой вину, воображая, что Сильвиана никогда бы не изменила ему так нагло, если бы он удовлетворил ее прихоть.

— А вы знаете, у меня на вас зуб, — прервал он министра.

Тот с удивлением уставился на барона.

— У вас на меня зуб? Из-за чего же?

— Из-за того, что вы не помогли мне, знаете, в тот раз, когда я вас просил о своей приятельнице, — она хочет дебютировать в «Полиевкте».

Барру улыбнулся снисходительно и любезно.

— Ах да, Сильвиана д'Онэ! Но, мой дорогой друг, это Табуро встал ей поперек дороги. Он ведаёт изящными искусствами, и дело касалось только его. Я ничего не мог с ним поделать. Этот превосходный, честнейший человек свалился к нам на голову из провинциального университета и отличается необычайной щепетильностью... Что до меня, я старый парижанин, я все понимаю и был бы весьма рад оказать вам услугу.

Эта новая преграда только раздражила страсть Дювильяра, которому захотелось немедленно, получить то, в чем ему отказывали.

— Табуро, Табуро! Это еще что за балласт! Честный человек! Да ведь все мы честные люди! Слушайте, дорогой министр, пока не поздно, прикажите принять Сильвиану, это принесет вам счастье на завтрашнем заседании.

При этих словах Барру от всей души рассмеялся.

— Нет, нет! В данное время я никак не могу обойти Табуро... И потом, все бы стали потешаться. Подумать только, Сильвиана вызывает падение кабинета или спасает его!

Он протянул руку барону, прощаясь с ним. Тот пожал ее, на мгновение задержал в своей и сказал чрезвычайно серьезно, слегка

побледнев:

— Напрасно вы смеетесь, дорогой министр. Случалось, кабинеты падали или оставались у власти по еще более ничтожным причинам... Если завтра вы падете, то смотрите, как бы вам об этом не пожалеть.

Он смотрел вслед удаляющемуся министру, уязвленный до глубины души его шутливым тоном, испытывая отчаяние и ярость при мысли о том, что есть в мире вещи, для него недоступные. Конечно, он не надеялся примириться с Сильвианой, но поклялся, что перевернет все вверх дном, добьется ее приема и пошлет ей подписанный контракт. То будет его месть, пощечина ей, да, пощечина! Эта минута решила все.

Но вот Дювильяр, провожавший глазами Барру, с удивлением увидел входящего в приемную Фонсега, который старался незаметно проскользнуть мимо министра. Это ему удалось.

Этот маленький человек, обычно такой подвижной и остроумный, как видно, был насмерть перепуган, и глаза у него блуждали. Паника продолжала свирепствовать, и он примчался сюда, подхваченный ее бурным дыханием.

— Так вы не видели вашего друга Барру? — спросил его заинтересованный барон.

— Барру? Нет!

Эта ложь, сказанная равнодушным тоном, выдала его. Он был на «ты» с Барру, уже десять лет поддерживал его в своей газете, будучи в нем одних взглядов, одних политических убеждений. Но теперь, когда министерству грозило крушение, непогрешимое чутье подсказало ему, что необходимо приобрести новых друзей, чтобы не погибнуть под развалинами со старыми друзьями. Он основал самую солидную и уважаемую из газет и уже много лет выпускал ее, проявляя осмотрительность и сообразуясь с политическими веяниями, — так неужели же теперь он допустит, чтобы его детище пострадало из-за неловкости неподкупного министра!

— Мне казалось, что вы поссорились с Монферраном, — продолжал Дювильяр. — Так зачем же вы сюда пришли?

— Ах, дорогой барон, издатель крупной газеты ни с кем не должен ссориться. Он служит своей родине.

Как ни был взволнован Дювильяр, он не мог удержаться от улыбки.

— Вы правы. К тому же Монферран действительно сильный человек, и можно смело встать на его сторону.

Фонсег спрашивал себя: не выдает ли он свою тревогу? Этот отважный игрок, всегда уверенный в выигрыше, был не на шутку

перепуган статьей, опубликованной «Голосом народа». Первый раз в жизни он совершил ошибку, допустил непростительную неосторожность, написав коротенькую записку, и понимал, что теперь это может его погубить. Его ничуть не беспокоили пятьдесят тысяч франков, которые Барру, получив двести тысяч на нужды прессы, вручил ему для газеты. Но он до смерти боялся, что выплывет наружу другое дельце, известная сумма, полученная им в подарок. Но его слегка успокоил ясный, уверенный взгляд барона. Какой он болван, что даже не сумел притвориться и выдал свое волнение!

Тут пристав подошел к Дювильяру.

— Позвольте вам напомнить, господин барон, что вас ждет господин министр.

Фонсег остался в приемной наедине с аббатом Фроманом. Заметив его, журналист подошел и уселся рядом с ним, выражая удивление, что встретил его здесь. Пьер повторил, что министр вызвал его к себе письмом, но он никак не может догадаться, по какому поводу. Легкая дрожь пальцев выдавала его взволнованность и нетерпение. Но волевым усилием приходилось ждать, поскольку у министра решались столь важные дела.

Как только Дювильяр появился в дверях, Монферран встал и направился к нему, протянув навстречу руки. Несмотря на свирепствующую панику, он казался спокойным и добродушно улыбался.

— Что скажете? Вот так история, дорогой барон!

— Это просто идиотство! — решительно заявил Дювильяр, пожимая плечами.

Он уселся в кресло, с которого только что встал Барру, а министр занял свое место против банкира. Эти двое великолепно понимали друг друга. У обоих вырывались те же бурные жесты, оба яростно негодовали, заявляя, что совершенно невозможно править страной и вести дела, если требовать от людей какой-то нечеловеческой добродетели. Ведь во все времена, при любом режиме, когда в парламенте ставился на голосование какой-нибудь важный вопрос, естественно и на законном основании, прибегали к известной тактике, дабы обеспечить нужные результаты. Всегда приходилось бороться с враждебными течениями, завоевывать симпатии, наконец, обеспечивать себе голоса! Ведь известно, что все на свете можно купить, в том числе и людей, одних — ласковыми словами, других — обещаниями тех или иных благ, деньгами или подарками, поднесенными под благовидным предлогом. Допустим даже, что в данном случае зашли слишком далеко в подкупах, что кое-какие сделки

были заключены опрометчиво. Но разве благоразумно поднимать такой шум? Разве сильная власть не затушила бы в самом начале подобный скандал из патриотизма, даже из простой чистоплотности.

— Ну конечно! Вы тысячу раз правы! — кричал Монферран. — О, будь я хозяин, вы увидели бы шикарные похороны по первому разряду!

Заметив, что, Дювильяр уставился на него, пораженный его последними словами, он продолжал с улыбкой.

— К сожалению, я не хозяин. И вот я решился вас побеспокоить, желая поговорить с вами о создавшемся положении. У меня только что был Барру, и мне очень не нравится его настроение.

— Да, я сейчас с ним встретился. У него иногда бывают такие несуразные идеи... — Не договорив своей мысли, барон перешел на другую тему: — Вы знаете, там в приемной Фонсег. Он хочет с вами помириться, поэтому прикажите его позвать. Он пригодится вам, ведь он умеет давать хорошие советы, и его газета всегда может обеспечить победу.

— Как! Пришел Фонсег! — возопил Монферран. — Я буду очень рад пожать ему руку. Все старое уже давно позабыто! Ах, боже мой! Уверяю вас, я совсем не злопамятен!

Пристав ввел Фонсега. Примирение состоялось быстро и легко. Монферран и Фонсег учились в одном коллеже, в своем родном Корезе, однако уже десять лет не разговаривали, после какой-то омерзительной истории, подробностей которой никто толком не знал. Но ведь в иных случаях приходится погребать мертвецов, чтобы расчистить поле для новой битвы.

— Как это мило с твоей стороны, что ты пришел первый! Так, значит, с прошлым покончено, ты больше не сердишься на меня?

— Конечно, нет! Зачем нам грызться между собой, когда в наших интересах быть в ладу?

Без дальнейших объяснений приступили к злободневному вопросу, началось совещание. Когда Монферран сообщил, что Барру намерен во всем признаться и объяснить свой образ действий, его собеседники дружно возмутились. Крушение будет обеспечено, необходимо его отговорить. Он, конечно, не сделает подобной глупости. Потом стали обдумывать, как бы спасти висевший на волоске кабинет, так как, очевидно, только этого и хотел Монферран. Сам он напряженно измышлял какой-нибудь выход из тяжелого положения и для себя, и для своих коллег, но в уголках губ затаил тонкую усмешку. Наконец он как будто признал себя побежденным; он перестал ломать голову.

— Ну что ж, кабинет пал!

Его собеседники тревожно переглянулись: если будет новый кабинет, то как он отнесется к авантюре с Африканскими железными дорогами? Кабинет Виньона, без сомнения, вначале будет придерживаться самых честных правил.

— Тогда что же нам делать?

В этот момент зазвонил телефон, и Монферран подошел к аппарату.

— Прошу прощения.

С минуту он слушал, потом стал говорить, но по его кратким ответам и вопросам нельзя было догадаться, о чем шла речь. Это был начальник сысской полиции; исполняя свое обещание, он сообщил Монферрану, что напали на след этого человека в Булонском лесу и охота будет жаркая.

— Превосходно! Но не забывайте моих приказаний.

За это время Монферран уже успел разработать план действий и, уверившись, что Сальва будет арестован, принял окончательное решение. Он положил трубку и стал медленно расхаживать по просторному кабинету, как всегда, благодушным тоном высказывая свои соображения.

— Что поделаешь, друзья мои! Жалко, что я не стоял во главе. Ах, если бы я был хозяином!.. Назначил бы расследование. Да! вот вам и похороны по первому разряду... и конец этому громкому и пакостному делу! Я не стал бы ни в чем признаваться и назначил бы комиссию по расследованию. И будьте уверены, вскоре рассеялась бы эта грозная туча.

Дювильяр и Фонсег повеселели. Хорошо зная Монферрана, издатель почти угадал его тайную мысль.

— Слушай-ка! Если даже кабинет падет, это еще не значит, что ты слетишь вместе с другими. Кабинет всегда можно починить, если в нем есть здоровые части.

Монферран, встревоженный тем, что его раскусили, начал отбиваться.

— Нет, нет! Что ты, милый мой! Разве я стану вести такую игру? Мы все заодно, черт возьми!

— Заодно! Будет тебе! Разве можно быть заодно с простачками, которые сами норовят утопиться. Вдобавок ты нам нужен, и мы вправе тебя спасти, хотя бы и против твоей воли... Не правда ли, дорогой барон?



Монферран уселся в кресло. Он больше не возражал и ждал ответа. Тут Дювильяр, вспомнив об отказе Барру, вскочил и гневно воскликнул в порыве страсти:

— Ну, разумеется! Если кабинет обречен, пускай себе падает!.. Что хорошего можно ждать от кабинета, где имеется такая фигура, как Табуро! Этот старый профессор, приехавший из Гренобля, уже весь выдохся, не пользуется авторитетом; он ни разу в жизни не заглядывал в театр, и вдруг ему поручают все театры. Естественно, он делает одну глупость за другой.

Хорошо осведомленный об отношениях барона с Сильвианой, Монферран сделал серьезное лицо, решив его поддразнить:

— Табуро заслуженный профессор, правда, немного бесцветный, чуть-чуть старомодный, но он прямо создан для должности министра народного просвещения и там весьма на месте.

— Да будет вам, мой дорогой! Ведь вы умный человек и не станете защищать Табуро, как это делал Барру... Вы знаете, как мне хочется, чтобы Сильвиана дебютировала. Ведь она, право же, славная девушка и необычайно талантливая. Послушайте, неужели и вы встанете ей поперек дороги?

— Я? Нет! Что вы! Я уверен, что всем и каждому приятно будет видеть на сцене красивую девушку... Только для этого необходимо, чтобы

министром просвещения был человек, разделяющий мои взгляды.

У него снова заиграла на губах тонкая усмешка. Как видно, легко будет заручиться содействием всемогущего Дювильяра и его миллионов — стоит лишь устроить дебют этой девице. Он повернулся к Фонсегу, словно спрашивая его совета. Тот понимал всю важность этого вопроса и с сосредоточенным видом размышлял, подыскивая кандидата.

— Весьма недурно было бы посадить на этот пост сенатора... Но, к сожалению, я не нахожу ни одного подходящего лица, решительно ни одного. Во главе учебного ведомства должен быть человек широких взглядов, парижанин, назначение которого не вызвало бы особых возражений. Вот разве только Довернь?

Монферран воскликнул в недоумении:

— Какой такой Довернь? Ах да, Довернь, дижонский сенатор... Но он не имеет никакого отношения к учебному ведомству, он совершенно непригоден.

— Черт возьми! Я ищу, — продолжал Фонсег. — У Доверия привлекательная внешность — высокий, белокурый, представительный. К тому же, вы знаете, он колоссально богат, у него прелестная молодая жена, что отнюдь не портит дела, и он задает настоящие пиры у себя в доме на бульваре Сен-Жермен.

Фонсег сперва произнес это имя неуверенным тоном. Но постепенно он пришел к мысли, что Довернь настоящая находка.

— Слушайте же! Я вспомнил, что Довернь в молодости написал одноактную пьеску в стихах, и она была поставлена. Вдобавок Дижон город литераторов, и это уже своего рода марка для того, кто ведает изящными искусствами. Довернь добрых двадцать лет не бывал в Дижоне. Это настоящий парижанин, вращающийся во всех кругах общества. Он сделает все, что понадобится. Я говорю вам, он как раз то, что нужно.

Дювильяр заявил, что знает Доверия и вполне его одобряет. Впрочем, не все ли равно, этот или другой!

— Довернь, Довернь, — повторял Монферран. — Ну что ж, пожалуй, да! Из него может выйти недурной министр. Довернь так Довернь! — И тут же громко расхохотался. — Выходит, что мы перестраиваем кабинет для того, чтобы эта милая особа была принята в Комедию. Кабинет Сильвианы... Ну, а как обстоит дело с другими портфелями?

Он шутил, зная, что весело настроенным людям легче решать сложные вопросы. И в самом деле, они продолжали с энтузиазмом обсуждать все шаги, какие придется предпринять, если на следующий

день падет кабинет. Хотя никто об этом прямо не говорил, они решили не защищать Барру, даже содействовать его падению, а затем постараться вытащить Монферрана из мутной воды. Министр остро нуждался в этих двух союзниках, так как Дювильяр обладал финансовым могуществом, а издатель «Глобуса» мог провести кампанию в его пользу. В свою очередь, банкир и Фонсег, оставляя в стороне вопрос о Сильвиане, нуждались в нем как в государственном деятеле с крепкой хваткой, который обещал погасить скандал с Африканскими железными дорогами, создав из своих ставленников комиссию по расследованию. И трое мужчин окончательно договорились, ибо крепче всего связывают людей общие интересы, страх и взаимная зависимость. Поэтому, когда Дювильяр упомянул о просьбе Дютейля, о молодой даме, за которую хлопотал депутат, министр заявил, что все будет сделано. Премилый молодой человек, этот Дютейль! Побольше бы таких! Было также решено, что будущий зять Шенье получит место. Бедняга Шенье, такой преданный, всегда готовый исполнять любое поручение! Как ему трудно живется с его четырьмя женщинами!

— Ну, что ж, решено?

— Решено!

— Решено!

И Монферран, Дювильяр и Фонсег обменялись крепким рукопожатием.

Провожая своих сообщников до двери, министр увидал в приемной прелата в сутане из тонкой ткани с фиолетовой каймой, который стоя разговаривал со священником.

Министр тотчас же поспешил к нему, и лицо его приняло огорченное выражение.

— А, монсеньер Март *a* ! Вам пришлось ждать! Войдите, войдите, пожалуйста!

Но изысканно вежливый епископ не захотел воспользоваться его любезностью.

— Нет, нет, господин аббат Фроман пришел раньше меня. Благоволите его принять.

Монферрану пришлось уступить: он принял священника и очень недолго его задержал. Проявляя дипломатическую сдержанность в отношении духовенства, он решил быстро покончить с делом Бартеса. Пьер ожидал уже два часа, и его одолевали самые тревожные мысли; ведь полученное им письмо могло означать лишь одно: полиция обнаружила, что брат находится у него. Что же теперь будет? Но каково же было его

недоумение, когда министр повел речь только о Бартесе, объяснил, что правительство предпочитает узнать о побеге Бартеса, чем еще раз сажать его в тюрьму. Как могло случиться, что полиция, обнаружившая присутствие легендарного заговорщика в его домике в Нейи, даже и не подозревала, что там скрывался Гильом! Это был образец дырявого всеведения прославленных полицейских.

— Так чего же вы от меня хотите, господин министр? Я не совсем понимаю.

— Боже мой! Господин аббат, я надеюсь, что вы со свойственным вам благоразумием сами примете надлежащие меры. Если через сорок восемь часов этот человек все еще будет находиться у вас, нам придется его арестовать, и это будет для нас весьма прискорбно, ведь нам известно, что ваше жилище — приют всех добродетелей. Посоветуйте же ему покинуть Францию, Он не встретит никаких препятствий.

И Монферран поспешно проводил Пьера в переднюю. Потом, изогнувшись в низком поклоне, с улыбкой обратился к епископу:

— Монсеньер, я к вашим услугам... Входите, входите, прошу вас.

Прелат, оживленно беседовавший с Дювильяром и Фонсегом, пожал им руки, а также и Пьеру. В это утро он проявлял безмерную благожелательность к людям в своем стремлении покорить все сердца. Его живые черные глаза улыбались, его красивое лицо с такими правильными, четкими чертами дышало лаской. И он вошел в кабинет министра неторопливо, с непринужденной грацией и победоносным видом.

Здание министерства опустело. Только Монферран и монсеньер Март *a*, запершись в кабинете, еще долго сидели, увлеченные беседой. Можно было подумать, что прелат решил стать депутатом. Но он исполнял гораздо более полезную и значительную роль — он управлял и властвовал, оставаясь в тени, и был душой политики, проводимой Ватиканом во Франции. Разве Франция не старшая дочь Церкви, не единственная из великих держав, способная в будущем вернуть всемогущество папской власти? Прелат принял республику, он проповедовал всеобщее объединение, и в парламенте его считали духовным руководителем недавно возникшей католической группы. И Монферран, пораженный успехами нового течения, мистической реакции, намеревавшейся похоронить науку, рассыпался в любезностях. Как человек с крепкой хваткой, он готов был опереться на любую силу, лишь бы обеспечить себе победу.

В этот же день после полудня Гильому захотелось пройтись за городом на свежем воздухе, но Пьер согласился отправиться с ним на большую прогулку в Булонский лес, находившийся совсем близко от их домика. Возвратившись из министерства, он за завтраком рассказал брату, каким способом намерено правительство разделаться с Николя Бартесом. Оба опечалились, не зная, как сообщить старику о его изгнании, и решили отложить это до вечера, а тем временем подумать, как бы им облегчить горечь такого известия. Они хотели потолковать об этом на прогулке. К тому же какой смысл скрываться? И почему бы Гильому не выйти из дому, когда ему решительно ничто не угрожает? И братья вошли в Булонский лес через ближайшие ворота Саблон.

Был конец марта. Лес уже начал одеваться нежной зеленью, и крохотные прозрачные листочки, опушившие ветви деревьев, казались гирляндами бледного мха или завесой из тончайших кружев. Дождь, продолжавшийся всю ночь и все утро, наконец перестал. Небо сохраняло пепельно-серый оттенок, и возрождавшийся к жизни, пропитанный влагой лес в мягком безветрии дышал живительным ароматом и какой-то младенческой прелестью. Как всегда, в четверг на третьей неделе поста происходили народные увеселения; по главным улицам Парижа должны были пройти повозки с ряжеными, и толпы людей хлынули к центру города. Поэтому в аллеях можно было встретить только всадников и экипажи, а также изящных дам, которые прогуливались, выйдя из карет и ландо. Рядом с ними шли кормилицы с лентами и несли младенцев в кружевных накидках. В такие дни в Булонском лесу гуляет элегантная публика, представители высшего света, но почти не видно простонародья. Лишь кое-где на скамейках, в аллеях и в глубине леса, сидят мешчанки из соседних кварталов с вышиванием в руках и глядят, как играют их детишки.

Пьер и Гильом направились по Лоншанской аллее и дошли до Мадридской дороги, которая ведет к озерам. Там они углубились в чащу и пошли вниз по течению небольшого ручья. Они решили добраться до озер, обогнуть их и вернуться в город, пройдя сквозь ворота Майо. Но в лесочке было так тихо и безлюдно в эту чарующую пору младенчества весны, что им захотелось посидеть и насладиться отдыхом. Братья устроились на стволе упавшего дерева. Им казалось, что они где-то далеко-далеко, в чаще глухого леса. Гильом отдавался мечтам, воображая,

что наконец после своего добровольного заключения он попал в настоящий лес. О, какое приволье! Какой свежий ветерок колышет ветви! Как легко дышится и как прекрасен огромный мир, который должен весь принадлежать человеку! Тут он вспомнил о Бартесе, этом вечном пленнике, и вздохнул, вновь охваченный грустью. Мысль о страданиях этого человека, которого то и дело лишали свободы, отравила ему отдых в свежем, душистом лесу.

— Что ты скажешь? Ведь необходимо его предупредить. Изгнание все-таки лучше тюрьмы.

Пьер безнадежно махнул рукой.

— Да, да, я его предупрежу. Но какое горе!

Внезапно в этом глухом и безлюдном уголке леса, где им казалось, что они на краю света, перед ними появилась странная фигура. Из чащи выскочил человек и промчался мимо них. Это, несомненно, был человек, но он потерял человеческий облик, был весь в грязи и в таком ужасающем виде, что его можно было принять за какого-то зверя, за кабана, преследуемого по пятам собаками. На секунду он остановился в нерешительности у ручья, потом побежал вдоль берега. Но совсем близко послышался топот и хриплое дыхание преследователей. Человек прыгнул в воду, которая оказалась ему выше колен, перебежал ручей, выскочил на другой берег и скрылся в чаще елей. Через минуту появились лесные сторожа во главе с полицейскими; они помчались вдоль ручья и вскоре исчезли из виду. В лесу, одетом нежной невинной зеленью, происходила охота на человека, немая яростная охота, без красных казакинов и переклички рожков.

— Какой-нибудь бродяга, — пробормотал Пьер. — Ах, несчастный!

Гильом, в свою очередь, безнадежно махнул рукой.

— Вечно жандармы и тюрьма! Другой социальной школы еще не придумали!

А человек там, в лесу, все убежал. Ночью Сальва удалось внезапным рывком ускользнуть от гнавшихся за ним полицейских и скрыться в Булонском лесу. Ему пришлось в голову прокрасться до ворот Дофин и спрятаться во рву, у подножия крепостной стены. Он вспомнил, что ему случалось во время безработицы проводить целые дни в этом никому не ведомом убежище, где он никогда не встречал ни души. И в самом деле, кажется, нельзя найти другого столь укромного места, столь густо заросшего кустарником и высокими травами. Иные уголки во рву, между выступами степ, служили приютом для бродяг и для влюбленных. Сальва пробрался в темноте под дождем в самую гущу зарослей терновника и

плюща, и ему удалось набрести на яму, полную сухих листьев, в которые он и зарылся по самый подбородок. Он уже промок до костей; ему приходилось спускаться с холмов по жидкой грязи, продвигаясь ощупью, нередко на четвереньках. Это была для него счастливая находка. Он зарылся в листья, и ему удалось немного обсохнуть, как в теплой постели, и отдохнуть после сумасшедшего бега в непроглядном мраке. Дождь не переставал, но теперь у него мокла только голова. Он даже начал дремать и под конец забылся тяжелым сном под шум частого дождя. Когда он открыл глаза, уже рассветало, вероятно, было около шести часов. Листья в яме промокли до самого дна, и он сидел как бы в ледяной ванне. Но все же он остался в яме, так как ожидал облавы и чувствовал себя здесь в безопасности. Ни одной ищейке не разглядеть его, он зарылся в листья, даже голова исчезла в зарослях. Итак, он не двинулся с места и наблюдал, как постепенно светлело.

Часов в восемь мимо Сальва прошли полицейские и лесные сторожа. Они обшарили весь ров у крепостной стены, но не обнаружили его. Как он и предполагал, едва рассвело, началась облава, его травили. Сердце Сальва усиленно билось, он чувствовал себя как зверь, которого окружают охотники. Яма, где он спрятался, находилась как раз под казармой жандармов, и с другой стороны вала до него доносились их гулкие голоса. Больше никто не проходил мимо него, ни единое живое существо; не слышно было даже шелеста травы. Лишь издалека долетали неясные звуки — звонки велосипедов, топот скачущих лошадей, стук экипажных колес: Булонский лес проснулся, там гуляли праздные счастливицы, опьяненные свежим весенним воздухом, высший свет Парижа.

А время шло. Пробило девять, десять. Дождь прекратился, и теперь Сальва не слишком страдал от холода, его спасала фуражка и теплое пальто, подаренное маленьким Матисом. Но его начал терзать голод, он чувствовал в желудке жгучую пустоту. Начались ужасные судороги, — казалось, свинцовый обруч сдавил бока. Он уже двое суток ничего не ел и лишь накануне вечером выпил натошак кружку пива. Он собирался просидеть в яме до вечера, потом прокрасться в темноте к Булони и выбраться из лесу через знакомое отверстие в ограде. Его еще не выследили. Он попытался снова уснуть, но так страдал от голода, что это ему не удалось. Около одиннадцати ему показалось, что он умирает, но то был обморок. И вот, в порыве гнева, он выскочил из своего убежища, его выгнал оттуда бешеный голод, ради куска хлеба он готов был потерять свободу и жизнь. Пробило двенадцать.

Выбравшись изо рва, он очутился на открытом пространстве, на лугах в окрестностях Миетты. Как безумный, промчался он по лугам, инстинктивно направляясь к Булони, в ту сторону, где еще можно было выбраться из леса. По счастливой случайности никто не обратил внимания на стремительно бегущего человека. Когда он наконец укрылся в чаще деревьев, ему стало ясно, какую безумную неосторожность он совершил, пустившись в бегство. Он содрогнулся, бросился на землю, спрятался в зарослях дрока и пролежал несколько минут, пока не убедился, что за ним нет погони. Потом двинулся дальше, медленно, осторожно, озираясь по сторонам, то и дело прислушиваясь, каким-то непостижимым чутьем угадывая приближение опасности. Он рассчитывал пробраться между верхним озером и скаковым полем Отейля. Но туда вела лишь одна широкая дорога, обсаженная редкими деревьями. Сальва с изумительной ловкостью прятался за стволами и за кустиками, избегая открытых мест, и лишь после тщательного осмотра окрестностей отважился перемахнуть через прогалину. Заметив вдалеке лесного сторожа, он испытал острый страх и добрых четверть часа пролежал под кустами, припав к земле. Стоило ему увидеть случайный фиакр или пешехода, ненароком забредшего сюда на прогулке, как он замирал на месте. Он вздохнул с облегчением, когда, обогнув Мортемарский холм, наконец добрался до густого леса, раскинувшегося между Булонской дорогой и Сен-Клудской аллеей. Там на большом расстоянии тянулись густые заросли, и он надеялся пробраться сквозь них к желанному выходу, который находился где-то поблизости. Он уже чувствовал себя спасенным.

Но вдруг он заметил на расстоянии каких-нибудь тридцати метров неподвижную фигуру лесного сторожа, преграждавшего ему путь. Он повернул налево и увидел другого сторожа, который неподвижно стоял, словно поджидая его. Каждые пятьдесят шагов — новый сторож. Со всех сторон сторожа, целый кордон сторожей. Как петли ловушки! На беду, его, очевидно, заметили, потому что послышался условный свист, похожий на отчетливый крик совы, и звук этот стал повторяться, замирая где-то вдалеке. Наконец охотники напали на его след. Теперь уже ни к чему осторожность. Оставалась лишь слабая надежда на быстроту ног. Он понял это и пустился во весь дух, перепрыгивая через препятствия, мелькая между деревьями и даже не опасаясь, что его увидят или услышат. В два прыжка он перескочил через Сен-Клудскую дорогу и кинулся в лес, который тянется на большом пространстве между этой дорогой и аллеей Королевы Маргариты. Там особенно густые заросли.

Нигде в Булонском лесу нет такой чащи. Летом это море зелени, и если бы уже распустились листья, ему, возможно, и удалось бы затеряться в дебрях. На минуту он остановился. Кругом — никого. Он стал с замиранием сердца прислушиваться. Больше не видно сторожей, не слышно шума погони: быть может, они потеряли его след? Деревья стояли в облаках юной зелени, и от них веяло тишиной и блаженным покоем. Но тут вновь раздался условный свист, хруст ветвей, и он снова пустился бежать без оглядки все вперед и вперед, в безумном порыве, не зная сам куда. Добежав до аллеи Королевы Маргариты, он увидел целую цепь полицейских, загородивших ему путь. Он круто повернул и, не выходя из чащи, помчался вдоль аллеи. Но теперь он удалялся от Булони и возвращался назад. У бедняги уже путались мысли. Но вот ему забрезжила надежда на спасение, последняя надежда: а вдруг ему удастся добежать до тенистой Мадридской рощи и достигнуть Сены, перебегая от одной группы деревьев к другой? Это была единственная лесная дорога к реке, иначе пришлось бы пересекать обширное открытое пространство Ипподрома и Тренировочного поля.

И он бежал, бежал. Но, достигнув Лоншанской аллеи, он не мог ее пересечь, она тоже была оцеплена. Он отказался от мысли добраться до Сены через Мадридскую рощу и сделал крюк, огибая Кателанский луг. Между тем полицейские, руководимые лесными сторожами, неуклонно приближались; он чувствовал, что кольцо преследователей все сжимается. И он ринулся вперед очертя голову, ничего не соображая, задыхаясь, перепрыгивая через бугры, скатываясь с крутых склонов, преодолевая несчетные преграды, встававшие на пути. Он продирался сквозь колючий кустарник, ломал изгороди. Раза три он падал, запутавшись ногами в проволоке оград. Свалившись в крапиву, он вскакивал на ноги и, не чувствуя ран и ожогов, продолжал свой бег, весь в крови, словно подгоняемый невидимым бичом. Как раз в это время он промчался мимо Гильома и Пьера, бросился в грязную воду ручья и перебрался на тот берег, подобно зверю, который, прыгая в реку, надеется спастись от собак. Ему пришла в голову сумасшедшая мысль: он вспомнил об островке посреди озера. Только бы туда пробраться — это будет надежное убежище! Если он доплывет до островка и его не заметят, он спрячется там и будет в полной безопасности. И он бежал, бежал. Но вот сторожа снова заставили его повернуть назад. Ему приходилось подниматься в гору, вернуться к перекрестку, он метался между озерами, и его постепенно оттесняли к крепостной стене, откуда он начал свой бег. Было около трех. Уже добрых два с половиной часа он все бежал и бежал.

Перед ним оказалась посыпанная песком аллея, предназначенная для верховой езды. Он пустился по ней стремглав, разбрызгивая грязь, образовавшуюся во время ливней. Потом он попал на дорожку, проходившую под сводами ветвей, одну из тех чудесных дорожек, где, как в колыбели, любят укрываться парочки, некоторое время он бежал по ней, чувствуя, что его никто не видит, и в нем снова зашевелилась надежда. Но дорожка вывела его на весьма опасную дорогу, широкую и прямую, где проносились велосипеды и экипажи. В эти тихие, пасмурные послеполуденные часы там катались представители высшего света. Он снова нырнул в заросли, вновь нарвался на сторожей, окончательно утратил направление и последние проблески здравого смысла. Теперь он мчался по инерции, и настигающая погоня швыряла его, как мяч, из стороны в сторону. Все мысли и чувства замерли, он испытывал лишь властную потребность бежать все дальше, все скорей. Перед ним мелькали расходящиеся во все стороны перекрестки. Он выбежал на лужайку, и внезапно его ослепил яркий свет. Но тут его спину словно обожгло жаркое дыхание погони. Его настигали ищейки и, казалось, готовы были растерзать. Раздавались крики. Чья-то рука чуть не схватила его. Совсем близко слышался топот, целая толпа устремлялась за ним в бешеном беге. Собрав все силы, он бросился куда-то в сторону, поскользнулся, вскочил на ноги, снова очутился один среди ласковой юной зелени и побежал вперед, все дальше и дальше.

Но это был конец. Он опять едва не растянулся. Ноги подгибались от усталости, из ушей шла кровь, пузырьки пены вздувались на губах. Грудь бурно поднималась и опадала, и, казалось, бешено колотившееся сердце вот-вот сломает ребра. Он обливался потом, до нитки промок в ручье, был весь облеплен грязью, ополоумел и вконец обессилел скорее от голода, чем от усталости. Его глаза уже застилал туман. Но вдруг он увидел позади какого-то шале, спрятавшегося за деревьями, отворенную настежь дверь каретного сарая. Там никого не было, кроме большого белого кота, который сразу же ударился в бегство. Сальва забился в сарай и, пробравшись между пустыми бочками, зарылся в солому. Не успел он спрятаться, как послышался топот и мимо шале промчались сломя голову полицейские и сторожа, они потеряли его след и устремились к крепостной стене. Мало-помалу затих топот сапог, и воцарилась глубокая тишина. Он прижал руки к бурно бьющемуся сердцу, стараясь его успокоить. Им овладело оцепенение, похожее на смерть, но из-под его сомкнутых век катились крупные слезы.

После краткого отдыха Пьер и Гильом двинулись дальше, намереваясь пройти мимо Каскадов, обогнуть озеро и вернуться в Нейи. Вдруг налетел ливень, и они укрылись под раскидистыми ветвями еще не одетого листвой каштана. Дождь все расходился. Но вот они увидели в глубине рощицы что-то вроде шале. То был кафе-ресторан, и братья побежали туда, спасаясь от ливня. В соседней аллее они заметили остановившийся одинокий фиакр, кучер которого, сидя на козлах, с философским спокойствием мок под весенним дождем. Пьер ускорил шаги и вдруг с удивлением заметил Жерара де Кенсака, который быстро шел впереди; как видно, он попал под дождь во время прогулки и тоже решил укрыться в ресторанчике. Потом Пьеру подумалось, что он обознался, так как он не увидел в зале молодого человека. Зал, нечто вроде застекленной веранды, уставленной мраморными столиками, был пуст. Наверху, на втором этаже, были расположены отдельные кабинеты, двери которых выходили на галерею. Кругом все было тихо. В воздухе чувствовалась сырость. Заведение только начинало работать после зимнего перерыва: из-за отсутствия посетителей такие ресторанчики стоят закрытыми с ноября по март. Позади шале находилась конюшня, каретный сарай и разные хозяйственные постройки, поросшие мхом. Этот живописный уголок имел еще заброшенный вид, но садовники и живописцы должны были привести его в порядок к летнему сезону, когда в ясные дни в ресторанчике происходят свидания и веселится гуляющая публика.

— Но мне кажется, ресторанчик еще не открылся, — проговорил Гильом, удивляясь, что в зале такая тишина.

Пьер уселся за столиком.

— Во всяком случае, нам позволят здесь переждать дождь.

Наконец появился официант. Спустившись с верхнего этажа, он стал с озабоченным видом шарить в буфете и положил на тарелку несколько черствых пирожков. Через некоторое время он подал братьям в бокальчиках шартрез.

Наверху, в отдельном кабинете, приехавшая в фиакре баронесса Ева Дювильяр уже с полчаса поджидала Жерара. Накануне на благотворительном базаре они условились, что встретятся в ресторанчике. С этим местом у них были связаны самые сладостные воспоминания: два года тому назад, в медовый месяц своей любви, они проводили здесь блаженные часы. Баронесса не решалась бывать у Жерара, и они спокойно встречались в укромном гнездышке, зная, что ранней весной в холодную погоду в ресторане всегда пусто. И теперь,

когда страсть их догорала, баронесса избрала ресторанчик для последнего свидания не только потому, что здесь никто не мог за ними подсмотреть: ей пришла в голову поэтическая мысль — вновь пережить в этой обстановке сладость первых поцелуев и, быть может, обменяться последним поцелуем. Так пленителен был этот приют, посреди аристократического парка, в двух шагах от больших аллей, где прогуливался весь Париж! Воспоминания вызвали слезы у чувствительной баронессы, томившейся в предчувствии уже близкой горестной разлуки.

Но ей хотелось бы увидеть, как в былые дни, юную листву, озаренную молодым солнцем. Пепельно-серое небо и непрекращающийся дождь наводили на нее тоску, и она зябко поеживалась. Войдя в кабинет, где стояли выцветший диван, стол и четыре стула, она в первую минуту его не узнала — там было так холодно и все краски поблекли. Здесь еще гнездилась зима, комната долго простояла запертой, давно не проветривалась, отсырела, воздух застоялся и пахло плесенью. Обои местами отклеились и свисали жалкими лохмотьями. Дохлые мухи усеяли паркет. Когда официант стал открывать жалюзи, ему пришлось помучиться со шпингалетами. Но вот он зажег газ в небольшом камине, который затапливали в подобных случаях. Пламя ярко вспыхнуло, комната стала быстро согреваться, немного повеселела и приобрела более гостеприимный вид.

Ева опустилась на стул, не поднимая с лица густого вуаля. Она была вся в черном, словно похоронила свою последнюю любовь, в черных перчатках, и только из-под черной шляпки вырывались пышные белокурые волосы, осенявшие голову, словно бледно-золотой шлем. Высокая, крепкая, она сохранила тонкую талию и великолепную грудь, и никак нельзя было подумать, что ей скоро стукнет пятьдесят. Баронесса заказала две чашки чаю. Когда вернулся официант, она неподвижно сидела с опущенным вуалем, все на том же месте. Официант принес чай и на тарелке маленькие черствые пирожки, вероятно, оставшиеся от прошлого сезона. После его ухода она продолжала сидеть в оцепенении, погружившись в грустные мысли. Она намеренно пришла на полчаса раньше назначенного срока, желая побыть некоторое время в одиночестве, чтобы немного успокоиться и не поддаться порыву бурного отчаяния. Только бы не заплакать! Она поклялась себе, что будет держаться с достоинством, говорить твердым голосом, объясняться как женщина, которая сознает свои права, но решила внимать голосу благоразумия. Она радовалась своей мужественной решимости, и ей

казалось, что она очень спокойна и даже готова покориться судьбе. Но это не мешало ей обдумывать, как встретить Жерара, как отговорить его от брака, который представлялся ей несчастьем и жестокой ошибкой.

Она встрепенулась и задрожала всем телом, когда вошел Жерар.

— Как, дорогая моя, вы уже здесь! Ведь я решил прийти на десять минут раньше срока... А вы взяли на себя труд заказать чай и дожидаетесь меня!

Он чувствовал себя очень неловко и внутренне содрогался, предвидя ужасную сцену. Но, как всегда, безупречно вежливый, он заставил себя улыбаться, делая вид, что радуется свиданию, как в золотые дни их любви.

Она встала, подняла вуаль и, глядя на него, пролепетала:

— Да, я освободилась немного раньше... Я боялась, как бы мне что-нибудь не помешало... И вот я пришла...

Он был так красив и смотрел на нее с такой неясностью, что она сразу же обо всем позабыла и потеряла голову. Куда девались все ее рассуждения и благоразумная решимость! Ею овладела безумная страсть, вся плоть ее возмутилась. Она поняла, что любит его по-прежнему и ни за что не отпустит его, не уступит другой. В неудержимом порыве она бросилась ему на шею.

— О Жерар! О Жерар!.. Я так исстрадалась! Больше не могу, не могу... Скажи мне скорей, что ты не хочешь на ней жениться, что ты не женишься на ней никогда!

Голос ее прервался, из глаз брызнули слезы. О, эти слезы! Сколько раз она клялась себе, что не будет плакать! Слезы ручьями катились из ее прекрасных глаз, невыразимая скорбь раздирала ей душу.

— Моя дочь! Боже мой! Неужели ты женишься на моей дочери?.. Она с тобой! Она в твоих объятиях, вот здесь!.. Нет, нет! Мои мучения слишком ужасны! Я не хочу этого, не хочу!

Жерара потряс этот крик, в котором звучала неистовая ревность. Ева позабыла, что она мать, она бешено ненавидела свою соперницу за ее молодость и горевала о невозвратной юности. Когда Жерар отправлялся на свидание, у него были самые благоразумные намерения: он решил честно с ней порвать, но как человек благовоспитанный надеялся успокоить ее всякими красивыми словами. Он был совсем не злой, в его натуре было много мягкости; ленивый и слабовольный, он никак не мог устоять перед женскими слезами. Он попытался ее успокоить, усадил на диван, чтобы освободиться от ее объятий. Потом заговорил, стоя перед ней:

— Слушайте, моя дорогая, будьте благоразумны. Мы с вами пришли сюда для дружеской беседы, не так ли? Уверяю вас, вы все преувеличиваете.

Но она требовала решительного ответа:

— Нет, нет, я так исстрадалась, я хочу поскорее все узнать...
Поклянись мне, что ты на ней не женишься, никогда, никогда!

Он снова сделал попытку увильнуть от прямого ответа:

— Зачем вы себя мучаете? Вы же знаете, что я вас люблю.

— Нет, нет! Поклянись мне, что ты на ней не женишься, никогда, никогда!

— Да ведь я же тебя люблю, одну тебя!

Она вновь обняла его, прижала к своей груди, стала пылко целовать его глаза.

— Это правда? Ты меня любишь? Ты любишь меня одну? Если так, то бери меня, целуй меня! Я хочу чувствовать твою любовь. Будь моим. Ведь ты навеки мой и никогда не будешь принадлежать другой.

Ева принуждала Жерара к ласкам и отдавалась ему с таким пылом, что он ни в чем не мог ей отказать, и у него тоже закружилась голова. Обессиленный, потеряв всякое достоинство, он дал ей все клятвы, какие она от него требовала, без конца повторяя, что любит ее одну и никогда не женится на ее дочери. И под конец он так низко пал, что стал ее уверять, будто эта несчастная калека внушает ему только жалость. Желая себя оправдать, он ссылался на свою доброту. Ева жадно ловила его слова, радуясь, что он испытывает к ее сопернице презрительную жалость, и стараясь себя уверить, что она останется навеки прекрасной и желанной.

Потом, разомкнув объятия, они уселись на диване, усталые и молчаливые. Оба испытывали неловкость.

— Ах, — сказала она тихо, — клянусь тебе, я совсем не для этого сюда пришла.

Они опять замолчали.

— Не хочешь ли чашку чая? — сказал Жерар, чтобы только нарушить молчание. — Он почти совсем остыл.

Но она не слушала его. Чувствуя, что объяснение неизбежно, и забывая о том, что произошло, она заговорила с удрученным видом, и в ее голосе звучали нежность и отчаяние:

— Слушай, Жерар, ведь ты не можешь жениться на моей дочери. Прежде всего, это будет отвратительный поступок, что-то вроде кровосмешения. А потом, речь идет о твоём имени, о твоём положении.

Прости меня за откровенность, но ведь все станут говорить, что ты продаешься, ты опозоришь своих родных, да и нас.

Она взяла его за руки и говорила без всякого гнева, как мать, которая приводит разумные доводы, стараясь удержать своего взрослого сына от какой-то ужасной ошибки. А он слушал, опустив голову, избегая ее взгляда.

— Подумай, Жерар, что скажут люди. Поверь, я смотрю здраво на вещи и прекрасно знаю, что между твоим, высшим, светом и нашим — пропасть. Пусть мы богаты, — деньги только расширяют эту бездну между нами. Пусть я крестилась — моя дочь по-прежнему дочь еврейки... Ах, мой Жерар, я так горжусь тобой, и для меня был бы такой удар, если бы ты уронил себя, загрязнил себя, женившись по расчету на калеке, которая недостойна тебя, которую ты не можешь любить!

Он поднял голову и бросил на нее умоляющий взгляд: ему было тяжело и хотелось избежать этого мучительного объяснения.

— Но ведь я поклялся тебе, что люблю тебя одну. Я уже поклялся тебе, что никогда на ней не женюсь! С этим покончено, и нам больше незачем терзать друг друга.

На минуту их глаза встретились и рассказали обо всем, что они замалчивали, об их усталости, об их горе. На лице Евы выступили красные пятна, и она сразу постарела. Слезы хлынули из ее воспаленных глаз и покатались по вздрагивающим щекам. Она снова заплакала, на этот раз тихонько, но, казалось, ее слезам не будет конца.

— Мой бедный Жерар! Мой бедный Жерар! Ах! Я тебе в тягость. Не возражай, я сама чувствую, что сделалась для тебя невыносимым бременем. Я встала тебе поперек дороги и окончательно испорчу твою жизнь, если буду тебя удерживать.

Он начал было протестовать, но она не дала ему говорить.

— Нет, нет! Между нами все кончено... Я дурнею, все кончено... А потом, если ты останешься со мной, у тебя ничего не будет впереди. Я ничем не могу тебе помочь, отдавая себя. Ты даешь мне все на свете, а я ничего не даю тебе взамен... А между тем пора уже тебе найти свое место в жизни. В твоём возрасте нельзя жить, не имея прочного положения, не имея своего очага, и так подло будет с моей стороны, если я стану помехой твоему счастью, вцепившись в тебя и потянув за собой на дно.

Она продолжала говорить, не отрывая глаз от Жерара, глядя на него сквозь слезы. Она знала не хуже его матери, какой он слабый, даже болезненный, несмотря на свою красивую, гордую внешность, и также

мечтала обеспечить ему мирное существование, создать такие условия, в которых он благополучно дожил бы до старости, не ведая нужды и тревог. Он так ей дорог, — неужели же ее нежное, любящее сердце не готово к самоотречению, не способно на жертву? Но у нее были и чисто эгоистические соображения: эта красивая женщина, избалованная успехом, считала, что пора подумать об отставке, незачем омрачать закат свой жизни душераздирающими драмами. И она говорила нежные слова, обращалась к нему, как к ребенку, которого хотела осчастливить, пожертвовав своим счастьем. А он неподвижно сидел с опущенными глазами и слушал ее, больше не пытаясь протестовать, довольный, что она сама решила устроить его судьбу.

— Я не сомневаюсь, — продолжала она, выступая на защиту столь ненавистного ей брака, — что Камилла даст тебе все, чего я могу тебе пожелать, все, о чем я для тебя мечтаю. Само собой разумеется, с ней тебя ждет счастливая, обеспеченная жизнь... Что касается наших отношений, — боже мой! — сколько на свете бывает таких случаев! Я не хочу оправдываться, конечно, мы поступили нехорошо, но я могу назвать двадцать семейств, где творились еще не такие дела... И потом, знаешь, я была неправа, говоря, что деньги расширяют пропасть между людьми. Напротив, они сближают людей, богатым все прощают, и ты будешь окружен завистниками, которые станут восхищаться твоей удачей и не подумают тебя осуждать.

Жерар встал и в последний раз попытался выразить свое негодование:

— Как! Неужели ты станешь теперь меня уговаривать, чтобы я женился на твоей дочери?

— Ах, боже мой, нет! Но я хочу быть благоразумной и считаю долгом тебе все это сказать. Подумай сам.

— Я уже все обдумал... Я любил тебя и сейчас люблю. И все это совершенно невозможно.

Она взглянула на него с чудесной улыбкой и стоя обвила его шею руками. Они снова прильнули друг к другу в тесном объятии.

— Какой ты добрый и милый, мой Жерар! Если бы ты знал, как я тебя люблю, как я всегда буду любить тебя, несмотря ни на что.

У нее покатались из глаз слезы, и он тоже заплакал. В приливе нежных чувств они старались оттянуть тягостную развязку, им еще хотелось надеяться на счастье. Но оба чувствовали, что брак уже заключен. Им оставалось только проливать слезы и говорить нежные слова, — жизнь шла своим чередом, и неизбежное должно было

совершиться. Оба расчувствовались при мысли, что это их последнее объятие, последнее свидание, ведь теперь будет стыдно встречаться после всего, что им стало известно, что было ими сказано. Но все же им хотелось обмануть себя, поверить, что они не порывают друг с другом, что, быть может, в один прекрасный день их губы снова сольются в поцелуе. Но в душе они знали, что пришел конец, — и оба плакали.

Отодвинувшись друг от друга, они снова увидели тесную комнату, выцветший диван и стол с четырьмя стульями. Газовое пламя посвистывало в небольшом камине, и в комнате стояла тяжелая влажная духота.

— Ну, что ж, — спросил он, — ты так и не выпьешь чаю?

Она стояла перед зеркалом и поправляла волосы.

— Ни за что! Он здесь такой отвратительный.

Когда приблизилось расставание, ею овладели тоскливые мысли, а между тем она надеялась, что сохранит об этих минутах сладостное воспоминание. Как вдруг раздался топот, громкие голоса. В доме поднялась суматоха, и Ева похолодела от ужаса. По коридору бегали, стучали в двери. Она бросилась к окну и увидела, что полицейские оцепили ресторан. Ей пришли в голову самые несуразные мысли: это дочь устроила за ней слежку или муж решил с ней развестись и жениться на Сильвиане. Это будет ужасный скандал, крушение всех ее планов! Она ожидала, побелев от волнения, а Жерар, тоже бледный, с дрожью в голосе умолял ее успокоиться, а плавное, не кричать. Но когда дверь затряслась от ударов и они услышали, что к ним ломится полицейский комиссар, волей-неволей пришлось открыть. О, какая ужасная минута! Какое смятенье и какой позор!

Внизу Пьер и Гильом около часа пережидали дождь. Они беседовали вполголоса, сидя в уголке застекленной веранды. Этот праздничный день был так мрачен, что невольно ими овладела тихая грусть. Речь шла о злополучном Николя Бартесе, и под конец братья нашли выход из положения. Они решили, что на другой день пригласят к обеду старинного друга Бартеса, Теофиля Морена, и тот сообщит вечному пленнику о новом изгнании.

— Это будет благоразумнее всего, — повторил Гильом. — Морен так его любит, он сумеет подготовить его к этому удару и, конечно, проводит до границы.

Пьер грустно смотрел, как по стеклу сбегает тонкие струйки дождя.

— Опять отъезд, опять чужбина! А на родине — одни тюрьмы! Какое безрадостное существование! Беднягу без конца травят за то, что он

посвятил свою жизнь идеалу свободы, который уже устарел, вызывает смех и гибнет вместе с ним.

Но вот снова появились полицейские и сторожа и начали рыскать вокруг ресторанчика. Им стало ясно, что они сбились со следу, и они вернулись, решив, что человек спрятался где-нибудь в этом шале. Они потихоньку окружили ресторанчик и, прежде чем начать обыск, тщательно осмотрели все вокруг, чтобы на сей раз от них не ускользнула дичь.

Заметив маневры полицейских, братья ощутили смутную тревогу. Ведь они недавно видели, как убегал тот человек. Травля продолжается, вполне возможно, что их заставят предъявить документы, раз они, на беду, попали в эту сеть. Братья переглянулись, безмолвно спрашивая друг друга, что предпринять. Их первым побуждением было встать и поскорее уйти, несмотря на дождь. Но они быстро поняли, что этим только навлекут на себя подозрения. И стали терпеливо ждать. Вскоре их внимание привлекли двое новых посетителей.

Перед рестораном остановилась виктория с опущенным верхом и отстегнутым кожаным фартуком. Оттуда сперва вышел молодой человек с чопорным и скучающим видом, а вслед за ним молодая женщина, которая звонко смеялась, — ее забавлял этот затяжной дождь. У них завязался спор: она шутливо сожалела, что они не приехали на велосипеде, а он находил, что глупо гулять, когда такой потоп.

— Но ведь надо же было, мой дорогой, куда-нибудь поехать. Почему вы не захотели повезти меня посмотреть на процессию масок?

— Ах, маски! Нет, нет, дорогая моя! Уж лучше забраться в лес, лучше окунуться в озеро!

Они вошли в ресторан. Молодую женщину веселил дождь, а юноша заявлял, что этот праздник отвратителен, Булонский лес тошнотворен, а велосипед неэстетичен. Пьер сразу же узнал маленькую принцессу Роземонду и красавца Гиацинта Дювильяра. Накануне вечером, угостив юношу чаем, принцесса оставила его у себя. Ей хотелось удовлетворить свою прихоть, пусть даже путем насилия, как поступают с женщиной. Он согласился лечь в постель рядом с ней, но не захотел заниматься этим некрасивым и грязным делом, хотя разъяренная принцесса надавала ему тумаков и даже укусила его. О, как чудовищен, как гнусен этот жест, и в результате может появиться такая омерзительная и грубая штука, как ребенок! Ну конечно, в этом отношении он был прав, — она совсем не желала ребенка. Потом он стал разглагольствовать о страстных объятиях душ, которые сочетаются духовно. Она не отказывалась, была не прочь

испробовать. Но как это сделать? Тут они снова заговорили о Норвегии и наконец порешили, что в понедельник отправятся в свадебное путешествие в Христианию в надежде, что там им удастся вступить в духовный брак. Они сожалели, что зима уже миновала, потому что лишь холодный, чистый, девственно белый снег мог служить брачным ложем при подобном союзе.

Официант, за неимением кюммеля, подал им в рюмках вульгарную анисовку. Узнав Пьера и Гильома, с сыновьями которого он учился в Кондорсе, Гиацинт наклонился к Роземонде и шепнул ей на ухо знаменитое имя. Та мигом вскочила в порыве бурного восторга:

— Гильом Фроман! Гильом Фроман, великий химик!

И устремила к нему с протянутыми руками.

— Ах, сударь, простите мою несдержанность! Но я непременно должна пожать вам руку... Я так вами восхищаюсь! У вас такие замечательные работы о взрывчатых веществах!

Видя изумление химика, она расхохоталась, как девчонка:

— Я принцесса де Гарт. Господин аббат, ваш брат, меня знает, и я могла бы попросить его, чтобы он представил вам меня... Впрочем, у нас с вами есть общие знакомые, например, Янсен, очень интересный человек, он обещал привести меня к вам, и я надеялась стать вашей покорной ученицей... Я занималась химией, о, поверьте, только из любви к истине и с самыми благими намерениями! Не правда ли, учитель, ведь вы позволите мне побывать у вас, как только я вернусь из Христиании? Я отправляюсь в путешествие со своим юным другом в чисто познавательных целях, чтобы испытать еще не изведенные чувства.

Она болтала без умолку, не давая никому и рта раскрыть. Она сваливала все в одну кучу, щебетала о своей страсти к интернационализму, благодаря которой она спуталась с Янсеном и якшалась с самыми подозрительными из анархистов; о своем последнем увлечении таинственными часовнями; о торжестве идеализма над низменным материализмом; о поэзии современных эстетов, начитавшись которой она мечтала испытать еще неведомые ей восторги в ледяных объятиях красавца Гиацинта.

Но вдруг она прервала свои излияния и снова расхохоталась:

— Смотрите-ка! Чего ищут здесь эти полицейские? Уж не нас ли собираются они арестовать? О, вот было бы забавно!

И действительно, комиссар полиции Дюпо и агент Мондезир, после бесплодных поисков в конюшне и каретном сарае, решили войти на веранду и обыскать ресторан. Они были совершенно убеждены, что

беглец находится именно здесь. Дюпо, маленький худенький человечек в очках, лысый как колесо и крайне близорукий, как всегда, вошел со скучающим, усталым видом. А между тем он был весь внимание и таил в себе несокрушимую энергию. Комиссар не взял с собой оружия, но так как затравленный волк мог оказать яростное сопротивление, он посоветовал Мондезиру положить в карман заряженный револьвер. Мондезир, кряжистый, с квадратной физиономией дога, жадно нюхавший воздух своим вздернутым носом, из уважения к начальству должен был пропустить Дюпо вперед.

Комиссар живо оглядел сквозь очки всех сидевших в ресторане — священника, даму и двух остальных, — эти люди не привлекли его внимания. Отвернувшись от них, он уже хотел подняться на второй этаж, когда официант, перепуганный внезапным вторжением полиции, растерянно пробормотал:

— А ведь там, наверху в кабинете, господин с дамой.

Дюпо равнодушно отстранил его.

— Господин с дамой, — они нам не нужны... Ну, живо! Отпирайте все двери! Открывайте настежь все до одного шкафы.

Полицейские обшарили все комнаты, заглянули во все закоулки. Но кабинет, где находились Ева и Жерар, официант не мог отпереть, так как дверь изнутри была заперта на задвижку.

— Открывайте! — крикнул в скважину официант. — Это не вас ищут!

Наконец дверь отворилась, из нее вышли дама с господином, бледные от волнения, и стали спускаться по лестнице. Дюпо не позволил себе при этом ни малейшей улыбки, а Мондезир, войдя в кабинет, для очистки совести, заглянул под стол, за спинку дивана и в стенной шкафчик.

Внизу Ева и Жерар должны были пройти через веранду, и тут, к своему ужасу, они увидели любопытные лица знакомых, по странной случайности оказавшихся здесь. Лицо Евы скрывал густой вуаль, но все же она встретилась взглядом со своим сыном и почувствовала, что он ее узнал. Какой злой рок! Этот болтун обо всем докладывает сестре, которая командует им и держит его в страхе и трепете. Они ускорили шаги. Расстроенный скандальным происшествием граф повел ее под проливным дождем к фиакру, и, уже выходя из ресторана, они услышали смеющийся голосок маленькой принцессы Роземонды:

— Да ведь это граф де Кенсак! А дама, скажите, кто же эта дама?

Гиацинт слегка побледнел и не хотел отвечать.

— Да ну же, — настаивала она, — вы должны знать эту даму. Кто она?

— Да никто, — процедил он в ответ. — Какая-то женщина.

Пьер все понял. Ему было тяжело смотреть на этих опозоренных и страдающих людей, и он повернулся к брату. Не обнаружив наверху беглеца, комиссар Дюпо и Мондезир спускались по лестнице, когда сцена вдруг резко изменилась. Снаружи послышались крики, топот, там происходила какая-то свалка. Потом появился начальник сыскной полиции Гаскось, взявший на себя обыск служебных помещений ресторана. Он подталкивал перед собой невообразимую кучу лохмотьев и грязи, которую волокли двое полицейских. Это и был беглец, затравленный зверь, наконец схваченный ими, обнаруженный в глубине каретного сарая в бочке под сеном.

О, какое торжествующее улюлюканье подняли полицейские, отдувавшиеся после двухчасовой бешеной гонки и оттоптавшие себе ноги! Охота за человеком, самая захватывающая и свирепая в мире. Беглеца схватили, его толкали, волокли, осыпали ударами. И что за жалкая это была дичь: тень человека, существо с серым, землистым лицом, просидевшее ночь в яме, заваленной листьями, вымокшее по пояс в ручье, исхлестанное дождем, облепленное грязью, в изодранной одежде и растерзанной кепке, с руками и ногами, до крови исцарапанными во время сумасшедшего бега по зарослям, среди колючего кустарника и крапивы! Он потерял сходство с человеком; пряди мокрых волос прилипли к вискам, налитые кровью глаза выступали из орбит, изможденное лицо судорожно подергивалось и казалось трагической маской ужаса, гнева и страдания. Это был человек в образе зверя. Ему снова дали пинка, и он упал на столик ресторанчика. Но грубые руки не отпускали его и то и дело встряхивали.



Внезапно

Гильом вздрогнул, помертвев от ужаса. Он схватил за руку Пьера, который, уразумев, в чем дело, тоже содрогнулся. Сальва! О, боже! Этот человек оказался Сальва! Это Сальва мчался на их глазах по лесу, словно кабан, преследуемый сворой псов. Это Сальва, сломленный напастями бунтарь, свалился на стул, как грязный мешок. У Пьера мучительно сжалось сердце, и вновь перед глазами его встал образ девочки на побегушках, хорошенькой блондинки, лежавшей под аркой особняка Дювильяров с разорванным животом.

Дюпо, Мондезир и Гасконь торжествовали. Между тем беглец не оказал ни малейшего сопротивления и отдался им в руки с кротостью ягненка. И сейчас, когда его грубо дергали и толкали для вящей острастки, он смотрел на своих врагов бесконечно усталыми и печальными глазами.

Вдруг он сказал тихо, хриплым голосом:

— Я голоден.

Это были его первые слова.

Он умирал от голода и усталости, ведь он ничего не ел больше двух суток и лишь накануне вечером выпил стакан пива.

— Дайте ему кусок хлеба, — приказал комиссар Дюпо официанту. — Пускай поест, а мы тем временем раздобудем фиакр.

Один из полицейских отправился на поиски экипажа, Дождь прекратился. Из парка донесся тонкий звонок велосипеда; вновь показались коляски. Булонский лес ожил, на его широких аллеях, позолоченных бледными лучами солнца, продолжалось гулянье светской публики.

А пленник с жадностью набросился на хлеб, и на лице его отразилась животная радость насыщения. Во время еды взгляд его встретился со взглядами посетителей ресторана. По-видимому, в нем вызвали раздражение Гиацинт и Роземонда, которые смотрели на него с любопытством и были в восторге, что присутствуют при аресте несчастного, которого принимали за какого-то бандита. Но вот в его печальных воспаленных глазах вспыхнул огонек. С удивлением он узнал Пьера и Гильома. Теперь он не отрывал взгляда от ученого, и на его лице можно было прочесть собачью преданность, благодарность и обет строгого молчания.

Сальва снова заговорил с какой-то мужественной решимостью. Казалось, он обращался к человеку, от которого уже отвел взгляд, и к товарищам, которых не было в зале:

— Глупо было удирать... Я и сам не знаю, почему я удирал... Ах, поскорей бы это кончилось! Я ко всему готов.

V

На следующее утро Гильом и Пьер, читая газеты, очень удивлялись, что в прессе не было поднято шума в связи с арестом Сальва. Они нашли в разделе новостей лишь маленькую заметку, где говорилось, что в результате облавы, произведенной в Булонском лесу, полицией схвачен некий анархист, которого подозревают в террористических актах. Напечатанные в «Голосе народа» разоблачения Санье вызвали невероятную сенсацию, и газеты кричали только об этом: целый поток статей, посвященных делу Африканских железных дорог, всевозможные

рассказни и предположения по поводу предстоявшего в этот день заседания парламента, которое обещало быть очень бурным, если Меж, депутат-социалист, подаст свой запрос, о чем он и сделал заявление по всей форме.

Гильом еще накануне хотел вернуться к себе на Монмартр. Рана его зарубцевалась, гроза, очевидно, миновала, и он мог спокойно осуществлять свои замыслы и продолжать свои работы. Полицейские прошли мимо него, даже не подозревая, что он имеет отношение к делу. Кроме того, Сальва, конечно, не станет его выдавать. Но Пьер стал умолять брата подождать еще два-три дня, пока пройдут первые допросы и окончательно выяснится положение вещей. Накануне, во время длительного ожидания в приемной министра, он уловил обрывки фраз, кое-какие намеки, понял, что существует некая тайная связь между покушением и парламентским кризисом, и ему хотелось, чтобы Гильом вернулся к своему обычному образу жизни лишь после того, как разразится кризис.

— Знаешь что, — сказал он брату, — я зайду к Морену и приглашу его к обеду, потому что необходимо сегодня же вечером сообщить Бартесу об этом новом ударе... Затем я отправлюсь в парламента, мне надо там многое узнать. И через несколько дней я отпущу тебя домой.

Пьер пришел в Бурбонский дворец в половине второго. Он надеялся, что Фонсег велит пропустить его на заседание. Но в вестибюле он повстречался с генералом де Бозонне, у которого оказалось два пригласительных билета, так как в последнюю минуту его приятель сообщил, что не может прийти. Любопытство парижан было до крайности возбуждено: газеты объявили, что предстоит бурное заседание, еще со вчерашнего дня билеты так и вырывали друг у друга из рук. Пьеру ни за что бы не попасть на заседание, если бы не любезность генерала, к тому же и сам старик радовался, что ему будет с кем поболтать. Он сообщил Пьеру, что решил провести вторую половину дня в парламенте; ему было безразлично, где убивать время, здесь ли, на спектакле, в концерте или на благотворительном базаре. Он собирался также дать волю своему негодованию, позлорадствовать, лишний раз убедившись в постыдной низости парламентской системы. Из легитимиста он в свое время стал бонапартистом, пережил двойное крушение всех своих надежд, и теперь ему оставалось только брюзжать.

В зале Пьеру и генералу удалось добраться до передней скамьи галереи. Там они увидели маленького Массо, который охотно потеснился и посадил их справа и слева от себя. Он знал здесь решительно всех.

— Я вижу, господин генерал, вам любопытно посмотреть, что будет здесь происходить. А вы, господин аббат, пришли сюда поупражняться в терпимости и в искусстве прощать обиды. Ну, а я по своей профессии обязан быть любопытным. Перед вами человек, который ищет тему для статьи. На трибуне журналистов все хорошие места оказались уже занятыми, и вот мне удалось здесь недурно устроиться... Что и говорить, громкое будет заседание! Смотрите, смотрите, сколько здесь народу справа, слева, везде!

И в самом деле, узкая, дурно построенная галерея была переполнена. Там теснились женщины и мужчины всех возрастов; фигуры их сливались в какую-то смутную массу, в которой выделялись только светлые пятна лиц. Действие должно было происходить внизу, в еще пустом зале заседаний, где полукругом расположены были сиденья, совсем как в зрительном зале театра, который медленно наполняется публикой в день премьеры. В холодном свете, лившемся сквозь стеклянный потолок, поблескивала торжественная ораторская трибуна, а позади нее, на возвышении, вдоль задней стены, стояли столы президиума, стулья и председательское кресло. Там тоже было пусто, только двое служителей заготавливали перья и проверяли чернильницы.

— Женщины, — продолжал, смеясь, Массо, — приходят сюда, совсем как в зверинец, с тайной надеждой, что дикие звери сожрут друг друга... А вы читали статью в утреннем выпуске «Голоса народа»? Удивительный тип этот Санье! Когда ему не хватает нечистот, он ухитряется их разыскать. Он сам разводит все новую грязь, харкает и добавляет мерзостей в клоаку. Если в своих сообщениях он не слишком искажает факты, то в своих комментариях ухитряется наврать с три короба и плодит чудовищных ублюдков.

Каждый день он старается превзойти самого себя, преподносит читателям все новую отраву, чтобы повысить тираж своей газеты... И, естественно, это взвинчивает публику; ведь благодаря ему собрались такие толпы, у всех взбудоражены нервы, все предвкушают какую-то грязную комедию.

Потом с веселой улыбкой он спросил Пьера, прочел ли тот в «Глобусе» анонимную статью, написанную в весьма благородном тоне, но в то же время весьма коварную, где требуют от Барру, чтобы он со всей правдивостью высказался по вопросу об Африканских железных дорогах и дал объяснения, которых страна ждет от него. До сих пор газета откровенно поддерживала председателя совета. Но из этой статьи видно было, что от него уже отворачиваются, чувствовался холодок, всегда

предшествующий разрыву. Пьер выразил свое удивление по поводу этой статьи: ему казалось, что Фонсег тесно связан с Барру общностью взглядов и узами старинной дружбы.

— Уж конечно, — с усмешкой продолжал Массо, — у моего патрона сердце обливалось кровью. Статья произвела сильное впечатление и немало повредит кабинету. Но что поделаешь? Мой патрон знает лучше всех, какой линии поведения держаться, чтобы спасти свою газету, да и себя самого.

И он рассказал, какое необычайное волнение и тревога царят в переполненных депутатами кулуарах, где он некоторое время потолкался, прежде чем, поднявшись сюда, поискать себе места. После двухдневного перерыва парламент собрался в момент, когда вновь разгорелся этот чудовищный скандал, подобно пожару, который, кажется, совсем погас, по вдруг вспыхивает с новой силой, истребляя все вокруг. У всех на устах были цифры, указанные в списке Санье: Барру получил двести тысяч, Монферран — восемьдесят, Фонсег — пятьдесят, Дютейль — десять, Шенье — три, а такие-то лица — столько-то! Разоблачениям нет конца. И тут же самые невероятные истории, сплетни, клевета, невообразимая смесь правды и лжи, чудовищная неразбериха! Свирепствует паника; там и сям — бледные лица, дрожащие губы, и тут же багровые физиономии, глаза, горящие дикой радостью, торжествующие ухмылки. Ведь, в сущности говоря, этим показным негодованием и декламацией на тему о нравственной чистоте, возвышенной морали членов парламента хотят прикрыть узко личные интересы, и всякий жаждет узнать, будет ли свергнут кабинет и какие новые министры придут к власти. Барру как будто уже обречен, но в такой заварухе всегда могут быть неожиданности. Предполагают, что Меж станет с пеной у рта громить противников, Барру, конечно, ему ответит; его друзья говорят, что он пылает гневом, что намерен выложить всю правду и привести все в ясность. Уж наверно после него речь возьмет Монферран. Что до Виньона, то он старается скрыть свою радость и умышленно держится в стороне; люди видели, как он то и дело переходит от одного сторонника к другому, советуя им соблюдать спокойствие и хладнокровие, которые всегда обеспечивают победу в сражении. Какая ужасающая кухня ведьмы, где на адском огне кипит котел с ядовитыми зельями, со всякими омерзительными снадобьями!

— Тут сам черт ногу сломит! — заключил Массо. — Вот уж грязная стряпня! Посмотрим, что из всего этого получится.

Генерал де Бозонне ожидал самых страшных катастроф. Будь еще под руками порядочная армия, тогда можно было бы в один прекрасный день смести с лица земли эту кучку продажных парламентских крикунов, которые разоряют и растлевают страну. Он считал, что Франции приходит конец, так как вместо армии у нее есть лишь вооруженный народ. Оседлав своего конька, он пустился в горькие рассуждения. Отставной генерал, преданный душой старому режиму, сетовал и возмущался новыми порядками.

— Вы ищете тему для статьи, — обратился он к Массо, — так вот вам тема! Во Франции больше миллиона солдат, но нет армии. Я сообщу вам данные, и вы скажете наконец правду.

Он завладел журналистом и принялся его наставлять. В стране должна существовать каста военных; облеченные божественной властью вожди должны вести в бой войско, состоящее из наемников и вообще из отборных солдат. Демократизировать армию — значит ее уничтожить. Старый герой оплакивал армию, убежденный, что военное дело единственная благородная профессия. Теперь, когда все и каждый обязаны воевать, никто воевать не желает. С введением всеобщей воинской повинности народ призван под ружье, и рано или поздно это неизбежно положит конец войнам. Если с 1870 года не было ни одной войны, то лишь потому, что все готовы к бою. И теперь всячески избегают столкновения вооруженных народов, помышляя о том, какие это вызовет разрушения, какие чудовищные расходы и кровопролитие. Европа, превратившаяся в гигантский укрепленный лагерь, внушала ему ненависть и отвращение. Он был убежден, что в случае войны враги истребят друг друга в первой же битве, и тосковал о прежних войнах, которые были чем-то вроде охоты на горах и в лесах, охоты, полной захватывающих приключений.

— Но разве это уж такая беда, — мягко заметил Пьер, — если придет конец войне?

Генерал начал было раздражаться:

— Нечего сказать, хороши будут народы, если они перестанут воевать!

Потом он пустился в экономические соображения:

— Имейте в виду, что на военные цели раньше никогда не расходовали таких огромных сумм, какие тратят с тех пор, как война стала невозможной. Этот вооруженный мир и всеобщая воинская повинность попросту разоряют страну. Если мы не будем разгромлены, то нас наверняка ожидает банкротство... Во всяком случае, военное

сословие не может существовать в стране, где ему нечего делать. Люди теряют веру. Настоящих военных будет становиться все меньше, как в наши дни духовных лиц.

Он выразил жестом свое отчаяние. Старый вояка готов был проклясть этот парламент, эту республиканскую палату, возлагая на нее ответственность за грядущие дни, когда солдат будет только гражданином.

Маленький Массо покачивал головой, очевидно, находя, что это слишком серьезная для него тема. Он прервал излияния генерала, воскликнув:

— Смотрите! Монсеньер Март *a* рядом с испанским послом на трибуне дипломатов! Вы знаете, в Морбигане отвергают его кандидатуру. Он слишком хитер, чтобы пожелать звания депутата: это может его скомпрометировать, а он и без того держит в руках все нити политики, и под его дудку пляшет большинство католиков, поддерживающих республиканское правительство.

Пьер уже заметил сдержанно улыбавшегося монсеньера Март *a*, который накануне был так очаровательно любезен с ним в приемной министра. И ему еще тогда пришло в голову, что этот епископ, с виду такой смиренный, играет какую-то значительную роль. Чувствовалось, что это весьма влиятельный деятель, хотя он сидел неподвижно, с безобидным видом, как один из любопытных, пришедших посмотреть на это зрелище. Пьер то и дело посматривал на прелата, словно ожидая, что тот вдруг возьмется за дело и начнет управлять людьми и событиями.

— А, вот и Меж!.. — опять воскликнул Массо. — Сейчас начнется заседание.

Зал мало-помалу наполнялся. В дверях появлялись все новые депутаты и затем спускались вниз по узким проходам. Многие оставались стоять и оживленно разговаривали, внося в зал лихорадочное волнение, царившее в кулуарах. Другие уже сидели; у них были серые, удрученные лица, и они поднимали глаза вверх, к мутно белевшему в потолке витражу в форме полумесяца. И без того облачная погода после полудня совсем испортилась, и торжественный зал со своими тяжелыми колоннами и холодными аллегорическими изваяниями стал еще мрачнее в тусклом, мертвенном свете. Его голые стены, облицованные мрамором и полированным деревом, придавали ему особенно строгий вид, лишь чуть оживлял красный бархат скамеек и трибун.

Массо принялся называть по имени каждого из входивших видных депутатов. Меж беседовал с одним из маленькой группы социалистов и

яростно жестикулировал. Потом появился Виньон, окруженный друзьями, с притворным спокойствием и деланной улыбкой, и начал спускаться с яруса на ярус, направляясь к своему месту. Но зрители на галерее с нетерпением ожидали появления скомпрометированных депутатов, тех, чьи имена красовались в списке Санье. Этих субъектов было особенно интересно наблюдать, одни держали себя с какой-то мальчишеской развязностью, прикидываясь, что у них легко на душе; другие, напротив, принимали суровый, негодующий вид. Шенье вошел нетвердой походкой, нерешительно, словно раздавленный чудовищной несправедливостью. В противоположность ему, Дютейль, как всегда, улыбался своей красивой безмятежной улыбкой и казался совершенно спокойным. Только временами у него нервно подергивались губы в тревожной гримасе. Но больше всего восхищались Фонсегом, который уже вполне овладел собой: у него было такое ясное лицо, такой открытый взгляд, что все его коллеги и плазевшая на него публика могли поклясться в его невинности, до того честной казалась физиономия этого человека!

— О, этот патрон! — в восторге прошептал Массо. — Он неподражаем!.. Внимание! Вот и министры. Смотрите не прозевайте встречу Барру с Фонсегом после утренней статьи.

Барру вошел очень бледный, с высоко поднятой головой и почти вызывающим видом, и направился к креслам министров. Случилось так, что он прошел мимо Фонсега. Министр не сказал ему ни слова, но пристально поглядел на него, как смотрят на изменника, на человека, нанесшего исподтишка тяжелый удар. А тот, не теряя самообладания, пожимал налево и направо руки, словно не замечал этого тяжелого, давящего взгляда. Впрочем, он притворился, что не заметил и Монферрана, который шел вслед за Барру с самым добродушным выражением лица, словно ничего не знал и спокойно явился на рядовое заседание. Усевшись на свое место, он поднял голову и улыбнулся монсеньеру Март *a*, который ответил ему легким кивком головы. Потом, чувствуя, что владеет собой и другими, радуясь, что все складывается так, как ему хотелось, он начал привычным жестом тихонько потирать руки.

— А кто этот sereneкий, унылый господин, там, на одном из министерских кресел? — спросил Пьер своего соседа.

— А! Это милейший Табуру, министр народного просвещения, который не слишком-то пользуется престижем. Кто его не знает! Но его никогда не узнают: он похож на старый, стертый грош... Этот тоже, уж верно, не пылает нежностью к моему патрону, ведь нынче утром в «Глобусе» появилась статейка, написанная в довольно умеренном тоне,

но от этого еще более убийственная, где говорится, что он не имеет ни малейшего отношения к изящным искусствам. Меня очень удивит, если он уцелеет.

Но вот глухой рокот барабанов возвестил о прибытии председателя и президиума. Распахнулась дверь, и маленькая процессия проследовала на эстраду. По амфитеатру прокатился гул голосов, раздались выкрики и топанье. Председатель, стоя у стола, зазвонил в колокольчик и объявил заседание открытым. Но в зале не смолкал шум, пока секретарь, долговязый черноволосый малый, читал зычным голосом повестку дня. Она была принята, и были прочитаны письма с извинениями. Затем поспешно поднятием рук проголосовали какой-то незначительный законопроект. Когда, наконец, перешли к столь нашумевшему запросу Межа, амфитеатр содрогнулся от волнения, и страстное любопытство изобразилось на лицах зрителей, теснившихся на галерее. Поскольку запрос был принят правительством, парламент постановил, что обсуждение начнется сразу же. В зале воцарилось глубокое безмолвие. Лишь временами по рядам депутатов и публики пробегал трепет, выдававший страх, ненависть, вожделения — все разнузданные аппетиты алчной своры.

Поднявшись на кафедру, Меж начал свою речь в нарочито сдержанном тоне и сразу же твердо поставил вопрос. Длинный, тощий, искривленный, как высохшая виноградная лоза, он стоял, сутулясь, опершись руками на кафедру, и его речь то и дело прерывал глухой кашель — его уже давно подтачивал медленно текущий туберкулез. Но глаза его яростно сверкали сквозь стекла очков, а резкий, крикливый голос, звуча все громче, оглушительно гремел. Его длинная нескладная фигура выпрямилась, бешено жестикулируя. Оратор напомнил собранию, что еще около двух месяцев назад, когда «Голос народа» начал свою кампанию разоблачений, он, Меж, заявил о своем намерении подать запрос правительству относительно злополучного дела об Африканских железных дорогах. Если бы парламент, справедливо заметил Меж, по каким-то таинственным соображениям не отсрочил его запроса, то уже давным-давно добились бы полной ясности и не разгорелась бы такая скандальная кампания разоблачений, от которой тошнит парижан. Но теперь всякий понимает, что дольше молчать невозможно, и двое министров, которым брошено в лицо обвинение в измене своему долгу, должны дать ответ, доказать свою полную невиновность, пролить яркий свет на этот вопрос; не говоря уже о том, что парламент в целом не может потерпеть обвинения в постыдной подкупности. И Меж повторил всю эту

историю: концессия на сооружение Африканских железных дорог, полученная банкиром Дювильяром, затем пресловутый выпуск выигрышного займа, который был принят большинством голосов, причем, если верить обвинителям, этому предшествовала целая эпидемия купли-продажи, подкупов представителей парламента. Оратор воспламенился и начал сыпать яростной бранью, когда заговорил о таинственном Гюнтере, который вербовал депутатов в пользу Дювильяра и которому полиция позволила удрать, а сама тем временем усиленно выслеживала депутатов-социалистов. Ударяя кулаком по кафедре, он требовал, чтобы Барру, за которым в списке числится двести тысяч, категорически опроверг возводимое на него обвинение, доказав, что он не получил ни одного сантима. Тут раздались голоса, требующие, чтобы Меж огласил этот список. Он хотел было его зачитать, но с другой стороны бешено завопили, что это подлость, что нельзя оглашать во французском парламенте подобный документ, начиненный ложью и клеветой. Меж продолжал свою речь, захлебываясь от гнева, смешивая Санье с грязью. Он решительно отмежевывался от оскорбителей, но требовал справедливого возмездия: если найдутся среди его коллег продажные души, то их надо в этот же вечер отправить на ночлег в тюрьму Мазас!

Стоя на монументальной трибуне, председатель звонил без конца, но был не в силах водворить тишину; он походил на лоцмана, который в бурю потерял управление кораблем. В этом море багровых орущих лиц только физиономии приставов сохраняли подобающее им строгое, бесстрастное выражение. Когда на минуту затихал шторм, вновь слышался голос оратора. Меж внезапно переменял тему и начал противопоставлять милое его сердцу коллективистское общество будущего преступному капиталистическому обществу, порождающему такие мерзости. Им овладел пыл проповедника, апостола, который упорно и неуклонно стремится переделать мир, согласно своей вере. Коллективизм стал для него священной доктриной, догматом, без которого невозможно спасение. В недалеком будущем наступит эта, предсказанная им эра. Он ожидал ее со счастливой улыбкой, не сомневаясь, что ему остается только свергнуть этот кабинет, потом, быть может, еще один, и он сам захватит власть и выступит в роли реформатора, водворяющего мир среди народов. Этот сектант (как его называли социалисты других толков) обладал темпераментом диктатора. Под конец Межа стали слушать: его пламенная, напористая риторика заставила всех замолчать. Когда он соблаговолил наконец покинуть трибуну, на скамьях левого крыла прокатилась буря аплодисментов.

— Знаете, — обратился Массо к генералу, — на днях я встретил его в Ботаническом саду, он гулял там со своими тремя детишками. Он присматривал за ними совсем как старая нянька... Это очень славный человек, и, говорят, он всячески старается скрыть свою бедность.

Но вот снова по залу пробежал трепет: Барру встал и поднялся на трибуну. Выпрямившись во весь свой рост, он привычным движением откинул голову назад. Его красивое, гладко выбритое лицо, которое слегка портил слишком маленький нос, приняло выражение какого-то надменного и чуть грустного величия. Первым делом он выразил скорбь и негодование. Сопровождая свою пышную, цветистую речь театральными жестами, он говорил с пылом романтического трибуна, чувствовалось, что это честный человек, с нежной душой, но немного глуповатый. Однако сейчас он был глубоко взволнован, и его слова дышали непритворным чувством, ибо сердце его разрывалось: он переживал роковой перелом своей судьбы, и ему казалось, что вместе с ним рушится целый мир. Он с трудом сдерживал готовый у него вырваться вопль отчаяния, вопль гражданина, которого осыпают пощечинами и выбрасывают за борт теперь, когда его, казалось бы, все должны прославлять за проявленную им гражданскую доблесть. Еще в дни империи отдаться телом и душой республике, бороться за нее, терпеть гонения, затем основать ее после всех ужасов войны за родину и гражданской войны, все время преодолевая сопротивление враждебных партий, — и теперь, когда она наконец восторжествовала, обрела силы жизни и несокрушимую мощь, вдруг ощутить себя в ней как бы чужестранцем, выходцем из иного века, слышать, как выступившие на сцену новые деятели говорят другим языком, отстаивают другой идеал, присутствовать при гибели всего, что дорого твоему сердцу, всего, что ты свято чтить, всего, что давало тебе силу побеждать! Уже больше нет на свете могучих деятелей былых времен! Гамбетта хорошо сделал, что умер. И с какой горечью в сердце старики, еще оставшиеся в живых, смотрят на окружающую их молодежь, умную и проницательную, которая тихонько улыбается, считая их романтиками старого толка! Все рушилось, поскольку оказалась несостоятельной сама идея свободы. Свобода уже не является высшим благом, основанием той республики, за которую они так долго боролись и которой принесли такие жертвы!

Очень искренне, с большим достоинством Барру во всем признался. Республика для него ковчег завета, и когда она в опасности, все средства хороши для ее спасения. И он откровенно рассказал все как было: банк Дювильера отпускал крупные суммы на прессу, которые доставались

оппозиционным газетам, между тем как республиканские газеты получали жалкие гроши. Как министр внутренних дел, он, Барру, в то время ведал прессой, и хорош был бы он, если бы не постарался восстановить должное равновесие, чтобы враги правительства не усилились сверх всякой меры! К нему со всех сторон протягивались руки, чуть ли не двадцать газет, самых достойных, самых преданных республике, требовали своей законной доли. И он не оставил их без поддержки, распределил между ними те двести тысяч франков, которые в списке числятся за ним. Ни одного сантима не прилипло к его рукам! Никто не смеет усомниться в его бескорыстии — довольно его честного слова! В эту минуту Барру был поистине величествен и достоин восхищения. Все исчезло — надутая посредственность, дешевый пафос, — на трибуне стоял честный человек, с трепетом обнажавший свою душу, с болью в сердце открывавший всю правду, сознававший с горечью и тоской, что он не получит награды за понесенные им труды.

И в самом деле, его речь была встречена ледяным молчанием. Наивный Барру, ожидавший, что республиканский парламент восторженно примет его заявление и превознесет его за спасение республики, мало-помалу стал ощущать холодное веяние, долетающее до него из зала. Внезапно он почувствовал, что он бесконечно одинок, что его карьера кончена и его уже коснулось дыхание смерти. Все внутри его рушилось, и разверзалась могильная пустота. Однако он продолжал свою речь среди гробового молчания, с мужеством человека, который сознательно идет на гибель и хочет умереть стоя из любви к благородной выразительной позе. Его конец был последним красивым жестом. Когда он спустился с кафедры, холод в зале еще усилился; не сорвалось ни единого хлопка. Он допустил еще одну неловкость, сделав намек на тайные интриги, которые ведет Рим и духовенство с целью вновь завладеть потерянными позициями и в не столь отдаленном будущем восстановить монархию.

— Ну и дурак! Разве можно признаваться! — прошептал Массо. — Крышка ему, а с ним и всему кабинету.

И вот среди ледяного безмолвия на трибуну быстро вошел Монферран. У всех присутствующих было тяжело на душе: они испытывали смутный страх, который всегда возбуждают откровенные признания. У многих вызвали глухой протест не вполне оправданные компромиссы, неизбежные в политике, а подкупленные депутаты в ужасе чувствовали себя на краю бездны. И все вздохнули с облегчением, когда Монферран с места в карьер стал решительно отрицать свою вину. Он

ударял кулаком по кафедре и бил себя в грудь, крича о своей поруганной чести. Кряжистый, низкорослый, он вскидывал кверху свой толстый чувственный нос, характерный для честолюбца, и так ловко скрывал свое коварство под маской грубоватого простодушия, что им можно было залюбоваться. Он отрицал решительно все. Он даже не имел понятия, какие это восемьдесят тысяч франков значатся за ним в списке, и отважно бросал вызов всем и каждому, предлагая доказать, что он получил хоть одно су. Он так и кипел, так и бурлил от негодования и отрицал не только свою вину, но и вину депутатов, утверждая, что французский парламент за все время своего существования ни разу не опозорил себя подобным образом, что ни один избранник народа не способен продать свой голос, ибо это было бы самым невероятным, самым чудовищным из преступлений, когда-либо совершенных на земле! Раздались аплодисменты. Ободрившись, стряхнув давящий кошмар, палата восторженно его приветствовала.

Между тем с левого крыла, где сидела небольшая группа социалистов, послышались гневные крики и свист. Монферрану предлагали дать разъяснения по делу Африканских железных дорог. Ему напомнили, что он был на посту министра общественных работ, когда голосовали за выпуск акций. Пусть теперь, будучи министром внутренних дел, Монферран сообщит, что он намерен предпринять в связи с этими разоблачениями, дабы успокоить совесть французов. Он ловко увернулся от прямого ответа, заявив, что, если будут обнаружены виновные, они, конечно, понесут наказание; он знает свой долг, и нечего ему об этом напоминать. Потом внезапно с беспримерной энергией и самообладанием он разыграл еще накануне подготовленную сцену. Он никогда не забывает о своем долге, он старый преданный солдат и неустанно служит своему народу, проявляя бдительность и благоразумие. Его обвиняли здесь в том, что полиция по его указанию занималась какой-то там гнусной слежкой и позволила удрать пресловутому Гюнтеру. Так вот, сейчас он может сказать, что сделала накануне по его указанию эта подвергшаяся клевете полиция, что она совершила, восстанавливая справедливость и порядок. Накануне в Булонском лесу она арестовала самого страшного из злодеев, человека, совершившего покушение на улице Годо-де-Моруа, рабочего-механика, анархиста Сальва, которого уже больше полутора месяцев тщетно разыскивали по всему городу. Вчера вечером от этого негодяя добились полного признания, и он вскоре понесет заслуженную кару. Наконец-то будет смыто оскорбление, нанесенное общественной морали! Пришел конец террору, так долго

свирепствовавшему в Париже! Анархии нанесен смертельный удар! Вот что сделал ради чести и блага родины он, министр, пока мерзкие хулиганы тщетно пытались облить его грязью, включив его имя в постыдный список, сфабрикованный самыми подлыми политиками!

Все присутствующие слушали его, оцепенев и содрогаясь от ужаса. Этот свалившийся с неба арест, о котором не говорилось ни в одной из утренних газет, этот легендарный злодей Сальва, закоренелый преступник, преподнесенный им в подарок Монферраном, вся эта искусно разыгранная сцена потрясла палату и показалась развязкой чересчур затянувшейся драмы. Глубоко взволнованные и польщенные слушатели устроили продолжительную овацию оратору, который по-прежнему себя прославлял, распространяясь о проявленной им энергии, о спасении общества, о справедливом возмездии за преступление, обещая всегда и везде твердо и властно охранять порядок в стране. Он покорила даже правое крыло, когда в конце своей речи, отмежевываясь от Барру, сделал реверанс в сторону католической партии, призывая представителей различных вероисповеданий тесно сплотиться против общих врагов, свирепых социалистов, которые грозят все разрушить.

Когда Монферран сходил с трибуны, он чувствовал, что его маневр удался, что он вывернулся из беды. Вся палата аплодировала, и правое и левое крыло, и в громе рукоплесканий тонули негодующие крики немногочисленных социалистов, которые только прибавляли шуму, увеличивая его торжество. Сотни рук тянулись к нему. Некоторое время он стоял, добродушно улыбаясь, но в его улыбке сквозило некоторое беспокойство. Ему становилось не по себе от этого успеха, он начинал его пугаться. Не слишком ли красноречиво он говорил? А вдруг он спас не себя одного, а весь кабинет? Если так, то рухнет весь его план. Парламент не должен голосовать под впечатлением потрясшей его речи. Две или три минуты он простоял в тревоге, все с той же улыбкой, выжидая, не поднимется ли кто-нибудь с ответной речью.

Публика на трибунах тоже была в восторге. Замечено было, что дамы аплодировали. Даже монсеньер Март *a* выражал живейшее удовлетворение.

— Что скажете, генерал? — с усмешкой обратился Массо к своему соседу. — Вот каковы вояки наших дней! Молодчина Монферран! Вот что называется выйти сухим из воды. По правде сказать, ловко разыграно.

Но вот Монферран увидел, что Виньон, которого подталкивали друзья, поднялся и направляется к трибуне.

Лицо министра расплылось в добродушно-хитроватой улыбке, и он весело уселся на свое место, приготовившись слушать.

С появлением Виньона атмосфера в парламенте резко изменилась. Он был очень хорош на трибуне, стройный, подтянутый, с красивой бородой и голубыми глазами, от всей его гибкой фигуры веяло молодостью. Говорил он как человек практического склада. Его речь отличалась простотой и точностью, и по контрасту с ней казалась еще более пустой и напыщенной декламация его старших предшественников. Благодаря работе в государственных учреждениях он научился быстро разбираться в делах и умел четко ставить и разрешать самые сложные вопросы. Энергичный, смелый, он верил в свою звезду и, будучи молод и чрезвычайно изворотлив, на свое счастье, еще не успел ничем себя замарать. Он твердым шагом шел вперед, выработав программу несколько более прогрессивную, чем программа Барру и Монферрана, чтобы иметь основания занять их место, когда они будут свергнуты. Впрочем, он был способен осуществить эту программу, проведя уже давно обещанные реформы. Он понимал, что должна наконец восторжествовать честность в союзе с благоразумием и умом. И неторопливо, звонким голосом он высказал все, что хотел и что подсказывал ему здравый смысл, речь его удовлетворила запросам совести депутатов. Да, конечно, он первый радуется, что арестован этот человек и в стране водворится спокойствие. Но он не видит, что общего между этим арестом и прискорбным делом, поставленным на обсуждение парламента. Это два совершенно разных вопроса, и он умоляет своих коллег не голосовать в порыве овладевших ими бурных чувств. Необходимо пролить на это дело свет, чего, разумеется, не могут сделать скомпрометированные министры. Впрочем, он высказался против создания комиссии по расследованию: по его мнению, в случае если обнаружат виновных, их нужно передать в руки правосудия. Заканчивая свою речь, он осторожно намекнул на все усиливающееся влияние духовенства, заявив, что не признает никаких компромиссов и отвергает диктатуру государства, равно как и возрождение древней теократии.

Со всех сторон раздались возгласы «прекрасно!», «прекрасно!», и Виньон вернулся на свое место под жидкие рукоплескания. Но парламент уже был прибран к рукам, положение дел выяснилось, результаты голосования были предрешены, и Меж, хотевший опять взять слово, благоразумно решил промолчать. Всеми было замечено спокойствие Монферрана, который слушал Виньона с благодушным видом, как бы воздавая должное таланту противника. А Барру, речь которого была

встречена ледяным молчанием, неподвижно сидел в своем кресле, бледный как смерть, словно сраженный и раздавленный во время крушения старого мира.

— Так и есть! — снова воскликнул Массо. — Кабинету крышка! Знаете, этот маленький Виньон далеко пойдет. Говорят, он мечтает об Елисейском дворце. Во всяком случае, ему суждено стать главою будущего кабинета.

Началась баллотировка. В зале поднялся шум и гам. Массо собрался уже уходить, но генерал его удержал:

— Подождите минутку, господин Массо... Как омерзительна эта парламентская стряпня! Вы должны были бы написать об этом в статье, показать, как обессиливает и развращает до мозга костей наш народ эта бессмысленная и грязная болтовня, которая длится целые дни. Битва, в которой лягут костями пятьдесят тысяч человек, не нанесет стране такого ущерба, не отнимет у нас столько жизненных сил, сколько мы потеряли за десять лет господства этой мерзкой парламентской системы. Зайдите ко мне как-нибудь утречком. Я вас познакомлю с проектом военного закона и докажу, что необходимо восстановить прежнюю армию, состоящую из профессиональных военных и не столь многочисленную, а не то наша национальная армия, омещанившаяся и неимоверно разросшаяся, мертвым грузом потянет ко дну весь народ.

С самого начала заседания Пьер не произнес ни слова. Он внимательно слушал. Сперва его беспокоила судьба брата, но потом им овладело лихорадочное возбуждение, господствовавшее в зале. Вскоре ему стало ясно, что Гильому нечего опасаться. Но какой отзвук одно событие дает другому! И какие неожиданные отголоски породил в парламенте арест Сальва! События непрерывно сцеплялись, видоизменялись, влияли одно на другое. Зал кипел, как гигантский котел, и, глядя сверху на ряды депутатов, Пьер угадывал, какие там бушуют страсти и какие сталкиваются интересы. Он наблюдал за ожесточенной борьбой, какую вели между собой Барру, Монферран и Виньон, видел, какой ребяческой радостью сияет лицо грозного Межа, который был в восторге, что ему снова удалось взбаламутить тинистую воду, в которой он всякий раз ловил рыбу для других. Внимание Пьера привлекал и Фонсег, который сидел с безмятежным видом, прозревая будущее, и успокаивал Дютейля и Шенье, напуганных предстоящим падением кабинета. Потом он снова устремлял взгляд на монсеньера Март *a* ; он почти не отрывал глаз от прелата, глядя, как отражаются парламентские бури на его ясном, улыбающемся лице. Можно было подумать, что вся

богатая драматическими событиями парламентская комедия была разыграна лишь для будущего торжества, на которое уповал этот епископ. Пока происходил подсчет голосов, Массо и генерал прожужжали Пьеру все уши, толкуя о тактике, о кадрах, о вербовке, и ожесточенно спорили, нуждается ли Европа в кровавой бане. О, несчастное человечество, которое вечно сражается, ведет губительную борьбу и в парламентах, и на полях битв! Когда же наконец оно сложит оружие и построит свою жизнь на основах справедливости и разума?

В зале продолжалось волнение в связи с голосованием резолюций: целый дождь резолюций, от самой радикальной, предложенной Межем, до простой и деловой, выдвинутой Виньоном. Кабинет соглашался принять только самую простую, деловую резолюцию, и она не прошла; наконец парламент принял резолюцию Виньона большинством двадцати пяти голосов. Часть левых депутатов, как видно, примкнула к правым, а также объединилась с группой социалистов. Когда были оглашены результаты, в зале, а затем и на трибунах поднялся долго не смолкавший шум.

— Ну вот, — сказал Массо, покидая зал с генералом и Пьером, — у нас будет кабинет Виньона. Но все-таки Монферрану удалось выплыть. На месте Виньона я бы его остерегался.

Вечером в маленьком домике в Нейи произошло расставание друзей. Эта простая сцена была полна волнующего величия. Гильома огорчил, но вместе с тем успокоил рассказ брата о парламентском заседании, и он твердо решил на следующий день вернуться на Монмартр к своим повседневным занятиям. Николя Бартес тоже уезжал, и домик должен был снова погрузиться в мрачное безмолвие.

Теофиль Морен пришел к обеду, уже уведомленный Пьером о печальном событии. В семь часов вечера, когда четверо мужчин уселись за стол, Бартес еще ничего не знал. Весь день он ходил по своей комнате из угла в угол тяжелыми шагами, как лев в клетке. Старый ребенок, исполненный героизма, жил в этом убежище у своего друга, не заботясь о сегодняшнем дне и не помышляя о чреватом опасностями будущем. Он всю жизнь лелеял в сердце великую надежду, которую всякий раз разбивала реальная жизнь. Рушилось все, что он любил, все, что он, как ему казалось, завоевал за пятьдесят лет, проведенных в тюрьме и в изгнании, — идеалы свободы и равенства, республика, основанная на всеобщем братстве. Мечты его никогда не осуществлялись, и все-таки он сохранил свою веру, чистую веру юноши, твердо уповающего на будущее. Он блаженно улыбался, когда молодые революционеры, гораздо более

радикальных воззрений, подшучивали над ним, как над безобидным стариком. Он совершенно не разбирался в новейших сектах, с негодованием обнаруживал в них недостаток гуманности, продолжал гордо, упрямо и наивно верить, что человечество возродится, так как все люди от природы добры, свободны и все они братья.

В этот вечер за обедом в компании старых друзей он был очень весел и с величайшим простодушием утверждал, что, несмотря ни на что, его идеал вскоре должен воплотиться в жизнь. Он был превосходный рассказчик, когда на него находило вдохновение, и его сотрапезники услышали целый ряд увлекательных тюремных историй. Он изучил все тюрьмы, и Сент-Пелажи, и Мон-Сен-Мишель, и приморскую тюрьму Бель-Иль, и Клерво, и пересыльные каталажки, и смрадные плавучие тюрьмы. Иные воспоминания вызывали у него смех, и он уверял, что повсюду его поддерживало сознание своей духовной свободы. Трое друзей слушали его, как зачарованные, хотя сердце у них щемило при мысли о том, что этот вечный пленник, вечный изгнанник снова должен взять свой посох и пуститься в странствия.

Только за десертом Пьер наконец решился заговорить. Он рассказал о том, как министр вызвал его к себе и заявил, что Бартес в течение двух суток должен покинуть Францию, если не хочет быть арестованным. Услыхав слова Пьера, этот седовласый старец, с орлиным носом и сверкающими молодыми глазами, величаво встал и заявил, что он сейчас же уезжает.

— Как! Дети мои, вы узнали об этом еще вчера и до сих пор ничего мне не сказали! Ведь, оставаясь у вас в доме, я мог вам сильно повредить!.. Прошу прощения, мне и в голову не приходило, что я могу причинить вам столько неприятностей, я думал, что все так хорошо уладится... Спасибо, сердечное спасибо Гильому! Спасибо и вам, Пьер, за спокойные дни, которые я, старый бродяга и безумец, провел у вас в доме!

Его стали умолять, чтобы он остался до утра, но он и слушать об этом не захотел. В полночь отходит поезд на Брюссель, и он, конечно, поспеет на него. Он не согласился, чтобы Морен его сопровождал. Морен человек небогатый, и у него свои дела. Зачем отнимать время у приятеля, когда он, Бартес, прекрасно может ехать один? Он снова отправлялся в изгнание, в давно знакомый скорбный путь, как Вечный Жид, блуждающий в поисках свободы, легендарный страдалец, гонимый судьбой по всему широкому миру.

В десять часов вечера он покинул домик на сонной улице и со слезами в глазах простился со своими хозяевами.

— О, я уже стар. На этот раз все кончено. Я больше не вернусь, и кости мои истлеют где-нибудь в глухом уголке на чужбине.

Но когда он расцеловал Гильома и Пьера, в нем снова проснулся гордый, неукротимый пыл, и у него вырвались слова, полные надежды:

— Впрочем! Кто знает! Быть может, завтра мы восторжествуем. Будущее принадлежит тому, кто его создает и умеет ждать!

С этими словами он удалился. Еще долго слышались его твердые шаги, постепенно замиравшие в безмолвии лунной ночи.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

I

В это тихое утро в конце марта, когда Пьер уходил с Гильомом из своего домика в Нейи, пожелав проводить брата до Монмартра, у него болезненно сжималось сердце при мысли, что он вернется домой один и снова будет переживать свою катастрофу и душевную опустошенность. Он не спал ночь, в душе его накипела горечь, и он через силу улыбался, скрывая свои страдания.

Погода была ясная и мягкая, и братья решили совершить пешком длительную прогулку по внешнему кольцу бульваров. Было девять часов, когда они вышли из дому. Пьеру доставляло удовольствие сопровождать старшего брата, который с улыбкой предвкушал радостное удивление своих близких, с которыми он свидится, словно вернувшись из путешествия. Он не известил их о своем возвращении. После разлуки с родными он лишь время от времени посылал им письма, сообщая о своем здоровье. Ни один из сыновей не навестил его, соблюдая осторожность и исполняя волю отца, а девушка, на которой он собирался жениться, благоразумно ожидала, спокойная и сдержанная.

Когда они поднялись наверх по залитым солнцем склонам Монмартра, Гильом, у которого был при себе ключ, тихонько вошел в дом. На спокойной, совсем провинциальной площади Тертр маленький домик, казалось, спал глубоким мирным сном. Он был такой же, как в тот день, когда Пьер впервые увидел его — тихий, приветливый, словно овеванный нежной лаской. Братья прошли через нижний этаж, по узкому коридору, в конце которого раскрывался безбрежный горизонт Парижа. Потом они пересекли садик, состоявший теперь всего из двух сливовых деревьев и куста сирени, на котором уже зеленели листья. И на этот раз Пьер заметил три велосипеда, прислоненных к стволам слив. Вот и она, просторная мастерская, где проводит дни вся семья, веселая и располагающая к серьезным занятиям комната, из широкого окна которой виднеется целое море крыш.

Гильом дошел до мастерской, никого не встретив по дороге. С шутовым видом он приложил палец к губам.

— Внимание, маленький Пьер! Сейчас увидишь.

Отворив бесшумно дверь, они на минуту остановились на пороге.

В мастерской находились лишь трое сыновей. Том *a* стоял у наковальни и при помощи сверлильного станка проделывал дырочки в медной пластинке. В другом углу, перед окном, по бокам большого стола, сидели Франсуа и Антуан, один весь ушел в чтение, а другой с резцом в руке заканчивал гравюру на дереве. Целый поток веселых солнечных лучей заливал комнату, где в живописном беспорядке были нагромождены самые разнообразные предметы и орудия труда, среди которых на рабочем столике, заваленном женскими рукоделиями, красовался пышный букет левкоев. Молодые люди напряженно трудились. В мастерской была какая-то торжественная тишина, слышалось только тонкое посвистывание сверлильного станка.

Хотя Гильом неподвижно стоял на пороге, сыновья словно почувствовали его приход. Все трое вдруг встрепенулись и одновременно подняли голову. У них вырвался радостный крик, и в единодушном порыве юноши кинулись ему на шею.

— Отец!

А он, сияя от счастья, крепко их обнял и поцеловал. И это было все — никаких особых нежностей, никаких лишних слов. Казалось, он только накануне ушел по делам и, задержавшись на ночь, возвращается домой. Он смотрел на них, улыбаясь, и трое юношей отвечали ему улыбкой, глядя в глаза отцу; в этом взгляде выразилась вся их любовь и беззаветная преданность.

— Входи же, Пьер. Пожми руку этим молодцам.

Священник все еще стоял на пороге, испытывая какую-то странную неловкость и смущение. Племянники крепко трянули его за руку. Потом, не зная, что ему делать, чувствуя себя не в своей тарелке, он уселся в сторонке у окна:

— Ну, что, малыши, где же Бабушка и Мария?



Бабушка только что поднялась к себе наверх.

А девушке захотелось самой пойти на рынок. Она очень это любила и уверяла, что только она одна умеет купить свежие яйца и масло, пахнущее орехами. К тому же она иногда приносила оттуда какие-нибудь лакомства или цветы и радовалась, что она такая хорошая хозяйка.

— Так все благополучно? — продолжал Гильом. — Вы довольны? Работа идет хорошо?

И он стал спрашивать сыновей, как человек, вернувшийся к повседневным привычкам. Грубоватое добродушное лицо Том *a* расплылось в улыбке, он рассказал в двух словах о своих последних работах над маленьким двигателем, добавив, что теперь он уже наверняка его сделает. Франсуа, напряженно готовившийся к очередному экзамену,

пошутил, сказав, что ему надо еще втиснуть себе в мозги целую кучу всякой премудрости. Антуан показал гравюру, которую он заканчивал, где была изображена его подруга Лиза, сестра скульптора Жагана, сидящая за книжкой в саду на солнце, прелестное цветущее существо, которое он пробудил своей любовью от умственной спячки.

Продолжая разговаривать с отцом, юноши уселись на свои места и снова принялись за работу. Это было естественно, они выросли в суровой дисциплине, для них трудиться и значило жить.

Гильом с радостным лицом переходил от одного к другому, рассматривая их работы.

— Ах, если бы вы знали, малыши, сколько материала я подготовил, сколько вопросов выяснил, пока лежал в постели! Я даже сделал немало заметок. Мы пришли пешком, но на фиакре привезут все мои бумаги, а также платье и белье, которое мне прислала Бабушка... Как я рад, что здесь все по-старому и я могу вместе с вами продолжать свою прерванную работу. Эх, руки чешутся!

Он уже расположился у себя в углу. Между наковальной и окном ему было отведено порядочное место, где находилась тигельная печь, застекленные шкафы, полки, уставленные приборами, и длинный стол, на одном конце которого он обычно писал. И он уже вступил во владение своим маленьким миром, оглядывал свою лабораторию, радуясь, что всё в полном порядке, жадно перебирал эти привычные предметы, ощупывал их и, глядя, как трудятся сыновья, хотел и сам поскорей приступить к работе.

Но вот наверху, на лесенке, ведущей на второй этаж, появилась Бабушка, на редкость прямая, спокойная и серьезная, в своем неизменном черном платье.

— Это вы, Гильом? Не подниметесь ли вы ко мне на минутку?

Он взошел по лестнице, догадываясь, что она хочет ему что-то сообщить, поскорей его успокоить, сказав все, что нужно, без свидетелей. Речь шла об опасной тайне, которую они с Бабушкой строго оберегали. Это было единственное, что он скрывал от сыновей, самая важная для него вещь, о которой он все время думал после взрыва и жестоко терзался, опасаясь, что его секрет откроют и он станет всем известен. Наверху, у себя в комнате, Бабушка дала ему полный отчет, показала хранившиеся в тайнике возле ее кровати патроны с новоизобретенным взрывчатым веществом и чертежи орудия, обладающего огромной разрушительной силой. Там все было в полной сохранности; чтобы овладеть его изобретением, пришлось бы убить Бабушку или же взорвать дом вместе с

ней. Со свойственным ей скромным героизмом она спокойно вручила ему ключ, принесенный ей Пьером на другой день после происшествия, и Гильом снова вступил во владение этим страшным сокровищем.

— Надеюсь, вы ни о чем не беспокоились?

Он взял ее руки и крепко их пожал, выражая свою нежность и глубокое уважение.

— Я беспокоился только об одном — что полицейские нагрянут сюда и обойдутся с вами грубо... Я поручил вам хранить мою тайну, и вы dokonчили бы начатое мной дело, если бы меня не стало.

Между тем Пьер сидел неподвижно у окна, испытывая все возрастающую неловкость. В этом доме все относились к нему очень сердечно. Почему же у него такое чувство, что здесь и вещи и люди враждебны ему, когда все готовы принять его как родного? И он терялся в присутствии этих тружеников, проникнутых единой верой, ведь он-то больше ни во что не верил и ничего не делал. Он наблюдал, как усердно и весело работали трое братьев, и в нем поднималось какое-то глухое раздражение. И в довершение всего вдруг появилась Мария.

Она вошла радостная, полная жизни, с корзинкой на руке, и сперва не заметила его. Казалось, вместе с ней в комнату ворвалось яркое весеннее утро. Гибкая, широкогрудая, она всем своим существом излучала молодость. Ее розовое лицо, обрамленное темными прядями густых волос, так и сияло. Пьер увидел ее тонкий нос, высокий умный лоб и пухлый добродушный рот. Ее карие глаза смеялись, она дышала радостью и здоровьем.

— Посмотрите-ка, мальчики, — крикнула она, — чего я накупила! Идите сюда, мне не захотелось распаковывать корзинку на кухне.

Юноши должны были подойти: они обступили стол, на который она поставила корзину.

— Прежде всего масло. Понюхайте-ка его, правда, оно пахнет орехами? Его сбивали специально для меня... А потом яйца. Ручаюсь, что они снесены только вчера. А это вот сегодня. И еще котлеты. Ну что, правда замечательные у меня котлеты? Уж мясник постарался для меня... А потом свежий сливочный сырок из самых лучших сливок, чудо что такое!.. А вот сюрприз, это уже лакомство, редиска, прелестная розовая редисочка! Редиска в марте месяце, что за роскошь!

Девушка торжествовала. Она была превосходная хозяйка, знала цену вещам, недаром прошла в лицее Фенелона полный курс кулинарии и домоводства. Братья радовались вместе с ней и поздравляли ее с удачными покупками.

Но вдруг она увидела Пьера.

— Как, вы здесь, господин аббат! Прошу меня извинить, я вас не заметила... Как здоровье Гильома? Надеюсь, вы принесли нам хорошие новости?

— Да ведь отец вернулся, — сказал Том *a*. — Он наверху, у Бабушки. Взволнованная Мария стала складывать припасы назад в корзину.

— Гильом вернулся! Гильом вернулся!.. А вы мне ничего не сказали! И дали выложить все из корзины!.. Хороша же я! Хвастаюсь перед вами маслом и яйцами, когда Гильом дома!

Как раз в это время Гильом спускался с лестницы вместе с Бабушкой. Мария весело подбежала к нему и подставила для поцелуя ему щечку, потом другую.

Затем положила ему руки на плечи, поглядела на него долгим взглядом и проговорила с легкой дрожью в голосе:

— Я рада, очень рада видеть вас, Гильом! Теперь я могу вам признаться: я боялась вас потерять, очень за вас беспокоилась, и мне было так тяжело.

Хотя она продолжала улыбаться, на глазах у нее заблестели слезинки, а он, взволнованный и тронутый, проговорил, снова ее целуя:

— Милая Мария!.. Как я счастлив! Я опять с вами, и вы все такая же красивая, такая нежная!

Их встреча показалась Пьеру холодноватой. Он ожидал, что жених и невеста, которых несчастный случай разлучил накануне свадьбы, будут проливать слезы и сжимать друг друга в страстных объятиях. Его также оскорбляла разница в возрасте, хотя его брат был еще очень крепким и выглядел совсем не старым. Эта девушка решительно ему не нравилась. Она была чересчур здоровой и спокойной. Когда она вошла, ему стало уже совсем не по себе, захотелось поскорее уйти и больше не возвращаться. Она была ему так чужда; он чувствовал себя гостем в доме брата, и это причиняло ему настоящее страдание.

Он встал и начал прощаться, ссылаясь на то, что у него дела в городе.

— Как! Ты не остаешься позавтракать с нами? — воскликнул удивленный Гильом. — Но мы же условились, ты не захочешь меня огорчать... Ведь теперь это твой дом, милый братец.

Все в один голос стали его уговаривать с таким искренним чувством, что ему пришлось остаться. Он снова сел и молча, в странном смущении наблюдал за этими людьми, которые были его родными и в то же время такими далекими.

Только что пробило одиннадцать часов. Все продолжали работать, время от времени весело переговариваясь между собой. Тут одна из служанок пришла за корзинкой с провизией. Мария наказала, чтобы ее позвали варить яйца всмятку. Она уверяла, что знает замечательный способ и умеет так их сварить, что белок будет густой, как сметана. По этому поводу Франсуа отпустил несколько шуточек, он любил ее поддразнивать, когда она хвалилась полезными сведениями, приобретенными ею в лицее Фенелона, куда отец поместил ее в двенадцатилетнем возрасте после кончины матери. Но она не оставалась в долгу и, в свою очередь, подшучивала над ним, уверяя, что он теряет время даром в своей Нормальной школе, где ему вбивают в голову всякую абракадабру.

— Эх вы, большие вы младенцы, — сказала она. — Это меня прямо удивляет: вы все трое такие развитые, свободомыслящие, а между тем вам не совсем по душе, когда девушка вроде меня получает образование в лицее, не отставая от мальчиков. Что это? Борьба полов, соперничество и конкуренция?

Юноши стали протестовать, поклялись, что они чрезвычайно сочувствуют женскому образованию. Она прекрасно это знала, но тоже не упускала случая их поддразнить.

— Нет, нет, дети мои, — в этом отношении вы очень отстали... Мне известно, что благонамеренная буржуазия недовольна женскими лицеями. Во-первых, преподавание носит там исключительно светский характер, и это беспокоит многих родителей, которые считают, что девочки должны получать религиозное воспитание и усваивать принципы морали. Во-вторых, лицей проникнут демократическим духом. Там обучаются девочки из самых различных слоев общества: дочка дамы, живущей в бельэтаже, встречается с дочкой консьержки, и они становятся подругами, ведь сейчас так широко раздают стипендии. Наконец, девочка выходит из-под влияния семьи, у нее развивается инициатива. Программы, включающие множество предметов, повышенные требования, какие предъявляют на экзаменах, все это, безусловно, содействует эмансипации молодой девушки, из которой со временем выйдет женщина будущего. А между тем все вы мечтаете о новом обществе, правда, дети?

— Ну конечно, — воскликнул Франсуа. — Мы все этого хотим!

Она грациозно махнула рукой и спокойно продолжала:

— Я пошутила... Вы же знаете, что я человек простой и у меня не так много требований, как у вас. О, все эти притязания, эти женские

права! Их даже незачем доказывать, женщина ничуть не ниже мужчины, только ей приходится считаться со своим организмом. Но единственно, что важно и что труднее всего — это понимать и любить друг друга. И все-таки я очень счастлива, что приобрела все эти знания. О, я не кичусь своей ученостью, но отлично сознаю, что все это сделало меня здоровой, придало мне смелости в жизни как в нравственном, так и в физическом отношении.

Она очень любила вспоминать годы, проведенные в лицее Фенелона, с увлечением рассказывала о том, как усердно она училась, как резвилась во время перемен, как отправлялась с подругами за город, где они бегали как сумасшедшие по полям и лесам с развевающимися на ветру волосами. Из пяти парижских женских лицеев лицей Фенелона был самым популярным. Там бросали вызов предрассудкам и условностям, поэтому учились исключительно дочери чиновников, преимущественно дочери педагогов, которые сами собирались стать учительницами. Окончив лицей, эти девушки должны были получить диплом в Севрской нормальной школе. Но хотя Мария блестяще окончила курс в лицее, у нее не было никакого призвания к педагогической деятельности. Когда же умер ее отец, не оставив ничего, кроме долгов, и она могла оказаться на улице без всяких средств, Гильом взял ее к себе и не захотел, чтобы она бегала по урокам. Она была на редкость искусной вышивальщицей и кое-что зарабатывала, желая иметь свои карманные деньги.

Гильом с улыбкой слушал, не вмешиваясь в разговор. Он полюбил Марию за ее искренность, за ее прямоту, его пленяла эта уравновешенная, благородная и сильная натура. Она знала все. Но если ей недоставало девической сюсюкающей наивности, то она отличалась сердечной чистотой, честностью мысли и подлинной невинностью, хотя смотрела на жизнь широко открытыми глазами и была чужда показному благонравию, за которым скрывается испорченность и страстное желание проникнуть в запретную область. Эта цветущая спокойная девушка была чиста душой, как ребенок, хотя ей уже стукнуло двадцать шесть лет; по малейшему поводу она вспыхивала до корней волос, хотя и досадовала на себя.

— Милая Мария, — сказал Гильом, — вы же видите, что дети шутят, и вы, конечно, правы... Никто лучше вас не умеет сварить яйца всмятку.

В его словах звучала такая нежность, что девушка невольно зарделась. Она почувствовала это и совсем побагровела. Заметив, что юноши лукаво посматривают на нее, она рассердилась на себя.

— Не правда ли, господин аббат, это смешно, — сказала она, обернувшись к Пьеру, — я старая дева и вдруг так краснею! Можно

подумать, что я совершила какое-то преступление... Знаете, дети нарочно меня дразнят, чтобы вогнать в краску... Мне до смерти не хочется, но я краснею, сама не зная почему, это сильнее меня.

Бабушка подняла глаза от рубашки, которую она чинила без очков, и спокойно сказала:

— Ничего, моя милая, это очень хорошо: это твое сердце гонит кровь к щекам.

Приближалось время завтрака. Решено было, что накроют стол в мастерской, как обычно делали, когда приходил кто-нибудь в гости. Было так хорошо сидеть с близкими людьми в залитой солнцем комнате, за столом, накрытым белой скатертью, и простой завтрак казался необычайно вкусным. Девушка сама принесла из кухни яйца, накрытые салфеткой, и они всем чрезвычайно понравились. Не меньший успех имела редиска с маслом. После котлет на десерт был подан сливочный сырок, и все уверяли, что никогда в жизни не ели такого сырка. А за окном от края и до края простирался необъятный Париж, и до них долетал его плухой рокот.

Пьер попытался было пошутить, но потом опять замолчал. Гильом, заметивший в саду три велосипеда, спросил Марию, куда она ездила этим утром. Оказывается, Антуан и Франсуа прокатились вместе с ней по направлению к Оржемону. Только неприятно было на обратном пути втаскивать велосипеды на гору.

Мария смеялась, уверяя, что после этого она крепко спит и не видит дурных снов. По ее мнению, велосипед имел множество достоинств. При этих словах священник изумленно взглянул на нее, и она обещала, как-нибудь развить ему свою мысль. К его досаде, до самого конца завтрака речь шла о велосипедах. Том *a* стал распространяться об усовершенствованных велосипедах новейшего образца, выпускаемых заводом Грандидье. Сам он стремился создать особого типа велосипед, о котором все уже давно мечтали, с переключателем, позволяющим на ходу легко изменять скорость. Затем молодые люди и девушка стали вспоминать о прошлых своих прогулках и мечтать о будущих. Веселые, жизнерадостные, они напоминали учеников, вырвавшихся из школьных стен на свежий воздух.

Бабушка, величаво, как королева-мать, сидевшая на почетном месте, наклонилась к своему соседу Гильому и шепнула что-то ему на ухо. Пьер догадался, что она говорит о свадьбе, которую собирались отпраздновать в конце апреля, но теперь пришлось значительно отсрочить. Этот благоразумный союз должен был обеспечить счастье всей семье и был

задуман отчасти ею, отчасти сыновьями Гильома. Отец никогда не дал бы волю влечению своего сердца, если бы его родные не приняли и не полюбили девушку, которую он взял к себе в дом. В настоящее время по целому ряду соображений следовало назначить свадьбу на самый конец июня.

Мария услышала слова Бабушки и быстро к ней повернулась.

— Не правда ли, моя милая, — спросила ее Бабушка, — конец июня самое подходящее время?

Пьер ожидал, что девушка густо покраснеет. Но Мария сохраняла спокойствие, она испытывала к Гильому самые лучшие чувства, глубокую благодарность и беспредельную нежность и считала, что она очень разумно поступает, выходя за него замуж, что это будет хорошо для нее и для других.

— Превосходно, — ответила она, — пусть будет в конце июня, я не возражаю.

Сыновья сообразили, в чем дело, и выразили свое согласие кивком головы.

Когда встали из-за стола, Пьер решил непременно уйти. Почему все было ему так мучительно — и сидеть за завтраком, слушая непринужденную дружескую беседу, и наблюдать, как вся семья радуется возвращению отца, а плавное, видеть эту девушку, такую спокойную и жизнерадостную? Она его раздражала, и ему становилось невыносимо тяжело. И снова он заявил, что у него множество неотложных дел. Потом он пожал протянутые к нему руки юношей и обменялся рукопожатием с Бабушкой и Марией. Обе они смотрели на него с симпатией, но несколько удивлялись его поспешному уходу. Гильому не удалось удержать брата; с озабоченным и огорченным лицом он пошел его провожать и остановил в садике, решив вызвать на откровенность.

— Послушай, что с тобой? Почему ты убегаешь?

— Решительно ничего, уверяю тебя. У меня спешные дела, вот и все.

— Оставь, пожалуйста, я вижу, что это только предлог... Неужели же кто-нибудь из нас тебе неприятен или обидел тебя? Вскоре они все тебя любят, как я.

— Я в этом не сомневаюсь, и мне не на кого жаловаться... Разве что на самого себя.

Гильом совсем расстроился и с отчаянием махнул рукой.

— Ах, братец, милый братец, как ты меня огорчаешь! Я вижу, что ты что-то скрываешь от меня. Ведь теперь наши братские отношения восстановились, мы горячо любим друг друга, как прежде, когда ты лежал

в колыбельке, а я забавлял тебя. Я знаю, что с тобой происходит, какая тебя постигла катастрофа и как ты мучаешься, ведь ты во всем мне признался. И я не хочу, чтобы ты страдал! Я хочу тебя излечить!

Пьер слушал брата, и сердце у него мучительно сжималось. Он не мог сдержать слез.

— Нет, нет, мне остается только страдать. Меня уже ничем не излечить. Ты не можешь мне помочь. Я живу вопреки природе, я какой-то урод.

— Что ты говоришь? Если ты до сих пор и впрямь жил вопреки природе, то разве впредь ты не можешь жить по законам природы?.. Я не хочу, чтобы ты возвращался в свой одинокий домик и без конца мучился, переживая свою опустошенность. Приходи сюда почаще и проводи время с нами, а уж мы постараемся пробудить у тебя вкус к жизни.

При мысли о том, что он вернется к себе в маленький пустой домик, холодная дрожь пробегала у Пьера по спине: он будет там жить один, без брата, с которым провел столько отрадных дней! Теперь он будет особенно страдать от одиночества, после того как прожил несколько счастливых недель вдвоем с братом! Ему стало так горько и больно, что у него невольно вырвались слова признания.

— Жить здесь, жить с вами, о нет, это для меня невозможно... Зачем ты заставляешь меня высказываться? Мне стыдно об этом говорить, и я плохо в себе разбираюсь. Ты видел, как я страдал все утро, пока сидел с вами. Причина, конечно, в том, что все вы работаете, а я ничего не делаю; вы любите друг друга, верите в свое призвание, а я больше не могу ни любить, ни верить... Я чувствую, что мне не место у вас, мне как-то неловко, и я стесняю вас. Более того, вы меня раздражаете, и я боюсь, что в конце концов я возненавижу вас. Теперь ты видишь, что в моей душе не осталось ничего хорошего, что все во мне испорчено, разрушено, все умерло и могут зародиться только зависть и ненависть. Отпусти же меня в мою проклятую нору, где я опять окунусь в пустоту. Прощай, брат!

В порыве горячей любви и сострадания Гильом схватил его за руки и стал удерживать.

— Ты не уйдешь, я не отпущу тебя, пока ты мне не дашь слова, что скоро вернешься. Я не хочу снова тебя потерять, теперь, когда я знаю, что ты за человек и как ты страдаешь... Если на то пошло, я спасу тебя против твоей воли, я излечу тебя от твоих мучительных сомнений. О, не бойся, я не стану тебя наставлять, не стану внушать тебе никакой веры. Пусть тебя исцелит сама жизнь, которая одна способна вернуть тебе здоровье и надежду... Заклинаю тебя, брат, нашей любовью, приходи,

приходи к нам почаще на целый день. Ты увидишь — когда у людей перед глазами определенная цель и когда они работают всей семьей, они никогда не бывают несчастны. Нужна цель, безразлично какая, и большая любовь, и ты примешь жизнь и будешь до конца дней ее любить.

— А зачем? — с горечью пробормотал Пьер. — У меня больше нет никакой цели, и я разучился любить.

— Ну, что ж, я поставлю перед тобою цель! И как только проснется твое сердце, ты снова научишься любить! Обещай мне, брат, обещай!

Видя, что Пьер поглощен своим горем и упрямо хочет идти навстречу своей гибели, он прибавил:

— Ах, я не буду утверждать, что на этом свете все обстоит благополучно, что повсюду царит радость, истина и справедливость... Если бы ты только знал, как я негоую и возмущаюсь всей этой историей с несчастным Сальва! О, конечно, он виноват! Но заслуживает всяческого снисхождения. И как я буду его жалеть, если на него свалят всеобщую вину, если эти политические банды жадно накинутся на него, надеясь сыграть на его аресте, воспользуются им, как козырем в борьбе за власть! Это приводит меня в отчаяние, и я, пожалуй, тоже способен на безумства... Ну, сделай мне удовольствие, брат, обещай, что ты придешь к нам послезавтра на весь день.

Пьер по-прежнему молчал.

— Я хочу этого, — продолжал Гильом. — Мне будет ужасно думать, что ты мучаешься у себя в норе, как раненый зверь... Я хочу тебя излечить, хочу тебя спасти!

Слезы снова выступили на глазах у Пьера, и он проговорил с отчаянием в голосе:

— Не вынуждай у меня обещания... Я постараюсь победить себя.

Какую страшную неделю провел он в своем темном, опустевшем домике! Он спрятался там от жизни и все это время с тоской переживал отсутствие старшего брата, которого снова горячо полюбил. С тех пор как его душу стали разъедать сомнения, он еще никогда так не страдал от одиночества. Раз двадцать он уже был готов бежать на Монмартр, где смутно надеялся обрести любовь, истину и жизнь. Но всякий раз его удерживала какая-то робость, к которой примешивался стыд; это чувство он уже испытал в доме Гильома. Он, священник, обреченный на безбрачие, не знающий любви и чуждый всему житейскому, уж наверно будет страдать и мучиться, очутившись среди этих людей, таких естественных, здоровых, свободных. И ему мерещились его родители, печальные тени которых словно блуждали в пустынном доме и даже

после смерти продолжали свой яростный спор. Ему казалось, что они горько сетуют и умоляют, чтобы он, обретя покой, примирил их в своей душе. Что ему теперь делать? Сидеть здесь и предаваться отчаянию вместе с ними? Или отправиться туда, где он может получить исцеление и успокоить тени родителей, которые, радуясь его счастливой жизни, наконец уснут спокойно могильным сном? Однажды утром, когда он проснулся, ему почудилось, что возле него стоит отец и, улыбаясь, посылает его к брату. Мать тоже дает свое согласие, она смотрит на него своими большими кроткими глазами, уже больше не грустит, что из него не вышло хорошего священника, и хочет, чтобы он жил такой же жизнью, как и все люди.

На этот раз Пьер не стал рассуждать, он взял фиакр, сел в экипаж и дал адрес кучеру. Теперь ему было бы уже неловко на полпути повернуть назад, поддавшись смущению. И вот, как во сне, он снова увидел себя в просторной мастерской. Гильом и его сыновья весело встретили его, как будто он только накануне был у них. Тут он сделался свидетелем весьма поразившей его сцены, которая хорошо на него подействовала.

При его появлении Мария даже не встала ему навстречу и еле поздоровалась с ним. Она была очень бледна, и лоб ее прорезала глубокая складка. Бабушка, тоже довольно мрачная, проговорила, глядя на Марию.

— Вы уж извините ее, господин аббат, она что-то чудит... Видите ли, она рассердилась на всех нас.

Гильом засмеялся.

— Вот упрямица!.. Ты не можешь себе представить, Пьер, что творится в этой головке, когда заходит речь о справедливости, — она не выносит противоречия. О, она создала себе идеал такой высокой, абсолютной справедливости, что не допускает никаких компромиссов... Так вот, у нас зашла речь об одном судебном деле: недавно отец был осужден на основании показаний сына, и вот она спорит с нами, утверждая, что сын хорошо поступил, что всегда, при любых обстоятельствах, надо говорить только правду... Какой ужасный общественный обвинитель получился бы из нее!

Заметив улыбку явно не одобрявшего ее Пьера, и без того раздраженная Мария окончательно вышла из себя:

— Гильом, вы злой... Я не хочу, чтобы надо мной смеялись!

Эти слова еще пуще развеселили Том *a* и Антуана.

— Да ты совсем рехнулась, милая моя! — воскликнул Франсуа. — Мы с отцом только настаиваем на гуманности, а справедливость мы любим и почитаем не меньше тебя.

— Какая там гуманность! Существует только справедливость. Что справедливо, то всегда останется справедливым, хотя бы от этого должен был рухнуть мир!

Гильом хотел продолжать спор и начал снова ее убеждать, но она вскочила и крикнула, дрожа всем телом и задыхаясь от гнева:

— Нет, нет! Все вы злые, вам нравится меня мучить... Лучше я уйду к себе в комнату.

Напрасно Бабушка пыталась ее удержать.

— Дитя мое, дитя мое! Опомнись! Ведь это очень некрасиво, ты сама будешь потом сожалеть.

— Нет, нет! Вы несправедливы, мне слишком больно!

И рассерженная Мария поднялась к себе в комнату. Все были крайне расстроены и совсем растерялись. Подобные сцены разыгрывались время от времени, но очень редко принимали столь острый характер. Гильом тотчас же стал упрекать себя за то, что привел ее в такое раздражение; главное, не нужно было над ней подсмеиваться, потому что она не выносила иронии. Он объяснил Пьеру, в чем дело, рассказал ему, что в ранней юности всякая несправедливость вызывала у нее приступы яростного гнева, от которого чуть ли не останавливалось сердце. Впоследствии она сама признавалась, что в таких случаях ее подхватывала какая-то неудержимая волна и она теряла рассудок. Даже и теперь, когда затрагивали иные принципиальные вопросы, она спорила с пеной у рта, упрямо отстаивая свое мнение. Она стыдилась своей горячности, прекрасно сознавая, что частенько бывает прямо невыносима и отталкивает от себя людей.

И в самом деле, не прошло и четверти часа, как она спустилась в мастерскую, красная, как пион, и мужественно признала свою неправоту.

— Какая же я глупая! Сама хуже всех, а других называю злыми! Что подумает обо мне господин аббат!

Она бросилась на шею к Бабушке.

— Вы меня прощаете, правда? Теперь пускай себе смеются надо мной Франсуа и Том *a* с Антуаном. Хорошо сделают, так мне и надо!

— Бедняжка моя Мария! — с нежностью сказал Гильом. — Вот что значит признавать абсолютные ценности! Обычно вы такая уравновешенная, рассудительная и благоразумная, потому что вы знаете, как все на свете относительно, и требуете от жизни только то, что она может дать. Но вы теряете благоразумие и выходите из равновесия, когда начинаете домогаться абсолютной справедливости. Кто из нас тут без греха?

Все еще смущенная Мария попробовала пошутить:

— Ну, теперь вы сами видите, что я далеко не совершенство.

— О, конечно! Но тем лучше! От этого вы мне еще дороже.

Пьер охотно повторил бы слова брата. Его до глубины души взволновала разыгравшаяся перед ним сцена, хотя он еще не мог осознать всего, что в нем при этом всколыхнулось. Не оттого ли он так жестоко страдал, что всегда искал чего-то абсолютного в жизни, предъявляя непомерные требования и к людям и к вещам? Он хотел обрести совершенную веру, и когда это ему не удалось, с отчаяния пришел к совершенному отрицанию. И чувство превосходства, сохранившееся у него при утере всех ценностей, репутация святого священника, приобретенная при полном неверии, — не доказывают ли извращенного стремления к абсолютному, не являются ли романтической позой, которую он принимал в своей слепоте и гордыне? Когда брат хвалил Марию, которая всегда ждала от жизни только того, что она могла дать, Пьер воспринял его слова как добрый совет и словно почувствовал на своем лице свежее дуновение весеннего ветерка. Но то были пока лишь смутные ощущения, и он по-настоящему обрадовался, когда Мария разгневалась: ее провинность сближала ее с ним, и она как бы спустилась с какой-то высоты и больше не подавляла его своими совершенствами. Какое чувство владело им? Он не мог бы этого сказать. В этот день он поговорил с ней несколько минут и решил, что она очень добрая и сердечная девушка.

Через день Пьер снова явился на Монмартр и провел всю вторую половину дня в залитой солнцем мастерской, высоко над Парижем. Его уже давно тяготила праздность, и он испытывал скуку, но у него становилось легче на душе, когда он находился среди своих родных, которые так весело работали. Брат пожурил его за то, что он не пришел к завтраку, и Пьер обещал на следующий день явиться пораньше и сесть с ними за стол. Прошла неделя, и у него с Марией установились добрые товарищеские отношения. Уже не оставалось и следа прежней неловкости и враждебности, какую они сперва почувствовали друг к другу. Впрочем, ее ничуть не смущала его сутана; этой уравновешенной атеистке никогда не приходило в голову, что священник какой-то особенный человек. И теперь его удивляло и радовало, что она относится к нему по-братски, как будто он ходит в пиджаке, как его племянники, обладает такими же взглядами, ведет такой же образ жизни и вообще ничем не отличается от прочих людей. Но особенно его поражало, что она никогда не затрагивала религиозных вопросов и жила спокойная и счастливая, ничуть не

помышляя о божестве и о потустороннем мире, об этой жуткой, таинственной области, с которой у него было связано столько мучительных переживаний.

Пьер стал к ним приходить каждые два-три дня, и вскоре она заметила, что он страдает. Что с ним такое? Она начала его расспрашивать с дружеским участием, но получала лишь уклончивые ответы и догадалась, что у него в душе какая-то кровоточащая рана, что он стыдится ее, скрывает от всех и потому не может получить исцеления. В ней проснулась чисто женская жалость, и она почувствовала горячую симпатию к этому высокому бледному молодому человеку с лихорадочным блеском в глазах, который испытывал жестокие душевные терзания, никому в них не признаваясь. Без сомнения, она спрашивала Гильома, что с его братом, почему у того такой печальный, убитый вид, и он, как видно, кое во что ее посвятил, чтобы она вместе с ним постаралась вырвать Пьера из мрачного оцепенения и вернуть ему вкус к жизни. Пьер был так счастлив, что она обращалась с ним как с другом, как с братом! И вот как-то вечером, когда на Париж спускались хмурые сумерки, Мария увидела на глазах у Пьера слезы, стала ласково настаивать, чтобы он открыл ей душу, и внезапно он поведал ей о своих мучениях, сказал, какая ужасная пустота навсегда осталась у него в сердце после утраты веры. О, больше не верить, не любить, стать холодным пеплом, не знать, на что опереться, чем заменить отсутствующего бога! Она смотрела на него в немом изумлении. Да это сущее безумие! И она сказала ему это, удивляясь и негодуя, что можно страдать по такому поводу. Впасть в отчаяние, ни во что не верить, никого не любить только потому, что рухнула гипотеза о высшем существе, и при этом забывать об огромном мире, о жизни, которую необходимо прожить, обо всех вещах и обо всех созданиях, которые требуют нашей любви и помощи, не говоря уже о долге перед человечеством, о жизненной задаче, выпадающей на долю каждого! Он, несомненно, безумец, и она клянется, что постарается излечить его от этого ужасного безумия!

С тех пор она стала испытывать огромную нежность к этому необыкновенному человеку, который вначале был так ей чужд, а потом начал вызывать ее удивление. Она была с Пьером очень ласкова, весело разговаривала, ухаживала за ним, как за больным, проявляя незаурядную тонкость ума и сердечную чуткость. Детские годы прошли у них одинаково, у обоих были весьма набожные матери, воспитывавшие их в строго религиозном духе. Но как непохожи были их дальнейшие судьбы! До чего по-разному протекала их жизнь! Связанный своим обетом,

священник терзался сомнениями, а девушка, поступившая после смерти матери в лицей Фенелона, воспитывалась вне всякого религиозного культа, и с течением времени у нее окончательно изгладились из памяти связанные с религией воспоминания раннего детства. Его все время поражало, что ей совершенно незнаком страх перед потусторонним, нещадно опустошивший его душу. Когда, беседуя с ней, он удивлялся этому, она от души смеялась и говорила, что никогда не страшилась ада, так как знала, что он не может существовать, она прибавляла, что спокойно живет на земле, не надеясь попасть в рай, стараясь разумно выполнять задачи, какие ставит перед ней жизнь. Должно быть, таков уж был ее характер. Но большую роль сыграло и образование. Полученные в лицее знания пошли ей на пользу, так как она обладала на редкость основательным умом и душевной прямоотой. И удивительное дело, получив целую кучу не слишком систематизированных знаний, она осталась очень женственной и очень нежной; в ней не чувствовалось никакой черствости, и она отнюдь не смахивала на мужчину. Это было духовно свободное, честное и очаровательное существо.

— Ах, друг мой, — говорила она, — если бы вы знали, как мне легко быть счастливой, когда окружающие меня дорогие мне люди здоровы и благополучны! Лично я всегда в ладу с жизнью, приспосаблиюсь к ней, работаю и все же испытываю удовлетворение. Мне приходилось страдать только из-за других, потому что мне всегда хочется, чтобы все люди на свете были по возможности счастливы, а между тем некоторые не хотят счастья... Знаете, я долгое время жила в бедности, но это мне не мешало быть веселой. Я всегда хочу только таких благ, которых не купишь за деньги... А все-таки ужасно, что на свете есть нищета! Это такая возмутительная несправедливость, и я выхожу из себя, когда вижу ее. Я понимаю, что ваше мировоззрение рухнуло, когда вам стала ясна вся бесполезность и бессмыслица благотворительности. Но все-таки она приносит облегчение. Давать так отрадно! И потом наступит день, когда победит рассудок и труд, наладится жизнь, и тогда волей-неволей справедливость восторжествует... Что же это! Оказывается, я проповедую! А ведь у меня к этому нет ни малейшей охоты. Вот было бы смешно, если бы я вздумала вас исцелять высокими словами, как ученая девица! Но я в самом деле хочу вытащить вас из вашей ипохондрии, и для этого нужно только, чтобы вы как можно больше времени проводили у нас. Вы же знаете, как этого хочет Гильом. Все мы будем так вас любить, вы увидите, как тесно мы связаны между собой, как радостно трудимся все вместе, и вы обратитесь к живой истине, когда с нами вместе станете

учиться в школе великой матери-природы... Живите, работайте, любите, надейтесь!

Пьер улыбался, слушая ее. Теперь он приходил каждый день. В ней было столько сердечности, когда она с глубокомысленным видом читала ему проповеди. И она была права. В просторной мастерской царилась любовь; чувствовалось, что всем так хорошо быть вместе, так радостно трудиться над общим делом, избрав здоровый, истинный путь. Пьеру становилось неловко, что он ничего не делает; ему хотелось чем-нибудь занять свои мысли и руки, и он сперва заинтересовался гравюрами, над которыми работал Антуан. Почему бы и ему не испытать себя? Но он не получил здесь удовлетворения и быстро убедился, что у него нет таланта и призвания к искусству. Он только что выбрался из бездны заблуждений, в которой потонул, занявшись толкованием текстов, и теперь ему внушали отвращение груды книг, чисто интеллектуальная работа, какую вел Франсуа, и он почувствовал расположение к ручному труду, каким занимался Том *a*, увлекся механикой. Его пленяли господствовавшие там точность и определенность, и он стал подручным молодого мастера, раздувал кузнечные мехи, придерживал клещами кусок железа, которое ковал Том *a*. А временами он исполнял роль лаборанта, надевал поверх сутаны большой синий фартук и помогал брату производить опыты. Таким образом он включился в жизнь мастерской, просто там появился еще один работник.

Как-то раз, в самом начале апреля, на исходе дня, когда вся семья дружно трудилась, Мария, которая вышивала, сидя за рабочим столиком против Бабушки, вдруг подняла глаза, и у нее вырвалось восторженное восклицание:

— О! Посмотрите! Над Парижем льется солнечный дождь!

Пьер подошел к широкому окну. Подобное же явление он наблюдал, когда впервые посетил мастерскую. Солнце склонялось к горизонту, и сквозь легкую пурпурную завесу облаков сеялись тонкие лучи, там и сям зажигая необозримое море крыш. Казалось, какой-то сеятель-гигант, неразличимый в солнечном ореоле, огромными пригоршнями разбрасывал золотые зерна по всему широкому простору.

И Пьер высказал вслух свою мечту:

— Париж засеян солнечными лучами. Взгляните на великое поле, вспаханное незримым плугом. Бурые дома похожи на глыбы земли, а глубокие прямые улицы совсем как борозды.

Мария подхватила его мысль и сразу загорелась:

— Да, да, вы правы!.. Солнце засекает Париж. Смотрите, каким царственным жестом оно бросает семена здоровья и света, и они падают даже на самые отдаленные кварталы! И обратите внимание — как странно! — богатые кварталы, там, на западе, подернуты рыжеватой дымкой, а добрые семена сыплются золотистой пылью на левый берег и на густонаселенные восточные кварталы... Ведь это там — не правда ли? — поднимется нива, которая даст великий урожай!

Все подошли к большому окну и с улыбкой любовались этой символической картиной. И в самом деле, по мере того как полускрытое сетью облаков солнце опускалось над городом, создавалось впечатление, что сеятель вечной жизни широкими ритмичными взмахами рассыпает золотое пламя то сюда, то туда, избирая кварталы, где кипит напряженный труд. Вот пригоршня пылающих семян упала на квартал учебных заведений. Потом рассыпалась другая сверкающая пригоршня, оплодотворяя квартал мастерских и заводов.

— Да, урожай! — весело подхватил Гильом. — Пусть поскорей созреют колосья на богатой почве нашего великого Парижа, вспаханной целым рядом революций, удобренной кровью бесчисленных тружеников! Это самая лучшая земля на свете, именно здесь прорастут семена великой идеи, и она расцветет пышным цветом. Да, да! Пьер прав, солнце засекает Париж, и именно на почве нашего города взрастет будущее мира.

Том *a*, Франсуа и Антуан, стоявшие позади отца, согласились с его словами, кивнув головой, а Бабушка, как всегда, серьезная и величавая, смотрела вдаль, — казалось, она уже созерцала лучезарное будущее человечества.

— Это только мечта, и через сколько веков она осуществится, — вполголоса сказал Пьер, вновь охваченный дрожью. — Это не для нас.

— Ну, что ж, это будет для других! — воскликнула Мария. — Разве вам этого мало?

Эти прекрасные слова глубоко взволновали Пьера. И внезапно ему вспомнилась другая Мария, прелестная Мария, которую он любил в дни юности, получившая исцеление в Лурде, Мария де Герсен, потеряв которую он почувствовал себя навеки опустошенным. Неужели эта вторая Мария, ласково ему улыбавшаяся, это очаровательное существо, такое спокойное и сильное, исцелит его застарелую язву? Он начал возрождаться к жизни с тех пор, как она стала его другом.

И они смотрели, как солнце широкими взмахами разбрасывает живую золотую пыль лучей, засекая Париж семенами, которым суждено в будущем принести урожай справедливости и правды.

Однажды вечером, в конце трудового дня, Пьер, помогая Том *a* , запутался ногами в своей сутане и чуть было не упал.

Мария испуганно вскрикнула и тут же прибавила:

— Почему же вы ее не снимете?

Она сказала это без всякого умысла, просто потому, что его длинное одеяние казалось ей чересчур тяжелым и неудобным для некоторых работ.

Но эта фраза, прямая и ясная, запала Пьеру в душу, и он уже не мог от нее отделаться. Сперва она его только поразила. Потом, ночью, когда он остался один в своем домике в Нейи, он почувствовал, что она его беспокоит. Тревога росла, и вскоре его охватило лихорадочное волнение. «Почему же вы ее не снимете?» В самом деле, ему уже давно следовало бы снять сутану, отчего же до сих пор он не сбросил это одеяние, так тяжело давившее ему на плечи? Началась отчаянная борьба. Он провел ужасающую ночь без сна, к нему вернулись былые мучительные сомнения.

А между тем, казалось, было так просто расстаться с этой одеждой, если он больше не исполнял обязанности священника. Он уже довольно давно не служил мессы, он действительно порвал с прошлым, навсегда отказавшись от священнического звания. Но он всегда мог бы снова отслужить мессу. А между тем Пьер знал, что в день, когда он сбросит сутану, он снимет с себя сан, перестанет быть священником и уже никогда не вернется в церковь. Итак, надо было принять окончательное решение. Часы за часами расхаживал он по комнате в тоске, борясь с самим собою.

Он так мечтал вести суровую, одинокую жизнь! Не верить самому, но, оставаясь целомудренным и честным священником, оберегать чужую веру! Не нарушать своего обета, не пятнать себя постыдным отступничеством и оставаться служителем воображаемого божества, переживая все муки отрицания! Кончилось тем, что его стали почитать как святого, в то время как он все отвергал и был подобен пустой гробнице, из которой пепел унесен ветром. Но теперь его начала беспокоить эта ложь, он испытывал ранее неизвестное ему тяжелое чувство, и ему приходило в голову, что необходимо положить конец такому разрыву между убеждениями и жизнью. Вся его душа была истерзана.

Вопрос стоял перед ним весьма четко. Имеет ли он право оставаться на посту священника, если он больше не верит? Не велит ли ему

элементарная честность уйти от церкви, в которой, по его мнению, нет бога? Догматы были для него лишь ребяческим заблуждением, а он упрямо проповедовал их другим, как вечную истину, и теперь он сознавал, что это низость с его стороны, и испытывал угрызения совести. Напрасно старался он пробудить в себе прежний пыл, пафос милосердия и мученичества, охваченный которым, он готов был принести себя в жертву, вытерпеть все сомнения, сломать и загубить свою жизнь, лишь бы облегчить участь обездоленным, внушить им надежду. Несомненно, истина и природа стали для него так дороги, что ему претила эта роль лживого апостола, и у него уже не хватало духа перед толпой коленопреклоненных верующих, воздевая руки, призывать Иисуса, ибо он знал, что Иисус все равно не спустится с небес. Все потеряло для него цену — и его роль безупречного пастыря, и самоотречение, с каким он упорно выполнял устав и, поддерживая веру в других, сам мучился из-за утраты веры.

Не осуждает ли его Мария за эту закоренелую ложь? И снова ему слышалась ее фраза: «Почему же вы ее не снимете?» Укоры совести все усиливались. Уж наверное она его презирает, она, такая правдивая, такая честная. Он влагал ей в уста все порицания, все неодобрительные толки, какие возбуждало его поведение. И если бы она вздумала его обвинять, он почувствовал бы себя преступником. А между тем до сих пор она ни единым словом не высказала ему своего порицания. Если она и не одобряла его поведения, то, очевидно, не считала себя вправе вмешиваться в его внутреннюю жизнь, полагая, что это дело его совести. Его все время удивляло ее олимпийское спокойствие, ее великодушие и здоровая уравновешенность. Сам он переживал непрерывную агонию, так как его никогда не покидала мысль о неведомом, навязчивая мысль о том, что ждет его после кончины! Целые дни напролет он наблюдал Марию, следил за ней глазами, но ни разу не подметил у нее ни колебаний, ни подавленности. Так было потому, уверяла Мария, что для нее жить — значило радостно трудиться и исполнять свой долг; она всецело поглощена жизнью, и ей просто некогда предаваться мрачным мыслям и нет желания забивать себе голову химерами. Итак, он снимет эту сутану, которая давит на него и жжет ему плечи, ведь Мария спросила его таким спокойным и твердым тоном, почему он ее не снимает.

Но перед рассветом, когда Пьер наконец улегся на кровать, как будто успокоенный принятым решением, внезапно ему словно что-то ударило в голову, он вскочил на ноги и снова оказался во власти нестерпимых мук. Нет, нет! Он не может сбросить это одеяние, оно приросло к его телу!

Срывая сутану, он сдерет с себя кожу, вырвет сердце из груди. Ведь священник на всю жизнь отмечен неизгладимой печатью и поднят высоко над своей паствой! Даже если он сорвет с себя сутану вместе с кожей, он будет все тот же священник, оплеванный и опозоренный, вычеркнутый из жизни, растерянный и беспомощный. Так зачем же это делать? Ведь все равно он останется в тюрьме, а жизнь, протекающая за ее стенами на ярком солнце, деятель-пая и плодотворная жизнь, — не для него! Бессилие! Бессилие! Ему казалось, что оно пронизывает его до глубины, до мозга костей. Пьер чувствовал себя окончательно сломленным. На следующий день он не пошел на Монмартр, так как не мог прийти ни к какому решению, и снова им овладела тоска.

Однако и в этом счастливом доме теперь царил волнение. Гильом не мог справиться с тревогой, он был захвачен делом Сальва, и его возбуждение все возрастало, так как газеты каждое утро подливали масла в огонь. Он был глубоко тронут благородством Сальва, который заявлял, что у него нет сообщников, он во всем признался, но никого не назвал, боясь повредить своим друзьям. Дело носило строго секретный характер, но следователь Амадье, которому оно было поручено, сумел вызвать вокруг него невообразимый шум; в газетах только и было речи что о его особе, о его взаимоотношениях с обвиняемым; приводились всевозможные сообщения, беседы, признания. Благодаря обстоятельным показаниям Сальва Амадье удалось восстановить во всех подробностях картину преступления. Оставалось только неясным, какое взрывчатое вещество было употреблено и как была изготовлена бомба. Если можно было допустить, что Сальва действительно зарядил бомбу у какого-то приятеля, то он, очевидно, лгал, уверяя, что употребил простой динамит, достав его из патронов, украденных товарищами, так как эксперты утверждали, что динамит никогда не вызвал бы подобных разрушений. Несомненно, тут была какая-то тайна, которую не удавалось раскрыть, что и затягивало следствие. Все это вдохновляло прессу, и там ежедневно появлялись самые невероятные истории, самые нелепые сообщения под сенсационными заголовками, благодаря которым расхватывались газеты.

Каждое утро, просматривая газеты, Гильом приходил в ярость. Несмотря на свое презрение к Санье, он все же покупал «Голос народа», как будто его притягивала вся эта грязь, и всякий раз выходил из себя, содрогался от негодования. Впрочем, и остальные газеты, даже обычно столь выдержанный «Глобус», давали совершенно непроверенные сведения и, разглагольствуя в более чем умеренном тоне, приходили к самым несправедливым, прямо-таки возмутительным выводам. Казалось,

пресса задалась целью очернить Сальва, дабы в его лице опорочить анархизм. Вся его жизнь оказывалась цепью преступлений: брошенный родителями, в десять лет он уже шатается по улицам и становится воришкой; потом он — плохой солдат, подвергшийся наказанию в полку за нарушение дисциплины; никуда не годный рабочий, которого выгоняют с заводов, куда он вносит смуту своей агитацией; далее — эмигрант, занимающийся самыми гнусными авантюрами в Америке, где ему приписывались всевозможные преступления, оставшиеся нераскрытыми. Вдобавок он человек глубоко безнравственный: вернувшись во Францию, он вступает в незаконную связь со своей свояченицей, заменявшей мать брошенной им дочке, и сожительствует с ней на глазах у ребенка. Все это преподносилось в невероятно преувеличенном виде, обнажались язвы, но не говорилось ни слова о причинах, их породивших, о среде, которая способствовала развитию болезни. Такая бесчеловечность и несправедливость до глубины души возмущала Гильома, который хорошо знал Сальва — человека с нежным сердцем, своего рода мистика, страстно верившего в утопию, беспомощного в жизни, задавленного и доведенного до такого отчаяния неизбывной нуждой, что он возмечтал о новом золотом веке после разрушения старого мира.

К несчастью, все складывалось против Сальва, так как он сидел в одиночной камере и оказался во власти честолюбивого и светского Амадье. Том *a* сообщил Гильому, что никто из прежних товарищей обвиняемого по заводу Грандидье не окажет ему поддержки. Завод только что начал процветать благодаря производству велосипедов, и с каждым днем дела его шли все лучше и лучше. Говорили, что как только будет создан маленький двигатель, над которым работает Том *a*, Грандидье приступит к массовому выпуску автомобилей. Добившись наконец успеха после долголетних неудач, он решил быть осмотрительным, стал проявлять строгость и рассчитал несколько рабочих, причастных к анархизму, не желая, чтобы дело злополучного Сальва, когда-то работавшего у него, бросило тень на его предприятие. И если он оставил шурина Сальва, Туссена, и его сына Шарля, заподозренного в сочувствии обвиняемому, то лишь потому, что они проработали уже двадцать лет у него на заводе. Их нельзя было выбросить на улицу. Туссен, который только что оправился после болезни, решил, в случае если его вызовут на допрос по делу шурина, давать о нем лишь показания личного характера и сообщить все, что ему было известно о семейной жизни Сальва, женатого на его сестре.

Как-то вечером, вернувшись с завода, где он временами работал над двигателем, Том *a* рассказал, что он видел г-жу Грандидье, несчастную молодую женщину, которая потеряла рассудок от родильной горячки, вызванной смертью ребенка. Муж нежно и преданно ухаживал за ней, и она жила с ним в большом флигеле, рядом с заводом. Он ни за что не захотел поместить ее в психиатрическую больницу, хотя порой у нее бывали ужасные припадки и ему тяжело жилось с этим взрослым ребенком, таким печальным и кротким. Жалюзи всегда были затворены, но на этот раз, к немалому удивлению Том *a*, одно из окон было открыто, и затворница приблизилась к нему, привлеченная ярким солнцем ранней весны. Она простояла там всего минуту, бледное мимолетное видение, вся в белом, прелестная, белокурая, с улыбкой на губах. Служанка поспешила закрыть окно, и особняк снова погрузился в мертвое молчание. В цеху рассказывали, будто уже около месяца не было ни одного приступа — вот почему у патрона такой бодрый, довольный вид и он такой уверенной, твердой рукой управляет заводом, налаживая и расширяя производство.

— Он совсем не злой, — заключил Том *a*, — но ему приходится вести ожесточенную борьбу с конкурентами, и он хочет, чтобы с ним считались. Он говорит, что в наши дни, когда капитал и пролетариат готовы истребить друг друга, пролетариат должен еще быть счастлив, когда капитал оказывается в руках энергичного и благоразумного человека, который не даст рабочим умереть с голоду... И если Грандидье требует суровой расправы с Сальва, то лишь потому, что считает нужным это сделать для острастки.

В этот день, выйдя из ворот завода на улицу Маркаде, где, как в исполинском улье, весь день кипел труд, молодой человек испытал неожиданное потрясение. Он увидел г-жу Теодору и маленькую Селину, которые только что побывали у Туссена, но он не мог дать им даже десяти су. После ареста Сальва все отвернулись от его жены и ребенка, подозревая их в соучастии, их выгнали из убогой каморки, они почти ничего не ели, бродили по городу и жили случайным подаянием. Эти жалкие, беззащитные существа испытывали неслыханную нужду.

— Отец, я сказал им, чтобы они поднялись к нам. Мне пришло в голову, что мы должны уплатить их домохозяину за месяц вперед, чтобы они могли вернуться домой... А, вот и она.

Гильом слушал рассказ Том *a*, внутренне содрогаясь, упрекая себя за то, что он упустил из виду эти два несчастных создания. Обычная трагедия: мужчина куда-то исчез, а женщина с ребенком выброшены на

мостовую и умирают с голоду. Правосудие, карая отца семейства, вместе с ним губит ни в чем не повинные существа.

Госпожа Теодора вошла робко и боязливо, с видом неудачницы, пришибленной жизненными невзгодами. Она почти ослепла, и маленькой Селине приходилось ее вести. Худенькая белокурая малютка была вся в лохмотьях, но ее тонкое, умненькое личико порой освещалось беззаботной детской улыбкой.

Пьер и Мария, присутствовавшие при этой сцене, были глубоко растроганы. Там же находилась и г-жа Матис, мать Виктора, которая помогала Бабушке чинить белье; она ходила в знакомые дома на поденную работу, и это позволяло ей время от времени давать сыну каких-нибудь двадцать франков. Все молчали, один Гильом стал расспрашивать г-жу Теодору.

— Ах, сударь, — пролепетала она, — кто бы мог подумать, что Сальва способен на такое дело! Ведь он такой добрый, такой жалостливый! А между тем все это правда, ведь он сам все рассказал следователю... А я-то говорила всем, что он в Бельгии. По правде сказать, я не очень-то этому верила, но все-таки хорошо, что он не пришел нас проведать, ведь, если бы его арестовали у нас, я бы сошла с ума от горя... Ну, а теперь, раз он попался им в руки, они приговорят его к смерти, это уж наверняка.

Селина, которая с любопытством оглядывала комнату, вдруг воскликнула со слезами на глазах:

— Ах, нет, ах, нет, мамочка! Они ему не сделают ничего дурного.

Гильом поцеловал девочку и продолжал свои расспросы.

— Что вам сказать, сударь? Девчушка еще не может работать, а я потеряла зрение, и теперь никто меня не берет помогать по хозяйству. Ну, ясное дело, мы подышаем с голоду... Правда, у меня есть родня, моя сестра замужем за солидным человеком, чиновником, господином Кретьенно, может быть, вы его знаете. Только он немного чванлив, и я больше не хожу к сестре, чтобы он не устраивал ей сцен. Вдобавок она сейчас прямо в отчаянии, потому что снова оказалась беременной, а это настоящая катастрофа для скромной семьи, где и так уже две девочки... Поэтому я могу обратиться только к своему брату Туссену. Госпожа Туссен неплохая женщина, но теперь она стала совсем другая и все время боится, как бы с мужем опять не приключился удар. На лечение мужа ушли все их сбережения, и что будет с ней теперь, если у нее на руках окажется параличный муж? К тому же на нее свалилась еще одна напасть: ее сын Шарль имел плутовство спутаться со служанкой

виноторговца, у которой от него родился ребенок, и она, конечно, удрала, подкинув ему мальчишку... Ясное дело, им самим живется нелегко. Я на них не сержусь. Они уже не раз давали мне займы по десять су, не могут же они вечно мне их давать.

Кроткая, покорная судьбе, она сетовала только на участь Селины: прямо сердце обливается кровью, глядя на нее, такая шустрая девчушка, так хорошо училась в коммунальной школе, а вот приходится ей бродить по улицам, как нищенке. Конечно, г-жа Теодора понимает, что все их сторонятся из-за Сальва. Туссенны не хотят быть замешанными в эту историю, и только Шарль сказал, что буржуа вытворяют всякие мерзости и не удивительно, если человек наконец вышел из себя и вздумал их взорвать.

— Я ничего не говорю, сударь, ведь я всего только бедная женщина. Но все-таки, если вы хотите знать, что я думаю, так вот я думаю, что Сальва напрасно наделал таких дел, ведь больше всех от этого пострадали мы с дочкой... Знаете, это у меня как-то не укладывается в голове: дочка приговоренного к смерти...

Тут Селина бросилась на шею матери и опять ее прервала:

— Мамочка! Мамочка! Пожалуйста, не говори этого! Не может этого быть! Это слишком ужасно!

Пьер и Мария обменялись взглядом, полным сострадания, а Бабушка встала и поднялась наверх, решив дать этим несчастным немного белья и кое-какое старое платье. Гильом был растроган до слез и проклинал мир, в котором люди так страдают. Он сунул несколько монет в ручонку девочке и обещал г-же Теодоре, что пойдет к домохозяину и уговорится с ним, чтобы он снова пустил их в комнату.

— Ах, господин Фроман! — воскликнула несчастная. — Сальва говорил, что вы добрый человек... И вы сами знаете, что он не какой-нибудь негодяй, ведь он работал у вас несколько дней... Теперь, когда он в тюрьме, все называют его бандитом, и у меня прямо сердце разрывается.

Потом она повернулась к г-же Матис, которая продолжала шить, скромная и незаметная, с видом благонамеренной буржуазии, не интересующейся такими вещами.

— Я знаю вас, сударыня, а главное, знаю вашего сына, господина Виктора, который частенько заглядывал к нам... Не бойтесь, я никому об этом не скажу, уж я никогда никого не подведу. Но если бы господин Виктор мог высказаться, он лучше всех изложил бы мысли Сальва.

Госпожа Матис в испуге и недоумении смотрела на нее. Она была далека от жизни, не знала убеждений сына, и ее приводила в ужас мысль,

что он мог связаться с такого рода людьми. Но она решительно не захотела этому верить.

— О, вы, наверное, ошибаетесь... Виктор говорил мне, что он почти никогда не бывает на Монмартре, он все время разъезжает в поисках работы.

Голос ее дрожал, в нем звучала тревога. Г-жа Теодора сразу поняла, что ей не следовало говорить с этой особой о своих печальных делах, и тотчас же стала униженно извиняться.

— Прошу прощения, сударыня, я не хотела вас обидеть. Может, я и впрямь ошиблась.

Госпожа Матис снова молча принялась за шитье. Казалось, она спешила уйти в себя, в свое одиночество, забиться в глухой закулок жизни, где она прозябала, стараясь скрыть свою нищету, питаясь впроголодь куском хлеба. О, дорогой, обожаемый сын! Хотя он уделял ей мало внимания, она все надежды возлагала на него и мечтала, что на старости лет в один прекрасный день он распахнет перед ней врата счастья.

Бабушка спустилась в мастерскую со свертком старого платья и белья. Г-жа Теодора рассыпалась в благодарностях, и они с Селиной удалились. Гильом молча, наморщив лоб, расхаживал взад и вперед по комнате, не в силах приняться за работу.

На следующий день, когда истерзанный сомнениями Пьер пришел в мастерскую, там появились новые посетители, уже совсем другого рода. Ворвался порыв ветра, вихрь развевающихся юбок, взрывы смеха — это была миниатюрная принцесса Роземонда, которую сопровождал юный Гиацинт Дювильяр, как всегда, подтянутый и холодный.

— Это я, дорогой учитель. Ведь я обещала вас посетить. Я ваша ученица и преклоняюсь перед вашим гением... А это наш молодой друг, который согласился привести меня к вам. Мы только что вернулись из Норвегии, и первый мой визит к вам.

Она поворачивалась во все стороны, непринужденно и грациозно раскланиваясь с Пьером, Марией, Франсуа и Антуаном, находившимися в мастерской.

— О, Норвегия! Дорогой учитель, вы и представить себе не можете, какая это девственная красота! Нам всем нужно бы там побывать, чтобы почерпнуть из этого источника новые идеалы и вернуться оттуда очищенными, помолодевшими, способными на великие жертвы.

В действительности же она там все время мучилась, так как ей не по силам был молочный режим, предписанный ей молодым возлюбленным.

То, что они отправились в свадебное путешествие не в залитую солнцем Италию, а в страну льдов и вечных снегов, безусловно, доказывало их на редкость утонченный вкус и говорило об их возвышенной любви, чуждой всего грубо материального. Это было как бы путешествием душ, и они должны были там обмениваться лишь духовными лобзаниями. Но, на беду, однажды ночью в гостинице, когда он упорно хотел воспринимать ее как воображаемое существо, как некую лилию, символ небесной чистоты, она вышла из себя, схватила хлыст и принялась изо всех сил его стегать. Тут он не выдержал и с яростью ее отколотил. После чего она упала к нему в объятия, и в сладостном изнеможении они отдались друг другу, как самые обыкновенные люди. Проснувшись поутру, она со вздохом разочарования заявила, что не стоило ехать в этакую даль, чтобы испытать столь заурадные ощущения. А Гиацинт не мог ей простить, что из-за нее приняла такой тривиальный оборот их затея, которая должна была принести чисто духовные плоды. Зачем было приезжать сюда и осквернять девственный божественный Север, когда можно было этим заниматься в каком-нибудь французском городе, где уже давно царит пошлость? И на другой же день, чувствуя, что они утратили свою чистоту и уже не достойны созерцать лебедей на озерах мечтаний, принцесса и Гиацинт снова сели на пароход.

Внезапно она прервала свои восторженные излияния на тему о Норвегии: не могла же она признаться в постигшей их горькой неудаче.

— Между прочим, — воскликнула она, — вы знаете, что меня ожидало по возвращении! Мой особняк оказался разграбленным прямо дотла! Вы и представить себе не можете, какой это разгром, как все чудовищно запакощено! Мы сразу же догадались, что это дело рук любимчиков Бергаса.

Накануне Гильом узнал из газет, что банда молодых анархистов, выломав люк в подполье, проникла в маленький особняк принцессы де Гарт, где не было ни души — ни слуг, ни сторожей. Любезные бандиты не только вывезли все вещи, вплоть до тяжелой мебели, но, как видно, прожили в особняке два дня и две ночи, пировали вовсю, пили вина, доставая их из погреба, уничтожали припасы, захваченные ими с собой, и перепачкали все комнаты, оставив омерзительные следы своего пребывания. Войдя в дом, Роземонда была скорее поражена, чем рассержена этим происшествием и сразу же вспомнила вечер в Камере ужасов, где она сидела с Бергасом и двумя его друзьями, Росси и Сан-фотом, которые слышали от нее самой об отъезде в Норвегию. И в самом деле, эти двое только что были арестованы, однако Бергасу удалось

бежать. Она не слишком всему этому удивлялась, так как ее уже предупреждали, и ей было известно, что в салоне, куда она зазывала всяких иностранных оригиналов, среди разношерстной публики попадались ужасные субъекты. Янсен передавал ей всякие грязные истории, героями которых, по-видимому, были Бергас и его банда. На этот раз без всяких колебаний он заявил во всеуслышание, что Бергас вслед за Рафанелем продался полиции, которая и подстроила все это, рассчитывая, что сенсационное ограбление, оставившее такие омерзительные следы, навсегда опорочит анархистов. И разве это не подтверждается тем фактом, что полиция дала удрать Бергасу?

— Я думал, — сказал Гильом, — что газеты преувеличивают... В настоящее время они выдумывают всякие ужасы, чтобы только отягчить судьбу бедняги Сальва!

— О нет, — весело отвечала Роземонда, — они даже не могли все сказать, там неопишуемые мерзости... В связи с этим я перебралась в отель. Тут гораздо лучше, мне уже начал надоедать мой особняк. Во всяком случае, анархизм грязная штука, и я больше не хочу иметь с ним ничего общего.

Она расхохоталась и тут же перепрыгнула на другую тему. Вспомнив о своем новом увлечении, она попросила учителя познакомить ее с его последними работами, ей, конечно, хотелось щегольнуть своей понятливостью. Но Гильом был сильно обеспокоен этой историей с Бергасом и отделялся от Роземонды лишь общими фразами, не выходя за пределы довольно холодной вежливости.

Тем временем Гиацинт возобновил знакомство с Франсуа и Антуаном, своими товарищами по лицею Кондорсе. Он скрепя сердце приехал с принцессой, словно выполнял тяжелую обязанность, приехал только потому, что боялся ее послушаться, с тех пор как она колотила его. Он от всей души презирал домишко этого проклятого химика. Ему захотелось подчеркнуть свое превосходство над школьными товарищами, которые шли проторенной дорожкой и трудились, как вся эта чернь.

— А! Вот как! — процедил он сквозь зубы, глядя, как Франсуа делает выписки из какой-то книги. — Ты поступил в Нормальную школу и, по-видимому, готовишься к экзамену... Ну а я, что поделаешь! — не выношу никаких ошейников! Я сразу тупею, как только являюсь на экзамен или там на конкурс. Бесконечность — вот единственный приемлемый для меня путь... А потом наука, между нами говоря, сплошное надувательство и до того суживает горизонт! Лучше уж оставаться

младенцем, который проникает взором в невидимый мир. Он знает больше ученых.

Франсуа, порой любивший пошутить, насмешливо с ним согласился:

— Конечно, конечно. Но надо иметь известные природные, данные, чтобы остаться на всю жизнь ребенком... К несчастью, я охвачен ненасытной жаждой знания. Как это ни печально, я просиживаю целые дни над книгами, забивая себе голову всякой всячиной. О, я, конечно, никогда не приобрету глубоких познаний, потому-то мне и хочется все больше и больше знать... Согласись, что всякий живет на свой лад, одни работают, другие бездельничают. О, конечно, процесс труда не так уж изящен, ты, наверное, считаешь, что он менее эстетичен, чем безделье.

— Вот именно, менее эстетичен, — подхватил Гиацинт. — Истинная красота всегда невыразима, а реальная жизнь так низменна.

Простоватый, хотя и притязавший на гениальность Гиацинт, по-видимому, все же почувствовал насмешку. Он повернулся к Антуану, работавшему над гравюрой на дереве. То был портрет Лизы, сидящей за книгой; он уже много раз бросал его и снова начинал, пытаясь изобразить пробуждение сознательной жизни в этом ребенке.

— А ты, ты делаешь гравюры... Я отказался от стихов, так и не докончил свою поэму «Конец женщины», потому что слова показались мне бесконечно грубыми, громоздкими и грязными, совсем как камни мостовой, и я решил заняться рисованием, может быть, даже гравюрой... Но какой рисунок может передать тайну, потусторонний мир, единственно существующий мир, который один имеет значение, ведь правда? Каким карандашом его изобразить? На какой доске его передать? Это должно быть нечто неосязаемое, несуществующее, некий намек на сущность вещей и живых созданий.

— А между тем, — грубовато перебил его Антуан, — искусство может только материальными средствами передать то, что ты называешь сущностью вещей и живых созданий, — вернее сказать, общий смысл, по крайней мере, тот, который мы в них вкладываем... Передавать жизнь, о, этого я страстно желаю. И не существует иной тайны, кроме тайны жизни, единой реальности, объемлющей всех существ и все вещи. Когда моя доска оживает, я радуюсь, я что-то создал.

Гиацинт выразил гримасой свое отвращение к плодовитости. Хорошенькое дело! Любой мужлан может дать жизнь ребенку. Как прекрасен и изящен образ бесполого существования, имеющего бытие в самом себе! Он начал было излагать свою мысль, запутался и перешел на другую тему: оказывается, в Норвегии у него окончательно созрело

убеждение, что во Франции больше нет искусства и литературы, они погибли из-за того, что создано и написано слишком много низменного.

— Одно очевидно, — с улыбкой заключил Франсуа, — достаточно ничего не делать, чтобы быть талантливым.

Пьер и Мария смотрели и слушали. Им было не по себе, и их удивляло вторжение этих людей в серьезную и спокойную атмосферу мастерской. Маленькая принцесса была очень приветлива. Она подошла к девушке посмотреть вышивание, которое та кончала, и стала восхищаться необычайной тонкостью работы. Прежде чем уйти, она захотела во что бы то ни стало получить автограф Гильома и заставила Гиацинта для этой цели взять из экипажа альбом. Он повиновался ей с явным неудовольствием, они уже надоели друг другу; но пока ему на смену не пришел другой, она не отпускала его, ей нравилось держать его в страхе. Она заявила учителю, что этот день останется для нее навсегда памятной датой, и увлекла за собой Гиацинта, бросив на прощание слова, вызвавшие у всех улыбку:

— Эти молодые люди знали Гиацинта в лицо... Не правда ли, славный мальчуган? Он был бы совсем мил, если бы захотел жить, как все люди.

В тот же день Янсен и Баш пришли к Гильому на весь вечер. Интимные встречи, имевшие место в Нейи, теперь раз в неделю происходили на Монмартре. В такие дни Пьер очень поздно уходил от брата. Когда женщины и трое юношей поднимались наверх в свои спальни, в мастерской, высоко над ночным Парижем, залитым светом газовых фонарей, еще долго-долго шла беседа. Теофиль Морен явился около десяти часов, он задержался, проверяя ученические сочинения; на нем как на педагоге лежала эта тяжелая и скучная обязанность, и ему случалось просиживать над тетрадками целые ночи напролет.

— Да это сумасшедшая! — воскликнул Янсен, когда Гильом рассказал ему о посещении принцессы. — Одно время, когда я связался с ней, я надеялся использовать ее в наших целях. Она казалась такой убежденной, такой смелой!.. О, на самом деле, это отъявленная сумасбродка, она просто-напросто ищет каких-то новых ощущений.

Он покраснел от возбуждения, утратил свою обычную холодность и позабыл напустить на себя таинственность. Без сомнения, ему нелегко дался разрыв с той, которую он прежде называл маленькой королевой анархии, чье огромное состояние, многочисленные и разнообразные знакомства, казалось, должны были послужить для пропаганды и обеспечить победу анархистам.

— Вы знаете, — продолжал он, успокаиваясь, — ее особняк был разграблен и весь запакощен. Это подстроено полицией... Накануне процесса Сальва решили окончательно погубить анархистов в глазах буржуа.

Гильом сосредоточенно его слушал.

— Да, она говорила мне об этом... Но мне кажется неправдоподобной такая версия. Если бы Бергас действовал только по указке полиции, то его арестовали бы вместе с остальными, как было дело в тот раз, когда одним махом взяли Рафанеля и тех, кого он предал... К тому же я немного знаю Бергаса, это настоящий грабитель.

Голос его звучал глухо, и он жестом выразил свое глубокое огорчение.

— Я, конечно, понимаю всякого рода законные требования, даже готов оправдать какие угодно карательные меры... Но грабеж, наглый грабеж с корыстными намерениями, — нет! — я не могу этого переварить. Это никак не вяжется с моей возвышенной надеждой на прекрасное общество будущего, построенное на справедливости... Ограбление особняка де Гарт прямо меня убивает.

На губах Янсена появилась загадочная улыбка, тонкая и острая, как лезвие ножа.

— Ба! Да это проявление атавизма; в вашем лице протестуют многочисленные поколения предков, воспитанных в известных верованиях. Ничего не поделаешь, придется отнять силою то, чего не желают дать по доброй воле... Но меня злит этот Бергас. Нечего сказать, нашел время продавать себя! Эффектный грабеж даст новую пищу красноречию прокурора, который потребует головы Сальва.

Янсен упрямо отстаивал свое предположение, внушенное застарелой ненавистью к полиции, а может быть, и ссорой с Бергасом, которого он изредка навещал. Этот человек без родины, разъезжающий по всей Европе и мечтающий о кровавой расправе, оставался для всех загадкой. Уклоняясь от спора, Гильом проговорил только:

— О, этот злополучный Сальва! Все валится на него, и он будет раздавлен! Вы и представить себе не можете, друзья мои, до чего возмущает меня эта история! Я прямо не могу выносить всей несправедливости и лжи, о которой слышу каждый день. Это глубоко оскорбляет меня и приводит в отчаяние. Ну конечно же, это безумец! Но он заслуживает всяческого снисхождения. Это, в сущности говоря, мученик! И вот он стал козлом отпущения, на него навьючили все проступки народа, и он должен отвечать за всех нас.

Баш и Морен молча покачивали головой. Им обоим внушал ужас анархизм. Морен совершенно позабыл, что его прежний учитель Прудон первым произнес это слово и даже пытался осуществлять свои идеи, — он помнил только о своем кумире Огюсте Конте, замкнулся вместе с ним в мире наук, где царил идеальный иерархический строй, и готов был покориться какому-нибудь добродушному тирану в ожидании, пока народ, приобщенный к просвещению и умиротворенный, станет достойным счастья. А Баш, этот старый гуманист мистического толка, возмущался чрезмерным индивидуализмом и жестокостью анархистских идей. Он тихонько пожимал плечами и заявлял, что у Фурье можно найти разрешение всех проблем: он предвосхитил будущее человечества, провозгласив союз таланта, труда и капитала. Но и Башу и Морену не нравилась буржуазная республика, при которой так долго приходилось дожидаться реформ. Они уверяли, что над их учением издеваются, что дела идут из рук вон плохо, и дружно негодовали, наблюдая, как представители самых противоположных партий хотят использовать случай с Сальва, чтобы удержаться у власти или чтобы ее захватить.

— Подумать только, — сказал Баш, — этот министерский кризис продолжается уже скоро три недели! Аппетиты разгораются. Прямо омерзительная картина... Вы читали сегодня в газетах, что президент снова решил вызвать Виньона к себе в Елисейский дворец?

— Уж эти мне газеты! — устало проговорил Морен. — Я их больше не читаю... На что они мне? Они так скверно издаются и все врут.

И в самом деле, министерский кризис необычайно затянулся. После заседания парламента, на котором произошло падение кабинета Барру, президент республики сделал соответствующие выводы, с присущим ему тактом пригласил победителя Виньона и поручил ему сформировать новый кабинет. Казалось, это была очень простая задача, которую можно разрешить в каких-нибудь два-три дня; уже давно называли имена приятелей молодого главы радикальной партии, которые должны были вместе с ним прийти к власти. Но внезапно стали возникать всякого рода препятствия. Целых десять дней Виньон боролся с самыми невероятными трудностями и наконец, выбившись из сил и опасаясь повредить своей дальнейшей карьере, решил отступить и сообщил президенту, что отказывается от этой задачи. Президент тотчас же призвал к себе других депутатов, стал собирать сведения, расспрашивать. Наконец нашелся храбрец, который решил сделать новую попытку. И повторилось то же самое: сперва был выдвинут список, который надеялись утвердить через несколько часов, затем начались колебания, препирательства, потом все

стало медленно замирать и кончилось полным провалом. Можно было подумать, что какие-то таинственные и могущественные силы, в свое время парализовавшие все усилия Виньона, снова оказывают противодействие, что работает целая шайка невидимых заговорщиков, с какими-то неведомыми целями срывая начинания политических деятелей. Со всех сторон возникали непреодолимые трудности: вражда на почве зависти, непримиримые разногласия, измены — и все это было сфабриковано в тени, чьими-то ловкими руками; причем оказывали всякого рода давление, пускали в ход угрозы, обещания, разжигали страсти, натравливали одних на других. Президент оказался в большом затруднении, и в конце концов ему снова пришлось вызвать Виньона, который уже собрался с силами, имел в кармане почти готовый список кандидатов и, очевидно, был уверен, что ему удастся за двое суток привести дело к концу.

— Но это еще не конец, — говорил Баш. — Весьма осведомленные лица утверждают, что Виньон потерпит неудачу, как и в первый раз... Вы знаете, я глубоко убежден, что тут орудует банда Дювильяра. В пользу какого господина они действуют, этого я не могу сказать. Но будьте уверены, что в первую очередь им нужно замять скандал с Африканскими железными дорогами... Если бы Монферран не был так скомпрометирован, я стал бы подозревать здесь его интриги. Вы обратили внимание, что «Глобус», который внезапно отступился от Барру, чуть ли не каждый день распространяется о Монферране с симпатией и уважением? Это очень важный симптом, так как Фонсег не имеет обыкновения великодушно защищать побежденных... Наконец, чего можно ждать от этой гнусной палаты депутатов? Там уж наверное готовится какая-нибудь очередная мерзость.

— А этот долговязый дуралей Меж, — подхватил Морен, — устраивает дела всех партий, только не своей! Ну, можно ли быть таким простофилей! Он воображает, что довольно свалить один за другим несколько кабинетов, чтобы создать свой собственный кабинет и стать его главой.

Все присутствующие стали дружно порицать Межа, к которому питали ненависть. Баш, в целом ряде вопросов согласный с проповедником государственного коллективизма, беспощадно осуждал все его речи, все его поступки. Что до Янсена, то он попросту считал Межа реакционным буржуа, которого необходимо в первую очередь смести с лица земли. Все они проявляли одну и ту же странность: порой они воздавали должное своим заклятым врагам, не разделявшим ни одной

из их идей, но обвиняли в самых ужасных преступлениях тех, которые были почти одинаковых с ними взглядов и лишь кое в чем расходились.

Беседа продолжалась. Обсуждали различные системы идей, то сближая их, то противопоставляя одну другой, внезапно переходя от политических вопросов к критике газетных сообщений, то и дело отклоняясь от темы, возмущаясь разоблачениями Санье, чья газета каждое утро заливала Париж все новыми потоками зловонной грязи. Гильом, по своему обыкновению, расхаживал взад и вперед по комнате, погруженный в тягостное раздумье, но при имени Санье он вдруг встрепенулся.

— Ах, этот Санье! Каких только гадостей он не изобретает! Он, кажется, оплевал уже всех и все на свете. Думаешь, что он одних взглядов с тобой, и вдруг он тебя всего забрызгает грязью... Разве он не сообщил вчера, что, когда арестовали Сальва в Булонском лесу, на нем были обнаружены поддельные ключи и кошельки, похищенные у гуляющих! Вечно Сальва! Сколько статей посвящают Сальва! Достаточно напечатать его имя, чтобы стали расхватывать газеты. Сальва — счастливая находка для проходимцев, замаранных в авантюре с Африканскими железными дорогами! Сальва — поле битвы, где решаются судьбы министров! Все пользуются им, и все его убивают.

После этих слов, в которых звучали негодование и жалость, друзья стали расходиться. Пьер сидел у широкого окна, за которым виднелся переливающийся огнями необъятный Париж, часами слушал разговоры, не произнося ни слова. Его раздирали сомнения; в его душе происходила борьба, и он не получал ни помощи, ни облегчения от представителей этих противоречивых учений, готовых разрушить старый мир, но не способных дружными усилиями построить новый мир, основанный на справедливости и правде. И ночной Париж, мерцавший огнями, подобно летнему небу, усеянному мигающими звездами, оставался для него великой загадкой: то был черный хаос, темно-серый пепел, усеянный искрами, из недр которого должна была разгореться заря. Какое будущее созревает там для всей земли? Какие слова разнесутся оттуда по всем концам света, властно возвещая спасение и счастье человечеству?..

Когда Пьер собрался наконец уходить, Гильом положил ему руки на плечи и посмотрел на него долгим взглядом, в котором светился не только гнев, но и глубокая нежность.

— Ах, бедный мой малыш! Ты тоже страдаешь, я наблюдал за тобой все эти дни. Но ведь ты хозяин своей души, ты борешься с собой и можешь победить себя, а вот мир никак нельзя победить, когда в нем —

причина твоих страданий, причина жестокости и несправедливости!. Да ну же, будь молодцом, даже в горе не теряй рассудка — и, поверь, ты успокоишься.

В эту ночь, когда Пьер вернулся в свой домик в Нейи, который посещали только призраки отца и матери, он долго не мог заснуть, в его душе происходила отчаянная борьба. Еще никогда ему не внушала такого отвращения ложь, в которой он жил, этот сан, который стал для него пустой формой, эта сутана, под которой он прятал свое неверие. Все, что он видел и слышал в этот день в мастерской брата, произвело на него сильное впечатление: нищета одних, бесплодные и вздорные порывы других, глубокая потребность в новом, более справедливом общественном строе, проглядывавшая сквозь противоречия и нелепости. Быть может, все это пробудило в нем острую жажду иной жизни, честной, протекающей нормально при ярком дневном свете. Теперь, когда он вспоминал о долгих годах, прожитых как бы во сне, о суровой и одинокой жизни, какую он вел, о своей незаслуженной репутации святого, он весь содрогался от стыда, испытывая угрызения совести, и у него становилось тяжело на душе оттого, что он столько времени лгал. Решено, он больше не будет лгать, даже из сострадания к людям, из желания даровать им возвышенную иллюзию. Но как трудно сорвать с себя сутану, которая словно приросла к нему, и как страшно думать, что он вместе с ней сорвет всю кожу, останется окровавленный, бессильный и никогда уже не станет таким, как все люди!

Всю ночь продолжалась борьба. Пьера терзали сомнения: да примет ли еще его жизнь? Разве не отмечен он навеки роковой печатью одиночества? Ему казалось, что произнесенный им обет выжжен у него на теле каленым железом. Одеваться как все мужчины — зачем это? Ведь он уже больше не мужчина. Он жил до сих пор в каком-то непрерывном трепете, беспомощный и отрекшийся от всего земного, во власти мечтаний и снов. Он больше ничего не может, ничего не может! Эта мысль пронзала его ужасом, и он терял последние силы. И наконец, в порыве отчаяния он принял решение, потому что этого требовала честность.

На следующий день Пьер пришел на Монмартр в брюках и пиджаке темного цвета. Бабушка и молодые люди, не желая его смущать, не выразили удивления ни возгласом, ни взглядом. Разве это не естественно с его стороны? Они встретили его спокойно, как будто ничего не произошло, постарались даже быть приветливее обычного, чтобы подбодрить его. Но Гильом позволил себе ласково улыбнуться. Он считал

это делом своих рук. Как он и ожидал, началось долгожданное выздоровление, и происходило оно в его доме, на ярком солнце, в потоке жизни, вливавшемся в мастерскую сквозь широкое окно.

Мария тоже подняла голову и посмотрела на Пьера. Она и не подозревала, сколько страданий причинили ему ее трезвые слова: «Почему же вы ее не снимете?» И ей попросту подумалось, что в этом костюме ему куда удобнее будет работать, чем в сутане.

— Пьер, пойдите сюда, что я вам покажу... Когда вы пришли, я наблюдала, как ветер отклоняет к западу дымки городских труб. Они совсем как корабли, бесчисленная эскадра, обагренная закатом. Да, да! Золотые корабли, тысячи золотых кораблей отплывают в океан из гавани Парижа и понесут просвещение и мир во все уголки земли.

III

Через два дня Пьер уже привык к своей новой одежде и больше о ней не думал. Но вот однажды утром, поднявшись на Монмартр, он повстречал аббата Роза перед собором Сердца Иисусова.

Старый священник с трудом его узнал в светском платье. Он был потрясен, взял Пьера за руки и долго молча смотрел на него. Глаза его увлажнились слезами.

— О сын мой, — проговорил он, — с вами приключилась великая напасть. Я так этого боялся! Я не говорил вам об этом, но чувствовал, что у вас в душе уже нет бога... Ах, какой ужасный удар вы мне нанесли в самое сердце!

Весь дрожа, он отвел Пьера в сторону, словно боясь привлечь внимание изредка проходивших мимо людей. Силы покинули его, и он опустился на кучу кирпича, оставшуюся в траве после постройки.



Искреннее горе старого друга, так нежно его любившего, взволновало Пьера гораздо сильнее, чем могли бы это сделать упреки и проклятия. У него на глазах тоже выступили слезы — такую боль причинила ему эта встреча, которой ему, впрочем, следовало бы ожидать. Он снова раздирал свое сердце и проливал чистейшую кровь, порывая с этим святым человеком, вместе с которым так долго верил в силу милосердия и надеялся, что доброта спасет мир. Они создавали сообща столько утешительных иллюзий, так дружно боролись со злом, столько приносили жертв и столько раз прощали врагов, в надежде приблизить счастливое будущее! И вот они расстаются, он, человек еще молодой, возвращается в мир живых, покидая старика, который остается один со своими мечтами и тщетными надеждами!

Пьер, в свою очередь, взял аббата за руки и горестно сказал:

— Ах, друг мой, отец мой, я выбрался из ужасной бездны, и мне вас одного жаль потерять. Мне казалось, что я уже выздоровел, но стоило увидеть вас, и у меня прямо разрывается сердце... Прошу вас, не плачьте надо мной, не упрекайте меня за мой поступок. Это было необходимо, и если бы я спросил вашего совета, вы сами сказали бы мне, что лучше снять с себя сан, чем оставаться священником неверующим и бесчестным.

— Да, да, — кротко сказал аббат Роз, — у вас не было веры. Я подозревал об этом и очень тревожился, сидя, что вы проявляете такое рвение и ведете такую праведную жизнь, ведь я догадывался, что в душе у вас отчаяние. Помните, как я, бывало, целыми часами вас утешал. Вы должны выслушать меня, я хочу вас спасти... Увы, я не какой-нибудь ученый теолог и не стану с вами спорить, обращать вас на путь истинный, цитируя Священное писание и ссылаясь на догматы. Но вспомните о милосердии, дитя мое, и только во имя милосердия продолжайте свое служение ближнему, утешая людей и внушая им надежду.

Пьер уселся рядом с аббатом в этом глухом уголке у подножия собора.

— Милосердие! Милосердие! — горячо возразил он. — Когда я убедился в его бессилии и обнаружил его неминуемое банкротство, священник умер во мне... Неужели вы до сих пор еще верите в благотворительность? Ведь вы всю жизнь только и делали, что давали, а какой был от этого толк для вас и для других? По-прежнему царит нищета; бедняков становится все больше, и разве можно сказать, когда окончатся все эти ужасы?.. Вы скажете: награда после смерти, справедливое воздаяние в раю? Ах, разве это справедливость! Это обман, от которого человечество страдает уже долгие века.

И Пьер напомнил аббату, какую жизнь они с ним вели в квартале Шарони, когда подбирали бездомных ребятишек, оказывая помощь их родителям, ютившимся в трущобах. К чему привели все эти героические усилия? Аббат навлек на себя неудовольствие начальства, подвергся своего рода изгнанию, отдалившему его от бедняков, и ему угрожают еще более суровой карой, если он снова вздумает компрометировать религию, слепо, без разбора раздавая милостыню. А теперь, когда за ним наблюдают, его подозревают, разве он не видит, что вокруг него безбрежное море нищеты? Сколько бы он ни давал, будь даже у него в руках миллионы, он только затянул бы этим агонию бедняков, которые, если и получают сегодня кусок хлеба, завтра его уже не получают. Ведь он бессилен. Раны, которые он только что перевязал, тут же вновь

открываются, и вскоре весь социальный организм будет поражен гангреной. Старый священник слушал его, вздрагивая и покачивая седою головой. Наконец он проговорил:

— Что из того! Что из того, дитя мое! Надо давать, все время давать, давать, несмотря ни на что. Это единственная наша радость... Если вам мешают догматы, придерживайтесь только Евангелия — и вы спасетесь делами милосердия.

Тут Пьер в порыве негодования высказал свой протест, забывая, что он разговаривает с простецом, который живет только сердцем и не способен следить за его рассуждениями.

— Опыт показал, что милосердие не в силах спасти человечество. Спасенье только в справедливости. Этого жаждут теперь все народы, жаждут все более и более страстно. Евангелие существует почти две тысячи лет, и за это время обнаружилось его бессилие. Христос ничего не искупил, страдания человечества ничуть не уменьшились, и всюду царит такая же несправедливость. Евангельская мораль теперь уже изжита и не принесет людям ничего, кроме волнений и вреда. Надо освободиться от нее.

Таково было убеждение Пьера. Какую страшную ошибку совершили люди, избрав законодателем общественной жизни Христа, который жил в другой социальной среде, на другой земле, в другие времена! И если даже сохранить из его морали и учения лишь то, что можно назвать общечеловеческим и вечным, опять-таки небезопасно воплощать в жизнь эти незыблемые принципы в различных странах и в различные века. Ни одно общество не сможет существовать, если будут соблюдать евангельские заветы. Христос разрушитель всякого порядка, всякого труда, всякой жизни. Он отвергает женщину и землю, отвергает вечную природу, извечную способность производить как в мире вещей, так и среди живых существ. Впоследствии на этих основах было построено чудовищное здание католицизма, который воцарился, устрашая и угнетая людей. Первородный грех, эта ужасная наследственность, накладывает свою печать на каждого человека, причем его пагубное действие не смягчается, наперекор утверждениям пауки, ни воспитанием, ни влиянием среды и обстоятельств. Не существует более мрачного представления о человеке: с самого рождения он оказывается в плену у дьявола и обречен бороться с самим собой до самой смерти. Безнадежная, бессмысленная борьба! Ведь речь идет о том, чтобы в корне изменить всю человеческую природу, убить плоть, убить рассудок, подавить все страсти, которые почитаются преступными, преследовать дьявола до

глубин морских, на горах и в лесах и вместе с ним убить все воспроизводящие силы природы. Земная жизнь — это вместилище греха, это ад, полный искушений и мук, через который надо пройти, дабы заслужить небесное блаженство. Католицизм — верный пособник полиции, орудие деспотизма, религия смерти, которую можно было терпеть только потому, что она проповедовала милосердие, но ей неизбежно придет конец, так как народы жаждут справедливости. Жалкий обманутый бедняк уже больше не верит в рай, он хочет, чтобы каждый получал по заслугам здесь, на земле; вечная жизнь возрождается в образе благой богини, земная любовь и труд становятся законом бытия, женщина-мать вновь обретает уважение, бессмысленный кошмар ада рассеивается, уступая место могучей, вечно рождающей природе. Ясный латинский ум в союзе с современной наукой разбивает в прах древнюю семитическую евангельскую мечту.

— Вот уже восемнадцать столетий, — заключил Пьер, — как христианство задерживает человечество на его пути к правде и справедливости. Человечество продолжит свою эволюцию, только когда упразднит эту религию, когда Евангелие больше не будет для него абсолютным мерилom истины и добра, а лишь одной из философских книг.

Аббат Роз воздел к небу дрожащие руки.

— Молчите, молчите, мой мальчик, вы богохульствуете!.. Я знал, что вас мучают сомнения, но я считал, что вы готовы терпеливо выносить страдания, покорились судьбе и пойдете по пути самоотречения. Что же это с вами стряслось, что вы так резко порвали с церковью? Я вас больше не узнаю. Вами овладела какая-то страсть, вас увлекает какая-то непреодолимая сила! Что же это такое? Что могло так на вас повлиять?

Пьер слушал его в изумлении.

— Да нет же, уверяю вас, я такой же, каким был и прежде. Это давно во мне назревало, и вот наступила неизбежная развязка... Кто мог оказать на меня влияние, когда ни один человек не вошел в мою жизнь? Какое чувство могло мною овладеть, когда, вглядываясь в свою душу, я не вижу в ней ничего нового? Я все тот же, безусловно все тот же.

Но в голосе его звучало некоторое сомнение. Правда ли, что с ним ничего не произошло? Он снова задавал себе этот вопрос, но не получал ясного ответа, ничего не мог в себе обнаружить. Это было лишь сладостное пробуждение. Он испытывал беспредельную жажду жизни, потребность широко распахнуть объятия и заключить в них все живое,

весь мир. Он чувствовал, что его подхватил и куда-то уносит радостный вольный ветер.

Аббат Роз был слишком наивен, чтобы понять, в чем дело. Он покачивал головой, усматривая здесь козни дьявола. Отступничество его мальчика, как он называл Пьера, удручало его. Но он продолжал увещевать молодого человека и весьма некстати посоветовал Пьеру повидаться с монсеньером Март *a*, открыть ему свою душу: старик надеялся, что авторитетный прелат найдет нужные слова и вернет заблудшего на путь веры. Но Пьер заносчиво отвечал, что уходит из церкви именно потому, что встретил там этого мастера лжи, этого деспота и бесчестного церковного дипломата, который мечтает хитростью привлечь людей к богу. Аббат Роз в полном отчаянии вскочил на ноги и прибег к последнему аргументу — указал Пьеру жестом на встававший перед ними недостроенный собор, гигантский тяжеловесный куб, еще не увенчанный куполом.

— Это дом божий, дитя мое. Здесь происходит искупление, побеждается зло, приносится покаяние и подается прощение. Вы совершали здесь мессу, и вы покидаете это святилище, как клятвопреступник и святотатец.

Пьер тоже встал. И он ответил вдохновенно, полный здоровья и жизненных сил:

— Нет, нет! Я уйду по доброй воле, как выходят из погреба на свежий воздух, на яркое солнце. Там нет бога. Там бросают вызов рассудку, правде, справедливости. Этому зданию нарочно придали гигантские размеры. Это цитадель бессмыслицы, вздымающаяся высоко над Парижем и бросающая ему дерзкие угрозы.

Увидав опять слезы в глазах старого священника, Пьер почувствовал, что вот-вот разрыдается, — так болезнен для него был этот разрыв, ему хотелось бежать.

— Прощайте, прощайте!

Но аббат Роз обнял его, целуя, как заблудшую овечку, самую дорогую его сердцу.

— Не надо, не надо говорить «прощайте», мой мальчик! Скажите мне: «До свидания!» Скажите, что мы еще встретимся среди плачущих и голодных! Сколько бы вы ни говорили, что милосердие потерпело крах, — разве нас с вами не связала навеки наша любовь к беднякам?..

Пьер, подружившись со своими племянниками, этими рослыми молодцами, в несколько уроков научился ездить на велосипеде, чтобы кататься с ними по утрам. Уже два раза он ездил с ними и с Марией к

Энгиенскому озеру по дорогам, вымощенным булыжником. Однажды утром девушка решила прокатиться с ним и с Антуаном до Сен-Жерменского леса. Но в последний момент Антуан не смог поехать. На Марии были короткие штаны из черной саржи и такая же курточка, из-под которой виднелась шелковая кремовая блузка. Апрельское утро было такое ясное и заманчивое, что она воскликнула:

— Ну, что ж! Я беру вас с собой, мы поедем вдвоем!.. Я непременно хочу, чтобы вы испытали, как это чудесно нестись по гладкой дороге среди высоких деревьев.

Но так как Пьер был еще не слишком опытным велосипедистом, они решили, что поедут по железной дороге до Мезон-Лафитта, захватив с собой велосипеды. Потом проедут на велосипедах до леса, пересекут его и поднимутся к Сен-Жермену, откуда вернутся в Париж опять-таки по железной дороге.

— Вы вернетесь к завтраку? — спросил Гильом. Его забавляла эта эскапада, и он с улыбкой смотрел на брата, который был весь в черном — в черных шерстяных чулках, коротких штанах и куртке из черного шевиота.

— Ну конечно, — отвечала Мария. — Сейчас еще около восьми, у нас времени хоть отбавляй. Впрочем, садитесь без нас за стол, мы тут же подыдем.

Утро было восхитительное. Вначале Пьеру представлялось, что он едет с добрым товарищем, и казалась вполне естественной эта прогулка, эта поездка вдвоем в теплых лучах весеннего солнца. Почти одинаковая одежда, не стеснявшая движений, как-то сближала их; им было весело, и они чувствовали себя легко и непринужденно. К этому примешивалось еще другое: свежий бодрящий воздух, наслаждение быстрой ездой, радостное сознание своего здоровья, свободы и близости к природе.

Когда они очутились одни в пустом вагоне, Мария ударилась в воспоминания о днях, проведенных в лицее.

— Ах, друг мой, вы и представить себе не можете, с каким увлечением там, в Фенелоне, мы бегали взапуски! Мы подвязывали, вот так, юбки шнурками, чтобы легче было бежать; ведь нам еще не разрешали надевать штанишки, какие теперь на мне. Мы кричали, пускались во весь опор, бешено рвались вперед, волосы у нас разлетались, и мы становились красные, как пион... Ба! Это не мешало нам крепко работать, — совсем наоборот! На уроках мы соревновались, как и во время перемен, каждой из нас хотелось знать больше других, и мы боролись за первенство.

Вспоминая об этом, она от души смеялась. Пьер с восхищением смотрел на нее, — она была такая свежая, розовая, и ей так была к лицу черная фетровая шляпка, приколотая серебряной булавкой к густому шиньону. Ее великолепные черные волосы были зачесаны кверху, и виднелся затылок, белый и неявный, как у ребенка. Еще никогда не казалась она ему такой сильной и гибкой, у нее были крепкие бедра, широкая грудь, притом удивительное изящество, грация движений. Когда она смеялась, глаза у нее так и искрились весельем, а рот и подбородок, которые были чуть тяжеловаты, выражали беспредельную доброту.

— О, эти штанишки, эти штанишки! — весело говорила она. — И подумать только, есть женщины, которые непременно хотят кататься на велосипеде в юбке!

Пьер заметил, что ей очень к лицу такой костюм, причем он вовсе не желал сказать комплимент, просто высказал свое наблюдение.

— О, я не в счет!.. — возразила она. — Ведь я не из хорошеньких, я здорова, вот и все... Но вы поймите только! Женщинам предоставляется исключительный случай одеться поудобнее; они могут лететь как птицы, освободив ноги, которые у них вечно связаны, — и вдруг они отказываются! Они воображают, что им больше идут короткие, как у школьниц, юбки, но они ошибаются! А что до стыдливости, то, мне думается, лучше показывать свои икры, чем плечи.

У нее вырвался озорной жест школьницы.

— А потом, разве думаешь об этом, когда катишься?.. Тут штанишки как раз хороши, а юбка — суцкая ересь.

В свою очередь, она поглядела на него, и в этот миг ее поразило, до чего он изменился с тех пор, как она увидела его в первый раз: он был тогда такой мрачный, в длинной сутане, исхудалый, бледный, с печатью страдания на лице. Чувствовалось, что в душе у него пустота, как в гробнице, из которой даже пепел унесен ветром. А теперь он казался обновленным, лицо его посветлело, высокий лоб словно излучал спокойствие и надежду, в выражении глаз и губ сквозила какая-то доверчивая нежность, присущая ему жажда любви, отдачи себя и жажда жизни. Теперь ничто не выдавало в нем священника, только волосы были несколько короче на месте тонзуры, которая уже почти не проглядывала сквозь их гущу.

— Почему вы на меня смотрите? — спросил он.

Она отвечала со всей искренностью:

— Я смотрю и радуюсь, до чего вам на пользу работа и свежий воздух! Теперь вы мне куда больше нравитесь. У вас был такой скверный

вид! Я думала, что вы больны.

— Так оно и было, — ответил он просто.

Но вот поезд остановился в Мезон-Лафитте. Они вышли из вагона и сразу же поехали по дороге, которая вела к лесу. Она слегка поднималась в гору, до самых Мезонских ворот, у которых в рыночные дни теснились повозки крестьян.

— Я поеду вперед, хорошо? — весело крикнула Мария. — Ведь вы еще не любите встречаться с экипажами.

Она ехала на велосипеде перед ним, тоненькая и стройная, выпрямившись на седле. Временами она оборачивалась и с доброй улыбкой смотрела, следует ли он за ней. Когда они обгоняли экипаж, она ободряла его, распространяясь о достоинствах их велосипедов, выпущенных заводом Грандидье. Это была «Лизетта», широко распространенная марка. Над этими велосипедами работал Том *a*, улучшая их конструкцию. Они быстро раскупались в магазинах удешевленных цен по сто пятьдесят франков за штуку. Пожалуй, они с виду тяжеловаты, зато отличаются замечательной прочностью и очень надежны. Настоящие дорожные машины, говорила она.

— А вот и лес. Подъем кончился, и сейчас мы поедем по прекрасным аллеям. Там катишься, как по бархату.

Пьер нагнал ее. Они ехали рядом, с равномерной быстротой, по широкой прямой дороге между двумя стенами величавых деревьев. Завязалась дружеская беседа.

— Видите, я уже уверенно чувствую себя в седле. Право же, вы вскоре сможете гордиться своим учеником.

— Я в этом не сомневаюсь. Вы очень крепко сидите и скоро будете ездить лучше меня. Ведь в этом спорте женщина никогда не сравняется с мужчиной... Но все-таки для девушки велосипед прекрасное средство воспитания.

— То есть как это?

— О, на этот счет у меня свои убеждения... Если когда-нибудь у меня будет дочь, я с десяти лет посажу ее на велосипед, чтобы она приучалась к самостоятельности.

— Система воспитания, основанная на опыте...

— Ну конечно... Посмотрите-ка на взрослых девушек, которых мамы не отпускают ни на шаг от своих юбок. Их постоянно запугивают, не дают проявлять инициативу, не развивают в них ни ума, ни воли. Они даже не решаются одни перейти через улицу, им на каждом шагу мерещатся опасности... А вот посадите совсем юную девчущку на

велосипед, и пусть себе одна разъезжает по всем дорогам. Волей-неволей ей придется глядеть во все глаза, чтобы не налететь на камень, чтобы вовремя сделать поворот. Прямо на нее мчится экипаж, встречается какая-нибудь опасность, и ей надо мгновенно принять решение, повернуть руль твердой рукой и в нужную сторону, если она не хочет быть изувеченной. Разве все это не закаляет непрестанно волю и не приучает к самообладанию и самозащите?

Он засмеялся.

— Тогда все вы будете уж чересчур здоровые.

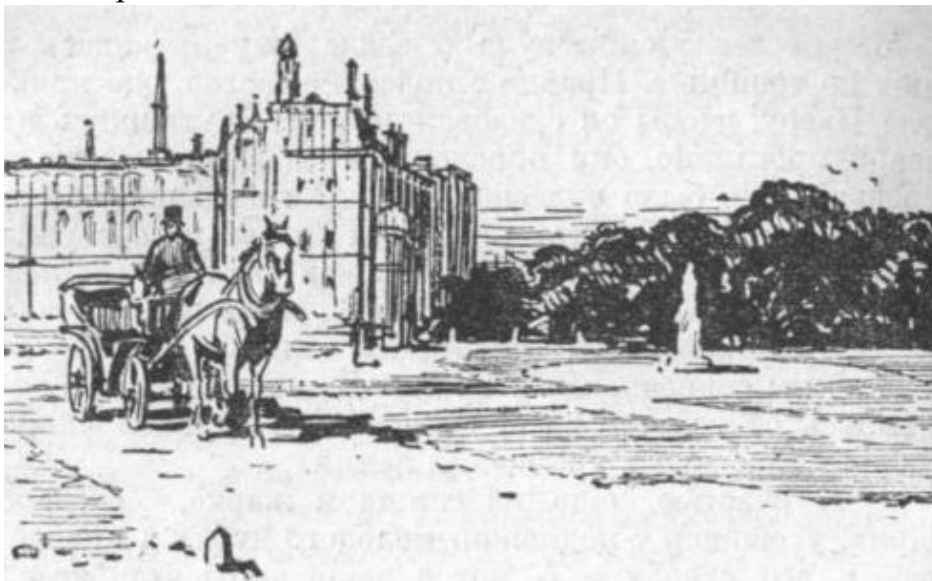
— Ну разумеется, надо быть здоровыми. Прежде всего необходимо крепкое здоровье, чтобы быть добрыми и счастливыми... Но я полагаю, что девушки, которые научатся объезжать камни на дороге и делать быстрые, ловкие повороты, и в своих взаимоотношениях с людьми, и в области чувств сумеют преодолевать трудности, принимать благоразумные решения, будут руководствоваться рассудком и действовать открыто, честно и осмотрительно. Воспитание в том и заключается, чтобы дать человеку знания и развить в нем волю.

— Так, значит, велосипед орудие эмансипации женщины?

— Боже мой! Почему бы и нет? Это кажется смешным, а между тем посмотрите, какой путь уже проделан нами: короткие штаны не связывают движения ног; совместные прогулки сближают женщину с мужчиной и делают ее равной ему; жена и дети повсюду следуют за мужем; добрые товарищи, вроде нас с вами, могут ездить по полям и лесам, и это никого не удивляет. А самым замечательным достижением будут воздушные и солнечные ванны на лоне природы, возврат к нашей общей матери-земле, которая станет для всех неисчерпаемым источником сил и новой радости!.. Смотрите, смотрите! Разве не прекрасен этот лес, через который мы с вами проезжаем? Как сладко вдыхать этот живительный воздух! Как это очищает вас, успокаивает и дает силы!

И в самом деле, лес, безмолвный в будничном дне, дышал невыразимой прелестью. Справа и слева темнела чаща, обрызганная золотыми бликами. Стоявшее еще невысоко солнце освещало лишь одну сторону дороги, зажигая зеленую завесу листвы, а другая сторона тонула в тени, и там зелень казалась почти черной. Как восхитительно было лететь подобно ласточке, реющей низко над землей, но этой царственной аллее, вдыхая свежий воздух, напоенный запахом трав и листвы, чувствуя, как ветер бьет в лицо! Они едва касались земли колесами. Казалось, у них выросли крылья, и они неслись в едином порыве сквозь полосы света и

тени, по этому огромному трепещущему лесу, с его мхами, ручьями, зверями и ароматами.



На

перекрестке Круа-де-Нуай Мария не захотела остановиться. Там по воскресеньям чересчур людно, а она знает укромные уголки, где можно чудесно отдохнуть. Когда они стали приближаться к Пуасси и начался спуск, Мария подстрекнула Пьера, и они понеслись во весь дух. Как упоительно мчатся с быстротой вихря, сохраняя равновесие! Дыхание захватывает, серая дорога убегает из-под ног, а деревья по обеим ее сторонам разворачиваются, как пластинки веера. Ветер дует навстречу с ураганной силой. Ты мчишься вперед к горизонту, в беспредельную даль, которая неизменно отступает перед тобой. В сердце сладостная надежда, сброшены все оковы, и ты, как молния, прорезаешь простор. Ничто не может сравниться с этим восторгом, когда душа улетает в синее небо.

— Знаете что, — крикнула Мария, — мы не поедem в Пуасси, а повернем налево.

Они поехали по направлению к Аршер-о-Лож по уютной тенистой дороге, которая, сужаясь, поднималась в гору. Они замедлили ход, и приходилось крепко нажимать на педали, лавируя среди камней. Стало труднее ехать по песчаной дороге, размытой недавно прошедшими ливнями. Но разве усилия сами по себе не доставляют удовольствия?

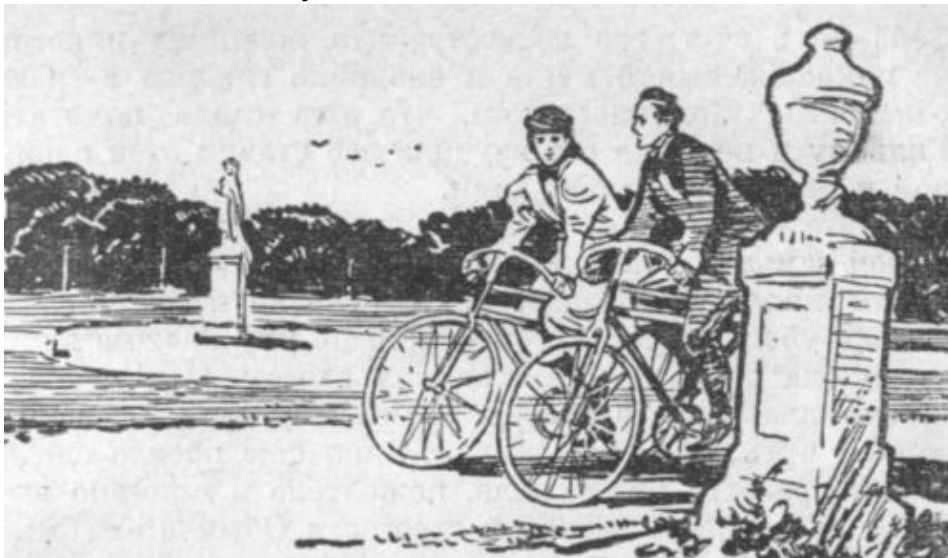
— Вы скоро освоитесь. Так приятно побеждать препятствия... Я ненавижу слишком уж гладкие, накатанные дороги. Когда встречается небольшой подъем, от которого не слишком устают ноги, — это приятная неожиданность, это подхлестывает тебя и возбуждает... А потом, как

хорошо чувствовать свою силу и мчаться, несмотря на дождь и ветер, преодолевая подъемы!

Он восхищался ее жизнерадостностью и мужеством.

— Ну, что ж, — спросил он, смеясь, — мы с вами отправляемся в путешествие вокруг Франции?

— Нет, нет! Мы уже приехали. Ну как, вы ничего не имеете против передохнуть? Право же, стоило немного потрудиться, чтобы попасть в такой тихий тенистый уголок, где так славно можно посидеть.



Мария

легко спрыгнула с седла и направилась в чащу по тропинке. Пройдя с полсотни шагов, она крикнула Пьеру, чтобы он следовал за ней. Очутившись на тесной прогалине, они прислонили свои велосипеды к деревьям. Это было чудесное зеленое гнездышко, о каком только можно мечтать. Со всех сторон их обступил великолепный, царственно величавый безмолвный лес. Весна одарила его вечной юностью; легкая девственная листва оплетала ветви тончайшим зеленым кружевом, осыпанным солнечными искрами. Дыхание жизни поднималось от сочных трав, долетало из дальней чащи, опьяняя властными ароматами земли.

— К счастью, еще не слишком жарко, — сказала Мария, усевшись у подножия молодого дубка и прислонясь к его стволу. — А вот в июле дамы становятся красноватыми от жары, и с потного лица сходит пудра... Нельзя же быть всегда красивой.

— Мне ничуть не холодно, — заявил Пьер, расположившись у ее ног и вытирая пот со лба.

Она улыбнулась и сказала, что еще никогда не видела его таким свежим. Оказывается, и у него в жилах бежит кровь, это видно. Они стали

болтать, как дети, как добрые товарищи, невинно шутя и смеясь, забавляясь всякими пустяками. Она беспокоилась о его здоровье, не хотела, чтобы он сидел в тени, ведь он так разгорячился. Чтобы ее успокоить, ему пришлось пересесть, выставив спину на солнце. Потом он спас ее от паука, от крупного черного паука, запутавшегося лапками у нее в волосах, которые капризно вились на затылке. Как настоящая женщина, она пронзительно вскрикнула от ужаса. Ну, не глупо ли бояться пауков? Она побледнела и дрожала, хотя и старалась взять себя в руки. Наступило молчание. Они смотрели с улыбкой друг на друга. Им было так хорошо вдвоем в этом весеннем лесу. Их связывала трогательная дружба. Им казалось, что они относятся друг к другу как брат и сестра; ей доставляло радость опекать его, а он был благодарен Марии, сознавая, что обязан ей своим исцелением, своим здоровьем, которое она ему дарила. Но они не опускали глаз, и ни разу их руки не встретились, когда они шарили в траве: оба они были чисты и невинны, как окружавшие их высокие дубы. Она не позволила ему убить паука, так как ее ужасало уничтожение живых существ. Затем она стала спокойно и рассудительно говорить о самых разнообразных предметах. Чувствовалось, что эта девушка много знает, ни при каких обстоятельствах не растеряется в жизни и всегда будет осуществлять лишь свою волю.

— Пойдите, — воскликнула вдруг она, — да ведь нас ждут дома к завтраку!

Они встали и вернулись на дорогу, ведя свои велосипеды. Они быстро покатали, проехали мимо сторожек и прибыли в Сен-Жермен по великолепной аллее, которая идет от самого замка. Им так нравилось снова нестись бок о бок, подобно дружной парочке птиц, летящих с одинаковой скоростью. Позванивали звоночки, тихонько позвякивали цепи. И на свежем ветру они продолжали свою беседу, такую искреннюю и непринужденную, словно они были одни во всем мире и уносились в какую-то безбрежную даль и высоту.

Потом, когда они сидели в вагоне и ехали из Сен-Жермена в Париж, Пьер заметил, что Мария вдруг залилась густым румянцем. С ними в купе сидели две дамы.

— Ну, а теперь я вижу, вам жарко.

Она стала протестовать. Казалось, она чего-то стыдилась, потому что ее щеки пылали все жарче.

— Мне совсем не жарко. Вот потрогайте мои руки... Ну, не смешно ли так краснеть без всякого повода?

Он понял, что это приступ бессознательной девичьей стыдливости, заставляющей Марию краснеть. Она с досадой уверяла, что краснеет без всякой причины. Она и не подозревала, что сердце ее учащенно билось, то самое сердце, которое там, в лесной тишине, почивало сном невинности.

На Монмартре Гильом после отъезда детей (так он называл Пьера и Марию) принялся работать над таинственным взрывчатым веществом, которое хранилось в гильзах, спрятанных наверху, в спальне Бабушки. Это была очень опасная процедура: стоило допустить малейшую оплошность, не повернуть в нужный момент кран, и произошел бы страшный взрыв, который уничтожил бы дом со всеми его обитателями. Поэтому он предпочитал работать в одиночестве, чтобы не подвергать опасности других и чтобы никто не отвлекал его внимания. Однако на этот раз все трое сыновей трудились в просторной мастерской, а Бабушка, как всегда, спокойно шила, сидя возле химической печи. Но она была не в счет; эта мужественная женщина никогда не покидала своего места и спокойно глядела в глаза опасности. Кончилось тем, что она стала помогать Гильому и не хуже его изучила все стадии этой сложной и рискованной операции.

В это утро Гильом был чем-то озабочен, и Бабушка, в свои семьдесят лет чинившая белье без очков, по временам поднимала глаза, но, бросив на него быстрый взгляд, убеждалась, что он ничего не упускает из виду, затем она вновь принималась за работу. Она никогда не снимала черного платья; все зубы у нее были целы, волосы чуть тронуты сединой; лицо еще носило следы былой красоты, но высохло, пожелтело и приняло выражение какой-то ласковой строгости. Обычно она была скупа на слова, никогда не вступала в споры; все время занятая делом, она управляла всем домом и в случае нужды давала благоразумные советы, проявляя незаурядное мужество и волю. О ее мыслях и желаниях можно было узнать только из ее кратких ответов, в которых сказывалась справедливая и героическая душа.

Последнее время она стала еще молчаливее и целыми днями хлопотала по хозяйству в доме, где была полновластной хозяйкой, наблюдая прекрасными задумчивыми глазами за своим народом — тремя внуками, Гильомом, Марией и Пьером, которые безоговорочно ей повиновались, как своей законной королеве. Может быть, она уже предвидела близкие перемены, события, о которых вокруг нее никто не подозревал и не помышлял? Она стала еще серьезней, словно предвосхищая недалекое будущее, когда понадобится ее благоразумие и прибегнут к ее авторитету.

— Будьте внимательны, Гильом, сегодня вы что-то рассеянны, — сказала она наконец. — У вас какая-то неприятность, тяжело на душе?

Он посмотрел на нее, улыбаясь.

— Никакой неприятности, уверяю вас... Я думал о нашей милой Марии. Ей так хотелось прокатиться по лесу в этот яркий день.

Антуан поднял голову, на минуту оторвавшись от работы, между тем как его братья продолжали трудиться.

— Как досадно, что мне приходится заканчивать эту гравюру! Я с таким удовольствием проехался бы с ней.

— Ба! — спокойно сказал отец. — С нею Пьер, а Пьер — человек осторожный.

С минуту Бабушка вглядывалась в него, потом снова принялась за шитье. Благодаря своей неустанной заботливости, благоразумию и властной доброте она царила в этом доме, и перед ней склонялись и старые и малые. Родившись в протестантской семье, она со временем освободилась от религиозных верований, не подчинялась никаким общественным условностям, всегда и во всем руководствовалась идеалом человеческой справедливости и чтит ее именно потому, что сама долгое время страдала от людской несправедливости, которая и свела в могилу ее мужа. Она проявляла незаурядное мужество, презирая предрассудки и сознательно выполняя до конца свой долг. В свое время она жила для мужа, потом для дочери Маргариты, а впоследствии посвятила жизнь зятю и внукам — Гильому и его сыновьям. Теперь и Пьер, за которым она вначале недоверчиво наблюдала, вошел в их семью, получил права гражданства в счастливом мирке, которым она повелевала. Как видно, она признала его достойным. Она не имела обыкновения говорить, что именно побуждает ее принять то или иное решение. Долгое время она молчала, потом как-то вечером кратко сказала Гильому: «Вы хорошо сделали, что привели своего брата».

Около двенадцати Гильом воскликнул, не отрываясь от работы:

— Смотрите-ка, дети еще не вернулись. Подождем их немного и вместе с ними сядем за стол... Мне хотелось бы закончить.

Прошло еще четверть часа. Молодые люди прекратили работу и пошли в сад вымыть руки.

— Что-то Мария сильно запаздывает, — заметила Бабушка. — Лишь бы с ней ничего не случилось!

— О, она великолепно ездит, очень уверенно чувствует себя на велосипеде, — отвечал Гильом. — Я скорее беспокоюсь за Пьера.

Бабушка снова устремила взгляд на Гильома.

— Она уж наверно им руководит, они теперь хорошо ездят вдвоем.

— Конечно... А все-таки мне хотелось бы, чтобы они поскорей вернулись.

В эту минуту Гильому показалось, что он слышит велосипедные звонки.

— Это они! — воскликнул он, в порыве радости бросил свою печь и побежал в сад им навстречу.

Оставшись одна, Бабушка продолжала спокойно шить, не думая о том, что рядом с ней в аппарате заканчивается процедура изготовления порошка. Две минуты спустя Гильом вернулся, говоря, что он ошибся. Бросив взгляд на печь, он вдруг побледнел как смерть. Как раз во время его отсутствия наступил момент, когда следовало повернуть кран, чтобы благополучно закончилась реакция; а теперь через секунду-другую произойдет ужасающий взрыв, если смелая рука не повернет кран. Впрочем, слишком поздно, — человек, который на это отважится, будет мгновенно убит.

Уже неоднократно во время работы Гильом рисковал жизнью, сохраняя при этом полное самообладание. Но на этот раз он застыл на месте, не в силах сделать ни шага, охваченный страхом смерти. Он весь дрожал, что-то бессвязно бормотал в ожидании взрыва, который вот-вот разнесет в щепки весь их дом.

— Бабушка, Бабушка... Аппарат, кран... Кончено, конечно, конечно...

Старуха подняла голову, все еще не понимая, в чем дело.

— Что такое? Что с вами?

Увидав, что он, обезумев от ужаса, пятится назад, она взглянула на печь и вдруг поняла, какая им грозит опасность.

— Ну, что ж, это очень просто... Надо только закрыть кран, так ведь?

Не спеша, с невозмутимым видом, она положила шитье на столик, встала, подошла к аппарату и легкой, не дрогнувшей рукой повернула кран.

— Вот и все... Почему же вы, друг мой, не сделали это сами?

Он растерянно следил за ней глазами, оцепенев от ужаса, словно чувствуя дыхание смерти. Но вот кровь снова прилила к его щекам, он понял, что спасен, и, подойдя к теперь уже безобидному аппарату, вздохнул с облегчением. Он все еще вздрагивал и никак не мог опомниться от страха.

— Почему я его не закрыл? Да потому, что я испугался.

В этот момент вошли Мария и Пьер, довольные прогулкой, оживленно разговаривая и смеясь, внося с собой радость солнечного утра. Трое братьев — Том *a*, Франсуа и Антуан, — вернувшись из сада, принялись их поддразнивать: уж наверное Пьер сражался с коровой и прокатился по овсам. Но, увидев взволнованное лицо отца, все встревожились.

— Дети мои, сейчас я крепко струсил... О, это любопытное чувство — трусость, до сих пор я его еще не испытывал.

И он рассказал о грозившей им катастрофе, о своем смертельном испуге и о том, как Бабушка своим хладнокровием спасла их всех от неминуемой смерти. Она слегка отмахивалась рукой, словно хотела сказать, что нет никакого героизма в том, чтобы повернуть кран. Но на глазах у юношей выступили слезы, и все трое, один за другим, подошли к Бабушке и расцеловали ее с каким-то благоговением, выражая этой лаской свою благодарность и глубокое уважение. С младенческих лет они получали от нее все необходимое, а теперь она подарила им еще и жизнь. Мария, в свою очередь, бросилась к ней в объятия и растроганно, с благодарностью целовала ее. Одна Бабушка не плакала, успокаивала всех, уверяла, что они преувеличивают, и взывала к благоразумию.

— А сейчас, — проговорил Гильом, который уже пришел в себя, — вы позволите мне тоже вас расцеловать, ведь я вам так обязан?.. И Пьер тоже вас поцелует, потому что теперь вы к нему так же хорошо относитесь, как и ко всем нам.

Когда наконец сели завтракать, Гильом опять заговорил о своем испуге, который так его удивил и которого он так стыдился. С некоторых пор он стал обнаруживать у себя чрезмерную опасливость, а между тем раньше он никогда не думал о смерти. Уже два раза он приходил в ужас при мысли о возможной катастрофе. Откуда у него под старость такая жажда жизни? Почему именно теперь он так цепляется за жизнь? И под конец он сказал весело, с нежностью и волнением в голосе:

— Мне думается, Мария, что я становлюсь трусом при мысли о вас. Если я теперь уже не такой храбрый, то это потому, что я боюсь потерять свое сокровище... Я несу груз счастья. В тот миг, когда мне казалось, что все мы неизбежно погибнем, я вдруг увидел вас, и страх вас потерять оледенил мне душу, парализовал волю.

Мария весело засмеялась. На их близкий брак намекали довольно редко, но всякий раз она оживлялась, и у нее был счастливый вид.

— Всего через шесть недель, — сказала она просто.

Наблюдавшая за ней Бабушка взглянула на Пьера.

Он слушал, улыбаясь.

— Это правда, — проговорила она. — Через шесть недель вы поженитесь. Значит, я хорошо сделала, что не дала этому дому взлететь на воздух.

Том *a*, Франсуа и Антуан расхохотались, и завтрак закончился очень весело.

После полудня Пьер испытал тяжелое чувство: что-то сдавило ему сердце. Он все время слышал слова Марии: «Всего через шесть недель». Да, через шесть недель она выйдет замуж. Ему казалось, что раньше он этого не знал и никогда не думал об этом. Вечером, вернувшись к себе в Нейи, он стал не на шутку мучиться. Слова Марии терзали его, прямо убивали. Но почему вначале он ничего не почувствовал и встретил их с улыбкой? И почему так незаметно подкралась к нему боль, неотвязная и жестокая? И вдруг как молния его пронзила мысль, не допускавшая сомнений. Он любит Марию, любит страстной любовью, от которой можно умереть.

Эта внезапная вспышка все осветила в его душе. Он понял, что с первой же их встречи его неудержимо влекло к ней. Сперва она его чем-то отталкивала, и он принимал за антипатию то волнение, какое вызывала в нем девушка, а потом был очарован ее добротой и нежностью. После пережитого им смятения и душевной борьбы он сблизился с ней, и она принесла ему успокоение. Но плавное, теперь он понял, чем была для них эта пленительная утренняя прогулка на велосипедах; это была помолвка среди весеннего радостного леса, их тайного сообщника. Природа приняла его в объятия, исцелила от застарелого недуга и, когда он стал здоровым и сильным, отдала его любимой женщине. Испытанный им блаженный трепет, чувство глубокого единения с деревьями, животными и небом — все, что казалось ему таким непостижимым, теперь становилось ясным и понятным, и это открытие будоражило его. Одна Мария могла его исцелить, внушить ему надежду, уверенность, что он возродится к жизни и наконец познает счастье. Возле нее он позабывал обо всех проклятых вопросах, преследовавших и терзавших его. За последнюю неделю он ни разу не вспомнил о смерти, а между тем долгие годы непрестанно думал о ней. Борьба между верой и сомнением, ужасающая душевная пустота, гневное неприятие царивших в мире несправедливости и страданий — все это она куда-то отодвинула своими свежими руками; она была такой здоровой и жизнерадостной и вернула ему вкус к жизни. Так оно и было, она сделала его мужчиной, работником, возлюбленным и отцом семейства.

Вдруг он вспомнил аббата Роза, мучительный разговор, какой был у него однажды утром с этим святым человеком. Чистый сердцем, незнакомый с земной любовью, он оказался прозорливым и один понял, в чем дело. Старик сказал, что он, Пьер, изменился, стал совсем другим человеком. А он глупо настаивал на своем и клялся, что он все тот же, когда любовь к Марии уже преобразила его и он сроднился со всей природой, с залитыми солнцем полями, с животворными ветрами и безбрежным небом, под которым созревает урожай!

Так вот почему ему стал невыносим католицизм, эта религия смерти, и он, выйдя из себя, крикнул, что Евангелие устарело и человечество жаждет другой морали, которая водворит справедливость, освятив счастье, земную любовь и размножение!

Но как же Гильом? Перед ним встал брат, брат, которого он горячо любил, который, желая его исцелить, ввел к себе в дом, где царили труд, мир и любовь. Если он познакомился с Марией, то лишь потому, что этого захотел Гильом. И снова он услышал ее слова: «Всего через шесть недель». Через шесть недель брат женится на ней. словно нож вонзился ему в сердце. Он мгновенно принял решение: он готов умереть от любви, но никто на свете о ней не узнает, он переборет себя, уедет куда-нибудь подальше, если почувствует свою слабость. Брат хотел его воскресить, познакомил его с девушкой, внушившей ему страстную любовь, брат так доверчиво открыл ему свое сердце, с любовью ввел в круг своей семьи. Нет, нет! Он, Пьер, готов обречь себя на вечные муки, лишь бы не причинить Гильому хотя бы мимолетного огорчения! Былые терзания возобновились с новой силой, так как он потерял Марию и опять провалился в какую-то жуткую пустоту. Ворочаясь на постели бессонной ночью, он по-прежнему мучился, отрицал все на свете, сознавал бесплодность своего существования, бессмысленность мирового бытия, проклинал и отвергал жизнь. Опять на него нахлынул ужас смерти. Умереть, умереть, еще не изведав жизни!

О, какая жестокая борьба! Он терзался и стонал до самого утра. Зачем сбросил он сутану? Стоило Марии сказать несколько слов, как он ее снял, а теперь после других ее слов он в отчаянии захотел вновь ее надеть. Выхода из тюрьмы нет! Это черное одеяние приросло к нему; ему казалось, что он его снял, но оно по-прежнему давит ему на плечи, и уж лучше навеки себя в нем похоронить. По крайней мере, он будет носить траур по самом себе, убив в себе мужчину.

Но тут его осенила новая мысль, от которой он весь содрогнулся. Есть из-за чего так ратовать? Ведь Мария его вовсе не любит. Во время

утренней прогулки эта очаровательная девушка проявляла к нему лишь сестринскую нежность, и нет никаких оснований думать, что она питает к нему иные чувства. Она, без сомнения, любит Гильома. И, уткнувшись лицом в подушку, он задушил рыдания и снова поклялся, что одолеет себя и будет улыбаться, глядя на их счастье.

IV

На следующий день Пьер вернулся на Монмартр, но все время так страдал, что потом целых два дня там не появлялся. Он заперся у себя дома, где никто не мог обнаружить его смятения. И вот однажды утром, когда он еще лежал в постели, обессиленный от безнадежной борьбы, вдруг, к его удивлению и стыду, в спальню вошел Гильом.

— Пришлось уж мне к тебе заглянуть, раз ты скрылся от нас. Я хочу взять тебя с собой на процесс Сальва, которого судят сегодня. С великим трудом мне удалось достать два пропуска... Ну, вставай, мы где-нибудь позавтракаем и пораньше отправимся туда.

У Гильома тоже был хмурый, озабоченный вид, он был явно чем-то обеспокоен. Когда Пьер стал спешно одеваться, брат спросил его:

— Мы тебя чем-нибудь огорчили?

— Решительно ничем. Откуда ты это взял?

— Так почему же ты перестал у нас бывать? То приходил каждый день, то вдруг исчез.

Пьер ломал голову, придумывая какой-нибудь благовидный предлог, и совсем смешался:

— Да у меня была тут работа... А потом, что поделаешь? На меня опять напали черные мысли. Зачем было портить вам настроение?

У Гильома вырвался протестующий жест.

— Что же, ты думаешь, нам очень весело без тебя? Мария у нас здоровая и жизнерадостная, а вот позавчера у нее сделалась такая мигрень, что она весь день не выходила из своей спальни. Еще вчера ей было не по себе, она нервничала и все время молчала. Невеселый был денек.

Гильом смотрел брату в глаза, и в его честном, открытом взгляде можно было прочесть возникшие у него подозрения, о которых он не хотел говорить.

Взволнованный известием о странном состоянии Марии, боясь себя выдать, Пьер сделал отчаянное усилие, и ему удалось солгать:

— Да, она была уже не совсем здорова в тот день, когда мы ездили на велосипедах... — ответил он спокойным голосом. — Уверю тебя, эти дни я был очень занят. Я только что собирался вставать и хотел, как обычно, пойти к тебе и продолжать свои занятия.

С минуту Гильом пристально смотрел на него, потом, как видно, успокоился и решил на этот раз не допытываться правды. Он заговорил на другую тему самым сердечным тоном. Но при всей своей нежности к брату он испытывал тяжелое предчувствие и не мог скрыть душевной боли, причину которой, быть может, не совсем осознавал. Пьер, в свою очередь, спросил его:

— А ты сам уж не болен ли? Где твое обычное олимпийское спокойствие?

— Я? О нет, нет! Я ничуть не болен... Но разве я могу хранить олимпийское спокойствие! Ты же знаешь, как меня возмущает этот процесс Сальва. Я скоро сойду с ума, так меня бесит их чудовищная несправедливость: они все задались целью уничтожить этого беднягу.

С этой минуты он говорил только о Сальва, говорил все об одном, упорно и горячо, как будто хотел доказать, что его возмущение и душевные страдания вызваны только этой злобой дня. Часов около десяти они зашли в ресторанчик на Дворцовом бульваре, и за завтраком он сказал брату, как его трогает молчание Сальва, который не обмолвился ни о взрывчатом веществе, каким была начинена бомба, ни о том, что несколько дней проработал у него, Гильома. Молчанию Сальва он обязан тем, что его ни разу не побеспокоили и даже не вызвали в качестве свидетеля. Расчувствовавшись, Гильом заговорил о своем изобретении, о мощном орудии, которое сделает всемогущей Францию, будущую освободительницу человечества и основоположницу нового мира. Теперь плоды его десятилетних трудов вне всякой опасности, работа завершена, и изобретение в окончательном виде может быть хоть завтра передано французскому правительству. Правда, он все еще колеблется, видя, какие мерзости творятся в мире финансистов и в области политики. Но он твердо решил, женившись на Марии, сообщить ей с трогательной доверчивостью влюбленного о чудесном залоге вечного мира, который он надеется в ближайшее время подарить человечеству.

Через Бертеруа Гильому удалось не без труда получить два пропуска. Пьер и Гильом пришли к зданию суда ровно в одиннадцать часов, к самому открытию. Но сперва им показалось, что они туда не проникнут. Все решетки были заперты, все проходы перегорожены; веяние террора проносилось по пустынным коридорам суда, как будто магистратура

боялась вторжения вооруженных бомбами анархистов. Это были проявления слепого страха, который уже добрых три месяца господствовал в Париже. Братьям пришлось вести переговоры у каждой двери, у каждого барьера, где стояла военная охрана. И когда они наконец проникли в зал суда, он был уже битком набит; публика собралась за час до начала заседания и готова была неподвижно сидеть в ужасающей тесноте и духоте семь-восемь часов, так как ходили слухи, что хотят покончить с этим делом в течение одного заседания. На тесном, отведенном для публики пространстве сгрудилась плотная толпа любопытных, случайных зрителей, пришедших с улицы, среди которых удалось затесаться кое-кому из товарищей и друзей Сальва; в отделении, предназначенном для свидетелей, за оградой, на дубовых скамьях разместились приглашенные, допущенные сюда по билетам. Там тоже было так тесно, что люди чуть ли не сидели друг у друга на коленях. В центре зала, всюду, где оставалось свободное место, даже за креслами судей, были, как в театре, расставлены рядами стулья, где сидели привилегированные лица, представители высшего света, политические деятели, журналисты и дамы. Великое множество адвокатов в черных мантиях размещались как попало по всем углам.

Пьер до сих пор не бывал в здании суда и думал, что попадет в роскошно убранный, торжественный зал. К его удивлению, этот храм человеческого правосудия оказался тесным, угрюмым и не слишком-то опрятным. Эстрада, где заседал суд, была так низка, что Пьер едва мог разглядеть кресла председателя и двух заседателей. Панели, балюстрады, скамьи — все было из темного дуба, даже потолок был отделан дубом, а стены — густо-зеленого цвета, все это придавало залу мрачный вид. Семь узких, высоко расположенных окон с куцыми белыми занавесками скупно пропускали бледные дневные лучи. Освещенная часть помещения резко отделялась от темной, и зал казался разрезанным пополам: с одной стороны, в холодном свете, — скамьи подсудимого и его адвоката, с другой — в тени, в тесной ограде, стулья присяжных заседателей, олицетворявших собой безликое, неведомое правосудие, перед лицом которого должен был предстать обвиняемый, прощупанный и просмотренный насквозь на допросе. В глубине сурового, хмурого зала над креслами судей виднелась написанная на стене тяжелая фигура распятого Христа, смутно проступавшая сквозь какой-то серый туман. А рядом с часами, над скамьей подсудимого, на фоне темной стены ярко выделялся грубой гипсовой белизной аллегорический бюст Республики.

Гильом и Пьер с трудом нашли два свободных места на задней скамье в отделении для свидетелей, у самой перегородки, за которой теснилась безбилетная публика. Усаживаясь на свое место, Гильом увидал позади себя маленького Виктора Матиса, он опирался локтями на перила, опустив подбородок на скрещенные руки. Лицо его было бледно, тонкие губы сжаты, глаза пылали. Они сразу узнали друг друга, но Виктор не шелохнулся, и Гильом понял, что обмениваться приветствиями здесь небезопасно. Потом он все время чувствовал, что у него за спиной, немного повыше, стоит Виктор, неподвижный, со сверкающими глазами и молча, нахмурившись, ждет предстоящих событий.

Тем временем Пьер заметил перед собой на скамье любезного депутата Дютейля и миниатюрную принцессу Роземонду. Чтобы скоротать время, публика разговаривала, смеялась, и в зале стоял неумолкаемый гул. Но особенно звонко раздавались веселые голоса этих двух людей, которые радовались, что попали на такое редкостное зрелище. Дютейль знакомил свою даму с планом зала, рассказывал, кто сидит на тех или иных скамьях, за теми или другими загородками, показывал места присяжных заседателей, обвиняемого, защитника, прокурора республики, вплоть до секретаря суда, не забывая указать на стол вещественных доказательств и огороженное место свидетелей. Все эти места были еще пусты. Служитель в последний раз оплядывал зал. Запоздавшие адвокаты бегали, разыскивая себе места. Было совсем как в театре, когда сцена еще пуста, а в переполненном зрительном зале публика с нетерпением ожидает начала представления. Маленькая принцесса, которой надоело ждать, принялась разыскивать своих знакомых в этом море голов, вглядываясь в раскрасневшиеся лица жадных до зрелищ людей.

— Смотрите, вон там, за креслами судей, ведь это господин Фонсег? Рядом с этой толстой дамой в желтом! А вот на той стороне наш друг, генерал де Бозонне... А барон Дювильяр разве не пришел?

— О нет, — отвечал Дютейль, — ему неудобно здесь быть. Ведь если бы он явился, можно было бы подумать, что он требует возмездия.

Потом он, в свою очередь, спросил:

— Вы, верно, поссорились с вашим прекрасным другом Гиацинтом, раз вы избрали меня своим кавалером, доставив этим мне величайшее удовольствие?

Она слегка пожала плечами, давая понять, как ей надоели поэты. Повинуясь новой причуде, она ударилась в политику. Уже неделю она

бурно переживала министерский кризис, и это очень ее забавляло. Молодой депутат Ангулема посвящал ее во всю закулисную сторону дела.

— Друг мой, — сказала она, — эти Дювильяры прямо рехнулись... Вы знаете, уже решено, Жерар женится на Камилле. Баронесса покорила своей участи. Я узнала из самого достоверного источника, что даже госпожа де Кенсак, мать молодого человека, дала свое согласие.

Дютейль весело улыбался, видно было, что он тоже хорошо осведомлен.

— Да, да, я это знаю. Свадьба состоится в скором времени в церкви Мадлен, такая великолепная свадьба, что о ней будет говорить весь Париж. Что поделаешь? Это наилучший выход из положения. Баронесса — сама доброта. Я всегда говорил, что она пожертвует собой ради счастья дочери и Жерара... По правде сказать, этот брак все улаживает, все приводит в порядок.

— Ну, а барон? Он-то что говорит? — спросила Роземонда.

— Да барон в восторге! Вы, вероятно, читали сегодня утром в списке министров нового кабинета, что Доверию предоставлен портфель министра народного просвещения. А это значит, что у Сильвианы будет наверняка ангажемент в Комедии. Только для этого и выбрали Доверия.

Он весело шутил. Но в эту минуту маленький Массо, препиравшийся у входа в зал с приставом, увидел издали свободное место рядом с принцессой, жестом попросил разрешения занять его, она кивнула ему в знак согласия.

— Наконец-то! — сказал он, усаживаясь. — Но это дело нелегкое. На скамьях журналистов ужасающая давка. А мне надо собрать материалы для хроники... Вы любезнейшая из женщин, принцесса. Спасибо вам, что вы согласились немного потесниться и дать место вашему преданному поклоннику.

Потом, пожав руку Дютейлю, он продолжал без всякого перехода:

— Значит, господин депутат, кабинет наконец утвержден?.. Не так уж скоро удалось его сформировать, но, право, это прекрасный кабинет, все от него в восторге.

Действительно, этим утром в «Правительственном вестнике» были опубликованы соответствующие указы. Кризис невероятно затянулся. Когда Виньон, встретив непреодолимые препятствия, вторично потерпел крах, с отчаяния в Елисейский дворец вызвали Монферрана, и внезапно он выступил на сцену. И вот за каких-нибудь двадцать четыре часа он составил новый кабинет, его список был одобрен, и он торжественно вернулся к власти, поднявшись на высоту, откуда недавно так плачевно

был свергнут вместе с Барру. Он только переменял портфель: покинув пост министра внутренних дел, стал министром финансов и вместе с тем председателем совета министров, о чем он уже давно пламенно мечтал. Теперь он пожинал плоды своей хитрой тактики: сперва ему удалось ловко выплыть, воспользовавшись арестом Сальва, потом он вел беспримерную подспудную кампанию против Виньона, два раза подряд ставя на его пути бесчисленные преграды, наконец, когда прибегли к нему, наступила молниеносная развязка, он преподнес уже готовый список, и кабинет был сострянпан в один день.

— Ловко сработано, поздравляю! — бросил насмешливым тоном маленький Массо.

— Да я тут ни при чем! — скромно заметил Дютейль.

— Как ни при чем! Вы принимали в этом участие, мой дорогой, это всем известно.

Польщенный депутат улыбнулся. А его собеседник, пересыпая свою речь намеками и шуточками, высказывал ему всю правду. Он говорил о шайке Монферрана, о клике, которая была заинтересована в его победе и крепко ему помогла. С каким легким сердцем Фонсег на страницах «Глобуса» доконал своего старого приятеля Барру, который стал ему помехой! За последний месяц каждое утро там появлялась статья, где расправлялись с Барру, уничтожали Виньона и подготавливали пришествие некоего спасителя, имя которого не называлось. А где-то там, в тени, вели борьбу миллионы Дювильяра, многочисленные ставленники барона бросались в бой, как добрые солдаты. Не говоря уже о самом Дютейле, трубаче и барабанщике, и о самом Шенье, выполнявшем подозрительные поручения, от которых все отказывались. Без всякого сомнения, триумфатор Монферран первым делом замнет скандальное и щекотливое дело Африканских железных дорог, назначив комиссию по расследованию, которая положит ему конец.

Дютейль принял значительный вид.

— Что поделаешь, друг мой, в серьезных обстоятельствах, когда обществу угрожает опасность, сильные люди, государственные мужи, все берут на себя... Монферран ничуть не нуждался в нашей дружеской помощи; при создавшемся положении он был необходим правительству. У него крепкая хватка, и он один может нас спасти.

— Я это знаю, — усмехнулся Массо. — Меня даже уверяли, что все было заранее подстроено: указы появились сегодня утром, чтобы присяжные и судьи могли смело вынести вечером смертный приговор, зная, что за их спиной Монферран, человек с крепкой хваткой.

— Ну да, мой дорогой, — в данном случае смертный приговор послужит ко всеобщему благу. Лица, призванные блюсти общественную безопасность, должны знать, что министры с ними заодно и в случае надобности окажут им поддержку.

Разговор был прерван веселым смехом принцессы.

— О! Посмотрите-ка туда, — разве это не Сильвиана села сейчас рядом с Фонсегом?

— Министерство Сильвианы, — вполголоса пошутил Массо. — О, на приемах у этого Доверия не соскучишься, если он подружится с актрисочками!

Гильом и Пьер волей-неволей слушали эти разговоры. У старшего брата болезненно сжималось сердце от светских сплетен и бесстыдных признаний политиканов. Сальва еще до своего появления на суде приговорен к смерти. Сальва расплатится за грехи всех, и расправа с ним послужит к торжеству банды честолюбцев и прожигателей жизни! А за всем этим какая клоака, какое разложение общества, растлевающая сила денег, грязные мелодрамы в недрах семьи, политика, ставшая ареной коварной борьбы отдельных лиц, власть, захваченная наглými интриганями! Неужели же все это не рухнет? И это торжественное судебное заседание, где должно совершиться правосудие наших дней, не является ли смехотворной пародией, поскольку здесь только счастливицы, привилегированные, которые отстаивают приютившее их ветхое здание, мобилизуя свои еще значительные силы, чтобы раздавить жалкую муху, полупомешанного беднягу, которого привела сюда жестокая и сумбурная мечта об ином, возвышенном, карающем правосудии?

Но вот по залу пробежал трепет. Пробило двенадцать. Беспорядочно, как стадо, вошли присяжные заседатели и стали размещаться на своей скамье. Добродушные физиономии. По большей части сытые, принарядившиеся буржуа, среди них несколько тощих, невзрачных, с живыми глазами, плешивых, но с бородой, все они сливались в какую-то сплошную серую, неразличимую массу, так как эта часть зала оставалась в глубокой тени. Затем появились судьи — г-н де Ларомбардьер, вице-председатель апелляционного суда, взявший на себя в этот день почетную, хотя и небезопасную роль председателя. Его длинное, узкое бескровное лицо дышало важностью, и он казался еще суровее, так как по бокам его сидели двое заседателей, маленькие, краснолицые, черноволосый и белобрысый. Уже кресло государственного прокурора занимал г-н Леман, один из самых известных и ловких обвинителей, широкоплечий эльзасец с лукавым взглядом, и это доказывало, какое

исключительное значение придавали данному делу. Наконец, послышался топот жандармских сапог, и ввели Сальва, который возбудил такое острое любопытство присутствующих, что все вскочили на ноги. На нем по-прежнему была фуражка и широченное пальто, которое раздобыл ему Виктор, и все с величайшим удивлением увидели его крупное костлявое лицо, кроткое и печальное, рыжие седеющие волосы, прекрасные, полные нежности голубые глаза, мечтательные и сверкающие. Он бросил взгляд на публику и улыбнулся кому-то из своих знакомых, вероятно, Виктору, а может быть, и Гильому. Потом он сел и замер на месте.

Председатель выждал, пока в зале водворилась тишина, и тут же приступили к формальностям, с каких обычно начинается заседание. Затем судебный пристав пронзительным голосом стал читать обвинительный акт, и казалось, этому чтению не будет конца. Настроение в зале изменилось. Публика слушала со скучающим видом и с явным нетерпением: за последние недели газеты без конца пережевывали эту историю. Теперь в зале не было ни одного свободного места, только перед креслами, где сидели судьи, оставалось узкое пространство, где должны были появиться свидетели. В этом беспорядочном скопище людей выделялись светлые платья дам и черные мантии адвокатов и совсем терялись три красные мантии судей; эстрада была так низка, что над рядами голов с трудом можно было разглядеть длинное лицо председателя. Многие интересовались присяжными заседателями, пытались разгадать их заурядные лица, еле различимые в тени. Другие не отрывали глаз от обвиняемого, удивляясь, что у него такой усталый и безразличный вид. Он еле отвечал на вопросы, какие тихонько задавал ему его адвокат, талантливый молодой человек с живым нервным лицом, который, как уверяли, с нетерпением ожидал случая прославиться. Чтение обвинительного акта все продолжалось. Теперь всеобщее любопытство возбуждал стол вещественных доказательств, где находились всевозможные обломки, осколок ворот особняка Дювильера, куски штукатурки, упавшие со свода арки, булыжник, расколовшийся от взрыва, и обугленные куски дерева. Сильное впечатление производила ничуть не пострадавшая картонка модистки. Но особенно всех трогал предмет, смутно белевший в стеклянном сосуде, — это была маленькая ручка девочки на побегушках, оторванная от запястья; ее решили сохранить в спирту, ведь не могли же положить на стол жалкий труп с разорванным бомбой животом.



Наконец

Сальва встал, и председатель приступили допросу. И сразу же бросился в глаза трагический контраст: в тени безымянные присяжные заседатели, уже готовые вынести обвинительный приговор под впечатлением событий, наводивших ужас на весь город, а в ярком дневном свете — обвиняемый, одинокий и жалкий, окруженный четырьмя жандармами, человек, на которого взвалили грехи всего общества. Г-н де Ларомбардьер сразу же заговорил с ним презрительным тоном, не скрывая своего отвращения. Он отличался честностью и был одним из последних судей старого закала, добросовестных и прямолинейных; но он ничего не понимал в современности и считал долгом обращаться с преступниками с суровостью библейского бога. Удручавший его всю жизнь недостаток речи — пришепетывание, которое, по его мнению, помешало ему развернуть во всю мощь в суде свое гениальное ораторское дарование, только усиливало его раздражение, этот угрюмый человек не способен был понять обвиняемого и проявить снисходительность. Когда он стал задавать вопросы и в зале задрезжал его высокий, пронзительный голосок, кое-кто начал усмехаться, и он догадался об этом. Смешное пришепетывание председателя лишало всякой торжественности это судебное заседание, где шла речь о человеческой жизни, в этом зале, битком набитом любопытными. Зрители начинали уже задыхаться и потеть, обмахивались и отпускали шуточки. Вначале Сальва отвечал вежливо, усталым голосом. Председатель изо всех сил старался его опорочить, беспощадно ставил ему в упрек все промахи, совершенные им в дни его печальной молодости, сгущал краски, поносил его преступное

сожителство с г-жой Теодорой на глазах у маленькой Селины, а он спокойно говорил «да» или «нет», как человек, которому нечего скрывать, который несет полную ответственность за свои поступки. Он уже раньше во всем признался и теперь подтвердил свои показания, спокойно, в тех же словах, причем добавил, что решил бросить бомбу в особняк Дювильяра, чтобы этот акт приобрел особое значение. Этим он призвал к ответу богачей, которые нажили свои капиталы путем грабежа и обмана, они обязаны вернуть захваченное ими народное достояние беднякам, рабочим, их семьям, подышающим с голоду. Тут он весь загорелся. Все пережитые страдания мгновенно всплыли в мозгу этого недоучки, где сумбурно переплелись различные лозунги, теории, порожденные отчаянием мечты об абсолютной справедливости и всеобщем блаженстве. И выступил наружу подлинный Сальва, сентиментальный мечтатель, доведенный до крайности бедствиями, суровый, гордый и упрямый сектант, задумавший по-своему переделать весь мир.

— Но ведь вы хотели спастись бегством, — воскликнул визгливым голосом председатель. — Не смейте же говорить, что вы готовы были отдать жизнь за свои убеждения и шли на мученичество!

Да, Сальва горько сожалел, что, очутившись в Булонском лесу, поддался смятению и глухой ярости и стал убегать от преследователей. Слова председателя раздражили его.

— Я не боюсь смерти, и в этом скоро все убедятся... Если бы все обладали таким мужеством, как я, то завтра же рухнуло бы ваше прогнившее общество и наступила бы пора всеобщего счастья.

Потом речь зашла о бомбе, и председатель бесконечно долго допрашивал Сальва, чем она была начинена. По его словам, это был единственный невыясненный пункт во всем деле.

— Итак, вы упорно настаиваете на том, что употребили в качестве взрывчатого вещества динамит? Сейчас вы выслушаете мнение экспертов, которые хотя и по-разному определяют свойства примененного вами порошка, однако единогласно утверждают, что это не динамит, а какое-то другое взрывчатое вещество, совершенно им неизвестное. Итак, ничего не скрывайте от нас, ведь вы хвалитесь, что говорите чистую правду.

Внезапно Сальва успокоился и стал отвечать весьма лаконично, обдумывая каждое слово.

— Доискивайтесь сами, если вы мне не верите... Я сфабриковал бомбу один и уже двадцать раз вам говорил, при каких обстоятельствах... Вы, конечно, не можете ожидать, что я назову вам имена и подведу товарищей.

И он упорно стоял на своем. Только под конец им овладело волнение, когда председатель вновь упомянул о девочке на побегушках, нежной, хорошенькой блондиночке, которую злая судьба привела к воротам особняка в момент взрыва.

— Вы убили одну из ваших, работницу, бедную девочку, которая на свои жалкие гроши кормила бабушку.

У Сальва перехватило дыхание.

— Только об этом я и сожалею... Разумеется, моя бомба предназначалась не для нее. Пусть же все рабочие, все горемыки помнят о ней: она пролила свою кровь, как я пролью свою!

Допрос закончился, вызвав сильное волнение в зале. Пьер чувствовал, как содрогался сидевший рядом с ним Гильом, когда обвиняемый спокойно и упорно отказывался назвать употребленное им взрывчатое вещество, принимая на себя всю ответственность за поступок, который должен был стоить ему головы. Повинуясь какому-то безотчетному импульсу, Гильом обернулся и увидел маленького Виктора Матиса, который по-прежнему неподвижно стоял, облокотившись на перегородку, и, стиснув подбородок ладонями, молча слушал, охваченный бешенством. Лицо его было бледнее обычного, а глаза пылали, напоминая отверстия, сквозь которые пробивается мстительное пламя великого неугасимого пожара.

В зале поднялся гул, не смолкавший несколько минут.

— Он очень мил, этот Сальва, — заявила принцесса, которую забавляло все происходящее, — у него в глазах столько нежности... Нет, нет, дорогой мой депутат, не говорите мне о нем ничего дурного. Вы же знаете, что я в душе анархистка.

— Я и не говорю о нем ничего дурного, — весело отвечал Дютейль. — Да и наш друг Амадье не имеет нрава его осуждать, ведь вы знаете, что благодаря этому делу он вознесся на вершину славы... Раньше никогда столько о нем не говорили, а ему только этого и надо. Он стал самым светским, самым знаменитым следователем и теперь может добиться чего угодно.

Массо сделал соответствующий вывод со свойственной ему беззастенчивой иронией:

— Не правда ли? Анархия всегда всем на руку... Вот эта бомба великолепно уладила дела кое-кого из моих знакомцев!.. Неужели у моего патрона Фонсега, который сейчас так любезничает со своей соседкой, есть основания жаловаться на Сальва? Ну, а господин Санье, который так небрежно развалился на стуле за спиной председателя и которому, право

же, подобало бы сидеть между четырьмя жандармами, разве он-то не должен поставить хорошую свечу за беднягу Сальва, благодаря которому он раздул такую шумиху?.. Я уж не говорю о политических деятелях, о финансистах и обо всех, кто ловит рыбку в мутной воде...

Дютейль прервал его:

— Пойдите, но ведь и вам, кажется, была на пользу эта история. Вы здорово нажились на интервью с Селиной.

В самом деле, Массо пришла в голову гениальная идея разыскать г-жу Теодору и девочку, а затем рассказать на страницах «Глобуса» о своем посещении, приводя целый ряд интимных и трогательных подробностей. Статья имела невероятный успех. Милые ответы Селины на вопросы о ее папе трогали все чувствительные сердца. В результате дамы стали ездить в своих экипажах к этим несчастным созданиям; со всех сторон посыпались подаяния; девочка внушала необычайную симпатию даже тем, которые требовали головы ее отца.

— О, мне не приходится жаловаться на мой маленький барыш, — признался журналист. — Всякий зарабатывает сколько может и как может.

В этот момент Роземонда заметила Гильома и Пьера, сидевших у нее за спиной, и, увидав, что младший брат в пиджаке, была так потрясена, что даже не решилась с ними заговорить. Она наклонилась к своим спутникам и, видимо, сообщила им эту новость, так как Дютейль и Массо обернулись, но, как люди благовоспитанные, сделали вид, что ничего не замечают. Духота становилась нестерпимой. Одной даме сделалось дурно. И снова председатель своим визгливым голосом водворил тишину.

Сальва стоял, держа в руке какие-то листки. Ему с трудом удалось объяснить, что он хочет дополнить свои показания, прочитав заранее подготовленное им заявление, где он изложил причины, побудившие его произвести взрыв. Удивленный и в глубине души возмущенный г-н де Ларомбардьер колебался и хотел под каким-нибудь предлогом отклонить это чтение, потом, сообразив, что он не имеет права заткнуть рот обвиняемому, дал разрешение гневным, пренебрежительным жестом. И Сальва начал читать, как примерный, старательный ученик. Он слегка запинаясь от смущения и порой с необычайной энергией напирал на слово, которое явно ему нравилось. Это был крик страдания и возмущения, который столько раз уже вырывался из груди обездоленных: в низах общества свирепствует ужасная нищета, рабочий не может прожить на свой заработок, целый класс, самый многочисленный и заслуживающий наибольшего уважения, умирает с голоду, в то время как

там, наверху, привилегированные утопают в роскоши, пресыщены всякими благами и не желают дать ни крошки со своего стола, отказываются вернуть хотя бы часть награбленного богатства. Поэтому надо все у них отобрать, застрашать этих эгоистов и пробудить их от сна, швырять в них бомбы, возвещая им, что день торжества справедливости наступил. Это слово «справедливость» он бросил звенящим голосом, который разнесся по всему залу. Но особенно все взволновались, когда он заявил, что жертвует своей жизнью и ожидает от присяжных только смерти. В заключение он провозгласил с пророческим пафосом, что из его крови родятся новые мученики.

Пусть его отправляют на эшафот, он знает, что его пример вдохновит смелых людей: после него явится другой мститель, потом третий, много-много других, и вот, наконец, рухнет старое, прогнившее насквозь общество, его сменит новое общество, где будут царить справедливость и счастье, провозвестником которых он, Сальва, считает себя.

Председатель, в крайнем раздражении, дважды пытался его прервать. Но Сальва продолжал читать с упрямством фанатика, который боится недостаточно внушительно произнести важную фразу. Пока он сидел в тюрьме, он наверняка все время предвкушал это чтение. Это было уже явное самоубийство, он жертвовал жизнью и гордился, что умирает за благо человечества. Когда он кончил и снова сел на свое место между жандармами, глаза его пылали, щеки разгорелись, и он весь сиял от овладевшей им радости.

Чтобы рассеять произведенное на публику впечатление — смутную тревогу, жалость и страх, председатель решил сразу же приступить к допросу свидетелей. Они проходили нескончаемой вереницей, не возбуждая особого интереса своими показаниями, так как никто из них не сообщил ничего нового. Хорошее впечатление произвели показания заводчика Грандидье, который вынужден был уволить Сальва за анархистскую пропаганду. Шурин обвиняемого, слесарь Гуссен, также показал себя с прекрасной стороны, давая показания в пользу обвиняемого и при этом не прибегая ко лжи. Чрезвычайно затянулось совещание экспертов, которые, выступая перед публикой, не пришли к соглашению, как не сошлись во мнениях, высказанных ими в письменной форме: единогласно признавая, что примененное вещество не является динамитом, они высказывали каждый по-своему самые невероятные и противоречивые предположения. Затем было оглашено заключение знаменитого ученого Бертеруа, вносившее ясность в этот вопрос: он утверждал, что было пущено в ход какое-то новое взрывчатое вещество

необычайной силы, формула которого ему неизвестна. Агент Мондесир и комиссар Дюпо рассказывали об охоте на человека и о волнующих обстоятельствах ареста Сальва в Булонском лесу. Мондесир развеселил публику, то и дело отпуская крепкие солдатские словечки. А бабушка маленькой жертвы вызвала в зале взрыв жалости и негодования. То была высохшая, дряхлая старушка, которую представители обвинения имели жестокость притащить на суд; ополоумев от страха, не понимая, чего от нее хотят, она залилась слезами. Под конец были допрошены свидетели защиты, — один за другим прошли хозяева мастерских, товарищи по работе, которые в один голос заявляли, что Сальва славный малый, умелый и усердный работник, что он не пьет, обожает свою дочку и не способен на грубость и жестокость.

Было уже четыре часа, когда закончился допрос свидетелей. В зале стояла нестерпимая духота. От усталости и возбуждения у всех кровь прилила к щекам. Какая-то рыжеватая мгла застилала бледный свет, лившийся из окон. Женщины обмахивались веерами, мужчины платками вытирали лоб. Но все были захвачены этим зрелищем, и у всех сверкали жестокой радостью глаза. Никто не двигался с места.

— Ах, — вздохнула Роземонда, — а я-то надеялась в пять часов выпить чашечку чая у своей приятельницы! Да я умру с голоду.

— Мы задержимся здесь, по крайней мере, до семи, — сказал Массо. — Я охотно бы пошел купить вам булочку, но меня не впустят обратно.

Дютейль все время пожимал плечами, пока Сальва читал свое заявление.

— Ну что это за ребячество! Этот дуралей умирает за такую ерунду!.. Богачи и бедняки! Да они всегда будут существовать! И понятное дело, всякий бедняк только и мечтает разбогатеть... Если он очутился сегодня на этой скамье, то лишь потому, что потерпел неудачу в жизни, вот и все!

Пьер с беспокойством поглядывал на брата, который молча сидел рядом с ним, бледный, потрясенный до глубины души. Он взял руку Гильома и незаметно ее пожал. Потом сказал шепотом:

— Ты, кажется, плохо себя чувствуешь? Уж не уйти ли нам?

Гильом в ответ крепко стиснул ему руку. Нет, он чувствует себя хорошо и останется до конца, он вне себя от негодования.

Но вот г-н Леман, генеральный прокурор, начал свою пространную суровую речь. Этот крепко сложенный, упорный с виду еврей был известен своими связями с представителями всех политических лагерей, а

также своей гибкостью, благодаря которой он всегда поддерживал дружбу с лицами, стоящими у власти. Этим и объяснялось его быстрое продвижение и милости, какими его постоянно осыпали. Все знали, что он на стороне правительства. И действительно, он с самого начала упомянул о только что сформированном кабинете, о сильном человеке, который должен успокоить благонамеренных граждан и повергнуть в трепет злодеев. Затем с невероятным пылом он принялся обвинять злополучного Сальва, повторил всю историю, изобразил его бандитом, рожденным для преступлений, каким-то чудовищем, от которого только и можно было ждать такого гнусного злодеяния. Потом он стал разносить анархистов: это шайка бродяг и грабителей! Они себя хорошо показали, учинив разгром особняка принцессы де Гарт. И эти гнусные субъекты выдавали себя за проповедников доктрины. Вот к чему приводит осуществление теорий на практике — к разграблению и осквернению домов! И можно еще ожидать крупных грабежей и массовых убийств! Около двух часов он разлагольствовал в таком духе, пренебрегая правдой и логикой, с единственной целью — поразить воображение и раздуть страх, овладевший парижанами. Бедная маленькая жертва, хорошенькая блондинка, служила ему кровавым знаменем, он высоко поднимал банку со спиртом, где белела ее ручка, и в этом жесте было столько негодования и жалости, что присутствующие невольно содрогались. Он закончил свою речь, так же как и начал, призывом к присяжным, заявив, что они должны исполнить свой долг и осудить убийцу, именно теперь, когда представители власти твердо решили приводить в исполнение свои приговоры, несмотря на все угрозы!

Вслед за ним выступил молодой адвокат, взявший на себя защиту. Он высказал решительно все, что следовало сказать, со всей справедливостью и ясностью. Он принадлежал к другой школе, отличался простотой и душевной цельностью и стремился исключительно к истине. Как и следовало ожидать, он пролил подлинный свет на всю историю Сальва, показал, что над ним с самого детства тяготел некий социальный рок, объяснил, что его безумный поступок был вызван всеми пережитыми им страданиями, порожден мечтами, давно роившимися у него в голове. Его преступление не является ли всеобщим преступлением? Кто из нас не испытывает в какой-то мере ответственности за эту бомбу, брошенную бедняком, голодающим рабочим, на пороге жилища богача, образ которого был для него воплощением самой несправедливости! Ведь этому человеку достались все блага, а ему, Сальва, все мучения! В наше тревожное время, когда назрело столько жгучих проблем, если один из

нас потеряет голову и захочет путем насилия приблизить эру всеобщего счастья, — разве мы осмелимся его уничтожить во имя справедливости? Ведь ни один из нас не может поклясться, что он не способствовал его безумию! Затем адвокат остановился на историческом моменте, в который разыгралась эта история. Сколько возмутительных происшествий, сколько крушений! Новый мир в муках рождается из лона старого мира, среди ужасных кризисов, в страданиях и в борьбе. В заключение он стал умолять присяжных проявить человечность, не поддаваться страхам, свирепствующим в городе, и умиротворить враждующие классы, произнеся мудрый приговор. В противном случае они только затянут междоусобную войну, указав беднякам новую жертву, за которую те будут мстить.

Был уже седьмой час, когда г-н де Ларомбардьер своим пронзительным забавным голосом прочитал присяжным целый ряд поставленных вопросов. Затем суд удалился, присяжные с непроницаемыми лицами направились в особый зал для совещания, а подсудимого увели. В зале суда стало шумно, охваченная лихорадочным нетерпением публика напряженно ожидала и громко переговаривалась. Еще несколько дам упали в обморок. Пришлось вынести господина, с которым сделалось дурно от нестерпимой жары. Но остальные твердо решили сидеть до конца; никто не двинулся с места.

— О, нам не придется долго ждать, — заявил Массо. — Присяжные все до одного унесли смертный приговор в кармане. Я наблюдал за ними, пока этот адвокатик говорил им такие хорошие вещи. Их трудно было разглядеть в тени, и у них было такое сонное выражение лица. Интересно знать, что происходило у них в мозгу!

— А вы по-прежнему голодны? — спросил принцессу Дютейль.

— О, я прямо умираю... У меня не хватит сил доехать до дому. Вы поведете меня куда-нибудь перехватить пирожка... Но ведь это так увлекательно: жизнь этого человека зависит от того, скажут ли они «да» или «нет».

Пьер снова взял за руку Гильома, чувствуя, что брат до крайности взволнован и в полном отчаянии. Ни тот, ни другой не произнесли ни слова. Ими овладевала глубокая тоска, вызванная множеством серьезных причин, которые они еще не вполне осознавали. Им казалось, что все человеческие страдания, их собственные печали, нежные чувства и надежды со стоном витают в этом гулком зале, который содрогался, предвосхищая трагическую развязку, порожденную эгоизмом одних и подлостью других. Мало-помалу в зале сгущалась темнота; очевидно,

решили, что нет смысла зажигать люстры, поскольку приговор будет скоро произнесен. Угасали последние отблески дня, и огромное скопище людей уже тонуло в тени. Дамы в светлых туалетах, сидевшие за креслами судей, были похожи на бледных призраков с горящими глазами, а мантии адвокатов сливались в большое темное пятно, медленно застилавшее зал. Темное распятие уже исчезло, и только бюст Республики белел в полумраке, словно застывшая голова мертвеца.

— А! — воскликнул вдруг Массо. — Я же говорил, что нам не придется долго ждать!

После пятнадцатиминутного совещания присяжные возвращались в зал и, громко стуча башмаками, рассаживались на дубовых скамьях. Снова вошел суд. Неизъяснимое волнение охватило публику. Словно порыв ветра пронесся по залу, головы зрителей тревожно всколыхнулись. Кое-кто вскочил на ноги, у других непроизвольно вырвался легкий крик. Староста присяжных, толстый господин с широким красным лицом, вынужден был немного подождать, пока все стихнет.

Резким голосом, слегка пришепетывая, он заявил:

— По чести и по совести, перед богом и перед людьми, присяжные на вопрос о виновности подсудимого в убийстве ответили: «Да, виновен», большинством голосов.

Уже почти стемнело, когда снова ввели Сальва. Он стоял перед присяжными, неразличимыми в тени, и последние лучи, падавшие из окон, освещали его лицо. Даже судей уже нельзя было разглядеть, их красные мантии казались совсем черными. И какое поразительное впечатление производило лицо Сальва, исхудавшее, костлявое, с глазами мечтателя, когда он слушал приговор присяжных, который зачитывал ему секретарь суда.

Он все понял, когда секретарь умолк, даже не упомянув о смягчающих обстоятельствах. Его лицо, сохранявшее детское выражение, вдруг засияло.

— Это смерть. Благодарю, господа!

Затем он повернулся к публике, стараясь разглядеть в сгущающейся темноте лица друзей, которые должны были здесь присутствовать. На этот раз Гильом ясно почувствовал, что Сальва его узнал и посылает сердечный привет, выражая свою признательность за кусок хлеба, поданный ему в дни нищеты. Но он, как видно, поклонился и Виктору Матису, так как, обернувшись, Гильом опять увидел молодого человека, который по-прежнему стоял неподвижно, с широко раскрытыми,

устремленными в одну точку глазами и с выражением бешеной ярости в сжатых губах.

Все остальное, последний вопрос, совещание суда, чтение приговора было заглушено гулом взволнованных голосов, разносившимся по залу. Сами того не сознавая, люди испытывали жалость и некоторое изумление, хотя они и одобряли смертный приговор.

Осужденный Сальва внезапно выпрямился и, когда жандармы повели его к выходу, крикнул оплущительным голосом:

— Да здравствует анархия!

Этот крик никого не рассердил. Публика расходилась с каким-то тревожным чувством, как будто чрезмерная усталость притупила все страсти. Действительно, спектакль слишком затянулся, слишком всех истомил. И люди с наслаждением вдыхали свежий воздух, вырвавшись из этого кошмара.

В зале Потерянных шагов Гильом и Пьер прошли мимо Дютейля и принцессы, которых остановил генерал де Бозонне, беседовавший с Фонсегом. Все четверо говорили во весь голос, жаловались на жару и на голод и в основном соглашались, что дело оказалось не слишком-то интересным. Впрочем, все хорошо, что хорошо кончается. Как выразился Фонсег, смертный приговор Сальва был политической и социальной необходимостью.



На Новом мосту Гильом на минуту облокотился на ограду. Стоя рядом с ним, Пьер смотрел на плавно катившиеся серые воды Сены, в которых там и сям пламенели отсветы первых газовых рожков. С реки тянуло прохладным ветерком. Был пленительный час, когда сумрак мягко застилает отдыхающий Париж. Братья стояли молча и облегченно дышали, набираясь свежих сил. Но вот в душе Пьера снова проснулась боль: он вспомнил о вырванном у него обещании вернуться на Монмартр, где его ожидали одни муки. А у Гильома проснулись подозрения, беспокойство, какое он испытывал, видя, что Мария охвачена острым возбуждением и вся изменилась под влиянием нового, еще неизвестного ей чувства. Неужели же этим двум людям, горячо любящим друг друга, суждено пережить новые терзания, длительную борьбу и так и не познать счастья? Их сердца уже начинали обливаться кровью, вдобавок им причинили

великую боль зрелище правосудия и вид этого бедняги, заплатившего жизнью за преступления всего человечества.

Когда они вышли на набережную, Гильом заметил в темноте маленькую одинокую фигуру Виктора, шагавшего впереди. Он окликнул юношу и заговорил о нем о его матери. Но тот ничего не слышал. Его тонкие губы приоткрылись, и раздался голос, сухой и режущий, как удар ножа:

— А! Они жаждут крови... Пускай отсекут ему голову, он будет отомщен!

V

Там, высоко на Монмартре, в мастерской, обычно такой светлой и веселой, теперь стало мрачнее неловко воцарились печаль и молчание. Все это время там не было ни одного из трех сыновей. Том *a* с утра отправлялся на завод работать над маленьким двигателем; Франсуа не покидал Нормальной школы, усиленно готовясь к экзаменам; Антуан, поглощенный своей работой, проводил время у Жагана, с великой радостью наблюдая, как его юная подруга Лиза пробуждается к жизни. Гильом оставался с глазу на глаз с Бабушкой, все время сидевшей у окна за каким-нибудь шитьем; а Мария расхаживала по дому и появлялась в мастерской только в те часы, когда там находился Пьер.

В эти траурные дни все домашние видели, что отец семейства переживает глухой гнев и острое возмущение, вызванное смертным приговором Сальва. Вернувшись домой после процесса, он дал волю своему негодованию и заявил, что, если казнят беднягу Сальва, это будет форменным убийством и вызовет яростную классовую борьбу. Не вдаваясь в обсуждения, все молча выслушали этот скорбный и яростный вопль. Никто не решался тревожить отца, который целыми часами сидел молча, погруженный в свои мысли, бледный, с блуждающим взглядом. Его тигельная печь оставалась холодной. С утра до вечера он пересматривал свои проекты, папки, где хранились листы с формулами его изобретения, нового взрывчатого вещества и могучего орудия, которое он мечтал преподнести в дар Франции, чтобы она, покорив все народы, могла в один прекрасный день водворить на земле царство правды и справедливости. Он просиживал долгие часы над бумагами, порой забывая о них и устремляя взор вдаль, и в голове у него проносился поток смутных мыслей. Гильом начинал сомневаться в разумности своего

замысла, и у него возникали опасения: а что, если он, в своем стремлении умиротворить народы, только разожжет на земле бесконечные истребительные войны? О, этот огромный Париж, который он искренне считал умственным центром вселенной, способным породить светлое будущее! Что за чудовищное зрелище представляет он сейчас: какая глупость, какой позор, какая несправедливость! Разве Париж духовно созрел и способен осуществить задачу спасения человечества, которую Гильом хотел на него возложить? И когда он начинал перечитывать свои рукописи и проверять формулы, у него уже не доставало прежней энергии; его подхлестывала только мысль о предстоящем браке, но ему думалось, что все на свете давным-давно устроено и незачем ломать свою жизнь, пытаясь перестроить мир.

Его женитьба! Разве мысли о ней не преследовали Гильома, не волновали его еще больше, чем великая задача ученого, чем страстные мечты анархически настроенного гражданина? Все эти обуревавшие его мысли и чувства не могли заглушить мучительной подспудной тревоги, в которой он сам не хотел себе признаться. Гильом ежедневно твердил себе, что, женившись на Марии, откроет секрет своего изобретения военному министру и озарит молодую женщину лучами своей славы. Жениться на Марии! Жениться на Марии! Помышляя об этом, он всякий раз испытывал лихорадочное возбуждение и глухое беспокойство. Если теперь он молчал, если он утратил свою спокойную веселость, то лишь потому, что видел, как все ее существо излучает какую-то новую, неведомую ему жизнь. Она явно изменилась; он чувствовал, что она становится совсем другой и все дальше отходит от него. Всякий раз, как Пьер бывал у них, Гильом наблюдал за братом и за Марией. Пьер навещал их редко, испытывал какую-то неловкость и тоже стал совсем другим. Когда он являлся к ним по утрам, Мария как будто вся преображалась, и в их доме чувствовалось веяние какой-то иной жизни. А между тем их отношения оставались по-прежнему братски-невинными. Они казались добрыми товарищами, их руки никогда не соприкасались, и они беседовали без тени смущения. Но, помимо их воли, от них исходило некое сияние, какие-то вибрации, какое-то дуновение, еще более тонкое, чем солнечный луч или аромат. Прошло несколько дней, и Гильом уже больше не мог сомневаться; он был потрясен, и сердце его кровоточило. Он решительно ничего не заметил, но был твердо убежден, что эти двое детей, как он привык отечески их называть, страстно любят друг друга.

Однажды ослепительным утром, сидя наедине с Бабушкой над залитым солнцем Парижем, он отдался своим мучительным мыслям,

которые овладели им с невероятной силой. Он пристально смотрел на нее; она сидела на своем обычном месте, работая иголкой без очков, и лицо ее сохраняло свою царственную ясность. Быть может, он даже не видел ее. А она время от времени поглядывала на него, словно ожидая признания, которое так и не срывалось с его уст.

Наконец она решилась прервать это бесконечно затянувшееся молчание.

— Гильом, что это с вами творится с некоторых пор? Вам надо что-то мне сказать, почему же вы мне этого не говорите?

Гильом спустился с облаков.

— Мне надо вам что-то сказать? — изумленно спросил он.

— Да, я знаю, чем вы сейчас озабочены, и я думала, что вы побеседуете об этом со мной, ведь вы ничего не предпринимаете без моего совета.

Гильом побледнел и содрогнулся: значит, он не ошибся, раз Бабушка знает об этом? Если он заговорит на эту тему, его подозрения обретут плоть и кровь, станет реальным и неотвратимым все то, что до сих пор, как он надеялся, существовало только в его воображении.

— Дорогой сын, это было неизбежно. С первых же дней я это предвидела. И если я вас не предупредила, то лишь потому, что усматривала в ваших действиях известную цель. Но, видя ваши страдания, я поняла, что ошиблась.

Гильом уставился на нее с растерянным видом, весь дрожа.

— Да, — продолжала она, — я вообразила, что вы сами захотели этого и привели сюда своего брата, чтобы узнать, любит ли вас Мария только как отца или же настоящей любовью... Для этого у вас были весьма веские основания: огромная разница в возрасте, ваша жизнь заканчивается, а ее жизнь только начинается... Не говоря уже о ваших работах, о миссии, которую вы взяли на себя.

Он подошел к ней, сжав руки с мольбой.

— О! Говорите ясней, скажите мне все, что вы думаете... — воскликнул он. — Я ничего не понимаю, мое бедное сердце растерзано, и мне так хочется все узнать, действовать, принять какое-то решение! Я вас люблю и почитаю как мать. Я высоко ценю ваш светлый разум и всегда следовал вашим советам, и вот, оказывается, вы предвидели эти ужасные последствия и дали всему этому совершиться, хотя это может стоить мне жизни. Почему же, скажите мне, почему?

Обычно Бабушка была немногословна. Она чувствовала себя неограниченной властительницей в этом доме, где заботилась обо всех и

всеми руководила, никому не отдавая отчета в своих действиях. Если она никогда не высказывала всех своих мыслей и желаний, то лишь потому, что отец и сыновья, уверенные в ее непогрешимом благоразумии, всецело ей доверялись. Она казалась несколько загадочной и от этого приобретала у них в глазах еще больше величия.

— К чему слова, — тихонько проговорила она, не отрываясь от работы, — когда факты говорят сами за себя?.. Я, безусловно, одобряла ваше намерение жениться на Марии, понимая, что она должна выйти за вас, чтобы остаться у нас в доме. Тут было еще много других соображений, о которых не стоит говорить... Но с появлением Пьера все изменилось, все приняло свое естественное течение. Разве это не к лучшему?

Он все еще боялся понять.

— То есть как это к лучшему, когда я погибаю, когда моя жизнь разбита?

Она поднялась и подошла к нему, прямая, высокая и стройная в своем черном платье; ее бледное лицо выражало строгость и непоколебимую волю.

— Сын мой, вы знаете, что я вас люблю и хочу, чтобы вы всегда были на большой высоте и сохраняли душевную чистоту... Однажды утром вы испугались, и весь дом чуть было не взлетел на воздух. Вот уже несколько дней вы сидите над своими папками и чертежами с каким-то отсутствующим, растерянным видом, как человек, который утратил власть над собой, колеблется и не знает, куда ему идти... Поверьте мне, вы вступили на опасный путь. Пусть себе Пьер женится на Марии, так будет лучше и для них и для вас.

— Для меня? О нет, нет!.. Что будет со мной?

— Вы успокойтесь, сын мой, когда поразмыслите над этим. Вам предстоит такая значительная роль, ведь вы не сегодня-завтра должны открыть свое изобретение! Мне кажется, вы сейчас колеблетесь. Пожалуй, вы сделаете ошибку, если начнете действовать, не сообразуясь со всеми обстоятельствами. Я чувствую, что вам надо найти какой-то другой выход... Ну, что ж, страдайте, если это нужно, но оставайтесь человеком одной идеи.

Потом, уходя, она прибавила с материнской улыбкой, желая смягчить свои резкие слова:

— Вы заставили меня говорить попусту. В сущности, я спокойна за вас, я знаю, вы человек такой возвышенной души, что, конечно, поступите по всей справедливости, как никто другой не способен поступить.

Оставшись один, Гильом отдался волнующим мыслям. Что хотела она сказать? Ее краткие слова были не совсем ясны. Он знал, что у нее всегда на уме только хорошее, естественное и необходимое. Но она требовала от него слишком высокого героизма. После ее слов Гильом все время испытывал смутный протест, помышляя о своем проекте доверить свой секрет военному министру, безразлично какому, тому, который сейчас на посту. Он колебался и испытывал отвращение при мысли об этом шаге, а тем временем она говорила ему своим строгим голосом, что он должен сделать нечто более важное, найти другой выход. Внезапно перед ним встал образ Марин, и острая боль пронзила его сердце при мысли, что от него требуют, чтобы он от нее отказался. Потерять ее, уступить ее другому, — нет, нет! Это свыше сил человеческих! У него никогда не хватит мужества отвергнуть эту последнюю радость любви, о которой он так мечтал!

Целых два дня он отчаянно боролся с собой. Все это время он вновь переживал последние шесть лет, когда девушка находилась с ним в его маленьком счастливом доме. Сперва она была для него только приемной дочерью, а впоследствии, когда возникла мысль об их браке, он испытывал спокойную радость, надеясь, что этот союз принесет счастье всем его близким. Он только потому не захотел вторично жениться, что боялся навязать своим детям новую мать, которая еще неизвестно как будет к ним относиться, и только потому стал снова мечтать о радостях любви, о жизни с близким существом, что обрел у своего же очага этот цветок юности, эту подругу, которая благоразумно согласилась ему принадлежать, несмотря на значительную разницу в годах. После этого прошло несколько месяцев, важные обстоятельства заставили их отложить свадьбу, но это не причиняло ему особых страданий. Его успокаивало сознание, что она его ждет, а терпение выработалось у него за долгие годы упорного труда. И теперь, когда возникла угроза ее потерять, его сердце, обычно такое спокойное, разрывалось и истекало кровью. Раньше он никогда бы не поверил, что связан с нею такими тесными узами, что вся плоть его так стремится к ней. Ему под пятьдесят, и у него хотят вырвать женщину, последнюю в его жизни, любимую и желанную, бесконечно желанную оттого, что она является для него воплощением молодости, аромата которой ему вовек не вдыхать, если он потеряет Марию. Им овладело безумное желание, к которому примешивался гнев: он жаждал Марию, и его страдания еще усиливались при мысли, что кто-то хочет похитить ее у него.

Однажды ночью он особенно жестоко страдал. Чтобы не разбудить никого в доме, он рыдал, уткнувшись лицом в подушку. Потом ему показалось, что вопрос разрешается весьма просто: Мария согласилась ему принадлежать, и он удержит ее. Она дала ему слово, и он заставит девушку его сдерживать, — вот и все. Во всяком случае, она будет принадлежать только ему, и никому другому не придет в голову украсть ее у него. Тут перед ним всплыл образ этого «другого», его брата, который долгие годы оставался ему чужим и которого он сам, в порыве любви, ввел в свою семью. Но Гильом так ужасно страдал, что в этот момент готов был прогнать брата; в нем закипала лютая ненависть к Пьеру, и он был близок к безумию. Его брат! Его младший брат! Значит, он больше не будет его любить, их сердца будут отравлены враждой и злобой? Часы за часами он метался, охваченный яростью, выискивая средства, как бы отстранить Пьера, чтобы не совершилось то, что уже назревало. Временами он овладевал собой и сам удивлялся, как это он, ученый, человек возвышенного ума, привыкший за долгие годы к безмятежному труду, мог поддаться такой бурной страсти. Но не ученый страдал в нем, а душа ребенка, мечтательная и полная нежности, все еще живая, несмотря на его неумолимую логику, на упрямую веру в факты. Эта двойственность была основой его гениальности: ученый-химик уживался в нем с мечтателем-утопистом, жаждущим справедливости, способным ко всеобъемлющей любви... И страсть снова овладевала им. Он оплакивал Марию, как стал бы оплакивать крушение своей заветной мечты об уничтожении войн посредством войны; о спасении человечества, на благо которого он трудился уже десять лет.

Потом Гильома одолела усталость, и пришло решение, успокоившее его. Ему стало стыдно, что он впал в такое отчаяние, еще не удостоверившись, как обстоит дело. Ему захотелось все разузнать. Он спросит девушку, она так честна, что ответит ему со всей откровенностью. Вот выход из положения, достойный их обоих! Надо чистосердечно объясниться и вслед за тем принять то или иное решение. Наконец он уснул. Утром Гильом встал совсем разбитый, но несколько успокоенный, как будто после пронесшейся грозы; за краткие часы сна в его душе произошла какая-то важная перемена.

В то утро Мария была на редкость весела. Накануне она совершила с Пьером и Антуаном продолжительную поездку на велосипеде в сторону Монморанси по отвратительным дорогам, и они приехали домой запыленные, но в полном восторге. Она возвращалась из прачечной, где

заканчивалась стирка, и шла по садику с обнаженными руками, беззаботно напевая, когда Гильом остановил ее.

— Вы хотите со мной поговорить, друг мой?

— Да, дорогое мое дитя, мне необходимо побеседовать с вами об одном важном деле.

Она поняла, что речь идет о свадьбе, и лицо ее сразу стало серьезным. В свое время Мария согласилась на этот брак, считая, что поступает весьма благоразумно, и вполне сознавая, какие обязанности она берет на себя. Конечно, она выходила замуж за человека двадцатью годами старше ее. Но о таких браках нередко приходилось слышать, и обычно они бывали удачными. Она никого не любила и могла располагать собой. Она дарила ему себя в порыве благодарности, горячего, нежного чувства, которое принимала за любовь. Все вокруг нее так радовались этому союзу, который должен был еще теснее связать членов их семьи! Ее опьяняли молодая отвага и жизнерадостность, придававшие ей такую прелесть, ей хотелось сделать всех счастливыми.

— В чем дело? — спросила она с некоторым беспокойством. — Надеюсь, ничего дурного!

— Нет, нет... Только мне надо кое-что вам сказать.

Он повел ее под сливовые деревья, в последний, еще уцелевший уголок зелени. Там стояла под сиренью старая подгнившая скамья. Перед ними расстилался огромный Париж — безбрежное море крыш, легких и сияющих в лучах утреннего солнца.

Они уселись. Но когда Гильом хотел заговорить, задать вопрос, он вдруг испытал странное смущение. Глядя на Марию, такую молодую, такую прелестную, с обнаженными руками, он почувствовал, как его бедное сердце усиленно забилося.

— Приближается день нашей свадьбы, — сказал он наконец.

При этих словах она слегка побледнела, быть может, сама того не сознавая, и он весь похолодел. Не заметил ли он скорбную складку в уголках ее рта? Не омрачились ли печалью ее глаза, такие честные, такие ясные?

— О, у нас еще столько времени впереди!

Он продолжал неторопливо, ласковым голосом:

— Конечно, но все-таки нужно будет выполнить кое-какие формальности. Это скучная материя, но лучше нам сегодня все обсудить, чтобы больше к этому не возвращаться.

Он продолжал говорить о том, что им предстояло сделать, не отрывая от нее взгляда, наблюдая, какое впечатление произведет на нее разговор о

близкой свадьбе. Она сидела молча. Лицо ее словно окаменело, руки лежали на коленях, и она не обнаруживала ни огорчения, ни досады. Но все же она казалась подавленной и как будто покорялась необходимости.

— Дорогая моя Мария, вы молчите... Вам что-нибудь неприятно?

— Мне? О нет, нет!

— Вы же знаете, что можете говорить со мной вполне откровенно. Давайте еще подождем, если у вас есть свои основания снова отодвинуть этот срок.

— Да нет же, мой друг, у меня нет никаких причин. Какие же у меня могут быть причины? Я предоставляю вам уладить все по вашему усмотрению.

Наступило молчание. Она смотрела ему в глаза своим открытым взглядом, но губы ее чуть вздрагивали, и какая-то странная грусть омрачала ее лицо, обычно веселое и безмятежное, как лесной ручеек. Раньше она, конечно, стала бы смеяться и петь, услышав о предстоящей свадьбе.

Внезапно Гильом набрался смелости и сказал дрожащим голосом:

— Моя дорогая Мария, простите меня, если я задам вам один вопрос... Вы еще можете взять назад свое слово. Вполне ли вы уверены, что любите меня?

Она поглядела на него с искренним изумлением, не понимая, к чему он клонит. Видя, что она не спешит отвечать, он добавил:

— Загляните поглубже в свое сердце, спросите себя... Действительно ли вы любите своего старого друга, а не другого?

— Это я-то, Гильом! Почему вы меня об этом спрашиваете? Разве я дала вам повод так со мной говорить?

В ее голосе звучало искреннее негодование. Она смотрела ему в глаза своими прекрасными глазами, в которых так и светила правда.

— А все-таки я должен у вас допытаться, — продолжал он, перемогая себя, — ведь дело идет о счастье всей нашей семьи. Спросите свое сердце, Мария. Вы любите моего брата, вы любите Пьера...

— Я люблю Пьера? Я? Я? Ну да, я его люблю. Я его люблю, как и всех вас, я люблю его, потому что он стал нам родным, потому что теперь он живет нашей жизнью и разделяет наши радости!.. Когда он приходит к нам, я, разумеется, бываю счастлива, и мне хотелось бы, чтобы он всегда был с нами. Я в восторге, когда его вижу, когда его слушаю, когда гуляю с ним. На днях я так огорчилась, когда мне показалось, что он опять впал в черную меланхолию... Это вполне естественно, не так ли? Мне кажется, до сих пор я исполняла все ваши желания, и решительно не понимаю,

каким образом мои дружеские чувства к Пьеру могут помешать нашему браку.

Пытаясь его успокоить, она с жаром говорила о своем равнодушии к Пьеру, и Гильом с болью в сердце убедился, что он не ошибся в своих догадках.

— Но послушайте, бедная моя Мария, ведь вы невольно выдаете себя... Теперь мне ясно, что вы не любите меня, а любите моего брата.

Он схватил ее обнаженные руки и сжимал их с нежностью и отчаянием, словно принуждая Марию заглянуть в глубь ее сердца. Но девушка все еще защищалась. Продолжалась трагическая борьба двух любящих существ: он старался убедить ее очевидностью фактов, а она сопротивлялась, упорно не желая ничего видеть. Тщетно излагал он ей всю историю ее любви, объясняя, что происходило у нее в сердце: сперва она испытывала к Пьеру глухую враждебность, потом ее заинтересовал этот необычайный молодой человек, затем возникла симпатия и родилась нежность, когда она увидела его страдания и ей удалось мало-помалу излечить его от тоски. Оба они молоды, все остальное довершила мудрая природа. Он приводил все новые доводы, все новые доказательства, вызывая у нее волнение и дрожь, но она по-прежнему не хотела испытывать свое сердце.

— Нет, нет, я его не люблю... Если бы я его любила, это было бы мне известно и я сказала бы вам. Ведь вы знаете меня: я не умею лгать.

Гильом безжалостно допытывался правды. В эти минуты он напоминал героического хирурга, который, помышляя о всеобщем благе и испытывая новый метод, делает операцию самому себе.

— Нет, Мария, вы любите вовсе не меня. Вы чувствуете ко мне только уважение, благодарность, чисто дочернюю нежность. Вспомните, что вы переживали, когда мы решили пожениться. В то время вы никого не любили и благоразумно дали свое согласие, не сомневаясь, что будете счастливы со мной, считая, что поступаете правильно и хорошо... Но вот явился мой брат, и у вас естественно родилась любовь. И теперь Пьера, одного Пьера, вы любите страстной любовью, какую питают к любовнику и к мужу.

Обессилен, потрясенная светом, которым, помимо воли, озарилась ее душа, Мария взволнованно возражала.

— Но почему вы так защищаетесь, дитя мое? Я же ни в чем вас не упрекаю. Я сам, старый безумец, этого захотел. Случилось только то, что должно было произойти, и это, безусловно, хорошо... Я только хотел

добиться от вас правды, чтобы принять известное решение и поступить, как подобает порядочному человеку.

Наконец она признала себя побежденной. Слезы хлынули у нее из глаз. Она испытывала раздирающую боль, и ей казалось, что она смята, раздавлена под тяжестью этой новой, дотоле неведомой ей истины.

— Ах, какой вы злой, вы насильно заставили меня заглянуть в мою душу! Еще раз клянусь вам, я и не подозревала, что люблю Пьера той любовью, о которой вы говорите. Это вы раскрыли мне мое сердце и раздули в нем пламя из искорки, которая еле тлела... А ведь это правда, я люблю Пьера. Теперь я люблю его именно так, как вы сказали. И все мы стали ужасно несчастными, — вот чего вы добились!

Она плакала навзрыд. В порыве безотчетной стыдливости она внезапно вырвала свои руки из его рук. Но он обратил внимание, что ее щеки не окрасились румянцем, хотя она так часто, к своей досаде, произвольно краснела. Девственно чистая Мария не чувствовала себя виноватой: она не изменила ему, это он разбудил ее для любви. С минуту они стояли, глядя сквозь слезы друг на друга, — она, здоровая, крепкая, с широкой грудью, вздымающейся от сердечного волнения, с прелестными обнаженными до плеч руками, которые могли служить поддержкой; он, еще полный сил, с густой седой шевелюрой, с черными усами, придававшими ему молодой и энергичный вид. Но все было кончено: свершилось непоправимое, и судьба их резко изменилась!

Он сказал в благородном порыве:

— Мария, вы не любите меня. Я возвращаю вам ваше слово.

Но она с не меньшим благородством стала отказываться:

— Я никогда вам его не верну, потому что я дала вам его от чистого сердца, с искренней радостью и по-прежнему испытываю к вам нежность и восхищаюсь вами.

Но он настаивал, и в его надтреснутом голосе появились твердые нотки.

— Вы любите Пьера, и за Пьера вы должны выйти замуж.

— Нет, я принадлежу вам. Невозможно за какой-то час разрушить то, что скрепили годы... Еще раз клянусь вам, что если я и впрямь люблю Пьера, то еще этим утром и не подозревала об этом. Пусть будет все по-прежнему. Не мучьте меня больше, это было бы слишком жестоко.

Вдруг Мария с дрожью стыда обнаружила, что стоит перед ним с обнаженными руками, и поспешно отвернула рукава, она натягивала их на ладони, словно хотела вся спрятаться от него. Потом встала и удалилась, не проронив больше ни слова.



Гильом остался один на скамейке в этом зеленом уголке, над огромным Парижем, который в утренних лучах казался каким-то фантастическим городом, реющим над землей. Неимоверная тяжесть придавила его. Ему представлялось, что он никогда не поднимется с этой скамьи. Но более всего его ранило признание Марии, что еще этим утром она не подозревала о своей любви к Пьеру. Она этого не знала, и он сам заставил ее осознать свою любовь. Он взрастил у нее в сердце это чувство, открыв ей глаза. О, как это ужасно! Самому обречь себя на смертельные муки! Теперь он во всем удостоверился. Счастье любви не для него! Жившее в нем нежное дитя было смертельно ранено. Но в эти трагические минуты, чувствуя свой возраст и всю неизбежность жертвы, он испытал горькую радость и некое гордое удовлетворение при мысли об исполненном долге. То было суровое утешение, которое посещает лишь героические души, но

он находил в этом горькую поддержку, какое-то гордое удовлетворение, И мысль о жертве внедрилась в его сознание, мало-помалу овладев им с необычайной силой. Он поженит своих детей. Это его долг, это единственно разумный выход, только это обеспечит счастье всем членам семьи. Когда его сердце возмущалось, трепетало и стеноло от боли, он сжимал себе грудь своими сильными руками, пытаясь его придушить.

На другой день у Гильома произошло решительное объяснение с Пьером, но уже не в тесном садике, а в просторной мастерской. В окне виднелся необъятный Париж, целый мир, где трудилось человечество, гигантский чан, где бродило вино будущего. Оставшись наедине с братом, он сразу же приступил к делу, не считая нужным прибегать к предосторожностям, какие соблюдал в разговоре с Марией.

— Пьер, тебе ничего не надо мне сказать? Почему ты не хочешь быть откровенным со мной?

Брат сразу понял, о чем идет речь, и весь задрожал, не находя слов, выдавая себя своей растерянностью, испуганным и умоляющим взглядом.

— Ты любишь Марию, так почему же ты не пришел ко мне честно сказать о своей любви?

Но вот Пьер овладел собой и начал пылко защищаться:

— Да, я люблю Марию. Я знал, что не сумею скрыть своего чувства и что ты это заметишь. Но мне незачем было тебе об этом говорить. Я был уверен в себе и не сомневался, что уйду от вас прежде, чем у меня вырвется хоть слово любви. Я страдал в одиночестве. Ах, ты и представить себе не можешь, как я терзался, и с твоей стороны даже жестоко об этом говорить, потому что теперь я буду вынужден уйти... Я уже несколько раз собирался это сделать. И если я остался у вас, то этому виной моя слабость, а также глубокая привязанность к вашей семье. Впрочем, я здесь никому не помешаю. Мария ничем не рискует. Ведь она не любит меня.

— Мария любит тебя, — отрезал Гильом. — Я допытывался у нее вчера, и она призналась, что любит тебя.

Потрясенный Пьер схватил его за плечи и заглянул ему в глаза.

— Ах, брат, брат! Что ты говоришь! Зачем говоришь такое? Ведь это было бы ужасным несчастьем для всех нас! Мне принесла бы больше горя, чем радости, эта любовь, о которой я всегда мечтал, как о несбыточном счастье. Ведь я не хочу, чтобы ты страдал... Мария твоя. У меня к ней благоговейное чувство, как к сестре. Если только мое безумие способно вас разлучить, то я избавлюсь от него, я сумею себя побороть.

— Мария любит тебя, — повторил Гильом с каким-то мягким упорством. — Мне не в чем тебя упрекнуть. Я прекрасно знаю, что ты боролся с собой, что ты не выдал себя ей ни словом, ни взглядом... Она сама еще вчера не подозревала, что любит тебя, и мне пришлось открыть ей глаза. Что поделаешь! Я просто констатирую факт: она любит тебя.

Пьер содрогнулся, и у него вырвался жест, выражавший ужас и восторг, как будто он узрел некое долгожданное чудо, которое вдруг поразило его насмерть.

— Ну хорошо, теперь все кончено... Давай обнимемся, брат, я ухожу.

— Ты уходишь? Но почему?.. Нет, ты останешься с нами. Нет ничего проще: ты любишь Марию, она любит тебя. Я тебе ее отдаю.

Пьер громко вскрикнул и поднял руки в недоумении и каком-то восторженном испуге.

— Ты мне отдаешь Марию, брат? Да ведь ты ждешь ее уже много месяцев, ты обожаешь ее!.. Нет! Нет! Это раздавит меня. Это слишком ужасно! Как будто ты даешь мне свое окровавленное сердце, вырвав его из груди... Нет, нет! Я не приму твоей жертвы!

— Но ведь Мария испытывает ко мне только благодарность и дружеские чувства, а тебя она любит страстной любовью. Неужели же ты хочешь, чтобы я бесчестно воспользовался ее словом, которое она дала мне, не разбираясь в своих чувствах? Но ведь если бы даже я принудил ее к браку, она не могла бы мне принадлежать всецело. Впрочем, я ошибаюсь, это не я отдаю ее тебе, она сама тебе отдается, и я не имею права ей помешать.

— Нет, нет! Ни за что не приму! Ни за что не причиню тебе такую боль!.. Обними меня, брат, я ухожу.

Гильом схватил его и насильно усадил рядом с собой на старом диванчике, стоявшем в углу у окна. Он принялся журить брата и говорил сердитым тоном со скорбной и добродушной улыбкой:

— Да ну же, неужели мы станем драться? Неужели придется тебя привязать, чтобы ты здесь остался?.. Черт возьми, уж я-то знаю, что делаю. Я всё обдумал, прежде чем говорить с тобой. Конечно, я не скажу, что у меня легко на душе. Да, сперва мне казалось, что я умру с горя, и я желал тебе смерти. А потом — что поделаешь! — волей-неволей я образумился, понял, что все устроилось к лучшему и самым естественным образом.

У Пьера уже не было сил сопротивляться, и он тихонько заплакал, закрыв лицо руками.

— Братец, милый братец, не надо скорбеть ни обо мне, ни о самом себе... Помнишь, как счастливы были мы с тобой в твоём домике в Нейи, когда снова нашли друг друга? Вся былая нежность пробудилась в нас, и мы сидели часами, держась за руки, вспоминали прошлое и были так дороги друг другу... А какое потрясающее признание сделал ты мне однажды вечером: о своём неверии, о своих муках, о пустоте, в которой ты очутился! Мне захотелось только одного — исцелить тебя, и я посоветовал тебе работать, любить, верить в жизнь, так как я был убежден, что только жизнь вернет тебе душевный мир и здоровье. Вот почему я привел тебя потом сюда и познакомил со своими. Ты упорно не хотел приходить, и я насильно тебя удержал.

И как же я был счастлив, когда у тебя пробудился вкус к жизни, когда ты стал настоящим мужчиной и тружеником! Я отдал бы свою жизнь, лишь бы ты окончательно выздоровел... Ну, что ж, теперь это сделано; я отдаю тебе все, что у меня есть. Мария тебе необходима, и она одна может тебя спасти.

И, видя, что Пьер порывается еще протестовать, он прибавил:

— Не отрицай этого. Это сущая правда. Если Мария не довершит дела, начатого мною, то, значит, я напрасно трудился: ты снова впадешь в отчаяние, в отрицание, будешь скорбеть о своей неудавшейся жизни. Она тебе необходима. Неужели ты думаешь, что я могу тебя разлюбить, что я, который так пламенно желал вернуть тебя к жизни, вдруг не захочу подарить тебе дыхание любви, живую душу, которая сделает из тебя человека? Я так люблю вас обоих, что не в силах вам запретить любить друг друга. Ведь пожертвовать своей любовью, милый брат, значит доказать свою любовь... И потом, повторяю, мудрая природа знает, что делает. Можно положиться на инстинкт, он всегда стремится к полезному, находит верный путь. Из меня получился бы нудный муж, — лучше уж мне оставаться в роли почтенного ученого. Ну, а ты другое дело, ты молод, у вас еще столько впереди: ребенок, плодовитая и счастливая жизнь.

Пьер невольно вздрогнул, и у него, как всегда, появился страх перед своим бессилием. Он столько лет был священником. Не вычеркнут ли он из списка живых? За эти годы воздержания не умер ли в нем мужчина?

— Жизнь плодовитая и счастливая, — повторил он шепотом, — да заслуживаю ли я ее, способен ли я еще на нее? Ах, если бы ты знал, как смущает и мучает меня мысль, что, быть может, я не достоин этого чудесного создания, которое ты мне даришь с такой любовью и царственной щедростью! Ты куда лучше меня, твое сердце богаче, твой

ум живее, да, может быть, и как мужчина ты окажешься моложе и сильнее меня... Еще не поздно, брат, не отдавай ее мне, оставь ее себе. Ведь с тобой она будет счастливее, у вас будут дети, и ты будешь гораздо крепче и горячее любить ее... Поразмысли. Меня одолевают сомнения. Ее счастье важнее всего. Пусть она принадлежит тому, кто будет по-настоящему ее любить.

Неизъяснимое волнение овладело мужчинами. Слыша эту прерывистую речь, видя, что брат сомневается в силе своей любви, Гильом вдруг почувствовал, что воля у него поколебалась. Сердце у него раскалывалось от боли, и у него вырвалась отчаянная, бессвязная жалоба:

— Ах, я так люблю Марию! Она была бы так счастлива со мной!

Вне себя Пьер вскочил и крикнул:

— Ты сам видишь, что по-прежнему ее любишь и не можешь отказаться от нее!.. Отпусти меня! Отпусти меня!

Но Гильом уже обхватил его обеими руками и крепко сжимал. Самоотречение только усиливало его любовь к брату.

— Останься!.. Это не я сейчас с тобой говорил, это другой, тот, что должен умереть, что уже умер. Клянусь тебе памятью матери, памятью отца, что жертва моя уже принесена, и вы оба перестанете для меня существовать, если не захотите быть обязанными мне своим счастьем!

Братья со слезами на глазах обнялись и с минуту стояли, крепко сжимая друг друга в объятиях. Им уже приходилось так обниматься, но они еще ни разу не испытали такого полного духовного слияния. Старший дарил свою жизнь младшему, а младший дарил ему в ответ все свои силы, всю свою душевную чистоту и страстную нежность. Это сладостное мгновение показалось им вечностью. Вся скорбь, все страдания человеческие исчезли. Их пылающие сердца излучали неугасимую любовь, подобно тому как солнце излучает свет. И эта великая минута искупила все слезы, те, что были пролиты в прошлом, и те, что должны были пролиться. А расстилавшийся перед ними необъятный Париж глухо рокотал. Там зарождался новый, неведомый мир. В его гигантском чане бродило вино будущего.

В этот момент вошла Мария. И все совершилось так просто. Гильом вырвался из объятий брата, подвел его к ней и насильно соединил их руки. Сперва она сделала отстраняющий жест, упорно не желая, с присущей ей честностью, отказываться от своего слова. Но что она могла сказать перед лицом этих двух плачущих мужчин, которых она застала в тесном объятии братской любви? Разве эти слезы, эти объятия не разбивали в прах все обычные доводы, все возражения, готовые сорваться

с ее уст? Она даже не испытывала неловкости: ей показалось, что она уже до конца объяснилась с Пьером и что они оба согласились принять этот дар любви, который Гильом так героически им преподносил. Пронеслось веяние высокого подвига, и эта необычайная сцена казалась им всем совершенно естественной. Между тем Мария молчала, все еще не решаясь отвечать. Она смотрела на братьев, и ее большие, сияющие нежностью глаза тоже наполнились слезами.

Но вот Гильома словно озарило, и он бросился к лестнице, которая вела на второй этаж, где находились спальни.

— Бабушка! Бабушка! Спускайтесь! Спускайтесь скорее! Вы нам нужны!

И когда она вошла в своем черном платье, стройная и бледная, величаясь, как королева-мать, которой все повинуются, он воскликнул:

— Скажите же этим детям: самое лучшее, что они могут сделать, это пожениться. Скажите им, что мы с вами уже говорили об этом и таково ваше мнение, такова ваша воля.

Она проговорила спокойно, чуть склонив голову:

— Это правда. Так будет благоразумнее всего.

Тут Мария бросилась в ее объятия. Она соглашалась, покоряясь могучей неведомой силе жизни, внезапно изменившей ее судьбу. Гильом тотчас же потребовал, чтобы назначили день свадьбы и приготовили наверху помещение для молодых. Пьер посмотрел на него с беспокойством и заговорил о свадебном путешествии, опасаясь, что брат еще не совсем исцелен и их присутствие будет для него мучительным.

— Нет, нет! Оставайтесь! — воскликнул Гильом. — Я для того и решил вас поженить, чтобы вы оба были со мною... Не беспокойтесь обо мне. У меня столько работы! Я буду трудиться.

Вечером Том *a* и Франсуа узнали эту новость, но не выказали особенного удивления. Несомненно, они уже предвидели подобную развязку. И они склонились перед волей отца, не проронив ни слова, когда он, как всегда, с невозмутимым видом сообщил им о своем решении. Но Антуан, сам переживавший пылкую любовь, с тревогой и сомнением посмотрел на отца, с таким мужеством вырвавшего сердце у себя из груди. Неужели же он не умирает от горя, принеся эту жертву? Юноша горячо поцеловал отца; его братья, тоже взволнованные, в свою очередь, от души обняли Гильома. Его глубоко тронула ласка взрослых сыновей, и он улыбнулся небесной улыбкой с влажными от слез глазами. После победы, одержанной в мучительной душевной борьбе, их нежность доставляла ему сладостное удовлетворение.

Но в тот же вечер он пережил еще новое волнение. Когда на заходе солнца он уселся возле широкого окна за большим столом и стал проверять и приводить в порядок свои папки с чертежами изобретенного им орудия, он, к своему удивлению, увидел, как в мастерскую вошел Бертеруа, его учитель и друг. Время от времени знаменитый химик его навещал. Гильом понимал, какую честь оказывает ему своим посещением этот семидесятилетний старец, прославленный, увешанный орденами и удостоенный всевозможных почетных званий и постов. К тому же представитель официальной науки, член Французской академии наук проявлял незаурядное мужество, посещая отщепенца и отверженца. Но Гильом сразу же догадался, что на сей раз ученого привело к нему любопытство. И он стоял в замешательстве, не решаясь убрать рукописи и чертежи, разложенные на столе.

— Не бойтесь, — шутливо сказал Бертеруа, отличавшийся большой проницательностью, несмотря на свой небрежный тон и резковатые манеры. — Я вовсе не собираюсь похищать ваши секреты... Оставьте все бумаги на столе. Даю вам слово, что не буду в них заглядывать.

И старик откровенно заговорил о взрывчатых веществах, которые он тоже с увлечением изучал. Недавно он сделал кое-какие открытия, которыми охотно делился. Потом как бы мимоходом он упомянул о консультации, за которой к нему обратились во время процесса Сальва. Он давно мечтал изобрести взрывчатое вещество исключительной мощи, чтобы затем использовать его для бытовых целей, сделав своим послушным орудием. В заключение он сказал, многозначительно улыбаясь:

— Не представляю себе, где бы мог этот безумец раздобыть формулу своего порошка. Но если вы когда-нибудь откроете эту формулу, имейте в виду, что будущее, по всей видимости, принадлежит взрывчатым веществам, которые будут использованы как двигательная сила.

И вдруг добавил:

— Между прочим, этого Сальва казнят послезавтра утром. Мне только что сказал об этом мой приятель из министерства юстиции.

Гильом до сих пор слушал ученого с каким-то недоверчивым любопытством. Но весть о предстоящей казни Сальва всколыхнула в нем гневный протест. За последние дни ему стало ясно, что казнь неизбежно совершится, несмотря на многочисленные изъявления запоздалой симпатии к осужденному.

— Это будет гнусное убийство! — яростно крикнул он.

Бертеруа снисходительно пожал плечами.

— Что поделаешь! Общество всегда защищается, когда на него нападают... К тому же эти анархисты сущие дураки: они воображают, будто могут изменить мир, швыряя свои хлопушки. Вы знаете мое мнение: я считаю, что одна наука революционна, что наука со временем не только овладеет истиной, но и осуществит справедливость, если только справедливость осуществима в мире сем... Вот почему, друг мой, я живу так спокойно и проявляю такую терпимость.

Гильом снова вглядывался в образ этого революционера, который в тишине своей лаборатории готовил гибель старому отвратительному обществу с его богом, догматами, законами, но при этом ценил свой покой, отвергал борьбу, не желал вмешиваться в уличные события, предпочитал жить обеспеченной жизнью, получать награды и готов был мириться с любым правительством, одновременно предвидя и подготавливая роды грозного завтрашнего дня.

Бертеруа протянул руку по направлению к Парижу, на который опускалось солнце во всем победоносном великолепии.

— Слышите, как он ворчит?.. Ведь это мы поддерживаем пламя, это мы все время подбрасываем горючее в топку котла. Наука ни на минуту не прекращает своей работы, и это она созидает новый Париж, который станет творцом будущего мира... Будем на это надеяться. Все остальное пустяки.

Но Гильом больше не слушал его. Он думал о Сальва, думал о своем изобретении, о грозном орудии, которое не сегодня-завтра начнет разрушать города. Им овладела новая мысль. Он развязал последние узы, он сделал все, что мог, для счастья окружающих его людей. О! Вновь обрести мужество, до конца овладеть собой и, принеся в жертву свое сердце, с гордой радостью сознавать, что он вполне свободен и, если потребуется, пожертвует своей жизнью!

КНИГА ПЯТАЯ

I

Гильом захотел присутствовать при казни Сальва, и Пьер, досадуя, что ему не удалось отговорить брата, остался ночевать на Монмартре, чтобы утром его сопровождать. Он не раз обходил с благотворительной целью вместе с аббатом Розом квартал Шаронн и помнил, что из окон дома на углу улицы Мерлен, где жил депутат-социалист Меж, видна гильотина. Итак, он предложил себя в провожатые. Стояли ясные майские дни, казнь была назначена на половину пятого утра; братья решили не ложиться, они сидели, подремывая, в просторной мастерской и лишь время от времени перекидывались словами. В два часа они вышли из дому.

Ночь была восхитительно ясная и тихая. Полная луна, сиявшая в просторном чистом небе, подобно огромной серебряной лампе, изливала на широко раскинувшийся во сне Париж неиссякаемые потоки мирного таинственного света. Казалось, что идешь по какому-то приснившемуся городу, полному истомы; тишина не нарушалась ни единым звуком. Париж захлестнуло своими волнами и тихо баюкало озеро безмятежного покоя; до рассвета затих гулкий рокот труда, замолкли крики страданья. А там, внизу, в уединенном предместье, люди потихоньку копошились: они устанавливали гильотину, собираясь убить человека.



На улице Сент-Элефтер Пьер и Гильом остановились, глядя на забывшийся во сне Париж, зыблющийся в тумане, словно овеянный легендой. Обернувшись, они увидели здание собора Сердца Иисусова, еще без купола, но производящее при ярком лунном свете грандиозное впечатление. В ослепительно белых лучах резко выделялись выступы на фоне огромных черных теней, и храм казался еще массивнее. Под бледным ночным небом он принимал вид какой-то чудовищной растительности, в которой таился грозный и зловещий вызов. Никогда еще не казался он Гильому таким огромным; в своей царственной гордыне он упорно властвовал над Парижем, подавляя его даже во время сна.

Глубоко взволнованный Гильом был так потрясен видом собора, что не удержался и громко сказал:

— Ха! А они недурно выбрали местечко; и зачем только им это разрешили!.. Не могу представить себе ничего нелепей. Язычески роскошный храм, венчающий Париж, царящий над ним, построенный во славу абсурда! Какое бесстыдство, какая пощечина человеческому разуму после стольких веков труда, развития наук, борьбы! И это на самом видном месте нашего славного Парижа, единственного в мире города, чело которого, казалось бы, не должно быть запяtnано подобным клеймом!.. В Лурде, Риме — это еще понятно. Но в Париже, на этой тщательно возделанной ниве разума, где пробиваются ростки великого будущего! Да ведь это объявление войны, дерзкое признание своей победы.

Обычно Гильом проявлял прекрасную терпимость ученого, для которого религия лишь социальное явление. Он даже охотно признавал величие или прелесть католических легенд. Но пресловутое видение Марии Алякок, послужившее поводом к основанию собора Сердца Иисусова, возмущало его, вызывая что-то вроде физического отвращения. Он испытывал страдание при виде кровоточащей раны на груди Спасителя, в глубине которой святая узрела огромное сердце и куда Иисус вложил другое сердце, маленькое сердце женщины, чтобы преисполнить его горячей любовью. Какой грубый, отталкивающий материализм, прямо мясная лавка, внутренности, мышцы, кровь! Особенно оскорбляла его картинка, которая изображала все эти ужасы и попадалась ему на каждом шагу: у дверей его дома, у торговца священными предметами, кричаще-яркая, в желтых, голубых и красных тонах, похожая на иллюстрацию из учебника анатомии.

Пьер также молчал, глядя на собор, весь белый в лунном свете, выступающий из мрака, подобно фантастическому замку, призванному держать в страхе и подчинении дремлющий у его подножия город. Он много перестрадал за последние годы, когда служил в нем мессы и был еще не в силах побороть в себе мучительные противоречия неверующего священника. И он, в свою очередь, высказал давно владевшую им тревожную мысль:

— Великие чаяния французского народа! Да, да, именно народные чаяния: труда, здоровья, расцвета сил, всеобщего подъема... Но с их точки зрения, все это совсем не так. Если Франция потерпела поражение, значит, она достойна кары. Она провинилась, следовательно, должна нести покаяние. В чем же ее вина? Она породила революцию и целое столетие свободно занималась исследованиями и науками; революция освободила разум, способствовала вольной инициативе и раскрепощению

человечества, проповедуя это всем странам мира... Вот что вменили ей в вину, и как возмездие за наш великий труд, за все провозглашенные нами истины, за широкое распространение знаний, за то, что мы учим людей справедливости, теперь воздвигнута эта гигантская тумба, которую Париж может лицезреть из каждого закоулка и при виде которой будет чувствовать себя оплеванным; ведь она зачеркивает все наши усилия, всю нашу славу.

Обведя широким жестом город, дремлющий под серебряным лунным покровом, Пьер двинулся дальше, брат следовал за ним; в молчании они спустились с холмов в темноту еще пустынных улиц.

До внешнего кольца бульваров им не попалось навстречу ни души. Но там жизнь никогда не замирала; винные погребки, ночные рестораны, танцевальные залы были открыты, выброшенные на улицу порок и нищета жили своей обычной ночной жизнью. Люди, лишённые крова, дешёвые проститутки в погоне за какой-нибудь постелью, бродяги, спавшие на бульварных скамейках, празднующийся люд, ищущий удачи. Под покровом ночного мрака всплывала на поверхность вся накипь парижского дна, обнажались все его язвы. Пустые улицы были во власти изголодавшихся, бездомных людей, утративших право даже на дневной свет; эти безымянные, отчаявшиеся существа кишели на улицах только по ночам. Что за жуткие призраки нищеты, что за страшные видения скорби и ужаса; как глухо звучали предсмертные стоны этим утром над Парижем, где на рассвете должны были гильотинировать человека, одного из этих отверженных, такого же бедняка и страдальца.

Когда братья начали спускаться по улице Мартир, Гильом заметил лежащего на бульварной скамье старика, у которого пальцы ног выглядывали из грязных рваных башмаков; Гильом молча указал на него. А через несколько шагов Пьер, тоже молча, указал Гильому на девушку в лохмотьях, которая спала с раскрытым ртом в подворотне прямо на земле. Они без слов понимали друг друга — жалость и гнев переполняли их сердца. Время от времени полицейские, по двое мерным шагом обходившие город, заставляли несчастных вставать на ноги и плестись дальше. Если они возбуждали подозрение или отказывались повиниться, их забирали в участок. Разлагающее влияние обитателей центральных кварталов и преследования обездоленных сплошь и рядом превращали простых бродяг в воров и убийц.

На улице Мартир и в Монмартрском предместье ночная толпа носила другой характер; здесь встречались лишь запоздавшие ночные гуляки, женщины, пробиравшиеся вдоль стен, и уличные девки,

затеявшие драку с любовниками. Еще дальше, на главных бульварах, — это уже были завсегдатаи ночных клубов, бледные мужчины, остановившиеся раскурить сигару на пороге высоких черных зданий, где ярко светился в темноте ряд окон целого этажа. Неторопливо, под руку с приятельницей, прошла дама в пышном туалете и бальном манто. Время от времени еще попадались медленно ехавшие фиакры. Экипажи, со спящими кучером и лошадьё, стояли целыми часами как вкопанные; братья проходили бульвар за бульваром — бульвар Бонн-Нуviel, начинающийся сразу же после бульвара Пуассоньер, бульвар Сен-Дени, бульвар Сен-Мартен и до самой площади Республики картина нищеты и страданий повторялась, становясь все ужасней, — бездомные, голодные всевозможные отбросы человечества, извергнутые на улицу ночью. Между тем на мостовой появилась армия подметальщиков, которые должны были убрать вчерашний сор и с утра придать городу пристойный вид, дабы парижанам не приходилось краснеть за скопившиеся за ночь кучи мусора и нечистот.

Братья шагали по бульвару Вольтера, приближаясь к улицам Рокет и Шаронн, и вскоре они почувствовали, что вступают в кварталы труда, где частенько не хватает даже хлеба и жизнь — сплошное страдание. Здесь Пьер чувствовал себя как дома, — эти огромные людные улицы он обошел сотни раз вместе с добрейшим аббатом Розом, навещая несчастных, разнося милостыню, поднимая упавших в канаву малышей. Все эти ужасы жили у него в душе; сколько трагедий видел он здесь, сколько слышал воплей, сколько перед ним проливалось слез и крови отцов, матерей, детей — в общей куче, заброшенных, погибающих от грязи и нищеты; это был настоящий ад, откуда он в конце концов бежал в слезах, потеряв всякую надежду и убедившись, что благотворительность лишь пустая, никчемная забава богачей. В этот ранний час бывшие чувства с невероятной силой вновь нахлынули на взволнованного ожиданием Пьера при виде этого квартала, полного скорби, где жили люди, раздавленные нищетой, обреченные на вечное отчаяние. Разве не в одной из этих конур недавно умер от голода старик, которому как-то вечером оказал помощь аббат Роз? А только что встреченная им проститутка, с визгом увертывавшаяся от ударов «кота», уж не та ли это девушка, которую он когда-то унес на руках после смерти ее родителей? Сколько их, этих несчастных созданий, — имя им легион, спасти их нет возможности, — и тех, что родились нищими, как рождаются калеками, и тех, что нырнули в море людской несправедливости, в существующий испокон веков океан, который ширится, несмотря на все попытки осушить

его. Какое гнетущее безмолвие, какой непроглядный мрак царит в этих рабочих кварталах, где сон подобен доброму товарищу — смерти! Здесь рыщет голод, здесь стонет само несчастье, здесь вдруг возникают из темноты и тут же рассеиваются бледные призраки.

По мере того как Пьер и Гильом приближались к гильотине, вокруг них становилось все больше темных силуэтов, — целое стадо любопытных с глухим нетерпеливым топотом устремлялось к месту казни. Человеческие потоки стекались со всего Парижа, словно гонимые жестокой лихорадкой, в жажде увидеть смерть и кровь. Толпа глухо рокотала, но в квартале бедноты было по-прежнему темно, не светило ни одного окна, не доносилось ни звука из домов, там на убогом ложе спали разбитые усталостью люди, которые должны были встать на рассвете.

Когда они подошли к площади Вольтера, Пьер, увидев, какая там толкучка, понял, что им не пробиться на улицу Рокет. И действительно, вход на нее был загорожен. Тут ему пришло в голову пройти немного дальше по улице Фоли-Реньо и добраться до улицы Мерлен, которая поворачивает позади тюрьмы.

Там было темно и пустынно. Огромное здание тюрьмы с высокими голыми стенами казалось в косых лучах луны какой-то древней постройкой, громадой холодного, мертвого камня. Но вот они очутились в толпе, в плотном туманном волнующемся потоке, где можно было различить лишь светлые пятна лиц. Им стоило немалого труда пробраться к дому депутата Межа на углу улицы Мерлен. Однако окна комнат на четвертом этаже, где жил депутат-социалист, оказались наглухо закрытыми, зато в остальных открытых настежь окнах виднелось множество голов. Ярко освещенная газом лавка виноторговца внизу и относившийся к ней зал во втором этаже уже были переполнены посетителями, весьма бурно настроенными в ожидании предстоящего спектакля.

— Я не решаюсь подняться и постучать к Межу, — заявил Пьер.

— Нет, нет! — воскликнул Гильом. — Я тоже не хочу. Зайдем сюда. С этого балкона, может быть, кое-что будет видно.

К находившемуся на втором этаже залу примыкал большой балкон, где уже теснилось множество мужчин и женщин. Братьям все же удалось протиснуться, и они стояли там несколько минут, вглядываясь в темноту. Между двумя тюремными зданиями — Малой Рокет и Большой Рокет — плавно поднимающаяся кверху улица расширялась, образуя нечто вроде четырехугольной площади, со всех сторон осененной густыми платанами,

растущими в выемках на тротуарах. Приземистые домики, чахлые деревца — все это убожество как бы расплзлось по земле под необъятным небом, где клонилась к закату луна и загорались звезды. Площадь была совершенно пуста, лишь вдалеке суетились какие-то люди; два кордона сдерживали толпу, оттесняя ее в соседние улицы. Высокие пятиэтажные дома находились только в самом начале улицы Сен-Мор, далеко от места казни, и на другом конце площади, на углу улиц Мерлен и Фоли-Реньо; таким образом, было почти невозможно что-нибудь разглядеть даже из окон наиболее удобно расположенных зданий. А толпившиеся внизу люди видели только спины стражников, что не мешало им давить друг друга; над человеческим приливом поднимался все нарастающий гул.

Но благодаря оживленному разговору двух женщин, перегнувшихся через перила и уже давно следивших за происходящим, братьям удалось кое-что уяснить. Было половина четвертого, гильотину уже установили. Люди, суетившиеся под деревьями, возле тюрьмы, оказались помощниками палача, они прилаживали нож гильотины. Медленно двигался взад и вперед фонарь, в лучах его на мостовой плясало несколько теней. И больше ничего. Площадь походила на огромную темную дыру, со всех сторон окруженную бурно напиравшей, рокочущей толпой. Вдалеке, подобно маякам, светились окна погребков виноторговцев. А вокруг простирались спящие кварталы нищеты и труда, склады и мастерские тонули во мраке, над высокими остывшими фабричными трубами еще не вздымались султаны дыма.

— Но отсюда мы ничего не увидим, — заметил Гильом.

Пьер знаком велел ему молчать. Взглянув на элегантного господина, облокотившегося на перила возле него, он узнал любезного депутата Дютейля. Сперва ему показалось, что рядом с депутатом стоит принцесса де Гарт, которую тот вполне мог привести посмотреть на казнь, потому что она присутствовала при чтении приговора; но вскоре он понял, что прижавшаяся к депутату, закутанная в шаль женщина не кто иная, как красавица Сильвиана, — он узнал ее тонкий девственный профиль. Да она и не старалась спрятаться и очень громко болтала, видимо, не вполне трезвая, и вскоре братья узнали, как она сюда попала. Она ужинала с Дютейлем, Дювильяром и другими приятелями и когда около часу ночи, за десертом, узнала о казни, ей вдруг пришло в голову отправиться смотреть. Напрасно Дювильяр умолял ее отказаться от этой прихоти, наконец в ярости он уехал; он считал за дурной тон глазеть на казнь человека, пытавшегося взорвать его особняк. Тогда она повисла на руке у

Дютейля, обещая решительно все, чего бы он ни потребовал, если он исполнит ее просьбу. Депутат ненавидел такие зрелища и уже отказался сопровождать маленькую принцессу, но все же скрепя сердце согласился, охваченный страстным желанием обладать Сильвианой, до сих пор ускользавшей от него.

— Он просто не понимает, как это интересно, — сказала она, имея в виду барона. — Как здорово, что мы сюда пришли! А ведь завтра он будет опять у моих ног.

— Итак, — сказал Дютейль, — мир заключен, вы вернули ему права хозяина и властелина, как только был подписан ваш ангажемент в Комедию.

— Мир? Как бы не так!.. Ничего подобного, слышите! — воскликнула она. — Я поклялась, что не допущу ничего такого до своего дебюта... А вечером, после первого спектакля... посмотрим.

Оба рассмеялись, и Дютейль, желая ей угодить, рассказал о том, как любезно новый министр народного просвещения и изящных искусств Довернь поспешил устранить все преграды и перед ней распахнулись двери Комедии, которые до сих пор были закрыты, несмотря на отчаянные попытки Дювильяра. Прелестный человек этот Довернь, настоящая бархатная лапка, сплошное благожелательство, украшение вновь сформированного министерства, а этот ужасный Монферран всего лишь железный кулак.

— Он сказал, моя красавица, что хорошенькой всюду честь и место.

Явно польщенная, она прижалась к нему.

— А послезавтра — долгожданная премьера «Полиевкта», вам предстоит торжество! Мы все придем и будем вам аплодировать.

— Да, послезавтра вечером, и в этот же день барон выдает замуж свою дочь. Немало будет у него волнений.

— Ах да! Именно в этот день наш друг Жерар женится на мадемуазель Камилле Дювильяр. Сперва будут давить друг друга в церкви Мадлен, а потом уже в Комедии. Вы правы, сколько будет бурных переживаний в особняке на улице Годо-де-Моруа!

Они снова развеселились, стали издеваться над матерью, отцом, любовником и дочерью с отвратительным цинизмом, злорадством, смеялись просто ради смеха, с легкомыслием парижан. И вдруг Сильвиана заявила:

— А знаете, мой миленький Дютейль, я умираю здесь от скуки. Отсюда ничего не видно, а я хочу быть совсем близко, чтобы ничего не упустить... Пристройте-ка меня поближе к их машине.

Дютейль совсем приуныл, тем более что на улице, у дверей виноторговца, она заметила Массо, помахала ему рукой и подозвала к балкону. Между балконом и тротуаром на лету завязалась беседа.

— Как вы думаете, Массо, ведь депутат может пренебречь запрещениями и устроить свою даму на любом месте?

— Ни в коем случае! Массо прекрасно знает, что депутат первый обязан склониться перед законом! — воскликнул Дютейль, и журналист понял, что депутат вовсе не желает покидать балкон.

— Вам бы следовало добиться пропуска, сударыня. Тогда вы получили бы место у окна Малой Рокет. А впрочем, туда не удалось попасть ни одной женщине... Так что не стоит огорчаться, здесь тоже очень неплохо.

— Но, миленький мой Массо, мне решительно ничего не видно!

— И все-таки вы увидите куда больше, чем принцесса де Гарт. Я только что встретил ее экипаж на улице Шмен-Вер, полицейские не пропускают его дальше.

Услышав это, Сильвиана вновь развеселилась, а Дютейль содрогнулся, размышляя о том, какой опасности он избег; ведь если бы Роземонда увидела его с другой женщиной, она закатила бы ему чудовищную сцену. Ему пришла блестящая мысль — предложить своей прелестной подруге, как он ее называл, шампанского и пирожного Сильвиана все время жаловалась, что умирает от жажды, и была рада еще по пьянствовать, когда слуге удалось наконец втиснуть на балкон рядом с нею маленький столик. Ей казалось, что это так мило, так смело и оригинально — выпить вина и еще раз поужинать в ожидании смерти человека, которому должны были там, внизу, отрубить голову.

Гильому и Пьеру стало неважно здесь оставаться. Все, что они видели и слышали, вызывало у них отвращение. Зрителям на балконе и в соседнем зале надоело ждать, и от скуки они набросились на еду. Слуга сбился с ног, мелькали пивные кружки, бокалы с вином, блюда с бисквитами и даже холодным мясом. Публика, впрочем, там была изысканная — богатые господа, элегантные буржуа. Но ведь надо же как-то убить время, если оно тянется так медленно. Кругом раздавался смех, слышались двусмысленные шуточки; комната наполнилась лихорадочным шумом и дымом сигар. Спустившись в нижний зал, братья очутились среди такой же крикливой суетни; особенный беспорядок вносили здоровенные парни в блузах, которые литрами пили вино прямо у оцинкованных, блестящих, как серебро, стоек. Столики и здесь были все заняты; в зал постоянно вливались толпы мелкого люда, которому

хотелось выпить в ожидании зрелища. И что это был за люд! Проходимцы, бродяги, бездельники, что с рассвета до поздней ночи шатаются по городу в погоне за счастливым случаем.

Очувтившись на улице, Пьер и Гильом испытали еще большее страдание. Толпа, сдерживаемая полицейскими, состояла из подонков общества: проститутки и преступники, завтрашние убийцы — все они пришли поучиться, как нужно умирать. Окруженные уличным сбродом, в толпе расхаживали гнусного вида косматые девицы, распевая похабные песенки. Сбившись в кучки, бандиты спорили, вспоминая, как мужественно вели себя перед казнью различные знаменитости. Одного из них все дружно превозносили, называя великим вождем, героем, стяжавшим бессмертную славу. До слуха долетали обрывки ужасных фраз, мерзкие подробности о гильотине; то было гнусное фанфаронство, комья грязи, сочащейся кровью. Толпа была охвачена скотским безумием, сладострастным желанием увидеть, как брызнет из-под ножа на землю свежая алая кровь, и окунуться в нее. Смотреть на эту далеко не обычную казнь пришли также и молчаливые люди, в их горящих глазах можно было прочесть фанатическую жажду мести и мученичества; они молча расхаживали в толпе.

Гильом вспомнил о Викторе Матисе, и ему показалось, что он увидел молодого человека в первом ряду любопытных, сдерживаемых цепью кордона. Он не ошибся: то было его худощавое, бритое лицо, бледное, с презрительным выражением; вытянувшись во весь свой маленький рост, Матис стоял рядом с высокой рыжей, отчаянно жестикулирующей девицей, неподвижный, безмолвный, весь ожидание, вглядываясь в темноту широко раскрытыми горящими глазами ночной птицы. Стражник грубо оттолкнул его, но он снова протиснулся, дрожа от ненависти, во что бы то ни стало желая увидеть казнь, хотя бы для того, чтобы еще сильнее ненавидеть.

Увидев Пьера без сутаны, Массо даже не удивился, а, как всегда, весело воскликнул:

— А, господин Фроман, вам тоже любопытно посмотреть?

— Да, я сопровождаю брата. Боюсь только, что мы не очень-то много увидим.

— Конечно, если вы будете смотреть отсюда.

И тут же любезно добавил, как известный журналист, перед которым открываются все двери:

— Пойдемте со мной. Полицейский чиновник мой приятель.

И, не дожидаясь ответа, он подозвал полицейского и вполголоса, скороговоркой, рассказал ему, что это его коллеги, которых он привел сюда, чтобы дать им материал для газет. Полицейский в нерешительности сперва попытался отклонить просьбу, потом махнул рукой и согласился из смутного страха, какой полиция всегда испытывает перед прессой.

— Пойдемте скорей, — сказал Массо, увлекая за собой братьев.

С изумлением глядя, как перед ними расступаются стражники, братья вышли на свободное пространство. Под невысокими платанами царили тишина и покой. Светало, и с неба струилось бледное, пепельно-серое сияние.

Они пересекли площадь, и Массо остановился возле тюрьмы:

— Я пойду туда, — сказал он, — хочу присутствовать при подъеме и последнем туалете... Погуляйте здесь, посмотрите на людей, никто у вас ничего не спросит. Впрочем, я скоро вернусь.



В

предраассветной тьме бродило человек сто — журналисты и просто любопытные. По обе стороны мощеной дороги, ведущей от тюрьмы к месту казни, были поставлены деревянные решетки, какие обычно сдерживают толпу перед входом в театр. Вдоль них уже стояли, облокотясь, зрители, хотевшие поближе увидеть преступника на его пути к гильотине. Другие медленно прохаживались, переговариваясь вполголоса. Братья подошли к гильотине.

Она стояла под сенью нежной весенней листвы. Сначала они не видели ничего, кроме этой ужасной машины, сбоку освещенной соседним газовым рожком, свет которого казался желтым в утренних лучах. Сооружение гильотины близилось к концу; слышалось лишь глухое постукивание деревянных молотков, а вокруг, терпеливо выжидая, бродили помощники палача в сюртуках и черных шелковых цилиндрах. Гильотина распласталась на земле подобно мерзкому чудовищу, — казалось, она сама испытывала стыд и отвращение перед убийством,

которое ей предстояло совершить. И это была машина, посредством которой перевоспитывали общество и творили возмездие! Несколько брусьев, лежащих на земле, а над ними стоят два трехметровых бруса, поддерживающие нож. Куда девался огромный, выкрашенный в красный цвет эшафот с лестницей в десять ступенек, который как бы простирал к народу кровавые руки и господствовал над стекавшимися к нему толпами, осмеливаясь показать всем весь ужас казни? Чудовище пригнули к земле, и оно стало низким, трусливым, гнусным. И если в скромном зале суда правосудие отнюдь не носило торжественного характера в день, когда оно приговаривало человека к смерти, то в ужасный день, когда оно его казнило с помощью самой отвратительной, самой варварской из машин, это была настоящая бойня.



Пьер и Гильом смотрели на гильотину, содрогаясь от омерзения. Занимался день; квартал постепенно выступал из мрака, сперва площадь и два низких серых корпуса тюрьмы, один против другого, потом отдаленные дома, лавки виноторговцев, магазины надгробных памятников и цветочные магазины, в которых продавались и венки, возле кладбища Пер-Лашез. Уже можно было разглядеть толпу, черным широким кольцом обступившую площадь, и облепленные людьми окна и балконы; любопытные теснились повсюду, даже взбирались на крыши. Прямо напротив находилась тюрьма Малая Рокет, превращенная в трибуну для почетных зрителей. По обширному, свободному от зрителей пространству медленно разъезжали конные полицейские. Мало-помалу небо светлело, и за пределами толпы, по всему кварталу, на бесконечно длинных и широких улицах, где стояли только мастерские, склады и заводы, пробуждался труд. Над городом слышался рокот; заработали станки и машины; из бесчисленных высоких кирпичных труб, выступавших из темноты, поднимались клубы дыма.

Внезапно Гильом почувствовал, что именно здесь гильотина на месте, в этом квартале нищеты и труда. Она была у себя дома и, казалось, символизировала завершение жизненного пути и вечную угрозу. Невежество, бедность, страдание — разве все это не вело именно к ней? И разве не была она призвана, всякий раз как ее водружали в рабочих кварталах, удерживать в рамках законности обездоленных и умирающих с голоду людей, ожесточенных вечной несправедливостью и всегда готовых восстать? Ее никогда не видели в роскошных кварталах богачей, которых незачем было пугать. Там она показалась бы ненужной, грязной, противоестественно жестокой. И до ужаса трагичным было то обстоятельство, что человека, который швырнул бомбу, обезумев от нищеты, предстояло гильотинировать в квартале, где царила нищета.

Между тем совсем рассвело; было половина пятого утра. Рокочущая в отдалении толпа чуяла приближение решительной минуты. По рядам зрителей пробежал трепет.

— Сейчас его приведут, — сказал маленький Массо, подходя к братьям. — Он все-таки молодчина, этот Сальва!

Он рассказал о пробуждении заключенного, о том, как в камеру вошли начальник тюрьмы, следователь Амадье, священник и другие лица и спавший крепким сном Сальва, едва открыв глаза, сразу все понял, побледнел, но тут же, овладев собой, вскочил на ноги. Он оделся без посторонней помощи, отказался от стакана коньяка и сигареты, которые предложил ему священник, по-видимому добрый малый; мягким, но решительным жестом Сальва отстранил распятие. Туалет осужденного был проделан быстро и в полном молчании: ему связали руки за спиной, а затем ноги — так, чтобы он мог их передвигать, и надели рубаху с глубоким вырезом. Когда его ободряли, он улыбался, опасаясь лишь одного, как бы не поддаться нервной слабости, испытывая единственное желание — умереть героем, до конца остаться мучеником своей веры в правду и справедливость, за которые он и шел на казнь.

— Сейчас заносят смертный приговор в тюремную книгу, — продолжал Массо. — Подойдите поближе к барьеру... если хотите видеть. Знаете, я был бледнее и нервничал больше, чем этот осужденный. Хоть мне и море по колено, но все равно не так уж весело смотреть, как будет умирать этот человек... Вы и представить себе не можете, сколько было приложено усилий, чтобы его спасти. Целый ряд газет требовал помилования. Но все было напрасно: казнь казалась неизбежной даже тем, кто считал приговор несправедливым. А какой прекрасный представился предлог для помилования, когда его маленькая дочка

Селина написала президенту республики трогательное письмо, которое я первым напечатал в «Глобусе»... Ох, уж это письмо, заставило же оно меня попрыгать!

При имени Селины Пьер, с волнением ожидавший тяжелого зрелища, растрогался до слез. Он увидел девочку рядом с грустной и покорившейся судьбе г-жой Теодорой в убогом и холодном жилище, куда уже никогда не вернется отец. Он ушел от них как-то утром в гневе, голодный, с пылающей головой, и вот он идет сюда и станет между этими столбами, под нож гильотины.

Массо передавал все новые подробности; теперь он рассказывал, что врачи в ярости, они опасаются, что им не удастся заполучить тело казненного для вскрытия тотчас же после казни. Но Гильом больше не слушал. Облокотясь на деревянную решетку и устремив взгляд на все еще запертую дверь тюрьмы, он ждал. У него дрожали руки и лицо выражало отчаяние, словно он сам был осужден на смертную казнь. Вот появился палач, маленький, невзрачный человек с сердитым лицом, спешивший скорее покончить с делом. Потом присутствующие стали указывать друг другу на группу господ в сюртуках, среди которых был Гасконь, начальник сыскной полиции, чиновник с равнодушным лицом, и судебный следователь Амадье, улыбающийся и тщательно одетый, несмотря на столь ранний час; он пришел сюда по долгу службы, собираясь присутствовать при заключительном акте драмы, автором которой он себя считал. Вдали толпа зашумела сильнее, и Гильом, подняв голову, увидел два серых здания тюрьмы, и весенние платаны, и униженные людьми дома — все это под высоким, светло-голубым куполом неба, где торжественно всходило солнце.

— Вот он, смотрите!

Кто это сказал? Слабый стук открывшейся тюремной двери отозвался во всех сердцах. Все стояли, вытянув шеи, напряженно глядя, затаив дыхание. На пороге появился Сальва. Пятясь назад, чтобы прикрыть от него гильотину, перед ним шел священник; Сальва остановился; ему хотелось сначала взглянуть на нее, ознакомиться, а потом положить голову под нож. И тогда все увидели его голую шею и длинное, осунувшееся, постаревшее от тяжелых испытаний лицо, освещенное чудесным взглядом глаз, горящих фанатическим огнем. Он находился в экстазе, он умирал, одержимый своей мечтой. Помощники палача захотели поддержать его, он снова отказался. Он держался прямо и мелкими шагами быстро продвигался вперед, насколько позволяла веревка, стягивавшая ему ноги.

Внезапно Гильом почувствовал взгляд Сальва. Приближаясь, осужденный заметил его и узнал; проходя мимо в каких-нибудь двух метрах, он слабо улыбнулся, и взгляд его глубоко проник в душу Гильома, оставив в ней неизгладимый след. Уж не хотел ли Сальва передать ему этим взглядом свою последнюю волю, свое завещание! Это раздирало сердце, Пьер, опасаясь, как бы брат не крикнул, схватил его за руку.

— Да здравствует анархия!

Это крикнул Сальва. Но голос его, приглушенный, ослабевший, внезапно оборвался; воцарилось гробовое молчание. Кое-кто из присутствующих побледнел; толпа вдалеке замерла. Громко фыркнула лошадь стражника, стоявшая на свободном от зрителей пространстве.

Тут произошло нечто невообразимо безобразное и зверское. Помощники палача набросились на Сальва, который, высоко подняв голову, медленно шагал к гильотине. Двое схватили его за шиворот, так как волосы оказались слишком редкими, двое других — за ноги и с размаху бросили на помост гильотины, причем одна доска вылетела из пазов и покатила. Голову толчками впахнули в отверстие, и все это с такой дикой грубостью и так поспешно, что можно было подумать, будто хотят уничтожить какого-то опасного зверя, от которого надо как можно скорее избавиться. С тяжелым, глухим стуком упал нож. Из перерезанных артерий двумя длинными фонтанами хлынула кровь; конвульсивно задергались ноги. И больше ничего; палач привычным жестом потирал руки, а его помощник, подняв истекающую кровью голову, положил ее в маленькую корзинку, а потом уже в большую корзину одним махом было сброшено обезглавленное тело.

О, этот глухой стук! Этот тяжелый удар ножа! Гильом услышал, как его отзвук прокатился по всему кварталу трудовой бедноты, отозвался в недрах убогих жилищ, где тысячи рабочих поднимались в это время с постели, начиная тяжелый трудовой день. Этот звук приобретал страшный смысл; в нем слышалось возмущение несправедливостью, безумие мученичества, звучала надежда обездоленных, что пролитая кровь ускорит победу. И Пьер в разгар этой гнусной бойни, этой отвратительной резни, производимой машиной для убийства людей, вдруг увидел другое тело, тело хорошенькой белокурой девушки, лежавшей с разорванным бомбой животом под сводом ворот особняка Дювильяров, и его пронизала ледяная дрожь. Из ее слабенького тела, как из этой отрубленной головы, струилась кровь. То была кровь за кровь, вечная расплата за человеческое страдание, без всякой надежды на избавление от бедствий.

А над площадью, над огромной толпой расстилалось безмолвное ясное небо. Сколько времени продолжалась казнь? Быть может, вечность, но, уж во всяком случае, две-три минуты. И вот наступило пробуждение; люди очнулись от страшного кошмара; у них дрожали руки, побледнели лица, в глазах отражались жалость, отвращение и ужас.

— Еще один, — с болью в сердце сказал Массо, — четвертый раз я вижу казнь. Нет, положительно, свадьбы мне больше нравятся. Идемте отсюда, для статьи у меня достаточно материала.

Гильом и Пьер машинально последовали за ним, снова пересекли площадь и вновь оказались на углу улицы Мерлен. И на том самом месте, где они его покинули, увидели Виктора Матиса, который стоял бледный, с застывшим лицом и пылающим взором. Он почти ничего не мог разглядеть, но удар ножа гильотины все еще звучал у него в голове. Полицейский толкнул его и велел ему проходить. В порыве ярости он с минуту глядел на него молча, готовый его задушить. Потом спокойно повернулся и пошел вверх по улице Рокет, над которой виднелись в ярких лучах восходящего солнца тенистые деревья кладбища Пер-Лашез.

И тут же братья невольно стали свидетелями щекотливого объяснения. Принцесса де Гарт явилась после окончания спектакля; и без того раздосадованная, она пришла в ярость, увидев у лавки виноторговца своего нового любовника Дютейля с какой-то женщиной.

— Как мило с вашей стороны бросить меня на произвол судьбы! — воскликнула она. Мой экипаж не мог ехать дальше, и мне пришлось пробираться пешком среди всего этого сброда, меня толкали и ругали со всех сторон.

Ничуть не растерявшись, он тотчас же представил ей Сильвиану и шепнул, что вынужден был сопровождать ее вместо своего приятеля. Роземонда, которой страстно хотелось познакомиться с актрисой, о любовных причудах которой она наслышалась, сразу успокоилась и стала обворожительной.

— Я была бы счастлива, сударыня, если б присутствовала на этом спектакле с участием такой талантливой актрисы, как вы. Я уже давно вами восхищаюсь, хотя еще не имела случая выразить вам свой восторг.

— О, господи, да вы, сударыня, не очень-то много потеряли, явившись к концу зрелища. Мы сидели вот на том балконе, и я увидела только, как несколько человек волокли одного человека. Вот и все... Не стоило из-за этого терять время...

— Теперь, когда мы познакомились, могу я надеяться стать вашей подругой, сударыня?

— О, разумеется, сударыня, мне и самой очень лестно быть вашей приятельницей.

Взявшись за руки, они улыбались друг другу — Сильвиана, порядком опьяневшая, но все еще сохранявшая выражение девственного целомудрия, и Роземонда, которая загорелась любопытством, желая изведать решительно все на свете, даже эту новую для себя сторону жизни.

Развеселившийся Дютейль хотел лишь одного — отвезти Сильвиану к ней на квартиру и потребовать вознаграждения за свою услугу. Он окликнул проходившего мимо Массо и попросил его дойти до ближайшей стоянки экипажей. Но Роземонда уже предложила свою карету, пояснив, что кучер дожидается на соседней улице, и уверяя, что очень охотно развезет по домам актрису и депутата. Дютейль с отчаянием в сердце вынужден был согласиться.

— Итак, до завтра, в церкви Мадлен, — сказал повеселевший Массо, пожимая руку принцессе.

— Да, да, до завтра у Мадлен и в Комедии.

— Черт возьми, а ведь верно! Утром у Мадлен, вечером в Комедии!.. — воскликнул он, целуя руку Сильвиане. — Мы непременно явимся все, чтобы обеспечить вам шумный успех.

— Я надеюсь на вас... До завтра.

— До завтра.

Толпа расходилась с глухим ропотом, усталая, словно чем-то недовольная, разочарованная. Несколько наиболее упрямых зевак остались посмотреть, как будут увозить в фургоне тело казненного; бродяги и уличные девицы, побледневшие в ярком утреннем свете, стоя кучками, свистели и отчаянно сквернословили, прежде чем разойтись по своим трущобам. Помощники палача поспешно разбирали гильотину. Вскоре площадь должна была опустеть.

Пьер захотел проводить Гильома, который неподвижно стоял, стиснув зубы, словно еще оплушенный стуком ножа гильотины. Напрасно указывал он брату на окна квартиры Межа, плотно закрытые и выделявшиеся среди остальных настезь распахнутых окон большого дома. Без сомнения, то был протест депутата-социалиста против смертной казни, хотя он и ненавидел анархистов. Пока толпа жадно смотрела на эту отвратительную картину, он, лежа лицом к стене, размышлял о том, как бы ему привести человечество к счастью, подчинив его законам коллективизма. Недавняя смерть любимого ребенка разбила сердце этого любящего отца, скрывающего свою бедность. Он сильно

кашлял, но хотел жить. Итак, в ближайшее время, когда после его запроса падет министерство Монферрана, он должен захватить власть, упразднить гильотину и подарить человечеству абсолютную справедливость и вечное благоденствие.

— Видишь, Гильом, — мягко сказал Пьер. — Меж даже окна не открыл; все-таки он славный малый, хотя наши друзья Баш и Морен и недолюбливают его.

И так как брат продолжал молчать, рассеянный, занятый своими мыслями, он добавил:

— Идем, пора домой.

Пройдя по улице Фоли-Реньо, они по Шмен-Вер добрались до внешнего кольца бульваров. В этот ранний час рабочее население окрестных кварталов было уже на улицах в ярком свете утренней зари; вдоль длинных улиц, где тянулись низкие строения мастерских и заводов, разносился гул моторов; клубы дыма, вылетающие из высоких фабричных труб, порозовели в рассветных лучах. Дойдя до бульвара Менильмонтан, братья увидели великое вторжение рабочих в Париж. Пройдя этот бульвар неторопливым шагом гуляющих, они пошли дальше бульваром Бельвиль. Со всех сторон, из всех улочек и переулков, стекался поток, настоящий библейский исход тружеников, вставших на заре и спешивших по утреннему холодку к своим тяжелым обязанностям. Рубахи навыпуск, блузы, вельветовые и холщовые штаны, грубые тяжелые башмаки, качавшиеся на ходу изуродованные работой руки. На заспанных, серых, изможденных лицах не видно было улыбки; весь этот люд изо дня в день устремлялся на работу с единственным желанием, чтобы работа не прекращалась. Необозримое полчище, бесчисленная армия рабочих катилась волна за волной, — то был рабочий скот, изо дня в день пожираемый Парижем, утопавшим в роскоши и наслаждениях.

Братья миновали бульвары Вийетт, Шапель и Рошешуар, и до самой возвышенности Монмартра шествие все продолжалось: из холодных, убогих жилищ в огромный город изливались все новые и новые потоки людей; вечером они должны были вернуться домой, измученные, заработав лишь жалкий кусок хлеба — хлеба ненависти и злобы. Теперь это были уже не только рабочие, но и работницы; развевались юбки, женщины на ходу бросали быстрые взгляды на прохожих. Заработок их был так ничтожен, что нередко хорошенькие оставались вечером на панели, а дурнушки прозябали на хлебе и воде. Позже появились служащие — приличные с виду господа в скромных пальто, жившие на мизерное жалованье, быстро шагали вперед, на ходу доедая булочку,

терзаясь страхом, что не хватит уплатить за квартиру и прокормить до конца месяца жену и детей. Солнце поднималось над горизонтом; на улицы высыпал весь людской муравейник; начинался трудовой день с его тяжкими усилиями, мужественной борьбой и страданиями.

Никогда еще Пьер не чувствовал так остро необходимость труда, возрождающего, спасительного. Уже во время посещения завода Грандидье и позднее, когда он сам почувствовал необходимость работать, он осознал, что труд — основной закон земного бытия. Но после этой ужасной ночи, когда пролилась кровь рабочего, обезглавленного за свою безумную мечту, какое блаженство, какое дивное вознаграждение видеть восходящее солнце и вечный труд, вступающий в свои права! Пусть изнурителен труд, пусть несправедливо распределение благ, но не труду ли суждено в один прекрасный день даровать людям справедливость и счастье!

И вот, когда братья поднимались по крутым склонам Монмартра, прямо перед ними, на вершине холма, выросла громада собора Сердца Иисусова, торжествующая, величавая. Это был уже не смутный призрак в лунном сиянии, не мечта о господстве, витавшая над ночным Парижем. Собор вставал в солнечных лучах весь золотой, гордый, победоносный, сияя бессмертной славой.

Гильом молчал, все еще храня в памяти предсмертный взгляд Сальва; казалось, внезапно он принял какое-то решение. Устремив на храм пылающий взгляд, он вынес ему смертный приговор.

II

Венчанье было назначено на двенадцать часов дня, но уже за полчаса до начала церемонии гости заполнили роскошно убранную, украшенную тропическими растениями, благоухающую цветами церковь. В глубине храма сиял множеством свечей главный алтарь, а церковные врата были широко распахнуты, и виднелись залитый солнцем, уставленный зелеными кустами перистиль, покрытая широким ковром лестница, толпа любопытных на площади, теснившаяся до самой улицы Ройяль.

Дютейль, который только что разыскал кресла для трех запоздавших дам, сказал, обращаясь к Массо, заносившему в записную книжку имена приглашенных:

— Честное слово, те, что придут теперь, будут вынуждены стоять.

— Кто эти три дамы? — спросил журналист.

— Герцогиня де Буазмон с двумя дочерьми.

— Черт возьми! Вся французская аристократия, весь финансовый мир и все политические деятели! Это почище свадьбы в чисто парижском вкусе.

И действительно, здесь собрались представители всех слоев общества, поначалу слегка смущенные этой встречей. Дювильяры пригласили толстосумов и государственных деятелей, г-жа де Кенсак и ее сын были окружены родовитой знатью. Уже один выбор свидетелей говорил об этом удивительном смешении: со стороны Жерара — его дядя, генерал Бозонне, и маркиз де Мориньи; со стороны Камиллы — крупный банкир Лувар, ее двоюродный брат, и Монферран, министр финансов, председатель совета министров. Недавно скомпрометированный в аферах Дювильяра, Монферран согласился быть свидетелем на свадьбе его дочери, и эта наглая бравада придавала особый блеск триумфу банкира. И что особенно разжигало любопытство присутствующих, — венчанье должен был совершить монсеньер Март *a*, епископ Персеполийский, уполномоченный папы во Франции, апостол, приобщавший покоренную республику католицизму.

— Да что там свадьба в парижском вкусе! — усмехаясь, воскликнул Массо. — Эта свадьба носит символический характер. Это подлинный апофеоз буржуазии, друг мой: древняя родовая знать приносит в жертву золотому тельцу одного из своих сынов, дабы господь бог, вкуче с жандармами, ставшими господами Франции, избавил нас от социалистического отребья. А впрочем, — продолжал он, — социалистов больше нет; вчера утром им отрубили голову.

Дютейль нашел эту шутку забавной.

— А знаете, — доверительно сказал он, — получилось не очень-то приглядно... Вы читали сегодня утром гнусную статью Санье?

— Ну как же; да я и раньше знал, и кто только не знал об этом!

Они продолжали беседовать вполголоса, понимая друг друга с полуслова. У Дювильяров дело кончилось тем, что мать после жестокой душевной борьбы, рыдая, уступила своего любовника дочери, движимая желанием видеть Жерара богатым и счастливым и по-прежнему ненавидя Камиллу бессильной ненавистью побежденной соперницы. Столь же мучительная борьба происходила в душе графини де Кенсак; она была глубоко возмущена и дала согласие только в надежде спасти сына от грозившей ему с детства опасности; ее материнское самоотречение так тронуло маркиза де Мориньи, что он, несмотря на весь свой гнев, согласился быть свидетелем, принеся наивысшую жертву женщине,

которую любил всю жизнь, — свои убеждения. Эта ужасная история, действующие лица которой выступали под довольно прозрачными псевдонимами, была опубликована Санье в утреннем номере «Голоса народа»; как всегда плохо осведомленный, склонный привирать, он беззастенчиво сгустил краски и каждый день изливал все новые потоки ядовитых нечистот, чтобы его газету раскупали. Когда Монферран запретил ему распространяться по поводу Африканских железных дорог, он жадно набросился на всякого рода скандалы, пороча частных лиц и разрушая семейное счастье.

Но вот к Массо и Дютейлю подошел Шенье, озабоченный и грустный, в небрежно застегнутом сюртуке сомнительной свежести.

— Ну, как обстоит дело, господин Массо, с вашей статьей о нашей Сильвиане? Она пройдет?

Дювильяр решил использовать Шенье, за деньги всегда готового на всевозможные лакейские услуги, в качестве вербовщика, подготавливающего триумф Сильвианы. Он предоставил этого господина в распоряжение актрисы, и та нагрузила его всякого рода сомнительными делишками; она заставила Шенье обегать весь Париж и собрать целую армию клакеров, чтобы обеспечить овации. И он проделал это: ведь его старшая дочь еще не была выдана замуж, и четыре женщины висели у него на шее нестерпимо тяжким грузом; это был настоящий ад, и если первого числа он не приносил им тысячефранковый билет, его безжалостно избивали.

— Моя статья? — проговорил Массо. — Ах нет, дорогой депутат, она никак не пойдет. Фонсег находит, что она написана в чересчур хвалебном тоне и не подходит для «Глобуса». Он спросил меня, уж не издеваюсь ли я над его газетой, которая славится своей строгостью.

Шенье побледнел. Эта статья была заранее написана об успехе Сильвианы на премьере пьесы «Полиевкт», поставленной театром Комедии. Журналист, желая угодить Сильвиане, даже сообщил ей содержание статьи, актриса была в восторге и рассчитывала увидеть ее напечатанной в самой солидной газете.

— Боже мой! Что же теперь будет! — уныло пробормотал депутат. — Статья непременно должна пройти.

— Черт возьми! Я тоже этого хочу! Поговорите-ка с патроном сами... Смотрите! Вот он стоит между Виньоном и министром народного просвещения Довернем.

— Непременно поговорю с ним... Только не здесь. Можно в ризнице во время поздравлений... С Довернем я тоже попытаюсь поговорить;

Сильвиана непременно хочет, чтобы он сегодня вечером присутствовал в ложе изящных искусств. Там будет и Монферран; он обещал Дювильяру.

Массо рассмеялся, повторив остроту, облетевшую весь Париж после ангажемента актрисы.

— «Министерство Сильвианы»... Он должен это сделать для своей крестной матери!

Внезапно, как порыв ветра, к беседующим мужчинам подлетела маленькая принцесса де Гарт.

— Вы знаете, у меня нет места! — воскликнула она.

Дютейль решил, что речь идет об удобно расположенном кресле.

— Не рассчитывайте на меня, я положительно отказываюсь. Мне такого труда стоило пристроить герцогиню де Буазмон с двумя дочерьми.

— Да нет! Я имею в виду сегодняшней спектакль... Мой славный Дютейль, вы непременно должны устроить мне местечко в ложе. Вот увидите, я умру с отчаяния, если не смогу аплодировать нашей несравненной, нашей восхитительной приятельнице.

Отвезя накануне Сильвиану домой после казни Сальва, она вспылала к ней бурными чувствами.

— Вам не найти ни одного места, сударыня, — важно заявил Шенье. — Все распроданы. Мне уже предлагали триста франков за кресло.

— Так оно и есть, — подтвердил Дютейль, — все расхватили, до последнего откидного сиденья. Я прямо в отчаянии, но ничем не могу вам помочь... Дювильяр мог бы взять вас к себе в ложу. Он сказал, что оставил для меня одно место. Кажется, пока нас только трое, вместе с его сыном... Итак, скажите поскорее Гиацинту, чтобы он попросил отца пригласить вас в свою ложу.

Роземонда, которая упала в объятия любезного депутата, когда Гиацинт довел ее до отчаяния, почувствовала в его словах иронию. Несмотря на это, она восторженно воскликнула:

— Да, да! Вы правы! Гиацинт не может мне отказать... Спасибо за совет, славный мой Дютейль. Вы очень милы; вы так чудесно устраиваете далее самые безрадостные дела... И не забудьте, вы обещали заняться моим политическим воспитанием. Ах! Политика! Мне кажется, ничто меня не могло так увлечь, как политика!

Покинув их, она начала проталкиваться сквозь толпу и все-таки устроилась в первом ряду.

— У бедняжки не все дома, — насмешливо бросил Массо.

Когда Шенье устремился навстречу следователю Амадье, чтобы почтительно осведомиться, получил ли он кресло, журналист шепнул на ухо депутату:

— Кстати, мой друг, правду ли говорят, что Дювильяр задумал авантюру с пресловутой железной дорогой через Сахару? Гигантское предприятие, кажется, потребует сотен и сотен миллионов... Вчера вечером в редакции Фонсег пожал плечами и заявил, что это сплошное безумие и он не верит в эту затею.

Дютейль подмигнул:

— Дело в шляпе, мой милый. И двух дней не пройдет, как Фонсег будет лизать патрону руки.

Он игриво намекнул, что тогда снова на прессу, на всех верных соратников, на всех приспешников посыплется золотая манна. Когда гроза минует, птичка отряхивает перышки. В радостном ожидании награды он судачил с беззаботным видом, как будто досадное дело с Африканскими железными дорогами никогда его не тревожило и не вгоняло в дрожь.

— Ну и ну! — серьезно сказал Массо. — Так это не просто триумф, это предчувствие новой богатой жатвы. Я больше не удивляюсь, что здесь такая давка!

В этот момент раздались могучие, величавые звуки органа. Свадебная процессия вступала в церковь. Она торжественно поднималась по ступеням храма, озаренная ярким солнцем, ропот восхищения пробежал в толпе, которая запрудила все прилегающие к церкви улицы, до самой Ройяль, нарушив движение фиакров и омнибусов. Вот процессия уже под гулкими сводами храма, она направляется к залитому огнями свечей главному алтарю; гости, тесной толпой стоящие с обеих сторон — мужчины в вечерних сюртуках и дамы в светлых туалетах, — расступались, давая ей проход. Все встали, вытянув шеи, на лицах улыбки, глаза горят любопытством.

Вслед за пышно разодетым церковным служителем шла Камилла под руку со своим отцом, бароном Дювильяром, который выступал величественно, с победоносным видом. На ней была фата из чудесных алансонских кружев, подхваченная диадемой из флердоранжа, и плиссированное платье из тончайшего шелка на белом атласном чехле; она сияла от счастья, упиваясь своей победой, и казалась почти красивой, она выпрямилась, и было едва заметно, что у нее левое плечо выше правого. За ними следовал Жерар под руку с матерью, графиней де Кенсак; он — красивый, корректный, с подобающим его достоинству выражением лица; она — гордая и бесстрастно-величавая, в зеленовато-

голубом шелковом платье с отделкой из стального и золотого бисера. С нетерпением ждали Еву, и когда она появилась под руку с генералом де Бозонне, свидетелем и ближайшим родственником жениха, все с любопытством вытянули шеи. На ней было платье цвета поблекших роз, отделанное бесценными валансьенскими кружевами; никогда еще эта блондинка не выглядела такой молодой и обворожительной. Но глаза ее были заплаканы, хотя она и старалась улыбаться; и весь ее скорбный прекрасный облик словно говорил о тяжелой утрате, о любви, принесенной в жертву. Затем следовали еще трое свидетелей — Монферран, маркиз де Морины и банкир Лувар, все под руку с дамами, их родственницами. Особенно сильное впечатление произвел Монферран — веселый, развязный, он все время шутил со своей дамой, миниатюрной, легкомысленной брюнеткой. В этой блестящей процессии, которой, казалось, не будет конца, обращал на себя внимание и брат невесты, Гиацинт: на нем был необычайного покроя фрак с фалдами, заложеными в крупные, симметричные складки.

Когда жених и невеста заняли места перед скамеечками для коленопреклонений, а их семейства и свидетели разместились позади в больших позолоченных креслах, обитых красным бархатом, началась торжественная церемония венчания. Богослужение совершал сам кюре церкви Мадлен, а во время мессы к хору певчих присоединились певцы Оперного театра, великолепное пение сопровождалось ликующими звуками органа. Было столько роскоши и блеска в этой религиозной и вместе с тем светской церемонии, что бракосочетание скорее походило на какой-то народный праздник, на торжество по случаю победы одного класса. А ужасная семейная драма, всем известная и бесстыдно выставленная напоказ, придавала оттенок какого-то отвратительного величия этой брачной церемонии. Особенно остро почувствовался дерзкий вызов со стороны сильных мира сего, когда вышел монсеньер Март *a* в простом облачении, с епитрахилью для благословения новобрачных. Высокий, свежий, румяный, он любезно улыбался с видом дружелюбного превосходства; радуясь, что ему выпало на долю примирить две враждующие державы в лице их наследников, этот прелат произносил слова свадебного ритуала торжественно-елейным тоном. Все с любопытством ожидали его обращения к новобрачным. И поистине оно было великолепно; он превзошел самого себя! Не здесь ли, в этой самой церкви, он крестил мать новобрачной, белокурую Еву, прекрасную еврейку, обращенную им в католичество, причем все высшее парижское общество проливало слезы умиления! Не здесь ли, наконец, произнес он

свои три знаменитые проповеди на тему о духе нового времени, для которого характерны крах науки, возрождение христианского спиритуализма и политика воссоединения, имеющая целью покорить республику. Он был вправе поздравить себя, при помощи тонких намеков, с успешным сочетанием бедного отпрыска древнего аристократического рода и пяти миллионов наследницы богатого буржуа, в лице которой торжествовали ныне стоящие у власти победители 89-го года. Только четвертое сословие — ограбленный, обманутый народ — не принимало участия в этом торжестве. Сочетая эту пару, монсеньер Март *a* провозглашал новый союз; он осуществлял политику папы, это был тайный натиск оппортунизма иезуитов, сдружившихся с демократией, с представителями власти капитала, чтобы завладеть ими. Произнося заключительные слова напутствия, епископ повернулся к улыбающемуся Монферрану; казалось, он обратился к нему, когда заповедал молодым жить в христианском смирении, покорности и страхе божием, причем изображал бога как некое подобие жандарма, призванного железной десницей поддерживать мир на земле. Всем было известно, что между епископом и министром существует тайный сговор, который удовлетворял их стремление к власти, желание расширить эту власть, жажду господства, и когда присутствующие заметили добродушную, чуть ироническую улыбку на лице Монферрана, они тоже стали улыбаться.

— Ах, если бы старик Юстус Штейнбергер видел, как его внука венчается с последним отпрыском графов де Кенсаков, уж он бы позабавился! — шепнул Массо стоявшему рядом с ним Дютейлю.

— Но ведь это же чудесно, мой милый, — ответил депутат. — Сейчас мода на подобные браки. Евреи и христиане, буржуазия и дворянство — все стремятся сблизиться и создать новую аристократию. Она необходима нам, а не то нас поплотит народ.

Массо, смеясь, говорил, что он представляет себе, с каким лицом Юстус Штейнбергер слушал бы проповедь монсеньера Март *a*. В самом деле, ходили слухи, что старый еврей, банкир, не желавший видеть дочери после ее обращения в христианство, все же с какой-то насмешливой нежностью постоянно спрашивал, что говорит и что поделывает Ева, как будто она больше чем когда-либо была его грозным орудием, карающим христиан, уничтожения которых якобы так жаждет его народ. И если, выдав ее за Дювильяра, он не мог покорить банкира, на что питал надежды, он, наверно, утешался сознанием, что ему удалось смешать свою кровь с кровью былых угнетателей его народа, которую он

все же подпортил. Разве не являлось это окончательной победой еврейства, о которой столько говорят?

Но вот замолкли торжественные звуки органа, и церемония окончилась. Затем оба семейства и свидетели проследовали в ризницу, где был подписан акт бракосочетания. Начались поздравления.

Новобрачные стояли рядом в высоком, обшитом дубовыми панелями, сумрачном зале. Невозможно передать восторг и торжество Камиллы: наконец-то она стала женой этого красивого человека с громким именем, которого она с таким трудом вырвала из объятий других женщин, даже из объятий своей матери! Казалось, эта маленькая, дурно сложенная девушка, смуглая и некрасивая, как-то сразу выросла, она ликовала, пока мимо нее нескончаемой вереницей, тесня друг друга, проходили женщины — подруги и просто знакомые: все спешили пожать ей руку, а некоторые горячо ее целовали, выражая свой восторг. Жерар, который был на голову ее выше и казался рядом с тщедушной девушкой особенно мужественным и сильным, благосклонно, словно сказочный принц, пожимал с улыбкой руки, радуясь, по своей доброте и слабыхарактерности, что позволил себя полюбить и осчастливил Камиллу. Такой же контраст представляли собой семейства жениха и невесты, они держались обособленно среди осаждавших их гостей, бесконечной вереницей проходивших мимо них с протянутой для рукопожатия рукой. Дювильяр величаво принимал поздравления, как король, довольный своими подданными, а Ева, желая по-прежнему производить впечатление очаровательной женщины, с восхитительной улыбкой, из последних сил, отвечала на приветствия, хотя вся трепетала от еле сдерживаемых слез. По другую сторону новобрачных, между генералом де Бозонне и маркизом де Мориньи, стояла г-жа де Кенсак; она держалась с большим достоинством, чуть высокомерно, и в большинстве случаев только наклоняла голову, протягивая свою маленькую сухую ручку лишь хорошо известным ей лицам. Чувствуя себя одинокой в этом океане незнакомых лиц, она обменивалась с маркизом невыразимо грустным взглядом, когда вода этого прилива становилась слишком мутной и физиономии проходивших явно выдавали финансовых разбойников. Так продолжалось почти полчаса; рукопожатиям не было конца; у новобрачных и у их родных просто руки отнимались.

Гости оставались в зале и, образуя небольшие группки, болтали и смеялись. Монферран тотчас же был окружен. Массо обратил внимание Дютейля, с каким подбострастием подбежал к министру генеральный прокурор Леман. Вслед за ним подошел судебный следователь Амадье;

появился около него и вице-председатель суда г-н де Ларомбардьер, известный фрондер, завсегда с салона графини. Все это были льстивые и угодливые чиновники, готовые пресмыкаться перед начальством, имеющим власть повышать в звании, назначать и увольнять. Уверяли, будто Леман оказал услугу Монферрану в деле Африканских железных дорог, уничтожив кое-какие папки с бумагами. А вечно улыбающийся Амадье, этот парижанин с ног до головы, — разве не он привел на эшафот Сальва?

— Вы знаете, все трое пришли получить вознаграждение, — прошептал Массо, — за того, кто был вчера гильотинирован. Монферран просто обязан поставить за этого беднягу хорошую свечу, ведь своей бомбой тот в первый раз предотвратил падение его министерства, а позднее помог ему занять пост председателя совета министров, когда понадобился человек, способный проявить твердость и задуть анархию в самом ее зародыше. Ха! Какова борьба — Монферран против Сальва! Это и не могло кончиться ничем, кроме гильотины; все жаждали казни... Слушайте, они толкуют как раз об этом.

В самом деле, когда трое чиновников отошли от всемогущего министра, их засыпали вопросами знакомые дамы, любопытство которых разожгли газетные сообщения. И Амадье, присутствовавший по долгу службы при казни и гордившийся своей ролью, постарался разрушить, как он выразился, легенду о героической смерти Сальва. По его словам, этот негодяй был лишен подлинного мужества; только тщеславие удерживало его на ногах, на нем лица не было, и он выглядел мертвецом еще до того, как ему отрубили голову.

— Да, да, именно так! — воскликнул Дютель. — Я присутствовал при этом.

Массо с негодованием дернул его за рукав, хотя был не прочь над всем издеваться.

— Вы ничего не видели, милейший! Сальва умер молодцом, как не стыдно обливать грязью этого беднягу даже после его кончины!

Но большинство присутствующих с радостью поверили, что Сальва струсил перед смертью. Этим самым как бы приносили жертву Монферрану, желая сделать ему приятное. Он продолжал спокойно улыбаться, делая вид, что ему пришлось подчиниться жестокой необходимости. Он был особенно любезен с этими тремя чиновниками, желая вознаградить их за рвение, с каким они выполнили до конца свою печальную обязанность. Накануне, после казни, при тайном голосовании в палате депутатов он получил огромное большинство голосов. Порядок

восторжествовал, дела во Франции шли превосходно. Тут к Монферрану подошел Виньон, желавший появлением на свадьбе поддержать свой престиж; министр задержал его и любезно приветствовал, из кокетства, а также из политических соображений, опасаясь, как бы, вопреки всему, в ближайшем будущем судьба не улыбнулась этому столь выдержанному и умному молодому человеку. Подошедший в это время их общий знакомый сообщил печальную новость о тяжелом состоянии Барру, в выздоровлении которого врачи отчаялись; оба сочувственно покачали головой. Несчастный Барру! Он так и не оправился после заседания, на котором пало его министерство, день ото дня ему становилось все хуже: он был потрясен до глубины души неблагодарностью родины и не мог перенести мысли о том, что он обвинен в таких чудовищных преступлениях, как спекуляция и казнокрадство, — он, человек таких честных правил, столь преданный родине, посвятивший всю жизнь республике!

— Да ведь люди никогда не сознаются, — добавил Монферран. — Разве ему поверят?

В этот миг, отвлекшись на время от своей роли отца, к ним подошел Дювильяр; триумф министра достиг апогея. Власть капитала — единственно прочная и непреходящая власть, и в сравнении с ней эфемерно могущество министров, портфели которых так быстро переходят из рук в руки! Монферран сыграет свою роль и сойдет со сцены; точно так же и Виньон, тот самый Виньон, который сейчас у его ног и убедился, что без поддержки денежных тузов не дорвешься до власти. Разве не Дювильяр — виновник торжества, он купил за пять миллионов представителя аристократии, он воплощает собой власть буржуазии, он царит как неограниченный монарх, распоряжается судьбами народа и не отпустит кормила, даже если его закидают бомбами. Это был его праздник; он один уселся за стол пировать, не желая ни с кем больше делиться; теперь, когда он все завоевал и когда обладал всем, он жалел для малых сих, для злополучных рабочих, обманутых в свое время революцией, даже крошки со своего стола.

Дело об Африканских железных дорогах уже было предано забвению, его ловко похоронила соответствующая комиссия. А скомпрометированные в этой афере Дютейль, Шенье, Фонсег и другие были спасены могущественной рукой Монферрана и ликовали вместе с Дювильяром. Бесстыдная же статья Санье, напечатанная утром в «Голосе народа», и содержащиеся в ней ядовитые разоблачения уже никого больше не трогали, — люди лишь пожимали плечами, публика

пресытилась грязными доносами и ложью, застала от громких скандалов. Сейчас всеми овладевал новый приступ лихорадки: распространился слух о новом грандиозном предприятии, о пресловутой железнодорожной линии через Сахару, которая всколыхнет миллионы, и они прольются дождем на преданных друзей банкира.

Пока Дювильяр дружески беседовал с Монферраном и с подошедшим к ним министром просвещения Довернем, Массо, встретив своего патрона Фонсега, сказал ему вполголоса:

— Дютейль только что уверял меня, что проект железной дороги через Сахару уже разработан и они попробуют поставить его на голосование в парламенте. Они уверены в успехе.

Фонсег скептически усмехнулся:

— Не может быть; они так скоро не решатся все начать сначала.

И все-таки эта новость заставила его призадуматься. Он натерпелся страха из-за своего опрометчивого шага, впутавшись в дело с Африканскими железными дорогами, и поклялся впредь быть осторожней. Но это не значит, что он решил отойти от дел. Необходимо только выждать, разобраться в положении вещей, а там можно снова принять участие во всех аферах!



Стоя возле

Дювильера и министров, он наблюдал, как Шенье занимается вербовкой гостей в ризнице, готовя торжество Сильвианы. Он рекламировал актрису, разжигая любопытство и предвещая колоссальный успех. Подойдя к Доверию, долговязый Шенье согнулся пополам:

— Дорогой министр, разрешите вас пригласить на вечер от имени одной прекрасной дамы; ее победа не будет полной, если вы не удостоите ее своим вниманием.

Довернь, высокий, красивый блондин с голубыми глазами, весело поблескивающими за стеклами лорнета, выслушал его с благожелательной улыбкой. Он успешно подвизался на ниве народного просвещения, хотя ему не довелось и понюхать университета. Но этот истинный парижанин из Дижона, как его величали, обладал острым язычком и чувством такта; он устраивал вечера, на которых блистала его

жена, молодая очаровательная женщина, и прослыл просвещенным другом писателей и артистов. Его самым знаменитым деянием был прием Сильвианы в Комедию; это погубило бы другого министра, но он сделался еще популярнее благодаря такой аванюре. Все нашли забавным этот неожиданный трюк.

Когда Довернь понял, что Шенье попросту хочет знать, будет ли он в своей ложе в Комедии, он стал еще любезнее.

— Ну разумеется, дорогой депутат, непременно буду. Нельзя покидать в минуту опасности такую очаровательную крестницу.

Монферран, слышавший краешком уха этот разговор, внезапно обернулся:

— Передайте ей, что я также надеюсь присутствовать на спектакле; таким образом, ей обеспечены двое доброжелателей.

Дювильяр пришел в восторг, у него засияли глаза от радостного волнения, и он низко поклонился, как будто министр лично к нему проявил особую милость.

Шенье, со своей стороны, выразил министрам глубокую благодарность. Но вот он заметил Фонсега, поспешил ему навстречу и отвел в сторону.

— Ах, дорогой коллега, решительно необходимо уладить это дело. Я придаю ему колоссальное значение.

— Какое дело? — удивленно спросил Фонсег.

— Да эта статья Массо, которую вы не хотите напечатать.

Редактор «Глобуса» решительно заявил, что статья не может быть напечатана. Он отстаивает честь и репутацию своей газеты; похвалы какой-то девке легкого поведения, самой обыкновенной девке, выглядели бы чудовищным кощунством, грязным пятном на страницах газеты, в которую он вложил столько труда, стремясь поднять ее на недостижимую высоту, сделать ее строгим в моральном отношении органом. Впрочем, он принялся балагурить, цинично говоря о Сильвиане, что она может сколько угодно трясти юбками перед публикой и что он сам пойдет посмотреть на нее, но «Глобус» для него святыня!

Обескураженный, разочарованный Шенье продолжал настаивать.

— Но, дорогой коллега, послушайте, неужели нельзя сделать для меня маленькое исключение? Если статья не пройдет, Дювильяр обвинит в этом меня. А вы знаете, как я в нем нуждаюсь; ведь если свадьба моей старшей дочери опять задержится, я не знаю, куда мне деваться!

Видя, что его личные горести ничуть не трогают редактора, он продолжал:

— Да и вы сами в этом заинтересованы, дорогой коллега, вы сами... Ведь Дювильяр знает об этой статье и именно потому, что она такая хвалебная, хочет, чтобы она была напечатана в «Глобусе». Подумайте хорошенько, ведь он наверняка порвет с вами всякие отношения.

Некоторое время Фонсег помолчал. Размышлял ли он о проекте железной дороги через Сахару? Или же ему подумалось, что сейчас не время ссориться, а то можно не получить своей доли в предстоящем дружеском дележе? Но, как видно, он решил выжидать и соблюдать осторожность.

— Нет, нет! Я решительно отказываюсь, это дело совести.

Церемония поздравлений между тем продолжалась, казалось, весь Париж дефилировал перед этой парой, и все те же улыбки, те же рукопожатия. Жених с невестой и представители их семей, прижатые к стене толпой гостей, волей-неволей сохраняли восторженно-любезный вид. Стало невыносимо жарко, в воздухе стояла тонкая пыль, как на дороге, где проходит большое стадо.

Вдруг вбежала, неизвестно как и почему запоздавшая, принцесса де Гарт; она бросилась на шею Камилле, расцеловала Еву, задержала на минуту в своих руках руку Жерара, осыпая его необычайными любезностями. Потом, заметив Гиацинта, завладела им и потащила его в угол.

— Идемте, мне надо вас кое о чем попросить.

Гиацинт был в этот вечер весьма молчалив. Свадьба сестры казалась ему бесконечно вульгарной церемонией, достойной всяческого презрения. Еще один мужчина и еще одна женщина подчиняются грязному и грубому закону пола, увековечивая всемирную человеческую глупость. И он решил молча присутствовать на ней, всем своим видом показывая высокомерное неодобрение.

Он тревожно поглядывал на Роземонду, радуясь, что порвал с ней, и опасаясь, как бы какой-нибудь непредвиденный случай не толкнул ее снова к нему. И впервые за вечер он разомкнул уста.

— Как товарищ я готов вам служить, дорогая.

Она расхохоталась, потом заявила, что умрет от отчаяния, если не попадет на дебют Сильвианы, страстной поклонницей и другом которой она себя считает, и стала умолять, чтобы он упробил отца взять ее к себе в ложу, где, как ей известно, есть свободное место.

Он и сам улыбнулся: ему пришло в голову, что это будет весьма эстетический и символический финал — Сильвиана, освобождающая его от Роземонды, эти женщины — живое воплощение бесплодной любви.

Будучи поклонником красоты, он стоял за однополый союз, не порождающий на свет детей.

— Обещаю, дорогая, я поговорю с папой, для вас место будет.

Наконец шествие поздравителей стало замедляться, ризница постепенно пустела, новобрачным и их родным удалось продвинуться к выходу среди гудящей толпы, которая медлила расходиться, то и дело останавливалась, — всем хотелось еще разок заглянуть им в лицо и поздравить.

Сразу после завтрака Жерар и Камилла должны были уехать в имение Дювильяров в Эвре. Завтрак, происходивший в царственном особняке в двух шагах от церкви Мадлен, на улице Годо-де-Моруа, был необычайно роскошен. Столовую на втором этаже на время превратили в великолепный буфет, изобилующий всевозможными яствами; а большая красная гостиная, маленькая голубая с серебром и вся анфилада богато обставленных комнат с широко раскрытыми дверями были приготовлены для большого приема. И хотя, как говорили, приглашены были лишь ближайшие друзья дома, гостей набралось до трехсот человек. Министры удалились, сославшись на неотложные дела государственной важности. Но здесь можно было видеть журналистов, крупных чиновников, депутатов, — словом, целую волну потока, прокатившегося через ризницу. Особенно не по себе среди всех этих дельцов, жаждущих добычи, было приглашенным г-жи де Кенсак, которых генерал де Бозонне и маркиз де Морины усадили на диване в красной гостиной, где они и оставались весь вечер.

Ева, разбитая физически и морально, в полном изнеможении сидела в маленькой голубой с серебром гостиной, которая, благодаря ее страсти к цветам, превратилась в огромный розарий. Она чуть не падала, пол уплывал у нее из-под ног, и все-таки она продолжала улыбаться и старалась быть обворожительной, когда к ней подходил кто-нибудь из гостей. Неожиданно она получила поддержку в лице монсеньера Март *a*, решившего почтить своим присутствием ее завтрак. Он уселся в кресло рядом с ней и повел тихую беседу со свойственной ему мягкой веселостью и лаской во взгляде. Без сомнения, он знал об ужасной драме, о горе несчастной женщины, с которым она тщетно старалась совладать, и постарался отечески ее ободрить. У нее был вид безутешной вдовы, отрекшейся от всего земного, она давала понять, что отныне ее прибежище только в госпде боге. Потом разговор перешел на приют для инвалидов труда, и Ева заявила, что намерена всецело посвятить себя этому делу, всерьез выполняя свой долг председательницы.

— Я хотела бы посоветоваться с вами, монсеньер... Мне нужен в этом деле помощник, и я думаю, лучше всего пригласить аббата Пьера Фромана, поистине святого человека, которым я восхищаюсь.

Епископ помрачнел и некоторое время смущенно молчал. Но имя аббата услышала принцесса де Гарт, проходившая мимо под руку с депутатом Дютейлем. С обычной стремительностью она обратилась к Еве:

— Аббат Пьер Фроман... Я не успела еще вам рассказать, дорогая, что видела его как-то в тужурке и в брюках, и мне говорили, он разъезжает на велосипеде по Булонскому лесу с какой-то тварью... Дютейль, ведь правда, мы с вами его видели?

Депутат с улыбкой наклонил голову; потрясенная Ева сжала руки:

— Разве это возможно? Такое пламенное усердие в добрых делах, такая вера, такое поистине апостольское рвение!

Монсеньер Март *a* прервал ее:

— Увы, церковь постигают порой великие невзгоды. Я знал о безумии несчастного, о котором сейчас идет речь, я даже считал нужным написать ему, но он оставил письмо без ответа. Мне так хотелось избежать этого скандала! Но, к сожалению, нам не всегда дано побеждать темные силы; на днях епископат наложил на него церковное запрещение... Так что вам, сударыня, придется пригласить кого-нибудь другого.

Это было для Евы тяжелым ударом. Она молча глядела на Роземонду и Дютейля, не решаясь спросить о подробностях, думая о твари, которая осмелилась совратить священника. Наверное, какая-нибудь бесстыжая девка, одно из падших созданий, которых терзает похоть! Казалось, известие об этом преступлении совсем ее доконало.

Обведя широким жестом окружающую ее роскошную обстановку, благоухающие розы, среди которых она утопала, толпившихся у буфета гостей, она тихо проговорила:

— В самом деле, все развратились; больше ни на кого нельзя положиться.

В это время Камилла, в ожидании отъезда, сидела одна в своей девичьей спальне; там ее и нашел Гиацинт.

— А! Это ты, малыш. Поцелуй меня поскорей... Я сейчас удираю и очень счастлива.

Он обнял ее. Потом изрек нравоучительным тоном:

— Я считал тебя более серьезной. Сегодня с утра ты так весела, что мне просто противно!

Она взглянула на него со спокойным презрением.

— А твой Жерар, которого ты пожираешь глазами? — продолжал он. — Разве ты не знаешь, что она его у тебя отнимет, как только вы вернетесь?

Камилла побледнела, глаза ее вспыхнули. Сжав кулаки, она шагнула к брату:

— Она! Ты говоришь, она отнимет его у меня!

Речь шла об их матери.

— Да я ее скорей убью, так и знай, малыш! Ну, нет, эта мерзость ей не удастся, потому что это мой мужчина, и он моим останется... А ты не смей говорить мне эти гадости и оставь меня в покое, ты же знаешь, я вижу тебя насквозь, ты просто-напросто девчонка и к тому же дурак!

Он отшатнулся, как будто перед ним вдруг поднялась остренькая черная головка змеи; он всегда трепетал перед сестрой и решил поскорей улизнуть.

И пока последние гости опустошали буфет, новобрачные стали прощаться, перед тем как сесть в экипаж, который должен был доставить их на вокзал. Генерал де Бозонне начал было изливать перед кучкой знакомых свое негодование и досаду по поводу обязательной воинской повинности, но маркиз де Мориньи увел его; графиня де Кенсак, у которой дрожали руки, стала целовать на прощанье сына и невестку, она так волновалась, что маркиз позволил себе почтительно ее поддержать. Гиацинт бросился разыскивать отца, которого никак не могли найти. Наконец он его обнаружил в оконной нише; у барона был крупный разговор с обескураженным Шенье, на которого он обрушился, обозленный чрезмерной щепетильностью Фонсега; если статья не пройдет, Сильвиана способна обвинить его одного и наказать, снова захлопнув перед ним двери своего дома. Ему тотчас же пришлось принять торжественный вид, и, поспешив к дочери, он поцеловал ее в лоб, пожал руку зятю и шутливо пожелал им приятно провести время. Наконец стала прощаться Ева, рядом с которой, улыбаясь, стоял монсеньер Март *a*. Она проявила трогательное мужество; ей так хотелось до конца играть роль светской красавицы, что она нашла силы улыбнуться и проявила материнскую нежность. В порыве великодушия и героического самоотречения она взяла чуть дрожащую руку смущенного Жерара и на секунду задержала ее в своей.

— До свиданья, Жерар, будьте здоровы и счастливы.

Потом, обернувшись к Камилле, она расцеловала ее в обе щеки; монсеньер Март *a* глядел на них с выражением снисходительного

сочувствия.

— До свиданья, дочка.

— До свиданья, мама.

Но у обеих дрожал голос, их горящие взгляды скрестились как мечи, и поцелуй напоминал злобный укус. О, какую ярость испытывала Камилла, видя, что ее соперница все еще хороша и желанна, несмотря на свои годы и пролитые слезы! Какая пытка для Евы видеть эту девушку, которая победила ее своей молодостью, похитила у нее любовь! О взаимном прощении нечего было и думать: они будут ненавидеть друг друга до самой могилы, даже в фамильном склепе, где им предстоит когда-нибудь упокоиться.

Вечером баронесса Дювильяр все же не пошла на премьеру «Полиевкта». Она страшно устала и хотела лечь пораньше; уткнувшись в подушку, она проплакала всю ночь. В ложе бенуара сидели только барон, Гиацинт, Дютейль и маленькая принцесса де Гарт.

Уже к девяти часам в зрительном зале теснилась и гудела блестящая толпа, как в дни торжественных спектаклей. Здесь собралось то же парижское общество, которое дефилировало утром в ризнице церкви Мадлен; то же лихорадочное любопытство, та же жажда чего-то необычного, исключительного; можно было увидеть те же лица, те же улыбки, тех же самых женщин, приветствовавших друг друга чуть заметным кивком, мужчин, понимавших друг друга с полуслова, по малейшему жесту. Словом, был налицо весь высший свет: обнаженные плечи, свежие цветы в бутоньерках, ослепительная праздничная роскошь. Фонсег занимал ложу «Глобуса», с ним — двое его друзей с супругами. Маленький Массо сидел на своем обычном месте в партере. Были тут и завсегдатаи Комедии: судебный следователь Амадье, и генерал де Бозонне, и генеральный прокурор Леман. Ужасный Санье, толстяк апоплексического вида с двойным подбородком, привлекал все взоры, благодаря появившейся утром скандальной статье. Шенье, которому досталось лишь откидное сиденье, рыскал по коридорам, забирался на все ярусы, чтобы еще разок вдохновить приверженцев. Когда в ложу бенуара, находившуюся против ложи Дювильяра, вошли министры — Монферран и Довернь, по рядам зрителей пробежал шепот, на лицах появились лукавые, многозначительные улыбки, — ведь все знали, что именно этим лицам дебютантка в значительной мере обязана своим успехом.

Между тем еще накануне по городу стали распространяться досадные слухи. Санье заявил, что дебют Сильвианы, этой известной кокотки, во Французской Комедии, да еще в возвышенной роли

Полины, — настоящая пощечина общественной нравственности. Впрочем, в прессе давно горячо обсуждалась сумасбродная причуда красивой куртизанки. Уже добрых полгода шли об этом толки, и хорошо осведомленные парижане сбежались в театр лишь в жажде новых впечатлений. Еще до поднятия занавеса чувствовалось, что зрители добродушно настроены, что у них на уме только смех и развлечения; они издевались над актрисой по уголкам, но готовы были аплодировать, если она им угодит.

Впечатление было самое неожиданное. Когда Сильвиана появилась на сцене в первом акте в скромном, закрытом платье, зрители стали восхищаться чистым овалом ее девственного лица, невинным ротиком и ясным, непорочным взором. Созданный ею образ сперва всех удивил, потом очаровал. Начиная со сцены, где Полина открывает душу Стратонике и рассказывает свой сон, актриса трактовала свою героиню в мистическом духе, сделала ее мечтательницей, святой с церковного витража, которую вагнеровская Брунгильда могла бы унести на своем коне в облака. Это было нелепо, неестественно и противоречило здравому смыслу. Но публику еще больше заинтересовала такая трактовка, это было модно, а главное, казался пикантным контраст между образом чистой, как лилия, невинной Полины и исполнявшей эту роль развращенной до мозга костей куртизанкой. Успех возрастал с каждым актом: во втором — блестяще прошло объяснение с Севером; в третьем — сцена с Феликсом и, наконец, в четвертом — сцена с Полиевктом и полный возвышенного, душераздирающего трагизма диалог с Севером. Легкий свист, в котором обвинили Санье, окончательно решил победу. По знаку, данному Монферраном и Довернем, как об этом писали газеты, зал разразился аплодисментами, Париж рукоплескал, то ли в порыве увлечения, то ли из чувства юмора, устроив пышные оvationи тщеславному Дювильяру и могущественному министерству Сильвианы, над которым подтрунивали во время антрактов.

В ложе барона бурно обсуждали спектакль.

— А знаете, — сказал Дютейль, — наш влиятельный критик, которого я как-то приводил к вам на ужин, прямо возмущен. Он настаивает на том, что Полина самая обыкновенная мешаночка, только в конце трагедии она каким-то чудом перерождается, и изобразить ее с самого начала святой девой — значит погубить образ.

— Ба! — громогласно воскликнул Дювильяр. — Пусть спорят, это наделает шума... Главное, нужно, чтобы завтра утром в «Глобусе» появилась статья Массо.

Но вскоре выяснилось, что нельзя ждать ничего утешительного. Шенье, который пытался опять обработать Фонсега, заявил, что тот, несмотря на шумный успех, все еще колеблется, называя этот успех шальным. Барон рассердился.

— Подите скажите ему, что я этого хочу и не забуду его услуги.

В глубине ложи захлебывалась от восторга Роземонда.

— Гиацинт, милый! Умоляю вас, проводите меня в уборную Сильвианы. Я больше не могу ждать. Я должна сейчас же ее расцеловать.

— Но мы все туда пойдем, — заявил Дювильяр, услышав этот разговор.

Коридоры были битком набиты, и до самой сцены пришлось протискиваться. Потом — новое препятствие: дверь уборной оказалась запертой; на стук барона костюмерша ответила, что мадам просит господ подождать.

— О, пустяки, ведь я женщина, — сказала Роземонда и быстро скользнула в приоткрытую дверь. — Идите и вы, Гиацинт, ничего особенного.

Сильвиана сильно разгорячилась во время игры и сидела полуголая, ей вытирали плечи и шею. Роземонда восторженно бросилась к ней и расцеловала ее. Они весело болтали в ярко освещенной газовыми рожками, заваленной цветами комнатке. Губы их почти соприкасались, не было конца нежным, восторженным излияниям. Но вот Гиацинт услышал, что они уговорились встретиться при выходе из театра, Сильвиана пригласила Роземонду на чашку чая.

Он любезно улыбнулся и сказал актрисе:

— Если не ошибаюсь, ваш экипаж ждет вас на углу улицы Монпансье? Так вот, я провожу туда принцессу. Так будет удобней, и вы поедете вместе.

— Ах, какой милый! — воскликнула Роземонда. — Так мы и сделаем.

В этот миг открылась дверь, вошли мужчины и стали поздравлять актрису с успехом. Но нужно было спешить, начинался пятый акт. То был настоящий триумф, публика взревела от восторга, когда Сильвиана, подобно святой мученице, возносящейся на небеса, произнесла знаменитые слова: «Я вижу, я знаю, я верю, у меня открылись глаза!» Все потеряли голову. Артистов стали вызывать, и парижане устроили бурные овации этой девственнице театральных подмостков, которая, по словам Санье, в городе так прекрасно исполняла роль шлюхи.

Дювильяр и Дютейль сразу же отправились за кулисы, чтобы проводить Сильвиану, а Гиацинт повел Роземонду к экипажу, стоявшему на углу улицы Монпансье. Там они остановились, поджидая остальных. Казалось, молодого человека очень позабавило, когда пришедшая с его отцом Сильвиана жестом остановила Дювильяра, собиравшегося сесть в экипаж.

— Нет, мой милый, сегодня нельзя. Я с подругой.

Из кареты выплянуло улыбающееся личико Роземонды. И когда экипаж с женщинами тронулся, барон продолжал неподвижно стоять. Сколько времени и сил затратил он, чтобы добиться ее милости!

— Что поделаешь, мой дорогой! — сказал Дютейлю Гиацинт, тоже слегка шокированный. — Я пресытился ею и уступил ее Сильвиане.

Ошеломленный Дювильяр стоял на тротуаре в опустевшем проезде, там его заметил измученный до предела Шенье, устремился к нему и сообщил, что Фонсег одумался и статья Массо пройдет. В коридорах театра много говорили о пресловутой железнодорожной линии через Сахару.

Гиацинт взял под руку отца и стал его успокаивать, как благоразумный товарищ, для которого женщина является лишь низменным и нечистым животным.

— Идем спать... Раз эта статья появится, ты сам отнесешь завтра же утром ей газету, и, конечно, она тебя пустит.

И мужчины пошли вдоль авеню Оперы, мрачной и пустынной в этот поздний час; они курили и по временам перебрасывались словами, а над спящим Парижем звучал несмолкаемый предсмертный стон погибающего мира.

III

После казни Сальва Гильом впал в мрачное раздумье. Он молчал, казался озабоченным, и у него был отсутствующий вид. Часами он работал, изготавливая опасный порошок по ему одному известной формуле; эти процедуры требовали величайшей точности, и он обходился без помощников. Потом он уходил из дома и возвращался с долгих одиноких прогулок совсем разбитый. С близкими он неизменно был нежен, пытался даже улыбаться. Но всякий раз, как к нему с чем-нибудь обращались, он отвечал невпопад, словно был где-то далеко-далеко.

Пьер решил, что брату не по силам его жертва и что отказ от Марии надломил его. Уж не о ней ли он так упорно думал и все сильнее тосковал по мере того, как приближался день свадьбы? И вот однажды вечером Пьер начал откровенный разговор, заявив, что хочет удалиться, исчезнуть.

С первых же слов Гильом его прервал, воскликнув с нежностью:

— Мария! Ах, братец! Я ее слишком люблю, чтобы жалеть о том, что я сделал!.. Нет, нет и нет! Вся моя радость, покой, счастье теперь зависят только от вашего счастья. Уверяю тебя, ты ошибаешься, со мной все благополучно, по-видимому, меня поглощает работа.

В этот вечер он был очень разговорчив и заразительно весел. За обедом он спросил, скоро ли придет обойщик и приведет в порядок комнаты для молодых, — две маленькие комнатки над лабораторией, занимаемые Марией. С тех пор как свадьба была решена, Мария находилась в ровном, веселом настроении, спокойно ожидая. Она оживленно высказала свои пожелания: одну комнату ей хотелось обить красной бумажной тканью по двадцать су за метр и обставить простой еловой лакированной мебелью, — тогда ей будет казаться, что она живет в деревне; а на полу она расстелет ковер, — ковер всегда казался ей верхом роскоши. Она смеялась, смеялся и Гильом с отечески добродушным видом; его веселость успокоила Пьера, и он решил, что ошибся.

Но на другой день Гильом снова впал в задумчивость. Тревога Пьера еще усилилась, когда он заметил, что Бабушка никогда еще не была такой молчаливой, серьезной и замкнутой. Не решаясь обратиться прямо к ней, он попытался расспросить мальчиков, но ни Том *a*, ни Антуан, ни Франсуа ничего не знали и не хотели знать. Каждый был занят своим делом, они жили весело и беззаботно, горячо любя и уважая отца. Постоянно находясь рядом с ним, они никогда его не спрашивали о работе его и планах, уверенные, что все, что он делает, прекрасно и справедливо, и готовые по первому же зову прийти ему на помощь. Но, как видно, он оберегал их от всякой опасности, один шел на жертву. И Бабушка была единственной его поверенной, с ней он советовался и, вероятно, прислушивался к ее словам. Убедившись, что от мальчиков ему ничего не добиться, Пьер стал наблюдать за Бабушкой. Его тревожила ее суровость, к тому же он заметил, что Гильом часто о чем-то беседует с ней в ее комнате, находившейся наверху, рядом с комнатой Марии. Они запирались там и, по-видимому, чем-то занимались; часами оттуда не доносилось ни единого звука.

Однажды Пьер увидел, как брат вышел из этой комнаты с небольшим, но с виду довольно увесистым чемоданом. И он вспомнил, что Гильом рассказывал ему о порошке, один фунт которого мог взорвать целый собор, о могучем орудии разрушения, которое он намеревался передать Франции и тем самым обеспечить ей в войне победу над другими народами, освободительницей которых она призвана стать. Ему вспомнилось, что одна Бабушка посвящена в эту тайну, что долгое время это ужасное взрывчатое вещество находилось близ ее кровати, когда Гильом ожидал налетов полиции. Почему же теперь брат уносит из дому изготовленное им вещество? Подозрения и страх придали Пьеру решимости, и он внезапно спросил брата:

— Ты чего-то опасаясь и потому все уносишь из дому? Если тебе нельзя хранить это у себя, ты вполне можешь принести ко мне, ведь никому и в голову не придет шарить у меня в квартире.

Изумленный Гильом пристально поглядел на брата:

— Да... Мне стало известно, что после казни этого несчастного начались обыски и аресты, они смертельно боятся, как бы какой-нибудь смельчак не отомстил за него. Вдобавок просто неблагоприятно держать дома такие опасные вещества. Вот я и решил спрятать их в надежном месте... Что до Нейи... О нет, милый братец, этот подарочек не для тебя!

Он говорил спокойно, хотя в его голосе слышалась легкая дрожь.

— Но если у тебя все готово, — заметил Пьер, — то, вероятно, вскоре ты передашь это орудие военному министру?

По глазам Гильома видно было, что он колеблется; он уже готов был солгать. Потом твердо ответил:

— Нет, я передумал. У меня сейчас другие планы.

Это было сказано столь решительным тоном, что Пьер не осмелился продолжать свои расспросы, хотя ему хотелось знать о планах брата. Но с этой минуты он пребывал в тревожном, лихорадочном ожидании и все острее чувствовал в торжественном молчании Бабушки и в просветленном, полном героической решимости, взоре брата какую-то великую и ужасную угрозу, быть может, приговор всему Парижу...

Как-то днем, когда Том *a* собрался уходить на завод Грандидье, стало известно, что старого рабочего Туссена снова разбил паралич. Том *a* решил по дороге навестить больного, которого он очень уважал, и, если можно, оказать ему помощь. Пьер захотел его сопровождать. Около четырех часов они отправились.

Туссен находился в комнате, где жила вся семья, где ели и спали; он сидел с убитым видом у стола, на низеньком стуле. После удара у него

отнялась вся правая сторона — рука, нога и даже язык. Он мог издавать лишь невнятные гортанные звуки. Рот у него искривился направо, и черты были искажены гримасой отчаяния. В пятьдесят лет он был конченным человеком; бросались в глаза его нечесаная, седая, как у старика, борода, узловатые, изуродованные тяжелым трудом руки, теперь уже совершенно бессильные, на крупном добродушном темно-коричневом лице жили одни глаза; он все время оглядывал комнату, и взгляд его по очереди останавливался на пришедших. Г-жа Туссен, все такая же полная, хотя ей не приходилось есть досыта, по-прежнему подвижная, сохраняла присутствие духа, несмотря на все несчастья; она суежилась вокруг больного.

— Туссен, к нам дорогие гости — к тебе пришел господин Том *a* с господином аббатом... — Тут же она спокойно поправилась: — Со своим дядей, господином Пьером... Видишь, тебя еще не забыли.

Туссен хотел что-то сказать, но это ему не удалось, и на глаза навернулись слезы; он глядел на посетителей с невыразимой грустью, и губы у него дрожали.

— Ну, успокойся, — сказала жена. — Врач запретил тебе волноваться.

Пьер заметил, что при его появлении две особы, находившиеся в комнате, встали и отошли в сторону. Он с удивлением узнал маленькую Селину и г-жу Теодору, они были прилично одеты и держались непринужденно. Узнав о несчастье, они пришли навестить, одна — брата, другая дядю, они сами пережили тяжелое горе и умели сочувствовать. Видно было, что теперь они уже не испытывают нужды, и Пьер вспомнил, что ему рассказывали, как после казни отца к девочке была проявлена горячая симпатия: на нее посыпались подарки, многие великодушно хотели удочерить девочку, наконец ее удочерил один из товарищей Сальва, он устроил ее в школу, надеясь потом обучить какому-нибудь ремеслу, а г-жа Теодора поступила сиделкой в больницу. Они были спасены.

Когда Пьер подошел к Селине и поцеловал, г-жа Теодора велела девочке хорошенько поблагодарить господина аббата. Она продолжала так его величать из уважения.

— Это вы, господин аббат, принесли нам счастье. Разве такое забудешь, я каждый день напоминаю Селине, чтобы она молилась за вас.

— Значит, дитя мое, ты опять будешь учиться?

— Ах, я так рада, господин аббат. И мы теперь ни в чем не нуждаемся.

От волнения у нее перехватило дыхание, и она пролепетала сквозь слезы;

— Ах, если бы бедный папочка видел нас!

Госпожа Теодора ласково простилась с г-жой Туссен.

— Ну, до свиданья, мы уходим. Нам хотелось выразить вам свое сочувствие; как все это печально. Сколько ни бейся, а беды не отворишь... Селина, поцелуй дядюшку... Бедный брат, желаю, чтобы ноги у тебя как можно скорей восстановились.

Мать и дочь поцеловали инвалида в щеку и ушли. Туссен все время молча слушал и наблюдал; он следил за ними до самой двери живым и разумным взглядом; как видно, он горевал, что не сможет вернуться к деятельной жизни, какой жили его родственницы.

Обычно такая благодушная, г-жа Туссен на минуту поддавалась зависти.

— Бедный мой старикан, — сказала она, положив подушку за спину мужу. — Этим двум повезло, не то что нам с тобой. После того как отрубили голову этому сумасшедшему Сальва, у них все идет на лад. Теперь они обеспечены, у них есть верный кусок хлеба. — И, обернувшись к Пьеру и Том *a*, добавила: — А наша песенка спета, увязли по шею, и нет надежды выкарабкаться... Что поделаешь, мы должны подохнуть с голоду; моему бедняге мужу не отрубили голову, он честно работал всю жизнь, и вот — полюбуйте: вышвырнули, как старую, негодную скотину.

Она усадила пришедших и стала отвечать на их сочувственные вопросы. Врач был уже два раза, обнадежил, что к больному вернется дар речи и он сможет с палкой передвигаться по комнате. Но о работе не приходится и думать. К чему же тогда все это? По глазам Туссена было видно, что он хоть сейчас готов умереть. Если рабочий больше не в силах трудиться, не может прокормить жену, ему место в могиле.

— Ну, а сбережения... — продолжала она. — Иные спрашивают, есть ли у нас сбережения... Правда, у нас лежало в сберегательной кассе около тысячи франков, когда мужа разбило в первый раз. Вы и представить себе не можете, сколько приходится мудрить, чтобы скопить такую сумму; ведь мы не какие-нибудь дикари: и вечеринку иной раз надо справить, и повкусней чего-нибудь захочется, и пропустить бутылочку вина... За пять месяцев вынужденной безработицы мы съели эту тысячу франков, — одни лекарства и бифштексы чего стоили, а теперь — боже ты мой! — когда все начинается сначала, нам и не понюхать хорошего винца и бараньей ножки, изжаренной на вертеле.

Этот вопль хозяйки, любившей поест, красноречивей слез выдал ее страх за завтрашний день. Мужественная женщина держала себя в руках, но ей казалось, что все кругом рушится, приходит конец света, если она не может содержать в порядке жилище, потушить в воскресенье кусок телятины и по вечерам поджидать с работы мужа, болтая с соседками. Уж лучше бы их выбросили в сточную канаву и увез бы их мусорщик на своей тележке!

Том *a* прервал ее:

— Но ведь существует приют для инвалидов труда; нельзя ли поместить туда вашего супруга? Мне кажется, он имеет на это полное право.

— Как бы не так! — воскликнула она. — Я уже наводила справки. Но, оказывается, туда не берут больных. Они сказали мне, что на то существует больница.

Пьер безнадежно махнул рукой, подтверждая ее слова. Внезапно ему вспомнилась его беготня по Парижу — от председательницы благотворительного общества баронессы Дювильяр к главному администратору Фонсегу; в конце концов удалось устроить туда злополучного Лавева, но к тому времени старик успел умереть.

В этот миг послышался плач ребенка, и посетители с изумлением увидели, что г-жа Туссен прошла в крошечную комнатку, где раньше спал их сын Шарль, и вскоре появилась с двухлетним малышом на руках.

— Ах, боже мой! Ну да, это сынишка нашего Шарля, — сказала она. — Он спал там, в старой кровати своего отца, и вот, видите, проснулся... Представьте себе, в прошлую среду, как раз накануне этой беды с Туссенем, я взяла его у кормилицы, что живет в Сен-Дени; у Шарля дела идут плохо, он перестал ей платить, и она грозилась, что вышвырнет малыша на улицу. Мне подумалось, вот работа как будто налаживается и мы прокормим такой маленький ротик. И вдруг все рухнуло... Но что поделаешь? Теперь малыш у меня, не могу же я, в самом деле, выбросить его на улицу.

Разговаривая, она ходила по комнате, укачивая ребенка. И она рассказала — в который раз! — нелепую историю о том, как Шарль по глупости спутался с прислугой соседнего виноторговца, и она оставила ему вот этот подарочек, а сама, как последняя шлюха, повисла на шее у другого мужчины. Если бы еще Шарль зарабатывал так же, как до военной службы, когда он не терял времени даром и все сполна приносил домой! Но как вернулся, работает уж не с душой, принялся рассуждать, какие-то идеи у него пошли... Правда, он еще не бросает бомбы, как этот

сумасшедший Сальва, но все свободное время проводит у всяких там социалистов да анархистов, которые совсем вскружили ему голову. Жалко смотреть на него, вконец свихнулся, а уж такой славный и сильный парень! В их квартале, говорят, немало таких парней; самые лучшие, самые умные не хотят больше прозябать в нищете, ведь работа не может их прокормить; и они скорей взорвут все на свете, чем согласятся весь свой век жить впроголодь... — О! нынешние дети совсем не похожи на родителей; у них нет такой выдержки, как у моего бедного старика; он терпел, пока от него не остались кожа да кости, пока он не превратился в такую жалкую развалину... Знаете, что сказал наш Шарль, когда на другой день после несчастья увидел отца в этом кресле, без рук, без ног, без языка? Он разозлился и крикнул, что отец всю жизнь, как дурень, надрывался, работая на буржуа, а теперь не получит от них и плотка воды... А потом заплакал навзрыд, потому что он у нас совсем не злой мальчик.

Ребенок тем временем успокоился, и она продолжала носить его по комнате, прижимая к сердцу с нежностью бабушки. Шарль не в состоянии им помогать; каких-нибудь сто су, и то не всегда. Да и она сама порядком измытарилась, нечего и думать браться за прежнее свое ремесло белошвейки. И прислужой невозможно работать, когда на руках малыш, да еще другой, большой ребенок, инвалид, которого надо обмывать и кормить. Что же остается делать? Как быть им троем? Ума не приложить, у нее душа замирает от страха, хотя она храбрится и на все готова из любви к ним.

У Пьера и Том *a* от жалости защемило сердце, когда они увидели, как крупные слезы потекли по щекам разбитого параличом старика, постигнутого нищетой труженика, сидевшего в этой, пока еще опрятной, комнате. Он слушал жену, глядел на нее, глядел на бедное маленькое созданье, уснувшее у нее на руках; он уже не мог громко высказать своих страданий, он потерял голос, сердце его было разбито, его захлестнула неизбывная горечь; всю свою долгую жизнь он трудился, и вот над ним насмеялись и обманули его! Какая вопиющая несправедливость: столько усилий — и в результате такие страдания! Он приходил в ярость, чувствуя свою беспомощность, видя, что его близкие должны безвинно, как и он сам, страдать вместе с ним и умереть тою же смертью, что он. Несчастный старик, инвалид труда, кончил жизнь, как изнуренная, разбитая лошадь, свалившаяся на дороге. Все это было так возмутительно, так чудовищно, что было невозможно молчать, он хотел что-то сказать, но у него вырвалось лишь хриплое ворчанье.

— Успокойся, — сказала г-жа Туссен, — а то тебе будет еще хуже. Что же делать, что же делать!

Она пошла укладывать ребенка; когда она вернулась, Том *a* и Пьер стали уговаривать ее обратиться к патрону Туссена, г-ну Грандидье, но их прервала новая посетительница. Пришлось подождать.

То была г-жа Кретьенно, вторая сестра Туссена, на восемнадцать лет моложе его, жена мелкого чиновника. Услыхав о постигшей их беде, красавица Гортензия пришла выразить свое сочувствие, как требовали приличия, хотя незадолго перед тем муж приказал ей порвать отношения с ее родными, которых он стыдился. На ней было платье из дешевого шелка и уже трижды переделанная шляпка с красными маками. Но несмотря на всю эту роскошь, она чувствовала себя неловко и прятала ноги в стоптанных ботинках. Эта нежная блондинка сильно подурнела после недавнего выкидыша, красота ее быстро увядала.

Она остановилась в дверях, видимо, пораженная ужасным видом брата и убожеством этой обители страданий. Поцеловав его и выразив огорчение, что видит его в таком состоянии, она, как всегда, принялась сетовать на свою судьбу, жаловаться на денежные затруднения, опасаясь, как бы к ней не обратились за помощью.

— Ах, дорогая, мне вас от души жаль. Но если бы вы знали, как тяжело сейчас приходится решительно всем!.. Вот я, например; вы и представить себе не можете, как мне трудно сводить концы с концами. Муж занимает известное положение, и я должна ходит в шляпке и носить приличные платья. На три тысячи франков далеко не уедешь, а тут еще семьсот уходят на квартиру. Вы скажете, что можно бы устроиться поскромнее; нет, моя дорогая, мне нужна гостиная, ведь мы принимаем гостей... Посудите сами... Кроме того, у меня две дочери; ведь им надо учиться, Люсьенна уже играет на фортепьяно, у Марсели обнаружилась способности к рисованию... Кстати, я хотела захватить их с собой, но побоялась, что они расстроятся. Надеюсь, вы меня извините?

И она рассказала, сколько неприятностей было у нее с мужем из-за печальной кончины Сальва. Этот тщеславный, ничтожный и злобный человек пришел в крайнее негодование, когда в числе родных жены оказался преступник, казненный на гильотине; он стал с ней груб и обвинял ее во всех трудностях, даже в своей неудачливости, с каждым днем делаясь все более желчным от тупой работы в конторе. Порой, вечерами, они ссорились; она давала ему отпор, уверяя, что могла бы выйти за одного врача, который влюбился в нее, когда она еще работала продавщицей в кондитерской на улице Мартир. А теперь, когда жена

подурнела, а муж уже не надеялся выбраться из нужды, даже если бы получил вожделенные четыре тысячи франков, семейная жизнь с каждым днем становилась все беспросветнее, они постоянно раздражались и бранились, — дорого доставалось им удовольствие называться господином и дамой, им жилось невыносимо тяжело, не слаще, чем рабочим в их трущобах.

— Но все же, моя дорогая, — возразила г-жа Туссен, утомленная этим потоком жалоб, — вам повезло, что у вас нет третьего ребенка.

Гортензия вздохнула с явным облегчением.

— Да, вы правы, я просто не представляю, как бы мы его воспитали. Не говоря уже о том, что Кретьенно закатывал мне ужасные сцены, он кричал, что, если я забеременею, это будет не по его вине и, как только родится третий ребенок, он бросит меня и уйдет куда глаза глядят... Вы знаете, я чуть не умерла во время выкидыша; о, как это было ужасно, я до сих пор еще не оправилась. Доктор говорит, что я плохо кушаю, что мне нужно усиленно питаться. Но это пустяки, я все-таки очень рада.

— Ну, еще бы, милочка, ведь вы этого и желали.

— Конечно, мы только об этом и мечтали. Кретьенно твердил, что запрыгает от радости, если это случится... И все-таки... все-таки...

Голос Гортензии дрогнул от волнения.

— Когда врач посмотрел и сказал нам, что это мальчик, мне стало так горько, что я чуть не задохнулась от слез, я заметила, как Кретьенно отвернулся, чтобы не видели, какое у него расстроенное лицо. У нас две дочери, и мы были бы так счастливы иметь сына!

Глаза ее наполнились слезами, и она закончила, запинаясь:

— Но, в конце концов, если нельзя позволить себе роскоши вырастить еще одного ребенка, уж лучше ему не родиться. Он хорошо сделал, что вернулся на небеса... Ну, да что там говорить! Невесело все это, в жизни много нелепого.

Гортензия поднялась и поцеловала брата, — она спешила уходить, опасаясь, как бы, вернувшись без нее, муж не устроил ей сцену. У дверей она задержалась и сказала, что видела г-жу Теодору и маленькую Селину, они были очень прилично одеты и, кажется, вполне довольны. И добавила не без зависти:

— А вот мой муж каждое утро ходит на работу, надрывается у себя в канцелярии; он-то уж не подставит шею под нож, и будьте уверены, никто не наградит рентой Марсель и Люсьенну... Но все-таки мужайтесь, дорогая, будем надеяться, что все кончится хорошо.

После ее ухода Пьер и Том *a*, прежде чем покинуть больного, спросили, не обещал ли им помочь хозяин завода г-н Грандидье, узнав о болезни Туссена. Услышав, что тот обещал что-то очень неопределенное, они заявили, что непременно похлопочут о старом механике, двадцать пять лет проработавшем на его заводе. К сожалению, из-за постигшего завод кризиса, после которого он еле оправился, там не удалось организовать ни кассы взаимопомощи, ни даже кассы социального обеспечения, вопрос о которых рассматривался. Если бы не это, Туссен мог бы болеть, не подвергаясь риску умереть с голоду. А теперь можно было надеяться лишь на общественную благотворительность или на великодушие патрона.

Тут заплакал сынишка Шарля, г-жа Туссен опять взяла его на руки и принялась укачивать, а Том *a* пожал обеими руками честную руку парализованного старика.

— Мы вас не покинем; мы непременно придем. Вы же знаете, все мы уважаем вас как порядочного человека и настоящего труженика... Можете на нас рассчитывать; мы сделаем все, что в наших силах.

И они ушли, покинув в мрачной комнате убитого горем, заплаканного старика, обреченного на жестокую смерть; его жена продолжала укачивать свалившегося на них крикливого ребенка, еще одного горемыку, которого так трудно растить старой чете, и которому также предстояло всю жизнь непосильно трудиться и голодать.

Когда Пьер и Том *a* вошли на завод, их оглушил грохот, и они окунулись в атмосферу тяжелого ручного труда. Тонкие трубы, поднимавшиеся над крышами, равномерно выбрасывали дымное дыхание, которое словно регулировало рабочий ритм завода. В цехах стоял несмолкаемый гул, — там трудилась целая армия рабочих, они ковали, пилили, сверлили; мелькали приводные ремни и содрогались механизмы. День заканчивался, как всегда, лихорадочным подъемом энергии, колокол вот-вот должен был возвестить окончание работ.

На вопрос Том *a* о г-не Грандидье ему ответили, что тот после завтрака не возвращался на завод; Том *a* понял, что опять произошла раздирающая сердце сцена в тихом особняке с вечно закрытыми жалюзи, где уединенно жил патрон с молодой женой, которая уже два года как помешалась, но по-прежнему была восхитительно хороша; он горячо ее любил и не захотел с ней расстаться. Том *a* провел Пьера в маленькую застекленную мастерскую, где он должен был ждать и где Том *a* обычно работал; оттуда был виден этот особняк, который казался таким мирным и

веселым и весь утопал в зарослях сирени; как приятно было бы видеть там светлые платья молодой женщины и слышать детский смех... Вдруг им послышался душераздирающий крик, сменившийся жалобными стонами и визгом, — казалось, там убивали какое-то животное. Ужасные вопли сливались с грохотом завода, сопровождаясь равномерными выхлопами пара и глухим шумом машин. Со времени последнего отчета доходы предприятия удвоились, фирма процветала, о кризисе не могло быть и речи. Грандидье успешно выпускал популярные велосипеды марки «Лизетта», которые его брат, один из директоров универсального магазина «Бон-Марше», продавал по сто пятьдесят франков. К тому же Грандидье мог колоссально нажиться на продаже входивших в моду автомобилей, которым недоставало только маленького мотора, но и он после долгих усилий был уже почти создан. А из тихого особняка со всегда закрытыми жалюзи по-прежнему неслись вопли, там разыгрывалась какая-то трагедия, которую на сей раз не мог заглушить трудовой гул огромного завода.

Пьер и Том *a* глядели друг на друга бледные, содрогааясь от ужаса. Но вот крики затихли, и в особняке снова воцарилась гробовая тишина.

— Обычно она, кажется, бывает очень спокойной, — тихо сказал юноша, — целыми днями, как ребенок, сидит на полу, на ковре. Он горячо ее любит; укладывает ее спать, одевает, нежно ласкает, старается развеселить. Как это печально!.. Изредка у нее бывают приступы бешенства; она кусается, бьется головой о стену, пытаясь покончить с собой, тогда ему приходится бороться с ней, потому что, кроме него, никто не смеет прикоснуться к больной. Он крепко держит ее в объятиях, стараясь успокоить... Но сегодня — какой ужас, какие вопли! Вы слышали? Никогда еще не было такого жестокого приступа.

Через четверть часа Грандидье вышел из особняка, смертельно бледный, с непокрытой головой. Проходя мимо застекленной мастерской, он заметил Том *a* и Пьера, вошел туда и остановился, прислонившись к тискам, измученный кошмарной сценой. На его энергичном, добром лице отражалось жестокое страдание. Возле левого уха виднелась царапина, из которой сочилась кровь.

Ему хотелось говорить, спорить, с головой окунуться в дела.

— Очень рад вас видеть, дорогой Том *a*. Я размышлял о том, что вы мне говорили насчет мотора. Нам нужно еще об этом побеседовать.

При виде его растерянности молодого человека вдруг осенила счастливая благодетельная мысль, ему подумалось, что рассказ о чужом несчастье, быть может, отвлечет патрона от его безысходного горя.

— Да, да, я к вашим услугам... Но сперва позвольте вам рассказать о Туссене; мы только что навестили этого беднягу, который разбит параличом, и глубоко потрясены: какая ужасная судьба! Он очутился в полной нищете и заброшенности после стольких лет труда!

Том *a* подчеркнул, что Туссен проработал двадцать пять лет на заводе и фабрика многим обязана этому ревностному труженику. Во имя справедливости и милосердия руководство фабрики должно оказать ему помощь!

— Ах, сударь! — заговорил, в свою очередь, Пьер. — Как бы мне хотелось повести вас в жалкую комнатку этого несчастного старика, вконец изможденного, раздавленного жизнью, который даже не может сказать о своих страданиях. Нет большего несчастья, чем умирать вот так, отчаявшись во всякой доброте, во всякой справедливости.

Грандидье слушал молча. Потом из глаз его неудержимо хлынули слезы. И когда он заговорил, голос его дрожал и звучал очень глухо.

— Большого несчастья? Как знать! Можно ли со стороны судить о несчастье человека? Да, конечно, Туссен глубоко несчастен, очень печально в его возрасте не иметь верного куска хлеба. Но мне известны еще более страшные страдания; еще более мучительное горе, которое вконец отравляет жизнь. Хлеб! Какая глупость думать, что человечество обретет полное счастье, когда у всех будет вдоволь хлеба!

Он содрогнулся всем телом, выдавая раздирающую драму своей жизни. Быть патроном, хозяином, преуспевающим капиталистом, где машины словно чеканят деньги, которые так и плывут тебе в руки, — и вместе с тем сознавать, что ты несчастнейший из людей, всякий день переживать смертельную сердечную муку, каждый вечер, вернувшись домой, вместо отдыха и поддержки, испытывать жесточайшую душевную пытку! Этот победитель, этот любимец фортуны, утопавший в золоте, рыдал от горя.

Он пошел навстречу и обещал помочь Туссену. Но что мог он сделать? Он был принципиально против пенсии, которая подрывает самый принцип наемного труда. Он энергично защищал свои права предпринимателя, повторяя, что, в силу жестокой конкуренции, будет вынужден отстаивать их до тех пор, пока существует этот строй. Его задача — честно наживать деньги. Он выразил сожаление, что рабочим не удалось создать кассу взаимопомощи, и намекнул, что будет содействовать этому начинанию.

Его лицо порозовело, повседневная жизненная борьба вступала в свои права, и он почувствовал прилив энергии.

— Я хочу поговорить с вами о нашем маленьком моторе...

Он долго беседовал с Том *a*, а Пьер тем временем взволнованно размышлял о всеобщей жажде счастья. До него долетали обрывки фраз, но он не мог разобраться в технических терминах. Раньше завод изготовлял маломощные паровые моторы. Но этот вид двигателей выходил из употребления; необходимо было найти источник энергии. Электричество — этот царь и бог завтрашнего дня — было еще недоступно из-за громоздкости аппаратуры. Оставалась нефть со всеми ее отрицательными свойствами — слава и богатство будут уделом изобретателя, которому удастся заменить ее новым, еще неизвестным видом энергии. Итак, вопрос в том, чтобы найти и пустить в ход эту силу.

— Я спешу с этим делом! — горячо воскликнул Грандидье. — Я предоставил вам полную свободу и не хочу беспокоить вас назойливыми вопросами. Но необходимо поскорей найти решение.

Том *a* улыбнулся.

— Потерпите немного; кажется, я на верном пути.

И Грандидье, пожав им руки, отправился, как всегда, в обход по грохочущим цехам, а наглухо запертый особняк, куда он возвращался каждый вечер, ожидал его в мертвом молчании, затаив в своих стенах бесконечную, неутолимую скорбь.

День клонился к вечеру, когда Пьер и Том *a*, поднявшись на холм Монмартра, направились к большой застекленной мастерской скульптора Жагана, окруженной сараями, бараками и различными мастерскими, возникшими в связи с постройкой собора Сердца Иисусова; он работал там над заказанной ему огромной статуей ангела.

Кругом простирался пустырь, заваленный всевозможным строительным материалом; царил невообразимый хаос: груды обтесанных камней, леса, машины; там и сям зияли траншеи, в глубину спускались недостроенные лестницы, виднелись двери, закрытые лишь дощатой калиткой — входы в подземелья собора; вскоре должны были прийти землекопы и привести в порядок всю эту территорию.

Остановившись перед мастерской Жагана, Том *a* указал пальцем на одну из таких дверей, в которые входили строители фундамента, спускаясь под землю.

— Вам, наверное, не случалось заглядывать в подземную часть храма. Это особый мирок, очень интересный... Сюда вложены миллионы. Выбрали подходящую почву в центре холма, выкопали больше восьмидесяти колодцев и залили их бетоном, на этих-то восьмидесяти подземных столбах и стоит собор. Их не видно, но, опираясь на них, над

Парижем вознесся горделиво гигантский оскорбительный памятник во славу абсурда.

Подойдя к ограде, Пьер заглянул в открытую дверь, за которой виднелась темная площадка и лестница, ведущая в подземелье. Он думал о невидимых колоннах, о вложенной в них упорной энергии, о безмерном властолюбии, на которых держалось это здание.

Том *a* пришлось его окликнуть:

— Поспешим, уже смеркается. Мы ничего не увидим.

Антуан должен был дожидаться его у Жагана, который хотел показать им новую модель. Когда они вошли, два помощника, стоя на подмостках, обтесывали симметричные крылья, а скульптор, с выпачканными в глине руками, сидел на низенькой скамеечке и созерцал фигуру высотой в метр, над которой он работал.

— А! Это вы! Антуан ждет вас уже больше получаса. Кажется, он вышел с Лизой полюбоваться солнечным закатом над Парижем. Они сейчас вернутся.

Он снова замолк, неподвижно глядя на свое творение.

Это была нагая женщина, она стояла во весь рост и была столь царственно величава, при всей простоте линий, что казалась огромной. Густые, пышные волосы лучистым ореолом окружали ее лицо, которое, подобно солнцу, сияло торжественной красотой. Она простирала руки слегка вперед, навстречу людям, словно приветствуя их и вручая им какой-то дар.

Жаган заговорил медленно, с мечтательным видом:

— Помните, я хотел создать некое соответствие моему Плодородию, вы его видели, — оно способно выносить в своем могучем лоне новый мир. Я начал было лепить Милосердие, но вскоре бросил, до того оно показалось мне жалким, шаблонным, пошлым... Потом мне пришло в голову создать Справедливость. Но меч, весы — нет, нет! Меня не прельщала Справедливость в длинном одеянии и в покрывале. Меня преследовала мысль о другой Справедливости, той, которой ждут все малые и страждущие мира сего, которая одна способна наконец водворить порядок и принести нам счастье... И вот какой я ее увидел: обнаженная, простая, высокая. Она подобна солнцу — это солнце красоты, гармонии, силы, потому что одно солнце поистине справедливо, оно пламенеет в небе для всех, для бедных и богатых, щедро дарит свой свет и свое тепло, — источник жизни на земле... И вот, видите, она отдает себя обеими руками, она обнимает все человечество, принося ему в дар

вечную жизнь, заключенную в вечной красоте. О! быть прекрасным, быть сильным, быть справедливым — вот и вся моя мечта!

Он разжег свою трубку и разразился добродушным смехом.

— А ведь она представительна, эта славная женщина... А? Что вы скажете?

Посетители выразили свой восторг. Пьер был очень взволнован, увидав в этом творении художника воплощение своей давнишней мечты о грядущем царстве Справедливости, возникающем на развалинах этого мира, который не удалось спасти Милосердию.

Скульптор весело рассказал, что решил создать эту модель, чтобы немного утешиться: его приводил в отчаяние своей банальностью навязанный ему огромный ангел. К тому же ему только что поставили на вид, что одежды ангела слишком подчеркивают бедра; пришлось переделывать всю драпировку.

— Все, что им угодно! — воскликнул он. — Это уже не мое детище, это просто заказ, который я выполняю, как каменщик возводит стену. Больше не существует религиозного искусства, его убили безверие и глупость... И если суждено возродиться подлинно гуманному искусству, искусству для всех, какое счастье быть его провозвестником!

Он внезапно остановился. Где же, черт возьми, дети, Антуан и Лиза, ушли они, что ли? Он широко распахнул дверь, и на пустыре, заваленном хламом, на фоне города, позолоченного вечерними лучами, они увидели изящную группу — огромную фигуру Антуана и маленькую, хрупкую фигурку Лизы. Юный гигант нежно поддерживал ее мускулистой рукой за талию, помогая идти, а тоненькая, грациозная девушка, которая вдруг почувствовала себя женщиной и быстро расцвела, глядела ему в глаза с благодарной улыбкой, навсегда отдавая себя.

— А! вот и они... Как видите, чудо уже совершилось. Не помню себя от радости! Я был в отчаянии и уже не надеялся научить ее грамоте; она целыми днями сидела в уголке, как блаженная, не в силах шевельнуть ни языком, ни ногами... И вот пришел ваш брат, и все произошло как-то само собой. Она его слушала, понимала, стала учиться читать и писать, стала разумной и жизнерадостной. Однако она все еще не владела ногами, у нее по-прежнему был вид больного ребенка, тогда он начал выносить ее из дому на руках и заставлял ходить, поддерживая под руки; и теперь она уже ходит сама. Положительно, за несколько недель она выросла, стала стройной и прелестной... Да, да, уверяю вас, это второе рождение, он ее сотворил. Посмотрите-ка на них.

Антуан и Лиза медленно шли вперед. Вечерний ветер, тянувший со стороны шумного, знойного Парижа, овеивал их дыханием жизни. И если юноша избрал этот простор, где самый воздух трепетал жизнью, то, очевидно, потому, что нигде в другом месте он не мог бы вдохнуть в нее душу и силы. Влюбленный сотворил себе возлюбленную. Он увидел спящую девушку, недвижимую, бездумную; он пробудил ее, пересоздал, полюбил. Она была его творением, частью его существа.

— Ну как, сестренка, ты уже не так устаешь, как раньше?

Она улыбнулась небесной улыбкой.

— Нет, что ты! Так приятно, так чудесно идти и идти... А с Антуаном мне хотелось бы идти всю жизнь!

Все засмеялись, и Жаган добродушно сказал:

— Будем надеяться, что он не заведет тебя слишком далеко. Вот вы и пришли. Уж я-то не стану препятствовать вашему счастью.

Антуан остановился перед статуей Справедливости, которая в вечернем свете, казалось, дышала жизнью. В этот тихий час он так остро почувствовал всю прелесть искусства, что на глазах у него блеснули слезы. Он прошептал:

— О, божественная простота, божественная красота!

Недавно он закончил гравюру на дереве, изобразив Лизу с книгой в руках, проснувшуюся для сознательной жизни, для любви; то было замечательное произведение, исполненное чувства и правды. Наконец-то исполнилось его желание, он сделал гравюру непосредственно с натуры. Он испытывал необычайный подъем духа, мечтал о великих, своеобразных творениях, в которых хотел увековечить жизнь своей эпохи.

Том *a* решил, что пора уходить. Он пожал руку Жагану, который, окончив работу, надевал пальто, собираясь вести сестру Лизу домой, на улицу Кальвер.

— До завтра, Лиза, — сказал Антуан и наклонился, чтобы поцеловать ее. Она поднялась на цыпочки, подставляя для поцелуя глаза, которые он ей отверз.

— До завтра, Антуан.

Сумерки сгущались. Пьер вышел первым, и вдруг в вечернем полумраке перед ним мелькнуло видение. К своему удивлению, он ясно разглядел брата Гильома, выходящего из двери, за которой зиял вход в подземную часть храма. Ученый быстро перелез через ограду и тут же сделал вид, будто он случайно здесь, по дороге с улицы Ламарк. Подойдя к сыновьям с видом радостного удивления, он начал рассказывать о своей прогулке по Парижу, Пьер спрашивал себя: уж не померещилось ли все

это ему? Но вот Гильом тревожно взглянул на него, Пьер убедился, что он не ошибся. Он чувствовал себя неловко в присутствии этого человека, который никогда не лгал, и стал мучительно подозревать, что увиденное им имеет прямое отношение к страшной тайне, которую последнее время он чувствовал в воздухе маленького домика, мирного приюта труда.

В этот вечер, когда Гильом с сыновьями и братом подошел к просторной мастерской, высившейся над Парижем, в окнах было темно и дом казался пустым. Лампы еще не были зажжены.

— Смотрите! Никого нет дома, — заметил Гильом.

Но из темноты послышался голос Франсуа, спокойный, чуть приглушенный.

— Нет, я здесь.

Он сидел за столом, оторвавшись от книги, так как уже нельзя было читать; опершись на руку подбородком, юноша мечтал, глядя вдаль, на Париж, который уже тонул в полумраке. Он проработал, не поднимая головы, весь день. Приближались экзамены, и он все время жил напряженной умственной жизнью. Казалось, в полутемной комнате витали мысли юноши, неподвижно сидевшего над книгой.

— Как! ты здесь, ты еще работаешь! — воскликнул отец. — Почему же ты не спросил лампу?

— Нет, я смотрел на Париж, — задумчиво ответил Франсуа. — Это просто удивительно: темнота постепенно спускается на город, как будто у солнца есть свои пристрастия. Дольше всего была освещена гора Святой Женевьевы, где стоит Пантеон, где так пышно расцвели науки и знания. Школы, библиотеки, лаборатории еще золотились в закатных лучах, а торговые кварталы уже тонули в тени. Я не хочу сказать, что светило предпочитает именно нас, учеников Нормальной школы, я только отметил, что его лучи задерживаются на наших крышах, когда весь город уже в темноте.

Шутка показалась ему забавной, и он засмеялся; чувствовалось, что он горячо верит в силу человеческого ума, что его жизнь посвящена умственному труду, который, по его мнению, один способен создать царство истины и справедливости, даровать людям счастье.

В комнате царила тишина. Огромный Париж погружался во тьму, становясь все чернее, необъятнее, таинственней. Один за другим вспыхивали огоньки.

— Зажигают лампы, — прибавил Франсуа. — Люди снова берутся за труд.

Гильом, который тоже замечтался, воскликнул, весь во власти своих дум:

— Труд... да, разумеется! Но чтобы пожать плоды труда, его должна оплодотворить человеческая воля... Существует нечто высшее, чем труд!

Том *a* и Антуан подошли к отцу, и Франсуа спросил от имени всех братьев:

— Что же это, отец?

— Действие!

Сыновья немного помолчали, подавленные торжественностью минуты, трепеща перед огромными валами мрака, наплывавшими со стороны смутно различимого гигантского города. Потом неизвестно чей молодой голос произнес:

— Действие и значит труд.

Тревога Пьера все возрастала, ведь он не мог так безмятежно, так слепо доверять брату, как эти трое юношей. В словах Гильома ему снова почудилось нечто загадочное и зловещее. И в сгустившихся сумерках, над темным городом, где зажигались лампы для упорного ночного труда, пронеслось веяние несказанного ужаса...

IV

В этот день в соборе Сердца Иисусова в присутствии десяти тысяч паломников должно было состояться торжественное богослужение. Церемония благословения святых даров назначена была на четыре часа. Задолго до этого срока Монмартр будет наводнен толпой, лавки торговцев священными предметами будут осаждаться покупателями; люди станут тесниться перед закусочными, — словом, это будет настоящая ярмарка; а над праздничной толпой разольется оплушительный звон главного колокола — «Савояра».

Когда утром Пьер вошел в мастерскую, Бабушка и Гильом сидели там одни; он успел уловить несколько слов и без зазрения совести спрятался за высокий вращающийся книжный шкаф и стал прислушиваться. Бабушка шила, сидя на своем обычном месте у широкого окна. Гильом говорил вполголоса, стоя перед ней.

— Все уже готово, матушка, это будет сегодня.

Побледнев, она выронила из рук шитье и подняла на него глаза.

— Вот как... Значит, вы решились.

— Да, бесповоротно. В четыре часа я буду там, и все будет кончено.

— Что ж, вы хозяин положения.

Наступила томительная тишина. Голос Гильома, казалось, доносился откуда-то издалека, словно из иного мира. Чувствовалось, что он принял непоколебимое решение, весь во власти своей трагической мечты, послушный идее мученичества, которая уже приняла определенную форму и прочно засела у него в мозгу. Бабушка смотрела на него своими светлыми глазами; эта героическая женщина состарилась, переживая страдания своих близких, была полна преданности и самоотречения, ее отважное сердце могла воодушевить только мысль о долге. Она входила в мельчайшие подробности его работы, ей был известен его ужасный замысел; она жаждала справедливости и, видя на каждом шагу вопиющие беззакония, принимала идею возмездия, она верила, что могучее пламя вулкана очистит мир, — она также верила, что человек должен мужественно дожить до конца свою жизнь, и не видела в смерти ничего доброго и плодотворного.

— Сын мой, — сказала она мягко, — ваш замысел созревал у меня на глазах, он ничуть не удивил меня и не возмутил, я считала, что это будет как удар грома, как небесное пламя, могучее и очистительное. Я всегда вам помогала, хотела быть вашей совестью, исполняла вашу волю... Но все же я должна еще раз вам сказать: вы не имеете права бежать от жизни!

— Напрасно вы это мне говорите, матушка, я отдал этому делу свою жизнь и не могу взять ее обратно... И разве вы больше не хотите исполнять мою волю, остаться в живых и действовать?

Не отвечая на его вопрос, она спросила его многозначительным тоном:

— Значит, бесполезно говорить вам о детях, обо мне самой, о нашем доме... Вы хорошо все обдумали, вы решили окончательно?

— Да, — ответил он кратко, и она продолжала:

— Хорошо, вы господин положения... Я останусь и буду действовать. Не беспокойтесь ни о чем, ваше завещание в надежных руках. То, что мы решили, будет сделано.

Они опять помолчали. Потом она спросила:

— В четыре часа, во время благословения?

— Да, в четыре.

Она сидела перед ним в своем простом черном платье, скромная и царственно величавая, и пристально смотрела на него. В ее светлых глазах отражалась мужественная решимость и глубокая печаль, — этот взгляд до глубины души потряс Гильома. Его руки задрожали, он спросил:

— Матушка, разрешите вас поцеловать?

— От всей души, сын мой. Хотя у нас с вами и разные задачи, вы знаете, как я вас уважаю и люблю.

Они поцеловались, и когда к ним подошел помертвевший от ужаса Пьер, Бабушка уже спокойно шила, а Гильом, как всегда, энергично расхаживая по комнате, наводил порядок на полках своей лаборатории.

Обычно завтрак подавали в полдень, но на этот раз немного задержались, так как поджидали Том *a*. Франсуа и Антуан уже давно пришли; они делали вид, что сердятся, и шутливо уверяли, что умирают с голода. Мария приготовила крем и кричала, что они все съедят и опоздавшим ничего не достанется. И когда появился Том *a*, его встретили дружным криком.

— Я не виноват, — заявил он. — Я сплупил и пошел по улице Барр; вы и представить себе не можете, в какую же я угодил толпу. Там, наверное, расположилось тысяч десять паломников. Мне сказали, что туда отправили столько же, сколько поместилось в убежище Святого Иосифа. Остальным пришлось ночевать на улице. И сейчас они завтракают, кто на пустыре, а кто и на тротуаре. На каждом шагу рискуешь кого-нибудь раздавить.

Завтрак прошел очень весело. Пьеру показалось это веселье чрезмерным и даже наигранным. Впрочем, сыновья не должны были подозревать, что в этот солнечный июньский день над городом витает ужасная, невидимая угроза. Но когда наступало молчание между двумя взрывами смеха, на минуту все омрачались, любящие сердца смутно предчувствовали надвигающуюся беду. Гильом добродушно улыбался, быть может, не так весело, как всегда, но говорил все таким же ласковым голосом. Зато Бабушка никогда еще не была такой молчаливой и серьезной в этом жизнерадостном кругу, где все ее слушались и уважали, где она царила, как королева-мать. Крем, приготовленный Марией, имел шумный успех; ее так захвалили, что она даже покраснела. И вдруг снова над столом нависла гнетущая тишина; в воздухе словно пронеслось веяние смерти, все побледнели, доедая сладкое блюдо.

— Ах, этот колокол! — воскликнул Франсуа. — Как он назойлив! Прямо голова трещит, того и гляди, лопнет!

Звонил Савояр, заливая Париж тяжелыми волнами густых звуков. Все слушали.

— И так будут звонить до четырех часов? — спросила Мария.

— Да, а в четыре, во время благословения, еще почище будет, — отозвался Том *a*. — Торжествующий, радостный перезвон!

— Да, да, — подхватил с улыбкой Гильом, — и тем, кто хочет сохранить барабанные перепонки, не мешало бы закрыть окна. И вот что печально — весь Париж, до самого Пантеона, хочет не хочет, должен его слушать, — так мне сказали.

Бабушка по-прежнему бесстрастно молчала. Больше всего во всей этой церемонии Антуана раздражали грубо намалеванные образки, которые жадно расхватывали паломники, — лубочные Христы с разверстой грудью и кровоточащим сердцем. Трудно вообразить что-нибудь более отталкивающее — такой отвратительный натурализм, такое грубое и низменное представление об искусстве. Из-за стола поднялись, разговаривая во весь голос, оглушительно рокотал колокол.

Все вернулись к своим занятиям. Бабушка снова села за вечное шитье, сидя рядом с ней, вышивала Мария. Сыновья занялись каждый своим делом; по временам они поднимали голову и перекидывались словами. До половины третьего Гильом тоже чем-то занимался с весьма сосредоточенным видом. Пьер растерянно бродил по комнате, он был потрясен и совершенно разбит, все окружающее казалось ему кошмаром, в самых невинных словах он усматривал зловеший смысл. За завтраком, желая скрыть, как тяжело действует на него всеобщее веселье, он сказал, что не совсем здоров; теперь он напряженно ждал, глядел и слушал; волнение его все возрастало.

За несколько минут до трех Гильом, взглянув на часы, спокойно взялся за шляпу.

— Ну, что ж, я ухожу.

Сыновья, Бабушка и Мария подняли голову.

— Я ухожу... До свидания.

Между тем он медлил уходить. Пьер чувствовал, что брат переживает жестокую душевную борьбу, стараясь не выдать себя ни дрожью, ни бледностью. О, как же он должен страдать, ведь он даже не может поцеловать в последний раз взрослых сыновей, опасаясь, как бы они не заподозрили, что он идет на смерть. Героическим усилием воли он поборол себя.

— До свидания, дети.

— До свидания, отец... Ты вернешься не очень поздно?

— Да, да... Не беспокойтесь обо мне, работайте себе на здоровье.

Бабушка в величавом молчании не спускала с него глаз. Он поцеловал ее. На миг глаза их встретились; этот взгляд выразил его волю, ее обещания, их общую мечту об истине и справедливости.

— Слушайте, Гильом, не можете ли вы, — весело крикнула ему Мария, — проходя по улице Мартир, исполнить мое поручение?

— Ну конечно.

— Зайдите к моей портнихе и скажите ей, что я приду примерять платье только завтра утром.

Речь шла о венчальном платье из легкого серого шелка, над роскошью которого она подшучивала. Когда она о нем упоминала, все смеялись и она первая.

— Хорошо, дорогая, — сказал Гильом и тоже улыбнулся. — Бальное платье Сандрильоны из парчи, отделанное тончайшим кружевом; она поедет в нем ко двору, будет там сиять красотой и счастьем.

Но вдруг смех умолк, и снова в наступившей тишине пронеслось как бы дыхание смерти, как бы веяние могучих крыльев, всех пронзил ледяной холод, и у всех невольно замерло сердце.

— Ну, — проговорил он, на этот раз уже всерьез. — До свидания, дети.

И он ушел, даже не обернувшись. Слышно было, как скрипит гравий под его твердыми шагами; вскоре они замолкли.

Воспользовавшись каким-то предлогом, Пьер минуты через две последовал за Гильомом. Ему легко было идти за братом, потому что он знал, куда тот направляется; он чувствовал, был вполне уверен, что найдет Гильома у входа в подземелья собора, откуда тот вышел накануне. Пьер не пытался отыскать брата в толпе направлявшихся к церкви паломников. Он поспешил к мастерской Жагана. Придя туда, он, как и ожидал, увидел Гильома, скользнувшего за ограду. Нырять в толпе верующих, он мог незаметно для брата пробраться за ним до самых дверей. На минуту он остановился, переводя дыхание, сердце у него отчаянно колотилось.

Он стоял на небольшой узкой площадке, откуда крутая лестница уходила во мрак подземелья. Пьер начал спускаться в темноту, осторожно переставляя ноги, чтобы не шуметь. Придерживаясь рукой за стенку, он медленно продвигался, как бы погружаясь в колодезь. Спуск оказался не очень долгим. Коснувшись ногой твердой почвы, Пьер остановился, он не решался двигаться дальше, опасаясь выдать себя. Вокруг было черным-черно. Гнетущая тишина, ни звука, ни шороха. Куда идти дальше? В какую сторону? Он стоял в нерешительности; но вот шагах в двадцати от него вспыхнул свет — загорелась спичка. Это был Гильом, он зажег свечу. Пьер сразу узнал его по широким плечам, и ему оставалось только следовать за огоньком по сводчатому подземному коридору,

облицованному плитами. Он казался бесконечным и, по-видимому, вел в северном направлении, проходя под центром собора.

Неожиданно огонек остановился. Продолжая осторожно двигаться вперед, Пьер остановился в тени и огляделся. Он увидел, как Гильом, стоявший посреди круглой площадки под низкими сводами, поставил свечу на землю, затем опустился на колени и сдвинул тяжелую продолговатую плиту, прикрывавшую какое-то углубление. Они находились среди устоев здания, перед ними был один из столбов, которые получились, когда залили бетоном колодцы. У самого столба в земле виднелась глубокая трещина, то ли уже раньше бывшая в почве, то ли образовавшаяся в результате смещения пластов земли. Вокруг, в темноте, можно было разглядеть другие столбы, между которыми змеилась трещина, разветвляясь в разные стороны. Видя, что брат склонился над трещиной совсем как минер, в последний раз проверяющий мину, прежде чем поджечь фитиль, Пьер вдруг догадался, какая готовится грандиозная катастрофа; выбирая время, Гильом тайком приходил сюда раз двадцать и принес огромное количество взрывчатого вещества, оно заполнило все трещины, глубоко проникнув в почву, так что получилась своего рода мина невероятной мощности. В отверстии, которое раньше прикрывала плита, виден был порошок. Стоит бросить туда зажженную спичку, и все взлетит на воздух.

Ледяной ужас приковал Пьера к месту. Он не мог ни крикнуть, ни шевельнуться. На мгновение перед ним встала огромная толпа паломников, столпившихся в просторных приделах собора, в ожидании благословения святых даров. Савояр олушительно трезвонил, благоухал фимиам, и десять тысяч голосов сливались в торжественном и радостном песнопении. И вот раздастся грохот, затрясется земля, и все исчезнет в дыму и огне, — огромный храм со всеми молящимися. Разрушив столбы, взрыхлив мягкую почву, мощный взрыв расколется здание пополам, обломки полетят на склоны вставшего над Парижем холма до самой Рыночной площади; другая половина здания, а именно главная абсида, рухнет на месте. Какая чудовищная лавина — исковерканный лес столбов, град гигантских обломков, взлетающих вверх в тучах пыли и падающих на крыши домов нижних кварталов; от страшного толчка весь Монмартр может превратиться в исполинскую груды развалин.



Гильом

поднялся. Стоявшая на земле свеча горела ровным высоким пламенем, огромная тень Гильома как будто заполнила все подземелье. Маленький светильник казался в непроглядном мраке печальной неподвижной звездочкой. Гильом поднес к свече руку и взглянул на часы. Пять минут четвертого. Оставался еще целый час; верный принятому решению, он не спешил. Усевшись на камень, он стал спокойно и терпеливо ждать. Пламя свечи освещало его бледное лицо, высокий, похожий на башню лоб, обрамлявшие его седые волосы, энергичное лицо, все еще молодое и прекрасное, благодаря ярким глазам и усам, не тронутым сединой. Он сидел, плядя в пустоту, и лицо его было совершенно неподвижно. Какие мысли проносились у него в голове в эти решающие минуты! кругом ни малейшего шороха; тяжелый, нависший мрак, нерушимое молчание и глубокий покой подземелья.

Но вот, сдерживая биение сердца, Пьер подошел к брату. Услышав шаги, Гильом обернулся с угрожающим видом. Но он тут же узнал брата и даже не выказал удивления.

— А! Это ты, ты шел за мной следом... Я так и думал, что ты разгадал мою тайну. Очень печально, что ты злоупотребил этим, вздумав прийти сюда... Ты должен был бы избавить меня от этих тяжелых переживаний перед концом!

Пьер умоляюще сложил дрожащие руки.

— Брат, брат...

— Нет, подожди. Если ты уж так хочешь, я потом выслушаю тебя. Времени у нас почти час, успеем еще поговорить... Но я хочу, чтобы ты понял, что убеждать меня бесполезно. У меня все давно продумано и решено, и я буду действовать, как мне подсказывают разум и совесть.

И он спокойно рассказал, как, решившись на это великое деяние, он долго размышлял, какой памятник ему взорвать. Одно время его соблазняло здание Оперы; потом он подумал, что незачем обрушивать ураган гнева и мщения на мирок прожигателей жизни, — это не имело бы глубокого смысла и можно было бы заподозрить с его стороны изменную зависть. Потом он подумал о Бирже: он смел бы с лица земли кучку денежных тузов, растлевающих общество капиталистов, под игмом которых задыхается пролетариат; но не было ли и это слишком ограниченным, слишком суженным полем действия? Здание суда, и в особенности зал, где заседают присяжные, тоже привлекали внимание Гильома. Какой соблазн совершить правосудие над человеческим правосудием: уничтожить и преступника, и свидетелей, и обвиняющего его генерального прокурора, и защищающего его адвоката, и судей, которые его судят, и толпу зевак, сбегавшихся как за очередным выпуском романа-фельетона. Разве это не жестокая ирония — свершение верховного правосудия разверзшимся вулканом, который поглотит все и всех без разбора! Но больше всего ему хотелось взорвать Триумфальную арку, — как долго лелеял он эту мечту! Отвратительный памятник, увековечивающий войну, вражду народов, мнимую славу великих завоевателей, так дорого оплаченную человеческой кровью. Следовало уничтожить эту громадину, воздвигнутую в честь бесполезных, ужасных боен, унесших столько жизней! И если бы удалось его разрушить, он с радостью погиб бы один, как герой, под грудой развалин, не погубив больше ни единой души. Какая гробница! Он оставил бы по себе вечную память.

— Но Триумфальная арка оказалась недоступной, — продолжал он, — ни подвала, ни подземелья, я должен был отказаться от этого проекта. И, наконец, мне, конечно, хочется умереть одному. Но какой это был бы ужасный и вместе с тем возвышенный урок, если бы безвинно погибло множество людей, тысячи безвестных прохожих! Наше общество постоянно творит несправедливости, обрекает людей на нищету; бюрократическая машина безжалостно давит своими колесами тысячи безвинных, — вот и мне захотелось вызвать страшный взрыв, который сокрушил бы все крутом, как гром, поразил бы сотни случайно проходящих мимо людей. Это все равно что растоптать ногами муравейник.

— О брат, брат, и ты говоришь это! — воскликнул возмущенный Пьер.

Гильом продолжал.

— В конце концов я остановился на соборе Сердца Иисусова, благо он под рукой и его легко взорвать. Кроме того, он возмущает меня, приводит в отчаяние, и мысленно я давно обрек его на уничтожение. Я уже говорил тебе, что нет ничего нелепей, чем Париж, наш великий Париж, увенчанный этим храмом, который горделиво высится над ним, выстроенный во славу абсурда. Разве можно стерпеть, после долгих веков культурного развития, такую пощечину здравому смыслу, это наглое торжество на огромной высоте, среди белого дня?! Они хотят, чтобы Париж нес покаяние, расплачивался за то, что стал городом свободы, истины и справедливости. Ну, нет! Он сметет все, что его оскорбляет, что стоит на его пути к полному освобождению... Пусть рухнет этот храм вместе с его богом лжи и рабства! И пусть под развалинами его будут погребены все верующие, — пусть совершится катастрофа, подобная древним геологическим переворотам, она отзовется в сердце человечества, обновит и возродит его!

— Брат, брат, — повторял вне себя Пьер. — Неужели это говоришь ты? Ты — выдающийся ученый, ты — великое сердце! Какой вихрь бушует в твоей душе, какое безумие подсказывает тебе эти чудовищные слова? Разве ты не помнишь, как мы с тобой однажды вечером, в приливе нежности, поверяли друг другу свои тайны, ты сказал мне, что мечтаешь о некоей идеальной анархии? Ты создал себе возвышенное представление о прекрасном мире свободы и гармонии, где естественные законы жизни сами собой приведут человечество к счастью. Ты же всегда был противником грабежа и убийства; ты только объяснял и оправдывал их...

Что же такое произошло, что ты из ученого и мыслителя превратился в беспощадного карателя?

— Сальва гильотинировали, — спокойно отвечал Гильом, — и его последний взгляд был завещанием. Я только исполнитель... Что произошло? Да то, от чего я страдаю и о чем кричу уже четыре месяца; нас окружает мерзость, которой необходимо положить конец!

Наступила тишина. Братья молча стояли в тени, глядя друг на друга. И внезапно Пьер все понял, увидел, что Гильом резко изменился, поддавшись революционной заразе, охватившей Париж. Причиной столь резкой перемены была двойственность его натуры: с одной стороны, ученый, с головой ушедший в наблюдения и опыты, вдумчиво и осторожно изучающий явления природы, с другой стороны — романтик, преобразователь общества, страстно мечтающий о равенстве и справедливости, братстве, человек с любвеобильным сердцем, жаждущий всеобщего счастья. Так родился на свет сначала анархист-теоретик, помесь ученого и утописта, который мечтал пересоздать общество, подчинив его закону мировой гармонии, чтобы все были свободны и жили в вольном содружестве, движимые лишь взаимной любовью. Теофиль Морен, Прудон, Конт, Баш, Сен-Симон, Фурье не удовлетворяли его, так как он стремился к абсолютной свободе; их системы казались ему несовершенными, хаотичными, исключали одна другую и были бессильны искоренить царящую в мире нищету. Только Янсен порой удовлетворял Гильома, в своих лаконичных высказываниях он заходил дальше всех, его слова разили, как убийственные стрелы, он мечтал насильственно объединить все человечество в огромную семью. И вот в этом благородном сердце, которое терзала мысль о нищете и ожесточали незаслуженные страдания малых сих, трагический конец Сальва вызвал бурный протест. Несколько недель после этой расправы у Гильома лихорадочно дрожали руки и мучительно перехватывало дыхание; грохот бомбы, брошенной Сальва, все еще отдавался у него в мозгу; продажные газеты беспощадно травили беднягу, как бешеное животное; полицейские преследовали его, гнались за ним по пятам в Булонском лесу, и, наконец, весь в грязи, обессилив от голода, он попал к ним в лапы; а там присяжные заседатели, судьи, жандармы, свидетели — вся Франция ополчилась на одного человека, который должен был расплачиваться за грехи всего народа; и чудовищная, отвратительная гильотина непоправимо и несправедливо оборвала его жизнь во имя верховной справедливости. Единственная идея овладела Гильомом — идея справедливости, доведившая его до исступления; для этого мыслителя

больше ничего не существовало, он пламенно мечтал о великом акте справедливости, в результате которого зло будет уничтожено и навеки воцарится добро. Сальва бросил на него взгляд перед смертью — и вот он уже заражен, он горит безумным желанием умереть, пожертвовать собой до последней капли крови, готов пролить потоки крови других, лишь бы человечество в ужасе и страхе начало осуществлять свою мечту о золотом веке.

Пьеру было ясно, что брат во власти безумного ослепления, и он был вне себя при мысли, что ему не удастся его разубедить.

— Брат, ты совсем обезумел! Они свели тебя с ума, брат! Проносится вихрь насилия; с самого начала с террористами нелепо и беспощадно расправились, и вот они мстят; естественно, кровопролития будут продолжаться... Послушай меня, брат, прогони этот кошмар. Неужели ты станешь подражать Сальва, который стал убийцей, или Бергасу, который стал грабителем. Вспомни, как они опустошили особняк де Гарт, вспомни несчастную девушку, такую хорошенькую, белокурую, которая лежала на улице с разорванным животом... Ты же не с ними, брат! Ты не можешь быть с ними, — умоляю тебя, опомнись.

Гильом жестом оборвал его бесполезные доводы. Перед лицом смерти, которой он уже плядел в глаза, какое имеет значение, если и другие существа вернутся вместе с ним в океан вечного бытия? Наступление новой эры всегда сопровождается переворотом, который уносит миллионы жизней.

— Но ведь перед тобой великая задача! — воскликнул Пьер, пытаясь образумить его напоминанием о долге. — Ты не имеешь права покончить с собой!

Он изо всех сил старался пробудить в брате гордость ученого. Упомянул о его тайне, в которую был посвящен, о мощном оружии, способном уничтожить целые армии, стереть в порошок города, которое он хотел подарить Франции, чтобы, одержав победу в ближайшей войне, она стала освободительницей народов мира. Неужели он изменит своей цели, исполненной редкого величия, пустив в ход это ужасное взрывчатое вещество, уничтожит тысячи ни в чем не повинных людей и храм, на восстановление которого не пожалеют миллионов и в котором станут чтить память новых мучеников.

Гильом усмехнулся:

— Но я не отказался от своей задачи, она только приняла новый облик... Разве я не говорил тебе о своих сомнениях и о мучительной душевной борьбе?! О! Знать, что в твоих руках судьба мира, — и дрожать,

и колебаться, и спрашивать себя, достаточно ли у тебя благоразумия, сумеешь ли ты принять мудрое решение! Меня потрясли язвы нашего великого Парижа, ошибки, которые недавно произошли на наших глазах, и я задавал себе вопрос, достаточно ли наш народ ясен духом, достаточно ли чист, чтобы можно было сделать его всемогущим; ведь какая произошла бы катастрофа, если бы такое изобретение попало в руки народа, одержимого безумием, или в руки диктатора, завоевателя, который воспользовался бы им для терроризирования и порабощения остальных народов!.. Нет, нет, я не хочу войны, я хочу уничтожить ее в корне!

Спокойным тоном он изложил брату свой новый план, и Пьер с удивлением узнал идеи, которые ему уже развивал генерал де Бозонне, только как бы вывернутые наизнанку. Война постепенно изживает себя, достигнув своего апогея. В старину, когда были наемные войска, и впоследствии, при системе рекрутского набора, судьба стать воином выпадала лишь немногим, существовало сословие военных и страсть к военному делу. Но с тех пор, как все стали обязаны воевать, уже никто этого не хочет. Все народы вооружились, и это значит, что вскоре уже не будет существовать армий, такова логика вещей. Сколько времени еще будут народы находиться в состоянии вооруженного мира, задыхаясь под бременем все возрастающих военных бюджетов, выбрасывая миллиарды для поддержания своего престижа? И какую радость, какое облегчение испытают все, когда в один прекрасный день появится могучее орудие, уничтожающее целые армии, сметающее с лица земли города, — война станет невозможной, и произойдет всеобщее разоружение. Война, убившая столько людей, будет убита! Такова была его мечта, и он горел желаньем немедленно ее осуществить.

— Все улажено. Я умру, исчезну ради торжества моей идеи... Последние дни ты не раз видел, что я долгие часы беседовал с Бабушкой, запершись у нее в комнате. Мы привели в порядок все документы и обо всем условились. Я дал ей указания, и она свято их исполнит, хотя бы ценой жизни, потому что она самый достойный и мужественный человек на свете... Когда над Парижем прогремит взрыв, который погребет меня под горами развалин и положит начало новой эре, Бабушка поспешит передать всем великим державам формулу взрывчатого вещества, чертежи бомбы и специального орудия — все папки, имеющиеся у нее на руках. Таким образом, я подарю всем народам мира ужасное оружие, которое раньше хотел поднести только Франции, — и все нации, обладая

этим разрушительным средством, сложат оружие, так как дальнейшая война превратится в бессмысленное взаимное истребление.

Пьер слушал, остолбенев, и ему казалось, что его затянуло в какой-то гигантский механизм, он был раздавлен грандиозностью замысла, в котором было столько гениального и вместе с тем ребяческого.

— Но если ты подаришь свое изобретение всем народам, тогда зачем взрывать храм и самому погибнуть?

— Для того, чтобы мне поверили.

Гильом выкрикнул эти слова неистовым голосом.

— Необходимо, — продолжал он, — чтобы эта громада рухнула и я был погребен под нею. Если не будет произведен этот опыт, если все с ужасом не убедятся в разрушительной силе этого вещества, то меня назовут фантазером, мечтателем... Нужно много жертв, много крови, чтобы больше никогда не проливалась кровь!

И, сделав широкий жест, он продолжал развивать свою мысль:

— К тому же Сальва завещал мне совершить акт правосудия. И если я решил придать ему более широкое значение, дабы положить конец войне, я действовал как исследователь, как ученый. Быть может, не нужно было долго размышлять, а, не мудрствуя лукаво, сыграть роль вулкана, опустошающего все вокруг, и предоставить самой жизни обновить человечество.

Свеча догорала, и Гильом поднялся с камня, на котором до сих пор сидел. Он взглянул на часы: оставалось десять минут. От его бурных жестов трепетал огонек огарка. Казалось, темнота еще сгустилась в подземелье над этой миной, которая могла взорваться от малейшей искры.

— Ну, что же, час настал... Давай обнимемся, братец, и ступай. Ты знаешь, как я люблю тебя, какая нежность пробудилась к тебе в моем старом сердце. И ты тоже люби меня от всей души, возьми себя в руки и дай мне умереть за мое дело, как мне велит долг... Поцелуй меня, поцелуй меня и ступай, не оглядываясь.

От волнения у него дрожал голос. Он с трудом сдерживал рыдания, все же ему удалось себя побороть, — он был уже как бы вне жизни, отрешенный от всех человеческих чувств.

— Нет, брат, ты не убедил меня, — уже не сдерживая слез, проговорил Пьер. — Именно потому, что я тоже люблю тебя, люблю всем сердцем, я не уйду... Разве допустим еще новый взрыв? Ведь ты не какой-нибудь безумец, — или ты хочешь стать убийцей?

— А почему бы и нет? Разве я не свободен? Я порвал все житейские пути... Сыновья мои выросли и больше не нуждаются во мне. Меня

держала только привязанность к Марии, но я отдал ее тебе.

Пьер тотчас же ухватился за этот предлог.

— Значит, ты потому и хочешь умереть, что отдал мне Марию. Признайся, ты все еще любишь ее?

— Нет! — крикнул Гильом. — Клянусь тебе, я больше ее не люблю! Я отдал ее тебе и разлюбил.

— Тебе только так казалось, но теперь ты убедился, что все еще любишь ее, — одно ее имя взволновало тебя куда сильнее, чем все ужасы, о которых мы только что говорили... И ты хочешь умереть потому, что потерял ее.

Смущенный Гильом, весь дрожа, заговорил как бы сам с собой низким, прерывающимся от волнения голосом.

— Нет, нет, было бы недостойно моей великой цели, если бы меня толкнула на это страшное деяние несчастная любовь... Нет, нет, я действую вполне свободно, не преследуя никаких личных интересов, только во имя справедливости и человеколюбия, против войны и нищеты! — И тут же с отчаянием крикнул: — Ах, как это плохо, брат! Как плохо с твоей стороны, ты отравил мне радость смерти! Я устроил ваше счастье и уходил из жизни, радуясь, что оставляю всех счастливыми, и вдруг ты все испортил... Нет, нет, я проверял себя, сердце мое уже не кровоточит; я люблю Марию не больше, чем тебя.

Но он все еще волновался, опасаясь, что обманывает самого себя. Постепенно им овладел мрачный гнев.

— Слушай, Пьер, довольно, время не терпит... В последний раз прошу тебя, уходи! Я тебе велю, я так хочу!

— Гильом, я не послушаюсь тебя... Я остаюсь, и по очень простой причине: если ты так безумен, что на тебя не действуют никакие доводы, что ж, поджигай фитиль — я умру с тобой!

— Ты умрешь? Нет, ты не имеешь на это права, ты не свободен.

— Свободен я или нет, клянусь тебе, я умру с тобой... И если остается бросить свечу в эту яму, скажи лишь слово, я возьму ее и брошу сам.

Пьер сделал движение рукой, и Гильом подумал, что он собирается привести в исполнение свою угрозу. Он схватил брата за руку.

— Зачем тебе умирать? Какая нелепость! Пускай гибнут другие. Но ты!.. Зачем еще эта жертва? Ты хочешь меня тронуть и переворачиваешь мне всю душу...

И вдруг, заподозрив обман, он крикнул в ярости:

— Ты хотел погасить свечу и вовсе не собирался ее бросать. Ты решил, что потом я уже не смогу... Ах, недостойный брат!

— Ну конечно, — в свою очередь, крикнул Пьер, — я непременно помешаю тебе совершить этот ужасный, бессмысленный поступок!

— Помешаешь...

— Да! Я брошусь на тебя, обхватю тебя за плечи, буду крепко держать тебя за руки.

— Ты мне помешаешь? Несчастный, ты в этом уверен?

Задыхаясь, дрожа от гнева, Гильом крепко обхватил Пьера своими мускулистыми руками. Они стояли в тесном объятии, глядя друг другу в глаза, и дыхание их смешивалось; на стенах подземного каземата плясали их гигантские тени, словно какие-то страшные призраки. Фигуры их тонули в кромешном мраке, бледный огонек свечи казался во тьме маленькой желтой слезой. И вдруг нависшая над ними тишина глубокого подземелья дрогнула, и откуда-то издалека донеслись волны звуков, словно смерть звонила в невидимый колокол.

— Слышишь, — пробормотал Гильом, — это их колокол, там, наверху! Час настал, я поклялся это совершить, а ты вздумал мне мешать!

— Да, я буду тебе мешать, пока я здесь, пока я жив!

— Будешь мне мешать, пока жив!

Наверху радостно трезвонил Савояр, и перед глазами Гильома встал величавый, переполненный паломниками собор и в клубах фимиама сверкающая ослепительными огнями дарохранительница; сердце его разрывалось от слепой, бессильной ярости перед этим неожиданным препятствием, возникшим на пути к осуществлению его неотступной мысли.

— Пока ты жив, пока жив! — повторял он, вне себя. — Ну, что ж, умри, несчастный!

В его помутившихся глазах вспыхнул зловещий огонь. Он быстро нагнулся, схватил обеими руками валявшийся на земле кирпич и замахнулся.

— Что ж, — воскликнул Пьер, — я согласен! Убей меня, убей брата, прежде чем убить остальных.

Кирпич полетел. Но руки Гильома дрогнули, он задел только плечо Пьера, и тот упал в темноте на колени.

У Гильома все плыло перед глазами, и, видя, что брат упал на землю, он решил, что тот убит. Что же произошло между ними? Что он натворил? С минуту он стоял, раскрыв рот, с расширенными от ужаса глазами. Он взглянул на свои руки, ожидая увидеть на них кровь. Потом

прижал их ко лбу; голова раскалывалась от боли, словно у него вырвали с кровью из мозга бредовую идею. Внезапно он рухнул на землю и разрыдался.

— О братец, братец, что я натворил! Я чудовище!

Пьер с жаром обнял его.

— Брат, клянусь тебе, ничего не случилось, решительно ничего!.. Наконец-то ты заплакал. О! Как я счастлив! Я чувствую, что ты спасен, если мог заплакать... Как хорошо, что ты разгневался на меня, — гнев сразу рассеял эти кошмарные мысли!

— Да! Я сам себе мерзок!.. Тебя убить, тебя! Гнусная тварь, кто убивает родного брата! А другие, все другие, что там, наверху!.. О, мне холодно! Мне смертельно холодно!

У Гильома стучали зубы, его сотрясал ледяной озноб. Казалось, он только что пробудился от сна и еще не пришел в себя; он все видел в новом свете; он покусился на жизнь брата, и это привело его в такой ужас, что он отрезвел; то, что до сих пор представлялось ему великим деянием, теперь стало казаться преступной глупостью, на которую его кто-то подстрекнул.

— Убить тебя! — прошептал он. — Никогда я себе этого не прощу! Жизнь моя кончена, я навсегда утратил волю к жизни.

Пьер еще сильнее сжал его в объятиях.

— Ну что ты говоришь? Разве мы не будем теперь связаны еще крепче взаимной любовью? Ах, брат, брат, я спасу тебя, как ты спас меня, и это нас еще теснее сблизит... Помнишь вечер в Нейи, когда ты, вот так же, как я сейчас, утешая меня, прижимал к своей груди? Я поведал тебе о своих терзаниях, о пустоте и сомнениях. И ты твердил мне, что я должен жить, должен любить... А потом, брат, ты сделал еще больше — ты вырвал из сердца свою любовь и подарил мне самое дорогое. Ценой собственного счастья ты сделал меня счастливым, ты спас меня, внушив мне перу... И какое счастье, что я, в свою очередь, могу тебя спасти, успокоить, вернуть к жизни.

— Нет, мне уже не смыть пятно твоей крови. Мне уже не на что надеяться.

— Да, да! Надейся и верь в жизнь, как ты мне внушал, верь в любовь, верь в труд!

И, крепко сжав друг друга в объятиях, обливаясь слезами, братья продолжали тихо беседовать. Свеча, незаметно догорев, погасла. В непроглядной тьме и глубоком торжественном молчании текли слезы возродившейся нежности. Один плакал, радуясь, что отплатил брату

добром за добро; другой, этот человек высокого ума, с детски чистым сердцем, — рыдал, осознав, что едва не совершил ужасное преступление, поддавшись навязчивой идее, в жажде справедливости и всеобщего блага. Но еще другое вызывало эти слезы, омывшие, очистившие их душу, — то был протест против человеческих страданий, страстное желание их облегчить.

Потом Пьер сдвинул ногой на место плиту, прикрывавшую отверстие, и, нащупывая в темноте дорогу, увел, как ребенка, Гильома из подземелья.

В просторной мастерской Бабушка с бесстрастным видом сидела у окна, не выпуская из рук шитья. В ожидании четырех часов она время от времени смотрела на висевшие слева от нее стенные часы и тут же переводила взгляд на собор, недостроенная громада которого была еще закрыта лесами. Молчаливая, бледная, полная героического спокойствия, Бабушка медленно шила, делая крупные, ровные стежки. Уже раз двадцать сидевшая против нее с вышиванием Мария нетерпеливо обрывала нитку, она почему-то нервничала, находилась в тяжелом душевном состоянии, во власти какой-то беспричинной, как она говорила, тревоги, от которой у нее замирало сердце. Особенно юношам не сиделось на месте, они испытывали лихорадочное волнение. Но все же они принялись за работу: Том *a* стал что-то выпиливать у токарного станка, Франсуа и Антуан сели за стол, один начал решать какую-то задачу, другой — рисовать лежавшую перед ним охапку маков; но напрасно старались все трое сосредоточиться. При малейшем шорохе они вздрагивали, поднимали голову, вопросительно глядя друг на друга. В чем же дело? Чего они так опасались? Почему так трепетали в этот яркий солнечный день? Временами один из них вставал немного поразмяться и снова садился. Все молчали, не решаясь заговорить, и безмолвие становилось все более жутким и гнетущим.

За несколько минут до четырех Бабушка как будто почувствовала усталость или же о чем-то стала напряженно думать. Она снова взглянула на часы, опустила на колени работу и перевела взгляд на собор. С этого мгновения она могла только ждать, не спуская глаз с гигантских, закрытых лесами стен, гордо возносившихся в синеву неба. И вдруг, несмотря на свою твердость и мужество, она вздрогнула при звуках ликующего звона. Совершалось благословение; десятитысячная толпа паломников теснилась в храме; вот-вот должно было пробить четыре часа. Повинуясь какому-то тайному импульсу, она встала и замерла на

месте, стиснув руки, глядя на собор, вся содрогаясь в томительном ожидании.

— Бабушка! Что с вами? — воскликнул Том *a*. — Вы вся дрожите!

Франсуа и Антуан вскочили и также подбежали к ней.

— Вам плохо? Почему вы так побледнели, ведь вы никогда ничего не боитесь?

Она не отвечала. О, если бы земля разверзлась от взрыва и пламенеющий кратер вулкана поглотил их маленький домик! Умереть бы им всем — и юношам, и ей самой вместе с Гильомом, — тогда некому будет его оплакивать! И она ждала, напряженно ждала, вся трепеща и устремив на собор свои ясные смелые глаза.

— Бабушка, Бабушка! — растерянно проговорила Мария, — вы нас пугаете; почему вы не отвечаете нам и смотрите куда-то вдаль, как будто вот-вот должно произойти какое-то несчастье!

Внезапно Том *a* и Антуан воскликнули в один голос в смертельной тревоге:

— Отец в опасности, отец погибает!

Что они могли знать? Ничего определенного. Правда, Том *a* поражало, что отец изготавливает в таком количестве взрывчатое вещество, а Франсуа и Антуану были известны революционные идеи ученого и его пламенная любовь к человечеству. Но почтительные сыновья никогда ни о чем его не спрашивали, довольствуясь тем, что он им поверял, восхищаясь всеми его поступками. И вот их осенило предчувствие, почти уверенность, что отец умрет, погибнет в какой-то ужасной катастрофе; с самого утра они чувствовали, что она надвигается, и дрожали как в лихорадке, разбитые, не в силах работать.

— Отец погибнет, отец погибнет!

Стоя плечом к плечу, трое гигантов переживали жестокую тревогу, им страстно хотелось узнать, что грозит отцу, ринуться ему на помощь, умереть вместе с ним, если нет возможности его спасти. В упорном молчании Бабушки было что-то зловещее, и вновь повеяло ледяным дыханием смерти, которое они почувствовали уже во время завтрака.

Пробило четыре, Бабушка молитвенно воздела бледные руки. Наконец она заговорила:

— Отец умрет. Ничто не может его спасти, — только сознание долга перед жизнью.

Юношам захотелось ринуться куда-то вперед, сокрушить все препятствия, победить смерть. Их терзало сознание своего бессилия, они

казались такими жалкими и несчастными, что Бабушка попыталась их успокоить.

— Отец решил умереть и захотел умереть один.

Братья вздрогнули, но попытались овладеть собой, они тоже хотели быть героями. Между тем минуты убегали за минутами и больше не чувствовалось холодного веяния крыльев смерти. Случается, в сумерках в раскрытое окно влетит ночная птица, вестник беды, и, покружившись по комнате, умчится в темноту, унося с собою печаль. Так было и в этот день: собор стоял на месте, земля не разверзлась и не поплотила его. И постепенно острая тоска, сжимавшая все сердца, уступила место надежде — так зима всегда уступает место весне.

И когда появился Гильом, в сопровождении Пьера, у всех вырвался ликующий возглас, словно они увидели его воскресшим.

— Отец!

Их поцелуи и слезы окончательно доконали Гильома. Он бессильно опустил на стул. Оглядевшись по сторонам, он быстро пришел в себя, но был в отчаянии, что его насильно заставили жить. Бабушка сознавала всю горечь его поражения, она подошла и с улыбкой взяла его за руки, показывая, как она счастлива его видеть, как радуется, что он вернулся к своим обязанностям, что признал своим долгом жить, а не бежать из жизни. Он жестоко страдал, потрясенный и сломленный. Никто не стал его расспрашивать. Сам он ничего не рассказал, но ласковым словом и жестом указал на Пьера, как на своего спасителя.

В уголке Мария бросилась на шею молодому человеку.

— Пьер, милый, я до сих пор еще вас не целовала. Целую в первый раз, — и есть за что!.. Я люблю вас, дорогой Пьер, люблю всем сердцем!

В тот же день вечером, когда стемнело, Гильом и Пьер остались на несколько минут одни в большой комнате, им хотелось поговорить по душам. Сыновья куда-то вышли. Бабушка и Мария наверху разбирали белье, а г-жа Матис, принеся выполненный заказ, сидела в темном углу и терпеливо ожидала, пока хозяйки принесут узел с бельем, отобранный для починки. Братья беседовали вполголоса в этот грустный, задумчивый сумеречный час и совершенно о ней позабыли.

Но вот их взбудоражил посетитель. То был Янсен, худощавый и белокурый, похожий на Христа. Он заходил очень редко, выплывая откуда-то из темноты, и снова исчезал в таинственном мраке. Он пропадавал целыми месяцами, неожиданно появлялся, словно случайный прохожий с неизвестным прошлым, с неведомым настоящим.

— Сегодня вечером я уезжаю, — сказал он спокойным голосом, отчеканивая слова.

— Вы хотите вернуться домой, в Россию? — спросил Гильом.

Янсен пренебрежительно усмехнулся.

— О! Я всюду дома. Во-первых, я не русский, а во-вторых, я хочу быть только гражданином вселенной.

Он сделал широкий жест, подчеркивая, что у него нет родины; он разъезжал из страны в страну, поглощенный мечтой о некоем кровавом братстве. Из его слов братья как будто поняли, что он возвращается в Испанию, где его ожидают товарищи. Там дела было по горло. Он спокойно уселся и продолжал беседу; потом все тем же бесстрастным тоном, без всякого перехода добавил:

— Вы знаете, только что бросили бомбу в кафе «Юнивер» на бульваре? Убито трое буржуа.

Встревоженные Гильом и Пьер захотели узнать подробности. Тут он рассказал, что, проходя мимо кафе, услышал взрыв и увидел, как разлетелись вдребезги стекла. На полу лежало три изуродованных тела: двое убитых оказались случайными посетителями, третий был завсегдатай, из мелких рантье, забегавший каждый день сыграть свою партию. В зале царил настоящий хаос: разбитые мраморные столы, изувеченные люстры, продырявленные зеркала. А какое смятение, какой гнев, какая давка вокруг кафе! Бросившего бомбу быстро схватили, когда он, убегая, собирался свернуть за угол улицы Комартен.

— Я решил зайти и рассказать вам о взрыве, — заключил Янсен. — Вам не мешает об этом знать.

И когда Пьер, взволнованный, смутно подозревая имя, спросил, кто же этот арестованный, Янсен не спеша добавил:

— На беду, вы с ним знакомы... Это маленький Виктор Матис.

Пьеру захотелось заткнуть ему рот, но было поздно: вдруг он вспомнил, что в темном углу еще совсем недавно сидела мать Виктора. Неужели она еще здесь? Маленький Виктор, как живой, встал у него перед глазами: почти безбородый, с высоким упрямым лбом, серыми, светившимися умом глазами, острым носом и тонкими, плотно сжатыми губами, говорившими о непреклонной воле и беспощадной ненависти. Это был не какой-нибудь простачок, какой-нибудь обездоленный. Это был типичный представитель буржуазной интеллигенции, хорошо воспитанный, образованный, собиравшийся поступить в Нормальную школу. Этот чудовищный поступок ничем нельзя было оправдать: ни ненавистью к представителям враждебной партии, ни безрассудной

любовью к человечеству, ни черным отчаянием бедняка. То был принципиальный разрушитель, теоретик разрушения, энергичный и хладнокровный интеллигент, который логически обосновал убийство и считал, что оно должно содействовать общественному развитию. К тому же он был поэт, фантазер, и самая ужасная разновидность фантазера, человек, одержимый чудовищным честолюбием, хотевший обессмертить себя этим злодеянием, мечтавший о грядущем возрождении, заря которого должна была воссиять над гильотиной. После него ничего не останется — смерть скосит все живое.

Несколько минут в сгушавшихся сумерках царило молчание, — все оледенело от ужаса.

— Ах, — чуть слышно пробормотал Гильом. — Он все-таки решился.

Но Пьер тут же с нежностью пожал ему руку. Он почувствовал, что Гильом тоже возмущен злодейством, против которого протестует его великодушное сердце, исполненное любви к людям. Быть может, этому страшному преступлению суждено было, опустошив его душу, окончательно ее исцелить.

Несомненно, Янсен был соучастником; он заявил, что Виктор Матис отомстил за Сальва, как вдруг в темном углу раздался болезненный стон и что-то тяжело рухнуло на пол. Это была г-жа Матис, мать Виктора, которую сразила случайно услышанная новость. В это время вошла Бабушка с лампой. Комната осветилась, все всполошились и бросились на помощь несчастной женщине, которая лежала в своем убогом черном платье, бледная как смерть.

И снова у Пьера мучительно сжалось сердце. Какая горькая, печальная судьба! Он вспомнил, какая она была, когда он встретился с ней у аббата Роза: скромная, стыдившаяся своей бедности, она с трудом жила на жалкую ренту, оставшуюся у нее после всех несчастий. Богатая провинциальная семья, пылкий роман и бегство с любимым человеком; потом — целый ряд злключений, семейные неурядицы, смерть мужа. Овдовев, она жила весьма замкнуто, ей удалось дать образование сыну на жалкие гроши, которых она потом лишилась; и она жила только Виктором, любовью к нему, верой в него, воображая, что он усиленно занимается, весь ушел в работу и вскоре займет блестящее положение, достойное его дарований. И вдруг она узнает, что сын совершил отвратительное злодеяние: бросил бомбу в кафе и стал убийцей трех человек.

Когда Бабушке наконец удалось привести в чувство г-жу Матис, та разразилась рыданиями; долго не смолкали ее душераздирающие вопли, это было так ужасно, что Пьер и Гильом снова схватились за руки, взволнованные и исцеленные, — и души их слились в горячем порыве.

V

Спустя год и три месяца солнечным сентябрьским днем Баш и Теофиль Морен завтракали в мастерской Гильома; за окнами простирался необъятный Париж.

Возле стола стояла колыбель с задвинутыми занавесочками, в которой спал Жан, толстый, четырехмесячный сынишка Марии и Пьера. Они вступили в гражданский брак лишь для того, чтобы обеспечить ребенку положение в обществе; впрочем, если бы монмартрский мэр не согласился зарегистрировать брак бывшего священника, они обошлись бы без регистрации. Чтобы сделать удовольствие Гильому, желавшему собрать вокруг себя все семейство, они поселились в маленькой комнатке над мастерской, оставив вечно безмолвный, как бы уснувший домик в Нейи на попечение старой служанки Софи. Они жили вместе уже больше года, и все шло прекрасно.

Вокруг юной четы царили покой, любовь и труд. Франсуа, только что окончив Нормальную школу и получив соответствующие диплом и степень, собирался поступить в один из лицеев западного квартала для снискания ученой степени, чтобы в дальнейшем, оставив этот лицей, всецело отдаться науке. Антуан добился большого успеха, выставив серию прекрасных гравюр по дереву — виды и сцены из жизни Парижа; и весной должен был жениться на Лизе Жаган, как только ей исполнится семнадцать лет. Но особенно торжествовал Том *a*, которому наконец удалось сконструировать пресловутый маленький мотор, воспользовавшись гениальной мыслью отца. Однажды утром, после крушения своих грандиозных и фантастических замыслов, Гильом, думая об изобретенном им взрывчатом веществе, так и не нашедшем применения, решил употребить его в качестве горючего, вместо керосина, для моторчика, над которым уже давно работал его старший сын на заводе Грандидье. Он принялся за дело вместе с Том *a*, в творческом азарте проработал целый год, преодолевая невероятные трудности, и изобрел новый механизм. И вот созданный отцом и сыном чудесный

мотор в законченном виде стоит у окна, привинченный к дубовому цоколю, остается закончить внешнюю отделку, и он будет пущен в ход.

В доме теперь царило безмятежное спокойствие, и Бабушка, несмотря на свой преклонный возраст, по-прежнему молча, энергично вела хозяйство и держала всех в повиновении. Она казалась вездесущей, хотя не покидала своего кресла перед рабочим столиком. Когда родился Жан, она решила его воспитать, как уже воспитала Том *a*, Франсуа и Антуана; мужественная и самоотверженная, она, казалось, была убеждена, что не умрет до тех пор, пока ее близким будут нужны ее руководство, любовь и помощь. Это очень радовало Марию, которая кормила ребенка и, несмотря на прекрасное здоровье, частенько уставала. Таким образом, у колыбели Жана оказались две бдительные матери, а Пьер, ставший подмастерьем Том *a*, раздувал мехи в кузнице и уже самостоятельно обрабатывал детали; он заканчивал свое обучение и скоро должен был стать механиком.

В этот день завтрак проходил оживленной, чем всегда, благодаря присутствию Баша и Теофиля Морена; подали кофе, когда прибежал сынишка консьержа с улицы Корто и спросил г-на Пьера Фромана. Запинаясь, он рассказал, что г-ну аббату Розу очень плохо, что он скоро умрет и послал его сказать г-ну Пьеру Фроману, чтобы тот сейчас же, сейчас же пришел.

Пьер поспешил за ним, очень встревоженный. На улице Корто в маленькой сырой квартирке на нижнем этаже, выходящей окнами в садик, лежал умирающий аббат Роз, он был еще в сознании и, как всегда, говорил мягко и неторопливо. За ним ухаживала монахиня, которая, казалось, была неприятно поражена и встревожена приходом незнакомого человека. Пьер понял, что за больным следят и старику удалось тайком послать за ним сынишку консьержа. Но когда аббат серьезным и ласковым голосом попросил сиделку оставить их одних, та не посмела отказать ему в последней просьбе и вышла из комнаты.

— Ах, мой мальчик, как мне хотелось поговорить с вами! Садитесь вот сюда, поближе, а то вам не расслышать, — близится конец, к вечеру меня не станет. У меня к вам огромная просьба!

Пьер с волнением глядел на его осунувшееся, белое, без кровинки, лицо, на котором сияли детски невинные глаза, полные любви.

— Если бы я знал, что нужен вам, — воскликнул он, — я уже давно бы пришел! Почему вы не послали за мной! Вас стерегут?

Смущенный аббат доверчиво и стыдливо улыбнулся.

— Должен сознаться, мой мальчик, я опять натворил глупостей. Да, я давал милостыню людям, которые, оказывается, совсем этого не заслуживали. Получилась скандальная история, меня бранили в архиепископате, обвиняли в том, что я компрометирую религию. И вот, когда я слег, ко мне прислали сиделку: они сказали, что если за мной не следить, то я отдам последнюю простыню и умру на соломе.

Он остановился, переводя дыхание.

— Вы понимаете, эта добрая сестра, — о, поистине святая женщина! — ухаживает за мной и следит, чтобы я напоследок не натворил каких-либо глупостей. Мне удалось обмануть ее бдительность при помощи маленькой хитрости, которую, надеюсь, господь мне простит. Все дело в моих бедняках, я так хотел видеть вас, чтобы поговорить о них.

У Пьера на глазах выступили слезы.

— Говорите, я с вами, всей душой, всем сердцем.

— Да, да, я это знаю, дорогой мой мальчик. Поэтому я и подумал о вас, только о вас. Несмотря на все происшедшее, я доверяю только вам, только вы один способны меня понять и дать мне обещание выполнить мою волю, тогда я умру спокойно.

Он позволил себе лишь вскользь намекнуть на их мучительный разрыв, встретившись с молодым человеком, который снял сутану и восстал против церкви. Узнав о женитьбе Пьера, он понял, что тот навсегда порвал с религией. Но перед лицом смерти это утратило для него всякое значение; он знал, какое горячее сердце у Пьера, ему нужен был человек, пылающий прекрасной страстью милосердия.

— Боже мой! — воскликнул он, улыбаясь через силу. — Все очень просто; я хочу сделать вас своим наследником. О! не ждите прекрасного подарка, я вручаю вам своих бедняков, ибо у меня нет ничего другого, оставляю вам своих бедняков.

Особенно беспокоили его трое; они должны были остаться без куска хлеба, так как получали пропитание только от него. Прежде всего — Долговязый Старик, тот самый, к которому как-то вечером заходил Пьер, собираясь устроить его в приют для инвалидов труда, и не застал дома. Позднее его все-таки устроили, но через три дня он сбежал, не желая подчиняться дисциплине. Это буйан, сквернослов, у него отвратительный характер; и все же нельзя дать ему умереть голодной смертью. Он является каждую субботу за своими двадцатью су, которых ему хватает на всю неделю. Затем — немощная старуха, обитающая в жалкой конуре на улице Сен-Дени, за нее надо платить булочнику, всякое утро

приносящему ей хлеб. А главное, на площади Тертр живет молодая женщина, которая не может работать, умирает от чахотки и с ужасом думает, что ее дочка после ее кончины окажется на мостовой; таким образом, здесь Пьеру выпадает двойная задача: поддержать мать до близкой смерти и затем устроить дочку в хорошие руки.

— Простите, мой мальчик, что я так затрудняю вас... Я попытался заинтересовать этим мирком добрую сестру, которая за мной ухаживает, но когда я рассказал ей о Долговязом Старики, она даже перекрестилась от ужаса. Точно так же и мой добрый друг аббат Тавернье, это благороднейший человек, и все же я не могу на него положиться, у него какие-то там свои идеи... Итак, дорогой мой мальчик, повторяю, я могу быть уверенным до конца только в вас, и вы должны принять мое наследство, если хотите, чтобы я умер спокойно.

Пьер плакал.

— О, конечно, с радостью! Ваша воля для меня священна.

— Прекрасно! Я так и знал, что вы согласитесь... Итак, решено: каждую субботу давать двадцать су Долговязому Старику, платить за хлеб для больной старухи, облегчить последние часы несчастной молодой матери и в свое время устроить девочку... Ах, если б вы знали, какая тяжесть спала у меня с сердца! Теперь смерть может приходить, она будет мне желанна.

Его добродушное круглое бледное лицо озарилось блаженной улыбкой. Он сжимал обеими руками руку Пьера, удерживал его у своей постели, с глубокой нежностью прощаясь с ним. Голос его совсем ослабел, и он почти шепотом договорил до конца свою затаенную мысль.

— Да, я рад, что ухожу... Я больше не могу, больше не могу. Сколько я ни давал, я всегда чувствовал, что этого недостаточно. Как бессильна благотворительность — вечно давать, не надеясь избавить людей от страданий!.. Это всегда приводило меня в отчаяние, помните? Я не раз вам говорил, мы с вами навеки связаны своей любовью к беднякам, и это правда, ведь вы со мной, вы так добры, так нежны со мной и с теми, кого я оставляю! И все же я больше не могу, больше не могу, лучше мне уйти, — потому что я слишком принимал к сердцу чужие страдания и натворил всяких глупостей, смутил верующих, вызвал негодование начальства, но мне так и не удалось вырвать хотя бы одного несчастного из потока нищеты, который все увеличивается... Прощайте, мой мальчик. Мое бедное, старое сердце надорвалось; мои старые руки устали и совсем обессилели.

Пьер от души поцеловал его и ушел весь в слезах, глубоко потрясенный. Никогда еще не случилось ему слышать такой отчаянной жалобы на беспомощность милосердия, какая вырвалась у этого старого простодушного ребенка, исполненного доброты. О, какая трагическая картина: человеческая доброта бесполезна, мир погряз в нищете и страданиях, несмотря на веками лившиеся слезы жалости и щедро раздаваемую милостыню! Как желанна была смерть христианину, как он радовался, что уходит из этого страшного мира!

Когда Пьер возвратился в мастерскую, со стола было уже давно убрано. Баш и Теофиль Морен беседовали с Гильомом, а трое сыновей вернулись к своим повседневным занятиям. Мария тоже заняла свое место за рабочим столиком против Бабушки; время от времени она вставала взглянуть на маленького Жана, который спокойно спал, прижав к сердцу ручонки. Все еще взволнованный, Пьер наклонился рядом с молодой женщиной над колыбелью, незаметно поцеловал ее в голову и, подвязав передник, стал помогать Том *a* регулировать мотор.

Тогда мастерская перестала существовать для него; он никого не видел и не слышал. Расстроенный до глубины души посещением умирающего аббата Роза, он ощущал лишь нежный аромат волос Марии на своих губах. Ему вспомнилось морозное утро, когда встретивший его у собора Сердца Иисусова старый священник поручил ему отнести милостыню старику Лавеву, который вскоре умер от голода, как собака в канаве. Какое грустное и далекое утро, какая мучительная борьба происходила тогда в его душе и какое потом наступило возрождение! В тот день он отслужил одну из своих последних месс и теперь с невольным содроганием вспоминал о владевшей им ужасающей тоске, о своем отчаянье, сомнениях и душевной пустоте. Это случилось после двух бесплодных попыток обрести веру: Лурд, где прославление абсурда доказало ему невозможность возврата к примитивным верованиям молодых народов, склоняющихся перед ужасом, в который повергает их неведение; и Рим, уже не способный к возрождению, умирающий среди развалин, великая тень, которая скоро будет предана забвению и канет в небытие, как религии древности. Само милосердие потерпело крах; он уже не верил в исцеление страждущего и одряхлевшего человечества посредством добрых дел и ждал, что ужасающая катастрофа, всемирный пожар, океан крови сокрушат и поглотят порочный, обреченный мир. Сутана тяжело давила ему на плечи, он горделиво укрылся за этой ложью, оставаясь неверующим священником, и целомудренно, честно охранял чужую веру. Он терзался в поисках новой религии, новой надежды,

которые должны обеспечить мир демократиям будущего, и не находил разрешения этой проблемы, будучи не в силах совместить истины, установленные наукой, с горячей потребностью в вере, которую все еще испытывает человечество. И если христианская религия рухнет вместе с крахом благотворительности, то остается справедливость, которой жаждут все; в огромном, затянутом пепельной дымкой Париже, овеянном жуткой тайной, происходит непрестанная борьба справедливости и милосердия, в которую втянуты его сердце и разум. Именно в Париже совершил он третью и решающую попытку, ему блеснула истина, ослепительная, как солнце, и он обрел здоровье, силу, радость жизни.

Тут размышления Пьера были прерваны, ему пришлось пойти за инструментом для Том *a*, и до него донеслись слова Баша:

— Сегодня утром кабинет подал в отставку. Виньон выбился из сил и решил отстраниться.

— Он продержался больше года, — заметил Морен. — И то уже хорошо.

Не прошло и трех недель после взрыва в кафе, как Виктор Матис был казнен, но в результате Монферран утратил доверие. Зачем, спрашивается, иметь главой правительства сильную личность, если по-прежнему взрываются бомбы, терроризируя население? А главное, он вызвал недовольство парламента, проявляя волчий аппетит, захватывая чужую долю. И на этот раз Виньон пришел к власти, несмотря на свою программу реформ, перед которой давно трепетали. Но при всей его честности ему удалось осуществить лишь самые незначительные реформы, он был связан по рукам и ногам и встречал бесчисленные препятствия; в конце концов он решил править подобно своим предшественникам, и вскоре все увидели, что Виньон и Монферран лишь в мелочах отличаются друг от друга.

— Вы знаете, уже снова поговаривают о Монферране, — сказал Гильом.

— Да, у него есть шансы. Его приверженцы действуют вовсю.

Потом Баш, ядовито насмехаясь над Межем, заявил, что депутат-коллективист, который наловчился свергать министерства, всякий раз остается в дураках, так как играет на руку той или иной группировке, а самому ему никогда не дорваться до власти.

— Ба! Пусть себе грызутся! — заключил Гильом. — В борьбе они преследуют личные цели, жаждут встать у кормила правления, захватить деньги и власть. Но все это не мешает эволюции, распространяются идеи и совершаются важные события. И все-таки человечество идет вперед.

Пьера поразили эти слова, и он снова погрузился в воспоминания. В мучительных поисках истины он окунулся в бездонную пучину Парижа. Париж — это гигантский бродильный чан, где бурлят жизненные соки человечества, все самое прекрасное и самое отвратительное, некая дьявольская смесь отбросов с драгоценными веществами, из которой должен получиться эликсир любви и вечной юности. В этом чане на поверхности — мутная накипь, представитель политического мирка Монферран, который задушил Барру, подкупая жадных до денег — Фонсега, Дютейля, Шенье, прибегая к помощи бездарностей — Табуро и Доверия, пользуясь всем, вплоть до сектантского фанатизма Межа и интеллектуального честолюбия Виньона. Далее орудовал всеотравляющий капитал — знаменитая афера с Африканскими железными дорогами, в результате которой восторжествовала крупная буржуазия в лице Дювильяра, развратителя нравов, разложившего парламент и подобно злокачественной язве разъедавшего финансовый мир. Но совершалось справедливое возмездие, и распространявший заразу Дювильяр заразил собственную семью: разыгралась отвратительная драма — мать соперничала с дочерью, и та похитила у нее Жерара, а сын Гиацинт уступил свою сумасбродную любовницу Роземонду модной кокетке Сильвиане, близость с которой афишировал его отец. Затем следовали бледные лица представителей старинной вырождающейся аристократии — г-жа де Кенсак и маркиз де Мориньи; генерал де Бозонне, воскрешающий давно отжившую военщину; порабощенная правительством магистратура, Амадье, делавший карьеру на громких процессах, Леман, составлявший обвинительные речи в кабинете министра, своего политического руководителя; наконец, пресса, алчная и лживая, питающаяся скандалами, непрерывный поток доносов и нечистот, изрыгаемый Санье, бесстыдный, беспринципный шутник Массо, по заказу и в силу своей профессии защищающий и ругающий все, что бы ему ни повелели. И подобно тому, как полчище муравьев, встретив на пути муравья со сломанной лапкой, приканчивает его и пожирает, эти хищники, сбегавшись, тесня друг друга, жадно набросились на поверженного в прах безумца, злополучного Сальва, совершившего бессмысленное преступление, как будто хотели разорвать на клочки его жалкое, истощенное тело и насытиться им. И вся эта острая невообразимая смесь вожделий, разнузданных страстей, бешеных порывов клокотала в колоссальном чане — Париже, откуда в свое время должно было хлынуть очистительным потоком вино будущего.

Лишь теперь Пьер осознал, какие могучие процессы происходят в недрах этого чана, полного отбросов и нечистот. Его брат сказал, что, несмотря на ярко проявляющиеся в политике пороки, эгоизм, жажду наслаждений, человечество медленно, но неуклонно движется вперед! Какое значение имеет насквозь прогнившая, обессиленная и отмирающая буржуазия, не более жизнеспособная, чем аристократия, на смену которой она пришла, если из низов непрерывно поднимаются, притекают из деревень и городов все новые силы — неисчерпаемые человеческие резервы. Какое значение имеют разврат, моральная испорченность богачей и сильных мира сего, изнеженность, разнузданность, интерес к сексуальным эксцессам, если доказано, что все великие столицы, властительницы вселенной, властвовали, лишь отдавая дань этим крайностям цивилизации, религии красоты и наслаждений! И какое значение, наконец, имеют неизбежная продажность, ошибки и плуности прессы, если та же самая пресса является великолепным орудием просвещения, неумолкающим голосом общественной совести, могучим потоком, который, хотя и загрязнен, все же стремится вперед, унося все народы в необъятный океан грядущего всемирного братства! Отбросы человечества падают на дно этого гигантского чана, и нельзя ожидать, что каждый день добро будет торжествовать над злом, ибо нередко должны пройти года, прежде чем осуществится хоть одна надежда, — медленно, неприметно совершается процесс брожения, происходят превращения извечной материи, в недрах которой зарождается обновленное будущее. И если рабочие до сих пор трудятся в зловонных цехах и наемный труд представляет собой разновидность древнего рабства, если Туссенны по-прежнему умирают с голода на убогой подстилке, как разбитые клячи, все же был день, когда идеи свободы бурно вырвались из этого огромного чана и облетели весь мир. И разве нельзя допустить, что, в свою очередь, идея справедливости, таящей в себе немало противоречий, вырвется из недр чана и, освободившись от накипи, явится, ослепительно сияя, неся человечеству возрождение.

Но вот Баш и Морен, беседовавшие с Гильомом, повысили голоса и вывели Пьера из раздумья. Речь шла о Янсене, который, будучи замешан во вторичном покушении в Барселоне, бежал оттуда, без сомнения, в Париж, — Башу показалось, что он видел его накануне. Столь ясный разум, столь непреклонная воля, такие дарования расточаются во имя столь отвратительной идеи!

— И подумать только, — неторопливо заговорил Морен, — изгнанник Бартес живет в крохотной убогой комнатке в Брюсселе,

трепетно ожидая, что вот-вот восторжествует свобода, а ведь этот человек ни разу не обагрил кровью свои руки и три четверти жизни просидел в тюрьмах, страдая за дело освобождения народов.

Баш слегка пожал плечами.

— Да, свобода, свобода. Но она ничто, если не будет надлежащего общественного устройства.

И завязался их вечный спор — один отстаивал идеи Сен-Симона и Фурье, другой — идеи Прудона и Огюста Конта. Смутная религиозность бывшего коммунара, в настоящее время муниципального советника, сказывалась в исканиях умиротворяющей религии; а бывший гарибальдиец, с виду усталый преподаватель, обладал строго научным мышлением и верил в математически доказуемый прогресс.

Баш долго рассказывал о недавно состоявшихся торжествах в честь Фурье: верные последователи возлагали венки, произносили речи, — трогательное собрание твердых в своей вере апостолов, убежденных в прекрасном будущем, провозвестников нового слова. Затем Морен стал извлекать из своих туго набитых карманов тощие брошюрки, пропагандирующие позитивизм, манифесты, листовки с вопросами и ответами, где превозносился Конт и доказывалось, что его доктрина — единственно возможная основа будущей религии. Слушая, Пьер вспоминал их долгие споры в его домике в Нейи, когда он, потеряв почву под ногами, в поисках достоверности, пытался подвести итог умственным достижениям века. Он окончательно запутался в противоречиях и непоследовательных высказываниях своих предшественников. Исходивший от Сен-Симона Фурье частично его отрицал; и если Фурье ударялся в своего рода мистический сенсуализм, то Сен-Симон приходил к ряду абсолютно неприемлемых радикальных требований. Прудон разрушал, не создавая ничего взамен. Конт, разработав методологию и возведя науку на должную высоту, объявил ее единственной властительницей, но он и не подозревал о социальном кризисе, грозящем смести все вокруг, и под конец стал вдохновенно воспевать любовь, преклоняясь перед женщинами. Оба эти мыслителя отчаянно боролись с Сен-Симоном и Фурье, и при всеобщем ослеплении завоеванные ими совместно истины оказались затемненными и до неузнаваемости исказились.

Но теперь, после пройденного им долгого пути, в результате которого он сам резко изменился, эти истины казались Пьеру ослепительно яркими и неопровержимыми. В евангелиях этих социальных мессий, в хаосе противоречивых утверждений встречались

общие им всем мысли о защите бедняков, о новом, справедливом, распределении земных благ, соответственно качеству и количеству выполненного труда, а главное, поиски новых производственных законов, которые сделали бы возможным подобное распределение. Если все наши великие предшественники признают эти истины, то не являются ли они основой религии будущего, той веры, которую наш век завещает грядущему веку, в результате чего возникнет возвышенный культ мира, солидарности и любви!

Размышления Пьера внезапно приняли новый оборот; он снова увидел себя в церкви Мадлен, где монсеньер Март *a* произносил проповедь на тему о духе нового времени; в заключение епископ возвестил, что благодаря Сердцу Иисусову Париж вновь обретет подлинную веру и станет властелином мира. Нет, нет! Париж властвует лишь в силу своего свободного разума; это неправда, что им владеет мистическое безумие, что над ним царит крест и реет образ истекающего кровью сердца. Они хотят раздавить Париж этим горделивым монументом, символом своего владычества, пытаются во имя мертвого идеала затормозить прогресс наук и наложить руку на будущее столетие, но так или иначе наука сокрушит их вековое владычество, их собор рухнет под могучим ветром истины, его даже не понадобится тронуть пальцем. Великий опыт проделан; Евангелие Христа представляет собой одряхлевший кодекс социальных законов, из которого человеческая мудрость сохранит для будущего лишь несколько моральных истин. Древний католицизм повсеместно рушится; католический Рим представляет собой лишь груды развалин; народы отвернулись от него в поисках новой религии, которая не была бы религией смерти.

Некогда измученный раб жил надеждой сбросить вместе с жизнью свои оковы и обрести на небесах вечное блаженство. Но теперь, когда наука разрушила ложь о рае и о загробной жизни, современный рабочий, которому надоело ожидать блаженства после смерти, начал требовать справедливости и счастья на земле. Восемнадцать веков люди бесплодно творили дела милосердия, и вот наконец родилась новая надежда, справедливость. Через тысячу лет, когда католицизм станет лишь давно отжившим суеверием, как будут удивляться наши потомки, что мы так долго могли терпеть эту религию мучительства и отрицания жизни. Бог — палач, человек — оскопленное, запуганное, истерзанное существо; природа — враждебная сила, жизнь — проклятие; и только смерть — желанная освободительница! Целых два тысячелетия движение человечества вперед задерживалось из-за этого ужасного заблуждения —

стремления отнять у человека все подлинно человеческое, желания, страсти, свободу мысли, воли и действия, — все его могущество. Какое радостное наступит пробуждение, когда девственность будет отвергнута, а плодородие станет добродетелью, когда будут ликовать освобожденные силы природы, и в союзе с ними удовлетворенные страсти, осуществленные желания, воодушевленный труд, любовь к жизни будут вечно зачинать бессмертные творения любви!

Новая религия! Новая религия! Пьер вспомнил, как этот возглас невольно вырвался у него в Лурде и как он повторил его в Риме, взирая на крушение старого католицизма. Но теперь он уже не испытывал лихорадочного стремления, болезненного ребяческого желания, чтобы новый бог явил себя немедленно, чтобы сразу создавался некий целостный идеал, новые догматы и культ. Конечно, божество необходимо человеку, как хлеб насущный, как вода; человек всегда прибегал к нему, жадно стремясь к тайне, ища утешения в неведомом и словно желая в нем раствориться. Но кто знает, не утолит ли в один прекрасный день наука жажду постигнуть потустороннее? Ибо, если наука основана на уже завоеванных истинах, вместе с тем она непрерывно завоевывает и будет завоевывать все новые истины. Разве не будет она вечно стоять перед бездной непознанного, строя гипотезы, создавая себе идеалы? Далее, не является ли эта потребность в божественном — попросту желанием увидеть бога? И если наука все больше удовлетворяет жажду познания и могущества, как знать, не утолит ли она ее когда-нибудь всецело, заменив любовью к истине? Научная религия — вот единственный, вполне определенный и неизбежный итог исканий человечества на долгом пути познания. И оно придет к этой религии, как к вратам в царство всеобщего мира, осуществленного после несчетных заблуждений и ужасных страданий. И не будет ли в этой религии преодолен дуализм, идея обособленного существования бога и вселенной, не обретет ли достоверность теория монизма, идея единства, ведущего к солидарности, единственному закону развития жизни, возникшей в результате эволюции из частицы эфира, сгустившегося, чтобы создать мир? Но если наши предшественники, философы, ученые — Фурье, Дарвин и другие, уже являлись сеятелями религии будущего, то, несомненно, пройдут века, пока доверенные ими ветрам прекрасные слова дадут обильные всходы. Постоянно забывают, что католицизм не сразу воцарился в ослепительной славе, но целых четыре столетия вел подпочвенное существование, упорно прорастая и формируясь с великим трудом. Пройдет несколько веков, и религия будущего, слабые ростки которой уже пробиваются

повсюду, воцарится на земле, замечательные идеи какого-нибудь Фурье лягут в основу нового Евангелия, желание станет мощным рычагом, способным перевернуть мир, всеобщий труд, регулируемый по законам развития природы и общества, будет поднят на высоту, а энергия человеческих страстей получит наконец удовлетворение и будет использована для общего блага! Все требуют справедливости, все громче звучит вопль великого немого — испокон веков обманутого и ограбленного народа; он молит о счастье, к которому стремится все живое, об удовлетворении всех потребностей, о полноценной жизни в мире и радости, о развитии всех сил. Придет время, когда царство божие осуществится на земле, когда ложный рай будет навсегда отвергнут, даже если из-за гибели этой иллюзии и пострадают нищие духом, ибо надо мужественно и безжалостно совершить операцию, — вернуть зрение слепым, вырвать их из нищеты и беспросветного мрака неведения.

Вдруг Пьера захлестнула огромная радость. Слабый крик проснувшегося ребенка, его сынишки Жана, пробудил его к действительности; его осенила мысль, что в настоящий момент он спасен, рассеялись обманы и страхи и он вернулся к нормальной, здоровой жизни. Страшно даже подумать, что он считал себя погибшим, вычеркнутым из жизни, мучился от душевной пустоты, сознавал себя во власти бога-палача, — и вот его спасло чудо любви, он еще полон сил, хотя с ужасом считал себя отмеченным неизгладимой печатью бесплодия, — перед ним его ребенок, крепкий, смеющийся, рожденный им. Жизнь породила жизнь; восторжествовала истина, яркая, как солнце!

Третий опыт, проделанный в Париже, увенчался успехом, между тем как первые два, проделанные в Лурде и в Риме, потерпели крах, и в результате их он впал в еще горший мрак и отчаяние. Здесь он сперва познал закон труда, Пьер поставил перед собой весьма скромную задачу и хотя с опозданием, но освоил ремесло; он отныне будет жить трудами своих рук, с радостью сознавая, что он нашел свое место в жизни и выполняет свой долг, ибо сущность жизни — труд, и общество существует только благодаря объединенным усилиям людей. Затем он познал любовь, его спасли жена и ребенок. О, как долго он скитался, и в конце концов пришел к такой простой и естественной развязке! Сколько он перестрадал, сколько натворил ошибок, какие пережил бури — и наконец совершил то, что делают все люди! Глубокая потребность в любви, которую не мог подавить рассудок, душевная нежность, которую оскорбляла бессмыслица чудотворного Грота, которую ранила гордыня обветшалога Ватикана, в конце концов нашла удовлетворение в семейной

жизни, он стал отцом и твердо верил в труд, считая его справедливым законом бытия. Так он пришел к несокрушимой истине, обрел счастье и уверенность в жизни.

Но вот Баш и Теофиль Морен. — эти спокойные апостолы, уверенные в светлом будущем, — поднялись, пожали, как всегда, на прощанье руку хозяину и, обещав снова зайти как-нибудь вечером, удалились. Жан кричал все громче, Мария взяла его на руки и, расстегнув корсаж, дала ему грудь.

— О! этот малыш знает свой час, он своего не упустит!.. Посмотри, Пьер, мне кажется, он еще вырос со вчерашнего дня.

Она засмеялась, и Пьер, улыбаясь, подошел поцеловать ребенка. Он испытал прилив нежности при виде маленького розового и жадного существа, присосавшегося к прекрасной, полной молока материнской груди, и поцеловал мать. Ему пахло в лицо дивным ароматом счастливого материнства, и его охватила упоительная радость жизни.

— Но он же съест тебя! — весело сказал Пьер. — Смотри, как он сосет!

— Даже покусывает немножко. Но это очень мило, сразу видно, что питание ему на пользу.

В разговор вмешалась Бабушка, до сих пор сидевшая молча, с серьезным видом; лицо ее озарилось улыбкой.

— Сегодня утром я его взвешивала. Знаете, он прибавил еще сто граммов. И если бы вы знали, как он хорошо себя вел! Он будет очень умненьким, очень рассудительным человечком, как раз таким, каких я люблю. Когда ему минет пять лет, я сама буду учить его читать, а когда исполнится пятнадцать, я объясню ему, если он захочет, как должен себя вести настоящий мужчина. Верно я говорю? Что скажешь, Том *a*? И ты, Антуан, и ты, Франсуа?

Все трое сыновей подняли голову, улыбнулись и кивнули головой в знак согласия, с благодарностью сознавая пользу полученных от нее уроков; казалось, они ничуть не сомневались, что она проживет еще лет двадцать и научит уму-разуму Жана, как уже научила их.

Пьер все еще стоял рядом с Марией, упоенный любовью, когда незаметно подошедший Гильом положил руки ему на плечи. Он обернулся и увидел, что брат тоже сияет, радуясь их счастью. И счастье Пьера стало еще полней, когда он убедился, что брат его выздоровел и в их трудовой семье вновь царят бодрость и надежда.

— Помнишь, братец, — мягко сказал Гильом, — я тебе говорил, что ты страдаешь только от разлада между сердцем и рассудком и обретешь

утраченное равновесие, когда полюбишь сознательной любовью. Ты должен был примирить в себе материнское начало с отцовским, наши родители не понимали друг друга, и спор между ними продолжался даже после их смерти; тебе это удалось, и наконец-то они успокоились в твоём умиротворенном существе.

Слова брата глубоко взволновали Пьера. Лицо его, такое ясное и энергичное, озарилось радостной улыбкой. У него был прямой, высокий, как башня, отцовский лоб, несокрушимая твердыня разума, мягкий подбородок, рот и добрые глаза, унаследованные от матери; но теперь они гармонически сочетались на его лице, которое стало мужественным и светлым. Два первых опыта ни к чему не привели, так как он подчинился материнскому началу, испытывая тоску и растерянность от неудовлетворенной нежности, а третий опыт принес ему счастье, так как он обрел удовлетворение в любви к жене и к ребенку и в плодотворном труде, подчинившись велениям рассудка — столь властно звучавшему в нем голосу отца. Восторжествовал разум. Если бы он всецело отдался борьбе рассудка с сердцем, он не смог бы примирить разум и чувство. Какое успокоение ощутил Пьер, примирив в себе эти силы, он почувствовал себя удовлетворенным, вполне нормальным, полным сил, могучим, как огромный, свободно растущий дуб, широко раскинувший над деревьями свои ветви.

— Ты совершил большое и хорошее дело, — ласково сказал Гильом, — не только для себя, но и для всех нас, и для покойных наших родителей, тени которых, отныне слившиеся воедино и примиренные, нашли наконец покой в маленьком домике, где протекало наше детство. Я часто вспоминаю наш славный домик в Нейи, который сторожит старенькая Софи, и мне все время чудятся наши дорогие покойники; поджидая нас, они отдыхают в полумраке просторного рабочего кабинета. Каким миром дышит для них этот маленький пустой домик! И если я из эгоизма собрал вас здесь, желая видеть ваше счастье, то в один прекрасный день твой Жан непременно поселится там и оживит его своей юностью.

Пьер взял обеими руками руки старшего брата и, глядя ему в глаза, спросил:

— Ты счастлив?

— Да, я счастлив, очень счастлив, я еще никогда не испытывал такого счастья; я счастлив, что так люблю тебя, счастлив, что ты меня любишь так, как никто еще не любил.

Их сердца слились в порыве самой прекрасной на свете, горячей, героической братской любви. Они обнялись, а жизнерадостная Мария, здоровая и чистая душой, держа младенца у груди, улыбаясь, глядела на них, и в глазах у нее блестели слезы.

Тем временем Том *a*, закончив отделку маленького мотора, пустил его в ход. Это было настоящее чудо, — притом при своей колоссальной мощности мотор был почти невесом. Работал он идеально, без шума и запаха. Все семейство с восхищением смотрело на него; но вот появился их ученый друг Бертеруа, которого Гильом просил зайти посмотреть, как работает мотор.

Взглянув на мотор, великий химик вскрикнул от восторга, а ознакомившись с его устройством и узнав, что в качестве горючего используется взрывчатое вещество, о чем он уже давно говорил, он горячо поздравил Том *a* и Гильома.

— Вы создали настоящее чудо, — ваше изобретение будет иметь колоссальное значение для общества и для всего человечества. Да, да! В ожидании электрического мотора, которого у нас пока еще нет, вот идеальный двигатель, и притом универсальный, — отныне мы имеем полное право говорить о воздухоплавании, проблема отечественного топлива разрешена. Какой гигантский шаг вперед, какой внезапный прогресс, пространство преодолевается, все пути открыты человеку; наконец-то люди почувствуют себя братьями!.. Вы сделали великое благодеяние, преподнеся прекрасный дар человечеству, дорогие мои друзья!

Потом он шутливо заговорил о новом взрывчатом веществе; он уже давно догадывался о его существовании и теперь радовался, что оно будет использовано на благо человечеству.

— А я, по правде сказать, думал, что вы, Гильом, носитеесь со своим секретом и скрываете от меня формулу этого вещества, потому что решили взорвать Париж.

Гильом нахмурился. Резко побледнев, он признался:

— Да, одно время я действительно думал об этом.

У Бертеруа пробежал по спине холодок, но он продолжал смеяться, делая вид, что принял за шутку слова Гильома.

— Ну, что ж, мой друг, хорошо, что вы предпочли подарить это чудо человечеству, — иначе из него не получилось бы ничего доброго. Подумать только, порошок, предназначенный для истребления людей, пойдет им на благо. Что бы ни случилось, все к лучшему — я всегда это говорил.

Гильома тронуло добродушие и возвышенная терпимость ученого. В самом деле, то, что предназначалось для разрушения, будет служить прогрессу, укрощенный вулкан станет работать на пользу цивилизации, укрепляя мир на земле. Он даже отказался от своей пресловутой военной машины, его вполне удовлетворяло это последнее изобретение, которое должно было облегчить труд человека, требуя лишь самых незначительных усилий. Ему казалось, что это изобретение в какой-то мере будет содействовать грядущему торжеству справедливости, он сознавал, что внес свою лепту в это великое дело... И когда, повернувшись к окну мастерской, Гильом увидел в окне собор Сердца Иисусова, он с удивлением задал себе вопрос, как мог он на какой-то момент поддаться безумию и замыслить нелепое, бесплодное разрушение. Его коснулось отравленное дыхание злобы и мщениия, порожденных нищетой. Но какое безумие воображать, что разрушение и убийство могут принести благие плоды, способные обогатить и украсить землю! К чему приведет такое насилие? Оно вызовет дружный отпор даже тех, ради кого все это совершается. Народ, городская толпа, возмущается, когда какой-нибудь одиночка вздумает творить правосудие. Настоящий вулкан, да! Но этот вулкан — вся поверхность земли, все народные массы, которые встают в неукротимом порыве, движимые подземным огнем, и они своротят горы и воссоздадут свободное человеческое общество. Несмотря на весь свой героизм, на свою безумную жажду мученичества, убийцы так и останутся убийцами и будут только сеять ужас. Если они возрождаются из крови, если Виктор Матис отомстил за Сальва, то он окончательно погубил его в глазах общества, так как после этого нового, еще более чудовищного и бессмысленного покушения со всех сторон раздался гром проклятий по адресу анархистов.

Гильом рассмеялся и сделал широкий жест, доказывавший его полное выздоровление.

— Вы правы, все кончится хорошо, потому что рано или поздно на земле воцарится справедливость. Но, быть может, пройдут тысячелетия, пока... Что до меня, то я попросту отдам свой порошок предпринимателям, и пусть себе обогащаются те, кто добьется права его фабриковать. Отныне он принадлежит всем и каждому... И я отказываюсь от попыток перестроить мир революционным путем.

Бертеруа — этот крупнейший, официально признанный ученый, член Академии, занимающий высокие посты и украшенный орденами,

указал на мотор и воскликнул со всей страстностью, на какую способен семидесятилетний старик:

— Но ведь это же революция, самая настоящая революция! Именно таким путем, а не швыряя идиотские бомбы, можно перевернуть мир! Вы поступаете как подлинный революционер, потому что создаете, а не разрушаете. Сколько раз я вам говорил, что только наука революционна, что только она, несмотря на нелепую политику, несмотря на происки сектантов и честолюбцев, уготовливает будущее человечества, расчищая путь к истине, справедливости, миру! Ах, дорогой мой мальчик, если вы хотите перевернуть мир в надежде сделать людей чуточку счастливей, оставайтесь у себя в лаборатории, потому что счастье человечества может родиться только в горне ученого.

Он говорил шутливым тоном, но за шутками чувствовались его глубокая убежденность и пренебрежение ко всему, что не относится к науке. Бертеруа даже не удивило, когда Пьер снял сутану; сейчас тот стоял перед ним рядом с женой и ребенком, и ученый по-прежнему относился к нему с какой-то бескорыстной сердечностью.

Мотор вращался с невероятной быстротой и чуть слышно жужжал, как большая муха на солнце. Счастливое семейство, стоя вокруг него, улыбалось, радуясь этой победе. Но вот маленький Жан, господин Жан перестал сосать, и губы у него были еще в молоке, когда он вдруг заметил машину, красивую игрушку, которая двигалась, как живая. Глаза его заблестели, на щечках появились ямочки, и с радостным криком он потянулся к ней трепещущими ручонками.

Мария, спокойно застегнув корсаж, улыбнулась и поднесла его поближе к игрушке.

— Смотри, малыш, как славно! Она вертится, она сильная и живая, видишь?

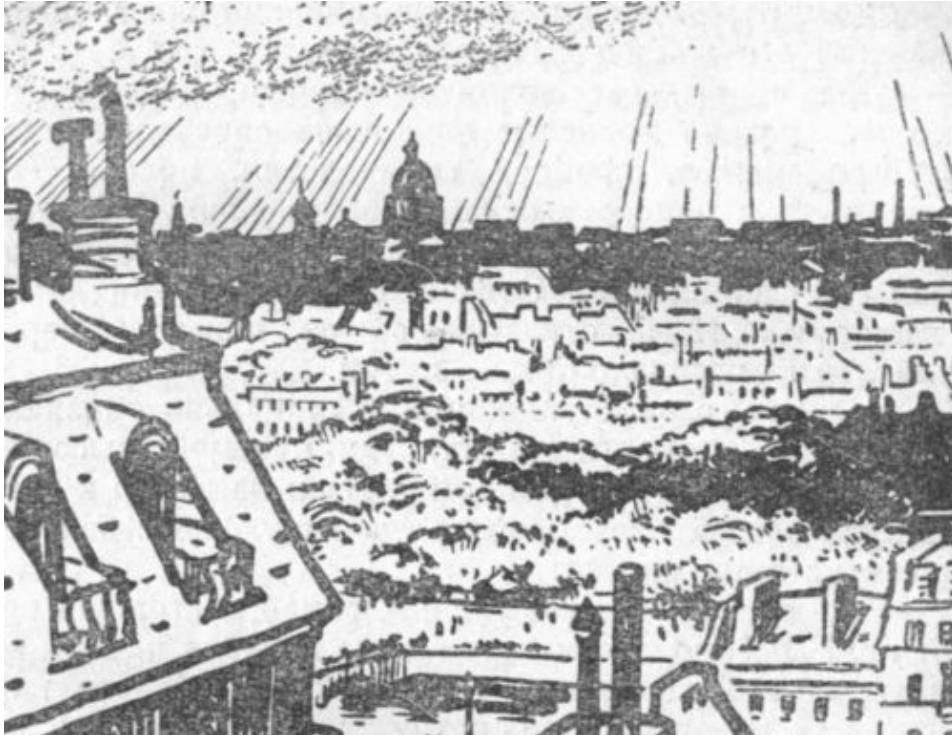
Все стоявшие вокруг забавлялись восторгом и удивлением ребенка, которому хотелось потрогать эту штуку, быть может, чтобы понять, в чем дело.

— Да, — продолжал Бертеруа, — это сила, мощная, как солнце, сверкающее над необъятным Парижем, под лучами которого созревают плоды и человеческие души. Париж тоже своего рода мотор, вернее, кипящий котел, в котором готовится будущее человечества, под ним мы, ученые, поддерживаем неугасимый огонь... Сегодня дежурным истопником у этого котла, мастером грядущего являетесь вы, дорогой мой Гильом, с вашим маленьким чудом, благодаря которому усилится влияние нашего великого Парижа во всем мире.

Пьер был до глубины души поражен этим сравнением, и перед ним встал образ гигантского чана, в котором должен родиться грядущий век из причудливой смеси прекрасного и отвратительного. И, возносясь умом над страстями, честолюбием, пороками и отбросами цивилизации, он созерцал уже проделанную грандиозную работу, героические усилия рабочих на фабриках и заводах, неустанные размышления интеллигентной молодежи, в тишине изучающей науки, используя опыт своих предшественников и пылая желанием раздвинуть его пределы. В этом было подлинное величие Парижа, здесь создавалось будущее человечества, оно зрело в его недрах и готово было вырваться на волю с первыми проблесками зари. Если в древнем мире был Рим, то теперь он умирает, и в наши дни Париж стал единственным властелином душ, средоточием культурной деятельности всех народов, переходящих от одной цивилизации к другой в своем поступательном движении с востока на запад, вместе с солнцем. Париж — мозг человечества; его великое прошлое служило предпосылкой к тому, чтобы он стал смелым инициатором, средоточием цивилизации, знаменосцем освободительного движения. Вчера отсюда прозвучал призыв к свободе, который услышали все народы; завтра он принесет им научную религию, справедливость, новую веру, которой давно ждет демократия. А сколько в нем подлинной доброты, веселья, сердечности, какая страстная жажда познания, готовность все отдать! А как велико его население, сколько рабочих в его предместьях, сколько крестьян в окружающих его селениях — неисчерпаемые человеческие резервы, которые послужат будущему. Париж завершил деяния всего столетия, он положит начало следующему веку и будет шествовать вперед, яркий свет этого маяка разольется по всей земле, повсюду разнесется слава его грандиозных свершений, из его глубин вырвутся бури, грянут раскаты громов и вспыхнет победоносный блеск конечной победы, которая принесет счастье человечеству.

Мария воскликнула с восхищением, указывая на Париж:

— Взгляните! Взгляните! Париж весь золотой, золотой, как огромная нива!



У всех невольно вырвался тихий возглас восторга; зрелище было в самом деле изумительное, Пьер раньше уже наблюдал подобную картину: косые лучи солнца заливали Париж потоками золотой пыли. Но на этот раз солнце не заседало Париж, нагромождение домов и монументов не вызывало образ бурой, развороченной гигантским плугом земли, и божественный сеятель не разбрасывал пригоршнями свои лучи, подобно золотым зернам, рассыпающимся во все стороны. Это был уже не прежний Париж с его четко очерченными кварталами; на востоке — рабочие кварталы, вечно затянутые дымом, на юге, вдалеке, — безмятежные студенческие кварталы, на западе — богатые кварталы со светлыми широкими улицами и в центре — мрачные торговые кварталы. Казалось, над городом встали налитые соками жизни нивы, и он превратился в безбрежное поле, созревшее к жатве. Колосья, колосья, целое море колосьев, золотыми волнами разлившееся от края до края небес! Косые солнечные лучи заливали весь Париж ярким сиянием, — и казалось, после посева наконец наступила пора жатвы.

— Смотрите! Смотрите же! — воскликнула снова Мария. — В каждом уголке золотые колосья, самые жалкие лачуги и те богаты урожаем, — всюду зреет пшеница, и мне представляется, что это общие владения, где живут в мире братья... Ах, Жан, Жан! Смотри, маленький, смотри, какая красота!

Пьер, трепеща от волнения, подошел и обнял жену. Бабушка и Бертеруа улыбались, глядя на эту картину будущего, которого им не суждено увидеть. Гильом был растроган, а за его спиной стояли трое сыновей — трое великанов, полных надежды и трудового рвения.

Тогда Мария в порыве восторга высоко подняла младенца, как бы принося его в торжественный дар огромному Парижу.

— Подожди, Жан, подожди, малыш, придет время, и ты пожнешь этот обильный урожай, ты соберешь зерно в житницу!

Париж пылал, озаренный божественным светилом, прообразуй в сиянии славы урожай грядущей истины и справедливости.

КОММЕНТАРИИ

Париж

«Париж», последний роман цикла «Три города», печатался фельетонами, как и «Рим», в ежедневной газете «Журналь» начиная с сентября 1897 года; спустя полгода, 9 февраля 1898 года, был опубликован заключительный фельетон, по счету сто восьмой, но газета, вынужденная довести до конца печатание объемистого романа, под конец делала это уже не только без удовольствия, но и проявляя открытую враждебность к своему автору. Дело в том, что примерно за месяц до конца публикации романа «Париж» появилось в газете «Орор» письмо Золя к президенту республики Ф. Форю о деле Дрейфуса под заглавием «Я обвиняю!» (13 января 1898 г.), а за два дня до последнего фельетона, 7 февраля, начался суд над автором «Трех городов», — он обвинялся в диффамации и клевете на французскую армию и правительство. Этот факт важен не только для биографии Золя, но также для истории Третьей республики, — в нем открыто проявилась позиция Золя относительно буржуазной Франции. Справедливо оценивая положение, русский журнал в то время писал: «Правительство, армия, парламент, большая часть прессы — все это с редким единодушием соединилось против Золя... Дело Золя — это распря со всей официальной и политической Францией» («Северный вестник», 1898, № 3). Однако острый конфликт писателя с правительством и господствующим классом — французской буржуазией — начался не в связи с опубликованием письма «Я обвиняю!», а раньше. Роман «Париж» и сам по себе — свидетельство этой распри.

В «Лурде» и «Риме» Золя провел своего героя, аббата Пьера Фромана, через разочарование в «утешительном хлебе» религиозных иллюзий. И христианская вера, и церковь потеряли для Пьера всякую привлекательность: Золя раскрыл перед читателями грязную кухню церковной демагогии. Теперь он подошел к другой, более широкой проблеме: буржуазного государства в целом, его социального строя, места человека в этом государстве.

В июле 1893 года, когда впервые родилась идея трилогии, «Париж» представлялся Золя иным, чем он получился впоследствии, хотя некоторые важнейшие мотивы остались неизменны. «Третья книга может

быть борьбой справедливости против милосердия», — писал Золя в 1893 году в общем «Наброске» к задуманному им циклу «Три города», и уточнял эту идею так: «...в силу неравенства и несправедливости пришлось все основывать на милосердии. Ведь милосердие исправляет. Однако и оно постепенно становится бессильным, — это доказывает многовековой опыт, — да и беднякам уже надоела филантропия, которая даже не обеспечивает им хлеба насущного. Следовательно, сейчас можно взывать к справедливости. Вся борьба, таким образом, будет идти между исчерпавшим себя милосердием и справедливостью, которая кажется неприменимой. Сущность всей книги заключается в этой борьбе» [1]. Эти размышления носят общий, умозрительный характер. В цитируемом первоначальном эскизе трилогии Золя уже намечал схему сюжета: два брата, их идейное столкновение, их соперничество. Каждый из них должен был символизировать определенный тип мировоззрения. «Мне хотелось бы борьбы героической, жестокой, кровавой, столкновения двух миров... в начале книги резко столкнуть двух братьев. Найти что-либо, отчего они готовы перегрызть друг другу плотку». Наконец, в том же «Наброске» 1893 года Золя на все лады формулирует свое понимание центральной темы будущего романа, темы Парижа. Столица Франции для него духовный, интеллектуальный центр современного человечества, средоточие сил, которые чреваты грядущим: «...именно в парижском котле выковываются, зарождаются все идеи об обществе будущего. Вся история социализма до наших дней». Социализм, который и до той поры живо, хоть и издали, интересовал Золя, теперь оказался главной проблемой, подлежащей изучению. Расшифруем мысль Золя о «милосердии» и «справедливости». Если христианство в своем «идеальном», чистом варианте — это идеология, основанная на милосердии, то есть на сочувствии и помощи богатых — бедным, счастливых — несчастным, то социализм — это господство справедливости, то есть такого распределения жизненных благ, при котором не должно быть привилегированных, богатых избранников, сочувственно помогающих бедным и несчастным. Другими словами, христианское *милосердие* увековечивает общественное неравенство, предлагая смягчать его моральным усовершенствованием богачей; социалистическая *справедливость* требует создания нового социального строя. Место обоих братьев Фроманов в такой сюжетной структуре казалось Золя вполне ясным: «В этой борьбе справедливости и милосердия священник воплощает милосердие, а брат его — справедливость, и справедливость одержит верх». Схема достаточно

четкая, но остается один вопрос, главнейший и труднее всего разрешимый, — Золя так формулирует его: «...если милосердие бессильно, каким путем воцарится справедливость?» В самом деле, каким же путем осуществится победа социализма! Может быть, путем насильственных, революционных действий? Золя отвечает собственным мыслям, записывая: «...я не в силах пожертвовать убеждениями всей моей жизни, я — за постепенное преобразование, за удовлетворение всех нужд, всех общечеловеческих потребностей...» И здесь же, несколькими строками ниже, он задумывается о необходимости совместить реформизм с революционностью: «Нужно ввести в теорию об эволюции момент насилия. Эволюция не всегда происходит равномерно и постепенно, ее размеренный ход нарушают катаклизмы, в жертву которым приносятся миллиарды жизней».

Уже в 1893 году Золя догадывался о том, что в пределах старого социального строя никакие существенные улучшения невозможны. Целью оказывается новый социальный строй. Какой? «Справедливый». Конечно, это определение расплывчато, но большей конкретности Золя не достиг. Он писал в «Наброске» 1893 года: «...торжество социализма; гимн заре, поиски человеческой религии, полное счастье на земле, — и все это на фоне современного Парижа... Мечта...» Итак, цель общественного развития и борьбы — отвлеченный идеал справедливого строя, утопический социализм. Средства ее достижения — постепенная эволюция с теоретически допустимыми элементами насилия, понятиями, однако, с романтической неопределенностью.

Окончив «Лурд» и «Рим», Золя вплотную подошел к необходимости осмыслить все то, что три года назад, когда он задумывал свою трилогию, представлялось далекой и смутной мечтой. В первых двух романах серии он *отрицал*; теперь надо было *утверждать*. В 1896 году он пишет «Набросок» к «Парижу», где проблематика романа определяется с большей отчетливостью и зрелостью. Золя постепенно нащупывает «основную идею» своего произведения, которую он пытается на разные лады формулировать. В начале «Наброска» дана вполне отчетливая, историко-материалистическая постановка проблемы: «Говоря о проблеме социальной и религиозной, я сливаю их воедино. Социальное движение должно поглотить движение религиозное, оно захватывает его... Равным образом в основе лежит только одна экономическая проблема — богатство, собственность, и в конечном счете все регулирует лишь *законтруда*. Всеобщий научный закон труда: жизнь есть труд». Золя устанавливает для себя, что не только религия, но и всякая идеология — и

прежде всего политика — социальна, то есть, по его мнению, зависит от господствующих в обществе отношений собственности.

Именно *политика* приобретает для книги Золя центральное значение. Нужно, однако, осознать, что такое политика. Анализ этого понятия посвящено несколько страниц «Наброска» 1896 года; вывод формулируется с резкостью и публицистической остротой: «Все, что творится в низах, среди нищеты, является преступлением, а то, что происходит в верхах, у богачей, называется политикой». Политика — это, собственно говоря, авантюризм случайно прорвавшихся к власти карьеристов. В том же 1896 году Золя опубликовал в газете «Фигаро» статью «Элита и политика», которая очень точно определяет отношение писателя к государственному аппарату и его хозяевам. Прежде, пишет Золя, он с великолепным презрением взирал на деятелей, занимающихся грязными политическими интригами, считая их людьми глупыми и бесполезными (*des sots et des inutiles*): «Это с моей стороны было упрощающим взглядом разгневанного поэта, и сегодня он кажется мне ребячеством и плустьем». Позднее он загорелся интересом к этой области жизни, где от деятельности одних людей зависит счастье других, судьба всей нации. Наконец, последний этап его развития связан с возродившимся презрением к «посредственности нашего политического мира, к депутатам, сенаторам, министрам, ко всем, кто обеспечивает функционирование правительственной машины».

Золя приводит слова некоего министра, человека «любезного и даже умного», который говаривал, обращаясь к выдающимся современникам — литераторам, художникам, ученым: «Дайте же нам управлять! Не путайтесь в это грязное дело. Право, оно недостойно вас, а мы, посредственности, мы для него созданы. Разве у себя дома вы подметаете пол или моете посуду? Нет ведь, правда? Вы платите жалованье прислуге за то, чтобы она освобождала вас от этих повседневных хлопот. Так вот, мы, политики, мы ваша прислуга, и вы можете спокойно предаваться возвышенным идеям, в то время как мы стараемся сделать дом спокойным и даже приятным». Приведя это откровенное высказывание, Золя саркастически замечает: «Хуже всего то, что в доме нет ни приятности, ни даже спокойствия. Разрыв между элитой, освобожденной от повседневных забот, и посредственностью, овладевшей всеми должностями, ширится изо дня в день». Дело, однако, не только в бездарности политиков, но еще в том, что они и в самом деле — «прислуга на жалованье», только оплачивают их не те, к кому обращался с демагогическими увещаниями условный «министр» из статьи «Элита и

политика», но власть имущие, крупная буржуазия. Тема «политика» в романе «Париж» зависит от другой темы: «господствующий класс». В «Наброске» 1896 года разработана фигура банкира (в романе он будет назван Дювильяром), вырастающая до символа французской буржуазии: «Он очень значительное лицо, особенно благодаря отцу, нажившему состояние (в 89-м году)... Он является представителем целого класса, я резюмирую в нем весь его класс: выдвинуть его фигуру, сделать ее типичной, он грозный человек. Это не голодный, беспокойный Саккар, а торжествующий Толстяк (намек на роман „Чрево Парижа“. — Е. Э.), бьющий наверняка, прямолинейный и самоуверенный, ворочающий миллионами... Он на короткую ногу с правительством, в большой силе, всеми признан и держит в руках если не всю Францию, то, по меньшей мере, кабинет министров. В некоторые моменты эта фигура должна вырасти еще больше, стать непомерной, олицетворять буржуазию, все захватившую в свои руки, разжиревшую и, главное, не желающую ничего отдать». Важная деталь, на которой Золя в «Наброске» настаивает неоднократно: банкир, олицетворяющий буржуазию, огромным своим состоянием обязан революции 1789 года. Итак, банкир — хозяин правительства, «разлагающий все и вся, к чему он ни прикоснется». Тема политики, грязной политической кухни становится для Золя все более важной: в «Наброске» 1893 года ее не было совсем; в «Наброске» 1896 года значение ее возросло; в романе она оказалась в центре сюжета. До известной степени это связано с впечатлением, которое произвела на Золя Панамская афера. Напомним о некоторых обстоятельствах этого громкого дела.

В апреле 1888 года компания Панамского канала, сулившая многочисленным владельцам акций грандиозные барыши, потерпела финансовый крах. Расследование, которое велось в 1892–1893 годах, вскрыло уродливые махинации ее руководителей; в печати появились статьи, где разоблачались министры, сенаторы, депутаты, получавшие крупные взятки. Правительство Лубе пало, — газеты обвиняли во взяточничестве таких государственных деятелей, как министр финансов Рувье, министр юстиции Рикар, председатель палаты депутатов Флоке, сенатор Эбрар, редактировавший крупнейшую газету Франции «Тан». Последний, по заявлению газеты «Кокард», положил себе в карман миллион франков, а Флоке — не менее трехсот тысяч. Положение крайне осложнялось одним обстоятельством: разоблачением правительства занимались, главным образом, махрово реакционные круги, пытавшиеся обвинить в коррупции не каких-то определенных лиц, а республиканский

строй в целом. В апреле 1892 года возникла газета «Либр пароль», во главе которой стал Эдуард Дрюмон, поливавший грязью французскую республику и противопоставлявший ей «чистые нравы» монархии. «Изнанка Панамы» — так была озаглавлена серия статей в «Либр пароль» 1892 года; здесь автор лицемерно оплакивал судьбу восьмисот тысяч разоренных французов, обвиняя во всех их бедах «еврейско-оппортунистическую печать». В заседании парламента 21 ноября 1893 года с сенсационными разоблачениями выступил крайне правый депутат, буланжист и открытый сторонник реставрации монархии Делаэ, огласивший список депутатов-взяточников, так называемый «Список 165-ти». В то время Золя, как и многие другие честные демократы, считал своим долгом встать на защиту попираемой, оплевываемой республиканской идеи. В статье 1896 года «Добродетель республики», опубликованной в газете «Фигаро», он писал, что нравы монархии ничуть не лучше тех, что обнаружены расследованием по делу о Панаме, — только злоупотребления тех лет остались сокрытыми от общественного мнения: «Не преступление предопределяет позор, а неуспех». Золя спрашивал своих соотечественников: неужели они ждут диктатора? «Большая сабля снова создаст фикцию абсолютной добродетели, причем ее обладатель, если только он пожелает, сможет при этом оставаться законченным мерзавцем». Золя ничуть не оправдывал мошенников из крута высшего чиновничества, замешанных в Панамской афере, — он защищал идею республики от нападения справа. В том самом году, когда Золя опубликовал цитированную статью, он писал и «Набросок» к «Парижу». Образы министров, которых он здесь характеризует как своих будущих персонажей, задуманы им под влиянием настроения, близкого к статье «Добродетель республики»: «Я представляю себе довольно ясно тип министра финансов, вроде Рувье, пускающегося на всякого рода аферы, хитрого говоруна, умного, по-настоящему значительного человека, который будет защищаться и победит (он использует бомбу); второй министр будет в духе Флоке — честный человек, не отказывающийся от денег для того, чтобы бороться с врагами республики. Три депутата представляют три типа: один — делец, некрасивый, бедный, озлобленный, всегда готовый продаться, другой — провинциал, рубаха-парень, вращается среди женщин и поэтому нуждается в деньгах, третий может быть плавным редактором продажной газеты». Несколько ниже в «Наброске» говорится снова: «Два типа — романтический, глуповатый, но честный Флоке и Рувье — честолюбец, любящий деньгу, при этом человек твердый, в котором нуждаются». Претворившись в романе,

замысел углубился: Барру (Флоке) не столько «честный человек», сколько ограниченный, даже глупый, прекраснотдушный фразер; Монферран («вроде Рувье») не просто «хитрый говорун», а прямо-таки крупного масштаба политический разбойник; продажные депутаты поражают ничтожностью, беспринципностью и корыстолюбием. Любопытное изменение осуществлено писателем: коррупцию в парламенте разоблачает не правый депутат, буланжист Делаэ, а крайне левый, «коллективист» Меж, прототипом которого является Жюль Гед.

В «Наброске» 1896 года Золя писал бепло: «Мне непременно нужен коллективист, я могу сделать им депутата вроде Геда, я даже использую тип самого Геда». Жюль Гед (1845–1922) был в то время признанным лидером французских социалистов, он возглавлял (с 1880 г.) Рабочую партию, вел борьбу с мелкобуржуазными течениями в рабочем движении — прудонизмом и анархизмом, руководил экономической борьбой французского пролетариата. При всех достоинствах, энергии и революционном темпераменте Геду было свойственно сектантство, отмеченное еще в восьмидесятых годах Энгельсом: в частности, он отрицал необходимость борьбы за реформы, за удовлетворение повседневных нужд трудящихся. Золя недостаточно внимательно разобрался в структуре рабочего движения девяностых годов, и образ Межа — Геда оказался в его романе упрощенным, огрубленным: это доктринер, стремящийся к диктатуре, мечтающий заставить людей подчиниться его воле и, навязав им догму «коллективизма», захватить над ними неограниченную власть. Политическая тактика Межа сводится к тому, чтобы сваливать буржуазные правительства — одно за другим, до тех пор, пока не пробьет час его собственного торжества. Создавая фигуру Межа, Золя относился к его прототипу без симпатии и даже с известной опаской, хотя в принципе и сочувствовал представляемой им идее. Двигаясь от первого «Наброска» к тексту романа, писатель все усиливал зловещие гротескные черты. Мы видели, как в первом и втором «Набросках» был задуман социалистический лидер. В разработке, озаглавленной «Персонажи» (1896), образ Межа конкретизирован и в еще большей степени, чем прежде, ориентирован на Геда, как его понимал Золя:

«Это Гед. Взять характерную худобу. Тело апостола, сжигаемого внутренней страстью... Нечесаный, седоватая борода... Сутулый, кашляет. Видимо, туберкулез... Апостол. Гед, каким я его знал. Доктринер, догматик, желающий преобразовать мир согласно своей вере.

В сущности — душа диктатора... Принял за догмы принципы коллективизма и сражается за них с мрачным упорством» [2].

В романе характеристика Межа — Геда выдержана в соответствии с этим эскизом.

В социалистическом движении девяностых годов было несколько направлений, представители которых порой непримиримо враждовали друг с другом («поссибилисты», бланкисты, группа «независимых социалистов»). Структура социалистического движения была сложной, отношения между фракциями — противоречивыми, и Золя не воспроизвел этого в романе. Он ограничился тем, что создал несколько психологических типов, отличающихся друг от друга не столько политической, классовой позицией, сколько темпераментом и личными, человеческими свойствами. Так, доктринеру Межу он и в эскизах к роману, и в самом тексте «Парижа» противопоставил самоотверженного Баша, о котором в «Персонажах» писал: «В одной этой фигуре надо сосредоточить все религиозно-гуманистическое движение, все, что, быть может, прорастет в будущем». «Все гуманитарное движение 1848 года — Сен-Симон, Фурье, Пьер Леру, все религиозные социализмы».

Другой психологический тип социалиста — носитель традиций европейского революционного движения Николя Бартес, идеалист, пожертвовавший всей жизнью ради далекой и смутной цели всеобщего благоденствия. Создавая эту фигуру, Золя имел перед глазами образ Гамилькара Чиприани, бывшего гарибальдийца и коммунара, который из своих сорока восьми лет двадцать два года провел в тюрьмах Италии и Франции. Николя Росси — так первоначально назвал его Золя — напоминал автору «Парижа» героическую фигуру Орландо из романа «Рим». В «Персонажах» ему дана характеристика, довольно точно осуществленная в тексте романа: «Агасфер свободы. Все смеются над ним — он теперь обойден опередившими его социалистами, коллективистами, анархистами, с которыми не может найти общего языка, но он продолжает борьбу... Сделать возвышенную фигуру — гордую и трогательную».

В расстановке политических сил, изображенной у Золя, существенную роль играют анархисты. В начале девяностых годов они проявили большую активность, которая была ответом мелкобуржуазных революционных кругов на скандал Панамы и наступление монархически-буланжистской реакции. В марте 1892 года анархист Равашоль произвел три взрыва в различных районах Парижа. 9 декабря 1893 года в Бурбонском дворце, где заседала палата депутатов, с галереи в зал была

брошена бомба, взрывом которой было ранено сорок семь человек; на другой день полиция арестовала террориста Огюста Вайяна, оказавшегося рабочим тридцати двух лет, отцом двенадцатилетней девочки, на содержание которой у Вайяна не было средств. Суд над Огюстом Вайяном состоялся через месяц, в январе 1894 года. В своем выступлении подсудимый между прочим заявил, что хотел покарать виновников общественной нищеты, за которую прежде всего ответственны депутаты парламента. «Я не хотел никого убивать, — сказал Вайян. — только ранить. Я мог употребить более страшную взрывчатку — нитроглицерин. Этого я не сделал... Я не хотел, чтобы погибли ни в чем не повинные люди... Я сторонник пропаганды фактами... Я тщетно пытался заработать себе на жизнь... Хозяин положил мне двадцать франков в неделю... Тогда я принял это решение. Я хотел показать тем, кто правит, на какие крайности идут трудящиеся, умирающие с голода». В последней речи, которая была исполнена достоинства и вызова, Вайян произнес гордые слова: «Взрыв моей бомбы — это не только крик взбунтовавшегося Вайяна, это крик целого класса, требующего своих прав». Вайян был приговорен к смерти, президент Карно отказался помиловать его, и 5 февраля 1894 года Вайян был публично гильотинирован. Пресса сообщила, что, появившись на пороге тюрьмы, он крикнул толпе, ожидавшей его казни: «Смерть буржуазному обществу! Да здравствует анархия!» Читатель без труда обнаружит, что эпизоды «Парижа», связанные с террористическим актом рабочего-анархиста Сальва, повторяют историю Вайяна. С нею совпадают даже незначительные биографические подробности; например, взаимоотношения с незаконной женой и с дочерью Сидони (в романе — Селина); казнь Сальва, описанная в первой главе пятой книги романа, во всех деталях, включая предсмертный возглас осужденного, воспроизводит казнь Вайяна. Золя не сразу решил для себя эту сюжетную проблему. В «Наброске» 1893 года он очень обще записал: «Быть может, анархистское покушение (изучить эту среду)». В «Наброске» 1896 года автор колеблется между двумя прототипами: «Важно как следует обдумать образ молодого анархиста. Я думаю взять Эмиля Анри или приближающийся к нему тип. Восемнадцать лет, незавершенное образование. Горечь, накопившаяся у молодого поколения. Пожалуй, это лучше, чем Вайян, старый рабочий. Я сделаю тот же тип. Но для моей истории, быть может, лучше подойдет Эмиль Анри». Однако уже несколькими строками ниже Золя меняет решение и тут же мотивирует это изменение: «Но, пожалуй, лучше взять Вайяна. Пожилой рабочий,

жена или любовница и маленькая дочь. Черная нужда. Все это возле Гильома... Это хорошо потому, что в основе — нищета... Теперь, пожалуй, надо урегулировать покушение анархиста. Я не представляю себе, чтобы покушение Вайяна произошло в палате. Мой анархист восстал против денег, против капиталистического общества, и поэтому я хочу противопоставить нищенскому дому роскошный дом. Я хочу, чтобы он бросил бомбу в дом банкира, роскошный особняк, который я кратко опишу». Как видим, Золя меняет место покушения и, значит, цель террористического акта; в романе этот акт становится символическим: *нищета* мстит *богатству*, дно Парижа восстает против паразитической роскоши парижских богачей, а не, как это было в действительности, против политики парламентариев.

Эмиль Анри, которого Золя первоначально намечал в прототипы своего героя, был молодым, двадцатидвухлетним интеллигентом, который, мстя буржуазному обществу за казнь Вайяна, бросил 12 февраля 1894 года бомбу в кафе «Терминус», причем было ранено тринадцать человек и убит один. В апреле 1894 года Анри судили, он заявил в своей речи, что «стал врагом общества, которое считал преступным». «Бомба в кафе „Терминус“, — сказал он далее, — это ответ на все ваши насилия над свободой, на ваши аресты, на ваши обыски, на ваши законы о печати, на ваши гильотины». Эмиль Анри был тоже приговорен к смерти, его гильотинировали 21 мая, и, в точности как Вайян, Анри перед казнью крикнул толпе зрителей: «Товарищи, будьте мужественны! Да здравствует анархия!» Золя использовал историю Эмиля Анри в эпизоде с бомбой Виктора Матиса (четвертая глава пятой книги), причем и здесь биографические подробности совпадают с историей прототипа. В «Наброске» 1896 года читаем: «Типичный представитель сбившейся с пути, нетерпеливой молодежи, растущей в тени, придерживающейся крайних убеждений... Дитя буржуазии».

Нужно заметить, что отношение к анархистскому террору в различных кругах французского общества было весьма различным. Так, Жюль Гед в статьях и выступлениях утверждал, что взрывы анархистов — полицейская провокация. Правительство поощряет анархистов, желая скомпрометировать в глазах народа социалистическое движение. Золя использовал аргументацию Жюля Геда, рассказав о якобы спровоцированном полицией ограблении особняка принцессы Роземонды де Гарт. Впрочем, он все же полемизировал с Жюлем Гедом, истолковывая анархистское движение как стихийный протест против социальных несправедливостей. В 1896 году в Париже выходит брошюра

Крапоткина «Анархия, ее философия, ее идеал». Почерпнутые в брошюре идеи Крапоткина Золя вложил в уста Гильома Фромана и противопоставил им идеи Пьера (пятая глава второй книги), который, однако, способен только на отрицание политической программы своего брата, представляющейся ему чудовищной: «Ах, брат, ты живешь своей мечтой, а у меня в груди язва, которая меня разъедает и опустошает мою душу... Твоя анархия, твоя мечта о справедливости и счастье, которую Сальва стремится осуществить, швыряя бомбы, — да ведь это же роковое безумие, которое все сметет с лица земли. Неужели ты этого не видишь? Конец века принес груды развалин. Вот уже больше месяца, как я слушаю вас: Фурье сокрушил Сен-Симона, Прудон и Конт уничтожили Фурье, все они нагромождают противоречия и несообразности, и нет никакой возможности разобраться в этом хаосе».

Пьер Фроман не в силах найти решения — он лишь констатирует гибельность анархического «безумия» для человечества и ставит анархизм в один ряд с другими революционными доктринами. И только в конце романа, после того как Гильом Фроман зайдет в тупик и доведет теорию анархизма до логического конца, задумав преступный взрыв церкви, где собрались тысячи молящихся, — только тогда оба брата, бывший анархист и бывший аббат, придут к совместному позитивному решению: мир может быть спасен только торжеством науки.

Вывод о всеспасительной роли науки в жизни общества рождался в сознании Золя постепенно. В «Наброске» 1893 года он еще не формулировался прямо — здесь весьма абстрактно говорилось о «поисках человеческой религии», о «торжестве разума», о «гимне заре». Годом позднее, в «Наброске» к «Риму», наука рассматривалась прежде всего как орудие уничтожения религии, католицизма, но и шире: «Наука должна неизбежно привести к атеистической демократии». В окончательном «Наброске» к «Парижу» (1896) читаем: «...закончить гимном надежды. *Итог века.* Этот именно итог и подводит моя книга. Полнейшая вера в науку и разум. Ответ тем, кто не признает науки, управляющей миром (по ту сторону морали, тайны, религии). Как прекрасна работа, несмотря на кажущуюся мерзость. Да, отмирающий мир, и я показываю, что кончает он грязно. Зато намечается другой мир (закон труда, община, плодovitость), и, несмотря на неизбежные изъяны и невежество, этот мир обещает в будущем величие, мир, братство, больше справедливости и правды».

Выдвижение науки в качестве панацеи от всех социальных бедствий было для Золя закономерным итогом его механистических представлений

об общественном бытии человечества, его — в широком смысле этого слова — социального натурализма, в силу которого он ставил в один ряд законы социальные и естественнонаучные, его исторического идеализма. Окончательно его «научная религия» кристаллизовалась в ожесточенных спорах с представителями неокатолицизма, — в частности, с Ф. Брюнетьером. Последний с наибольшей из всех своих современников последовательностью формулировал мысль о крушении науки, якобы дискредитировавшей себя в нынешнем мире. «Непознаваемое окружает, обволакивает нас, заключает нас в свои объятия», — писал Брюнетьер в статье «После посещения Ватикана», опубликованной в январской книжке «Ревю де Де Монд» (1895). Золя гневно обрушился на критика-мракобеса, утверждая лучезарное будущее естественных наук, открывающих человечеству путь к торжеству социальной справедливости.

Подвести итог всему XIX веку — так формулировал Золя свое намерение в цитированных фразах «Наброска» 1896 года. Этот замысел во многом определил содержание романа и формальные особенности, которые отличают «Париж» от предшествующих ему произведений Золя. Прежде всего, в «Париже» иная, чем в других книгах Золя, роль автора, который здесь не смешивается с толпой своих персонажей, не усваивает их речевой манеры, как во всех томах «Ругон-Маккаров» и «Трех городов», и говорит с читателем открыто, с публицистической страстностью и прямоотой. Прежде Золя, как правило, видел мир своих произведений через того или иного из своих героев; здесь он выступает самостоятельно, как отдельный персонаж. Недаром в «Персонажах» среди других характеристик содержится портрет писателя, о котором сказано: «Это — свидетель, который два-три раза появляется в углу картины. Это свидетель, протоколист, тот, кто видит и кто напишет... Постоянный взгляд писателя, открытый на вещи и на людей... Одинокий, в стороне от всех групп. Я назову его человеком толп. Он один посреди всех, одинокий, он смотрит и судит». В данном случае важно не то, появляется ли «человек толп» на страницах романа или не появляется. Важно другое: повествование в важнейших местах «Парижа» ведется непосредственно от этого свидетеля. Ограничимся одним примером. Во второй главе третьей книги повествуется о Камере ужасов, куда приезжает великосветская проститутка Сильвиана со своим могущественным покровителем банкиром Дювильяром; автор берет слово сам и, обобщая, говорит читателю: «Это был разгул бесстыдства. Потоки отвратительных сальностей привлекали веселящийся Париж.

Буржуазия, завладевшая деньгами и властью, пресытилась до тошноты всеми благами, но не желала от них отказываться и сбегалась в этот притон, чтобы выслушивать всякие непристойности и брань, которую ей бросали в лицо. Словно загипнотизированная оскорблениями, предчувствуя свой близкий конец, она испытывала наслаждение, когда ей плевали в физиономию». «Человек толп» постоянно выступает на авансцену, обличая, клеймя, прорицая. Ни в одном другом романе Золя до сих пор не было таких прямых характеристик общественных явлений или общих понятий — буржуазии, капитализма в целом, нищеты, милосердия, справедливости. То и дело встречаются обобщающие метафоры, которые подводят «итог столетию» буржуазного господства или предрекают новый век: *le gouffre* (бездна), *la catastrophe* (катастрофа), *l'enfer social* (социальный ад), *l'agonie d'un monde* (агония целого мира) и т. п. Все это — черты «итогового» произведения.

Итог XIX века — это, для Золя, итог и всего его творчества. Золя долго шел к роману о современном Париже. Двадцать томов «Ругон-Маккаров» были, по сюжету, книгами историческими: Золя писал в них о годах Второй империи, которая в 1870 году уже ушла в прошлое. Действие «Лурда» и «Рима» разыгрывалось вдали от французской столицы, от средоточия современной политики и науки. Наконец-то в своем двадцать восьмом (если считать от романа 1865 года «Исповедь Клода») романе, почти что на тридцать пятом году творчества, Золя подошел к теме современного ему Парижа. Он писал эту книгу легче других: собирание материала не требовало особого времени. Ведь материал для «Парижа» Золя, можно сказать, собирал все тридцать пять лет своей писательской деятельности. Конечно, ему пришлось прочесть труды об анархизме, об утопических социалистах, об экономике современной Франции, но объем литературных источников не идет ни в какое сравнение с тем, что нужно было изучить автору «Рима» и даже «Западни», «Разгрома» или «Доктора Паскаля». Рене Тернуа иронизирует над тем, что для «Парижа» Золя изучил лишь статьи в энциклопедии Ларуса о Фурье, Конте, позитивизме, Сен-Симоне. Возможно, что это так; Золя достаточно хорошо знал то, чем интересовался всю жизнь. К тому же — и это особенно важно — в «Париж» вошло многое из того, что было изучено и создано прежде. Читатель «Парижа» не может не узнать на страницах этого романа знакомых по прежним книгам лиц. Сильвиана в известной степени повторяет Нана — подобно своей предшественнице, знаменитой «золотой мухе», она оказывается живым возмездием породившему ее обществу; банкир Дювильяр похож на графа Мюффа, и,

подобно последнему, он готов бросить к ногам своей жестокой любовницы всю Францию, собственную честь и семью. Министр внутренних дел, позднее премьер, «железный кулак» Монферран повторяет другого министра внутренних дел, Эжена Ругона, сильного человека, «спасителя» Второй империи. Фабрикант Грандидье напоминает директора Энбо из «Жерминаля». Монсеньер Март *a* — двойник другого могущественного иезуита, кардинала Нани из «Рима». Сын Дювильера Гиацинт кажется персонажем из «Добычи» — он близкий родственник Максима Саккара. Число подобных примеров можно значительно умножить. Золя сознательно стремился к тому, чтобы сообщить «Парижу» характер итога французского развития в XIX веке, а значит, и обеих серий, созданных Золя об этом веке — «Ругон-Маккаров» и «Трех городов».

Как уже говорилось выше, окончание публикации романа совпало с выступлением его автора по Делу Дрейфуса и с судом над Золя, превратившимся в шумный процесс, который взволновал всю читающую Францию. Католическая печать обрушивала на «Париж» и его автора всевозможные обвинения и обливала Золя грязью. Критик журнала «Кензен» Камилл Верньоль в злобной рецензии называл Золя «Омэ на Синае», имея в виду аптекаря Омэ из «Госпожи Бовари», — теперь он якобы вознамерился стать пророком человечества, новым Моисеем. Но Верньоль ядовито замечал, что Моисей из Золя не получился, — автор «Парижа» буржуа по происхождению и характеру, пристрастиям, привычкам. И бунт его тоже буржуазный — бессильный и смешной. Столь же озлобленный характер носила статья старого идейного противника Золя, неокатолика Ф. Брюнетьера в «Ревю де Де Монд», где незадолго перед тем, 15 марта 1888 года, была напечатана статья того же автора «После суда» — о том, что антисемитизм законная реакция французов на захват их страны евреями, масонами и протестантами. Этот «теоретик» и апологет антисемитизма с лицемерной снисходительностью писал о романе Золя, что в нем даже есть «крохи метких наблюдений». «Париж» значительно выше «Рима» и даже «Лурда». Но все остальное Брюнетьер отрицает: Золя не эволюционировал в течение четверти века; все вокруг изменилось, а Золя остался верен стилю своей «Западни» и рассуждениям флюберовского аптекаря Омэ. Главная тема Парижа — «дехристианизация аббата Фромана». Каковы же ее причины? Чисто физиологические: «В его жизни появилась женщина... От души пожалеем беднягу аббата Фромана». Идейное богатство Золя невелико: безграничная вера в силу науки, банкротство милосердия, разложение

буржуазии — «вот вся политика, вся социология, вся философия г-на Золя». Он противопоставляет буржуазию и народ, простодушно полагая, что еще есть на свете общественные классы. «О опасная власть слов! Все эти классы — плод воображения... Сегодня во Франции нет ни „буржуазии“, ни „четвертого сословия“, а лишь, как повсюду, богатые и бедные»... «В „Трех городах“ Золя явно сделал усилие — надо отдать ему справедливость, — желая понять множество вещей, которые до сих пор были ему неведомы. Едва ли это ему удалось» (15 апреля 1898 г.).

Так реагировала пресса откровенно реакционная. Немногочисленная печать анархистов приняла «Париж» с холодной сдержанностью. Известный анархистский публицист и теоретик Ж. Грав в Литературном приложении к «Тан нуво» пытался одобрить Золя за его обращение к современным событиям и за яркий образ Сальва-Вайяна, но в изображении Золя, констатирует Грав, почти все участники анархистского движения воры, мошенники, снобы, провокаторы. И все же Грав берет Золя под защиту от мракобесов. «Буржуазия, — пишет он, — поносит Золя, называет его анархистом — за то, что, говоря об анархистах, он попытался отдать себе отчет в том, о чем они мыслят и чего хотят... Не думаю, чтобы Золя был анархистом. Он довольствуется тем, что, по мере своих сил, ищет истину, что выражает ее так, как он ее понял, создавая свое произведение, не думая о тех, кто мог бы быть им недоволен. Анархисты хотят того же самого. Но у Золя это — неосознанный анархизм» (1898, № 51).

Демократическая и радикальная печать восприняла «Париж» с глубоким сочувствием, как гражданский подвиг великого писателя. Она неизменно оценивала книгу в связи с политическими действиями писателя. Так, Гюстав Кан писал в «Ревю бланш»: «Париж Золя — это Париж людей действия и непосредственной мысли. У них есть политические теории... В „Париже“ я вижу не только прекрасный роман, но и акт гражданского мужества... Сто тысяч экземпляров этого романа, распроданных во всех концах земного шара, понесут миру доказательство благородства и возвышенности французского гения» (15 февраля 1898 г.). Пьер Брюла — в «Друа де л'ом»: «Никогда Золя в такой степени, как здесь, не раскрывал нам свой пламенный идеал, свою душу апостола революции, которая неизменно устремлена к пониманию жизни, все более широкому и прочувствованному, но также и героическому. Он не думал ни о Вольтере, ни о Каласе; он не думал о славе, он только подчинился своей природе, своему порыву, зову совести. Уверенный в невиновности Дрейфуса, он мог действовать только так. От идей он

перешел к действиям, он лишь применил свою доктрину, он стал велик, сам того не желая, не зная, естественно, как люди дышат. Вот что начинаешь понимать, прочитав эту книгу» (15 марта 1898 г.). Гюстав Жеффруа в газете «Орор», незадолго до того опубликовавшей письмо Золя к президенту республики, так оценивал героиню романа «Париж» Марию: «...эту девушку, такую прямую, такую чистую, мечтающую стать женой и матерью, — мы уже знаем ее, она под другими именами проходила по страницам писателя. Эта свободная и гордая муза поэта истины, который дождался славной участи, — достигнув апогея жизни, полностью реализовать свой идеал, примирить в нем мечту и действие». Г. Жеффруа, однако, ловит Золя на противоречии; автор «Парижа» приходит к выводу о том, что единственной реально революционной силой в обществе является паук, и все же «после того, как он долго был одиноким писателем... испытал внезапное желание броситься в социальную схватку, ринуться в атаку, — не будучи уверен, что кто-нибудь поддержит его, — в атаку на одну из тех крепостей древности, которые остались посреди нового общества» (10 марта 1898 г.).

Так оценивала роман Золя радикальная печать.

Пресса социалистическая, отдавая должное мужеству писателя, приняла роман с серьезными оговорками. Известный публицист Эжен Фурньер писал в журнале «Ревю социалист», что Золя привел своих героев к выводу, будто бы насилие бесплодно и вредно и общество будет двигаться вперед благодаря науке — «революционной силе современности». В сущности, его роман — апология реформизма. Обращаясь к маленькому Жану, сыну Пьера Фромана, которому его отец обеспечил ренту, критик спрашивает: «Что ты сделаешь с нею, малыш, когда станешь мужчиной? Какому делу защиты истины и справедливости посвятишь ты досуг, который и та и другая обеспечат тебе с колыбели? Отважный труженик Золя мощной рукой очистил от кустов социальный лес, но лес замкнулся позади него, еще более глухой и непроходимый» (март 1898 г.).

Золя вступил в полемику с Э. Фурньером — он ценил его мнение и мнение представляемой им партии. «Мне хочется защитить мое заключение, — писал он в открытом письме, — и обратить Ваше внимание на то, что я просто хотел дать будущим действиям человечества более широкое поле, не связывая их никакими доктринами, никакой группой, поручая будущее науке, то есть полному познанию людей и вещей. Однако я не хотел бы вступать с Вами в дискуссию, зачем? Ведь мы оба придерживаемся одного мнения по поводу цели, которой надо

достичь, — дать людям как можно больше справедливости, как можно больше счастья». Ближайшая, апрельская, книжка «Ревю социалист» опубликовала ответ Фурньера, который заявлял, что он высоко оценивает роман «Париж» и только хочет опровергнуть фаталистический тезис Вертело, принятый Золя, будто бы «наука-орудие может переделать мир без участия человека-рабочего». Гильом не революционер, а бунтарь, — понятно, что орудие выпадает у него из рук. Но есть ведь и настоящие революционеры, жаждущие поставить науку на службу своим убеждениям. «Мой прославленный оппонент, который ценит жизнь сознательную и волевою и который в последние дни отдал этой жизни столь благородную дань, не увидел в своем произведении таких людей». В конце ответа Фурньер называет автора «Парижа» — «великий гражданин, который в эти дни прибавил к своим творениям, дарующим людям свет, подвиг во имя справедливости». Жан Жорес в большой рецензии на роман «Париж» присоединился к «убедительной статье Фурньера», в которой главный недостаток книги Золя охарактеризован как — по словам Жореса — «неточное и неполное представление о социализме». Золя полагает, что социализм — это некая кучка заговорщиков, которые стремятся свалить кабинет министров и воображают, будто после двух-трех правительственных кризисов они захватят власть и «в диктаторском порядке осуществят всеобщее счастье». Жорес пишет, что неприятно в этом итоговом труде увидеть ложное изображение массового движения, вот уже пятнадцать лет развивающегося во всей стране и видящего подготовку будущего общества в «непрестанном и всестороннем воспитании пролетариата, в пробуждении у пролетариата сознания его великой исторической миссии». Впрочем, продолжает Жорес, главная беда Золя в другом: в неверном понимании роли науки. Конечно, и социалисты придают огромное значение научному прогрессу, но Золя ошибается, когда полагает, «что одна только наука, без боевых действий со стороны людей, совершит революционный переворот в обществе. Да, совершенствуя средства производства, создавая машины, химию, она создает возможность новых социальных форм. Но она создает лишь *возможность*». Жорес делает окончательный вывод: «Нет, прогресса науки недостаточно для победы справедливости. Наука только укрепит силы капитализма, если мы не опрокинем самый капитализм». Жорес завершает статью восхищенной оценкой гражданского мужества Золя, выступившего в защиту Дрейфуса, но и он с некоторой долей иронии ловит Золя на противоречии: автор «Парижа» не положился на научный

прогресс, он выступил как боец и гражданин, — «надо было, чтобы он выпрямился во весь рост, чтобы он испустил этот крик гнева, чтобы он вышел из этого состояния научного квиетизма, к которому, кажется, приходит его книга. Революционным актом, чем-то вроде общественного скандала он приблизил час Истины и Права» («Ла лантерн», 20 марта 1898 г.).

В России «Париж» вышел почти одновременно в нескольких переводах, причем первый, М. А. Лихтенштадт, был опубликован полностью в 1897 году, еще до того, как во Франции кончилось печатание романа в газете (СПб., изд. редакции «Новый журнал иностранной литературы»), и годом позже, в 1898 году, вышел вторым изданием. В том же 1898 году появились еще переводы: Л. Гея (СПб., изд. А. С. Суворина), Н. А. Шульгиной (СПб., Акционерн. о-во «Издатель»), К. П. Русановой (СПб., книжный магазин «Новости»), Е. М. Поливановой (М. Университетская типография), Н. Мосоловой (М., изд. Г. Митрофанова), Н. Яковлева (Киев — Харьков, изд. Ф. Иогансона). Позднее роман переводился и издавался многократно. Отметим, что в 1923 году пользовалась успехом пьеса С. И. Прокофьева «Казнь Сальва», написанная по роману Золя и опубликованная в «Красной нови». Сохранились обширные материалы царской цензуры об обращении романа «Париж» в России. В статье И. Я. Айзенштока «Французские писатели в оценке царской цензуры» приведен любопытный документ — «Представление центрального комитета иностранной цензуры в Главное управление по делам печати от 26 февраля 1898 года», — гласящий: «В заседании 26 сего февраля Комитет заслушал доклад младшего цензора Штейна о рассмотрении им романа Золя „Париж“. Принимая во внимание, что в романе проводится отрицание религиозных идеалов, глумление над всем современным общественным строем, поругание имущих классов и заигрывание с классом рабочих и даже если не полное оправдание, то извинение анархизма как справедливой реакции против жестокости капиталистического уклада, а также, что роман испещрен эпизодами безнравственного свойства, г. Штейн полагает, что по содержанию своему „Париж“ подлежит запрещению» [3]. Однако роман был все же разрешен; согласно резолюции начальника Главного управления по делам печати М. П. Соловьева на этом Представлении: «В оригинале и переводе роман Золя не представляет какого-либо исключения из прочих его произведений, допущенных в России, уже обращается в России и без особенного успеха». О том, что М. П. Соловьев был неправ, говорят приведенные выше неполные данные о переводах

«Парижа», исполненных в течение одного только 1898 года. В русских переводах романа были, однако, сделаны изъятия. Так, по представлению цензора Воршева, из перевода Л. Гея должны были быть сняты «особенно резкие места, где героями высказываются мысли противу католичества и христианства и излагается вкратце учение анархизма»; ряд купюр был сделан московской цензурой в переводе Мосоловой. М. Д. Эйхенгольц, изучивший материалы цензуры, приводит некоторые примеры тех мест, которые были запрещены в России. Вот одно из них: «Здесь собрались одни счастливы, одни привилегированные, которые защищают здание, готовое рухнуть, употребляют всю громадную силу, еще находящуюся в их распоряжении, чтобы раздавить жалкую муху, этого бедняка с помутившимся рассудком, попавшего сюда благодаря своей страстной, но туманной мечте о каком-то ином правосудии, высшем, карающем» (речь идет о суде над Сальва) [4].

Русские критики, подобно французским, в оценке «Парижа» отчетливо разделились на враждующие лагеря. Рецензент реакционного «Русского вестника» (1898, № 5) негодовал по поводу того, что у Золя «масса рабочего люда состоит исключительно из нуждающихся, тогда как есть же и другие, и в гораздо большем числе, — те, которые кормятся своим трудом и живут в довольстве и сытости». Неудовольствие критика вызывало также и то, что в романе Золя «нет ни одного положительного типа в среде парламентских деятелей, банковых дельцов, золотой молодежи и дам высшего круга, — это тоже вредит правдивости впечатления». Критик «Ежемесячных сочинений» Максим Белинский корил Золя за то, что он в «Париже» «примиряется с кровожадностью общественных убийц» (апрель 1900 г.). В либеральном «Вестнике Европы» З. В. (Зинаида Венгерова) высоко оценивала «Париж», где Золя дал «безотрадную картину всеобщего растления нравов, но пришел к жизнерадостной проповеди труда и любви» (апрель 1898 г.). Наконец, журнал «Мир божий», в котором сотрудничали легальные марксисты, критикует роман Золя с тех же позиций, с каких на него нападали и французские социалисты: по мнению А. Б. (Богдановича), Золя проявил себя в «Париже» как типично буржуазный мыслитель: «Насколько он увлекается, описывая темные стороны современного Парижа, настолько же смутно представляет себе и возможные перемены, которые поведут к водворению лучшего мира», и это «лишает роман того глубокого общественного значения, какое он мог бы иметь, если бы автор сумел указать путь к столь восторженно приветствуемой им справедливости».

В суждениях социалистической критики конца девяностых годов, осуждавших реформизм Золя, было немало справедливого. И все же по силе антибуржуазного протеста и объективной революционности роман «Париж» занимает особое место не только во французской, но и в мировой литературе XIX века.

Е. Эткинд

notes

Примечания

Здесь и ниже цитаты из «Набросков» даются по изд.: «Литературное наследство», № 33–34, изд. АН СССР. М. 1939.

Здесь и ниже текст «Персонажей» цитируется по кн.: René Ternois, *Zola et son temps. Lourdes — Rome — Paris*. Paris, 1961, p. 636–644 (Рене Тернуа, Золя и его время. Лурд — Рим — Париж. Париж, 1961, стр. 636–644), где этот текст опубликован впервые.

«Литературное наследство», № 33–34, изд. АН СССР, М. 1939, стр. 841.

Цит. изд., стр. 585.